

Борис А. Успенский

**История
русского литературного языка
(XI - XVII вв.)**

Verlag Otto Sagner München · Berlin · Washington D.C.

Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“
der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den
Verlag Otto Sagner:

<http://verlag.kubon-sagner.de>

© bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen,
insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages
unzulässig.

«Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH.

Boris A. Uspenskij - 9783954790128

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:18:33AM
via free access

SAGNERS SLAVISTISCHE SAMMLUNG

**herausgegeben von
PETER REHDER**

Band 12

**B. A. Uspenskij
Geschichte der russischen Literatursprache
(11.–17. Jh.)**

**VERLAG OTTO SAGNER
München 1987**

Б. А. УСПЕНСКИЙ

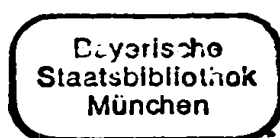
**ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
(XI-XVII вв.)**



VERLAG OTTO SAGNER
München 1987

Vom Autor durchgesehene Studienausgabe
Gedruckt mit Genehmigung der Allunionsagentur für Urheberrechte, Moskau
Просмотренное автором учебное издание
Печатается с разрешения
Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП), Москва

Mit Unterstützung der
Gesellschaft von Freunden und Förderern
der Universität München



ISBN 3-87690-380-7
© by Verlag Otto Sagner, München 1987
Abteilung der Fa. Kubon & Sagner GmbH, München
Satz: Dr. W. v. Timroth, München

О Г Л А В Л Е Н И Е

Сокращенные названия изданий	XI
Сокращенные названия книг	XI
Сокращенные наименования учреждений	XII
Сокращенные названия языков, народов и стран	XII

ВВЕДЕНИЕ

1.	Предмет истории литературного языка	1
1.1.	История литературного языка как лингвистическая дисциплина	1
1.2.	Понятие языковой нормы; система и норма	2
1.3.	Виды языковых норм: специфика книжной нормы	4
1.4.	Литературный язык и живой язык	6
1.5.	Специфика эволюции литературного языка	8
1.6.	Типы литературных языков	10
2.	Языковая ситуация и характер литературного языка	14
2.1.	Вопрос о статусе церковнославянского языка в Древней Руси	14
2.2.	Понятие диглоссии	14
2.2.1.	Диагностические признаки диглоссии: отличия от двуязычия	16
2.2.2.	Диагностические признаки диглоссии: отличия от ситуации сосуществования литературного языка и диалекта	17
2.3.	Книжный язык как язык культуры и язык культа при диглоссии	18
2.4.	Изменение языковой ситуации в России и периодизация истории русского литературного языка	20

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
РУССКОЙ РЕДАКЦИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА**

**ГЛАВА I. ЯЗЫКОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОГО
ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО ВЛИЯНИЯ**

3.	Культурно-исторические предпосылки возникновения русской книжной традиции	22
3.1.	Южнославянское влияние	22
3.1.1.	Начало христианизации Руси	23
3.1.2.	Ц-сл. язык на Руси до ее крещения	24
3.1.3.	Ц-сл. язык как средство византизации рус. культуры	25
3.1.4.	Славянский язык как средство межнационального общения	28
3.1.5.	Социальный аспект распространения ц-сл. грамотности	28
3.2.	Греч. влияние	29
3.2.1.	Переводы с греческого в Киевской Руси	30
3.2.2.	Греч. язык в Киевской Руси	32
3.2.3.	Соотнесение ц-сл. и греч. языков	33
3.2.4.	Буквализм переводов с греческого	35
3.2.5.	Кальки с греческого и их роль в формировании ц-сл. языка	36
3.2.6.	Специфика рус. рецепции византийской культуры	38
3.2.7.	Переводы с семитских языков	40
3.3.	Западное влияние	40
3.3.1.	Западное влияние до крещения Руси	42
3.3.2.	Западные славяне как посредники в западно-русских культурных контактах	42

VI

3.3.3.	Следы западного влияния в церковно-литературной сфере	43
3.3.4.	Следы западного влияния в ц-сл. языке	46
4.	Языковая ситуация: характер взаимодействия церковнославянского и русского языков и критический разбор мнений о происхождении русского литературного языка в связи с языковой ситуацией	47
4.1.	Общие замечания	47
4.2.	Концепция А. А. Шахматова	47
4.3.	Концепция С. П. Обнорского	49
4.4.	Характер влияния ц-сл. и рус. языков друг на друга	50
4.5.	Концепция В. В. Виноградова	53
5.	Типы текстов древнерусской письменности и их языковая характеристика: критерии употребления церковнославянского языка	55
5.1.	Канонические тексты как ядро литературы; характер литературного процесса в Древней Руси	55
5.2.	Критерии применения ц-сл. и рус. языка	59
5.2.1.	Язык летописания	65
5.3.	Юридические тексты и их значение в становлении церковнославянского рус. диалекта	66
5.4.	Деловая и бытовая письменность	70

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

6.	Методологические проблемы интерпретации письменных источников	73
6.1.	Общие замечания: русизмы как явления книжного языка и как явления живой речи	73
6.2.	Факторы, обуславливающие вариативность написаний	74
6.2.1.	Отражение протографа	74
6.2.2.	Отражение орфографической традиции	76
6.2.3.	Отражение книжного произношения	76
6.3.	Соотношение орфографии и орфоэпии	77
6.3.1.	Обучение чтению и обучение письму	78
6.3.2.	Характер взаимодействия орфографии и орфоэпии	79
6.4.	Возможности разграничения орфографических и орфоэпических явлений	80
6.4.1.	Исправления в тексте	81
6.4.2.	Некнижные тексты, отражающие систему обучения чтению	81
6.4.3.	Певческие тексты	81
6.4.4.	Традиция церковного произношения	83
7.	Признаки церковнославянского языка русской редакции в сопоставлении со старославянским	84
7.1.	Употребление юсов	84
7.2.	Рефлексы *dj	84
7.3.	Рефлексы *zdj, *zgj, *zg'	85
7.4.	Рефлексы *tj, *kt', *stj, *skj, *sk'	87
7.5.	Употребление еров	90
7.5.1.	Пропуск еров как орфографическая традиция	91
7.5.2.	Сочетание еров с плавными	91
7.5.3.	Книжное произношение еров в древнейший период	92
7.5.4.	Правила, определяющие написание еров	98
7.5.5.	Написание и произношение еров после падения и прояснения редуцированных	99
7.6.	Книжное произношение г	102
7.7.	Палатальные сонорные	105
7.8.	Различение е и ѣ в книжном произношении	108
7.8.1.	Отражение *er в межконсонантной позиции	115
7.8.2.	"Новый ять"	116

7.9.	Отражение противопоставления /ô/ и /о/	117
7.10.	Произношение иностранных слов	119
7.10.1.	Отсутствие йотации перед начальным /е/	119
7.10.2.	Чтение фиты	120
7.10.3.	Чтение ижицы	120
7.11.	Морфологические отличия рус. ц-сл. от ст-сл. языка	123
7.11.1.	Окончания тв. падежа ед. числа	123
7.11.2.	Флексия -ѣ вместо ст-сл. -а в мягкой разновидности склонений	124
7.11.3.	Стяженные и нестяженные формы прилагательных	124
7.11.4.	Окончания прилагательных в дат. падеже ед. числа	125
7.11.5.	Окончание 3 л. наст. времени	125
7.11.6.	Окончания имперфекта	125
7.11.7.	Окончания аориста	126
7.11.8.	Основа имперфекта	127
7.12.	Словообразовательные отличия рус. ц-сл. языка от ст-сл. языка: суф-фикс -ган ~ -ан	127
7.13.	Некоторые обобщения	127
8.	Основные различия между церковнославянским и русским языком	129
8.1.	Наддиалектные фонетические явления	129
8.1.1.	Рефлексы *or, *ol перед согласным	129
8.1.2.	Полногласие	129
8.1.3.	Рефлексы *tj, *kt'	130
8.1.4.	Йотация перед /а/ в начале слова	131
8.1.5.	Соответствие /е/ - /о/ в начале слова	131
8.1.6.	Рефлексы *ъ, *ь	131
8.2.	Диалектные фонетические отличия	131
8.2.1.	Рефлексы *g	132
8.2.2.	Характер противопоставления /е/ и /ѣ/	132
8.2.3.	Характер противопоставления /і/ и /ї/	132
8.2.4.	Характер противопоставления *v и *u	132
8.2.5.	Переход /е/ в /о/	133
8.2.6.	Отражение второй палатализации	134
8.2.7.	Неразличение аффрикат (цоканье)	135
8.2.8.	Второе полногласие	136
8.2.9.	Неразличение шипящих и свистящих	137
8.2.10.	Аканье и яканье	137
8.3.	Морфологические явления именного и местоименного склонения	138
8.3.1.	Перегруппировка типов склонения и ее последствия	138
8.3.2.	Основы на *s	138
8.3.3.	Местоимения в дат. и местн. падеже ед. числа	139
8.3.4.	Прилагательные в им. падеже ед. числа	139
8.3.5.	Прилагательные в косвенных падежах	139
8.3.6.	Некоторые диалектные особенности	140
8.4.	Морфологические явления глагольного словоизменения, не относящиеся к системе прошедших времен	140
8.4.1.	Показатель инфинитива	141
8.4.2.	Показатель 2 л. ед. числа наст. времени	141
8.4.3.	Некоторые диалектные особенности: показатели 3 л. наст. времени	141
8.5.	Морфологические признаки причастий	142
8.5.1.	Причастия наст. времени действит. залога	142
8.5.2.	Причастия прош. времени действит. залога	143
8.5.3.	Упрощение причастных форм	143
8.6.	Утрата некоторых грамматических категорий (не относящихся к системе прошедших времен)	143
8.6.1.	Утрата дв. числа	143
8.6.2.	Утрата зват. формы	143
8.6.3.	Утрата супина	143
8.7.	Система прошедших времен	144
8.7.1.	Употребление аориста и имперфекта	144

8.7.2.	Аномальные формы прошедших времен	147
8.7.3.	Введение перфектных форм в парадигмы аориста и имперфекта: грамматическая традиция	151
8.7.4.	Введение перфектных форм в парадигму аориста и имперфекта: книжная справа	155
8.7.5.	Введение перфектной формы в парадигму аориста и имперфекта: глагол <i>быти</i>	161
8.7.6.	Перфектные формы: наличие или отсутствие связки	167
8.7.7.	Перфектные формы в сослагат. наклонении	168
8.7.8.	Плюсквамперфект	169
8.8.	Явления словообразования	170
8.8.1.	Именное словообразование	170
8.8.2.	Глагольное словообразование	170
8.9.	Синтаксические явления	171
8.9.1.	Причастные конструкции: дательный самостоятельный	171
8.9.2.	Причастные конструкции: причастие при личном глаголе	172
8.9.3.	Причастные конструкции: субстантивированное причастие	172
8.9.4.	Причастные конструкции: причастия после глаголов восприятия	172
8.9.5.	Причастные конструкции: причастия в сочетании с глаголами состояния	173
8.9.6.	Конструкции с инфинитивом: винительный падеж с инфинитивом	173
8.9.7.	Конструкции с инфинитивом: дательный падеж с инфинитивом в значении результата	173
8.9.8.	Конструкции с инфинитивом: дательный с инфинитивом в модальном значении	174
8.9.9.	Двойной винительный	174
8.9.10.	Пассивные конструкции с <i>от</i>	174
8.9.11.	Конструкция "еже + инфинитив"	174
8.9.12.	Прилагательные и местоимения ср. рода в обобщенно-субстантивированном значении	175
8.9.13.	Конструкция "да + индикатив"	175
8.9.14.	Порядок слов: место вспомогательного глагола	176
8.9.15.	Некоторые специфические синтаксические русизмы	176
8.10.	Лексические явления	177
8.11.	Некоторые обобщения	177

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВТОРОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ РЕДАКЦИЙ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

ГЛАВА I. ВТОРОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

9.	Культурно-исторические предпосылки	181
9.1.	Из историографии вопроса	181
9.2.	Второе юж.-сл. влияние: пурификаторские и реставрационные тенденции	184
9.3.	Второе юж.-сл. влияние: грекофильские тенденции	186
9.4.	Некоторые типологические характеристики второго юж.-сл. влияния как культурного явления	189
10.	Перестройка отношений между книжным и некнижным языком	191
10.1.	Возрастание различий между книжным и некнижным языком	191
10.2.	Перестройка лексических отношений	192
10.3.	Изменение соотношения орфографии и орфоэпии	196
10.4.	Скоропись как особый тип письма и ее функциональная значимость	197
10.5.	Возникновение грамматической традиции	200
11.	Реформа церковнославянского языка	203
11.1.	Орфография: написание грецизмов	203

11.2.	Орфография: отдельные буквы	204
11.3.	Орфография: изменение орфографических правил	205
11.3.1.	Дистрибуция букв -а и -ѧ, -ѧ в поствокальной позиции	205
11.3.2.	Правописание еров	206
11.3.3.	Дистрибуция букв і и и	207
11.3.4.	Употребление диграфа оу (Ѹ)	207
11.3.5.	Буквы ю- и оу- (Ѹ-) в начале слова	207
11.3.6.	Смещение букв под влиянием юж-сл. протографов	208
11.3.7.	Рефлексы *er между согласными	208
11.3.8.	Рефлексы *dj	208
11.3.9.	Написание отдельных слов	209
11.4.	Орфография: надстрочные знаки и знаки препинания	209
11.4.1.	Знаки акцентов и придыханий	209
11.4.2.	Знак титла	209
11.4.3.	Знаки препинания	211
11.5.	Морфологические инновации	211
11.5.1.	Зват. форма в функции им. падежа	211
11.5.2.	Формант -ов- в именном и местоименном склонении	212
11.6.	Синтаксические инновации	212
11.6.1.	Одиное отрицание	212
11.6.2.	Родительный восклицания	213
11.7.	Некоторые обобщения	215
12.	Семиотизация формальных различий	217
12.1.	Принцип антистиха и его славянская трансформация	217
12.2.	Орфографическая дифференциация грамматических форм	218
12.3.	Орфографическая дифференциация лексических омонимов	219
12.4.	Семантизация фонетических вариантов	223
12.5.	Семантизация грамматических вариантов	226
12.6.	Некоторые обобщения	226

ГЛАВА II. КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ МОСКОВСКОЙ И ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ ПОСЛЕ ВТОРОГО ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО ВЛИЯНИЯ

13.	Судьба второго южнославянского влияния в московской и Юго-Западной Руси: образование особых изводов церковнославянского языка	227
13.1.	Культурно-исторические предпосылки	227
13.2.	Реакция на второе юж-сл. влияние в Московской Руси	228
13.3.	Реакция на греч. влияние в Московской Руси	230
13.4.	Размежевание культурно-языковых традиций Московской и Ю.-З. Руси: великорус. и югозападнорус. изводы ц-сл. языка	237
14.	Языковая ситуация Московской Руси	244
14.1.	Сохранение церковнославянско-рус. диглоссии	244
14.2.	Активное употребление ц-сл. языка: ориентация на грамматику	245
14.3.	Развитие стилистических оппозиций в рамках книжного языка	248
14.4.	Изменение отношения к некнижному языку	253
14.5.	Отношение к грамматике и риторике	255
15.	Языковая ситуация Юго-Западной (Литовской) Руси	259
15.1.	Историко-культурные сведения	259
15.2.	Различие в языковой ситуации Моск. и Ю.-З. Руси	260
15.3.	"Проста (руска) мова" как особый литературный язык Ю.-З. Руси	261
15.4.	Характер сосуществования ц-сл. языка и "простой мовы"	263
15.5.	Упадок знания ц-сл. языка в Ю.-З. Руси	271

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ДИГЛОССИИ В МОСКОВСКОЙ РУСИ

ГЛАВА I. ТРЕТЬЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И РЕФОРМА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

16.	Югозападнорусское влияние на великорусскую книжную традицию	275
16.1.	Общий характер третьего ю-сл. влияния	275
16.2.	Культурно-исторические предпосылки третьего юж-сл. влияния	277
16.3.	Начало ю-з-рус. влияния	279
16.4.	Ю-з-рус. влияние и культурные реформы второй пол. XVII в.	281
16.5.	Великорус. влияние на Украине	284
16.6.	Ю-з-рус. влияние и проблема конвенциональности знака	285
17.	Реформа церковнославянского языка	289
17.1.	Никоновская и послениконовская книжная справа	289
17.2.	Ю-з-рус. компонент в реформе ц-сл. языка	292
17.2.1.	Орфоэпические изменения, обусловленные книжной справой	292
17.2.2.	Орфоэпические изменения, обусловленные непосредственными контак- тами	295
17.3.	Греч. компонент в реформе ц-сл. языка	301
17.3.1.	Расширение функций род. падежа: употребление род. и дат. падежей	302
17.3.2.	Расширение функций род. падежа: родительный посессивный	302
17.3.3.	Устранение энклитических местоимений в дат. падеже	306
17.3.4.	Согласование относительных местоимений	307
17.3.5.	Ограничение функций местоимения <i>свой</i>	307
17.3.6.	Замена предлога <i>о</i> на <i>в</i>	309
17.3.7.	Лексические грецизмы	309
17.3.8.	Сознательный характер ориентации на греческие грамматические модели	311
17.4.	Буквализм книжной справки второй пол. XVII в. и актуализация традиционного языкового сознания	313

ГЛАВА II. ТРЕТЬЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ

18.	Разрушение диглоссии и переход к двуязычию	317
18.1.	Начало перестройки отношений между рус. и ц-сл. языком в первой пол. XVII в.	317
18.2.	Изменения в функционировании ц-сл. языка	321
18.2.1.	Модернизация ц-сл. языка как результат активизации его употре- бления	326
18.3.	Возникновение "простого" языка, противопоставленного ц-сл. языку	329
18.3.1.	Характер противопоставления ц-сл. и "простого" языка	333
19.	Взаимоотношение церковнославянского и русского языков в условиях двуязычия	335
19.1.	Переводимость ц-сл. и рус. текстов: перевод сакральных текстов на рус. язык и пародии на ц-сл. языке как признаки церковнославянско- рус. двуязычия	335
19.2.	Кодификация различий между ц-сл. и рус. языком: начальные формы кодификации рус. языка	339
19.3.	Некоторые итоги и перспективы	344

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	346
-----------------------------	-----

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ ИЗДАНИЙ

АДД	- Автореферат докторской диссертации
АКД	- Автореферат кандидатской диссертации
ВВ	- Византийский временник
ВЯ	- Вопросы языкознания
ЖМНП	- Журнал Министерства народного просвещения
Изв. АН СССР, ОЛЯ	- Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка
Изв. РЯС	- Известия по русскому языку и словесности Академии Наук СССР
ИОРЯС	- Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук
Пал. сб.	- Палестинский сборник
РФВ	- Русский филологический вестник
Сб. ОРЯС	- Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук
Сб. РЯС	- Сборник по русскому языку и словесности Академии наук СССР
Сов. сл.	- Советское славяноведение
ТОДРЛ	- Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы Академии наук СССР
ЧОИДР	- Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете
Byz-sl.	- Byzantinoslavica
IJSLP	- International Journal of Slavic Linguistics and Poetics
RES	- Revue des études slaves
RL	- Russian Linguistics
Sc.-Sl.	- Scando-Slavica
ZfS	- Zeitschrift für Slawistik
ZslPh	- Zeitschrift für slavische Philologie

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ КНИГ

ев.	- Евангелие
пс.	- Псалтырь
сб.	- сборник

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ

АН	– Академия Наук
БАН	– Библиотека Академии наук СССР (Ленинград)
ГБЛ	– Государственная библиотека им. В. И. Ленина (Москва)
ГИМ	– Государственный исторический музей (Москва)
ГПБ	– Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград)
ГТГ	– Государственная Третьяковская галерея (Москва)
ЛГУ	– Ленинградский государственный университет
МГУ	– Московский государственный университет
ОИДР	– Общество истории и древностей российских при Московском университете
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности (Санкт-Петербург)
ЦГАДА	– Центральный государственный архив древних актов (Москва)
ЦГИАЛ	– Центральный государственный исторический архив в Ленинграде

,

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ ЯЗЫКОВ, НАРОДОВ И СТРАН

великорус.	– великорусский
вост-сл.	– восточнославянский
греч.	– греческий
др-рус.	– древнерусский
зап-рус.	– западнорусский
зап-сл.	– западнославянский
Моск. Русь	– Московская Русь
о-сл.	– общеславянский
рус.	– русский
сев-рус.	– севернорусский
ст-сл.	– старославянский
ц-сл.	– церковнославянский
юж-рус.	– южнорусский
юж-сл.	– южнославянский
Ю.-З. Русь	– Юго-Западная Русь
ю-з-рус.	– юго-западнорусский

ВВЕДЕНИЕ

1. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1.1. История литературного языка как лингвистическая дисциплина. История языка, в частности история русского языка, распадается на две взаимодополняющие части: историческую диалектологию и историю литературного языка. Эти дисциплины до некоторой степени соотносятся с основными источниками по истории языка: памятниками письменности и диалектологическими данными. Это две принципиально разные области, которые отличаются не только объектом, но и методикой исследования.

История литературного языка нередко понимается как история языка литературы; однако отождествление этих понятий неправомерно. Оно вызывает прежде всего методологические возражения: история литературного языка, очевидно, должна мыслиться прежде всего как история языка в строгом лингвистическом смысле; между тем, при понимании литературного языка как языка литературы история литературного языка оказывается по существу историей текстов, т.е. дисциплиной промежуточной между литературоведением и лингвистикой, а не собственно лингвистической дисциплиной, какой она должна быть.

Различение языка, под которым понимается механизм порождения текста, и речи, под которой понимается текст как таковой, является одним из основных принципов лингвистики как науки. Оно отнюдь не теряет своей актуальности и в применении к литературному языку.

Отождествление литературного языка и языка литературы, по-видимому, представляет собой вообще результат неправомерного переосмысления соответствующих понятий: по своему первоначальному смыслу эпитет "литературный" в выражениях такого рода непосредственно соотносится совсем не с "литературой" в современном значении этого слова, а с "литерой" (буквой), ср. выражение *homo litteratus*, которое в противоположность *homo rusticus* означало именно человека грамотного, владеющего книжной латынью, т.е. грамотея, книжника. Выражение "литературный язык", таким образом, означает по своему исходному смыслу язык книжный, т.е. нормированный, связанный с грамотностью, с книжным учением. Литературный язык связан при этом со специальной книжной нормой.

Тем самым, история литературного языка - это история нормы. Между тем, история языка литературы - это история отклонений от нормы. Это определяет принципиально различный подход к языку литературных произведений у историка литературного языка и у историка литературы. Историка литературного языка интересуют стандартные явления, т.е. тот фон, на котором реализуется творческая активность отдельных авторов; историка литературы интересует творческое своеобразие писателя, в частности, постольку, поскольку оно проявляется в языке. Исследование языка литературы предполагает в качестве необходимого условия знание литературного языка.

История литературного языка позволяет, в принципе, определить, насколько тот или иной текст соответствует нормам литературного языка данной эпохи; иначе говоря, история литературного языка дает возможность прочесть текст глазами современного ему читателя, владевшего литературным языком своего времени.

Соотношение понятий "литература" и "литературный язык" не всегда одинаково. В определенной языковой ситуации - в частности, в той, какая имела место в Древней Руси, - именно применение литературного языка, т.е. языка, которому специально обучались грамотные люди, может служить критерием для суждения о принадлежности памятника письменности к кругу "литературных" (с точки зрения соответствующей эпохи) произведений. Иначе говоря: именно соблюдение норм литературного языка позволяет определить отношение рассматриваемого текста к "литературе". Понятие "литературного языка" выступает в этих условиях как первичное по отношению к "литературе".

Возможна и иная ситуация, когда, напротив, литературный язык ориентируется на употребление в контексте литературы (в языке образцовых авторов). В этом случае понятие "литературы" является первичным по отношению к "литературному языку". Такая ситуация, в частности, характерна для России со второй половины XVIII в. Таким образом, история рус. литературного языка оказывается связанной с изменением языковой ситуации и переменой типа литературного языка.

1.2. Понятие языковой нормы; система и норма. Определение литературного языка как нормированного языка, связанного при этом со специальной книжной нормой, ставит вопрос о сущности языковой нормы и специфике книжной нормы.

Понятие "нормы" противопоставляется вообще понятию "системы". Система представляет собой явление языкового кода, норма - явление языковой культуры. Система языка соотносится с его функционированием как средства коммуникации; это тот механизм языка, который позволяет передавать и принимать сообщения. Языковая норма не связана непосредственно с задачами коммуникации, в ней реализуется отношение носителя языка к языковой деятельности. Поэтому языковая система стремится к оптимизации коммуникационных процессов (с учетом разных интересов говорящего и слушающего как основных участников коммуникации), т.е. к оптимальной реализации тех структурных возможностей, которые представлены в данном языке, к эффективности средств выражения. Языковая норма выполняет совсем другие задачи: она призвана вписать языковую деятельность в более общий план культурного, т.е. социально ценностного поведения. В специальных терминах семиотики можно было бы сказать, что в системе языка формальные средства выражения предстают в аспекте с е м а н т и к и (поскольку система обеспечивает адекватную передачу содержания), тогда как в норме они предстают в аспекте п р а г м а т и к и (поскольку норма обеспечивает одинаковое отношение участников коммуникационного процесса к языку как средству выражения информации).

Признак в системе определяется функциональным противопоставлением языковых единиц (формальных средств выражения); признак в норме определяется противопоставлением нормы как целого другой норме или же вообще ее отсутствию. Таким образом, признаки в системе взаимосвязаны непосредственно через отношение единиц друг к другу; признаки в

норме связаны опосредственно - через отношение единиц к целому. Признаки в системе не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены; признаки в норме не образуют внутренне упорядоченного целого, они мотивированы не отношением друг к другу, но внешними для данной нормы элементами (противопоставлением другой норме или нормам). Общее значение признаков системы - смысловоразличительное, иначе говоря, в системе языка элемент *a* противостоит элементу *b* постольку, поскольку есть случаи, когда это отражается на смысле; в других случаях говорится, что это противопоставление нейтрализуется. Общее значение признаков нормы определяется именно самим фактом принадлежности к той или иной норме. При этом принадлежность к норме осознается как явление языковой п р а в и л ь н о с т и .

Поскольку понятие языковой правильности может быть неодинаковым в разных социумах, пользующихся одним и тем же языком, одна и та же система может соотноситься с несколькими нормами, вступающими в разнообразные отношения друг с другом, - в ряду которых выделяется специальная книжная норма.

Можно сказать, что система определяет противопоставления как таковые, но безразлична к конкретной реализации этих противопоставлений; реализация противопоставлений может определяться нормой. Таким образом, система как бы задает спектр возможностей, выбор из которых может принадлежать норме. Элементарным примером может служить соотношение заднеязычных шумных в русском языке. [k] противопоставлено по признаку звонкости [g] и по признаку смычности [x]; [g] противопоставлено [k] и [x] по признаку звонкости. Эти противопоставления фонологичны (ср. минимальные пары *кот - год, кот - ход, год - ход*). Между тем, фонема /g/ не имеет соответствующего противопоставления по смычности, т.е. не имеет звонкого фрикативного коррелята /ɣ/, который был бы фонологически противопоставлен /g/. Поэтому можно считать, что для системы безразлично, как будет реализоваться /g/ - как смычный или как фрикативный.

Когда же мы говорим о звуке [g] как явлении языковой нормы, для нас существенно, что правильно произносить те или иные слова с [g] и не правильно с [ɣ], и наоборот, ср. [глрə], а не [ɣлрə], но [боу дəст], а не [бог дəст]. Это чистая условность, в том смысле, что это противопоставление не обусловлено системой языка: замена звуков в данном случае не отражается на смысле и даже не препятствует взаимопониманию. Тем не менее, норма выбирает каждый раз одну из реализаций и предписывает ее как правильную.

Всякая норма связана с обучением и, соответственно, с более или менее сознательным усвоением и восприятием языка. Если система, как правило, не осознается носителем языка, то норма в большей или меньшей степени осознается как таковая - именно постольку, поскольку она преподается, навязывается индивиду социумом. В зависимости от степени осознанности нормы, от степени эксплицитности обучения, от того значения, которое придается норме социумом, и могут различаться разные виды норм, соотносенных с одним и тем же языком. Книжная норма связана с формальным кодифицированным (в частности, школьным) обучением. Соответственно, она характеризуется максимальной осознанностью и эксплицитностью.

Связь нормы с обучением и сознательный характер ее усвоения проявляется, с одной стороны, в возможности и с п р а в л е н и я неправильных (ненормативных) речевых форм, с другой же стороны, в явлении г и п е р к о р р е к ц и и . Как то, так и другое явление дает возможность опознать норму, т.е. установить самый факт наличия некоторой нормы и определить, что тот или иной языковой признак связывается с понятием правильной, нормативной речи. Исправления - это реакция на неправильную речь со стороны обучающего социума. Ги-

перкоррекция - это реакция на правильную речь со стороны обучающегося индивида (т.е. реакция, обусловленная стремлением говорящих усвоить ту или иную норму).

Явление гиперкоррекции связано с тем, что в процессе усвоения языковой нормы устанавливается корреляция между правильной и неправильной речью, т.е. между теми формами, которыми владеет говорящий, и теми формами, которые он стремится усвоить. Эта корреляция осознается в виде правил, позволяющих преобразовать неправильную речь в правильную; устанавливая соответствия от неправильной речи к правильной, говорящий осмысляет эти соответствия как правила, позволяющие производить обратную трансформацию. В тех случаях, когда такое осмысление неправомерно, эти правила применяются слишком широко, в результате чего и возникают гиперкорректные формы. Так, например, в разговорной латыни уже в I в. до н.э. выпадает [h] в начале слова. При овладении нормами литературного языка возникают неправильные образования типа *hinsidias* вместо *insidias*, когда говорящий в своем стремлении восстановить потерянный [h] помещает его там, где его быть не должно. Совершенно так же в русских цокающих диалектах носитель диалектной речи, желая говорить правильно, заменяет всякое [с] на [ц] и в результате произносит не только *чай* вместо *цай*, но и *черковь* вместо *церковь*.

Поскольку норма усваивается сознательным образом, в сознании носителя язык дан прежде всего как норма, и ему свойственно все речевые явления рассматривать через призму нормы. Те явления языка, которые не соответствуют нормативным представлениям, вообще игнорируются языковым сознанием носителя языка.

1.3. Виды языковых норм: специфика книжной нормы. Явление нормы предполагается вообще всякой нормальной (непатологической) языковой деятельностью. Соответственно, характеристика специальной книжной нормы, т.е. нормы литературного языка предполагает дифференциацию разных видов норм.

Говоря о видах языковых норм, необходимо прежде всего различать первичную (естественную) норму, усваиваемую в процессе овладения естественной (разговорной) речью, и более специальные вторичные нормы (дополнительные по отношению к первичной норме, искусственные), к числу которых относится, в частности, и книжная норма, т.е. норма литературного языка. Первичная (естественная) норма непосредственно соотносится с системой языка, тогда как вторичные (искусственные) нормы соотносятся прежде всего с первичной нормой (накладываются на нее).

Если всякая вообще норма усваивается в процессе обучения, то первичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения. Необходимо иметь в виду, что уже и она обнаруживает основные признаки нормы, что проявляется в исправлениях и гиперкоррекции. Это говорит о том, что ее усвоение в какой-то мере сознательно.

Система усваивается раньше, чем норма. Ребенок начинает с освоения системы: в его речи реализуются формы, которые системны, но не нормативны, т.е. потенциальные формы, которые допускаются системой, но не допускаются нормой. Затем путем обучения происходит отбор правильного, т.е. нормативного языкового материала. Если языковая система определяет вообще потенциальные возможности языкового разнообразия, то норма в данном случае определяет тот или иной выбор из этих возможностей, т.е. определенную их реализацию. Эта реализация более или менее случайна с точки зрения самой системы - в том смысле, что она не предписана самой системой, а имеет внешний по отношению к ней харак-

тер. Она не необходима, а условна, она обусловлена не собственно лингвистически, но социолингвистически - в том смысле, что говорящий подчиняется требованиям социума.

Можно предположить, что на определенном этапе ребенок переходит от чисто механического усвоения языка к метаязыковым вопросам. Он начинает сознательно относиться к языку. На этом этапе, например, он может сознательно имитировать неправильную речь, тогда как раньше он ее просто порождал, не заботясь о том, правильна она или неправильна, - вообще, в его сознании появляется критерий правильной, хорошей речи. Точно так же он может порождать метатексты, т.е. речь о речи (например, спрашивать, что значит то или иное слово, и т.п.).

Именно на этом этапе ребенок начинает усваивать то обучение, которое преподает ему социум. Это обучение происходит именно через метатексты: ребенку объясняется, как надо и как не надо говорить. Соответственно, общество учит не только правильной речи, но учит воспроизводить или по крайней мере осмыслять речь неправильную, т.е. показывает, по каким признакам норма противостоит ее отсутствию.

На этой стадии в детской речи появляются разнообразные гиперкорректные формы. Существует качественная разница между ситуацией, когда ребенок, не умеющий произносить звук [r], говорит *лыба* вместо *рыба*, и ситуацией, когда, овладев этим звуком, он начинает говорить *родка* вместо *лодка*. В этом последнем случае ребенок говорит *родка* не потому, что он не может сказать *лодка* (как это было в случае произношения *лыба* вместо *рыба*), но по совсем иной, противоположной причине: он стремится говорить правильно, и именно это его стремление обуславливает порождение неправильной формы. Антитеза "умение - неумение" (как в случае произношения *лыба* вместо *рыба*) сменяется на этом этапе антитезой "правильность - неправильность" (отсюда *родка* вместо *лодка*), и это свидетельствует об усвоении нормы.

Усвоение нормы всякий раз обусловлено вхождением в тот или иной социум. Поскольку в течение жизни человек может входить в разные социумы, постольку различные нормы могут наслаиваться одна на другую. Так, могут последовательно возникать требования: "говорить, как все" (в процессе нормализации детской речи, т.е. при вхождении в социальный мир), "говорить, как избранные" (при овладении социальным жаргоном, т.е. при вхождении в тот или иной замкнутый социум), "говорить (и писать), как культурные люди" (при овладении книжной нормой, т.е. при вхождении в социум грамотных людей) и т.п. Книжная норма усваивается в сознательном возрасте, причем усваивается в процессе искусственного (формального), а не естественного обучения: в данном случае имеет место искусственное обучение тому языку, который общество считает правильным и который реализует себя в письменности.

Таким образом, норма есть социальное явление. Она объединяет некоторый социум и выступает как знак социума. Поэтому, наряду с имманентно присущим всякой норме общим значением правильности, норма имеет еще и побочное социальное значение: она демонстрирует принадлежность к определенному социуму. В некоторых случаях этот социальный аспект может выступать на первый план, т.е. владение нормой осмысливается как ценностный факт именно потому, что демонстрирует принадлежность к тому или иному социуму. Социальная значимость соответствующих речевых признаков (конституирующих данную норму) определяется престижем данного социума.

Поскольку норма выступает как знак социума, постольку ее усвоение может быть вызвано обратным (более или менее искусственным по своему характеру) стремлением: приобщиться к тому обществу, которое обладает для носителя языка социальным престижем. В этом случае правомерно говорить о "социальных жаргонах". "Социальные жаргоны" следует отличать от "социальных диалектов" (например, дворянский, мещанский диалект и т.п.), обусловленных социолингвистической дифференциацией общества. Норма социального диалекта представляет собой первичную норму, т.е. усваивается в детском возрасте как норма разговорного общения. Между тем, норма социального жаргона по определению усваивается как вторичная норма, в сознательном возрасте, т.е. связана с осознанным намерением войти в некоторый социум. Усвоение первичной нормы происходит по инициативе социума, усвоение вторичной

социальной нормы происходит по инициативе самого говорящего. Социальные жаргоны в целом или в отдельных (наиболее значимых) своих признаках имеют, как правило, наддиалектный характер и в этом отношении могут быть уподоблены литературному языку.

Книжная норма, обнаруживая известное сходство с вторичными социальными нормами (усвоение в сознательном возрасте, наддиалектный характер), существенно от них отличается. Она демонстрирует приобщенность индивида не к тому или иному социуму - хотя бы и достаточно авторитетному, - а к культуре, к письменности: книжная норма связана с приобщением к культурной традиции, в принципе имеющей (с точки зрения носителя языка) не социальный, а абсолютно ценностный план. Авторитетность книжной нормы обеспечивается не социальным престижем, но принципиальной консервативностью, связью с традицией. В случае книжной нормы вперед выступает не социальное значение нормы, а первичное имманентно присущее ей значение языковой правильности.

Если усвоение литературного языка в принципе имеет характер приобщения к некоторой норме, то усвоение социального жаргона обычно обусловлено, напротив, оттачиванием от общепринятых речевых навыков: первое имеет характер центростремительный, второе - центробежный. Отсюда общепринятость книжной нормы противостоит эгоизму и специализации социальных жаргонов. Отсюда же следует вообще и нехарактерность для литературного языка социальной дифференциации.

1.4. Литературный язык и живой язык. Если всякая норма усваивается в процессе обучения (см. 1.2), то первичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения; ее можно назвать "естественной" нормой. Напротив, вторичная норма усваивается в сознательном возрасте в процессе более или менее специального и в известном смысле искусственного (для литературного языка - формального) обучения; ее можно назвать "искусственной" нормой.

Степень разрыва между искусственной и естественной нормой может быть существенно различной в разных языковых ситуациях. Для литературных языков это определяется типом литературного языка (см. 1.6): разрыв между двумя нормами оказывается существенным, когда литературный язык отталкивается от разговорной речи, и сводится к минимуму, когда литературный язык ориентируется на разговорную речь.

Естественная (первичная) норма воспринимается пассивно - в том смысле, что здесь не имеет места сознательное воздействие на норму со стороны носителя языка. Между тем, искусственная (вторичная) норма, усваиваясь на фоне уже осознанной естественной нормы, воспринимается активно. Именно здесь оказывается возможной сознательная обработка нормы (и, в частности, сознательное ее изменение), обусловленная представлениями носителя языка о том, каким должен быть язык.

В случае всякой языковой нормы имеет место вообще сознательное отношение носителя языка к языку, выражающееся в представлении о языковой правильности (о правильной речи, т.е. о правильной реализации языка). Однако в случае искусственной языковой нормы отношение носителя языка к языку оказывается действенным фактором, влияющим на самую норму. Искусственная норма может быть в той или иной степени **результатом** сознательного отношения к языку.

Естественная норма формируется в результате подражания. Искусственная норма может формироваться в результате творческой деятельности. Иными словами, если естественная

норма - это только передаваемая норма, то искусственная норма - это обрабатываемая норма. Искусственная языковая норма и, в частности, норма литературного языка, поддается сознательному "улучшению", обработке.

В случае естественной языковой нормы имеет место односторонняя (однаправленная) связь между социумом и индивидом: социум влияет на индивида. В случае искусственной языковой нормы эта связь имеет, вообще говоря, двусторонний характер: при образовании (формировании и эволюции) искусственной языковой нормы та или иная роль может принадлежать индивидуальному началу, т.е. индивид может влиять на социум - индивидуальное поведение в этом случае влияет на социальное. Примером может служить нормализаторская деятельность филологов, которая оказывает непосредственное влияние на литературный язык.

Языки, базирующиеся на искусственной норме, можно назвать искусственными языками. Искусственный язык противопоставляется при этом живому (или естественному) языку. Под живым языком понимается, следовательно, совокупность системы и естественной языковой нормы, тогда как искусственный язык представляет собой то или иное сочетание живого языка и искусственной языковой нормы.

В этом смысле литературный язык представляет собой искусственный язык. Литературный язык связан именно с искусственной (вторичной) нормой, усваиваемой в процессе формального (максимально кодифицированного) обучения и реализующийся в авторитетной для данного общества письменности - литературе. Соответственно, литературный язык связан с письменной, книжной традицией.

К сфере искусственного можно отнести вообще все то, что связано с сознательным воздействием человека или коллектива на окружающую его действительность. В лингвистическом аспекте искусственность связана с сознательным воздействием носителя языка (как индивидуальной или социальной единицы) на свой язык. Это воздействие определяется представлением носителя языка о том, каким должен быть язык, т.е. представлением о характере и природе правильности; последнее, в свою очередь, обусловлено своеобразной лингвистической идеологией носителя языка.

Искусственные языки относятся к явлениям культуры - в частности, уже и в прямом этимологическом смысле этого слова (*cultura* - буквально: обработка, возделывание). Литературный язык, наряду с литературой, приемами обучения и т.п., - принадлежит к явлениям книжной культуры (культуры, связанной с письменностью). Тем самым, литературный язык непосредственно соотносится и со вторичным значением слова *cultura*, связанным с просвещением, образованностью.

Итак, история литературного языка оказывается связанной с своеобразными лингвистическими представлениями носителей языка. Носитель языка выступает как наивный лингвист, причем соответствующие лингвистические представления обусловлены принадлежностью его к определенной культуре и передаются по традиции. Эти лингвистические представления могут

играть существенную и даже определяющую роль в формировании и развитии литературного языка.

Одновременно в языке действуют объективные закономерности - структурные, эволюционные и др., - никак не связанные с идеологической (лингвистической) позицией носителя языка и совершенно от нее независимые. Эти закономерности относятся к развитию живого языка и, следовательно, к сфере естественного, а не искусственного - к природе, а не к культуре. Литературный язык связан с этими закономерностями не непосредственно, а опосредованно - через живой язык.

Литературный язык, будучи основан на искусственной норме, существует в противопоставлении живому. Это противопоставление может осуществляться за счет ограниченного набора признаков. Совокупность таких признаков и определяет в этом случае норму литературного языка, именно они являются тогда релевантными для языкового сознания. Вне этих признаков литературный язык может быть не противопоставлен живому. История этих признаков является одним из важнейших моментов истории литературного языка.

1.5. Специфика эволюции литературного языка. Характер эволюции литературного языка существенно отличается от характера эволюции языка живого. Эволюция живого языка определяется прежде всего имманентными законами языкового развития: здесь действует тенденция к оптимализации языкового кода, к повышению эффективности процесса коммуникации, к экономии усилий и т. д. Эволюция живого языка носит непрерывный характер, поскольку при оптимализации языкового кода сталкиваются интересы говорящего и интересы слушающего (как основных участников коммуникативного акта), и это обуславливает постоянные колебания в развитии системы языка (Успенский, 1967).

Эволюция литературного языка обнаруживает относительную независимость от эволюции языка живого, будучи зависима вместе с тем от языковой установки носителя языка. Эта установка определяет прежде всего самый тип литературного языка: ориентируется ли он на живой язык или отталкивается от него. В той мере, в которой литературный язык не противопоставлен живому, его эволюция подчиняется эволюции живого языка. Поскольку такие процессы не специфичны для литературного языка, они не входят собственно в историю литературного языка, а составляют ее фон. Собственная история литературного языка осуществляется в той сфере, где литературный язык противопоставлен живому. Развитие литературного языка в этой части имеет независимый характер и определяется языковым сознанием его носителей.

В языковом сознании фиксируется тот набор признаков, который противопоставляет литературный язык живому языку; оно обуславливает нормализацию литературного языка, прежде всего сознательный отбор элементов, которые признаются правильными (в частности, когда из ряда вариантов, представленных в живом языке, литературным признается какой-то один). Таким образом, языковое сознание определяет отношение литературного языка к живому языку. Вместе с тем, оно определяет как отношение к предшествующей языковой традиции, так и ориентацию на внешние языковые традиции. Изменения языкового сознания и являются основным фактором эволюции литературного языка.

В системе языка заложена потенция к языковым изменениям. Норма, между тем, представляет собой фиксацию языка в языковом сознании и поэтому относительно стабильна. Система - динамична, норма - статична. Статичность, консерватизм нормы тем сильнее, чем более осознанный характер она имеет, что и определяет особую устойчивость норм литературного языка. Противопоставление литературного и живого языка вписывается в более общее противопоставление культуры и природы. Вообще, если природа находится в вечном и непрерывном движении, то культура осознает себя как норму или как совокупность норм и предстает как нечто фиксированное. Консервативность, стабильность нормы (и особенно книжной нормы, эксплицитно связанной с фиксацией языка в его традиционных формах) противостоит динамичности, непрерывной изменчивости живого языка. Литературный язык тяготеет к стабильности, живая речь - к изменению.

Отсюда возникает неперенная дистанция между литературным языком и живой речью, образующая как бы постоянное напряжение между этими полюсами, нечто вроде силового поля. Степень разрыва между литературным языком и живой речью определяется при этом типом литературного языка. Эта дистанция имеет место, в частности, и в том случае, когда литературный язык ориентируется в своем развитии на разговорную речь. Как ни стремится литературный язык догнать живой разговорный язык, живая речь неизменно опережает его в своем развитии, создавая обязательный разрыв, который и обеспечивает в конечном итоге восприятие литературного языка как литературного. Литературный язык объективно функционирует как таковой только постольку, поскольку он противопоставлен живой речи. Таким образом, стремясь догнать живую речь, литературный язык как бы стремится к самоуничтожению, которое, однако, не осуществляется, поскольку литературный язык непременно отстает от нее в своем развитии.

Можно сказать, что различие в характере эволюции системы и нормы сводится к разнице между дискретным и непрерывным развитием; соответственно определяется и разница между изменением живой речи и изменением литературного языка. В отличие от эволюции системы эволюция нормы - в том числе и книжной нормы, т.е. нормы литературного языка, - имеет не непрерывный, а дискретный (ступенчатый) характер. Это связано со спецификой функционирования языковой нормы, фиксацией ее в языковом сознании.

Итак, если история языка может пониматься как объективный процесс, принципиально не зависящий от отношения к языку говорящих, то развитие литературного языка находится в непосредственной зависимости от меняющейся установки носителя языка. Таким образом, история литературного языка оказывается самым непосредственным образом связанной с историей отношения к языку, с историей представлений о том, каким должен быть язык. Это предполагает изучение лингвистической установки носителя языка на разных исторических этапах. Отсюда, в частности, история литературного языка в ряде моментов смыкается с историей грамматической мысли: важным источником оказываются здесь разнообразные сочинения о языке.

В более общем плане история литературного языка оказывается соотносительной с историей культуры. Языковое сознание, лингвистическая идеология входят в систему культурных ценностей и изменяются вместе с нею. Поэтому основные процессы в истории литературного

языка так или иначе связаны с процессами развития культуры, а следовательно - и с историей общества. Эта связь проявляется, в частности, в периодизации истории литературного языка: радикальные изменения литературного языка всякий раз связаны с изменением культурной ориентации, с принятием новой системы культурных ценностей. Отсюда такое большое значение в истории литературного языка приобретает история культурных влияний.

Говоря о культурных влияниях, следует иметь в виду, что особенностью эволюции литературных языков является "их способность влиять друг на друга вне тех пространственно-временных условий, в которых обычно влияют друг на друга живые народные языки", т.е. вне условий непосредственного контакта - во времени или в пространстве (Трубецкой, 1927, с. 58). Литературные языки способны усваивать культурные влияния, приходящие издавна и издалека. Соответственно, могут различаться внутренние и внешние культурные влияния. Внутренние влияния осуществляются во времени и выражаются в регенерации старых норм, т.е. в попытках восстановить утраченную норму литературного языка, исходя из представлений о том, каким был этот язык (ср. создание чешского национального литературного языка в конце XVIII - начале XIX в.). Внешние влияния осуществляются в пространстве и выражаются в заимствованиях (ср. 1.6), а иногда вообще в трансплантации чужих норм; отметим, что заимствоваться при этом могут не только конкретные формы и модели, но и сама концепция литературного языка. Иногда внешнее и внутреннее влияния совмещаются. Так, второе юж-сл. влияние в истории рус. литературного языка (см. 9-12) может рассматриваться, с одной стороны, как внешнее влияние, т.е. влияние юж-сл. языковых норм, с другой же стороны, как попытка регенерации старых языковых норм, восходящих к кирилло-мефодиевской эпохе (юж-сл. извод ц-сл. языка воспринимается при этом как более архаичный).

1.6. Типы литературных языков. Проводя наиболее общую классификацию, можно выделить два типа литературного языка: литературный язык, ориентирующийся на разговорное употребление, и литературный язык, противостоящий живой речи.

Формирование литературного языка, ориентирующегося на разговорную речь, не в меньшей степени обусловлено представлениями говорящих о языке, чем формирование литературного языка противоположного типа. И в этом случае мы имеем дело с определенной лингвистической идеологией - идеологией, приписывающей ценность естественному и отнимающей ее у искусственного, декларирующей образцом для себя язык как природу. Следует помнить, что данный тип языка совсем не универсален, а обусловлен определенным типом культуры, прежде всего культурой нового времени, восходящей к Ренессансу.

Необходимо иметь в виду, что литературный язык, ориентирующийся на разговорное употребление, ориентируется не на всякую разговорную речь, а на некоторую ее разновидность. Такой разновидностью может быть речь столицы (ср. московское произношение в качестве литературного) или речь социальной элиты (например, придворного или дворянского общества). Вместе с тем, возможна ситуация, когда столичная речь не рассматривается как образцовая (ср. отношение разговорного языка Петербурга, Лондона, Копенгагена к соответствующим литературным языкам); как нелитературная (манерная) может восприниматься и речь социальной элиты (так, например, воспринимались придворные речевые навыки в России начала XX в.).

К типу языков, ориентирующихся на разговорную речь, принадлежит и современный рус. литературный язык. Необходимо помнить, однако, что это не единственный возможный тип литературного языка; в России, в частности, этот тип установился лишь в сравнительно недавнее время в результате языковой политики послепетровской эпохи (Успенский, 1985).

Другой тип литературного языка представляет язык, противостоящий живой речи. Литературный язык этого типа может не только противостоять живой речи, но и отталкиваться от нее (по определенному набору признаков). Этим определяется своеобразная зависимость формирования литературного языка этого типа от разговорного языка - зависимость, носящая негативный характер. Это проявляется, в частности, в гиперкоррекциях, а именно, гиперкорректные формы появляются в тех случаях, когда книжная форма совпадает с разговорной (ср. гиперкорректные замены форм рус. ц-сл. языка, совпадающих с формами рус. разговорного языка: *зленъ* вместо *зелень*, *мужду* вместо *мужу*, *скажду* вместо *скажу*, *погруждаемъ* вместо *погружаемъ*, и т.п.).

В числе типологических характеристик литературных языков может рассматриваться и их отношение к заимствованиям. Можно полагать, что живые языки в одинаковых условиях одинаково реагируют на заимствования, т.е. легко усваивают их в условиях непосредственного контакта. Между тем литературные языки, в отличие от живых, могут реагировать на заимствования по-разному. Литературные языки могут быть ориентированы *экстравертно* или же *интравертно*.

При экстравертной ориентации литературный язык ориентирован на усвоение, впитывание чужой культуры. При этом своя культура в этом случае обычно рассматривается как продолжение чужой. Так, рус. книжная культура (resp. письменность, образованность и т.п. - "литература" в прямом этимологическом смысле) до XVIII в. воспринималась как продолжение греческой, а в послепетровский период - как продолжение европейской культуры.

Подобная ориентация обуславливает разнообразные заимствования: насыщенность заимствованиями в этих условиях придает речи литературность, определяя характер противопоставления литературного и нелитературного языка. Однако заимствования при этом возможны только из той культуры, которая осмысливается как ценностная. Так, в рус. литературный язык сначала проникают заимствования из греческого, а затем - из западноевропейских языков (главным образом, из французского). Исследуя хронологию заимствований из разных языков в том или ином литературном языке (и принимая во внимание при этом лексико-семантические группы слов, связанные со сферой влияния того или иного языка), можно достаточно четко определить последовательность культурных влияний.

Если литературный язык всеяден в отношении заимствований, т.е. если в нем представлены заимствования из разных языков, причем разноязычные заимствования не поддаются хронологической стратификации - иначе говоря, если процесс заимствования практически не связывается с культурным престижем языка-источника, - это означает, что перед нами литературный язык, ориентированный на разговорную речь. Разговорная речь усваивает элементы чужих языков (находящихся в непосредственном контакте с данным языком), и они автоматически переходят затем в литературный язык.

Помимо языка-источника, заимствования из которого обусловлены специальным культурным престижем (ср. греческий и французский для рус. литературного языка на разных этапах его истории), важная роль принадлежит языкам-посредникам, которые выступают как проводники культурных влияний. Иначе говоря, очень часто при экстравертной ориентации заимствования усваиваются не непосредственно из языка-источника, а через ту или иную книжную традицию, которая воспринимается как авторитетный посредник в осуществлении соответствующих культурных контактов. Так, юж-сл. книжная традиция воспринималась на Руси как авторитетный посредник в греческо-рус. культурных контактах, и это обуславливает, с одной стороны, усвоение грецизмов в их юж-сл., а не исходной греч. форме и, с другой стороны, заимствование прямых южнославянизмов (т.е. собственно юж-сл. влияние); в дальнейшем (в период никоновских и послениконовских книжных реформ) аналогичную роль играет книжная традиция Ю.-З. Руси (см. 16–17). Точно так же заимствования из латыни и западноевропейских языков осуществляются через польское посредничество, а восприятие галлицизмов в целом ряде случаев осуществляется через призму немецкого языка. Естественно, что в подобных случаях влияние языка-посредника фактически может быть не менее, а даже более актуальным, чем влияние языка-источника, т.е. субъективная ориентация на язык-источник обуславливает объективное влияние языка-посредника.

Интравертная установка обыкновенно связана с националистическими тенденциями, обуславливающими стремление к культурному обособлению. Это проявляется в пуристическом отказе от заимствований; насыщенность заимствованиями не придает речи литературную окраску, но обуславливает отрицательный стилистический эффект. В этих условиях внешние культурные влияния проявляются не в виде прямых заимствований, но в виде к а л е к. Таким образом, внешние культурные влияния могут фактически иметь место как при экстравертной, так и при интравертной ориентации, хотя они в этих случаях и проявляются по-разному.

Поскольку на разговорный язык не могут быть искусственно наложены соответствующие пуристические ограничения, литературный язык в условиях интравертной ориентации может противопоставляться разговорному именно по отсутствию прямых заимствований. Так обстоит дело в чешском языке, а отчасти и в польском. В арабской языковой ситуации разговорным арабским языкам свойственны прямые заимствования, тогда как классическому арабскому (т.е. литературному языку) – кальки. Нечто подобное имело место у рус. пуристов конца XVIII – нач. XIX вв., в частности, у Шишкова и шишковистов, разговорный язык которых был насыщен галлицизмами.

Итак, как в случае экстравертной, так и в случае интравертной ориентации наличие заимствований может обуславливать противопоставленность литературного и живого языка.

Поскольку экстравертная ориентация обычно проявляется в отношении какого-то определенного языка (или группы языков), она может сочетаться с ограничениями на заимствования из других языков, т.е. с частичной интравертной ориентацией. Таким образом, экстравертная и интравертная ориентация могут сосуществовать в языке, распределяя сферы влияния.

Вообще очень часто интравертная ориентация проявляется не полностью, а частично, т.е. литературный язык отрицательно реагирует не вообще на заимствования как таковые, а на заимствования из определенного языка. Так, в литературном армянском

избегаются торкизмы (которыми насыщен, между тем, разговорный язык). В рус. языке второй половины XVIII в. избегались заимствования из немецкого (опять-таки, присущие разговорной речи). Этот избирательный пуризм особенно часто возникает в том случае, когда литературный язык, заимствования из которого избегаются, воспринимается как угроза существованию национального литературного языка: так во фламандском избегаются заимствования из французского, в ирландском - из английского.

2. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ХАРАКТЕР ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

2.1. Вопрос о статусе церковнославянского языка в Древней Руси. В основе изложенного выше понимания литературного языка лежит тезис о том, что между литературным и живым языком непременно должно иметь место то или иное взаимодействие; характер этого взаимодействия определяется типом литературного языка. Литературный язык может ориентироваться на разговорный, может отталкиваться от него, однако он всегда так или иначе с ним связан: в частности, эволюция живого языка отражается на эволюции языка литературного (в той сфере, где они не противопоставлены - ср. 1.5). Вместе с тем возможны ситуации, когда в функции литературного языка выступает язык, вообще никак не связанный с разговорным, т. е. совершенно другой язык, которым овладевают как иностранным. Именно так функционирует латынь в германских или славянских католических странах до появления там национальных литературных языков. В соответствии с нашими определениями такой язык не может быть признан литературным языком соответствующего языкового коллектива: мы можем сказать, например, что латынь выступала в функции литературного языка у поляков, но не можем сказать, что латынь была польским литературным языком.

Вопрос о том, как трактовать подобную ситуацию, имеет самое непосредственное отношение к истории рус. литературного языка. Несомненно, что с принятием христианства и по крайней мере до XVIII в. функции литературного языка выполнял на Руси ц-сл. язык. Этот язык был усвоен русскими от южных славян. Можно ли считать ц-сл. язык русским литературным языком? Или же мы должны начинать историю рус. литературного языка с XVIII в. (такая точка зрения имеет своих сторонников, ср., например: Исаченко, 1963)?

Мы имеем все основания рассматривать ц-сл. язык как русский литературный язык эпохи средневековья. Действительно, этот язык, будучи заимствован извне, никогда тем не менее не изучался как иностранный. Поэтому он с самого начала вступает в тесные отношения с разговорным языком восточных славян и достаточно скоро начинает восприниматься как кодифицированная разновидность этого языка. В результате адаптации ц-сл. языка на Руси возникает особый рус. извод ц-сл. языка. Таким образом осуществляется пересадка ц-сл. языка на рус. почву, и он пускает здесь глубокие корни. Взаимоотношения ц-сл. языка рус. извода и живого рус. языка на разных исторических этапах и представляют собой ключевой момент истории рус. литературного языка.

Тем самым, проблемы истории рус. литературного языка самым непосредственным образом связаны с рассмотрением языковой ситуации Древней Руси. Это существенно отличает историю рус. литературного языка от истории многих других литературных языков, где рассмотрение языковой ситуации не предполагается с непереносимостью самим предметом исследования; иначе говоря, указанное обстоятельство определяет специфику истории рус. литературного языка как лингвистической дисциплины.

2.2. Понятие диглоссии. В течение многих веков в России функционировали два языка - церковнославянский и русский. Такие ситуации, когда в одном языковом коллективе функ-

ционируют два языка, широко представлены в мире. Эти ситуации могут быть определены либо как ситуации *д в у я з ы ч и я*, либо как ситуации *д и г л о с с и и*. Под двуязычием понимаются те языковые ситуации, когда два языка обладают рядом общих функций, т.е. когда они функционируют более или менее параллельно. Такое явление широко известно и не нуждается в специальном объяснении (ср. французско-английское двуязычие в Канаде или русско-французское двуязычие в рус. дворянском социуме конца XVIII - нач. XIX вв.). В случае диглоссии функции двух сосуществующих языков находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям одного языка в одноязычном языковом коллективе. При этом речь идет о сосуществовании *к н и ж н о г о* языка, связанного с письменной традицией (и вообще непосредственно ассоциирующегося с областью специальной книжной культуры), и *н е к н и ж н о г о* языка, связанного с обыденной, повседневной жизнью: ни один социум не пользуется в этих условиях книжным (литературным) языком как средством разговорного общения, т.е. это язык именно книжный, который никогда не выступает как разговорный.

Вообще можно сказать, что диглоссия как тип языковой ситуации в ряде моментов схожа с двуязычием, а в ряде моментов - с одноязычным сосуществованием литературного языка и диалекта. Как и при двуязычии, при диглоссии в одном языковом коллективе функционируют два языка, но при этом один (и только один) из этих языков является литературным языком в том значении этого термина, которое было определено выше: в соответствии с данным выше определением книжный (литературный) язык представляет собой вторичную, искусственную норму, накладывающуюся на живой язык и усваиваемую в процессе формального обучения. Если при двуязычии каждый из языков усваивается самостоятельно и независимо один от другого, то при диглоссии усвоение книжного языка опирается на знание некнижного: некнижный язык усваивается естественным путем, так сказать, впитывается с молоком матери, а книжный язык усваивается искусственным книжным путем через специальное обучение. Именно поэтому в языковом сознании при диглоссии книжный и некнижный языки воспринимаются как один язык - книжный язык выступает в этих условиях как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Между тем, для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык.

Соответственно, в отличие от двуязычия, т.е. сосуществования двух независимых и в принципе эквивалентных по своей функции языков, которое представляет собой явление избыточное (поскольку функции одного языка дублируются функциями другого) и, по существу своему, переходное (поскольку в нормальном случае следует ожидать вытеснения одного языка другим или слияния их в тех или иных формах), диглоссия представляет собой очень стабильную языковую ситуацию, характеризующуюся устойчивым функциональным балансом (взаимной дополнительностью функций). Действительно, ситуация диглоссии может сохраняться в течение многих веков.

Ситуация диглоссии представляет собой достаточно типичное явление. До начала нашего столетия она была представлена в арабском мире и на Цейлоне, в Греции, в Эфиопии, в Бирме, в тамильской части Индии и, видимо, в ряде других ареалов. В некоторых из этих ареалов она сохраняется и до сих пор (например, в части арабских стран). Лингвисты долгое время не замечали специфики этой ситуации, поскольку осмыслили ее в привычных для них категориях двуязычия или же сосуществования литературного языка и диалекта. Впервые этот феномен как особый тип языковой ситуации был описан лишь в сер. XX в. (Фергусон, 1964). В настоящее время в силу экспансии европейских культурных моделей, обуславливающей ориентацию на европейскую языковую ситуацию, диглоссия постепенно исчезает.

Для того, чтобы опознать ситуацию диглоссии, мы должны уметь четко отличать ее от ситуации двуязычия, с одной стороны, и от ситуации сосуществования литературного языка и диалекта, с другой. Из самого определения диглоссии вытекает ряд моментов, которые могут служить диагностическими признаками.

2.2.1. Диагностические признаки диглоссии: отличия от двуязычия. Как говорилось, при диглоссии книжный (литературный) и некнижный (живой) языки распределяют свои функции так, что они оказываются в дополнительном распределении, т.е. практически не пересекаются; при двуязычии, напротив, сосуществующие в языковом коллективе языки обладают рядом общих функций, т.е. в некоторых контекстах возможно употребление как того, так и другого языка. Соответственно, в условиях двуязычия оба языка так или иначе противопоставляются друг другу и, тем самым, непременно фиксируются в языковом сознании, они осознаются именно как два разных самостоятельных языка. Между тем, в условиях диглоссии сосуществующие языки не противопоставляются, а отождествляются. В этих условиях живой, некнижный язык может совершенно игнорироваться языковым сознанием - при том, что этим языком постоянно пользуются как средством разговорного общения.

Так, например, образованный араб вполне может утверждать, что его сограждане, не владеющие в достаточной степени литературным арабским языком, просто-напросто не знают по-арабски: для него существует только кодифицированная форма этого языка, все же остальные формы оказываются как бы несуществующими, они не осознаются как самостоятельные формы. Совершенно так же интеллигентный араб может заявлять, что всегда пользуется литературным арабским языком, хотя это заявление явно не соответствует действительности, поскольку сфера применения литературного языка чрезвычайно ограничена и он разговаривает практически на совсем другом языке (на живом арабском языке, который очень существенно отличается от литературного); тем не менее, только употребление книжного языка оказывается значимым для языкового сознания.

При диглоссии книжный язык не может выступать в качестве средства разговорного общения, что полностью исключает его из сферы быта. Если в языковом коллективе оба сосуществующих языка могут использоваться в качестве средства разговорного общения, перед нами не диглоссия, а двуязычие.

Понятие языковой нормы и, соответственно, языковой правильности связывается в условиях диглоссии исключительно с книжным языком, что проявляется прежде всего в его кодифицированности. Напротив, некнижный язык не может быть в этих условиях кодифицирован. Как мы уже говорили, книжный язык в отличие от некнижного эксплицитно усваивается в процессе

формального обучения, и поэтому только этот язык воспринимается в языковом коллективе как правильный, тогда как некнижный язык понимается как отклонение от нормы, т.е. нарушение правильного языкового поведения; иначе говоря, явления живой речи воспринимаются через эксплицитно усвоенные представления о языковой правильности, которые связываются с книжным языком. Вместе с тем, именно в силу престижа книжного языка такое отклонение от нормы фактически признается не только допустимым, но даже и необходимым в определенных ситуациях (см. подробнее: Успенский, 1984). Если, напротив, кодифицируются или преподаются в процессе формального обучения два языка, перед нами не диглоссия, а двуязычие.

Поскольку при диглоссии два языка воспринимаются как один, а контексты их употребления характеризуются дополнительным распределением, перевод с одного языка на другой оказывается в этих условиях принципиально невозможным. Из этого не следует, что одно и то же содержание нельзя выразить как на том, так и на другом языке; однако в этих условиях невозможно функционирование соотносящихся друг с другом параллельных текстов с одним содержанием - коль скоро некоторое содержание получает языковое выражение, т.е. выражено на одном языке, оно в принципе не может быть выражено на другом. Сказанное может быть проиллюстрировано невозможностью перевода сакрального текста на разговорный язык при диглоссии. Появление подобных переводов свидетельствует о разрушении диглоссии. Показательно, что такие переводы всегда вызывают активный протест носителей традиционного языкового сознания; так, в Греции перевод Нового Завета на новогреч. язык (димотики) в 1903 г. был воспринят как кощунство и привел к народному восстанию.

Совершенно так же при диглоссии невозможен и обратный перевод, т.е. перевод на книжный язык текста, предполагающего некнижные средства выражения. Отсюда следует, в свою очередь, принципиальная невозможность в этих условиях шуточного, пародийного использования книжного языка, т.е. применение его в заведомо несерьезных, игровых целях. В самом деле, пародия на книжном языке представляет собой именно недопустимый при диглоссии случай употребления книжного языка в неподобающей ситуации; вообще в этих условиях отсутствует пародия как литературный жанр (если понимать литературу как совокупность текстов на литературном языке, ср. 1.1).



Таким образом, диглоссию характеризует ряд признаков негативного характера, которые отличают эту языковую ситуацию от ситуации двуязычия, а именно: 1) недопустимость применения книжного (литературного) языка как средства разговорного общения; 2) отсутствие кодификации разговорного языка, отсутствие специального обучения этому языку; 3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием (особенно характерны в этой связи запрет на перевод сакральных текстов и невозможность пародии на книжном языке). При несоблюдении хотя бы одного из этих условий мы вправе предположить, что сосуществующие друг с другом языки находятся не в отношениях диглоссии, а в отношениях двуязычия.

2.2.2. Диагностические признаки диглоссии: отличия от ситуации сосуществования литературного языка и диалекта. Рассмотрим теперь, как соотносится ситуация диглоссии с более обычной для нас ситуацией сосуществования литературного языка и диалекта. Как уже говорилось, при диглоссии ни один социум не пользуется книжным (литературным) языком как

средством разговорного общения. Именно это обстоятельство в принципе отличает ситуацию диглоссии от одноязычной языковой ситуации: в ситуации сосуществования литературного языка и диалекта всегда имеется социум, который разговаривает на литературном языке (и на который ориентируются другие носители языка, желающие говорить правильно). Критерии языковой нормы, языковой правильности оказываются связанными при диглоссии исключительно с книжным языком, тогда как разговорное употребление лежит вообще вне этих критериев.

Отсюда следует нехарактерность социолингвистической дифференциации при диглоссии - разговорная речь вообще не имеет ценностного характера и поэтому не может служить для выделения одних социальных групп сравнительно с другими. Характерная для функционирования литературного языка в одноязычной (недиглоссийной) ситуации соотносительность с социальными верхами, а нелитературного языка (просторечия) - с социальными низами при диглоссии принципиально невозможна, поскольку для всего общества употребление как книжного, так и не-книжного языка является в принципе обязательным и зависит только от речевой ситуации. Одни и те же представления о языковой правильности оказываются в этих условиях едиными для всех слоев общества (при том что степень знакомства с книжным языком может быть неодинаковой в разных социумах). Следует отметить, что разрушение диглоссии нередко бывает связано с появлением социолингвистической дифференциации, когда элитарный социальный диалект принимает на себя функции литературного языка.

2.3. Книжный язык как язык культуры и язык культа при диглоссии. Поскольку при диглоссии книжный язык не употребляется в повседневном общении, а разговорный язык не функционирует в значимых для общества ситуациях, противопоставление книжного и не-книжного языка однозначно соотносится с противопоставлением культуры и быта. Как уже говорилось, при двуязычии два сосуществующих языка имеют ряд общих функций, и поэтому они параллельно функционируют по крайней мере в одной из сфер - культуры или быта; таким образом, противопоставление культуры и быта не соотносится с противопоставлением языков. В условиях сосуществования литературного языка и диалекта литературный язык, поскольку он служит средством разговорного общения, выступает и как язык культуры, и как язык быта. И здесь, следовательно, противопоставление литературного и нелитературного языка не накладывается однозначно на оппозицию культуры и быта. Однозначное соотношение книжного (литературного) языка и не-книжного (живого) языка с противопоставлением культуры и быта специфично исключительно для диглоссии.

Отсюда определяется культурная значимость книжного (литературного) языка при диглоссии - только с этим языком связываются культурные ценности и культурное сознание данного общества. Это проявляется прежде всего в особом престиже книжного языка. Книжный язык является средством отграничения культуры от не-культуры, именно поэтому он и ограничен в своем функционировании. Напротив, живой разговорный язык оказывается не связанным в этих условиях ни с какими культурными ценностями; этот язык вообще выпадает из культурного сознания. Тем самым, признаки, противопоставляющие книжный и не-книжный языки, получают в условиях диглоссии особую семиотическую значимость.

Однозначная связь противопоставления языков с противопоставлением культуры и некультуры основывается при диглоссии на особом ценностном характере книжной традиции. Эта традиция ориентирована, как правило, на корпус сакральных текстов, которые являются основополагающими для данной культуры. Можно вообще предположить, что ориентация на такой корпус текстов является непрямым условием возникновения диглоссии. Сакральные тексты могут выполнять такую роль в том случае, когда религия в принципе требует знания этих текстов от всех верующих, а не только от особой жреческой касты. Так обстоит дело в тех культурах, в которых наблюдается диглоссия и которые основаны на буддизме, христианстве или исламе. Проповедь веры связывается здесь с освоением определенных текстов (так, например, проповедь христианства представляет собой проповедь Евангелия как книги), а их знание выступает как необходимая предпосылка спасения (получения благодати). То или иное знание этих текстов необходимо в принципе всем, и поэтому всем необходимо то или иное знание книжного языка.

Анализируя ареалы распространения диглоссии, можно прийти к выводу, что эта ситуация имеет место там, где возникновение книжной культуры было связано с религиозным просвещением. Диглоссии не возникало там, где культурная и литературно-языковая традиция предшествовали проповеди новой религии. Именно поэтому диглоссия нехарактерна для европейской культуры: в Европе греческий и латынь стали языками церкви потому, что они уже задолго до этого были языками цивилизации. Соответственно, латынь и греческий не были изначально связаны с религиозными ценностями. Между тем диглоссия предполагает обратную ситуацию, когда тот или иной язык становится языком культуры и цивилизации в результате того, что он является языком культа. Если в первом случае литературный язык используется в разных своих функциях и ни одна из них не является определяющей, то во втором случае именно религиозная функция выступает как главная и обуславливает особый престиж литературного языка, особенно тщательно соблюдаемую дистанцию между книжной и разговорной речью (ср. Унбегаун, 1973).

В этой ситуации распределение функций между книжным и некнижным языком может восприниматься в религиозных терминах: в частности, употребление книжного языка в неподобающих обстоятельствах, равно как и использование некнижного языка там, где предполагается употребление языка книжного, может восприниматься как кощунство. Этим восприятием и объясняются, видимо, те протесты против переводов сакральных текстов на некнижный язык, о которых мы говорили выше (см. 2.2.2).

Дистанция между книжным и некнижным языком обеспечивается определенным набором формальных признаков (ср. 1.4), которые в силу этого приобретают особое значение: они отделяют сакральное от профанного, чистое от нечистого. Соответственно, они начинают восприниматься не как некий конвенциональный способ выражения, а как формальные элементы, безусловно связанные с религиозными ценностями. Так, литературный арабский язык воспринимается прежде всего как язык Корана, и в этом качестве ему приписывается божественное происхождение; считается, что это тот язык, который возник при сотворении мира (Фергусон, 1964, с. 432). Не менее показательным, что при переводе буддийских текстов с

пали на бирманский передается не только их содержание, но и их морфологическая структура. В силу неконвенциональности понимания знака сакральность содержания переносится на средства выражения, и самый язык воспринимается как сакральный.

Дистанция между сакральным и несакральным (профанным) языком обеспечивается охранением культурной традиции, поэтому культура и язык оказываются ориентированными на прошлое. Соотнесенность литературного языка с корпусом сакральных текстов обуславливает консервативность книжной нормы. Поэтому в условиях диглоссии тексты практически не стареют, читаются и переписываются те тексты, которые были созданы много веков назад, и эти тексты выступают как образцы (в частности, и в языковом отношении), по которым создаются новые сочинения. Такое положение вещей разительно отличается от ситуации в европейских культурах нового времени, когда язык произведений двухсотлетней или трехсотлетней давности оказывается недоступным для широкой читательской аудитории.

Особое значение в данных условиях приобретает и обучение книжному языку - обучение языку выступает здесь как путь к религиозной истине. Оно необходимо для всех и поэтому имеет всеобщий характер. При этом обучение языку имеет целью прежде всего научить понимать сакральные тексты, а не научить активному владению книжным языком. Вместе с тем, обучение языку сливается здесь с катехизацией, т.е. с обучением основным моментам религиозной доктрины. Естественно, что сама процедура обучения приобретает при этом ритуализованный характер, обучение начинается с молитвы и ею завершается. Обучение языку понимается как иррациональный мистический путь к истинному знанию, большую роль играет заучивание текстов наизусть. Образованность при таком подходе связана прежде всего со знанием текстов и совпадает с начетничеством.

2.4. Изменение языковой ситуации в России и периодизация истории русского литературного языка. Взаимоотношения ц-сл. и рус. языков, которые поставили перед нами проблему языковой ситуации (см. 2.2), строятся по модели диглоссии. В самом деле, перед нами два языка, функции которых находятся в строгом дополнительном распределении; один из этих языков, а именно церковнославянский, связан с письменной традицией, бытование второго языка, русского, связано по преимуществу со сферой повседневного общения. Есть все основания предполагать, что ц-сл. язык не употреблялся в качестве разговорного, только ц-сл. языку обучали, и только с ним связана нормализаторская и кодификаторская деятельность в средневековой Руси. Наконец, не существует никаких переводов с церковнославянского на русский и с русского на церковнославянский или вообще каких-либо параллельных текстов на этих языках с одним и тем же содержанием. Все это позволяет утверждать, что ц-сл. и рус. языки находились в Древней Руси не в отношениях двуязычия, но в отношениях диглоссии.

Вместе с тем, в истории рус. литературного языка имело место и церковнославянско-русское двуязычие. Более того, эволюция рус. литературного языка связана именно с переходом от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию. Поскольку двуязычие в отличие от диглоссии представляет собой нестабильную языковую ситуацию (см. 2.2), переход этот имеет радикальные последствия для истории рус. литературного

языка, а именно, распад двуязычия приводит к становлению рус. литературного языка нового типа - языка, ориентирующегося на разговорное употребление.

Этим определяется кардинальное значение понятия языковой ситуации для периодизации истории рус. литературного языка. Здесь выделяются три основных периода:

1. Период диглоссии с XI по XVII в.
2. Переходный период церковнославянско-русского двуязычия и становления языка нового типа со второй половины XVII по начало XIX в.
3. Стабилизация нового рус. литературного языка - с начала XIX в. по настоящее время.

В этой книге мы будем рассматривать, главным образом, первый период, а второй затронем лишь в той мере, в какой он непосредственно связан с предшествующим, а именно речь пойдет о разрушении диглоссии и о перестройке отношений между ц-сл. и рус. языками.

Рассматриваемая нами эпоха распадается на три основных этапа, связанных с тремя последовательными культурными влияниями. Условно обозначая их как "южнославянские" (о конкретном содержании этого термина будет сказано ниже), мы можем говорить о следующих этапах:

1. Первое юж-сл. влияние и формирование рус. редакции ц-сл. языка (XI-XIV вв.).
2. Второе юж-сл. влияние и образование двух редакций ц-сл. языка - великорусской и югозападнорусской (XIV-XVII вв.).
3. Третье юж-сл. влияние и разрушение диглоссии на великорус. территории (XVII-XVIII вв.).

Как видим, первые два этапа (первое и второе южнославянское влияние) соотносятся с периодом диглоссии, последний этап - с переходным периодом.

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

ПЕРВОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ РЕДАКЦИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

ГЛАВА I. ЯЗЫКОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОГО ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО ВЛИЯНИЯ

3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКОЙ КНИЖНОЙ ТРАДИЦИИ

3.1. Южнославянское влияние. Начало рус. книжной традиции связано с христианизацией Руси как важнейшим культурным и политическим событием ее ранней истории. Основной вехой здесь может считаться крещение Руси (988 г.), которому предшествовало крещение князя Владимира. С принятием христианства в качестве государственной религии ц-сл. язык получает статус языка официального культа, что и создает предпосылки для его функционирования в качестве литературного языка восточных славян.

С крещением Руси связана целенаправленная деятельность по введению ц-сл. языка как языка христианской культуры. Летопись прямо соотносит христианизацию Руси и начало там книжного учения. Сразу же после известия о крещении киевлян в 988 г. "Повесть временных лет" сообщает, что Владимир "нача поимати у нарочитые чади дѣти, и даяти нача на ученье книжное" (ПВЛ, I, с. 81). Это событие можно считать поистине эпохальным для истории литературного языка, поскольку начало школьного учения знаменует начало литературного языка. Как уже говорилось (см. 1.3), литературный язык связан со специальной книжной нормой, которая усваивается путем формального обучения.

Обучение ц-сл. языку выступало как частный момент приобщения к христианской культуре. Будучи необходимым элементом радикальной культурной перестройки, это обучение первоначально имело принудительный характер (подобно тому как принудительный характер имело и само крещение). Говоря о набираемых в школы детях, летописец пишет: "Матере же чадъ сихъ плакахуся по нихъ, еще бо не бяху ся утвердили вѣроу, но акы по мертвеци плакахся" (ПВЛ, I, с. 81). Обучение сначала не было повсеместным (брались дети "нарочитые чади", т.е. социальной элиты), но, надо полагать, достаточно скоро стало таковым, так как устройство школ было связано с религиозным просвещением и поручено духовенству.

Дело князя Владимира именно в создании рус. школьного образования, а не рус. письменности. Последняя появляется несколько позже, при князе Ярославле Мудром, когда, согласно летописи, начинается переписывание книг и возникает переводная литература (см. 3.2). Появление рус. письменности обуславливает, в свою очередь, создание рус. извода ц-сл. языка, т.е. рус. литературного языка. Владимир между тем использовал для обучения уже имевшиеся к тому времени богослужебные книги: в летописи под тем же 988 г. упоминается о книгах, розданных "на ученье" (ПВЛ, I, с. 81). Исследователи более или менее единодушно полагают - основываясь, главным образом, на филологических данных, т.е. на ретроспектив-

ном прослеживании традиции, отраженной в позднейших памятниках письменности, - что книги эти были южнославянские. Это позволяет говорить о первом южнославянском влиянии и связывать с ним начальную фазу формирования литературного языка восточных славян.

3.1.1. Начало христианизации Руси. Какие же книги могли быть розданы на учение? Есть все основания думать, что фактическая христианизация Руси началась еще до Владимира. Византийский патриарх Фотий уже в 867 г. (т.е. еще при жизни Кирилла и Мефодия) сообщает о крещении Руси (народа 'Ρῶς) как о состоявшемся факте, упоминая об учреждении там епархии (Минь, СII, стлб. 736d-737a). Посылка Фотием епископа на Русь последовала за осадой русскими Константинополя в 860 г. (ПВЛ, I, с. 19, датирует поход русских 866 г.); с этим событием может быть связано предание о крещении Аскольда. Константин VII Багрянородный приписывает крещение Руси своему деду императору Василию I (867-886), низложившему Фотия, но последовательно продолжавшему его политику в славянских землях; он же сообщает, что в Константинополе на византийской службе в сер. X в. были крещенные руссы, οἱ βαπτισμένοι 'Ρῶς ("О церемониях ...", II, 15 - Константин, I, с. 579).

Во всяком случае, уже при Игоре (912-945) в Киеве существовала христианская община, объединявшаяся вокруг церкви св. Илии на Подоле; сообщая об этой церкви, летописец прибавляет: "мнози бо бѣша Варязи хрестеяни" (ПСРЛ, I, стлб. 54); по не вполне достоверному чтению Шахматова: "мънози бо бѣша Варязи и Козаре хръстияне" (Шахматов, 1916а, с. 61; ср. ПВЛ, I, с. 39). В этой церкви христианская часть дружины Игоря приносила клятву на договор с греками в 944-945 гг. Имеются неопровержимые свидетельства о крещении княгини Ольги (по-видимому, в 954-955 гг.). Константин Багрянородный в описании приема Ольги в Константинополе упоминает пресвитера (священника) Григория, сопровождавшего Ольгу ("О церемониях...", II, 15 - Константин, I, с. 594-598), ср. сообщение I Новгородской летописи о том, что Ольга имела "прозвутера втайне" (Новг. летописи, с. 12). Целый ряд источников сообщает о довольно широком распространении христианства на Руси в период, непосредственно предшествующий ее официальному крещению.

По свидетельству летописи, в 983 г. были убиты варяги-христиане (отец и сын), отказавшиеся подчиниться язычникам (ПВЛ, I, с. 58), - можно думать, что мы имеем здесь дело с языческой реакцией на распространение христианства, грозившее подорвать основы прежнего порядка. По сообщению саги об Олафе Трюггвасоне Олаф уговаривает Владимира принять христианство и даже привозит для этого византийского епископа; знаменательно, что после крещения Руси Владимиром в 988 г. Олаф насаждает христианство в Норвегии и учреждает там (около 997 г.) первую епархию (при этом первая норвежская кафедральная церковь посвящается св. Клименту Римскому, что, по-видимому, указывает на связи с Киевом - непосредственно после своего крещения Владимир привозит в Киев часть мощей св. Климента, в свое время обретенных Константином Философом, и, по некоторым сведениям, строит здесь церковь в честь этого святого - Власто, 1970, с. 258). В период язычества Владимира по крайней мере четыре его жены были христианками, и не исключено, что при них были священники: норвежка Адлага, которая, согласно саге об Олафе, вместе с Олафом повлияла на Владимира в вопросе о крещении; гречанка, вдова Ярополка - бывшая монахиня; болгарка, мать Бориса и Глеба; наконец, чешка (Мошин, 1963, с. 43).

Итак, по крайней мере за сорок лет до официального крещения Руси в Киеве была христианская церковь. Наличие церкви с необходимостью предполагает существование богослу-

жебных книг, и есть все основания думать, что книги эти были на ц-сл. языке, хотя вопрос о конкретной редакции (изводе) этого языка остается открытым. Из приведенных свидетельств видно, что христианская община в Киеве была этнически разнородной: в нее входили, в частности, варяги. Тем не менее, языком христианства в Киеве несомненно был ц-сл. язык, доступный всем этническим группам киевского населения (см. 3.1.4).

Заслуживает в этой связи внимания судьба одного из канонических ст-сл. памятников, а именно Супр. рукописи. Первые монахи Супрасльского монастыря, где хранилась эта рукопись, были выходцами из Киево-Печерской Лавры, и надо думать, что именно оттуда она попала в Супрасль (Рогов, 1978, с. 324-327). Не исключено, что эта рукопись оказалась в Киеве в результате русско-болгарских контактов, т.е. в числе тех книг, которые были получены из Болгарии и Македонии еще до возникновения собственно русской письменности.

3.1.2. Ц-сл. язык на Руси до ее крещения. Как было сказано, письменная традиция возникает на Руси после крещения, однако окказиональное употребление письменности могло, видимо, иметь здесь место и раньше. Все имеющиеся свидетельства указывают, что эта письменность была на ц-сл. языке. Об этом говорит прежде всего язык договоров с греками 911, 944 и 972 гг. (а также дошедший до нас фрагмент договора 907 г., который, по мнению Шахматова, составляет один текст с договором 911 г.) (ПВЛ, I, с. 24-25, 25-29, 34-39, 52). Эти договоры написаны по-церковнославянски и в них употребляется ц-сл. юридическая терминология (Унбегаун, 1969, с. 179-204; ср. 5.3). Все договоры были написаны в Византии и представляли собой перевод с греч. текста, составленного в соответствии с греч. протоколом; соответственно, в них обнаруживается большое число лексических, семантических и синтаксических грецизмов (Лавровский, 1853; Обнорский, 1960, с. 111-114). Неясно, конечно, кто были те славяне, которые перевели текст договоров с греч. на ц-сл. язык - славянская колония в Константинополе включала в себя представителей разных племенных групп; по мнению С. П. Обнорского (1960, с. 119), перевод договора 911 г. был выполнен не русским, а болгаринном, и это определяет его подчеркнуто юж-сл. облик; согласно И. И. Срезневскому (1882, стлб. 7) договор 972 г. был первоначально записан глаголицей (следы глаголического оригинала отразились в употреблении форм числительного). Так или иначе, все эти договоры оказались в рус. княжеской канцелярии; для нас особенно интересен договор 944 г., поскольку конец этого договора (где говорится о клятве рус. дружины в Киеве) был написан в рус. столице. Не менее показательны, что в тексте данного договора упоминаются верительные грамоты, которые рус. князь обязуется давать рус. послам и купцам, едущим в Византию (до этого послы и купцы имели при себе лишь печати); явно имеются в виду грамоты на том же языке, на котором написан сам текст данного договора, т.е. на ц-сл. языке.

О бытовании ц-сл. языка на Руси может свидетельствовать и Гнездовская надпись сер. X века - надпись на сосуде, найденном в селе Гнездово под Смоленском. Чтение этой надписи вызывает разногласие исследователей, однако наиболее вероятным представляется чтение *гороуница*, т.е. здесь может быть усмотрена ц-сл. форма *горюща* "горючее" (Неделькович, 1967, с. 6-7; Мельников, 1967, с. 127; Львов, 1971, с. 50). Как носовое произношение юса, так и *щ* на месте **tj* указывают на ц-сл. характер этой формы.

Если считать, что договоры с греками говорят о существовании письменной традиции, необходимо признать, что языком княжеской канцелярии в X в. был ц-сл. язык. Между тем,

позднее деловые документы пишутся на рус. языке (см. 5.3 и 5.4). Этот факт можно было бы объяснить тем, что в данный период ц-сл. язык не связывается еще исключительно с христианской культурой, не входит в антитезу сакрального-мирского, как это будет впоследствии, а принимает на себя просто функции письменного языка, т.е. того языка, которым пользуются при письменной фиксации текста. Тем самым, здесь нет еще распределения функций, характерного для диглоссии (ср. 2.2). Таким образом, даже если предполагать наличие какой-то письменной традиции на ц-сл. языке (конечно, в ограниченных формах) еще до крещения Руси в 988 г., правомерно утверждать, что именно в результате этого события возникла церковнославянско-русская диглоссия. С крещением Руси ц-сл. язык получает права и функции языка литературного. Принудительный характер обучения ц-сл. грамоте при князе Владимире - как и вообще религиозного просвещения - указывает на сознательное внедрение и распространение ц-сл. языка в этом качестве.

3.1.3. Ц-сл. язык как средство византизации рус. культуры. Итак, реформы князя Владимира связаны с юж-сл. влиянием. Филологические данные с несомненностью говорят о преемственности рус. книжной традиции в отношении южнославянской. Между тем, практически отсутствуют какие бы то ни было исторические свидетельства о культурных связях между Болгарией и Киевской Русью. Отсутствие подобных свидетельств позволяет предположить, что усвоение юж-сл. книжной традиции было обусловлено не столько культурной (или церковно-политической) ориентацией на Болгарию, сколько ролью южных славян как проводников греч. культурного влияния. Иначе говоря, южные славяне играли вспомогательную, посредническую, но не самостоятельную роль: ориентация была греческой, письменность - болгарской. Принятие ц-сл. языка в юж-сл. изводе совсем не предполагает с обязательностью наличия сколько-нибудь устойчивых болгаро-рус. культурных контактов.

Отсутствие прямых исторических свидетельств касательно болгаро-рус. культурно-религиозных контактов заставляет историков предполагать позднейшую тенденциозную переделку летописей, при которой были устранены все указания на болгаро-рус. связи и подчеркнуты, напротив, связи греческо-русские (ср., например, так называемую Корсунскую легенду, в которой основная роль в обращении Владимира отводится греч. корсунскому, т.е. херсонскому епископу). Это, в свою очередь, открывает возможность для самых разнообразных гипотетических построений, реконструирующих то, что якобы было подвергнуто сознательному изъятию. Такова гипотеза М. Д. Приселкова (1913) о первоначальном подчинении рус. церкви, сразу же после крещения, не константинопольскому, а охридскому патриарху. Следует иметь в виду, что в 972 г. Византия покорила Преславское царство, а в 1018 г. пало и Охридское царство. Это оставляет очень мало возможностей для миссионерской деятельности и церковно-политической экспансии. Кроме того, государство в период падения, как правило, не обладает достаточным престижем для расширения сферы своего влияния. Тем самым, гипотетические построения такого рода оказываются излишними. Остается открытым вопрос, в какой степени завоевание Болгарии и Македонии могло способствовать массовой эмиграции болгарских книжников в Киевскую Русь; во всяком случае, это не имеет прямого отношения к вопросу о культурно-политической ориентации Киевской Руси.

Ц-сл. язык выступает как средство византизации рус. культуры, т.е. трансплантации византийской культуры на рус. почву, в результате которой Россия в известном смысле становится частью византийского мира. Ц-сл. язык (в разных своих изводах) выступает как общий

литературный язык православного славянства ("slavia orthodoxa"); при этом "slavia orthodoxa" осмыслялась именно как славянская версия византийской культурной традиции.

Эта роль ц-сл. языка исключительно отчетливо проявляется, между прочим, в надписях на монетах, выпущенных при Владимире. После крещения Руси Владимир начинает чеканить монеты - явно ориентируясь при этом на Византию. Но знаменательно, что имя Владимира в надписях на этих монетах представлено в неполногласной, т.е. ц-сл. форме: *Владимиръ на столѣ; Владимиръ а се его сребро; Владимиръ на столѣ а се его сребро* (Толстой, 1882, с. 12-14, 23, 30-32, 40-45, 127, 227-229). Это тем более характерно, что во всех других ранних рус. источниках данное имя всегда представлено в полногласной форме (*Володимира* в Остр. ев. 1056-1057 гг., л. 294в; *Володимиръ* в граффито Софии Киевской конца XI в.; *Володимиръ* в Мстисл. грамоте ок. 1130 г.; *Володимирова* в надписи на чаре черниговского князя Владимира Давыдовича 1139-1151 гг.; *Володимиръ ~ Володимеръ* в летописях; и т.п.) - неполногласная форма появляется в рус. текстах только с XV в. в результате второго юж-сл. влияния, и надписи на монетах составляют едва ли не единственное исключение к этому общему правилу (Франчук, 1965, с. 262). Совершенно так же и на монетах, чеканенных при Святополке (1015-1019 гг.), имя князя представлено в юж-сл. написании: *Стоплъкъ* или *Стоплъкъ* (Толстой, 1882, с. 47-48, 50). Эти юж-сл. формы не могут объясняться непосредственным юж-сл. влиянием, поскольку у южных славян чеканка монет начинается много позднее (на Балканах в это время имели хождение византийские деньги) - таким образом, юж-сл. (ц-сл.) формы появляются в результате ориентации не на Болгарию, а на Византию. Ц-сл. язык выступает в данном случае как язык культуры, а не культа - это проявляется тем более отчетливо, что славянизации подвергается языческое имя князя Владимира; характерно, что на одной из его монет значится как языческое имя Владимир, так и христианское имя Василий, полученное Владимиром при крещении (на одной стороне надпись: *Владимир а се...*; на другой стороне: *свѣтаго Васи́ла* - Толстой, 1882, с. 45).

Крещение Владимира, а затем и всего Киева в 988 г., так же как и предшествовавшее ему крещение Ольги, выступало как совершенно определенный политический акт, свидетельствуя прежде всего о византийско-рус. политических контактах и одновременно о культурной ориентации рус. князей. Тем самым, принятие христианства вводит Русь в орбиту византийского мира (подобно тому, как петровские реформы позднее вводят Россию в орбиту мира европейского). Русь принимает византийскую систему ценностей и стремится вписаться в эту систему. Для Византии крещение Руси означает расширение сферы культурного, а следовательно и политического влияния (Византия нередко использовала христианизацию разных народов как средство культурной и политической экспансии; следует иметь в виду, что политика и религия вообще объединялись в византийской государственной деятельности). Между тем, для России это означает выбор культурной ориентации, связанной с политическим самосознанием: рус. княжеская власть осознает себя через ориентацию на византийский культурный эталон (типологически это, опять же, сопоставимо с ролью европейского культурного эталона в петровскую эпоху). Знаменательно в этом смысле, что Ольга принимает при крещении имя византийской императрицы Елены, жены Константина Багрянородного (это специально отмечается в летописи - ПВЛ, I, с. 44), а Владимир - имя современного ему императора Василия II. Не менее характерно, что на монетах Владимира он изображен в царском венце и вообще в византийском царском уборе (Толстой и Кондаков, IV, с. 167-168). По свидетельству Константина Багрянородного ("О управлении империей", гл. XIII), Русь, как и другие варварские народы, обращалась в Константинополь с просьбой прислать что-либо из царских одежд, корон или украшений (Константин, III, с. 82-84); Константин дает специальное указание относи-

тельно того, как следует объяснять отказ на подобную просьбу, - при всей абсурдности этой просьбы она явно свидетельствует о стремлении рус. князей уподобиться византийскому императору. Начиная по крайней мере с Ярослава Мудрого, рус. князья могли неофициально именоваться царями (цесарями), т.е. так же, как именовался византийский император (Водов, 1978, с. 8 сл.).

Совершенно такая же ориентация на византийский культурный эталон имела место в свое время и в Болгарии. И здесь христианство начинает проникать в круг династии за несколько десятилетий до крещения Болгарии при князе Борисе (864-865 гг.), причем Борис принимает при крещении имя современного ему императора Михаила.

В результате крещения политическое положение как Ольги, так и Владимира необычайно упрочилось - во всяком случае в перспективе Константинополя. Ольга была принята в Константинополе с почти небывалыми почестями, по существу на правах коронованной особы, т.е. ее принимали как главу христианской державы (Острогорский, 1967, с. 1466-1470; ср. Ариньон, 1980). Между тем Владимир удостоился невиданной дотоле чести вступления в брак с византийской порфирородной принцессой (Анной, сестрой императора Василия II) - непрямым условием брака было поставлено крещение Владимира и его подданных. Непосредственной причиной данного брака была военная помощь, которую оказал Владимир византийскому императору во время восстания Варды Фоки (восстание имело место с августа 987 г. по апрель 989 г.). Брак этот представлял собой настолько беспрецедентное явление, что византийцы попытались уклониться от принятого обязательства, и тогда Владимир вторгся в византийские владения и летом 989 г. овладел Корсунью (Херсоном). Незадолго до этого, в 968 г., византийцы ответили резким отказом императору Оттону Великому, который сватал за сына царевну, дочь императора Романа II: "неслыханная вещь, чтобы порфирородная, т.е. дочь рожденного в пурпуре, рожденная в пурпуре, вступила в брак с варваром" (Пресняков, 1938, с. 100). На невозможность подобных браков специально указывал Константин Багрянородный ("О управлении империей", гл. XIII, см. Константин, III, с. 86-89).

Следует иметь в виду, что варварские князья рассматривали вообще личный союз с правящей династией как признание Византией их суверенных прав. Так, в 913 г. Симеон Болгарский снял осаду Константинополя, получив обещание, что одна из его дочерей выйдет замуж за императора Константина; византийцы не сдержали этого обещания, что вызвало вторжение Симеона во Фракию.

Косвенное отражение политического упрочения Руси в сфере византийского мира может быть усмотрено в позднейшей летописной легенде о сватовстве императора Константина Багрянородного к княгине Ольге (ПВЛ, I, с. 44): ошибаясь в конкретных фактах, летописец правильно изображает общую политическую картину.

Южные славяне были авторитетными посредниками в русско-византийских культурных контактах; совершенно аналогичная ситуация имеет место затем в случае второго и третьего юж-сл. влияния - в прямом соответствии со своим географическим положением южные славяне постоянно выступают посредниками между греками и славянским севером. Крещение Болгарии в 864-865 гг. повлекло за собой эллинизацию болгарского общества (Власто, 1970, с. 11); предпосылки к такой эллинизации были заложены в совместном проживании греков и славян на Балканах, обуславливавшем в некоторых местах естественное греко-славянское двуязычие. В этих условиях посредническая роль южных славян оказывается вполне естественной.

Ориентация на южных славян как на посредников в греч.-рус. связях обуславливает и недолговременность непосредственного юж-сл. влияния, которое прекращается во всяком случае уже к началу XII в. (см. 6.2.1), когда рус. рукописи перестают испытывать влияние юж-сл. протографов (т.е. складывается рус. извод ц-сл. языка, а специфические юж-сл. черты подвергаются правке). В дальнейшем юж-сл. влияние становится уже о по-

средствованным - через рус. книжную традицию, изначально воспринятую от южных славян. Таким образом, юж-сл. извод ц-сл. языка был пересажен на рус. почву и здесь получил новую жизнь.

3.1.4. Славянский язык как средство межнационального общения. Итак, христианизация и эллинизация связывались для русских с усвоением ц-сл. языка в качестве языка литературного. Использование ц-сл. языка в этой функции было естественным и с византийской точки зрения. В греч. перспективе вост-сл. и юж-сл. диалекты вообще, видимо, не представлялись принципиально разными: прецедент использования ц-сл. языка при христианизации Болгарии теперь распространялся и на вновь обращаемую славянскую страну. Для такого восприятия были, видимо, реальные основания: по сообщению византийского историка Иоанна Скилицы, когда в 970 г. рус. войско "сражалось с византийцами, имея союзниками болгар, венгров и печенегов, то русские выстраивались вместе с болгарами как говорящие на едином славянском языке" (Скилица-Кедрин, II, с. 386).

Славянским языком пользовались не одни славяне; в X в. славянские диалекты могли выступать как *lingua franca*, обслуживающая различные неславянские племена. Еврейский путешественник Ибн-Якуб около 965 г. сообщает, что славянским языком пользуются варяги (Соловьев, 1968, с. 261; Шепард, 1974, с. 2). Договоры с греками 911 и 944 гг. начинаются перечнями послов, среди которых мы не находим, кажется, ни одного славянского имени (в основном, послами были варяги - Томсен, 1891, с. 65-68, 119-130), - тем не менее договоры были написаны на ц-сл. языке и на этом же языке велись, возможно, переговоры. Как уже говорилось (см. 3.1.1), ц-сл. язык обслуживал религиозные нужды обратившихся в христианство варягов и, возможно, хазар. Любопытно и то, что в летописи не встречается названий варяжских языческих богов, но только имена славянского языческого пантеона. Особенно же характерно, что у византийских авторов законы и обычаи печенегов и венгров могут называться славянским словом закон (ζάχαλον, τὰ ζάχαλα), а венгерские вожди именуются воеводами (βοέβοδος). По-видимому, это отражение собственной речи этих народов (печенегов и венгров), которые в своих внешних сношениях пользовались славянским языком (Бьюри, 1906; ср. Мошин, 1938; Погодин, 1938).

3.1.5. Социальный аспект распространения ц-сл. грамотности. Как мы видели, возникновение рус. книжной традиции связано с государственным преобразованием в Киевской Руси. В этих условиях закономерно, что распространение книжной образованности, также как и сам процесс христианизации, начинается с верхов. Еще до крещения Руси христианство проникает в социальную элиту, захватывая в первую очередь княжескую дружину и самих князей (ср. 3.1.1). Такое положение в какой-то степени сохранялось еще и во второй половине XI в., ср. рассказ летописи под 1071 г. о борьбе князя Глеба с волхвами в Новгороде: "И раздѣлишася надвое: князь бо Глѣбъ и дружина его идоша и стаха у епископа, а людье все идоша за волхва" (ПВЛ, I, с. 120). Еще в конце XI в. возникает вопрос о том, должны ли простые люди венчаться в церквах, т.е. в это время венчание еще воспринимается как обряд, свойственный только высшим слоям общества (РИБ, VI, стлб. 18); отражение

такого взгляда может быть усмотрено в народном свадебном обряде, в котором жених и невеста называются "князем" и "княгиней", а дружки - "боярами".

Равным образом, и распространение ц-сл. грамотности первоначально было связано с социальной дифференциацией - как и христианизация, оно шло сверху вниз. Владимир, как мы знаем, берет детей для книжного учения у "нарочитой чади". В дальнейшем, поскольку устройство школ было связано с религиозным просвещением и миссионерской деятельностью, оно было поручено духовенству; тем самым знание ц-сл. языка становится в первую очередь характерным для духовных лиц. По сообщению ряда новгородских летописей уже Ярослав в 1030 г. организует в Новгороде школу, куда наряду с детьми элиты специально зачисляются и дети духовенства: "събра отъ старость и отъ поповъ дѣтеи 300 оучити книгамъ" (ПСРЛ, IV, 1, с. 113, ср. ПСРЛ, IV, 2, с. 116; ПСРЛ, V, 1, с. 126; ПСРЛ, IX, с. 79). С передачей школьного дела духовенству знание ц-сл. языка утрачивает элитарный характер. Хотя социолингвистическая дифференциация общества не характерна при диглоссии (см. 2.2.2), степень владения книжным языком может быть неодинаковой в разных социальных группах - и, соответственно, какая-то часть общества выступает как хранитель языковой традиции, не обладая при этом исключительной привилегией на пользование данным языком. В рус. условиях такую роль носителя ц-сл. традиции выполняло духовенство. Отсутствие у православного духовенства celibата (обязательного безбрачия, принятого у католиков) приводило к тому, что священство становилось в определенной мере наследственным занятием. В результате уже в относительно раннюю эпоху устанавливаются священнические рода, насчитывающие многие поколения; так, в Зарайске в церкви Николы Зарайского преемственно священствовали десять поколений потомков священника Евстафия, привезшего в 1224-1225 гг. образ св. Николая из Корсуни в Рязанскую землю (Шахматов, 1908, с. 1088; Голубинский, I, 2, с. 416). Такая преемственность поколений в той части общества, которая служит хранителем культурной и языковой традиции, способствует стабильности книжно-языковых норм, причем в этих условиях ряд нормативных сведений может передаваться из поколения в поколение устным путем (в частности, традиции книжного произношения, см. 6.4.4). Вместе с тем, отсутствие celibата наряду с практикой наследования прихода приводило к тому, что в России, как и в Византии, складывался образованный класс, неизвестный католическому Западу - дети священнослужителей, которые не пошли по стопам отцов (понятно, что в многодетных священнических семьях не все дети могли получить место при церкви). Таким образом, духовенство оказывается ядром своеобразной древнерусской интеллигенции, выступая носителем комплекса культурных (а не социальных) ценностей. Поэтому ц-сл. язык оказывается языком культуры, а не социальным диалектом.

3.2. Греч. влияние. Два последовательных этапа формирования рус. книжной традиции ознаменованы деятельностью Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Дело Владимира, как уже говорилось, - создание школьного образования ("книжного ученья"), но не рус. письменности. Последняя появляется при Ярославе, когда начинается переписывание книг и возникает переводная литература. Летопись под 1037 г. ставит в особую заслугу Ярославу "книжное просвещение": "и собра писцѣ многы и прекладаше от грекъ на словѣньское писмо. И списаша

книги многи, ими же поучащися вѣрнии людѣ наслаждаются ученья божественаго" (ПВЛ, I, с. 102). Итак, если при Владимире на Руси распространялись юж-сл. книги ("раздажные на ученье"), то при Ярославе получила начало рус. письменность, т.е. появляются книги не привезенные, а здесь созданные. Этим было положено основание формированию рус. извода ц-сл. языка. В ходе переписывания и перевода книг на Руси ц-сл. язык усваивает ряд характеристик вост-сл. происхождения, которые закрепляются в нем первоначально на правах вариантов, а к XII в. становятся нормативным явлением (см. 6.2.2). Определяющую роль в этом процессе имеет переводческая деятельность: переводы с греческого играют принципиально важную роль в формировании литературного языка и определении его функций (в XVIII в. при создании нового литературного языка такую же роль будут играть переводы с западноевропейских языков).

"Книжное ученье" при Владимире и "книжное просвещение" при Ярославе предстают в летописи как две фазы одного начинания. Следует иметь в виду при этом, что слово *просвещение* имеет отчетливые религиозные коннотации, т.е. речь идет прежде всего о провозглашении христианской истины через книги.

3.2.1. Переводы с греческого в Киевской Руси. Начавшись при Ярославе Мудром, переводческая деятельность очень скоро принимает широкие и разнообразные формы. С греч. языка переводится большой и весьма богатый по своему содержанию и жанровой характеристике корпус текстов: богословская, апокрифическая, агиографическая, историческая, естественнонаучная, повествовательная и другая литература. Сюда относятся, например, такие произведения исторического характера, как хроника Георгия Синкелла и "История иудейской войны" Иосифа Флавия, такие географические сочинения, как "Христианская топография" Козьмы Индикоплова, такие повествования, как "Александрия" или "Повесть об Акире Премудром", такие агиографические произведения, как Житие Василия Нового, произведения апокрифически-пророческого характера, как "Откровение" Мефодия Патарского, богословско-догматического, как "Исповедание веры" Синкелла и т.п. (см. Истрин, 1922, с. 4). Эти произведения, переведенные на Руси, смешиваются с юж-сл. переводами, которые на Руси переписывались, образуя таким образом единый фонд книжной словесности, на который ориентируется последующее развитие литературы и языка. Необходимо подчеркнуть, что переводятся и переписываются такие произведения, содержание которых никак не может представлять практический интерес для русского читателя, например, сочинения, посвященные истории Византии и при этом даже охватывающие в значительной части дохристианский период (ср. хроники Иоанна Малалы или Георгия Амартола). Тем не менее, они интересны для русских как часть византийской культуры. Принадлежность их к византийской литературе и обуславливает их вхождение в рус. литературу и бытование в ней. Рус. литература (письменность, образованность) представляет собой на начальном этапе не что иное, как сколок с византийской литературы.

Уже в начальный период рус. письменности объем доступной книжнику словесности настолько велик, что позволяет говорить о вхождении Руси в круг византийской образованности. Именно потому, что рус. культура сразу вписалась в византийскую, здесь не было периода ученичества. Так, "Слово о законе и благодати" Илариона, написанное между 1037 и

1050 гг., являет собой поразительный пример оригинального литературного творчества при книжном влиянии греч. образованности. О том же говорят сочинения Кирилла Туровского (XII в.). Тексты такого рода могли бы быть написаны и в современной им Византии.

Замечательно, что Иларион специально подчеркивает в "Слове о законе и благодати", что он обращается к просвещенной, книжной аудитории: "Еже поминати въ писаніи семь и прѣороческаа проповѣданіа о Х҃стѣ и ап҃льскаа оученіа о будущіимъ вѣцѣхъ, то излиха есть и на тщеславіе съкланяѣся. Еже бо въ инѣхъ книгахъ писано и вами вѣдомо, ти сде положити, то дрѣзости образъ есть и славохотію. Ни къ невѣдушіимъ бо пишемъ, но прѣизлиха насытъшемся сладости книжныа. Не къ врагомъ божиѣмъ иновѣрнымъ, но самѣмъ сѣномъ его. Не къ стран'нымъ, нѣ къ наслѣдникомъ нѣбснаго цр҃ьства" (Молдован, 1984, с. 79, ср. с. 110, 139, 160-161, 186), т.е.: "Упомянуть в этом писании проповедь пророков о Христе и учение апостолов о будущем веке излишне и близко к тщеславию. Признак дерзости и честолюбия - предлагать здесь то, что написано в других книгах и вам уже известно. Не к незнающим пишем, но к тем, кто с избытком насытился книжной сладости; не к иноверным противникам Бога, но к его детям; не к посторонним, но к наследникам Царства небесного". Высокая литература в принципе предполагает соответствующую по уровню образования читательскую аудиторию, способную воспринять как содержание, так и форму предлагаемого ей произведения - и Иларион декларативно подчеркивает наличие таких читателей. Прошло немногим более полувека с начала распространения ц-сл. грамотности и не более 13 лет со времени появления собственно рус. письменной традиции, но это ничуть не смущает рус. книжника - постольку, поскольку он ощущает себя в русле определенной культурной традиции (как славянской, так в конечном счете и греческой).

Переводы с греческого предстают как проявление общей культурной тенденции, обусловленной стремлением перенести византийскую культуру на рус. почву, привить здесь византийские культурные ценности; та же тенденция проявляется в живописи, в архитектуре и т.п. Особенно знаменательно в этом смысле стремление перенести в Киев культурное пространство Константинополя, т.е. культурно уподобить его Константинополю. Так, при Ярославе Мудром в Киеве закладывается церковь св. Софии (1037 г.) явно по образцу константинопольского Софийского собора; одновременно воздвигаются Золотые ворота, также в подражание византийской столице (по другим сведениям Софийский собор был построен уже при Владимире - Раппопорт, 1982, с. 11). Равным образом Десятинная церковь в Киеве - первая церковь, построенная после крещения Руси - была заложена 2 июля (989 г.), в день положения ризы Богородицы во Влахерне; это указывает на желание связать строительство Десятинной церкви с константинопольскими традициями, т.е. эта церковь как бы воспроизводит константинопольский Влахернский Храм (Раппопорт, 1974, с. 48). В конце XI в. Стефан, бывший игумен Печерского монастыря, основал в Киеве монастырь "и цр҃квь възгради въ имя ст҃а б҃ца и нарекъ мѣсто то по образу соущааго въ Костянтини градѣ - из Лахерьна" (Усп. сб., л. 66г). Ориентация на византийские культурные модели выступает при этом очень отчетливо и наглядно.

Следует предположить, что переводов с греческого, осуществленных на Руси, было довольно много; для домонгольского периода их насчитывают более тридцати (см. перечень таких переводов: Дурново, 1969, 105-111). Вместе с тем, часто бывает весьма затруднительно отличить перевод, сделанный на Руси, от перевода, выполненного в юж-сл. странах. Методика такой атрибуции была установлена А. И. Соболевским (1910, с. 162-178) и В. М. Истриным (II, с. 248-249, 268-308; III, с. V-L; 1922, с. 76-78); они обращают внимание в

основном на лексические критерии, т.е. на специфические словарные русизмы. Сюда относятся славянские по происхождению слова с специальными значениями, такими как названия должностных лиц, монет, мер, веса и т.п. (ср. *посадник*, *староста*, *гривна*, *куна*, *рѣзана*), специфические для рус. языка заимствования из других языков, такие как *шелк* (юж-сл. *свила*), *плуг* (юж-сл. *рало*), *жньчюг* ~ *женчуг* (юж-сл. *бисер*), *уксус* (юж-сл. *оцѣт*), специфически рус. топонимы и этнонимы (*Корчева* "Керчь", *Сурож* "Судак" и т.п.). Имеются и другие, дополнительные критерии, позволяющие сделать вывод о месте перевода. Так, до некоторой степени показательным является смешение у рус. переводчиков охридской и преславской редакции ц-сл. языка: безразличное употребление в каком-либо памятнике словарного материала обеих редакций дает основание предположить, что памятник рус. происхождения. Показательным может быть и употребление рус. форм отчеств (патронимики) типа *Иисус Сирахович* (т.е. Иисус, сын Сираха), *Евсевии Панфилич* (т.е. Евсевий Памфил) и т.п. Наконец, на рус. происхождение памятника может указывать, как иногда считают, и употребление придаточных цели с союзом *да* при глаголе-сказуемом в сослагательном наклонении (*молю, да бы пришел*); между тем, соответствующая конструкция с союзом *да* при глаголе-сказуемом в изъявительном наклонении (*молю, да придешь*) как свидетельство происхождения памятника не показательна (Бройер, 1957; Мещерский, 1962, с. 98-101; Мещерский, 1964, с. 192-198; Мещерский, 1978, с. 23).

Критерии такой атрибуции, вообще говоря, не являются достаточно строгими, поскольку текст может существенно изменяться в процессе позднейшей переписки; как специфические русизмы, так и специфические южнославянизмы могут появляться при редактировании текста, не указывая на место его создания. В результате для целого ряда произведений, переведенных с греческого, место перевода установить невозможно.

3.2.2. Греч. язык в Киевской Руси. Знание греч. языка было, видимо, достаточно распространено в Киевской Руси. Можно полагать, что на определенном уровне образования предполагалось вообще церковнославянско-греч. двуязычие, которое органически сочеталось с церковнославянско-рус. диглоссией, т.е. церковнославянский и греческий объединялись как культурные языки в своем противопоставлении некнижному рус. языку. Понятно, что образование, предполагающее знание греч. языка, не могло иметь массового характера, но речь сейчас идет о периоде, когда и само христианство не представляло собой повсеместного явления (как уже отмечалось, как христианизация, так и распространение образования идут в этот период от социальных верхов).

Знание греч. языка культивировалось, можно думать, в княжеской среде. Для княжеской среды христианство выступает как часть престижной византийской культуры, и князья ориентируются на греч. культурный эталон. О знании греч., а отчасти и других иностранных языков свидетельствует "Поучение" Владимира Мономаха, в котором можно усмотреть влияние современных ему и, по-видимому, не переводившихся на ц-сл. язык византийских источников. Особенно показательно, что рус. князья и княгини в XI-XII вв. могут именовать себя ἄρχων (или ἄρχοντισσα) Ῥωσίας - подобную надпись мы встречаем, например, на печати Владимира Мономаха (до 1125 г.), а также на печатях владимирово-волынского князя Давида Игоревича

(до 1112 г.), смоленского князя Андрея-Мстислава Всеволодовича (до 1107 г.) и княгини Феофании, жены черниговского и тмутараканского князя Олега-Михаила Святославича (умершего в 1115 г.). Надо полагать, что каждый Рюрикович мог так называть себя в это время (Соловьев, 1961; Янин и Литаврин, 1962; ср. еще о греч. печатях рус. князей: Янин, I, с. 14-33). Знание греч. языка могло поддерживаться непосредственными контактами с византийским двором (византийские императоры вообще рассматривали рус. князей как своих стольников - РИБ, VI, прилож., стлб. 274; Оболенский, 1970, с. 4-8; Барсов, 1882, с. 45).

Знание греч. языка было распространено и в высшем духовенстве. Киевскими митрополитами, как правило, были греки, назначаемые константинопольским патриархом. Приезжая в Киев со своею свитой, они несомненно способствовали утверждению знания греч. языка на Руси. Характерно в этой связи, что архиерейская служба могла вестись попеременно на двух языках, когда один клирос пел по-гречески, а другой - по-церковнославянски. Свидетельство о такой службе в Ростове находим в Житии Петра, царевича Ордынского 1253 г. (Харлампович, 1902, с. 7-9; Металлов, 1914, с. 44). Такой параллелизм находит отражение в древнейших рус. богослужебных (певческих) текстах: так, в Благ. кондакаре XII-XIII в. есть греч. песнопения, данные в рус. транскрипции и записанные, соответственно, славянскими кириллическими буквами (л. 84 об.-85 об., 114-116, 117 об., 118 об., 119 об.-120, 121) - несомненно, они предназначались для исполнения рус. певчими; певчие могли, видимо, не знать греч. языка, но он должен был звучать в церкви. Некоторые греч. фразы и до сего дня остались в церковной службе при архиерейском служении (*кирие елейсон* "Господи, помилуй", *ис полла ети деспота* "многая лета, владыко", *аксиос* "достойн"); следует усматривать здесь отражение той ситуации, когда рус. церковью управляли греч. иерархи. Показательно, что уже в древнейший период эти формы через посредство церковной службы дали рефлексы в народном языке (*куролесить* из *кирие елейсон*, *исполать* из *ис полла ети*); ср. сведения о распространении восклицания *кирие елейсон* в Киевской Руси у Металлова (1912, с. 33).

3.2.3. Соотнесение ц-сл. и греч. языков. В результате переводческой деятельности и культурно-языковой ориентации на Византию ц-сл. язык воспринимается не только как равноправный греческому (по своей функции), но и как эквивалентный ему (по своему строю). Переводы с греч. языка на ц-сл. язык в идеале должны были находиться как бы в однозначном соответствии со своим оригиналом. При таком подходе ц-сл. и греч. языки могут пониматься как одно целое, как две ипостаси одной и той же сущности. Подобно тому, как ц-сл. образованность предполагает знание византийской истории, византийской культуры и т.п., так и искусное владение ц-сл. языком предполагает, вообще говоря, знание греч. языка - отсюда целый ряд ц-сл. текстов вообще невозможно понять без знания греч. подлинника (ср. 3.2.4). Надо полагать, что в этот период не существовало специальной грамматики ц-сл. языка, поскольку грамматические структуры ц-сл. и греч. языка отождествлялись и в качестве ц-сл. грамматики могла выступать греческая - иначе говоря, ц-сл. материал (тексты, которые заучивались наизусть) прикладывался к греч. моделям.

Знаменательно в этом отношении послание митрополита Климента Смолятича пресвитеру Фоме (сер. XII в.), где имеет место своего рода похвальба образованностью, грамотностью.

Адресат этого послания, Фома, перед тем укорял Климента за слишком хитрословный стиль и ставил ему на вид, что и сам он человек книжный, и что учителем его был знаменитый в свое время некий книжник Григорий. Отвечая Фоме, митрополит Климент пишет: "Григорей зналъ алфу, яко же и ты, и виту, подобно и всю 20 и 4 словесъ грамоту, а слышиши ты, ... у мене мужи, имже есть самовидецъ, иже может единъ реши алфу не реку на сто, [но] или двѣстѣ или триста или 4 ста, а виту також" (Никольский, 1892, с. 126–127). Речь идет о так называемой схедографии (σχεδογραφία от σχέδος "грамматический разбор слова" и γράφω "пишу"), представляющей собой высший курс грамотности в греч. образовании (низший курс грамотности состоял в умении читать и писать). Схедография состояла не только в грамматическом разборе, но и в заучивании наизусть упражнений (слов, форм и т.п.) на каждую букву алфавита. Замечательно, что Климент говорит о двадцати четырех буквах греч. алфавита при том, что обсуждается, вообще говоря, умение писать по-церковнославянски: предметом обсуждения является славянская, а не греч. образованность. Греч. модель образования наглядно выступает здесь как средство приобретения книжной мудрости – в данном случае, в ц-сл. обличии.

Можно сказать, что предполагается как бы единый "еллино-славенский" язык, который реализуется либо как греческий, либо как церковнославянский. Такое понимание характерно в общем для всей эпохи церковнославянско-рус. диглоссии, хотя на разных этапах оно выступает с большей или меньшей актуальностью. Представление о "еллино-славенском" языке прочно входит в сознание рус. книжников, оно играет большую роль во всех трех юж-сл. влияниях.

В XVI в. во Львове будет издана даже грамматика этого языка (Ἀδελφότης. Грамматика доброглаголиваго еллинословенскаго языка. Львов, 1591), ср. также рукописный букварь "Παίδων προπαιδεία. Дѣтей пред'наказаніе" конца XVII–нач. XVIII в. (ГПБ, Соф. 1208). В грамматических руководствах и рассуждениях можно найти утверждение, что греч. и ц-сл. языки имеют одну структуру, а их расхождения относятся лишь к поверхностному уровню. Так, в частности, Захария Копыстенский пишет в 1623 г. (в посвящении к книге бесед Иоанна Златоуста): "Маєт бовѣмъ языкъ Славенскій такову в' собѣ силу и зацность, же языку Грецкому якобы природне съгласуетъ, и властности его съчиняется: и в' перекладъ свой приличне, и нѣяко природне онъ беретъ и пріймуєтъ, в' подобнымъ спадки склоненій и съчиненія падаючи. Венць, и наизвѣстѣйшее сложное Грецкое слово, подобнымъ такъже звязнымъ, и сложнымъ по Славенску выложити єсть можно" (Титов, 1918, прилож., с. 74). Итак, утверждается, что ц-сл. язык органически согласуется с греческим в склонениях и спряжениях и в синтаксической организации ("слово" означает здесь речь); здесь же говорится о превосходстве церковнославянского перед латынью и о благородстве ц-сл. языка.

Показательно, что исходя из представлений о внутренней общности греч. и ц-сл. языка, рус. книжники могут утверждать, что в ц-сл. языке, как и в греческом, есть артикль. В специальном лингвистическом трактате 1684–1685 гг., приписываемом чудовскому иноку Евфимию, греческий и церковнославянский противопоставляются латыни именно на том основании, что в них есть артикль, тогда как в латинском он отсутствует (Сменцовский, 1899, с. XI). В славянской грамматической традиции (ср., например, трактат "О осьми частех слова") артикль обозначался термином "различие" (Ягич, 1896, с. 41, 64, ср. еще с. 461, 465, 592, 614). Интересно, что в московском издании грамматики М. Смотрицкого 1648 г. появляется раздел об артикле ("различии" – Смотрицкий, 1648, л. 200–201 об.), отсутствующий в ю-з-рус. издании этой грамматики 1619 г. (под артиклем понимаются относительные местоимения *иже*, *яже*, *еже*). По-видимому, отсутствие указания на артикль в первом издании было принято московскими книжниками за латинскую ересь (ср. Булич, 1904, с. 188). В грамматике ц-сл. языка Федора Максимова 1723 г. утверждается, что греч. артикль передается в славянском знаком титла: "Тітла имѣєтъ иногда равную силу греческому арѣру, идѣже бо у грековъ въ божественномъ писаніи имена со арѣромъ, тамо и у

славянъ оная отітлована зряся" (Максимов, 1723, с. 179). То обстоятельство, что в действительности в ц-сл. языке артикля нет (и титло их никак не заменяет), нисколько не смущало рус. книжников.

Рассматривая греч. и ц-сл. грамматические структуры как тождественные, московские книжники второй пол. XVII в. постоянно ссылаются на греч. грамматику и греч. текст, доказывая правильность употребляемых ими форм (см. высказывания Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, Афанасия Холмогорского и др. - 17.3.8). Понятно, что при таком подходе знание греч. грамматики оказывается необходимым условием грамматического изучения ц-сл. языка. Об этом прямо и говорят братья Лихуды в трактате "Акос" (1687 г.): "Невѣдѣя опасно еллинскій діалектъ ниже славенскій діалектъ вѣсть, ниже познати можетъ искреннее намѣреніе и разумъ Божественныхъ писаній и отцевъ, на словенскій діалектъ претолкованныхъ" (Прозоровский, 1896, с. 563).

3.2.4. Буквализм переводов с греческого. В контексте такого отношения к греч. языку, когда знание греческого предполагается ц-сл. образованностью, а структуры обоих языков отождествляются, становится понятным, что при переводе стараются в максимальной степени сохранить формальные особенности греч. оригинала. Такой буквализм в той или иной мере характерен для всей ц-сл. переводной литературы. Он проявляется уже в том тексте, с которого собственно и началась славянская письменность. В Житии Кирилла Философа (гл. XIV) говорится, как Кирилл, создав славянскую азбуку, начинает писать по-славянски: "И тогда сложи писмена и начя бесѣду писати еваггельскую: искони бѣ слово и слово бѣ у бога, и богъ бѣ слово, и прочя" (Лавров, 1930, с. 27). Это начало Евангелия от Иоанна, которое в рус. переводе читается так: "В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог". Итак, "Богъ бѣ слово" означает "Слово было Бог", т.е. подлежащим в ц-сл. тексте является *слово*, а *Богъ* - частью именного сказуемого. Этого нельзя понять, не обращаясь к греч. оригиналу (Ἐνδς ἦν ὁ λόγος), поскольку в греч. тексте указание на синтаксическую функцию подлежащего содержится в артикле, т.е. наличие артикля однозначно указывает, что подлежащим является ὁ λόγος. В ц-сл. тексте артикля нет, но он как бы подспудно присутствует, т.е. знание оригинального текста предполагается необходимым при чтении переводного. Совершенно так же во фразе "Господь есть Сынъ человѣческій и субботѣ" (Мк, II, 28), которая означает "Сын человеческий является господином также и субботы", буквально передается греч. порядок слов (χύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου), что делает ц-сл. текст, взятый сам по себе, непонятным. Эти примеры характеризуют уже древнейшую кирилло-мефодиевскую традицию; существенно, однако, что они в таком же виде представлены и в рус. списках евангельских текстов, т.е. подобный буквализм характеризует ц-сл. традицию в целом, безотносительно к тому или иному ее изводу. Как будет показано ниже, на определенных этапах развития ц-сл. языка такой буквализм становится частью языковой программы и проявляется с особой силой.

На уровне словосочетания подобный буквализм может проявляться в случаях необычного согласования и необычного управления, отражающих греч., а не славянские грамматические характеристики. Так, в новгородской Мин. 1095 читаем: "Нынѣ жьзль аронь от корене двѣдва, прорастивъши цѣра хѣ, отъ анны происходитъ" (л. 56); причастие *прорастивъши* стоит здесь в жен. роде (вместо *прорастивъ*, как можно было бы ожидать по согласованию с муж. родом *жьзль*), поскольку соответствующее греч. слово (ἄνθος) относится к жен. роду. Здесь же

читаем: "...вѣроу поклоняющимъ сѧ днь предълежаща крѣста твоего чѣстьнааго" (л. 80 об.); в этом случае сохраняется управление греч. глагольной формы (προσχυνούσι), хотя с точки зрения славянской грамматической системы *поклоняти сѧ* не может управлять вин. падежом (см. Ягич, 1886, с. LXXIX–LXXXI). Разумеется, такие нарушения славянской грамматической структуры встречаются лишь окказионально (выступая как явление конкретного ц-сл. текста, а не как явление языка), однако возможность такого явного отступления от естественных речевых навыков сама по себе очень характерна, свидетельствуя о греч. культурной ориентации славянских книжников и об оторванности книжного языка от языка разговорного.

3.2.5. Кальки с греческого и их роль в формировании ц-сл. языка. Ориентация на греч. языковые модели проявляется не только в конкретных ц-сл. текстах, но и в самой грамматической структуре ц-сл. языка. Целый ряд синтаксических характеристик ц-сл. языка формируются как искусственные эквиваленты греч. синтаксических конструкций, изначально определяя противопоставление ц-сл. языка любым живым славянским диалектам. Сюда относятся такие синтаксические характеристики, как дательный самостоятельный (который передает родительный самостоятельный греч. языка), конструкция *accusativus cum infinitivo* после глаголов говорения и чувствования, обороты *еже* + инфинитив, субстантивированное употребление причастий и т.д. (см. 8.9). Все эти явления ц-сл. языка могут рассматриваться как синтаксические кальки.

Наряду с кальками синтаксическими, греч. влияние обуславливает большое количество лексических (словообразовательных) и семантических калек с греч. языка, в значительной степени определяющих облик словарного состава ц-сл. языка. Масштабы такого калькирования можно продемонстрировать, обратившись к лексике Хроники Георгия Амартола, исследованной В. М. Истриным (II, с. 185–187; III, с. XXIV–XXV и указатель). Кальками с греческого является здесь большинство сложных слов, например: *благодѣние* (ἀγαθοουργία), *зловѣрие* (χαχοδοξία), *законодавѣние* (νομοθεσία), *законопрѣступление* (παρανομία), *многоглаголанье* (πολυλογία), *многобожество*, *многобожество* (πολυθεία), *идолослужение* (εἰδωλολατρεία), *идолѣбие*, *идолобѣсовѣствие*, *идолобѣсование* (εἰδωλομανία), *чловѣколюбие* (φιλανθρωπία), *мудролюбьць* (φιλόσοφος), *любословьць* (φιλόλογος), *баснословьць* (μυθολόγος) и т.д. Любопытно отметить, что в отдельных случаях (*законопреступление*, *мудролюбьць*, *чловѣколюбие*) порядок компонентов в славянском слове обратный по сравнению с греческим.

Если в приведенных иллюстрациях фигурируют слова, усвоенные ц-сл. языковой системой (т.е. ставшие фактом языка, а не текста), то в других случаях подобные кальки остаются окказиональными образованиями. Так, например, мы встречаем в той же Хронике Георгия Амартола такие явные окказионализмы, как *блядоотроковицьствие* (παιδοφθορία – характерно, что это же греч. слово может передаваться и словосочетанием *отроковиць тлѣние*), *срациновѣрники къ жидовскуумъцу* (τοῦ σαρακηνοπίστου καὶ ἰουδαίουφρονος), *(створи себѣ) единохизника и единотрапезника* (ὁμώροφον εἶχε καὶ ὁμοδίαιτον) и т.п.

Производство сложных слов по греч. моделям характерно уже для ст-сл. языка, и в этом смысле рус. литературный язык, т.е. ц-сл. язык рус. редакции продолжает ст-сл. традицию (см. Цейтлин, 1977, с. 186–284) – уже в ст-сл. языке сложные слова могут восприниматься как черта, противопоставляющая книжную речь разговорной, и поэтому они могут появ-

ляться в переводах даже в том случае, когда в переводимом тексте сложного слова нет (см. о ст.-сл.: Цейтлин, 1977, с. 273 сл.; о рус. ц-сл.: Истрин, II, с. 185). Равным образом, в результате калькирования текстов появляются приставочные образования, ср., например, в Хронике Георгия Амартола: *безбрачѣствие* (ἀγαμία), *безмужыць* (ἄνανδρος), *безначальствие* (ἀναρχία), *произобразити* (προζωγράφειν) и т. д.

В ходе того же процесса появляются и семантические кальки, многие из которых закрепляются в языке и в конечном счете через ц-сл. посредство переходят в современный рус. литературный язык. Так, если ранее слово *свойство* означало "близость", то под влиянием греческого оно приобретает значение "особое качество, отличительный признак"; слово *слава*, которое ранее обозначало "мнение", выступает в значении "хвала, почет, честь"; слово *судьба*, первоначально означавшее "суд", получает значение "приговор, правосудие, предопределение"; слово *упражняться* с исконным значением "быть свободным (от дела, от работы)" (ср. *праздный, праздник*), начинает употребляться в значении "заниматься чем-либо, предаваться какому-либо делу"; слово *тържѣство* с первоначальным значением "торговля" (ср. *тър-гъ*) усваивает новое значение "всенародное празднество" (Копыленко, 1973, с. 145–147).

В некоторых случаях кальки могут представлять собой результат неправильного перевода греч. слов. Так обстоит дело, в частности, с названиями богослужебных книг. Наряду с такими названиями, как *служебник, часовник, требник, молитвенник, цвѣтник* (где суффикс *-ник* имеет собирательное значение, означая собрание предметов или сведений о них, ср. *травник* "собрание трав или сведений о травах"), появляются названия *молитвослов* и *часослов, цвѣтослов*, а также *месяцеслов*. Эти формы представляют собой результат переосмысления греч. форм εὐχολόγιον, ὥρολόγιον, ἀνθολόγιον, μηνολόγιον. Эти слова были неправильно поняты как производные не от λέγω "собирать", а от λόγος "слово". Отсюда же объясняется и слово *сословие* в значении "собрание, совокупность", ср. греч. σύλλογος. (Ильминский, 1886, с. 52–53).

Процесс перевода с греческого приводит к обогащению словаря, так что одно и то же греч. слово может передаваться несколькими славянскими. Так, слово δίκη в Хронике Георгия Амартола передавалось словами *вина, испытание, мѣсто, образъ, осуждение, отвѣтъ, слово, судъ, судьба, томление, тяжа*; слово δόγμα - словами *въпросъ, богословие* (также *божественное слово*), *естьствословие, законъ, заповѣдь, изискание, отвѣтъ, повелѣние, проповѣдание, прѣдание, судъ, учение, чаяние*; и т. п. И напротив, одному и тому же славянскому слову могут соответствовать разные греч. слова. Это говорит о том, что литературный язык был в состоянии передавать разнообразные оттенки понятий. По количеству слов ц-сл. язык немногим уступал греческому. По подсчетам В. М. Истрина (II, с. 227–228) в Хронике Георгия Амартола в греч. оригинале насчитывается примерно 8500 слов, а в ее славянском переводе - 6800. В Хронике Иоанна Малалы в греч. оригинале 2250 слов, в славянском переводе - 2000. Весьма показательно также, что уже в XI в. рус. переводчик может использовать грецизмы не только для передачи соответствующего греч. слова, но и вне зависимости от греческого оригинала (Мещерский, 1958а, с. 253–258; ср. Истрин, 1922, с. 76–77). Переводчик, следовательно, освоил грецизмы как специфическую книжную лексику и пользуется ими достаточно свободно.

Аналогичное влияние греч. языка наблюдается и в области фразеологии. Так, в рус. (ц-сл.) текстах нет ни одного случая, когда бы сочетание "глагол + абстрактное существи-

тельное", с глаголами *испълнити, навести, нанести, поставить, побѣдѣти, привести, (при)-нести, разрушити, (съ)блюсти, (съ)хранити, удържати, уставити* не имели бы в греч. текстах в качестве соответствия такое же сочетание глагола с абстрактным существительным. Такую же картину мы наблюдаем и в ст.-сл. языке. Отсюда в качестве грецизмов следует трактовать такие словосочетания, как *испълнити волю, изпълнити жертву* (ср. греч. πληροῦν θέλημα и т.п.), где *испълнити* означает "совершить какое-то действие"; *разрушати зѣлодѣяние, жесто-сѣрдие, зѣлонравие, обычай* (ср. греч. хатаλῦειν χαχοуρίαν, σκληροхαρδία, δυστοπία, ἔθος), где *разрушити* выступает в значении "положить конец какому-либо состоянию" (Копыленко, 1973, с. 148–159).

В значительной степени благодаря греч. влиянию уже достаточно рано (в XI–XII вв.) в языке образуются стереотипные фразеологические обороты. "Литературный язык русских книжников XI–XII вв. выработал немалое количество стереотипных, ставших уже обычными выражений, которыми свободно пользовались книжники, так что иногда получается впечатление как бы заимствования одного писателя у другого. Но это будет не заимствование, а результат одинаковой начитанности. Например, в половине XII в. печерский игумен Феодосий, обрусевший грек, свое послание к князю Николаю Святоше (перевод Послания папы Льва I к патриарху Флавиану) начинает такими словами: "Почетше писание твоея любве, не мало почюдохомся закоснѣнія того дѣла [по причине, вследствие] толика времени, ныне же въ чинѣ воспоминанія приникше рассмотримъ о бывшихъ", и его современник, митрополит Климент Смолятич, свое послание к Фоме начинает почти теми же словами: "Почетъ писаніе твоея любве, яже аще и медленно бысть, почюдохся, и въ чинѣ воспомяновенія приникъ"... Несколько позднее, в начале XIII в., Даниил Заточник пишет князю Ярославу Всеволодовичу: "Мене всѣ обижаютъ, зане я не огражденъ страхомъ грозы твоея", и в одной из редакций Жития Александра Невского читается: "И славна бысть земля его страхомъ грозы его". Или, например, известное выражение летописца о Владимире Мономахе (а также и о Ярославе), что он "утерь многа пота за русскую землю", является книжным, бывшим первоначально простым переводом с греческого языка - ἰδρῶτα ἀποάττεσθαι = "утерети пота" (встречается, например, в "Александрии")" (Истрин, 1922, с. 81). Фразеологические грецизмы через ц.-сл. традицию достаточно рано могут попадать и в собственно рус. тексты, в частности, мы встречаем их в новгородских берестяных грамотах (см. 5.4).

3.2.6. Специфика рус. рецепции византийской культуры. При сравнении славянской переводной литературы с византийской литературой отчетливо выступает избирательность переводческой деятельности – весь слой византийской литературы, связанный с античностью, не получает в ней отражения (ср. Еремин, 1966, с. 9–17). Знаменательно в этом смысле, что смоленский священник Фома укоряет митрополита Климента Смолятича в том, что тот, оставив почитаемые (отеческие) писания, писал "от Омира, и от Аристотеля, и от Платона", которые были славны между "еллинскими" (т.е. языческими) хитрецами (Никольский, 1892, с. 103–104; ср. Лопарев, 1892, с. 13). Это разительно отличается от атмосферы Константинополя, где Аристотеля и Платона в это время изучали наряду с отцами церкви. Знакомство с античной культурной традицией составляло обязательную часть византийской образованности. В Византии собственно не прекращалась традиция светского образования, идущая из античности; определенная часть византийского общества (прежде всего столичная бюрократия) из поколения в поколение передавала привычки и вкусы дохристианской империи.

В первой пол. XII в. Феодосий Грек писал Николе Святоше, что он учился "от младъ ноготъ омирьскимъ и риторьскимъ книгамъ" (Бодянский, 1848, с. 4), но характерно, что это пишет грек, очевидно имея в виду свое (вполне обычное) византийское

образование. Сводку окказиональных упоминаний Гомера в рус. литературе см. у Егунова (1964, с. 7–15).

В славянской переводной литературе "гуманистическая" струя практически отражения не нашла. Это объясняется рядом причин. Византинизация Руси происходила под знаком миссионерской деятельности. Участвовавшие в этом процессе греки принадлежали преимущественно к духовенству и были носителями церковного (монашеского) начала, а не начала светского. Таким образом, византийская культура в значительной степени заимствуется на Руси вместе с религией, культура и религия выступают в этом процессе как одно целое (точно так же литературный язык заимствуется прежде всего как богослужебный язык, и функции литературного и сакрального языка неразрывно в нем сливаются). В этих условиях естественно, что образование на Руси осуществлялось духовенством (см. 3.1.5), которое насаждало прежде всего собственно христианские традиции. В контексте миссионерской деятельности, когда христианство вступает в активную борьбу с местным язычеством, античная традиция воспринимается прежде всего как традиция языческая, антихристианская, и это восприятие закрепляется в рус. культуре.

Обсуждая специфику рус. рецепции византийской культуры, мы видим, что уже в древнейший период сформировалось противопоставление рус. и западноевропейской традиций, при том что и та, и другая традиция обнаруживают несомненную преемственность в отношении Византии. Связи с античной культурой никогда не прекращались в Византии, а в IX–X вв. здесь наблюдается настолько существенное усиление интереса к античному наследию, что ряд исследователей (П. Лемерль) считает возможным говорить о "византийском гуманизме" этого времени (который предшествует так называемому "Палеологовскому ренессансу" XIII–XIV вв. и может рассматриваться как его предвосхищение). При этом нельзя сомневаться в связи между тем, что можно условно назвать византийским возрождением, и итальянским Ренессансом; необходимо иметь в виду, что контакты Византии и Запада имели постоянный характер благодаря, в частности, существованию греч. культурных центров в Италии и в Сицилии, а также благодаря таким прямым посредникам, как Константин-Кирилл, Мефодий и папский библиотекарь Анастасий в IX в., Иоанн Итал в XI в., Леонтий Пилат и Варлаам Калабрийский (учитель Петрарки) в XIV в. Вместе с тем, Россия, заимствуя византийскую образованность, в общем не принимает той культурной струи, которая оказалась столь актуальной для Западной Европы, т.е. обращения к античному культурному наследию. Таким образом, культурное противостояние Востока и Запада связывается с разной рецепцией византийской культуры, иначе говоря, Восток и Запад как противопоставленные культурные начала выходят из Византии. Это противопоставление поляризуется в оппозиции России и Западной Европы: Россия наследует Византии "монашеской", Западная Европа - "светской".

На фоне очерченной картины греч. влияния на первых порах выделяется особая традиция, связанная с византийской придворной (светской) культурой. Речь идет о княжеской культуре Киевской Руси. Если основная часть общества воспринимает византийскую культуру в религиозной перспективе, то для княжеской элиты, напротив, христианство предстает в контексте византийской культуры. В этом случае византийская культура усваивается в разных своих проявлениях - не только постольку, поскольку она ассоциируется с христианством. Специфика светской княжеской культуры и проявляется, в частности, в отношении к античному наследию. Показательно, что,

отвечая на упрёки Фомы (см. выше), Климент Смолятич указывает, что он писал к князю: "аще и писахъ, но не к тебѣ но ко князю" (Никольский, 1892, с. 103-104; ср. Лопарев, 1892, с. 13). Итак, ссылки на "еллинских" философов считаются недопустимыми при общении духовных лиц, но оказываются уместными при общении с князем. В этой связи можно упомянуть и киевские рельефы с изображениями Геракла и Диониса (второй четверти XI в.), которые, по-видимому, первоначально находились в княжеском дворце в Берестове (Даркевич, 1968; Пуцко, 1982); подвиги Геракла изображены также на рельефах княжеского Димитриевского собора во Владимире (1194-1197) (Даркевич, 1962). Характерно, что Владимир, завоевав Корсунь, привозит оттуда "мѣдянѣ двѣ капищи, и 4 кони мѣдяны" и ставит их в Киеве рядом с Десятинной церковью (ПВЛ, I, с. 80) - речь идет о статуях, которые летописец воспринимает как языческие изображения, но которые для Владимира означали, видимо, причастность к византийской культуре.

С традициями византийской придворной культуры, усвоенной рус. князьями, может быть связано и скоморошество: скоморошеские игры входят в княжеский обычай (см. об этом в житии Феодосия Печерского). Отражение скоморошеской традиции усматривается в таком литературном памятнике, как "Слово Даниила Заточника", явно связанном с княжеским обычаем; характерны в этом плане и отсылки Даниила Заточника к античной культурной традиции. Скоморошество как импортированное явление придворной культуры, по-видимому, достаточно отчетливо отличается от языческих игрищ. В этом смысле показательно изображение скоморохов в росписи киевской св. Софии - в княжеском входе. В дальнейшем обе стихии сливаются в культурном сознании, и борьба со скоморошеством ведется под знаком борьбы с язычеством (см. подробнее: Успенский, 1983, с. 31-32).

К XIII в. в результате татаро-монгольского нашествия и завоевания Константинополя крестоносцами (1212 г.) культурные контакты с Константинополем прекращаются, что приводит к исчезновению поддерживаемой этими контактами эллинизированной светской культуры.

3.2.7. Переводы с семитских языков. Говоря о переводческой деятельности в Киевской Руси, необходимо подчеркнуть, что переводы осуществлялись не только с греч. языка. Известен ряд ранних переводов с латыни, о которых мы будем говорить ниже (см. 3.3.3). Кроме того, в Киевской Руси переводили и с еврейского. Это не удивительно, во-первых, в виду того, что в Киеве существовала еврейско-хазарская община (хазары были иудеями). В частности с еврейского был осуществлен перевод библейской книги Есфирь (не позднее XII в., так как этот перевод вошел в состав хронографического свода, содержащего запись, которая указывает на 1193 г., - Мещерский, 1955). По-видимому, в XII-XIII вв. была переведена с еврейского Песнь Песней (Алексеев, 1981). С еврейского же были переведены некоторые ветхозаветные апокрифы, такие как книга Еноха и "Откровение Авраама" (Мещерский, 1963а; Мещерский, 1964а; Мещерский, 1978). Отметим еще перевод хронографической книги "Иосиппон," отрывок из которой вошел в Повесть временных лет под 1110 г. (Мещерский, 1956). Есть основания полагать, что в Киевской Руси переводили и с других восточных языков. Так, "Повесть об Акире" была переведена, по-видимому, с сирийского (Григорьев, 1913, с. 257-539, 544; Мещерский, 1964, с. 205-206).

3.3. Западное влияние. Ориентация на Византию, о которой говорилось выше, имеет самое непосредственное отношение к судьбам рус. литературного языка. Если бы Владимир при принятии христианства обратился не к Константинополю, а к Риму, и принял западный обряд - а это, как мы увидим, было вполне возможно, - Русь несомненно получила бы (рано или поздно) богослужение на латинском языке. Именно такая судьба и постигла западнославянские страны (Польшу и Чехию), где первоначально было богослужение на ц-сл. языке, который достаточно скоро был вытеснен латынью. Между тем, греки не настаивали на богослужении по-гречески: напротив, существовала уже более чем столетняя традиция пользования ц-сл. языком как языком литургическим и литературным. В то время как на Западе латынь

стала официальным языком церкви, претендуя вместе с тем на обслуживание всех сфер культурной жизни и препятствуя, тем самым, развитию национальных литературных языков, на Востоке не было гегемонии какого-либо одного литургического и литературного языка. Напротив, христианизация предполагала здесь создание литературных языков, обслуживавших разные национальные традиции. В отличие от Запада св. Писание переводилось здесь на национальные языки: сирийский, грузинский, готский, армянский, коптский, церковнославянский.

Отсюда коренное и существенное различие в судьбах литературного языка и просвещения в России и на католическом Западе, включая Польшу и Чехию. Там возникновение и становление национального литературного языка было связано с национальным самосознанием (в частности, в период реформации). В России, напротив, становление литературного языка, ориентированного на живую речь, было скорее обусловлено перенесением (в XVIII в.) западно-европейской языковой ситуации на рус. почву. Национальное самосознание, как правило, тяготело к ц-сл. языковой стихии. Это совершенно естественно, поскольку ц-сл. язык выступает как язык всей национальной культуры, в то время как на Западе латынь осознается как вненациональный язык, противоположный национальной культуре. В силу такого положения в допетровской России вообще нет противопоставления религиозного и национального самосознания. Когда говорят о возникновении национального языка в России в новое время, имеется в виду нечто существенно отличное от того, что наблюдается в западных странах. Как это ни парадоксально, формирование национального литературного языка оказывается здесь результатом западноевропейского влияния.

Это весьма характерным образом отразилось в начале XIX в. в споре "архаистов" (последователей А. С. Шишкова) и "новаторов" (последователей Н. М. Карамзина). Ц-сл. язык связывается в этой полемике с национальным началом (поскольку это развитие изолировано от западноевропейского влияния). Напротив, ориентация литературного языка на разговорную речь (на рус. язык образованной части общества) связана с европеизацией рус. культуры. Шишковисты тяготеют к ц-сл. языковой стихии, поскольку она, по их мнению, выражает рус. национальную самобытность, а карамзинисты провозглашают необходимость "писать, как говорят", по образцу западной литературно-языковой ситуации (Успенский, 1985). Показательно, что декабристская идеология продолжает, в общем, линию Шишкова, а не Карамзина.

Точно так же на Западе гуманизм (XIV-XV вв.) и его продолжение в виде просвещения (XVIII в.), отделенного от эпохи гуманизма эпохой реформации и контрреформации, - это чисто светское культурное направление, характеризующееся при этом индивидуализмом и критическим отношением к традиции; и гуманизм, и затем просвещение получали в разных странах местный национальный характер. Ничего подобного в России не было и не могло быть, а появилось относительно поздно - как результат западного культурного влияния и, следовательно, как феномен совершенно иного рода (заимствованный и тем самым принципиально отличающийся от соответствующего западноевропейского явления, которое имело гораздо более естественные, органические корни). Это необходимо иметь в виду, если прилагать к истории рус. культуры такие понятия, как "возрождение", "предвозрождение" и т.п. Формальные диагностические признаки этих культурных течений могут быть обнаружены и в России, но они имеют здесь явно вторичный, опосредствованный характер.

3.3.1. Западное влияние до крещения Руси. Между тем, обращение к Риму было вполне возможно. В рассказе об испытании вер Владимир отвечает предлагающим ему свою веру "немцам", посланным "от папежа", т.е. христианам западного обряда: "Идѣте опять, яко отци наши сего не прияли суть" (ПВЛ, I, с. 60). Неизвестно, что в точности имел в виду Владимир, но он мог, в частности, подразумевать сношения Ольги с Западом. По сообщению западных анналистов Ольга, крестившись, просила епископа у греков; ей было отказано, и тогда в 959 г. она отправила посольство к немецкому королю Оттону I; Оттон в ответ послал в 961 г. на Русь Адальберта, посвященного в епископы "ругам" (*genti rugorum*; сама Ольга именуется при этом "*Helena, regina Rugorum*"), однако миссия Адальберта окончилась неудачей, и в 962 г. он вернулся в Германию. Послы из Рима приходили к Ярополку (брату Владимира) в 979 г., а затем и к Владимиру после его крещения в 988, 991, 994, 1000 гг. В Киеве были католические храмы; особая роль в католической миссионерской деятельности на Руси принадлежала бенедиктинцам (Дворник, 1954); бенедиктинцем, кстати, был и Адальберт.

Разделение церквей (православной и католической) совпадает по времени со смертью Ярослава Мудрого (оба события произошли в 1054 г.), так что и при Владимире и при Ярославе контакты с Римом были вполне возможны и реальны. Тем более возможны были они и до Владимира.

3.3.2. Западные славяне как посредники в западно-русских культурных контактах. Если в рус. контактах с Византией роль посредников играли южные славяне, то в контактах с Западом аналогичная роль принадлежит западным славянам. Существенно иметь в виду, что в X-XI вв. у западных славян (чехов и поляков) существовала достаточно устойчивая традиция богослужения на ц-сл. языке, восходящая к кирилло-мефодиевской миссии. Можно считать доказанным, что ц-сл. традиция у западных славян не была кратковременным эпизодом (как думали раньше), но сохранялась по крайней мере до XII в., когда она была полностью вытеснена латинской культурной струей.

Во всяком случае еще в 1079 г. чешский князь Вратислав II просил у папы одобрения на славянское богослужение (Власто, 1970, с. 107; ср. Фридрих, I, с. 88, № 81). Славянская литургия совершалась в чешском Сазавском бенедиктинском монастыре, основанном в 1032 г. св. Прокопием, наряду с богослужением на латинском языке; этот литургический славяно-латинский билингвизм отражает греко-латинский билингвизм монастыря свв. Бонифация и Алексея в Риме, в котором в конце X в. жил св. Войтех, ученик упоминавшегося выше Адальберта, и откуда он привел целую группу миссионеров для славянских земель (ср. Власто, 1970, с. 103). Полагают, что Войтех имел отношение к составлению чешского гимна "*Hospodine pomiluj ny*" (своеобразная версия "*χὲρις ἐλέησον*" и польского песнопения "*Bogurodzica*", что показывает, что он был принципиальным сторонником внедрения славянского языка в богослужение (Дворник, 1954, с. 337-338). Не исключено, что славянское богослужение производилось и в основанном Войтехом Бревновском монастыре. В чешском Островском монастыре (основанном в 999 г.), где богослужение велось на латыни, сохранились латинские рукописи со славянскими глоссами, что, возможно, указывает на проникновение ц-сл. языка в литургическую практику. То же самое относится к Велишскому монастырю, основанному в 1003 г. и зависевшему от Островского (Дворник, 1954, с. 339; Власто, 1970, с. 101 сл.). На ц-сл. языке шла, по-видимому, служба и в польском Тынецком бенедиктинском аббатстве под Краковом (Соболевский, 1910, с. 108). На существование кириллической традиции в Польше вполне опреде-

ленно указывают монеты Болеслава Храброго (992–1025) с кириллической надписью *Болеславъ*; Болеслав изображен при этом в византийском одеянии (Керсновский, 1958; Толстой и Кондаков, IV, с. 170); надо полагать, что эти монеты чеканились в Кракове между 992 и 1000 гг. перед водворением там латинских епископов, т. е. в то время, когда в Малой Польше был славянский обряд. Польская христианская терминология сформировалась на базе чешской редакции ц-сл. языка, так же как и церковная песнь *Bogurodzica*, которая содержит характерные церковнославянизмы и богемизмы (Мошин, 1963, с. 47).

Таким образом, наличие ц-сл. традиции в зап-сл. странах является несомненным фактом; именно эта традиция и отразилась в таких древнейших ц-сл. памятниках, как Киевские листки X–XI в. и Пражские листки XI в. (содержащие отрывки из вечерни по восточному обряду); в отношении Пражских листов полагают, что это зап-сл. список с рус. оригинала, выполненный монахами Сазавского монастыря (Власто, 1970, с. 337; Книежа, с. 10–12). Аналогичными контактами объясняются, вероятно, славянские глоссы в одной латинской рукописи, выполненной в моравском Райградском монастыре (основан в 1045 г.), поскольку глоссы эти написаны кириллицей, а не глаголицей (Соболевский, 1910, с. 154–158; Дворник, 1954, с. 339). Славяно-латинское богослужение у западных славян в какой-то мере соответствует славяно-греч. богослужению у славян восточных (ср. 3.2.2).

Наряду с ц-сл. богослужением у западных славян существовала и более или менее представительная ц-сл. литература, включавшая, в частности, агиографические и церковно-канонические памятники, а также ряд переводов латинских богословских сочинений. Ранние памятники чешской ц-сл. литературы дошли до нас, как правило, не в оригинале, а в рус. списках или латинских переводах.

3.3.3. Следы западного влияния в церковно-литературной сфере. Существует целый ряд данных, позволяющих говорить о наличии культурных контактов западных и восточных славян в церковно-литературной сфере, которые – независимо от того, когда они начались, – продолжались и после разделения православной и католической церкви в 1054 г. Наличие таких контактов в принципе позволяет ставить вопрос о продолжении на Руси моравской миссии, т. е. той ц-сл. традиции, которая восходит непосредственно к деятельности Кирилла и Мефодия.

Следы западного влияния обнаруживаются прежде всего в древнейших богослужебных текстах. Как показал А. И. Соболевский (1900; 1904; 1905; 1910, с. 48–91; 1912), основываясь на словарном материале, многие др-рус. церковные памятники были переведены с латинского на ц-сл. язык в Моравии или Чехии – например, Беседы папы Григория Великого (Двоеслова), апокрифическое Никодимово евангелие, значительное число житий, в том числе жития Георгия Победоносца, папы Климента, св. Вита (которому был посвящен кафедральный собор в Праге) и др. (Соболевский, 1900). С латыни был переведен ряд рус. молитв, сохранившихся в рукописном сборнике XIII в. (Соболевский, 1905). В древних рус. молитвах нередко упоминаются западные святые. Так, в одной рус. молитве (молитва св. Троице) наряду со свв. Борисом и Глебом, Кириллом и Мефодием упоминается св. Войтех, а также свв. Вит, Магнус, Канут, Албан, Олаф и Ботульф; в другой молитве встречаем упоминание свв. Флориана, Вита и др. (Соболевский, 1910, с. 36–47; ср. Дворник, 1954, с. 326–328). В тех случаях, когда святые почитаются и на Востоке, и на Западе, иногда можно обнаружить специфически западную форму имени святого, например Бенедикт, Луция, Маргарѣта (Соболевский, 1904, с. 39; Соболевский, 1910, с. 37). Характерно вместе с тем, что Иоанн Предтеча часто называется в Чехии не чешским именем Jan, а рус. Ivan (Дворник, 1954, с. 346); культ Иоанна Предтечи типичен для православного Востока и не типичен для католического Запада, и здесь перед нами свидетельство того, что церковные контакты восточных и западных славян были взаимными. Достаточно показательны, наконец, и стандартные западные эпитеты, встречающиеся в древних рус. памятниках: так, например, в молитве на дьявола (дошедшей в рус. списке XIII в.) преподобный Павел имеет латинское прозвание *Еремита*, а Богородица именуется *Святая Мария* (калька с *sancta Maria*) (Соболевский, 1910, с. 37).

Наряду с отдельными упоминаниями западных святых, встречающихся в тех или иных памятниках, мы наблюдаем культ некоторых зап.-сл. святых на Руси, которому соответствует культ отдельных рус. святых у западных славян. Так, в XI в. на Руси наблюдается культ чешских святых Вячеслава (Вацлава) и Людмилы, между тем как в Чехии в это же время наблюдается культ свв. Бориса и Глеба и, возможно, Ольги (Флоровский, 1958, с. 217–221). Таким образом, устанавливается своеобразная корреляция между свв. Борисом и Глебом и св. Вячеславом, с одной стороны, и св. Ольгой и св. Людмилой, с другой. Так, в несторовом "Чтении" о Борисе и Глебе отражается знакомство с житием св. Вячеслава, которое было, видимо, первоначально написано по-церковнославянски и лишь позднее переведено на латинский язык (ц.-сл. текст этого жития сохранился в рус. списках) (Мошин, 1963, с. 39; Якобсон, 1953, с. 44 сл.). Связь св. Бориса и св. Вячеслава эксплицитно выражена в анонимном сказании о Борисе и Глебе, где говорится, что Борис "помышля на мучение и страст св. мученика Никиты и св. Вячеслава, подобно же сему бывшу убиену" (Мошин, 1963, с. 39). Похвала Ольге, помещенная в летописи под 969 г., разительным образом напоминает сочиненную в Чехии латинскую гомилию о Людмиле, гомилию, которая предполагает недошедший до нас славянский текст. Следует думать, что этот недошедший до нас ц.-сл. текст был известен редактору рус. летописи, который и воспользовался им при составлении похвалы (Якобсон, 1953, с. 46). Житие св. Людмилы также существовало в свое время в ц.-сл. варианте, фрагменты этого ц.-сл. текста вошли в рус. Пролог. Итак, св. Борис предстает как рус. вариант св. Вячеслава, а св. Ольга – как рус. вариант св. Людмилы. Вместе с тем, эта корреляция имеет двусторонний характер, поскольку у западных славян наблюдается почитание названных рус. святых. В одном из алтарей чешского Сазавского монастыря хранились мощи свв. Бориса и Глеба, канонизированных в 1072 г. (Дворник, 1970, с. 234; Флоровский, 1958, с. 220–221). Имя Борис часто встречается в чешских средневековых памятниках, а в XII–XIII вв. крестным именем у чехов становится и Ольга (Дворник, 1970, с. 234; Флоровский, 1958, с. 229–230; Якобсон, 1953, с. 48). Зап.-сл. влияние обнаруживается и в необычном для рус. церкви паремийном чтении о Борисе и Глебе, созданным, возможно, в том же Сазавском монастыре (Соболевский, 1912, с. 222; Флоровский, 1958, с. 220). В этих и тому подобных явлениях, видимо, отразилась связь Киево-Печерской Лавры и чешского Сазавского монастыря как двух основных центров восточнославянской и западнославянской духовной культуры (Флоровский, 1958, с. 222 сл.).

Зап.-сл. влияние обнаруживается и в других литературных памятниках Киевской Руси, не связанных непосредственно с богослужением. Таково, в частности, "Слово о законе и благодати" митр. Илариона (Розов, 1968). К так называемой Легенде Кристиана, излагающей историю христианизации западных славян, восходит "Сказание о преложении книг", вошедшее в состав рус. Начальной летописи под 898 г. (непосредственным источником служила, видимо, ц.-сл. переработка этой легенды, осуществленная в Сазавском монастыре, – Кралик, 1963). В этом сказании речь идет о том, что прошлое полян, от которых пошла Русь, было связано с судьбой западных славян – общим происхождением, общностью письменности, возникшей в Моравии, и единством христианской веры. Здесь, таким образом, подчеркнута идея этнического и религиозно-культурного единства славян – вполне актуальная, видимо, для славянского самосознания XI в.

Зап.-сл. влияние обнаруживается и в палеографии. Отражение традиций художественного декора, восходящих к Сазавскому монастырю, предполагается для двух выдающихся памятников древнерусской письменности – Остромирова ев. 1056–1057 гг. (Розов, 1971) и Юрьевского ев., написанного между 1119 и 1128 гг. (Пуцко, 1979); интересно отметить, что оба памятника – новгородские.

О западном влиянии красноречиво свидетельствует и церковное право. С одной стороны, ряд рус. ц.-сл. юридических памятников обнаруживает зап.-сл. происхождение. Сюда относится прежде всего "Закон судный людем", представляющий собой переработку византийской Эклоги, сделанную Мефодием для западных славян. Через зап.-сл. посредство проникает на Русь и епитимийник "Заповедь святых отец", который переведен, видимо, с латинского пенитенциала. В Моравии был переведен и Номоканон Иоанна Схоластика. Оба памятника вошли, между прочим, в рус. Устюжскую кормчую XIII–XIV в. С другой стороны, на западное влияние указывают и некоторые рус. канонические установления. Так, согласно византийскому обычаю духовниками могли

быть только монахи, у южных славян наряду с монахами должность духовника могли выполнять и некоторые белые священники, однако не все, а лишь специально уполномоченные; между тем в России любой белый священник мог выступать в этой функции (Смирнов, 1913, с. 13–20), и это можно объяснить на счет западного влияния. В "Вопрошаниях Кирика", каноническом памятнике XII в., содержится очень показательная ссылка на правило св. Бонифация, разрешающее замену епитимьи заказными обеднями (РИБ, VI, стлб. 44, № 76; ср. Смирнов, 1913, с. 189–190 и прилож., с. 282–285), что представляет собой типичный католический обычай (Никольский, 1917, с. 116–118). На западные же образцы ориентировано разделение компетенции светского церковного суда в Уставе Владимира (Живов, 1987).

Западным влиянием объясняют и мартовский календарный стиль, который был принят на Руси в историографических трудах и в бытовой практике – параллельно с византийской сентябрьской системой, которую рус. митрополиты-греки ввели в употребление в церковной жизни и в дипломатической переписке с Византией. Мартовский стиль мог прийти к нам с Запада, где эта система в IX–XI вв. была общепринята, тогда как в Византии она вышла из употребления (Мошин, 1963, с. 46). В летописных текстах встречается иногда римская форма обозначения времени по календам.

Западное влияние усматривают и в необычных для греч. церкви княжеских канонизациях (например, Бориса и Глеба, Владимира и др.). Канонизация мирян наблюдается в Византии чрезвычайно редко; правда, имела место канонизация императоров, но это объясняется теократическим характером власти в Византии, который был совершенно чужд Киевской Руси. Не Византия, но христианский Запад мог давать русским прецедент для княжеских канонизаций (Федотов, 1938, с. 194–195); ср., например, канонизацию Вячеслава Чешского, отражение культа которого обнаруживается, как мы видели, в почитании Бориса и Глеба – первых по времени канонизации (1072 г.) рус. святых. Показательно, что канонизация князя Владимира (около 1250 г.) не была признана Византией.

Западное влияние проявляется, наконец, и в церковных обрядах. Наиболее выразительный пример – установление праздника перенесения мощей св. Николая из православных Мир Ликийских в католический город Бари ("вешний Никола", 9 мая), который фактически стал одним из главных праздников рус. церкви. Само событие произошло в 1087 г., причем мощи св. Николая были похищены разбойниками, и это событие вызвало естественное негодование в Константинополе. Уже в следующем году был установлен праздник на Западе, а вскоре после того, видимо, в 1091 г. он был введен и на Руси; в 1091 г. папа Урбан II отправляет в Киев к князю Всеволоду Ярославичу посольство, которое принесло в Киев частицу мощей св. Николая. Перенесение мощей св. Николая представляет собой прискорбное событие для православия, и вполне понятно, что греч. церковь этого праздника не знает; не было его и у южных славян. Таким образом, установление этого праздника на Руси может рассматриваться как открытая демонстрация против Константинополя. Тропарь этому празднику – западного происхождения, так же как и сказание о перенесении мощей Николая (Мошин, 1963, с. 45; Голубинский, I, 1, с. 774; Успенский, 1982, с. 21–22).

Другой пример того же порядка дает нам история колокола в России. Общеизвестна та роль, которую играет колокольный звон в рус. богослужении. Между тем, греч. церковь не знала обычая звонить в колокол, у греков был не колокол, а било, т.е. доска, в которую бьют. Обычай звонить в колокола заимствован с Запада, где был подлинный культ колоколов, в какой-то мере перешедший на Русь. На Западе искусство литья колоколов считалось священной профессией, что напоминает отношение к иконописцам на христианском Востоке; существовал церковный регламент крещения колоколов и наречения их личными именами. Точно так же и на Руси колоколам дают имена, их ссылают (первым ссыльным в Сибирь был углицкий колокол, доставленный в Тобольск в 1593 г. вместе с угличанами после убийства царевича Дмитрия) и им вырывают язык (явно в виду ассоциации языка колокола и языка человека, которому вырывают язык при наказании). Таким образом, как на Западе, так и в России имеет место характерная антропоморфизация колоколов, т.е. обращение с колоколом как с человеком. На Западе была принята колокольная клятва (скрепленная колокольным звоном присяга); в некоторых случаях невозможно было судопроизводство без колокольного звона. И в России очистительная присяга в определенных случаях давалась публично при колокольном звоне (ср. обычай "стоять под колоколами" во время клятвы). Отсюда вечевой новгородский колокол воспринимался как символ законности,

что и отразилось впоследствии в названии герценовского журнала (Голубинский, I, 2, с. 150-161; Мурьянов, 1973).

Как в распространении культа св. Николая, так и в усвоении культа колоколов посредническую роль играли, по-видимому, западные славяне.

3.3.4. Следы западного влияния в ц-сл. языке. В языковом отношении западное влияние проявляется в основном в лексике. В др-рус. текстах нередко представлена зап-сл. лексика, которая в свою очередь может восходить к латыни, - зап-сл. извод ц-сл. языка выступает как посредник в освоении латинского языкового материала. Таковы, например, слова *неприянь* в значении "дьявол", калькирующее лат. *inimicus* (юж-сл. соответствием к этому слову является *лукавый*), ср. еще выражение *неприѣзнено дѣло* - *opus diaboli*, *олтарь* - *altarium*, *оплатъкъ* - *oblatum* "причастие" (ср. еще кальку *приносъ* с тем же значением), *поганый* - *paganus* "языческий", *полата* - *palatium*, *камкати* - *communicare* "причащаться", *апостоликъ* - *apostolicus* "папа".

В ряде случаев мы встречаем в др-рус. текстах формы слов, которые говорят об их зап-сл. происхождении, например: *папѣж* (ср. польск. *papież*), *мних* (ср. польск., чешск. *mnich*), *мѣша* из лат. *missa* (ср. старочешск. *mša*). Слово *аминь* может выступать в латинизированной форме *амень* (см., например: Усп. кондакаръ 1207 г., л. 181 об., 182 об., 183). Сюда же относятся и формы некоторых собственных имен. Так, *Юрий* (*Юрг*, *Юргий*) восходит не прямо к Γεώργιος, а к зап-сл. форме этого имени (ср. чешск. *Jiří*, польск. *Jerzy*); западно-славянизмом должна быть признана и форма *Микола*, *Микула*, ср. чешск. *Mikuláš*, польск. *Mikołaj* (Успенский, 1982, с. 19-20). Примеры такого рода могли бы быть умножены.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что значительная часть лексики, обнаруживающей зап-сл. происхождение, оказывается так или иначе связанной с церковной культурой. Исследователи давно обращали внимание на зап-сл. лексические элементы в рус. ц-сл. текстах, однако рассматривали их только как моравизмы, пришедшие в Россию через Балканы, куда бежали изгнанные из Моравии ученики Кирилла и Мефодия. Наличие у западных славян устойчивой ц-сл. традиции делает излишним столь сложное объяснение.

4. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ: ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ И КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР МНЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В СВЯЗИ С ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИЕЙ

4.1. Общие замечания. Вопрос о языковой ситуации, т.е. вопрос о том, каково функциональное отношение между двумя языками (церковнославянским и русским), как распределяются их сферы влияния, за каким языком признаются права литературного и т.п. - определенным образом связан с вопросом о происхождении рус. литературного языка. Последний вопрос, в свою очередь, отсылает к известной полемике по этому поводу, в которой наиболее видными фигурами были А. А. Шахматов и С. П. Обнорский. Эта полемика началась еще в середине прошлого века, но наиболее четкое выражение противопоставленные мнения получили в сочинениях названных выше ученых. Так, С. П. Обнорский продолжил и развил точку зрения, высказывавшуюся еще И. И. Срезневским, тогда как А. А. Шахматов в большой степени продолжает концепцию К. С. Аксакова и М. А. Максимовича (см. Бернштейн, 1941, с. 23 сл.). Была высказана и компромиссная точка зрения - В. В. Виноградовым в последний период его деятельности (в ранних работах В. В. Виноградов полностью следует А. А. Шахматову).

В полемике по этим вопросам были смешены две по существу разные темы: проблема происхождения современного рус. литературного языка и проблема происхождения литературного языка древнейшей эпохи. Это смешение основывается на представлении о непрерывности языкового развития, которое исходит из наблюдений над эволюцией живого языка и неправомерно экстраполируется на историю языка литературного. Развитие литературного языка в принципе представляет собой не планомерную и последовательную эволюцию, а революционные изменения языковой нормы, обусловленные историко-культурными факторами (см. 1.5). Применительно к рус. литературному языку такая революция имела место во второй половине XVII-XVIII вв. в результате разрушения диглоссии. Соответственно, вопрос о происхождении современного рус. литературного языка отсылает нас к языковому развитию этого периода и отнюдь не равнозначен вопросу о происхождении рус. литературного языка Древней Руси.

4.2. Концепция А. А. Шахматова. Концепция А. А. Шахматова, изложенная в ряде его работ, в самых общих чертах сводится к следующему. Русские усвоили ц-сл. (или, по Шахматову, "древнеболгарский") язык, перенесенный на Русь как язык церкви и духовного просвещения. Он быстро претворился в рус. национальный язык. Другими словами, он стал разговорным языком культурной элиты, так сказать, др-рус. интеллигенции, на основании которого и образовалось разговорное койне Киевской Руси, распространившееся в дальнейшем в качестве национального языка. Этот язык, по мнению Шахматова, после столетий постепенной русификации и до сих пор остается основой рус. литературного языка, который в своем лексическом составе по крайней мере наполовину является церковнославянским (Шахматов, 1941, с. 69, 90, 236; ср. Шахматов, 1915, с. XXXIX).

Не со всем здесь можно согласиться. В некоторых отношениях концепция Шахматова представляется сейчас анахронической и не всегда обоснованной. В частности, вызывают возражения следующие моменты.

Неприемлемым представляется тезис, согласно которому ц-сл. язык достаточно быстро стал разговорным языком определенного социума. Напротив, следует думать, что с принятием ц-сл. языка в качестве языка литературного образовалось противопоставление литературного и нелитературного языка и устойчиво сохранялась дистанция между ними. Нет решительно никаких оснований предполагать, что, получив образование, рус. книжник переставал употреблять тот живой др-рус. язык, с которым он сталкивался в быту. Между тем, Шахматов именно считал, что "все лица, прошедшие школы, основывавшиеся на Руси в XI в." говорили на "древнеболгарском языке" (Шахматов, 1916, с. 82). Несомненно, это было не так. Характерное распределение сфер влияния, когда определенные документы - деловые, юридические и т.п. - пишутся на рус., а не на ц-сл. языке, свидетельствует о том, что эти языки не смешиваются и у книжных людей, т.е. у той образованной части др-рус. общества, которую имел в виду Шахматов. Таким образом, ц-сл. и рус. языки распределяют сферы влияния, как это и должно быть при диглоссии.

С известным приближением можно сказать, что ц-сл. язык в общем связан с книжным, письменным началом, а рус. язык - с некнижным, разговорным началом. Необходимо оговориться: ц-сл. язык был по преимуществу письменным (что вообще характерно при диглоссии) не в том смысле, что он вообще не имел отношения к звучащей речи. Он звучал при богослужении, на нем произносились проповеди и т.д. Существовала особая произносительная норма - норма книжного произношения. Однако эта норма была принципиально ориентирована на чтение, она осваивалась при обучении азбуке, книжное произношение было побуквенным, непосредственно соотносилось с орфографией. Таким образом, даже и в этом случае - в случае функционирования в сфере звучащей речи - явно выступает средостение письменной речи. Если ц-сл. тексты непосредственно произносились, а не читались, они произносились так, как если бы они читались (ср. выражение "говорить как по писаному", отражающее ситуацию древнерусской диглоссии). Итак, в сфере ц-сл. языка имеет место явный примат письменного начала. Точно так же в сфере рус. языка представлен явный примат устного, разговорного начала. Тексты, написанные на рус. языке, в большей или меньшей степени соотносятся с устной, разговорной речью Древней Руси и в общем отражают ее (правда, с определенными отклонениями, степень которых неодинакова в разных текстах - ср. 5.3 и 5.4).

Если признать, что в Древней Руси имела место ситуация диглоссии, то вызывает сомнения и социолингвистический аспект концепции Шахматова. По Шахматову, язык культурной элиты, т.е. княжеского окружения со временем превратился в общее койне (Шахматов, 1916, с. 82). Однако социолингвистическое расслоение общества не характерно для диглоссии (см. 2.2.2). Напротив, в этих условиях надо ожидать единой нормы языковой правильности для разных слоев общества. Вместе с тем, при диглоссии социальная иерархия не отражается и в разговорном языке, поскольку он лишен культурной значимости, т.е. нет оснований говорить о славянизации разговорного языка как социальном факторе.

Шахматов подчеркнул значение ц-сл. языка для истории рус. литературного языка и постулировал ц-сл. основу рус. литературного языка (на всех этапах его истории). Вместе с тем, не будучи знакомым - что естественно для того времени, когда он писал свои работы, - с типологией литературных языков, он не мог учесть возможности церковнославянско-рус. диглоссии как стабильной языковой ситуации: устойчивое сосуществование двух языковых систем (в рамках одного языкового коллектива), четко противопоставленных друг другу как в формальном, так и в функциональном отношении, не могло не казаться аномальным явлением.

Соответственно, Шахматов рассматривал языковую ситуацию Древней Руси как ситуацию церковнославянско-рус. двуязычия; между тем, двуязычие в отличие от диглоссии имеет в принципе промежуточный, переходный, нестабильный характер (см. 2.2). Определив сосуществование ц-сл. и рус. языков в Древней Руси как ситуацию двуязычия, Шахматов - вполне последовательно с точки зрения логики - предположил более или менее быструю ассимиляцию ц-сл. языка на рус. почве. В результате на несколько веков оказался отодвинутым тот процесс, который на великорус. территории происходит только со второй пол. XVII в., когда имеет место разрушение церковнославянско-рус. диглоссии и переход ее в церковнославянско-рус. двуязычие (см. 18). До этого история рус. литературного языка - это история ц-сл. языка рус. редакции (который формируется к нач. XII в.).

Невозможно согласиться с мнением Шахматова, что история рус. литературного языка сводится к процессу постепенной и последовательной русификации ц-сл. языка. Этот вывод основывается в значительной степени на рассмотрении словарного материала, но даже и в этом аспекте он неверен. Рассматривая славянизмы в современном рус. литературном языке, Шахматов приходит к выводу: "Из предложенного обзора церковнославянизмов в современном литературном языке видно, что в словарном составе он по крайней мере наполовину, если не больше, остался церковнославянским" (Шахматов, 1941, с. 90). Это несомненное упрощение: процесс развития был явно более сложным. Славянизмы в рус. литературном языке отнюдь не обязательно унаследованы от древнейшего (исходного) состояния: на разных этапах появляются новые славянизмы, не заимствованные, а вновь созданные (они появляются и сейчас, ср. такие слова как *здравоохранение, хладотехника, истребитель, вратарь* и т.п.).

В истории рус. литературного языка наблюдаются вообще два встречных процесса: процесс русификации и обратный процесс славянизации. Разные этапы истории рус. литературного языка связаны с преимущественной актуализацией той или иной тенденции. Последнее обстоятельство и обусловило, видимо, контргипотезу о происхождении рус. литературного языка, утверждавшую его собственно рус. истоки - именно, гипотезу С. П. Обнорского.

4.3. Концепция С. П. Обнорского. С. П. Обнорский попытался оспорить устоявшееся в науке мнение о том, что книжный литературный язык так или иначе возник в процессе усвоения ц-сл. письменности. На основании анализа языка "Русской Правды" Обнорский пришел к выводу, что "русский литературный язык старшей эпохи был в собственном смысле русским во всем своем остоле. Этот русский литературный язык старшей формации был чужд каких бы то ни было воздействий со стороны болгарско-византийской культуры", которая позднее оказала на него сильное влияние. "Оболгарение русского литературного языка следует представлять как длительный процесс, шедший с веками *crescendo*" (Обнорский, 1960, с. 144). Эту попытку пересмотра традиционной точки зрения приходится признать несостоятельной. Прежде всего "Русская Правда" вообще находится вне сферы литературного языка и вне литературы. Это не литературное произведение, если понимать литературу с точки зрения того времени, когда она была записана. Это памятник некнижного языка (см. 5.3). Тем не менее, вопреки Обнорскому, и здесь наблюдается, хотя бы и в слабой степени, ц-сл. влияние (см. Селищев, 1968, с. 130-133). Наконец, Обнорскому явно не удалось доказать, что рус. литературный

язык оставался какое-то время вне воздействия со стороны "болгарско-византийской" культуры. Вне его внимания остались многочисленные памятники, также относящиеся к древнейшему периоду, которые явно испытали непосредственное ц.-сл. влияние.

Действительно, привлечение к анализу и других памятников древней поры (Слова о полку Игореве, Моления Даниила Заточника, сочинений Владимира Мономаха) заставило Обнорского формулировать свои выводы более осторожно. В более поздней работе, касаясь языка "старшей поры" (XI–XII вв.), он говорит уже не об абсолютном отсутствии ц.-сл. влияния на рус. литературный язык, а об "очень слабой доле церковнославянского на него воздействия", замечая при этом, что "доля церковнославянского воздействия... колеблется в зависимости от памятника" (Обнорский, 1946, с. 6–7; Обнорский, 1960, с. 31). В дальнейшем характеристика рус. литературного языка у Обнорского вообще перестает отличаться от традиционной: вопрос, что из чего произошло, приобретает в достаточной степени схоластический характер, поскольку все сходятся на том, что ц.-сл. влияние имело место, и что оно в разной степени проявлялось в разных письменных текстах.

Признавая наличие ц.-сл. влияния уже в древнейших памятниках рус. письменности, Обнорский, однако, не отказался от своего тезиса "о русской основе нашего литературного языка, а соответственно о позднейшем столкновении с ним церковнославянского языка и о вторичности процесса проникновения в него старославянских [т.е. церковнославянских] элементов" (Обнорский, 1946, с. 6). Но в этом случае необходимо признать, что дошедшие до нас памятники XI–XII вв. не являются древнейшими памятниками литературного языка. Именно это и утверждал Обнорский, по мнению которого "показания старейших наших литературных памятников обязывают к утверждению русской первичной базы нашего литературного языка и притом зародившегося не в X в., а слагавшегося на протяжении предшествовавших столетий" (Обнорский, 1960, с. 279). Таким образом, вопрос о происхождении рус. литературного языка был отнесен к эпохе, от которой до нас не дошло почти никаких свидетельств. Те же данные, на основании которых можно было бы строить какие-либо предположения, как раз указывают на то, что письменный язык этого периода (если таковой существовал) скорее всего был именно церковнославянским (см. 3.1.2).

4.4. Характер влияния ц.-сл. и рус. языков друг на друга. Итак, если Шахматов связывает историю рус. литературного языка с русификацией ц.-сл. текстов, то Обнорский связывает ее с славянизацией рус. текстов. Оба процесса действительно имели место, но в памятниках разного типа. Таким образом, Шахматов и Обнорский исходят из разного круга памятников, считают разные виды текстов представительными для истории литературного языка.

Констатируя взаимное влияние ц.-сл. и рус. языков друг на друга, необходимо подчеркнуть принципиально различный характер ц.-сл. влияния на рус. язык и рус. влияния на ц.-сл. язык. Говоря о противопоставлении ц.-сл. и рус. языков необходимо иметь в виду несколько условный характер употребления этих терминов: если под ц.-сл. языком понимается некоторая единая норма, то под рус. языком понимается в сущности совокупность различных вост.-сл. диалектов.

Рус. влияние на ц-сл. язык проявляется в том, что отдельные языковые признаки усваивались ц-сл. языком рус. редакции, т.е. входили в норму этого языка. Естественно, что влияние такого рода было ограниченным, поскольку ему противодействовал языковой консерватизм книжной нормы. Рус. языковая стихия проходила, таким образом, через фильтр ц-сл. нормы, которая в одних случаях допускала проникновение рус. элементов, а в других - противодействовала влиянию разговорного языка на книжный. Так, например, написание *ж* (а не *жд*) в соответствии с о-сл. **dj* входит в норму рус. ц-сл. языка XI-XIV вв.; напротив, написание *ч* (а не *щ*) в соответствии с о-сл. **tj* представляет собой явное отклонение от книжной нормы (см. 7.2 и 8.1.3). Таким образом, рус. влияние на ц-сл. язык, вопреки Шахматову, не приводит к ассимиляции ц-сл. языка, но сводится лишь к его адаптации на рус. почве; в процессе этой адаптации и образуется специальная норма рус. ц-сл. языка, четко противопоставленная при этом языку некнижному.

Если рус. влияние на ц-сл. язык было ограниченным, то ц-сл. влияние на рус. язык ничем не сдерживалось, поскольку для рус. языка не существовало никакой кодифицированной нормы. Соответственно, рус. речь свободно заимствует ц-сл. элементы, после чего окказиональные заимствования в речи могут закрепляться в языке. Итак, при взаимодействии ц-сл. и рус. языков в обоих случаях - как в случае ц-сл., так и в случае рус. влияния - имеют место окказиональные заимствования: окказиональные русизмы в ц-сл. речи (тексте) и окказиональные славянизмы в рус. речи (тексте). Однако в случае ц-сл. языка явления такого рода (постольку, поскольку они не адаптируются местной редакцией) остаются отклонениями от нормы и по существу не имеют отношения к норме как таковой. Можно сказать, что они остаются явлениями речи, а не языка, т.е. воспринимаются как особенность (свойство) тех или иных конкретных текстов, но не ц-сл. текстов вообще. Между тем, в случае рус. языка - в силу его некодифицированности - окказиональные заимствования легко усваиваются языком и становятся фактами языка, а не речи. Отсюда мы имеем очень сильное влияние книжного языка на разговорный при диглоссии при относительно слабом влиянии в обратном направлении.

Ц-сл. влияние на разговорный язык отразилось, по-видимому, в рус. говорах, где широко представлены неполногласные формы (см. Порохова, 1971; Порохова, 1972; Порохова, 1976). Разумеется, не всегда возможно отличить древние заимствования из ц-сл. языка от более поздних, однако в ряде случаев имеет место характерное расхождение значений между аналогичными по форме ц-сл. и диалектными словами, которое может указывать на древность заимствования; ср., например, такое расхождение между ц-сл. *благий* и рус. *благой* (в рус. языке слово приобретает отрицательное значение); *благой* в специфически рус. значении встречается уже у Афанасия Никитина, но надо полагать, что письменной фиксации предшествовал более или менее длительный процесс освоения данного слова в разговорной речи (ср. еще рус. глагол *блажить* "дурить" при ц-сл. *блажити* "прославлять", а также такие собственно рус. образования отсюда, как *блажь*, *блажной* и т.п.). В некоторых случаях до нас дошло ц-сл. слово и не дошло коррелирующее с ним русское, которое мы можем восстановить, лишь исходя из фонетических соответствий; если предполагать, что такое слово было в рус. языке,

необходимо признать, что оно полностью вытеснено славянизмом. Так, полагают, что славянизм *лица* полностью вытеснил исконно-рус. **лица* (Ковтун, 1977, с. 76-77); аналогичным образом славянизм *вещь*, может быть, вытеснил исконно-рус. **вечь*. Реконструируемые рус. формы не встречаются при этом ни в литературном, ни в диалектном языке; не зафиксированы они и в памятниках письменности. Слово *верема*, встречающееся в др-рус. текстах, не зарегистрировано в великорус. диалектах, т.е. исконная рус. форма вытеснена здесь славянизмом *время* (ср., однако, укр. *верем'я* "погода"). Точно так же славянизм *член* вытеснил, по-видимому, рус. форму *челон*, которая представлена, между тем, в древнейшей письменности (например в Христиноп. ап. XII в.).

Наконец, мы располагаем и прямым свидетельством о ц-сл. влиянии на разговорную речь Киевской Руси. Такое свидетельство содержится в "Теогонии" Иоанна Цеца (сер. XII в.), где приводится рус. фраза в греч. транскрипции: *σδρᾱ βράτε, σεστριζα... δόβρα δένη*, т.е. "Сдра, брате, сестрице... добръ день" (Гунгер, 1953, с. 305; ср.: Моравчик, 1930, с. 356-357; Успенский, 1983, с. 42). Вне зависимости от того, как трактовать форму *σδρᾱ* - как сокращение выражения *здравъ буди* или *здрасте* или как передачу недошедшей до нас формы приветствия *здра*, - перед нами явный случай неполногласия в живой речи.

Примеры рус. влияния на ц-сл. язык, закрепляющегося в книжной норме, мы находим прежде всего в области фонетики и орфографии, отчасти в грамматике и, наконец, в лексике. Что касается ц-сл. влияния на рус. язык, то оно проявляется прежде всего в лексике. Лексика, однако, наименее показательна при различении книжного и некнижного языка, поскольку лексический уровень характеризуется вообще большей проницаемостью, чем другие языковые уровни. В самом деле, если в отношении фонетической и грамматической нормы носитель языка при овладении литературным языком так или иначе ориентируется на правила, то в отношении лексической нормы ему преимущественно приходится ориентироваться на тексты: здесь по необходимости имеет место подход начетчика, когда лишь начитанность в текстах дает возможность судить о встречаемости или невстречаемости в книжном языке того или иного слова или формы (поэтому кстати обучение непременно предполагало заучивание наизусть определенного корпуса текстов - в частности, Псалтыри и т.п.). Отсюда определяется относительная ненормированность лексического уровня в древнейший период, почти полное отсутствие функционального противопоставления рус. и ц-сл. языков на лексическом уровне. Норма, вообще говоря, может здесь проявляться только в отношении отдельных слов, на которые обращается особое внимание и которые могли бы быть заданы списком (ср. соответствия типа *говорю* - *глаголю*, *щека* - *ланита*), но она не может распространяться на весь пласт лексики в силу естественной ограниченности человеческой памяти. Лексический уровень в целом остается недифференцированным в плане противопоставления рус. и ц-сл. языков (и это делает бессмысленным обращение к нему при решении вопроса о характере языка того или иного текста). В самом деле, легко привести примеры таких текстов, которые должны быть охарактеризованы как церковнославянские (на основании формальных, грамматических критериев), хотя их лексический состав никак не соответствует такой характеристике. А. В. Исаченко приводил в этой связи следующий текст с ц-сл. грамматикой, но инородной лекси-

кой: "Автомобилю же в гаражѣ сушу, разнервничахъ ся вельми и отидохъ остановцѣ трамвая. Ни единому же приходящу, призвахъ таксомоторъ и влѣзше отвезенъ быхъ, аможе нужду имѣяхъ" (Хютль-Ворт, 1978, с. 188). Это искусственно сконструированный пример, однако близкие по типу примеры могут быть приведены и из реальных текстов. Так, в "Фацециях", ц-сл. переводном памятнике конца XVII в., читаем: "Аз от толикаия страсти весь обосрахся" (Державина, 1962, с. 134); как видим, рус. лексема употреблена при наличии ц-сл. эквивалента *испражнятися*.

Итак, на лексическом уровне в принципе отсутствуют системные противопоставления между ц-сл. и рус. языками, т.е., иначе говоря, противопоставление языков в языковом сознании осуществляется не за счет лексических оппозиций. Рус. книжник при создании ц-сл. текста может легко заимствовать лексические элементы из своего живого языка (в каких-то случаях преобразуя, а в каких-то случаях и не преобразуя их по ц-сл. морфонологическим моделям, см. 10.2) - ц-сл. характер текста однозначно определяется фонетическими и грамматическими признаками, тогда как в отношении лексики пишущий пользуется свободой выбора. Отсюда очевидно, насколько нецелесообразны попытки охарактеризовать язык памятника, определяя в нем соотношение "церковнославянских" и "русских" лексем, т.е. генетических славянизмов и генетических русизмов.

Полемика Шахматова и Обнорского поставила вопрос о происхождении современного рус. литературного языка, о том, восходит ли он к рус. или к ц-сл. языку. Эту дилемму пытаются разрешить обращением к словарному материалу современного литературного языка, подсчетами соотношения в нем лексических русизмов и славянизмов (Ф. П. Филин). Как мы уже говорили, эта проблема может быть поставлена только в плане соотношения современного литературного языка с состоянием конца XVII-XVIII вв. (а не с языковым состоянием древнейшего периода). Но в любом случае этот вопрос не решается обращением к лексике. Свобода выбора в лексике создает лексическую вариативность, которая в период формирования нового литературного языка (XVIII-XIX вв.) может получать функциональную нагрузку, т.е. как генетические русизмы, так и генетические славянизмы усваиваются литературным языком, и лексическое противопоставление церковнославянского и русского реализуется, таким образом, в рамках литературного языка, отнюдь не определяя его ц-сл. или рус. характер. Функциональная нагрузка славянизмов в современном рус. литературном языке может реализоваться как противопоставление поэтического и непоэтического, бытового - небытового, официального - повседневного. Характерным примером такого функционального использования может служить соотношение сложносокращенных слов и их несокращенных эквивалентов - нередко в аббревиатурах (которые носят официально-канцелярский характер) используются неполногласные формы, тогда как в несокращенных эквивалентах им соответствуют формы полногласные, ср. *Главхладпром* - *Главное управление холодильной промышленности*, *Главдревлитмаш* - *Главное управление деревообрабатывающих и литейных машин* (Исаченко, 1974, с. 266). Отметим еще, что в современном рус. литературном языке возможно объединение полногласных ("рус.") и неполногласных ("ц-сл.") форм в одной парадигме, как это имеет место в парадигме степеней сравнения, ср. *дорогой, дороже, дражайший* и т.п. Наконец, ц-сл. и рус. признаки могут сочетаться в пределах одной лексемы, ср. формы типа *переубеждать*, где полногласие приставки позволяет рассматривать соответствующее слово как русизм, тогда как отражение *dj в виде *жд* заставляет трактовать его как славянизм. Совершенно ясно, что подсчет лексем в этих условиях не характеризует даже словарного состава в плане его соотношенности с ц-сл. или рус. языком.

4.5. Концепция В. В. Виноградова. В. В. Виноградовым была высказана компромиссная точка зрения, в какой-то мере объединяющая концепции Шахматова и Обнорского. Виноградов

предлагает говорить о двух типах др.-рус. литературного языка: "книжно-славянском" и "народно-литературном" (или "литературно обработанном народно-письменном"). Оба эти типа, по мнению Виноградова, обнаруживают уже в XI–XII вв. признаки стилистической дифференциации, связанные с различием сфер их функционального и жанрового применения. "Письменно-деловая речь, влияя на развитие литературно-народного языка и сближаясь с ним в обработанных произведениях деловой прозы (грамотах, отписках и т.п.), одним краем касается литературного языка, а другим уходит в гущу народно-разговорной диалектной речи" (Виноградов, 1958, с. 111, ср. с. 37, 60, 66–67). Важно подчеркнуть, что Виноградов, в отличие от Шахматова и Обнорского, говорит не столько о происхождении рус. литературного языка, сколько о языковой ситуации Древней Руси. Однако рассмотрение языковой ситуации не может ограничиваться простой констатацией существования разных функциональных языковых вариантов (типов). Оно предполагает установление собственно языковых критериев выделения соответствующих вариантов, при котором можно адекватным образом определить отношения между ними, понять, как они распределяют свои функции и как они могут взаимодействовать друг с другом. В. В. Виноградов не дает ответа на эти вопросы, отсылая нас к некому корпусу литературных текстов, языковая однородность которых предполагается само собой разумеющейся. Понятие типа литературного языка, которое в принципе должно обладать четким лингвистическим определением, ставится тем самым в зависимость от неизбежно расплывчатого и исторически изменчивого понятия "литературности" текста.

5. ТИПЫ ТЕКСТОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ИХ ЯЗЫКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: КРИТЕРИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

5.1. Канонические тексты как ядро литературы; характер литературного процесса в Древней Руси. Мы видели, что различие точек зрения на литературный язык Древней Руси определяется прежде всего тем, из каких памятников исходят исследователи, какие тексты они считают представительными для истории литературного языка. Др-рус. тексты очень существенно различаются по своим языковым характеристикам. Следует понять, какой принцип лежит в основе этого варьирования, т.е. в каких случаях следует ожидать применение ц-сл. языка, а в каких - сознательное отступление от ц-сл. языковой нормы (нас не будут здесь интересовать бессознательные отступления, обусловленные просто недостаточным знанием книжного языка). Уяснив этот принцип, мы можем понять, что в Древней Руси относилось к корпусу литературных произведений.

К области литературы в условиях церковнославянско-рус. диглоссии относятся прежде всего канонические тексты. Они образуют как бы ядро литературы (словесности). Это проявляется в том, что подобные тексты - тексты так или иначе связанные с церковной культурой - определяли те образцы, на которые должны были ориентироваться все остальные тексты, если только они претендовали на литературность. Так, например, "Сказание о первых черноризцах", помещенное в летописи под 1074 г., написано под явным влиянием патериков. Известие о крещении Владимира перерабатывается по схеме обращения Константина Великого, в том виде, в каком эта схема дана в хорошо известной в Древней Руси Хронике Георгия Амартола (так, например, внезапное заболевание Владимира перед крещением соответствует внезапному заболеванию Константина и т.п. - Сухомлинов, 1908, с. 105-106). Летописное сказание о походе на Царьград переработано по рус. редакции Жития св. Василия Нового (Вилинский, I, с. 312 сл.). Биографии рус. князей в летописи написаны обычно под влиянием житий святых. Как видим, даже хроникальные известия составлялись по образцам такого рода; тем более это относится к произведениям, не связанным с конкретными историческими событиями (например, проповедям и т.п.). "Подобно тому, как исследователь литературы западного гуманизма может понять соответствующие тексты, только если он читает их в свете классических текстов Цицерона, Вергилия, Горация, Платона и других античных классиков, точно так же исследователь славянской средневековой литературы может понять изучаемые им произведения, только если он видит их в свете текстов таких церковных авторов как Григорий Богослов (Назианзин), Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин и других отцов церкви, а также византийских историков и агиографов... Вместе с библейской традицией (как ортодоксальной, так и апокрифической) и решениями семи Вселенских соборов эти освященные образцы снабжали средневековых славянских писателей стилистическими и концептуальными клише" (Пиккио, 1973, с. 445). Понимание др-рус. литературного текста, вообще говоря, предполагает экзегезу (толкование), обращение к исходным текстам-образцам (на самых разных уровнях - композиционном, смысловом, идеологическом). Так, например,

"Слово о законе и благодати" митрополита Илариона невозможно понять, не будучи знакомым с Посланием к галатам апостола Павла (IV, 21–31), с книгой Бытия (гл. XVI, где излагается история Агари и Сарры), а также с традицией экзегезы этих текстов. Таков тот литературный фон, на котором создавались соответствующие тексты и на котором они должны были восприниматься. Более того: те или иные тексты, видимо, могут вообще пониматься как конкретные реализации исходного текста, который является как бы онтологически исходным, первичным. Подобно тому как церковная служба постоянно (циклически) воспроизводит одни и те же библейские события, так и книжная словесность как бы воспроизводит одни и те же исходные тексты (образцы), прежде всего библейские и вообще церковные.

Не случайно произведения назывались именами тех исходных текстов (образцов), по модели которых они строились. Так, в др-рус. литературе известно оригинальное произведение под заглавием "Премудрость Иисуса, сына Сирахова" или собрание загадок под названием "Премудрость царя Соломона". Это оригинальные рус. тексты, авторами которых явно не могли быть Иисус, сын Сираха, или царь Соломон. Совершенно так же др-рус. поучения назывались именами Иоанна Златоуста, Василия Великого и других отцов церкви. По подсчетам Е. Э. Гранстрем из 287 бесед Иоанна Златоуста, имевших хождение в рус. письменности до XV века, лишь шесть являются подлинными произведениями Златоуста. Остальные отражают устойчивую традицию приписывания Златоусту написанных в подражание ему наставлений, традицию, представленную как у славян, так и у греков (Гранстрем, 1974, с. 187). Это никоим образом не плагиат, а своеобразная ссылка на "жанр", т.е. на тот исходный текст, на который ориентируется создаваемое произведение и который онтологически стоит за ним.

Следует вообще иметь в виду, что в др-рус. литературе в принципе отсутствует представление об индивидуальном авторстве: чужие тексты могли перерабатываться, редактироваться, дополняться. Отсюда так много редакций др-рус. памятников литературы, и такое принципиальное значение приобретают здесь проблемы текстологии. Коль скоро отсутствуют представления о личном авторском творчестве, отсутствует и понятие плагиата, и цитаты, вообще вкрапления чужого текста (как правило, без ссылки на источник) не только не порицались, но приветствовались – тем более, чем источник был авторитетнее, – поскольку они придавали ему свойство "литературности". Отсутствие четкого представления об авторской оригинальности связано вообще с четким представлением о наличии литературной нормы. Для нас сейчас наличие элементов чужого текста в историческом повествовании – свидетельство его недостоверности. Тогда, напротив, это свидетельство его достоверности, истинности, подлинности. Так, например, в Житии протопопа Аввакума, которое вообще в большой степени строится на параллелизме с библейскими мотивами, библейские тексты проникают даже в речь действующих лиц. Враг Аввакума, казачий атаман Пашков, говорит в минуту раскаяния: "Согрѣшил окаянной – пролил кровь неповинну" (РИБ, XXXIX, стлб. 36). Это, однако, слова Иуды из Евангелия (Мф. XXVII, 4). Означает ли это, что Аввакум полностью выдумал этот эпизод? Или, напротив: что Пашков произнес иудины слова? И то, и другое не обязательно: Пашков действительно мог произнести нечто, что Аввакум отождествил со словами Иуды. Здесь вовсе не тенденциозность Аввакума: просто в речи Пашкова (в словах раскаяния) Аввакум

усматривает истинный смысл - тот, который выражен словами Иуды (понятно, что Евангелие рассматривается как совершенный, идеальный по своей правильности текст) и который стоит за словами Пашкова. Пашков, с точки зрения Аввакума, сказал нечто совершенно адекватное по существу, а если он сказал это не совсем теми словами, то это относится только к внешнему, поверхностному плану речевого поведения. Итак, при порождении текста на исходном уровне стоят как бы именно слова Иуды, как соответствующие каноническому тексту и тем самым онтологически первичные. В других случаях Аввакум в Житии может прямо называть действующих лиц именами евангельских персонажей. Так, одного из никонианских деятелей он именуется Пилатом: "И егда бысть в дому моем въсегубительство [допрос и обыск], спросил его Пилат: Как ты, мужик, крестисься? Он же отвѣща смиренномудро: Я так вѣрую и крещуся, слагая перъсты, как отец мой духовной протопоп Аввакум" (РИБ, XXXIX, стлб. 62). Как видим, параллелизм с евангельским текстом, на фоне которого воспринимаются описываемые события, обуславливает даже прямое отождествление действующих лиц с участниками евангельских событий. Хотя Житие Аввакума - это относительно поздний памятник, принципы отношения к тексту в нем те же, что и в начальный период др-рус. литературы. Ориентация на некоторый канонический образец, обуславливающая прямые заимствования из этого исходного текста, сообщает произведению не только качество литературности, но и достоверности. Показательно, что, когда Иосиф Волоцкий написал "Просветитель", это вызвало возражение и обвинение в неуместности сочинения такого рода, причем возражавшие ссылались на запрещение VII Вселенского собора писать новые книги (Терновский, I, с. 185). Не случайно Иван Федоров считает нужным подчеркнуть в послесловии к своему букварю 1574 г.: "Писахъ вам' не от себе, но от божественных' апостолъ и богоносныхъ святыхъ отецъ ученія, и преподобного отца нашего Іоанна Дамаскина, от грамматикіи". В некотором смысле создаваемые тексты должны были повторять уже имеющееся и не содержать в себе ничего существенно нового.

Именно поэтому сочинение, перевод, редактирование или простое переписывание книги отождествлялись в сознании др-рус. книжника. Все эти процессы были связаны, одно обычно предполагало другое: переписывание было сопряжено с редактированием, редактирование с сочинением и т.п. Поскольку др-рус. произведения свободно переписывались и переделывались, мы не можем использовать их для исследования языка того времени, когда они были созданы. Если мы знаем, например, что произведение написано в XI в., но располагаем лишь списками XIV в., то мы можем делать выводы только о языке XIV в., но отнюдь не о языке XI в. В этом отличие др-рус. литературы от литературы новой, когда в силу представлений об индивидуальном авторстве произведения воспроизводятся относительно точно.

Представление об индивидуальном авторском творчестве появляется в России довольно поздно, видимо, не ранее XVI в. Князь Курбский в предисловии к своему переводу "Нового Маргарита" (сборник слов Иоанна Златоуста) возражает против указанной выше практики приписывать произведения тому или иному авторитетному автору и видит в ней стремление украсить свое произведение громким именем, т.е. практику псевдонимного наименования: "Нѣкоторые поэтовѣ, складающе прекрасные словеса и полезныя и таяще имена свои, подписовалися Златоустовымъ титуломъ, что есть непохвально и тщеславно зрится чужимъ румянцемъ украшатися" (Архангельский, 1888, прилож., с. 12). Это новый, ренессансный взгляд на авторство; можно сказать,

что Курбский обнаруживает свое непонимание средневековой традиции и в отличие от средневековых сочинителей видит в книге продукт индивидуального творчества.

Итак, индивидуального авторства в Древней Руси не было - было авторство по существу коллективное, соборное. Подобную ситуацию можно сейчас наблюдать в бытовании фольклорных текстов, хотя оно объясняется несколько иными причинами. Более близкую аналогию представляет иконописание: как известно, др-рус. икона - продукт коллективного творчества не только в том смысле, что икону обыкновенно писали одновременно несколько мастеров (ср. обычное участие нескольких писцов при написании рукописи, когда один писец пишет основной текст, другой инициалы и т.д.), но и в том смысле, что последующие поколения также участвовали в этой же иконе, исправляя ее в соответствии с изменившимся художественным языком. Необходимо подчеркнуть, что иконы исправляли не по соображениям красоты, но по соображениям правильности. Это ясно проявляется в иконописной терминологии, согласно которой иконописец не создает изображение, а постепенно "раскрывает" его, он не сочиняет, а раскрывает предвечно существующий образ (как бы исконно присутствующий в иконной доске), освобождая его от всего случайного, наносного, ср. современное выражение *раскрыть образ*, которое восходит именно к такому пониманию творческого процесса; нанося краски, он как бы восстанавливает первоначальную более правильную реальность (это проявляется, между прочим, в иконописной терминологии, ср. *раскрышка* как название краски, которой пользуются иконописцы, и т.п. - Успенский, 1976, с. 16). Эта аналогия между литературой и живописью не случайна: она объясняется принципиально одинаковым отношением к тексту - словесному или изобразительному.

Коллективное авторство обусловлено тем, что с точки зрения самих создателей текста их деятельность вообще не является творчеством, и в этом смысле они не могут считать себя "авторами" текста (в этимологическом смысле этого слова, ср. *auctor* "творец"), ведь творчество - это создание чего-то нового, вообще создание, творение. Создатель др-рус. литературного текста в принципе не ставит перед собой такую задачу. Он **открывает** текст - подобно тому, как иконописец раскрывает икону - открывает созданное, т.е. онтологически как бы уже присущее и заданное.

Источник подобных воззрений - понимание литературы и литературного процесса как раскрытия истины. При таком понимании автор выступает в качестве посредника между Богом как подлинным создателем текста и читателем, т.е. его функции в некотором смысле оказываются аналогичными функциям священника. Поэтому творчеству - созданию литературного произведения (или иконы) - обязательно предшествовала молитва, а иногда и пост (эта практика сохраняется позднее у старообрядцев). Предполагалось, что в процессе творчества автору открывается свыше текст или изображение. Творчество рассматривалось в значительной степени как объективный (а не произвольный, волюнтаристский) акт, и, соответственно, этим определялся подход к тексту. При этом автор стремился донести до читателя не только содержание, но и **отношение** к нему, что требовало особого сакрального языка. Именно поэтому сочинение, перевод или переписывание книги было не гражданской профессией, но душевспасительной деятельностью, которой занимались монахи и священники. В некоторых рус.

монастырях (например, в Ферапонтовом монастыре в XV в.) книжное дело вменялось в обязанность каждому монаху (Бочаров и Выголов, 1979, с. 253). Еще в XVII в. Симеон Полоцкий ставит литературное творчество в свое ежедневное монашеское правило: каждый день, наряду с молитвами, обязательными для монаха, он писал (Татарский, 1886, с. 340–341).

Между тем, это исключительно важно для понимания языковой ситуации: лишь те, кто умел писать, могли устанавливать нормы литературного языка. Умение писать на книжном языке – это прежде всего привилегия духовенства: писание, переписывание, сочинение были связаны по преимуществу с монастырской традицией. В этих условиях церковный (сакральный) язык закономерно выступает как язык литературный.

Задача литературы при таком понимании – раскрытие Божественной правды; правда содержится в канонических текстах, поэтому литература естественно ориентируется на эти тексты. Правдивость, истинность текста в предельном случае определяется его боговдохновенностью: так именно и воспринимаются в эпоху Средневековья канонические тексты. В силу сказанного наиболее показательными для суждения о литературном (ц-сл.) языке и оказываются канонические памятники, прежде всего евангелия и богослужебные тексты, где нормы литературного языка соблюдались особенно тщательно. Именно на такие тексты ориентируются др-рус. книжники, употребляя ц-сл. язык, именно они задают норму этого языка.

5.2. Критерии применения ц-сл. и рус. языка. Чем же обусловлен выбор ц-сл. или рус. языка в условиях церковнославянско-рус. диглоссии?

Следует прежде всего подчеркнуть, что обращение к рус. языку отнюдь не свидетельствует о невладении книжным ц-сл. языком, т.е. совсем не всегда объясняется простой неграмотностью, неспособностью писать (говорить) по-церковнославянски, но может иметь вполне сознательный характер – как употребление ц-сл. языка, так и употребление рус. языка определяется при этом языковой установкой пишущего (говорящего). Соответственно объясняется смена языкового кода, т.е. чередование ц-сл. и рус. языков в соответствии с меняющейся языковой установкой, которую мы наблюдаем в целом ряде текстов.

Иллюстрацией могут служить, например, всевозможные записи или приписки писцов в грамотно написанных ц-сл. текстах. Так, уже в Остр. ев. 1056–1057 гг. тексты, принадлежащие непосредственно самому писцу – дьякону Григорию, – более или менее отчетливо отличаются по языку от переписанного им евангельского текста, ср.: "ищи зади. перегънѣвъ листа дѣва" (л. 265г), "да иже горазнѣ сего напише. то не мози зазърѣти мнѣ грѣшъникоу" (л. 294г); здесь же встречаем полногласные формы *Володимира*, *Новѣгородѣ* (л. 294в) – приведенными формами и исчерпываются, собственно, все случаи полногласия в данном памятнике, т.е. они встречаются исключительно в записях писца. Дьякон Григорий – бесспорно, образованный человек, который не просто списывал текст, но исправлял орфографию оригинала, контролируя ее своим книжным произношением. Таким образом, отмеченная разница в языке никак не может объясняться простой неграмотностью, но обусловлена исключительно языковой установкой – писец в данном случае говорит от себя, от своего лица и потому может пользоваться (в той или иной степени) рус. формами. Это различие, впрочем, в какой-то мере затушевывается тем обстоятельством, что заключительная запись Григория восходит (в общей

композиционной схеме) к записи попа Угрия Лихого на книге пророков с толкованиями 1047 г., т.е. отражает некоторый сложившийся стереотип послесловия (см. Карский, 1928, с. 281–282). Гораздо ярче представлено то же явление в разнообразных приписках, которые писцы делали на полях рукописей: ц-сл. язык основного текста может резко контрастировать с рус. языком приписок (см., например: Соболевский, 1908, с. 35–38; Карский, 1928, с. 283–285; Седельников, 1927, с. 66–70). Очевидно, что пишущий по-русски вообще более свободен в выборе средств выражения, менее к ним внимателен, поскольку здесь нет кодифицированной нормы; существенно, однако, что каждый раз отказ от применения ц-сл. языка осмыслен и неслучаен. Эта неслучайность подчеркивается тем фактом, что записи писцов могут быть сделаны в иной системе письма, а именно тайнописью (см., например: Сперанский, 1929, с. 85–86 и др.) – смена языкового кода в данном случае находит выражение в системе письма.

Подобное чередование языков находим и в древнейшем рус. княжеском уставе, а именно в Уставе князя Владимира (старшие списки которого датируются XIV в.). Собственно юридический текст написан по-русски, однако ему предшествует пространная преамбула, изложенная по-церковнославянски (Шапов, 1976, с. 14 сл.). Эта смена кодов отражает изменение установки пишущего: преамбула дает тексту общую религиозно-культурную санкцию (в ней говорится об установлении христианства на Руси), тогда как в дальнейших статьях излагаются конкретные юридические моменты. Совершенно аналогично в некоторых списках Русской Правды (в Пушкинской группе списков) рус. тексту этого памятника предшествует ц-сл. предисловие общеназидательного характера (Рус. Правда, I, с. 281–282, 299–300). Этот принцип чередования языков в зависимости от установки пишущего еще более отчетливо прослеживается в более поздних текстах, в частности, в целом ряде памятников Моск. Руси; поскольку в Моск. Руси сохраняется ситуация диглоссии (см. 14.1), мы вправе вообще привлекать к рассмотрению относительно поздние факты, проецируя их на древнейшее языковое состояние (по крайней мере, в качестве рабочей гипотезы).

Наглядным примером дистрибуции ц-сл. и рус. языка в зависимости от языковой установки могут служить сочинения Ивана Грозного. Наряду с текстами Грозного, написанными по-церковнославянски (такими, как первое послание Курбскому 1564 г.) и по-русски (такими, как послание Василию Грязному 1574 г.), мы имеем тексты, где автор переходит с одного языка на другой. Так, в послании в Кирилло-Белозерский монастырь (1573 г.) Иван Грозный обращается к монастырской братии по-церковнославянски, но в дальнейшем переходит на рус. язык и чередует тот и другой язык в соответствии с меняющейся языковой установкой. Описывая, как жили монахи в Троице-Сергиевом монастыре, Иван говорит (выделяем ц-сл. текст): *"А дотолѣ у Троицы было крепко житие, и мы се видехом: и при нашем приезде потчивают множество, а сами чювственны пребывают. А во едино время мы своиа очима видели в нашъ приезд. Князь Иоанн был Кубенской у нас дворецкой. Да у нас кушание отошло приезжее, а всенощное благовестят. И он похотел тут поести да испити – за жажду, а не за прохлад. И старец Симан Шюбин и иныя с ним, не от бѣльших (а большия давно отошли по келиам), и они ему о том как бы шютками молвили: 'князь Иван-су, поздно, уже благовестят'. Да сесь, сидячи у по-*

ставца, с конца ест, а они з другово конца отсылают. Да хватился хлебнуть испити, ано и капельки не осталось: все отнесено на погреб. Таково было у Троицы крепко, да то мирянину, а не чернцу! *А и слышах от многих, яко и таковы старцы во святом том месте обрета-лися: в приезды бояр наших и велмож, их подчиваху, а сами никакоже ни к чему касахуся, аще и вельможи их нуждаху не в подобно время, но аще и в подобно время, - и тогда мало касахуся'* (Иван Грозный, 1951, с. 175–176). Итак, когда речь идет о монастырском порядке, применяется ц-сл. язык, когда же Грозный рассказывает о своем личном впечатлении, он переходит на рус. язык. В некоторых случаях переход может быть внутри одной фразы, ср.: *"Та-ко святии подвизахуся Христа ради; а у всех тех свои Шереметевы и Хабаровы были"* (там же, с. 174). Грозный противопоставляет в данном случае подлинных монахов монахам, нарушающим иноческие правила (Шереметеву и Хабарову), - в первом случае употребляется ц-сл. язык, во втором - русский. Такой же переход от ц-сл. к рус. языку мы наблюдаем во втором послании Грозного Курбскому 1577 г. (там же, с. 208–211); ц-сл. язык применяется здесь, когда высказывается общее нравственное осуждение бояр, когда же выражаются личные претензии, употребляется рус. язык. Таким образом, когда автор говорит как бы не от своего лица, употребляется ц-сл. язык; там же, где речь идет о предметах личного характера, о личных впечатлениях, находим рус. язык, т.е. противопоставление церковнославянского и русского соответствует противопоставлению объективного и субъективного содержания.

Чередование того же типа мы наблюдаем и в Житии протопопа Аввакума, ср., например: *"Слабоумием объят и лицемерием, и лжею покрыт есм; братоненавидением и самолюбием оде-ян; во осуждении всех человек погибаю, и, мняся нечто быти, а кал и гной есм, окаянной, - прямое говно! отовсюду воняю, - душою, и телом"* (РИБ, XXXIX, стлб. 71). Аввакум переходит в процессе речи с объективной, Божественной точки зрения на точку зрения личную, и этот переход обозначается сменой языков. Равным образом, ц-сл. язык в цитатах может соотноситься у Аввакума с рус. языком в толкованиях, причем и здесь может иметь место переход от объективной к субъективной позиции, ср. рассказ о грехопадении: *"Адам же и Евва сшиста себе листие смоковичное от древа, от него же вкусиста, прикрыста срамоту свою; и скрыс-тая, под древо возлегоста. Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себя сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнях, со здоровных чаш голова кругом идет"* (там же, стлб. 671). Можно заключить, таким образом, что чередование рус. и ц-сл. языков обусловлено у Аввакума не столько тематикой, сколько отношением говорящего к предмету речи - позицией, с которой ведется повествование (изложение событий).

Ц-сл. фрагменты могут быть обнаружены и у Котошихина в его сочинении "О России...", которое в целом написано на рус. приказном языке. Так, в частности, Котошихин переходит на ц-сл. язык, когда говорит о иконопочитании (Котошихин, л. 78 об.). Замечательно, что Котошихин выступает при этом как противник иконопочитания, т.е. использование ц-сл. языка никак не связано в данном случае с изложением православной точки зрения на этот вопрос - оно обусловлено исключительно стремлением подчеркнуть объективный характер высказывания, восприятием его как относящегося к самому мироустройству, а не ко взгляду на него: если бы то же содержание (мнение о ложности иконопочитания) Котошихин выразил по-русски, дан-

ное высказывание выглядело бы как его личная точка зрения. Таким образом, Котошихин отказывается от православия, но не может отказаться от своего отношения к ц-сл. языку: пользование ц-сл. языком выступает как чисто языковой, а не конфессиональный момент.

То обстоятельство, что Котошихин переходит с русского на церковнославянский в сочинении, предназначенном для шведской аудитории (что должно было пропасть в переводе и лишь затрудняло труд переводчика), показывает, насколько естественным было такое языковое поведение для рус. человека сер. XVII в.: ц-сл. язык оказывался необходимым компонентом языковой деятельности.

Аналогичное чередование ц-сл. и рус. (приказного) языка представлено и в Уставной грамоте о мытах царя Алексея Михайловича от 30 апреля 1654 г.: по-церковнославянски говорится здесь о законодательной власти царя, о греховности притеснений, которые чинят откупщики, о непреложности и непреходящей значимости данного постановления; между тем, конкретные законодательные меры изложены по-русски (ПСЗ, I, № 122). Такого рода распределение ц-сл. и рус. языка наблюдается и в других законодательных актах Алексея Михайловича (см., например: ПСЗ, I, № 415, 440).

Примеры такого рода нетрудно было бы умножить: вообще чередование ц-сл. и рус. языков представляет собой чрезвычайно распространенное - можно сказать, типичное - явление, и это вполне понятно, поскольку явление это отражает реальную языковую деятельность (смену языкового кода в процессе речи, обусловленную меняющейся речевой установкой). Мы привели случаи, когда такое чередование проявляется в пределах одного текста: не менее показательным в этом отношении сопоставление разных текстов, принадлежащих одному и тому же человеку. Так, например, бытовые записки Курбского разительно отличаются по языку от написанной им же "Истории о великом князе Московском" - если "История..." написана по-церковнославянски, то бытовые записки Курбский пишет по-русски (Улуханов, 1972, с. 23-24). Совершенно такое же отличие имеет место между "Временником" Ивана Тимофеева и написанными им деловыми бумагами. Как констатирует А. Шоберг, который подверг эти тексты сопоставлению, "на примере Ивана Тимофеева мы видим, что автор сознательно пользуется двумя разными письменными языками: русским - для повседневных нужд и церковнославянским - в своих историко-философских сочинениях" (Шоберг, 1979, с. 24).

Различие в употреблении ц-сл. и рус. языка определялось, надо думать, различием между подлинной (высшей) и лишь эмпирически наблюдаемой реальностью - между объективным знанием и субъективным видением. Это различие находит отражение в семантическом противопоставлении таких слов, как *знати* и *вѣдѣти*, *kennen* и *wissen*, *γινώσκειν* и *ἵστωρ* - первый член каждой из этих пар соотносится с подлинным (объективным) знанием, второй же - со знанием очевидца; на этом же основано, в сущности, и семантическое противопоставление *правды* и *истины* - уже в ст-сл. языке различаются по значению *истина* "то, что было на самом деле, в действительности" и *правда* "то, что должно быть, правильность, справедливость (которая в идеале совпадает с подлинной действительностью)". То же семантическое противопоставление реализуется в данном случае в противопоставлении самих языков (см. подробнее: Успенский, 1983, с. 49, 112-113).

Соответственно, если текст пишется лично от себя (положим, деловой документ, письмо), но не претендует на высшую, объективную значимость, следует ожидать применения рус., а не ц-сл. языка; если же описываемые события как-то соотносятся с высшей реальностью, если раскрывается или подразумевается духовный смысл этих событий, язык будет церковнославянским. При этом как в том, так и в другом случае речь может идти о вполне конкретных событиях - все зависит от того, в каком ракурсе они рассматриваются. Переход с рус. на ц-сл. язык обусловлен, таким образом, сменой субъективной речевой установки на объективную, как это и проявляется в рассмотренных выше текстах; объективность же определяется соотносением с высшей, сакральной действительностью.

Итак, применение книжного или некнижного языка определяется не непосредственно самим выражаемым содержанием, но отношением к этому содержанию со стороны говорящего (пишущего) как представителя языкового коллектива. Иными словами, различие между двумя языками предстает - в функциональном плане - как модальное различие. Неточно было бы считать, например, что когда речь идет об ангелах, употребляется ц-сл. язык, а когда о людях - рус. язык. Один и тот же мир объектов (или один и тот же событийный текст) в принципе может быть описан как тем, так и другим способом - в зависимости от отношения говорящего к предмету речи. Так, если в людях видят проявление сакрального начала или вообще если в тексте предполагается - эксплицитно или имплицитно - соотношение со сферой сакрального, уместно использование ц-сл. языка; в противном случае уместно использование рус. языка. Соответственно, мы можем встретить в ц-сл. тексте, например, достаточно детальное описание работы пищеварительного тракта, как это имеет место в Похвальном слове св. Константину Муромскому - гомилетическом памятнике XVI в., явно предназначенном для произнесения с амвона: "И аще ли вопрошаєте моя худости: повѣждь намъ, любимче, по что ны созываеши во обитель пресвятыя Богородица честнаго ея Благовѣщенія., и что-ли мзда будет сристанія нашего во святую обитель сію? - Не на плотное [т.е. плотское] веселіе созываю вы, но на духовное, не на земное пиршество, идѣже мяса и многоразличныя яди предлагаются, яже входятъ во уста, а въ сердце не вмѣщается и аѣдрономъ исходитъ и мотыло [кал] именуется, ни вино, ни медъ гортанъ веселящее, а умъ помрачающее и въ дѣтородный удъ изливающееся и потомъ смрадомъ воняюще, но созываю вы на трапезу духовную" (Серебрянский, 1915, с. 244). Соотнесение со сферой сакрального в данном случае совершенно очевидно: плотская трапеза, предполагающая устремление мирской пищи в н и з, противопоставляется здесь трапезе духовной, предполагающей устремление духовной пищи в в е р х; тем самым, в этом контексте вполне оправдано применение ц-сл. языка.

В предисловии к сборнику пословиц, составленному во второй пол. XVII в. ("Повѣсти или пословицы всенароднѣйшыя по алфавиту"), - первому из известных сборников такого рода - говорится: "Аще ли речет нѣкто о писанных здѣ, яко не суть писана здѣ от Божественных писаній, таковый да вѣсть яко писана многая, согласна Святому писанію, точію без украшенія, как мирстіи жители простою рѣчію говорят. И в лѣпоту от древних сіе умыслися еже в Божественная писанія от мірских притчей не вносити. такоже и в мирскія притчи, которое будет сличнѣ еже вносити от книг святых избранных, и приточныя строки, или мирскія сія притчи Божественнаго писанія реченіем приподобляти. обоя бо. аще и един имут разум. но иже своя мѣста держат" (Симони, 1899, с. 70-71). Итак, одно и то же содержание ("един разум") может

быть выражено как на ц-сл. языке, так и "простою речию": применение того или другого языка определяется не содержанием, а общими смысловыми параметрами текста; в этих условиях книжный и некнижный языки "своя мѣста держат". (Необходимость разъяснения такого рода становится актуальной в условиях разрушающейся диглоссии, когда расширяется круг текстов на некнижном языке: то, что ранее было общеизвестным, в это время нуждается в напоминании.)

Ц-сл. язык предстает, следовательно, прежде всего как средство выражения боговдохновенной правды, он связан с сакральным, Божественным началом. Отсюда понятны заявления др-рус. книжников, утверждающих, что на этом языке вообще невозможна ложь. Так, по словам Иоанна Вишенского, "в языке словянском лжа и прелесть [дьявольская] ... никакоже мѣста имѣти не может", и поэтому дьявол не любит этот язык и с ним борется; ц-сл. язык объявляется при этом "святым" и "спасительным", поскольку он "истинною, правдою Божиею основан, збудован и огорожен есть" (Вишенский, 1955, с. 194, 192, 195). Соответственно, как утверждает Вишенский, "словенский язык ... простым прилежным чтанием ... к Богу приводит" и вообще, "хто спастися хочет и освятитися прагнет, если до простоты и правды покорнаго языка словенскаго не достигнет, ани спасения, ани освящения не получит" (там же, 23, 194).

Так можно понимать самую идею противопоставленности ц-сл. и рус. текстов в условиях церковнославянско-рус. диглоссии. Разумеется, в целом ряде случаев эта идея не проявляется непосредственно (в чистом виде), и тексты пишутся по-церковнославянски потому, что они приравниваются к книжным текстам по вторичным признакам. В рассматриваемый период на ц-сл. языке пишутся книги Библейского канона, апокрифы, богослужебная литература, жития, проповеди, учительная литература, памятники церковного права, сборники изречений и т.п. Вместе с тем, ц-сл. язык закономерно используется в этот период и для переводов с греческого, поскольку сам факт бытования текста в византийской литературе делает произведение авторитетным в глазах рус. книжника (как мы видели, еще до крещения Руси договоры русских с греками переводятся с греч. именно на ц-сл. язык, см. 3.1.2). Византийская культура заимствуется на Руси вместе с религией, усвоение византийской образованности воспринимается как составная часть христианского просвещения (см. 3.2.1), и в этой струе на Русь попадают не только церковные, но и светские византийские тексты. В результате ц-сл. язык начинает функционировать не только как сакральный язык, но и как язык культуры, и, соответственно, оппозиция церковнославянского и русского может осмысляться не только как противопоставление сакрального и профанного, но и как противопоставление культурного и бытового. Вхождение текста в византийскую литературу определяет его культурный статус, который естественно сохраняется при переводе. Авторитетность содержания, мотивирующая применение ц-сл. языка, определяется в подобных случаях не непосредственной связью с сакральным началом, но именно культурным статусом текста: культурная традиция выполняет при этом как бы посредническую роль, соотнося текст с Божественной правдой, т.е. заставляет воспринимать его как выражение объективного знания.

В этой перспективе рус. язык может восприниматься как язык непросвещенный, не-культурный. Рус. летописец, говоря о крещении Руси и начале рус. грамоты, цитирует пророка Исаию (XXXV, 5-6): "Сим же раздаяномъ на ученье книгамъ, събысться пророчество на Русь-стѣй земли, глаголющее: 'Во оны днии услышать глусии словеса книжная, и яснѣ будетъ язы-

къ гугнивых'" (ПВЛ, I, с. 81). Итак, живая, не книжная славянская речь понимается как глоссолалия. В сущности, это кирилло-мефодиевская традиция: точно так же Кирилл Философ на венецианском диспуте (см. гл. XVI его Жития) цитирует Первое послание коринфянам апостола Павла (XIV, 39), уподобляя не книжную славянскую речь глоссолалии и призывая к тому, чтобы язык, который ранее звучал как глоссолалия, стал осмысленным - осмысленность определяется возможностью использования его как средства распространения христианской истины.

Таким образом с крещением Руси функции рус. и ц-сл. языка противопоставляются, и ц-сл. язык приобретает значение литературного.

Наличие светских произведений в корпусе литературы на ц-сл. языке имеет принципиальное значение для последующего расширения сферы функционирования этого языка. В самом деле, светские произведения византийской литературы могут выступать как прецеденты в литературном процессе Древней Руси. С течением времени на ц-сл. языке начинает появляться все больше светских сочинений: светские повести, исторические произведения (такие как "История о великом князе Московском" Курбского XVI в., "История о Казанском царстве" XVI в., Повести Смутного времени XVII в. и др.). Это объясняется тем, что расширяется объем понятия литературы (книжной словесности), т.е. той области письменности, которая связывается с применением книжного (литературного) языка. При этом расширение этого понятия может быть обусловлено межлитературными связями, когда устанавливается корреляция между рус. литературой и литературой в других странах, обуславливающая расширение тематического диапазона литературных произведений, - тут действуют не языковые, а собственно литературные процессы, т.е. литературная эволюция сказывается на функционировании литературного языка. Ц-сл. язык как полифункциональный литературный язык обслуживает всю сферу культуры - как бы существенно ни изменялся ее объем.

5.2.1. Язык летописания. Как видим, переводы византийской литературы задают те эталоны, по которым строится рус. литература. В частности, перевод на ц-сл. язык византийских хроник (например, Георгия Амартола, Иоанна Малалы) определяет языковые характеристики рус. летописей: подобно хроникам, летописи пишутся на ц-сл. языке. Вместе с тем, как и византийские хроники, рус. летописи характеризуются определенной моральной установкой, соотносящей историческое повествование с задачей раскрытия Божественной правды. "У летописца была своя 'философия истории', - писал И. П. Еремин, - реконструкцию ее облегчает нам сам летописец; имею в виду его многочисленные отступления от повествования, где он, в порядке авторского комментария к своему рассказу, касался иногда и вопросов общего, 'философского' характера. Все они, эти его 'философские' фрагменты, как показывает их изучение, посвящены одной по существу проблеме - происхождению добра и зла. Интерес летописца именно к этой проблеме понятен: решая вопрос о происхождении добра и зла, он тем самым осмыслил для себя весь ход исторического процесса". И далее: "...История человечества, рассматриваемая в своем наиболее общем аспекте, с точки зрения летописца, - история Божественного попечительства над человеком. Человек - субъект и объект исторического процесса. В нем и конечная цель исторического процесса: 'Да явятся яко злато искушено в горну'. История - период временного, от грехопадения человека до второго пришествия Господня на землю, 'ослабления Божьего', временного торжества зла в мире, временной свободы человека, ибо не будь у человека права самоопределения в мире, не будь в мире зла - не было бы и истории. Исторический процесс - сумма чередующихся во времени исторических

фактов; каждый факт, взятый в отдельности, - проявление доброй или злой воли человека; факты, взятые вместе, исторический процесс в целом - проявление Божественной воли. Она, Божественная воля, всемогущая и неисповедимая - первопричина и demiург исторического процесса. В конечном счете все в мире, по убеждению летописца, совершается только "по Божью устрою", "по изволенью Божью"; даже проявляя свою злую волю, человек, в сущности, действует по плану, заранее предусмотренному промыслом Божиим. Такова летописная 'философия истории', как восстанавливается она на основе 'философских' фрагментов 'Повести временных лет'" (Еремин, 1966, с. 64, 70-71). При таком осмыслении исторических событий последовательное применение ц-сл. языка в летописании оказывается естественным и закономерным. Следует заметить, что ц-сл. язык летописей нередко предстает как русифицированный (в той или иной степени), однако приходится говорить именно о русификации ц-сл. языка, а не о смене языкового кода - о ц-сл. природе летописного текста вполне определенно свидетельствует последовательное употребление аориста и имперфекта, а также синтаксические характеристики (ср. 8.7 и 8.9).

5.3. Юридические тексты и их значение в становлении церковнославянско-рус. ди-глоссии. Мы говорили о памятниках на ц-сл. языке, т.е. о корпусе текстов, которые составляют литературу Древней Руси. Для понимания специфики др-рус. языковой ситуации существенно определить, какие тексты писались на некнижном (др-рус.) языке. Сразу же надо сказать, что эти тексты неоднородны. Как по тематике, так и по языковым признакам здесь выделяются, с одной стороны, юридические тексты (прежде всего Русская Правда и княжеские уставы), с другой стороны, грамоты делового и бытового содержания.

Начнем с рассмотрения Русской Правды, т.е. того текста, который был краеугольным камнем в концепции С. П. Обнорского (см. 4.3).

Русская Правда дошла до нас в двух редакциях: краткой и пространной. Древнейшей редакцией является краткая. Часть ее была записана при Ярославе Мудром (в первой пол. XI в.), и затем она была дополнена при сыновьях Ярослава (во второй пол. XI в.); она делится, таким образом, на Древнейшую Правду и Правду Ярославичей. В результате последующих дополнений в XII в. появляется Пространная редакция Русской Правды. Древнейший список Пространной редакции дошел до нас в составе Новгородской кормчей 1282 г. Древнейший список Краткой редакции представлен в Академическом списке I Новгородской летописи (XV в.).

Если записана Русская Правда была, видимо, уже при Ярославе (в своем древнейшем варианте), то в устной редакции она возникла до этого - еще до крещения Руси. Упоминание о "русском законе" мы находим в договорах с греками 911 и 944 гг., причем здесь наблюдаются совпадения с текстом Русской Правды (Владимирский-Буданов, I, с. 14-15, 18-19; Карский, 1930, с. 3). Таким образом, текст Русской Правды фиксирует, видимо, древнейшее обычное право восточных славян и отражает, тем самым, дохристианскую и дописьменную традицию: письменная передача закрепила текст, уже сложившийся в устной форме. Отсюда объясняется нехарактерность славянизмов для этого памятника. Тем не менее, славянизмы здесь все же имеются, хотя и в малом количестве (Селищев, 1968), что может указывать на элементы позднейшей редактур, возможной как раз в процессе письменной фиксации устного текста; показательны в этой связи, что в поздних списках Русской Правды славянизмов боль-

ше, чем в ранних, т. е. писцы, переписывая текст этого памятника, заменяли некоторые рус. элементы церковнославянскими. Однако даже и при наличии славянизмов язык Русской Правды безусловно остается не книжным рус. языком.

Русская Правда в своем исходном виде представляет собой памятник дохристианской, языческой культуры. В этом качестве она входила в единый комплекс с языческими текстами ритуального характера (реликты которых сохраняются в фольклоре). Весь комплекс такого рода ритуальных текстов, по-видимому, заучивался наизусть и передавался как устная традиция от поколения к поколению. В ряде отношений древнейшие юридические тексты схожи с текстами народной устно-поэтической традиции; об этом говорит наличие повторов, параллельных конструкций, устойчивых формул и т. п.: формально-языковая структура этих текстов обусловлена необходимостью сохранять их в культурной памяти коллектива, не пользующегося письменностью. Формальное сходство древнейших мифопоэтических формул обнаруживается не только в славянской, но и в других индоевропейских традициях: оно становится вполне понятным, если иметь в виду ритуально-культовый характер архаического судопроизводства, когда судьи-арбитры при ритуальных прениях выступают в сущности как разновидность языческих жрецов (Иванов и Топоров, 1981).

Ритуально-мнемонический характер древнейших юридических текстов сказывается на их однородной синтаксической структуре. Обычно юридическая статья распадается на две части, в первой излагается условие применения санкции, а во второй - сама санкция. Статья оформляется при этом как сложное предложение с имеющим условное значение придаточным, и условная связь выражается при этом соотнесенными местоименными и союзными формами в главном и придаточном предложении, например: "Аще утнеть мечьмь..., то 12 гривнѣ за обиду" (Кратк. Рус. Правда), "Аже кто холопа ударить, то гривна кунѣ" (Смоленская грамота 1229 г.) и т. д.

Поскольку Русская Правда в своей основе сложилась в дохристианский период, язык этого памятника может быть отчасти архаическим уже для времени письменной фиксации текста. Если какие-то формулы и словосочетания могли передаваться из поколения в поколение благодаря устной традиции, то другие элементы текста могут соотноситься с иными хронологическими пластами. Таким образом, язык Русской Правды в принципе может быть хронологически гетерогенен.

Язык Русской Правды должен быть определен как нелитературный постольку, поскольку этому языку не учили. Обучение грамоте распространялось исключительно на ц-сл. язык. Заучивание юридических текстов к этому образованию отношения не имело. Предметом обучения является здесь не язык, а текст.

Необходимо иметь в виду, что славянская письменность знает также и юридические памятники на ц-сл. языке. Некоторые византийские юридические тексты были переведены на ц-сл. язык еще в IX в., причем перевод их связывается с авторитетным именем св. Мефодия. Эти книги - "Закон судный людем" и "Номоканон" Иоанна Схоластика - были хорошо известны в Древней Руси и распространялись во многих списках. Позднее к ним прибавились и другие переводы византийских юридических кодексов - Эклоги и Прохирона (последний памятник в славянской письменности известен под названием Градского закона). Можно было бы ожидать, что с принятием христианства будет в той или иной мере принято и византийское законода-

тельство (как это происходило с римским правом в странах Западной Европы). Этого, однако, не произошло: хотя соответствующие кодексы получили достаточно широкую известность, они, видимо, не имели практического применения - их перевод и распространение были обусловлены не практическими задачами, а задачами культурными, т. е. они переводились и переписывались постольку, поскольку воспринимались как часть византийской культуры (ср. 3.2.1); при этом перевод с греческого закономерно обуславливал применение ц-сл. языка (см. 5.2). В результате ц-сл. язык был с самого начала исключен из области законодательства и судопроизводства, что и обусловило сохранение Русской Правды в качестве действующего юридического кодекса. На Руси складывается особая ситуация, когда право на литературном языке оказывается недействующим, а действующее право пользуется языком нелитературным.

Эта особая ситуация складывается, видимо, сразу же после крещения Руси. Представляется крайне знаменательным следующий эпизод, о котором рассказывает летопись под 996 г. Владимир, живя "въ страсть Божы" и боясь греха, сначала не казнил разбойников, а брал виры (штрафы). Это означает, что, будучи христианином, он следовал нормам славянского, а не византийского права. По настоянию епископов - конечно, греческих - он ввел нормы византийского законодательства, "отверг виры, нача казнити разбойники". Но затем старцы (т. е. хранители патриархального уклада) посоветовали ему снова заменить казнь вирами; отменив свое прежнее решение, Владимир стал жить "по устроенью отню и дѣдню", т. е. по Русской Правде (ПВЛ, I, с. 86-87; ср. Успенский, 1983, с. 14-15; Живов, 1987). Этот прецедент был очень значительным по своим последствиям, имея, по-видимому, самое непосредственное отношение к становлению церковнославянско-рус. диглоссии. Дифференциация книжного-некнижного совпадает с дифференциацией сакрального-мирского - или шире: культурного-бытового, - не совпадая в то же время с дифференциацией письменного-устного. В результате появляется особая сфера письменности, так или иначе ассоциирующаяся с мирским, бытовым началом и в силу этого как бы недостойная применения книжного, ц-сл. языка - деловая (в широком смысле) и бытовая письменность. Исключительный престиж ц-сл. языка как языка прежде всего сакрального не допускал применения его в сфере повседневной жизни.

Таким образом, "с самого начала язык права сделался в полном смысле слова государственным административным языком и остался им вплоть до XVIII в. Это сосуществование двух различных письменных языков - церковнославянского литературного и русского административного - является самой оригинальной чертой языкового развития в России. Подобного противоположения не было ни у западноевропейских, ни у западославянских народов - поляков и чехов" (Унбегаун, 1969, с. 314). В России же административное, юридическое как бы выключалось из области подлинной культуры.

Показательно в этом смысле высказывание Курбского в предисловии к книге "Новый Маргарит": "Аз ... бояхся, иж от младости не до конца навыхох книжнаго словенскаго языка, понеж безпрестанне обращахъся и лѣта изнурах, за повелѣніемъ царевым, в чину стратилацком, потом в синглицком, исправлях дѣла овогда судебные, овогда совѣтническіе, многождо же и частократ с воинством ополчахся противъ враговъ креста Христова" (Архангельский, 1888, прилож., с. 13). Итак, "синклитская", т. е. административная - судебная, советническая и т. п. - деятельность никак не способствует, по мнению Курбского, приобретению литературного языка.

Как мы видели, распределение сфер влияния книжного (ц-сл.) и некнижного (рус.) языка соотносится с противопоставлением импортированной византийской культуры и дохристианских рус. обычаев. Для отношения к ц-сл. языку крайне показательным, что византийские юридические тексты, будучи переведены на ц-сл. язык, начинают восприниматься как тексты са-кральные, несмотря на их вполне светское содержание (см. Живов, 1987); это прямо обусловлено пониманием ц-сл. языка как средства выражения боговдохновенной истины (см. 5.2). Так, когда Вассиан Патрикеев (нач. XVI в.), составляя новую редакцию кормчей, устранил из нее Градской закон - именно в силу его недуховного содержания, - это вызвало обвинение его в неблагочестии: митр. Даниил прямо указывал при этом, что светское византийское законодательство неотъемлемой частью входит в святоотеческое предание, "понеже градския закони священным правилом послѣдуют... яко же святїи отци уставили и утвърдили и запечатѣли" (Казакова, 1960, с. 285-286). Аналогичным образом Иосиф Волоцкий в "Просветителе" (нач. XVI в.) утверждает, что тот же Градской закон исходит от святых отцов, рассматривая его наряду с церковными установлениями: "Аще убо святїи отцы... учиниша Божественная правила и законы и словеса святых отецъ, ꙗже от устъ самаго Ісуса святѣя Его заповѣди, со всѣми же сими и градстїи закони сочеташа святїи отцы древнїи. И кто убо дерзнетъ сих отложити или похулити, ꙗже от святаго Духа и святых отецъ прїята быша, и сочетана всѣмъ божественнымъ писанїемъ" (Иосиф Волоцкий, 1855, с. 537-538). Столь же характерно, что в одном каноническом сборнике того же XVI в. (ГИМ, Увар. 578/482) тридцать девятый титул Прохирона (Градского закона), специально посвященный уголовным наказаниям, озаглавлен: "Заповѣди по преданїю святыхъ правилъ избранная, о казнѣхъ, по повелѣнїю святыхъ отецъ и по уставу Св. Царей" (Леонид, I, с. 649). Итак, византийские светские кодексы устойчиво ассоциируются на Руси с патристической литературой, и это объясняется тем, что они были переведены здесь на ц-сл. язык. Ц-сл. язык как язык культа и культуры (см. 5.2) может определять культовый статус культурных текстов.

Сосуществование ц-сл. и рус. юридических кодексов создает особые лексические отношения в сфере юридической терминологии. "В этой области церковнославянские и русские лексемы последовательно противопоставлены, образуя целый набор коррелянтных пар - русские термины не встречаются в церковнославянских юридических текстах, церковнославянские термины не характерны для древнейших русских юридических памятников" (Живов, 1987). Это не противоречит тому, что говорилось выше (см. 4.4) о лексической проницаемости, т.е. о нехарактерности функционального противопоставления рус. и ц-сл. языков на лексическом уровне. Действительно, рус. термины, вообще говоря, могут употребляться в ц-сл. текстах, однако они не наблюдаются в корпусе ц-сл. юридических памятников, переведенных с греческого. Это ограничение относится не к языку, а к определенной разновидности текстов.

Приведем примеры коррелирующих ц-сл. и рус. терминов: рус. *правда* - ц-сл. *закон*, *законоположение* ("право"), рус. *обида* - ц-сл. *проказа* ("преступление"), рус. *дом* - ц-сл. *имение* ("имущество"), рус. *задница* - ц-сл. *наслѣдие* ("наследство"), рус. *рѣз*, *наклад* - ц-сл. *лихва* ("ростовщический процент"), рус. *головщина* - ц-сл. *убиство* ("убийство") и т.д. Если четкое противопоставление ц-сл. и рус. терминологических систем характерно для начального периода, то позднее происходит постепенная славянизация рус. юридической терминологии, что может быть связано с книжными (ц-сл.) навыками писцов, переписывавших юридические кодексы (древние рус. юридические памятники дошли до нас, как правило, в составе кормчих, основной материал которых излагался на ц-сл. языке). Эта славянизация осуществляется на лексическом уровне и никак не изменяет характера языка: язык оставался русским, независимо от насы-

щенности ц-сл. лексикой: иначе говоря, язык такого рода не воспринимался как книжный церковнославянский, он может быть квалифицирован как славянизированный (окниженный) русский. Рус. юридические памятники пишутся на некнижном языке в течение всего периода диглоссии - начиная от Русской Правды и кончая Уложением царя Алексея Михайловича 1649 г.

5.4. Деловая и бытовая письменность. Письменная фиксация рус. права создает прецедент письменности на рус. некнижном языке. Эта письменность достаточно скоро расширяет свои границы, охватывая всю сферу деловых и бытовых отношений. На этом языке пишутся разнообразные деловые документы (купчие, закладные и др. грамоты), ведется частная переписка, составляется государственная документация.

Говоря о рус. языке подобных текстов, мы не имеем в виду полного совпадения этого языка с живой речью. Всякая письменная фиксация может привносить элементы литературной обработки, связанные с письменными навыками писца. Поскольку в рус. условиях элементарное образование было связано именно с ц-сл. языком, мы наблюдаем в др-рус. документах (грамотах) те или иные элементы славянизации. Отличия языка грамот от живого разговорного языка в ряде аспектов могут быть даже большими, чем в случае Русской Правды, поскольку грамоты могут быть никак не связаны с устной традицией. Итак, если отличия языка Русской Правды от живой речи объясняются ее архаичностью (традиционностью), то соответствующие отличия языка грамот объясняются связью со специальной письменной традицией. Язык грамот не является книжным языком не потому, что люди, которые их писали, не владели ц-сл. языком, - так можно было бы объяснить эпистолярные тексты (берестяные грамоты), но так трудно объяснить грамоты, которые писались по-русски представителями духовенства (например, грамота Варлаама Хутынского ок. 1192 г.).

Наиболее известный пример делового текста - Мстисл. грамота, дарственная грамота новгородского князя Мстислава Юрьеву монастырю, данная ок. 1130 г. Мы наблюдаем здесь лексические и синтаксические славянизмы (Исаченко, 1970), характерную ц-сл. начальную формулу *се азъ* (ср. рус. местоименные формы *я* и *я* в основном тексте грамоты) и даже "выдержанное церковнославянское правописание" (Дурново, 1969, с. 97; ср. Успенский, 1973, с. 327). Если грецизмы в Мстисл. грамоте должны быть отнесены на счет лексических заимствований, то ц-сл. правописание обусловлено тем, что сами навыки письма приобретались в процессе обучения ц-сл. языку: при обучении письму, которое имело профессиональный характер (см. 6.3.1), естественно усваивались определенные орфографические навыки, присущие правописанию книжных текстов. Тем не менее, данная грамота, как и другие грамоты, в целом написана бесспорно на рус. языке. Речь может идти лишь о славянизации рус. речи, проявляющейся в подобных текстах прежде всего на лексическом и орфографическом уровне.

Славянизация может иметь место и в определенных формулах. Эти формулы обычно встречаются в начале или в конце текста. Так, в начале грамот появляются такие устойчивые сочетания, как *се азъ..*, *во имя Отца и Сына и Святаго Духа..*, *во имя святыя живоначальные Троицы Отца и Сына и Святаго Духа..*, *благословение от владыки* и т. д. Такие клише могут отражать греческую канцелярскую традицию. Так, формула *се азъ* восходит к формуляру греч. частного акта, и именно перевод с греческого обуславливает, видимо, появление здесь сла-

вянизма (Золтан, 1984, с. 7–8). В дальнейшем формула *се азъ* становится традиционным зачином рус. деловых документов, - оставаясь в употреблении по крайней мере шесть столетий. Показательно, что Петр I в указе 1701 г. упоминает о крепостных грамотах, которые "писаны с начала *се азом*, по древнему обыкновению" (ПСЗ, IV, № 1833). Н. А. Мещерский показал, что и в берестяных грамотах существовали определенные формулы начала и конца, например, в начале грамоты *поклон от такого-то к такому-то*, причем здесь может встречаться и славянизм *покланяние*; в концовке грамоты встречается оборот *добрѣ сътвори* в значении - "будь добр, пожалуйста", в котором Мещерский видит кальку с греческого, проникшую очевидно через ц-сл. переводную письменность (Мещерский, 1958, с. 100; Мещерский, 1963, с. 213–215). Из подобных фактов Мещерский делает вывод, что новгородские грамоты на бересте могут быть признаны памятниками литературного языка. С этим невозможно согласиться: здесь можно усматривать лишь элементы нормализации речи, текста, но никак не нормализацию языка. Точно так же, например, в ХХ в. письма могли оканчиваться концовками типа "жду ответа, как соловей лета" или какими-либо другими устойчивыми сочетаниями, из чего никак не следует, что соответствующие тексты могут быть признаны памятниками литературного языка. Если и усматривать здесь элементы стилистики, то речь может идти лишь о стилистике текста, но не о стилистике языка. Между тем, литературный язык в той языковой ситуации, которая имела место в Древней Руси, связан прежде всего с функциональным стилистическим противопоставлением самих языковых систем, а не текстов, т.е. в принципе не связан с чисто текстовыми признаками. В современном языке мы можем выделить стилистические признаки тех или иных текстов, например, научного изложения, художественной прозы, и т.д. Эти признаки основываются на противопоставлении текстов внутри одного и того же языка. Напротив, в Древней Руси противопоставляются не тексты, а языки - книжный и некнижный.

Различие между нормализацией языка и нормализацией текста совершенно очевидно. В первом случае - нормализации языка - если в тексте встречается некоторый языковой признак (например, неполногласие, сочетание *жд* и т.д.), надо ожидать появления и других языковых признаков того же порядка (например, *раз-*, а не *роз-* и т.п.). Во втором случае - нормализации текста - если имеется текст определенной категории, то в фиксированном месте мы можем ожидать появления того или иного элемента.

Наличие устойчивых фразеологических сочетаний не может вообще свидетельствовать о литературном характере текста. Устойчивые фразеологические сочетания достаточно часто встречаются и в разговорной речи. Более того, целый ряд фразеологических сочетаний может возникать в устной речевой практике и характеризовать определенные речевые ситуации. Так, некоторые типы грамот имеют в качестве зачина формулы вида *се кути* (в начале купчих грамот), *се заложи* (в начале закладных грамот) и т.п. Эти формулы могут восходить к ритуалу совершения соответствующего акта - купли, заклада и т.д. - и иметь перформативный характер. Иначе говоря, эти слова могли произноситься при совершении соответствующей сделки в качестве ритуальной формулы, как раз и обозначающей, что данный акт совершен (ср. Зеeman, 1983, с. 555 сл.; Зеeman, 1984, с. 115 сл.). Если принять это предположение, то эти ритуальные формулы должны иметь архаический характер, и употребление в них аористных глагольных форм объясняется их архаичностью. Если же считать, что мы имеем здесь дело с

формуляром делового документа, то аористная форма должна рассматриваться не как архаизм, а как славянизм, обусловленный тенденцией к нормализации письменного текста. В любом случае такие формулы выступают как характеристики типа документа, озаглавливающие его и тем самым противопоставленные основной части текста.

Разумеется, устойчивые сочетания могут встречаться в деловой письменности не только в зачине или концовке, однако они всегда мотивированы контекстом (например, *преступити крестное цѣлование, общимъ совѣтомъ, блаженныя памяти* и т.п.). Подобные фразеологизмы функционально эквивалентны лексическим заимствованиям из ц-сл. языка, их устойчивость поддерживается письменной традицией, формирующейся в канцеляриях. Об устойчивости канцелярских оборотов, связанных с письменной традицией, можно судить по тому, что еще в XIX в. в документах мы часто встречаем аористную форму *умре* вместо *умер* - много веков после того, как аорист исчез из разговорного языка.

Таким образом, канцелярская традиция может способствовать сохранению славянизмов в составе устойчивых формул. Это характерно именно для деловой, а не для эпистолярной письменности. В эпистолярной же письменности, не связанной прямо с канцелярской традицией и в большей степени ориентированной на бытовую разговорную речь, подобные формулы могут быть менее устойчивы. Анализ берестяных грамот показывает, что в древнейших эпистолярных текстах славянизмы в составе начальной формулы (зачина грамоты) наблюдаются чаще, чем в более поздний период. Так, типичное для грамот XII в. начало *покланяние* (на славянизм указывает суффикс *-яние*) в XIII в. вытесняется рус. формой *поклон* (Ворт, 1984, с. 322).

Заканчивая обзор памятников юридической, деловой и бытовой письменности, необходимо подчеркнуть, что не существует др-рус. текстов, полностью независимых от книжной (ц-сл.) традиции. Сам процесс письменной фиксации текста противоречил этому. Поскольку письменность связана с книжным языком, в процессе письменной фиксации неизбежно привносились в той или иной степени элементы этого языка - даже и при отсутствии сознательной установки на славянизацию текста. Здесь уместна аналогия с физикой: наблюдатель, фиксируя физические явления, влияет на них, и поэтому сами явления могут быть лишь реконструированы как конструкт. Сходным образом, письменная фиксация связана с определенным осознанием языка, которое обусловлено именно книжной, литературной традицией. Соответственно, исследователь живой речи вынужден реконструировать древнее состояние рус. языка, поскольку он не располагает текстами, в которых др-рус. речь была бы непосредственно отражена (между тем, исследователь литературного языка находится в более выгодном положении). Для позднего времени такие тексты есть - это записи иностранцев, которые, естественно, были свободны от влияния русской письменной традиции. Однако для древнейшего периода мы почти не имеем записей такого рода, если не считать отдельных лексем (например, у Константина Багрянородного).

Далее мы займемся рассмотрением тех формальных признаков, которые образуют дистанцию между книжным и некнижным языком (см. 8). Но для того чтобы определить те русизмы, которые характеризуют др-рус. разговорный язык, необходимо, очевидно, сперва определить те русизмы, которые для него не специфичны - в том смысле, что они характеризуют и литературный язык (см. 7).

6.2. Факторы, обуславливающие вариативность написаний. Все эти вопросы в большой степени связаны с проблемой интерпретации письменных источников. Интерпретируя письменные источники, мы постоянно сталкиваемся с вопросом о том, что является нормой, а что - отклонением от нее. Само по себе понятие нормы для рассматриваемого периода допускает большую вариативность, что не исключает достаточно четкой границы между нормой и ненормой. Эта граница определяется ограниченным набором релевантных признаков, который мы и должны реконструировать; вариативность, очевидно, может иметь место лишь вне данного набора признаков и относится к признакам нерелевантным, не противопоставленным в пределах нормы.

Принципиальная вариативность ц-сл. языковой нормы обуславливает, между прочим, возможность разных написаний одного и того же слова (как у разных писцов, так даже и у одного писца); такая вариативность особенно ярко проявляется в текстах, написанных разными писцами, которые могут следовать при этом разным орфографическим принципам. Вообще, если судить о книжном языке по имеющимся - даже и наиболее представительным - памятникам, выясняется, что они неоднородны. Это не обязательно означает, что какие-то тексты соответствуют норме, а другие отклоняются от нее - просто одновременно действует несколько факторов, обуславливающих вариацию написаний.

Можно выделить следующие факторы:

1. Отражение протографа.
2. Отражение орфографической традиции (графический традиционализм).
3. Отражение книжного произношения (фонетический традиционализм).
4. Окказиональное отражение живой речи.

Что касается последнего фактора, то в данном случае мы имеем дело с отклонением от нормы, которое не имеет отношения к рассмотрению нормы как таковой. Все же остальные факторы так или иначе существенны для характеристики нормы. Рассмотрим их в последовательном порядке.

6.2.1. Отражение протографа. Влияние протографа до некоторой степени определяет различие текстов, списанных с юж-сл. оригиналов, и оригинальных текстов, сочиненных или переведенных на Руси. Следует при этом иметь в виду, что наиболее почитаемые тексты - это именно те тексты, которые переписывались с юж-сл. оригиналов; эти тексты служили образцами для других. Поскольку в подобных текстах как раз и могли отражаться явления протографов, соответствующие явления могли переноситься и в оригинальные тексты, но уже как орфографические явления, становясь при этом явлениями языка, а не конкретного текста. Так, рус. писцы могли усваивать написание тех или иных слов, встретившихся им в юж-сл. па-

мятников, и пользоваться ими при переписке других текстов, а также при написании текстов оригинальных (так, например, отражение юж-сл. написаний может быть обнаружено даже в русской по языку Мстисл. грамоте ок. 1130 г., поскольку эта грамота выдержана в книжной орфографии, см. 5.4). Однако мы имеем в подобных случаях фактически уже не влияние протографа, а формирование определенной орфографической системы (которая лишь генетически восходит к юж-сл. написаниям, представляя собой результат их усвоения в рус. условиях).

С начала XII в. влияние протографов постепенно сходит на нет (хотя этот процесс с неодинаковой быстротой захватывает разные признаки), закрепляясь в отдельных формах. Об этом можно судить по тому, что в ряде рукописей юж-сл. написания последовательно исправляются на русские (ср. 7.2; 7.5.2; 7.5.4; 7.11.1). Таким образом, влияние протографов характерно главным образом для XI в., когда формируется собственно рус. норма ц-сл. языка. Впоследствии же юж-сл. написания находятся на периферии нормы в том смысле, что они могут быть зафиксированы в текстах, но не являются результатом сознательной языковой деятельности. Можно сказать, что они представляют собой как бы допустимые отклонения от нормы (в отличие от написаний, обусловленных влиянием живой речи, которые представляют собой недопустимые отклонения от нормы). Таким образом, как влияние живой речи, так и влияние юж-сл. протографов определяют окказиональные отклонения от той языковой нормы, которая складывается на Руси; однако, в одном случае эти отклонения престижны, будучи оправданы книжной традицией (влияние протографа), в другом же случае - они не престижны и поэтому книжной традицией не терпят (влияние живой речи).

"Нередко в работах, посвященных анализу правописания старинных памятников языка, все написания памятника сводятся к двум источникам: написаниям оригинала и передаче живого произношения писца. Несомненно, такой подход ошибочен. Как правило, писцы вообще не стремятся к передаче своего личного произношения. Это видно из того, что в любом старинном тексте ряд особенностей произношения писца проскальзывает только в виде немногих ошибок против принятого писцом правописания. Не менее ошибочно думать, что сколько-нибудь грамотные писцы стремились к точной передаче написаний своих непосредственных оригиналов. В этом мы можем убедиться из рассмотрения рукописей, списанных одним писцом с разных оригиналов или, наоборот, разными писцами с одного оригинала" (Дурново, 1933, с. 45). Так, в Усп. сб. XII-XIII в., написанном двумя писцами, "правописание первой половины жития Феодосия, писанной первым писцом, не отличается от правописания переводных повести пророка Иереми и жития Афанасия, а правописание второй половины жития Феодосия, писанной вторым писцом, - от правописания писанных им же житий Ирины и Иова, между тем как правописание этих двух частей жития, восходящих к одному оригиналу, сильно разнится" (Дурново, IV, с. 74-75). Книжные писцы получали специальную выучку, и эта выучка, видимо, состояла в овладении рядом орфографических правил - грамотность писца проявлялась не в том, насколько он следует протографу, а в том, насколько тщательно он соблюдает усвоенные им правила. Грамотный писец вполне может не доверять своему оригиналу и считать необходимой правку встречающихся в нем форм в соответствии с той орфографической нормой, которой он следует. Показательно, что на исповеди рус. писцы могли каяться следующим обра-

зом: "Книги писахъ и не правихъ", "И писахъ книги божественныя и не исправляхъ" (Алмазов, III, с. 238; Петухов, 1888, с. 45).

Соответственно, анализ правописания рус. рукописей XI–XII вв. приводит "к выводу, что большая часть рус. писцов в своем правописании руководилась не столько написаниями своих непосредственных оригиналов и своим живым произношением, сколько усвоенной ими традиционной орфографией и особым книжным или церковным произношением" (Дурново, IV, с. 73). Это отсылает нас к рассмотрению других факторов, определяющих разнообразие написаний.

6.2.2. Отражение орфографической традиции. Влияние орфографической традиции не всегда учитывается при анализе написаний памятников: исследователи иногда непосредственно от графики – устранив явные случаи влияния протографа – переходят к фонетике и даже фонологии. К чему может привести такой подход, легко можно себе представить, если вообразить будущего исследователя рус. языка, в распоряжении которого имеются лишь письменные памятники на литературном языке: исходя из правильного различения безударных *а* и *о* в рус. правописании XX в., он мог бы прийти к выводу, что рус. литературное произношение этого времени было окающим (ср. Дурново, 1933, с. 73). Еще большее значение имел графический традиционализм в древности.

Рус. (ц-сл.) орфография в начале фигурировала как допустимое отклонение от юж-сл. нормы. С XII в. положение меняется: юж-сл. орфография представляет собой допустимое отклонение от рус. нормы. Иначе говоря, юж-сл. написания первоначально входили в орфографическую норму и не исправлялись; позднее, однако, они стали исправляться. Эти исправления указывают на перелом, при котором рус. ц-сл. орфография обособляется от юж-сл. орфографии и складывается в самостоятельную норму.

Эта самостоятельная орфографическая норма основывается на системе орфографических правил, которой пользуются рус. писцы. Такие правила регламентируют написание независимо от написаний юж-сл. оригиналов, создавая собственно рус. орфографические традиции. Так, например, если в юж-сл. рукописях распределение букв *л* и *л̑* было фонетически мотивированным, то на Руси эти буквы выступали как омофоничные и их распределение было орфографической условностью, установленной именно рус. писцами. Другой пример собственно рус. орфографического принципа, никак не связанного с юж-сл. правописанием, мы наблюдаем в правописании еров, правила которого исходят из рус. разговорного произношения (см. 7.5.4).

Итак, с XII в. имеет место освобождение от непосредственного влияния юж-сл. протографов; существенным фактором в этом процессе оказывается книжное произношение.

6.2.3. Отражение книжного произношения. "Между живой русской речью и письменным языком оказывалось средостение в виде... церковного произношения. Переписчики, контролируя списываемые оригиналы известным им церковным произношением, произношением для них авторитетным, для них самих обязательным, стали отступать при переписке от своих оригиналов; но..., делая такие отступления, [они] полагали, что отступают в пользу церковного языка, не заботясь о том, что вместе с тем эти отступления сближали письменный язык (в некоторых

чертах) с живым народным произношением" (Шахматов, I, с. 191). Под церковным или книжным произношением понимается произносительная норма, т.е. орфоэпия ц-сл. языка. Она может в ряде случаев совпадать с живым произношением, т.е. в тех или иных моментах не быть ему противопоставленной. Поэтому отражение книжного произношения может иногда трактоваться исследователями как отклонение от нормы, связанное с влиянием живой речи. Следует предостеречь от такой трактовки. Влияние живой речи проявляется в данном случае не непосредственно, о нем можно говорить лишь постольку, поскольку явления живой речи ассимилированы ц-сл. произносительной нормой.

Это очень важный фактор - едва ли не самый важный для рассматриваемого периода. Можно утверждать, что до второго юж-сл. влияния орфография в общем ориентировалась - в большей или меньшей степени - на книжное произношение, ему подчинялась и им проверялась (после второго юж-сл. влияния имеет место повышение роли орфографии, ее обособление и, соответственно, размежевание орфографической и произносительной традиций, см. 10.3). В частности, писцы стремились выдерживать усвоенную ими у южных славян орфографию лишь в тех случаях, когда она не вступала в конфликт с книжным произношением (Дурново, V, с. 112).

6.3. Соотношение орфографии и орфоэпии. Итак, орфография рус. ц-сл. текстов обнаруживает явную зависимость от орфоэпии. Чем же объясняется преимущественное значение орфоэпии для этого периода? Можно указать на несколько причин.

Во-первых, рус. ц-сл. орфография стабилизировалась не сразу, тогда как произносительная норма установилась, видимо, достаточно быстро - это было вызвано практической необходимостью читать богослужебные тексты. Книжное произношение было непосредственно связано с богослужением и потому требовало единообразия; между тем орфография не была непосредственно связана с церковной службой и поэтому такого единообразия не предполагала. Соответственно, умение читать было повсеместным и входило в процесс элементарного религиозного образования, что в принципе предполагало единую систему чтения, - умение писать не было столь повсеместным, поскольку оно не связывалось непосредственно с сакральным моментом.

Во-вторых, орфография, в отличие от произношения, допускала значительный диапазон колебаний, поскольку с самого начала на Русь попадали книги с различными орфографическими системами. Таким образом, орфографических вариаций было изначально много; в дальнейшем те или иные варианты закрепились в локальных писцовых школах, и поэтому орфографический разноречивый не уменьшался.

В-третьих, в отличие от чтеца писец стоял перед выбором: следовать ли ему написанию протографа или позволить себе отклонение от него. В результате орфография рус. ц-сл. памятников колеблется от правописания протографов до простой транскрипции рус. книжного произношения, при том что норма книжного произношения остается более или менее стабильной.

В силу сказанного обучение ц-сл. языку связывалось прежде всего с обучением чтению по нормам книжного произношения, тогда как умение писать предстает как вторичное явление:

если правописанию и обучали, то во всяком случае не повсеместно, а лишь в специальных скрипториях, где предполагалось обучение каллиграфическим и орфографическим правилам. Вообще, обучение ц-сл. языку предполагало прежде всего пассивное усвоение, а не активное владение этим языком; основной задачей было обеспечить понимание ц-сл. текстов, а не их создание.

Показателен в этом смысле рассказ Сильвестра в "Домострое" в послании к своему сыну Анфиму. Он говорит здесь о том, как он обучал детей согласно их призванию, "кто чево достоин": "многихъ грамотѣ и писати и пѣти иных иконного писма инѣх книжного рукодѣлія овѣх серебряново мастерства, і иных всяких многих рукодѣлей" (Орлов, I, с. 66). Мы видим, что умение писать и петь (в отличие от умения читать, которое было широко распространено) считается таким же ремеслом, как умение писать иконы, переплетать книги и т.п. Ср. еще здесь же: "А видѣл еси сам в рукодѣях и во многих во всяких вѣщих мастеров всяких было много: иконники, книжные писцы, серебряные мастера, кузнецы, и плотники, и каменщики, и всякіе и кирпичики, и стенышки, и всякіе рукодѣльники" (там же, с. 68).

6.3.1. Обучение чтению и обучение письму. Система книжного произношения задавалась при обучении чтению по складам, в процессе которого учащийся заучивал, как произносятся различные последовательности согласных и гласных букв, т.е. слоги типа *ба, бо, бе, бѣ, бѡ, бѣ* и т.п. (при этом произносились названия соответствующих букв, а затем и сам слог, например, "буки азъ - ба", "буки онъ - бо" и т.д.) (Успенский, 1970). Среди новгородских берестяных грамот сохранились учебные записи (грамоты № 199, 201, 204, нач. XIII в.), где даются наборы таких складов. Позднее они являются неременной принадлежностью ц-сл. букварей.

Задаваемые азбучным обучением формулы (типа "буки азъ - ба") указывали, как должна читаться данная последовательность графем, и обеспечивали переход от написания к книжному произношению. Вместе с тем, они могли быть использованы и в обратном направлении, т.е. указывали, как может быть записана данная звуковая цепочка, и обеспечивали, тем самым, переход от произношения к написанию. Таким образом устанавливалось элементарное соотнесение графем и фонем, которое имело одинаковую значимость для всего грамотного населения - как для тех, кто умел читать и писать, так и для тех, кто умел только читать.

Соответствие между графемами и фонемами не было, однако, однозначным, поэтому при использовании соответствующих формул в направлении от произношения к написанию возникал целый ряд моментов, когда было неясно, как нужно записать данную последовательность фонем. Это создавало возможность вариантных написаний, одни из которых допускались орфографической нормой, а другие - не допускались. Недопустимость определенных вариантов была связана с дополнительными (по отношению к набору элементарных соответствий графем и фонем) орфографическими ограничениями (см. Живов, 1984, с. 251 сл.). В этих дополнительных орфографических регламентациях указывалось:

(а) как должны употребляться две буквы (или несколько букв), соответствующих - вообще или в определенной позиции (позиции нейтрализации какого-либо фонологического противопоставления) - одной фонеме;

(б) как следует поступать в том случае, когда двум фонемам в азбуке соответствует одна буква.

Для первого случая примером такого дополнительного ограничения может служить правило употребления букв *ѣ* и *ѡ*, которые в рус. ц-сл. произношении имели одинаковое фонетическое значение. По правилам рус. ц-сл. орфографии *ѣ* пишется в начале слога, а *ѡ* - после согласных (это основная книжная традиция, наряду с ней на Руси существовала и другая, предписывавшая писать *ѣ* и после палатальных сонорных, см. 7.7).

Примером дополнительных ограничений второго типа могут служить правила, регламентировавшие обозначения палатальных сонорных, для которых в славянской азбуке не было специальных букв и которые в книжном письме могли обозначаться либо с помощью диакритики, либо с помощью последующей йотированной гласной (см. 7.7).

Такого рода орфографические правила не были предметом элементарного обучения грамоте, они преподавались в скрипториях, и в разных скрипториях могли складываться несколько отличающиеся друг от друга системы правил, т.е. разные орфографические традиции.

Люди, которые получили лишь элементарное образование и умели только читать (но не учились писать), могли писать, пользуясь элементарным соотношением фонем и графем, которое задавалось чтением по складам, т.е. приспособляя правила чтения к правилам письма. Необходимо, таким образом, различать тексты, написанные людьми, которые учились писать (профессиональными писцами), и тексты, написанные теми, кто учился только читать, но не проходил специальной школы письма. Тексты второго типа отличаются тем, что они написаны без применения дополнительных орфографических правил.

6.3.2. Характер взаимодействия орфографии и орфоэпии. Можно отметить вообще особую важность орфографии в самосознании литературного языка - как области, непосредственно связанной с письменностью, с книжной традицией. Именно орфография имеет в самых разных условиях первостепенное значение для носителя литературного языка. Не случайно и по сей день школьное обучение литературному языку в значительной степени сводится к обучению правописанию: орфографическая практика показывает нам, имеем ли мы дело с грамотным человеком. Между тем орфоэпия допускает сейчас значительно большую степень свободы, что проявляется в наличии по крайней мере двух принятых норм литературного произношения (московской и ленинградской). Таким образом, литературная норма допускает значительное количество произносительных вариантов, при том что в орфографии они абсолютно недопустимы. Вполне закономерно в этом смысле, что первые опыты кодификации рус. литературного языка нового типа в XVIII в. начинаются именно с установления орфографических норм (Успенский, 1975). Острые споры вокруг орфографии, которые начались в XVIII в. (полемика Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова), продолжают вплоть до настоящего времени.

Так обстоит дело сейчас. В условиях литературного языка, ориентированного на разговорную речь (каким и является рус. литературный язык нового типа), орфоэпия неизбежно характеризуется вариативностью: она лишь ограничивает, а не устраняет вполне ту вариативность, которая свойственна живой разговорной речи (в силу непрерывных изменений системы языка, ср. 1.5). Между тем в условиях диглоссии, когда отсутствует ориентация на разговорную речь, а книжное произношение имеет ритуальный характер, первостепенное значение

имеет орфоэпия, а не орфография: по отношению к орфографии теперь мы можем судить об отношении к орфоэпии тогда. Книжное произношение в этих условиях столь же непосредственно связано с письменностью, как и орфография, но при этом это произношение церковное, сакрализованное. Орфография и орфоэпия выступают при диглоссии как две ипостаси одной сущности, т.е. как две в принципе соотносящиеся друг с другом и переводимые одна в другую системы. Отсюда определяется возможность их взаимного влияния друг на друга и, вместе с тем, ориентированность написания именно на книжное произношение (подобно тому как сейчас произношение в каких-то случаях может ориентироваться на орфографию) - именно орфоэпия выступает как доминирующее начало. В этих условиях орфография допускает значительно больше свободы, чем орфоэпия, - так, в частности, один писец может по-разному писать одно и то же слово, при том что он произносил его, по-видимому, всегда одинаково. Подобное взаимодействие орфографии и орфоэпии, характерное для древнейшего периода, не может иметь место в настоящее время, поскольку сейчас орфография и орфоэпия не подчиняются единому принципу и не связаны друг с другом: произносительная норма в принципе не ориентируется на написание, так же как написание не ориентируется на произношение.

Соотношение между произносительной и орфографической нормой представляет собой ключевой момент при типологической характеристике памятника письменности. При анализе книжных текстов необходимо отдавать себе отчет, какое место занимает рассматриваемый текст на шкале, крайние точки которой определяются отражением протографа, с одной стороны, и транскрипцией книжного произношения, с другой.

Указанное взаимодействие орфографии и орфоэпии имеет характер динамического взаимодействия. Если писец ориентируется на свое представление о произносительной норме, написание подчиняется произношению; в тех же случаях, когда он старается соблюдать традиционную орфографию, эта орфография, надо полагать, влияет на фонетическую реализацию соответствующих форм. Поскольку при переписывании каждый раз менялось написание, постольку могло претерпевать изменение и звучание отдельных форм, при том что система соотношения устного и письменного текстов могла оставаться неизменной.

В зависимости от большего или меньшего внимания к орфографии или же к орфоэпии различаются разные школы писцов в Древней Руси. Эта корреляция между орфографией и орфоэпией была нарушена в период второго юж-сл. влияния, когда писцы стали ориентироваться на собственно орфографическую традицию, привнесенную извне и резко расходящуюся с произносительными навыками (см. 10.3).

6.4. Возможности разграничения орфографических и орфоэпических явлений. При интерпретации письменных памятников возникает вопрос, как разграничить собственно орфографические явления, связанные с условностями книжного письма, от написаний, отражающих произношение. Сложность этой задачи обусловлена тем, что и книжное произношение, и орфографические правила, которыми пользовались писцы, - это предмет нашей реконструкции. В этих условиях особое значение приобретают косвенные свидетельства, указывающие на фонетический или орфографический характер того или иного написания.

6.4.1. Исправления в тексте. Ценный материал в этом отношении дают встречающиеся в рукописях и с п р а в л е н и я. Исправления написаний возникают обычно в двух случаях. В одном случае исправляются написания, восходящие к юж-сл. протографу; следует предположить, что исправляющий при этом ориентируется на книжное произношение (ср. об исправлениях жд на ж в 7.2). В другом случае исправление основывается не на книжном произношении, а на специальных орфографических правилах, т.е. исправляются написания, где эти правила не соблюдены; в этом случае фонетические написания, отражающие книжное произношение, признаются неправильными, а руководством служит условная орфографическая норма (ср. об исправлениях о на ъ в 7.5.4). Эти два случая позволяют отличить явления книжного произношения от собственно орфографических явлений. Встречаются, конечно, и случаи неправильных написаний, которые целиком выпадают из книжной нормы, когда имеет место простая описка или же непреднамеренное отражение живого произношения. Такие написания, естественно, также могут подвергаться исправлению, однако исправления такого рода для нас непоказательны.

6.4.2. Некнижные тексты, отражающие систему обучения чтению. Другим источником для суждений о характере орфографической и орфоэпической нормы и о границах между ними могут служить не книжные тексты, а именно тексты, написанные людьми, которые учились читать, но не учились писать (ср. 6.3.1), т.е. написанные без применения условных орфографических правил и поэтому обнажающие соответствия между буквами и фонемами, усваиваемые при обучении книжному произношению. Такие тексты позволяют установить, какие элементы книжного письма были обусловлены специальными орфографическими правилами, а какие - отражением книжного произношения. Именно к таким текстам относятся берестяные грамоты. Мы наблюдаем в них, в частности, последовательное смешение *ъ* и *о*, которое обусловлено тем, что эти буквы одинаково читались в книжном произношении и выступали, следовательно, как омофоничные; берестяные грамоты определенно показывают, что книжные писцы при написании этих букв руководствовались специальными орфографическими правилами (см. 7.5.3).

6.4.3. Певческие тексты. Существенные данные о книжном произношении можно получить из анализа певческих текстов (с музыкальной нотацией). Простановка нотации с большей или меньшей необходимостью требовала произнесения соответствующих текстов, т.е. здесь мог иметь место внутренний диктант. Поэтому особенности написаний в этих текстах могут объясняться относительно более последовательным отражением книжного произношения в ущерб орфографии. Именно поэтому для таких текстов особенно характерны исправления, причем в ряде случаев исправления делаются тем писцом, который ставит музыкальную нотацию и одновременно правит написания (ср. такую правку в Стихираре XII в. - ГИМ, Син. 279).

Среди певческих текстов особенно интересны кондакари - тексты, записанные в особой кондакарной музыкальной нотации. Эта нотация предполагает специальное растяжное письмо, требующее повторного обозначения тянущегося гласного в соответствии с длительностью его звучания в певческом исполнении. Очевидно, что сам прием растяжения гласных в принципе способствует именно отражению реального произношения, а не орфографии, ср. передачу про-

Исключительно важные сведения такого рода дает Типографский устав XI–XII в. (ГТГ, К-5349) – древнейший рус. певческий памятник, часть текстов которого записана именно в кондакарной нотации. Особенностью Тип. устава, отличающей его от всех других кондакарей, является то, что тексты песнопений сначала даются здесь без нот, а затем повторяются уже с расстановкой кондакарной нотации. Это объясняется, видимо, тем, что Тип. устав был учебной книгой, т.е. служил не практическим надобностям богослужения, а предназначался для обучающихся пению. Таким образом, одни и те же тексты – тексты, написанные одним писцом! – даются здесь как обыкновенным письмом, так и специальным растяжным письмом: перед нами своего рода билингва, где тексты для чтения даны параллельно текстам для пения. Записывая тексты для пения растяжным письмом, писец, по-видимому, должен был их себе напевать, тогда как переписывая тексты для чтения, он имел относительно больше возможностей отвлекаться от условий их произнесения. Поэтому в певческих текстах этого памятника, поскольку они отличаются от текстов непевческих, должно было отражаться книжное произношение. И действительно, тексты в обеих частях (нотной и ненотной) не вполне совпадают, т.е. можно обнаружить некоторые формальные различия. Мы вправе считать, что различия эти в большинстве случаев отражают различия между орфографической и произносительной нормой. В целом ряде случаев эти расхождения носят систематический характер и будут проанализированы ниже. Подобные же различия, т.е. преимущественное следование орфографической традиции в непевческом тексте и преимущественное отражение произношения в певческом тексте, подтверждаются и рядом окказиональных примеров. Так, писец Тип. устава пишет в ненотном тексте *въ тѣмѣ*, а в соответствующем нотном тексте он же пишет *вьвь тѣмѣ* (с проявлением слоговой ассимиляции). В ненотном тексте находим *слѣнце*, а в нотном – *съъъъъньце*, т.е. *съньце* (с упрощением группы согласных *лн > н*). Форма *бороущаагоса* ненотного текста преобразуется в нотном тексте в *боооооорюѡѡѡѡщагооса* (т.е. *борушагоса* – это показывает, что юж.-сл. отверждение /r/ не отразилось на рус. произношении). Примеры такого рода можно умножить (см. подробнее: Успенский, 1973). Ниже, обсуждая характеристики орфографической и орфоэпической традиции, мы будем неоднократно ссылаться на показания Тип. устава, равно как и других кондакарей.

Необходимо отметить, что растяжное письмо кондакарей, помимо повторения букв, соответствующих тянущемуся гласному, характеризуется еще многочисленными и разнообразными вставками (х, в, ц, ѝ, у, л, і, ѵ и т.п.), которые подразделяются на вставные попевки глоссолалического характера и на так называемые мартиріи, т.е. ключевые знаки, указывающие

временную перемену лада. В связи с дальнейшим рассмотрением важно иметь в виду, что соответствующие вставки, как правило, не нарушают общих закономерностей повторения букв при протяжении звука; вместе с тем, в отдельных случаях появление вставных букв может нарушать инерцию письма и обуславливать спорадическое появление омофоничной буквы, проясняющей реальное звучание текста. Цитируя в дальнейшем примеры из кондакарей, мы для простоты заменяем эти вставные буквы точками.

6.4.4. Традиция церковного произношения. Наконец, важным источником для реконструкции древнейшего книжного произношения является традиция церковного чтения, дошедшая до наших дней. Конечно, традиция церковного чтения претерпевала определенные изменения. Тем не менее, эта традиция в принципе является консервативной и может доносить до нас черты очень древнего состояния. Во всех случаях, когда, прослеживая историю того или иного фонетического явления в книжном (церковном) произношении, мы не можем связать его с какой-либо инновацией, мы вправе предположить - в качестве рабочей гипотезы - что оно восходит к эпохе становления рус. книжной традиции. При исследовании традиций церковного чтения особое значение имеет практика замкнутых религиозных социумов. Так, церковное произношение Моск. Руси в полной мере сохраняется в чтении старообрядцев-беспоповцев (Успенский, 1968; Успенский, 1971), тогда как церковное произношение Ю.-З. Руси консервируется в униатской церкви. Сопоставление двух этих традиций дает возможность реконструировать и более древнее состояние.

7. ПРИЗНАКИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА РУССКОЙ РЕДАКЦИИ В СОПОСТАВЛЕНИИ СО СТАРОСЛАВЯНСКИМ

7.1. Употребление юсов. Рус. традиция ц-сл. произношения не знала носовых гласных. С освобождением от влияния юж-сл. протографов орфография рус. рукописей подчиняется произношению. В результате ст-сл. написаниям с *ж* и *л* или с йотированными вариантами этих букв соответствуют рус. написания с *оу*, *ю* на месте *ж* и написания с *л* (и *а* после шипящих и *ц*) на месте *л*. Йотированные юсы исчезают к сер. XII в. Буква *ж* встречается еще в XIII в. (например, в Симон. пс. 1270–1296 гг.), хотя уже с нач. XII в. она попадает на периферию графической системы. Буква *л* получает в рус. графической системе особую функцию.

Процесс смешения юсов с буквами *оу*, *ю* и *л*, *а* наблюдается уже в древнейших рус. памятниках, хотя в некоторых памятниках XI в. заметна тенденция писать юсы в соответствии с юж-сл. нормами (Остр. ев.; Сл. Гр. Бог.; Тур. ев.). В Остр. ев. 1056–1057 гг. по подсчетам Дурново (IV, с. 88) "на с лишком 2000 случаев правильной постановки *ж* и *л* насчитывается 62 случая *ж* вместо *оу*, 40 случаев *оу* вместо *ж*, 65 случаев *л* вместо *ю* и 150 случаев *ю* вместо *л*, т. е. всего немного более 300 случаев ошибочной постановки этих букв или замены их другими. В Туровском евангелии подобных случаев всего 9..., тогда как случаев правильного употребления *ж* и *л* более сотни". Однако уже памятники конца XI в. дают другую картину, например, во втором почерке Арх. ев. 1092 г. на месте *ж*, *л* мы наблюдаем последовательное употребление *оу*, *ю*.

Исчезновение или неупотребительность *л* приводит к смешению *ж* и *ю*, в результате чего *ж* может употребляться вместо *ю*. В грамматических руководствах XVI–XVII вв. может сообщаться, что *ж* читается именно как *ю* (Ягич, 1896, с. 368; Смотрицкий, 1619, л. А/8; букварь Кариона Истомина – БАН, Петровская гал., № 61, л. 8 об.).

Любопытно, что еще в XVI в. рус. книжники отдают себе отчет в том, что *ж* некогда произносился как носовой гласный. В одном из грамматических сочинений читаем, что эта буква введена в азбуку "ради Поляць..., а глаголется гугниво" (Ягич, 1896, с. 348, ср. также с. 408; Петровский, 1888, с. 14).

Что касается *л*, то эта буква имеет иную судьбу, она прочно закрепляется в рус. ц-сл. орфографии: *л* оказывается в таком же соотношении с *а*, как *ю* с *оу* и т. п. На это ясно указывают данные кондакарей. При растяжении *л* может здесь переходить в *а*, точно так же как *ю* переходит в *оу*, ср. в Благ. кондакаре XII–XIII в.: *кнааазлааа* (л. 33 об.). Соответственно, буква *л* оказывается омофоничной с буквой *л*. В рус. ц-сл. орфографии устанавливается в этой связи дополнительное распределение этих букв: *л* пишется в начале слога (а в некоторых памятниках также после палатальных сонорных), *л* – после согласных (в некоторых памятниках за исключением положения после палатальных сонорных). В целом мы можем констатировать, что в случае юсов орфография рус. ц-сл. рукописей ориентирована на произношение.

7.2. Рефлексы *dj. Ст-сл. (юж-сл.) сочетанию *жд*, восходящему к о-сл. сочетанию *dj, в рус. изводе ц-сл. языка соответствует *ж*. Таким образом:

Ср. ст.-сл. *виждѣ*, рус. ц.-сл. *вижоу*, рус. *вижу*; ст.-сл. *межда*, рус. ц.-сл. *межа*, рус. *межа*; юж.-сл. ц.-сл. *пражда*, рус. ц.-сл. *пража*, рус. *пряжа*.

7.3. Рефлексы *zdj, *zgj, *zg'. В некоторых случаях ст.-сл. и юж.-сл. написание **жд** соответствует рус. ц.-сл. написанию **жд**, однако при этом имеет место существенная разница между рус. и юж.-сл. изводами ц.-сл. языка. Речь идет о рефлексах о.-сл. *zdj, *zgj, а также о рефлексах *zg' в условиях первой палатализации. В ст.-сл. языке рефлексы этих сочетаний и рефлексы *dj совпадали в написании и, видимо, в произношении, а именно они давали написание **жд** (первоначально произносившееся, вероятно, как [žd']). В современном болгарском и сербском соответствующие формы записываются через **жд**. Между тем, в рус. изводе ц.-сл. языка написание рефлексов *dj, с одной стороны, и *zdj, *zgj, *zg', с другой стороны, различалось, и это, по-видимому, отражает различие данных рефлексов в книжном произношении. Можно думать, что книжное произношение совпадало здесь с произношением живого рус. языка, в котором *zdj, *zgj, *zg' давали, скорее всего, сочетание [ždž], представляющее собой звонкий коррелят [štš] - сочетания, которое записывалось отдельной буквой **щ**. Сходный рефлекс наблюдается и в зап.-сл. языках, ср. польск. *żdż*. Ср. соответствия: ст.-сл. *ѣждѣ* или *ѣждѣ*, рус. *езжу*, польск. *jeżdżę*; ст.-сл. *дѣждь*, рус. *дождь*, болг. *дѣжд*, серб. *дѣжд*, польск. *deżdż* и *deszcz* (последнее написание связано с оглушением конечного звука). В рус. ц.-сл. языке преимущественным способом передачи этого звука было написание **жд**. Таким образом, возникало противопоставление **ж** и **жд**, которого не было в ст.-сл. языке и которое было предназначено отразить специфически рус. противопоставление /ž/ и [ždž]/. Тем самым, и здесь - поскольку это позволяла графическая система - написание ориентируется на произношение, отступая при этом от ст.-сл. традиции.

Так, например, в Изб. 1076 *dj обычно дает ж, но не жд (редкие случаи написания жд на месте *dj объясняются с вероятностью влиянием протографа). Между тем для *zdj, *zgj, *zg' мы имеем только жд (Лант, 1968, с. 71-72). Еще более последовательно ж пишется в соответствии с *dj, а жд - в соответствии с *zdj, *zgj, *zg' в Выголекс. сб. конца

XII в., причем замечательно, что сочетание *жд*, обозначающее звук [ʒdʒ], может иметь здесь особый крючок, который в других случаях обозначает палатальность (*н* в соответствии с **nj*, *л* в соответствии с **lj*): *дѣждь*, *вѣждѣлахъ*, *пригвождѣны* (л. 151, 166 об., 40 об.). Подобное же написание можно встретить и в Мстисл. ев. нач. XII в.: *ижденоу* с *жд* в соответствии с **zg'*, где однако пишется и *жаждеть*, с *жд* в соответствии с **dj* (л. 10в, 266); здесь же трижды встречается и написание *иждѣнѣть* или *иждѣноуть* (л. 98а, 126в, 147а), где йотация последующего гласного явно выступает в той же функции, что и диакритический знак после согласного, а именно передает палатальность согласного (ср. ниже относительно палатальных *л*, *н*, которые могут писаться перед *е* как *лк*, *нк*, - 7.7). Наконец, в Толстовском сб. XIII в. (ГПБ, Ф.п.I, 39) зафиксировано *дѣждь*, *иждѣнеть*. Возможно, мы имеем в этих случаях тенденцию противопоставлять по начертанию *жд* в значении [ʒdʒ] юж.-сл. *жд* из **dj*.

Наряду с этим, в ряде памятников наблюдаются особые написание для [ʒdʒ], сосуществующие с *жд*. В северных (новгородских) памятниках это написание *жг* (наблюдается с XI в.), в южных памятниках это написание *жч* (установилось в XII в.). Существенно при этом, что написание *жч* может выступать как единственный способ передачи данного звукового сочетания (так, например, в Галицком ев. 1144 г. - Дурново, 1924, с. 105, 177), тогда как написание *жг* встречается в памятниках лишь более или менее спорадически. Кроме того, иногда встречаются и другие написание, а именно *жжд*, *жщ*, *жъщ*, *жщж*, *щ*, *зщ*, *зжч*, *зж*, *зждж*, *здъщ* и т.п. (Шахматов, 1915, с. 179-180). Ср. варианты написание в Мин. 1095: *ражгъженоу* (л. 135 об.), *ражъженымъ* (л. 164 об.), ср. еще *раждыгъ сѧ* (т.е. "разжегся", л. 164).

Эта непоследовательность в передаче рефлекса **zdj*, **zgj*, **zg'* наблюдается и в современном рус. языке, ср. *езжу*, *дождя*, *вожжи*. Отсутствие единого графического представления этого звука приводило к колебаниям в написании одного и того же слова. Так, в одном небольшом отрывке из сочинений протопопа Аввакума мы встречаем три написание одного и того же слова: "*приіѣзжали* 3 архимарита ... уговаривать. И во 8 день *приіѣзждалъ* в ночи Дементей Башмаковъ уговаривати же. И въ 10 день въ ночи *приіѣзждалъ* Артамонъ да архимарить уговаривати ж... і въ 11 день *приіѣждалъ* архимарить Чудовской" (РИБ, XXXIX, стлб. 703).

Ясно, почему написание *жч* может служить удобным графическим способом для передачи сочетания [ʒdʒ]. Это сочетание представляет собой звонкий коррелят сочетания [ʃtʃ], которое в том же южнорус. ареале могло записываться как *штч* (наряду с *щ* - см. 8.1.3; ср. аналогичное соответствие между написанием *шт* и *жд*). Вполне естественно, что для обозначения звонкого коррелята было выбрано сочетание *жч*, где *ж* является звонким коррелятом к *ш*, тогда как для *ч* такого варианта в графической системе не существует; соответственно, на *ж* падала функция обозначения звонкости всего сочетания.

Написание *жг* не поддается такой однозначной интерпретации. Можно предположить, что это написание передает то же фонетическое сочетание, что и южнорус. *жч*, т.е. что это различие не отражает различий в книжном произношении, а является специфическим для северной Руси способом обозначения сочетания [ʒdʒ]. Следует иметь в виду, что буква *г* соотносилась не со смычным, а с фрикативным [ɣ] книжного произношения (см. 7.6), который перед передними гласными мог быть практически тождественным [j]. Отсюда, сочетание *жг* могло соот-

ветствовать [žj], фонетически близкому [ž':], которое представляется возможным произносительным вариантом [ždž] (Шахматов, 1915, с. 321).

Допустимо, однако, и другое объяснение. Можно полагать, что в новгородско-псковской диалектной зоне *zdj, *zgj, *zg' давали [žg], т.е. что вторым элементом сочетания была здесь не аффриката, а палатальный смычный. Это предположение вполне возможно, если учесть, что в данной диалектной зоне не проходила вторая палатализация и, следовательно, в этих говорах были палатальные взрывные [g], [k]. Вместе с тем, в соответствующих глухих сочетаниях *skj, *sk' не происходил переход в [štš] (Зализняк, 1982). Таким образом, [žg] оказывается вполне правдоподобным рефлексом интересующих нас сочетаний. На него могут указывать и окказионально встречающиеся в псковских говорах формы типа *виждит*, где буква *д* может обозначать палатальный смычный (Чернышев, II, с. 379). Если произношение с палатальным смычным (т.е. [žg]) было свойственно только разговорному языку, но не книжному произношению, написание *жг* в новгородских рукописях представляет собой ошибку против нормы ц-сл. произношения (такую же, как написание *ч* на месте *tj). Если же произношение с палатальным смычным было усвоено в Новгороде и в книжном произношении, то написание *жг* представляет собой отклонение от традиционного ц-сл. правописания, обусловленное влиянием книжного произношения. Вопрос о том, являются ли в этом случае подобные написания орфографической ошибкой или допустимым орфографическим вариантом, остается открытым.

Для решения этого вопроса могут иметь значение спорадически встречающиеся написания с *жг* на месте *dj, например в Мин. 1095 *прѣжге* (л. 84), *рождение* (л. 135 об.), *побѣжгенъ* (л. 164); ср. еще: Шахматов, 1915, с. 322; Живов, 1984, с. 257. В самом деле, подобные написания возникают, видимо, в силу того, что в книжном произношении и написанию с *жд*, и написанию с *жг* соответствует [žg]. Обнаруживая в своем оригинале написание *жд* на месте *dj, писец мог автоматически произнести это сочетание как [žg], а отсюда и записать как *жг*.

7.4. Рефлексы *tj, *kt', *stj, *skj, *sk'. В то время как в ст-сл. языке наблюдается вариация *щ* и *шт*, в рус. ц-сл. языке имеет место вариация *щ* и *шч*. Таким образом, ст-сл. сочетанию *шт* может соответствовать рус. ц-сл. *шч*. Это несомненно отражает различие в произношении: в ст-сл. языке *щ* произносилось как [št], в рус. ц-сл. языке - как [štš] ([šč]). Если ст-сл. *жд* восходит, как мы уже знаем, к о-сл. *dj или же *zdj, *zgj, *zg', то ст-сл. *шт* восходит к соответствующим глухим сочетаниям: *tj (а также *kt перед передней гласной), *skj, *stj, *sk'. Таким образом, здесь наблюдается очевидный параллелизм между глухими и звонкими сочетаниями. Итак, мы имеем следующие соответствия (см. таблицу, с. 88).

Указанный параллелизм проявляется, между прочим, и в том, что рус. аффрикаты [ždž] и [štš] обычно имеют одинаковые рефлексы. Так, например, если в московском произношении [ždž] > [ž':], то [štš] > [š':] и т.п. Ср.

	рефлексы [<u>ždž</u>]	рефлексы [<u>štš</u>]
московское произношение	ž':	š':
сев.-зап. говоры и старое петербургское произношение	ž'd'ž'	š't'š'
сев.-вост. говоры	ž:	š:
вологод. и олонечкие говоры	ž'd' žd'	š't' št'

(Реформатский, 1967)

Итак, если в юж-сл. диалектах рефлексы *dj совпадают с рефлексами *zdj, *zgj, *zg', а рефлексы *tj, *kt' совпадают с рефлексами *stj, *skj, *sk', то в вост-сл. диалектах эти рефлексы различаются.

Таблица

о-сл.	ст-сл.		ц-сл.		рус.
	напи- сание	произно- шение	напи- сание	произно- шение	
dj	жд	ž'd'	ж	ž'	ž'
{ zdj zgj zg' }	жд	ž'd'	{ жд жч жг }	{ ž'd'ž' (ž'g') }	{ ž'd'ž' ž'g' }
{ tj kt' }	{ щ шт }	{ š't' š't'š' }	{ щ шч }	š't'š'	č
{ stj skj sk' }	{ щ шт }	{ š't' š't'š' }	{ щ шч }	š't'š'	š't'š'

При всем сходстве в судьбе рассматриваемых сочетаний (глухих и звонких) наблюдается одно существенное отличие: если [ž], восходящее к о-сл. *dj и появившееся под влиянием живого рус. произношения, входит в норму ц-сл. языка рус. редакции (отражаясь и на написании), то [č], восходящее к о-сл. *tj (и *kt'), оказывается вне этой нормы. В ц-сл. языке рус. редакции этому [č] соответствует [štš]. Таким образом, если, например, форма *вижоу* является нормативной ц-сл. формой, то *свѣча* является формой ненормативной, она может встретиться в ц-сл. тексте лишь как ошибка при правильных *свѣща* или *свѣшча*.

Откуда появилось в ц-сл. языке рус. извода произношение буквы щ как [štš], отразившееся в варианном написании шч? Можно было бы думать, что русские распространили свое исконное произношение рефлексов *skj, *stj, *sk' на те слова, в которых ст-сл. написание щ соответствует о-сл. *tj, *kt'. Иначе говоря, поскольку буква щ в одном случае читалась под влиянием живого рус. произношения как [štš] (а именно в случае рефлексов *skj, *stj, *sk'), она стала так же читаться и в другом случае (а именно в случае ре-

флексов *tj, *kt'). При таком объяснении, однако, остается непонятным, почему такой же перенос не состоялся в отношении жд, восходящего к *dj. В самом деле, подобно тому как ст.-сл. щ (шт) объединяет рефлексы *tj, *kt' и *skj, *stj, *sk', ст.-сл. жд объединяет рефлексы *dj и *zdj, *zgj, *zg'. Если рус. книжники могли воспользоваться тем, что щ в каких-то случаях соответствует их родному звуку [štš], и читали щ как [štš] во всех случаях (безотносительно к этимологии), логично было бы ожидать, что они так же поступят и со ст.-сл. жд: они должны были воспользоваться тем, что в соответствии со ст.-сл. жд в каких-то случаях (а именно в случае рефлексов *zdj, *zgj, *zg') произносят [ždž], и распространить такое произношение на все случаи, когда в ст.-сл. языке пишется жд. При этом они должны были бы не заменять ст.-сл. жд из *dj на ж, а произносить его как [ždž], т.е. читать ст.-сл. межда как [meždža] и т.п. Однако книжники так не поступали, и это заставляет признать подобное объяснение недостаточным.

Наиболее правдоподобным представляется, что произношение щ как [štš], а соответственно и написание щч, появились в результате македонского (западноболгарского) влияния на рус. книжное произношение. В македонских диалектах X-XI вв. как *tj, *kt', так и *skj, *stj, *sk' давали [štš] (Селищев, I, с. 319-321), в то время как *dj, *zdj, *zgj, *zg' давали [žd']. Такое произношение, надо думать, было и у македонских книжников, читавших по-старославянски. Русские усвоили македонское произношение щ как [štš], поскольку в ряде случаев оно совпадало с их разговорным произношением. Очевидно, что они не могли сделать того же самого относительно македонского (или вообще юж.-сл.) произношения жд, поскольку это произношение ([žd']) не совпадало ни с каким рус. произношением (ни с рефлексами *dj, ни с рефлексами *zdj, *zgj, *zg').

О том, что в македонском книжном произношении щ читалось как [štš], может говорить и следующее: если кириллическая буква щ может объясняться и как лигатура ш + т, и как лигатура ш + ч, то соответствующая глаголическая буква, вообще говоря, объяснима лишь из ш + ч, но не из ш + т (как известно, в Македонии была принята глаголица), ср.:

кириллич.

Ш

Т

У

Щ

глаголич.

Ш

У

Ѣ

Ѧ

(Дурново, 1926, с. 372)

Следует отметить, что отражение *sk в виде [štš] в принципе наблюдается в Киев. листках (отражающих зап.-сл. извод ц.-сл. языка), где мы имеем формы *зашчити* (3 раза), *заштитить*, *очишчени* (3 раза). В Моравии, а также в Западной Словакии [štš] до сих пор сохранилось без изменения в народных говорах. В чешском языке изменение [štš] в [št] произошло только в западной части страны. Однако *tj дает в Киев. листках /с/, ср. *обѣцаль*, *помощь* и т.п.; таким образом, зап.-сл. извод ц.-сл. языка не мог служить ориентиром для распространения произношения [štš] на рефлексы *tj.

Во всяком случае произношение [štš] представляет собой один из признаков рус. извода ц.-сл. языка. Когда рус. книжник читает слово *свѣща* как *свѣшча*, это не соответствует

ни ст.-сл. произношению *свѣшта*, ни рус. *свѣча*. Это искусственное произношение, не согласное ни со ст.-сл., ни с живым рус. произношением (ср. Дурново, 1924, с. 102). Поэтому наличие [štš] на месте о.-сл. *tj, *kt' с несомненностью свидетельствует о ц.-сл. происхождении соответствующего слова.

Таким образом, написание *шч* следует объяснять отражением книжного произношения, которое в ряде случаев противопоставлено живому. Необходимо иметь в виду, что в рус. рукописях может наблюдаться и написание *шт*, соответствующее ст.-сл. норме. Однако это чисто графическое явление, поскольку за этим написанием стоит такое же произношение [štš]. Так, например, в Изб. 1076 старший писец Иоанн более или менее регулярно пишет *шт*, а не *шч*, тем не менее такое написание предполагало произношение [štš] - оно выдает себя, когда писец переносит слово: *поуш/ченикъмъ* (Лант, 1968, с. 70).

В старших рус. рукописях написание *шт* непосредственно объясняется влиянием юж.-сл. протографов: эта традиция восходит к ст.-сл. текстам типа Супр. рукописи. Однако такое написание закрепляется в северных рукописях, тогда как написание *шч* характерно для рукописей южных. Это сохранение орфограммы *шт* и после освобождения рус. рукописей от влияния юж.-сл. протографов можно объяснить тем, что *шт* как обозначение аффрикаты [štš] коррелировало с *жд* как обозначением аффрикаты [ždž]. Что касается *шч* как обозначения аффрикаты [štš], то оно входило в корреляцию с *жч* как обозначением аффрикаты [ždž]; показательно, что как *шч*, так и *жч* характерны для одного ареала, а именно для Юга.

Чтение *ш* как [štš] входило в норму церковного произношения до XX в. Церковное произношение с [štš] может при этом противостоять - например, у москвичей - спирантному произношению соответствующих слов с [š':]. Таким образом, данная манера произношения воспринималась как книжная; в XVIII в. оно принято в орфоэпии высокого стиля: Адодуров, Ломоносов, Сумароков, Барсов и другие авторы настаивают на таком произношении. Характерно, что Ломоносов считает произношение *ш* как *шш* (т.е. в виде спираанта) провинциальным; есть и другие указания того же рода (Успенский, 1971, с. 21-22; Успенский, 1975, с. 201). Есть основания полагать, что такая манера церковного чтения - восходящая к самому началу рус. книжной традиции - сохранилась в книжном произношении Ю.-З. Руси и была утрачена в Моск. Руси: показательно в этом плане, что она не представлена в старообрядческом чтении, в котором не наблюдаем нормативного произношения *ш*. Во второй пол. XVII-XVIII вв. в результате влияния книжного произношения Ю.-З. Руси на великорус. книжное произношение эта манера закрепляется в рус. церковном чтении и произношении высокого стиля (см. свидетельство Тредиаковского, III, с. 136). В дальнейшем (с XVIII в.) у южных славян, у которых *ш* соответствовало произношению [št], под рус. влиянием эта буква в церковном чтении начинает произноситься как [štš] (Младенович, 1982, с. 64-68; ср. Радойчиц, 1966, с. 54-55).

7.5. Употребление еров. В употреблении еров (букв ъ и ь) особенно ясно отражается сложное взаимоотношение орфографии, книжного произношения и живого разговорного произношения. Все эти факторы оказываются здесь определенным образом связанными. Поэтому падение и прояснение редуцированных в рус. говорах так или иначе сказывается как на написании еров, так и на их книжном произношении. Соответственно, приходится говорить отдельно о периоде, предшествующем падению и прояснению редуцированных, и о периоде, когда эти процессы привели к перестройке книжной орфографии и орфоэпии.

7.5.1. Пропуск еров как орфографическая традиция. Употребление букв ъ и ь в рус. ц-сл. рукописях до сер. XII в. более последовательно (т.е. лучше выдерживается соответствие с этимологией), чем в ст-сл. памятниках. Пропуск еров в рус. памятниках практически встречается лишь в небольшой группе слов и безусловно объясняется влиянием орфографии, поскольку пропуск еров в этих же словах характерен и для ст-сл. памятников. Видимо, пропуск еров в таких словах, как *кназь, кто, много, вс-, книга* и ряде других, воспринимался писцами как элемент правильного написания, и поэтому написание данных слов без еров складывалось в определенную орфографическую традицию. Об этом наглядно говорят показания Тип. устава XI–XII в., где в ненотном тексте писец пишет *всь, вса, вселени, вселеню, кназа (bis!), кто, никто, многомѣстиве, многомилостиве*, между тем как в соответствующих местах нотного текста мы находим те же формы с ерами: *вь·ь·вьвь·саа, вьсеееленѣ·еєєєє·еєєєєи, вьсеееленоуоуоуоу·ѣѣѣ, кѣназлаа, кѣнааазаааа, кѣтооо, нииииикѣѣѣто, мѣноооогооми·иии·и·иило·оостиве, мѣноооогоми·ии·и·иило·оостиве*. В некоторых случаях пропуск ъ или ь может быть представлен и в нотном тексте; существенно, однако, что знак музыкальной нотации при этом стоит, как правило, над буквой согласного – следовательно, еры реально звучали в подобных случаях, тогда как пропуск их представляет собой чисто орфографическое явление (см. подробнее: Успенский, 1973, с. 323–329). Об этом особенно ясно свидетельствует написание местоимения *вьсь* как *всь* (им. ед. муж.), которое встречается как в древнейших памятниках, таких как новгородские Минеи 1095 и 1097 гг., Тип. устав и т.д., так и в более поздних памятниках, написанных после прояснения редуцированных – совершенно очевидно, что в произношении этой формы (как книжном, так и разговорном) ни о каком выпадении гласного в первом слоге не может быть и речи.

7.5.2. Сочетание еров с плавными. Ст-сл. ъ, ь после плавных *р, л* в рус. ц-сл. языке соответствует ъ, ь перед плавными. Таким образом для данной позиции устанавливаются следующие соответствия:

о-сл.	ст-сл.	рус. ц-сл.
СѣꙋС	-рѣ-	-ѣр-
СѣꙋС	-рѣ-	-ѣр-
СѣꙋС	-лѣ-	-ѣл-
СѣꙋС	-лѣ-	

Сочетание *-ѣл-* в рус. ц-сл. языке возможно только в том случае, если перед ѣ стоит шипящий, например, *жѣлтѣ*. Во всех прочих случаях в позиции перед *л* имеет место переход: *ь* → *ѣ*. Это объясняется веляризованным характером [ѣ]; отсюда в живом языке [ѣ] смещался назад и давал [ѣ̣], что и отразилось в рус. ц-сл. орфографии (которая, как будет показано, соотносилась в данном аспекте с фонетикой живого языка).

Итак, ст-сл. написаниям *трѣꙋѣ, сѣꙋрѣѣ* закономерно соответствуют в рус. рукописях написания *тѣꙋꙋѣ, сѣꙋꙋрѣѣ*. Таким образом, орфография рус. рукописей в данном случае подчиняется произношению – книжное произношение в этом аспекте (позиция гласного относительно плавного) не противостоит живому. Это не означает, что в ранних рус. рукописях не встречаются написания ст-сл. (юж-сл.) типа. Такие написания явно восходят к написаниям протогра-

фов и с ослаблением их влияния исчезают. Нет никакого сомнения в том, что такие написания имеют условный орфографический характер. В Изб. 1073 первый писец пишет постоянно *скърб-*, а второй - только *скръб-* (Еленски, 1960, с. 633, 671, 676); очевидно, что это различие относится исключительно к орфографии, а не к произношению. Еще более четкие данные сообщает Тип. устав. XI–XII в., где в ненотном тексте встречаем *несътрълимаго*, а в соответствующем месте нотного текста - *не·е·ее·ъътърлимааааааго* (л. 44–44 об.). Интересно, что в Чуд. пс. XI в., в которой имеется как текст самих псалмов, так и текст толкований к ним, написания с ерами после плавных (т.е. написания юж-сл. типа) встречаются в основном в тексте толкований: переписывая псалмы, которые он, безусловно, знал наизусть, писец в большей степени ориентировался на произношение, чем переписывая толкования, где ему приходилось следить за оригиналом; соответственно, влияние протографа отражается в этом аспекте преимущественно на тексте толкований (Живов, 1984, с. 285). В Стихираре (ЦГАДА, ф. 381, № 152) юж-сл. написания с ерами после плавных довольно последовательно правятся на соответствующие рус. написания, например *мльчаник* правится на *мълчаник* (л. 40 об.), *милосрьдовавъ* на *милосърдовавъ* (л. 43 об.) и т.п.

Вместе с тем, в рус. рукописях можно встретить и другой тип написания на месте о-сл. сочетаний еров с плавными между согласными, а именно написания типа *държава* или *стълъть*. В подобных написаниях можно видеть контаминацию юж-сл. написания и рус. произношения (и написания), т.е.

държава = *држава* x *държава*,

стълъть = *стлъть* x *стълъть*,

и т.п.

Таким образом, для начального этапа следует предположить, что написания с *-ъръ-*, *-ьръ-* и т.п. имеют орфографический характер, причем им соответствует такое же произношение, как и написаниям *-ър-*, *-ьр-* и т.п. Однако эти искусственные написания могут влиять на книжное произношение, и есть указания на то, что подобные формы могли произноситься в соответствии с написанием: в певческих книгах мы встречаем, например, написания *цъьрььькы* и т.п., где повторение буквы определенно указывает на реальное звучание соответствующего гласного. Иногда же, в том случае, когда в певческих книгах встречается более обычное написание типа *вълхвы*, *сърдыце*, над плавным стоит знак музыкальной нотации. Это показывает, что плавные произносились в окружении двух гласных звуков - надо думать, что гласный после плавного был тем же, что и гласный перед плавным, т.е. что соответствующие слова читались как *вълъхвы*, *сърдыце* и т.п. (Успенский, 1973, с. 330–332).

7.5.3. Книжное произношение еров в древнейший период. Особенностью рус. ц-сл. памятников является смешение *ъ*, *ь* с *о*, *е*, а именно появление *о*, *е* на месте *ъ*, *ь* и появление *ъ*, *ь* на месте *о*, *е*. Появление *о*, *е* на месте *ъ*, *ь* наблюдается при этом как в сильной, так и в слабой позиции и, следовательно, не может иметь отношения к процессу прояснения редуцированных в вост-сл. говорах. Смешение *ъ*, *ь*, с *о*, *е* наблюдается при этом в самых ранних рус. рукописях, в период, безусловно предшествующий падению и прояснению редуцированных в разговорном языке. Совершенно очевидно, таким образом, что речь идет не об отражении разговорной фонетики, а о специфически книжном явлении. Есть все основания полагать,

что рассматриваемое явление свидетельствует об особом книжном произношении еров, которое отличалось от разговорного произношения редуцированных.

Следует оговориться, что, обсуждая смешение *ъ*, *ь* с *о*, *е*, мы имеем в виду случаи, характеризующие именно рус. памятники, которые нельзя объяснить влиянием юж-сл. протографов или морфологической аналогией. Поэтому мы сейчас не будем рассматривать флексии тв. ед. -*омь*, -*емь*; флексии дат. мн. (-*ьмъ*, -*емъ*) и местн. мн. (-*ьхъ*, -*ехъ*, -*ѣхъ*), а также чередование этих букв в местоимениях и местоименных наречиях (*чьсо* ~ *чесо*, *къгда* ~ *когда*, *тъгда* ~ *тогда*, *овьгда* ~ *овогда*, *иньгда* ~ *иногда*, *вьсыгда* ~ *вьсегда*), равно как в предлогах-приставках *изъ* ~ *изо*, *възь* ~ *възо* перед /о/.

Так, в Изб. 1073 первый писец пишет только *зълѡб-*, а второй часто пишет *золѡб-* (Еленски, 1960, с. 633, 644). Надо полагать, что книжное произношение у обоих писцов было одним и тем же, но в одном случае оно отражается в написании, тогда как в другом случае писец следует традиционной орфографии. Еще более показательны данные Мин. 1095, где неоднократно встречаются *е*, *о* на месте *ь*, *ъ*. Замена *ь* через *е* встречается здесь как в сильной, так и в слабой позиции: *весе* (= *вьсь*), *жестосерьдымъ*, *не обращено*, *положе* (прич. прош.), *рожены* (тв. мн. от *рожьнъ*), *нѣсенаѣ*, *весесильная*, *весемирная*, *весещедрителя*, *многострастене*, *бѣгвидече*, *словесена*, *ковечегъ*, *ни мече*, *страстотърьпеце*. В других случаях находим обратную замену *е* через *ь*: *ложьснѣхъ*, *извлечъ* (аорист 3 л. ед.), *блгодѣтьль*, *вѣньчь-носъчь*, *вѣньчьносъци*, *вьлю* (= *велию*), *каменьмъ*, *словьсьмъ*. Замена *ъ* через *о* встречается преимущественно в конце слова: *красьно* (им. ед. муж.), *любьзно*, *бо* (= *богъ*), *яко блѣго* и *многомлѣствъ*, *ново же и дивьнъ*, *румо* (вин. ед. - "рим"), *чьрѣтого яко дѣхъвно*, *прѣстола*. Обратная замена *о* через *ъ* встречается в следующих случаях: *крѣльсть*, *снѣдънье* (= *снѣдъное*), *кѣличествомъ*, (Корнеева-Петрулан, 1917, с. 28-30). Такое же смешение обнаруживается и в целом ряде других рукописей, например, в Мин. 1097 (Обнорский, 1924, с. 183-186), в Ефр. кормчей XII в. (Обнорский, 1912, с. 30-35), в ростовском Евангелии МГУ XIII в. (МГУ, 2Ag80 - Князевская, 1973, с. 14-15) и т.д.

Не менее показателен тот факт, что в кондакарях еры при растяжении могут переходить в тянущиеся *о*, *е* и чередоваться с ними. Так, в Благ. кондакаре XII-XIII в. *мѣчѣеенѣникъоомъ* (дат. мн. *мѣченикъмъ*, л. 17), в Лавр. кондакаре XII-XIII в. *ставиль.оъ.ъъ* (*ставиль*, л. 20 об.), *миинииниини.ръ.о.ъъ* (*миръ*, л. 76 об.), *дохъ.ъ.ъ.ъо.ъ.ъ* (*дохъ*, л. 74 об.), *ра.а.аа.жаакътъ.е.е* (*ражакъ*, л. 5 - с повторением последнего слога), в Усп. кондакаре 1207 г. *соушьствъоомъ.ь.ь* (*соушьствъмъ*, л. 43), *рооооооо.ъъдъъ* (*родъ*, л. 165), *въъ.плъъщъеена* (*въплъщъна*, л. 52), *страдальць.е.е.мъ* (*страдальцьмъ*, л. 106 об.), *лаарость.е.еъ* (*дрость*, л. 10 об.), *абикъ.ьъ* (*абикъ*, л. 123 об.), *кеее.ь.ьъьси* (*кси*, л. 123), в Син. кондакаре нач. XIII в. *крѡъъъъъъь.ьъ* (*кровь*, л. 109).

Все эти примеры показывают, что в книжном произношении буквы *ъ* и *о*, а также *ь* и *е* читались одинаково, и что различие их в написании имело чисто орфографическое значение. Это явление было нормой книжного произношения, но его отражение на письме противоречило ц-сл. орфографии, поэтому в книжных памятниках смешение *ъ* и *о*, *ь* и *е* имеет окказиональный характер. Систематический характер приобретает это явление в некнижных текстах. Одинаковое чтение в книжном произношении букв *ъ* и *о*, *ь* и *е* означает, что при обучении азбуке

букву ѣ учили читать так же, как и букву о, а букву ь - так же, как и букву е, т.е. одинаково звучали склады бѣ и бо, бѣ и бе. Таким образом, соответствующие буквы выступали как омофоничные (подобно тому, как в качестве омофоничных букв выступали и и ї). Тем самым, в условиях некнижного письма эти буквы оказывались избыточными: носитель языка, который учился читать, но специально не учился писать (ср. 6.4.2), конвертируя правила чтения в правила письма, мог либо произвольно смешивать омофоничные буквы, либо употреблять какую-нибудь одну из них. Он мог поступать так потому, что ему были безразличны специальные нормы книжного письма. Таким образом, [о] своего разговорного языка такой писец мог передавать буквами о и ѣ, [е] своего разговорного языка он мог передавать буквами е и ь. Звукам [ѣ] и [ь] его разговорного языка при обучении азбуке вообще не находилось соответствия, т.е. эти звуки не соотносились ни с какой буквой. Он знал однако, что в тех формах, где он произносит [ѣ] и [ь], в книжном произношении звучат [о] и [е]. Поэтому для записи [ѣ] и [ь] он употреблял те же буквы, что и для записи [о] и [е]. Таким образом, [ѣ] своего разговорного языка он мог передавать буквами о и ѣ (так же как [о]), [ь] своего разговорного языка - буквами е и ь (так же как [е]). В результате создавались возможности выбора обозначений (например, звуки [е] и [ь] могли обозначаться только буквой е, или только буквой ь, или буквами е и ь в безразличном смешении), все эти случаи представлены в берестяных грамотах, равно как и в ряде других памятников некнижного письма (Зализняк, 1984).

Обратимся к конкретным примерам. Рассмотрим берестяную грамоту № 531 конца XII - нач. XIII в., написанную новгородской смердкой Анной своему брату и содержащую жалобы на несправедливое обвинение, выдвинутое против нее и ее дочери Константином (Константин обвинил Анну и ее дочь в том, что те, пользуясь общим капиталом, давали деньги в рост от себя и без свидетелей и поэтому не делили прибыль с Константином). Вот эта грамота:

"от ане покло ко климате брате господине попецалоуи о моем орудье коснатиноу а ныне извета емоу людем како еси возложило пороукоу на мою сестроу и на дочери еи назовало еси сѣтроу мою коровою и дочери бладею а нынеца Феодо прѣхаво оуслышаво то слово и выгонало сѣтроу мою и хотело потати а нынеца господине брате согадаво со воелавомо молови емоу тако еси возложило то слово тако ко доведи аже ти возмолви коснатино дала роукоу л за зате ты же браце господине молови емо тако оже боудоу люди на мою сѣтроу оже боудоу люди при комо боудоу дала роукоу за зате то те л во vine ты пако брате испываво которое слово звело на ма и пороукоу а боудоу люди на томо тебе не сѣтра а моужеве не жена ты же ма и потени не зера на Феодора и дала моа доци коуны людем с ызветомо а заклада просила и позовало мене во погосто и азо прехала оже оно поехало проце а река тако азо солю д дворано по гривене събра."

Как видим, Анна пользуется следующей системой письма. Она регулярно пишет о как в соответствии с [ѣ], так и в соответствии с [о]. Буква ѣ в этой грамоте вообще не пишется (о причинах этого см. ниже, 7.8), она заменяется буквами ь или е, эти две последние буквы пишутся в безразличном смешении как на месте [ѣ], так и на месте [ь] и [е]. Букву о находим на месте [ѣ] в следующих случаях: ко, моемо, како, возложило, дочери (2 раза),

назовало, коровою, ѿеѡ, прѣхаво, оуслышаво и т.д. Букву *е* на месте [ь] находим в следующих случаях: людьми, дочери, бладею, за зате, те, потени (форма от глагола *потяти* "убить"), зера, людьми, проце, гривене. Букву *ь* на месте [е] наблюдаем в случае: сѣтроу (т.е. *сестроу*, 2 раза).

Так же могут писаться и ц-сл. тексты в условиях невладения книжным письмом. До нас дошла берестяная книжка со стихирами (грамота № 419 конца XIII -нач. XIV в.), в которой находим более или менее те же приемы письма, что и в грамоте № 531. Совершенно очевидно, что эта грамота не списана с книжного текста, а писалась со слуха (возможно, представляет собой запись заученных наизусть текстов). Приведем эту грамоту:

"ѿс хтѣ. ако со бѡмь поцивакмо ѿи благослови бѣъ выцерьналл наша молитвы прими сваты ѿи и подаже намo оставльниѣ грѣхово ако єдино єси авлии во мирь воскресьние обидѣть лоудие сиона и обоимѣть и дадѣть славѣ во немь мь воскресошьмоу и[з] мьртыихо ако тѣ есть бого нашъ избавилии ото бѣзаконии нашихо придѣть лѣдѣе поимо и поклонимася хѡу славащъ кѡ святое воскресение ако то есть бѡ нашъ избавлаа ото безакони нашихо страстию твоею ѡтѣ сстра страстии свободихомo сѧ и воскресеникмь твоимь из истеления избыхѣмо ѿи слава тобѣ..."

Писавший эту грамоту пользовался следующей системой письма. В соответствии со звуком [ъ] он пишет буквы *ъ* и *о*. В соответствии со звуком [о] он пишет те же буквы. Буква *ѣ* в грамоте не пишется, на ее месте стоят *ь* или *е*. Буквы *ь* и *е* пишутся в безразличном смешении на месте [ъ], [е], [ѣ]. Приведем примеры: *ъ* в соответствии с [ъ]: *тѣ*; *о* в соответствии с [ъ]: *со*, *поцивакмо* (ошибка вместо *поцинакмо*), *намo*, *грѣхово*, *єдино*, *во*, *воскресьние* и т.д.; *ъ* в соответствии с [о]: *избыхѣмо*; *е* в соответствии с [ъ]: *подаже*, *истеления*; *ь* в соответствии с [е]: *выцерьналл*, *воскресьние*, *обоимѣть*, *обидѣть*, *дадѣть*, *воскрьсошьмоу* и т.д.

Ц-сл. тексты, однако, обычно писались людьми, владеющими книжным письмом; поэтому последовательное смешение букв *ъ* и *о*, *ь* и *е* наблюдается, как правило, именно в рус. текстах. Подобная система письма представлена, в частности, в списке "А" Смоленской грамоты 1229 г., где безразлично употребляются, с одной стороны, буквы *е*, *ь*, *ѣ*, а с другой стороны, *о* и *ѡ*. Другим примером такого рода может служить приписка XIII в. на Сл. Кир. Иерус. XI-XII в. (ГИМ, Син. 478, л. 271): "книгы: сѣтъ бѣъ : исправль : вѣры : и законоу правому : изложьно кюрильмо архиепискоупомо: на жиды : и на ерѣтики : и на тѣркомьны : а кто сил книгы : чѣтѣ : многу по[ль]зоу приобращѣть и ..." (Горский и Невоструев, II, 2, с. 48). Автор этой приписки - читатель богословских сочинений Кирилла Иерусалимского - был, безусловно, грамотным и образованным человеком; тем не менее, он и не пытается в данном случае следовать ц-сл. орфографии, противопоставляя, тем самым, книжный текст рукописи некнижному тексту приписки.

Как было сказано, некнижные системы письма возникают в силу того, что при обучении грамоте *ъ* и *о*, равно как *ь* и *е*, выступают как омофоничные буквы. Практика такого рода оказывается независимой от падения редуцированных. Действительно, мы находим подобные примеры (хотя лишь в виде единичных случаев) и в грамотах XI в., ср.: *коуно*, род. мн. вместо *коунѣ* в берестяной грамоте № 526. Такие системы записи были широко распространены

вплоть до нач. XIV в., когда они начинают вытесняться системой записи, не отличающейся по употреблению букв *ъ, ъ, о, е* от книжного письма позднего др-рус. периода. Нужно думать, что этот процесс связан с изменением системы обучения грамоте, когда после падения и прояснения редуцированных букв *ъ* и *ь* в книжном произношении стало придаваться иное фонетическое значение, чем буквам *о* и *е*, – *о* и *ъ*, *е* и *ь* перестают быть омофоничными буквами, что и отражается на системах некнижного письма (см. 7.5.5).

Совокупность приведенных фактов указывает на то, что в книжном произношении буквы *ъ* и *ь* читались как [о] и [е], т.е. так же, как читались буквы *о* и *е*. Эта традиция книжного произношения отразилась в так называемом "хомовом" или "наонном" пении, которое сохраняется до наших дней у старообрядцев-беспоповцев; соответствующее явление носит название "хомония". Сохранение этого произношения в пении обусловлено консервативностью церковных распевов – когда после падения редуцированных в чтении сократилось количество слогов, певческая традиция, в которой сокращение слогов привело бы к искажению мелодии, разошлась с традицией чтения. В певческой традиции законсервировалось старое книжное произношение еров, т.е. поется *носимо* вместо *носимъ*, *есте* вместо *есть*, *сопасо* вместо *съпасъ* и т.д. Следует оговориться, что произношение [о], [е] на месте старых еров зависит от конкретного распева, т.е. в одних случаях поется *денесе*, в других *денесь*, а в третьих *днесь* и т.п. Сохранение этой певческой традиции оказалось возможным потому, что в певческих текстах была в свое время изменена система записи. Когда изменилась система книжного произношения и буквы *ъ* и *ь* перестали учить читать как [о] и [е], певческие книги были переписаны, и там, где звучали [о] и [е], стали последовательно писаться буквы *о* и *е*, т.е. появились записи типа *денесе*, *сопасо* и т.д. Такую запись наблюдаем уже в Буслаевском стихираре конца XIV в.: "Иже на горѣ фаворестѣ преобрази во славу христе боже показаво оученикомъ своимъ славу своего божества освѣти нас о свѣтѣ твоего видѣниа и направи на стезю заповѣди твоихъ яко едино благо і человекѣлюбче" (ГПБ, О.І.418, л. 117 – Каринский, 1911, с. 113). Таким образом, с падением и прояснением редуцированных в рус. разговорном языке, которое с известным запозданием отразилось на книжном произношении, хомония в певческих текстах начинает регулярно передаваться орфографически, т.е. то произношение, которое раньше скрывалось за буквами *ъ* и *ь*, начинает эксплицитно передаваться буквами *о* и *е*.

Хомовым данное пение называется потому, что окончание аориста 1 л. мн. – *хомъ*, часто встречающееся в церковных текстах, звучит в этих условиях как –*хомо*. Так, ирмос седьмой песни Великого канона поется в хомовой огласовке следующим образом: "Согрѣшихомо и беззаконовахомо не оправдихомо предо тобою, ни соблюдохомо, ни сотворихомо яже заповѣда нам о, но не предадеже нас о до конца отеческыи бже". Это пение называется также наонным, поскольку вместо ера произносится буква "он" (о).

Хомония в орфографии певческих текстов сохранялась до сер. XVII в., когда специальной комиссией была произведена правка певческих книг и было введено так называемое наречное пение, при котором произношение певческих текстов не отличается от произношения текстов для чтения (стали петь "на речь" т.е. как читают). Эта форма совпала по времени с расколом рус. церкви, поэтому часть старообрядцев, а именно старообрядцы-поповцы, приняла наречное пение, тогда как другая часть, а именно старообрядцы-беспоповцы, продолжала петь по-старому; позднее (с конца XVIII в.) и некоторые беспоповцы переходят на наречное пение (Успенский, 1968,

с. 61–65). Необходимо подчеркнуть, что хомовое пение сохранялось как в церковной традиции Моск. Руси, так и в традиции Ю.-З. Руси. То обстоятельство, что оно представлено в обеих традициях, указывает что книжное произношение *ъ* как [o], *ь* как [e] имело в свое время повсеместный характер.

Отражение хомонии может наблюдаться и в церковном чтении, хотя и не столь последовательно, как в пении. Тем не менее, это особенно показательно, поскольку в чтении – в отличие от пения – это никак не связано с написанием соответствующих форм. Так, из переписки протопопа Аввакума мы узнаем, что некий чернец Игнатий не только выпевает по нотным книгам, но иногда "и по печати говорит" не "на речь", выкрикивая, например, *преславенная денесе* (РИБ, XXXIX, стлб. 857). В грамматическом сочинении "Сила существу книжнаго писма" осуждаются те, которые "пишут и говорят: *рожешую, рождешую*, без добра съ естемъ или добро полагают на верху. но ты же пиши съ еремъ, поставляя добро в срединѣ, сице: *рождшую*" (Ягич, 1896, с. 425, примеч. 4). Итак, речь здесь идет о том, что некоторые произносят [e] на месте *ь*, что с точки зрения автора данного сочинения является нарушением нормы.

Такое произношение проявлялось в XVII в. в чтении предлогов и приставок, имеющих конечный *ъ*. Так, в славяно-греч. букваре конца XVII–нач. XVIII в. говорится: "*ъ* писма припряногласное в' предлозѣхъ съчиняемо нѣкогда гласнаго писмене о гласъ приѣмлетъ. Пишется убо *къ*, съ яко *къ* ^сгдѣ, *къ* ^схртѣ, глется же *ко*, *со*, яко *ко* ^сгдѣ, *ко* ^схртѣ. Пишется с' ^двлкою, с' ^схртомъ. глется *со* ^двлкою, *со* ^схрто^м" (ГПБ, Соф. 1208, лл. 61 об.-62). Здесь же указывается, что подобное явление, т.е. чтение буквы *ъ* как *о*, не имеет места во фразах типа *въ дѣло*, *в' лѣто*, *в нѣдро*, *в рѣкахъ*; нетрудно заключить, что данное явление было свойственно именно церковному произношению и не распространялось на фразы, которые выходили за рамки литургического контекста. Чтение буквы *ъ* как *о* в приставках и предлогахъ *съ*, *въ*, *къ* сохранялось в церковном произношении униатов (Огиенко, 1927, с. 178). По-видимому, соответствующее произношение было характерно для Ю.-З. Руси. Так, в грамматике Смотрицкого неоднократно указывается, что написание предлогов с "ериком" (надстрочным значком, заменяющим букву *ъ*) типа *в'*, *к'*, *с'* и т.п. соответствует в произношении формам *во*, *ко*, *со* (Смотрицкий, 1619, л. Б/6 об., Ы/7 об.; Смотрицкий, 1648, л. 63–63 об., 345 об.). Это правило распространялось, надо думать, и на приставку *въз-*, которая читалась как *воз-*. Не исключено, что цитированное предписание букваря конца XVII–нач. XVIII в. объясняется именно ю-з-рус. влиянием.

Наконец, в церковном чтении старообрядцев-беспоповцев мы до сих пор наблюдаем последовательное произношение слов "сердце", "солнце" с [e] на месте бывшего слабого *ь*; на такое произношение обращается специальное внимание, т.е. произнесение их как *сердце*, *солнце*, а не как *сердеце*, *солнеце*, считается неправильным (Успенский, 1968, с. 48–50). Поскольку эти слова, как правило, пишутся под титулом, подобное произношение опирается на устную традицию. Так же произносится старообрядцами и имя *Предотеца* ("Предтеча"), которое также писалось под титулом (отметим, что такое произношение было принято и в Ю.-З. Руси: оно зафиксировано в первом издании грамматики Смотрицкого, 1619, л. Е/7).

Источник подобной манеры чтения, т.е. искусственного церковного произношения еров как [o], [e] – произношение юж-сл. книжников, осмысленное и модифицированное на рус.

почве. Шахматов усматривает этот источник в произношении тех южных славян, в языке которых совершилось уже падение и прояснение редуцированных до того, как это произошло в рус. говорах; в результате этого произнесение еров как [o], [e] было воспринято русскими как специфический признак литургического произношения и, соответственно, вообще распространено на все случаи, поскольку до падения редуцированных в рус. говорах сам принцип различения сильных и слабых еров оставался для рус. книжников совершенно непонятным. "Прямим результатом этого, - говорит Шахматов (1941, с. 82), - явилось то, что при чтении церковных книг русские люди стали произносить букву ѣ как о, букву ь как е, не справляясь, конечно, с тем, сильные ли эти ѣ, ь в живом русском произношении, или слабые" (ср. также Шахматов, 1915, § 344).

7.5.4. Правила, определяющие написание еров. Как мы видели, отражение на письме книжного произношения еров как [o] и [e] последовательно наблюдается лишь в текстах не-книжных. В книжных текстах оно встречается только спорадически. Очевидно, что орфография в данном случае расходилась с книжным произношением, т.е. в орфографическую норму входило правописание еров, совпадающее с этимологией. Чтобы выполнить эту норму, писец должен был при написании еров обращаться к своему разговорному произношению, т.е. "руководиться правилом писать ѣ и ь там, где в соответствующих словах и формах русской живой речи слышались звуки [ѣ] и [ь], а о и е там, где слышались звуки [o] и [e]" (Дурново, 1933, с. 64).

Такое правило обеспечивало в абсолютном большинстве случаев этимологически верное написание еров. Отступления наблюдаются лишь в специфически книжных словах, которых не было в живых русских говорах. Так, например, русские писцы часто пишут *оуповати*, поскольку соответствующей основы (*оупѣва-*) не было в говорах, т.е. писцы не могли исходить в данном случае из разговорного произношения.

Императивный характер данной орфографической нормы - запрещающий отражение на письме книжного произношения, т.е. смешение букв ѣ и о, ь и е - особенно наглядно проявляется в случаях исправлений тех написаний, где допущено такое смешение. Так, в Мин. 1095 в целом ряде случаев конечное о на месте ѣ исправляется на ѣ, например, *изволенъ*, *ковъчегъ*, *хѣвъ*, *вѣрънь*, *подвигомъ*, *слоугъ*, *вѣсакъ*, *цвѣтъ*, *нѣкакъ*, *разоумъ*, *дивьнь*, *имамъ*, *моукъ*, *цѣль*, *быль*, *гломъ*, *нетѣльньнь* (Корнеева-Петрулан, 1917, с. 30). Такие исправления, хотя и менее многочисленные (потому что смешение еров с о и е представлено здесь не так часто, как в Мин. 1095), находим в Стихираре XII в. (ГИМ, Син. 279); здесь имеется ряд случаев исправления о на ѣ в окончаниях тв. ед., а именно: *богъмъ* (л. 58), *кстьствъмъ* (л. 100), *млекъмъ* (л. 115 об.), *поспѣшьствъмъ* (л. 121 об.), *оубииствъмъ* (л. 156); в форме тв. ед. *путьмъ* (л. 68 об.) первый ерь исправлен, видимо, из е; есть и ряд других исправлений: *пророкъмъ* л. 13 (дат. мн., первый ѣ исправлен из о, причем правильное написание изменяется в неправильное), *спласеник* л. 41, *миръви* л. 49 (дат. ед.; неясно, правился ли о в ѣ или ѣ в о) (Живов, 1984, с. 287). Примеры таких исправлений можно привести и из ряда других древних рукописей. Так, в октябрьской Минее XII в. (ГИМ, Син. 160) конечное о правится на ѣ в словах *разоумъ* (л. 10), *бѣсъ* (род. мн., л. 55), *благъ* (род. мн., л. 144 об.), *богъ* (л. 86 об.), *славьнь*

(л. 198); *о* правится здесь на *ъ* и в окончании тв. падежа в форме *высокъмъ* (л. 23), в предложении *къ* (л. 161 об.), в форме *любъве* (род. ед., л. 36). В ноябрьской Минее из того же комплекта (ГИМ, Син. 161) исправление *о* на *ъ* находим в слове *гръзны* (л. 167), а также в форме *доухъмъ* (л. 184); в декабрьской Минее (ГИМ, Син. 162) конечное *о* правится на *ъ* в словах *младъ* (л. 172), *живъ* (л. 203 об.), *богъ* (л. 267, 267 об.).

После падения и прояснения редуцированных (эти процессы, возможно, не были одновременными), когда редуцированные начинают исчезать из пассивной памяти носителей языка (XII в.), писцы теряют возможность писать в соответствии с книжной нормой, исходя из своего живого, разговорного произношения. Тем не менее, различие *ъ* и *о*, *ь* и *е* остается обязательным для писцов; на это указывает достаточно регулярное исправление *о* на *ъ* в окончаниях тв. ед. (*страхомъ* на *страхъмъ* и т.п.), а также *кровокъ* на *кроткъ* в Выголекс. сб. конца XII в. (Судник, 1963, с. 196; Голышенко, 1977, с. 28); ср. 7.12.1. Указанная норма перестает поддерживаться лишь в сер. XIII в., когда начинается формирование позднерусской книжной орфографии, отражающей в своих нормах падение и прояснение редуцированных.

7.5.5. Написание и произношение еров после падения и прояснения редуцированных.

До падения редуцированных писец знал, что он должен писать *ъ* и *ь* там, где он произносит [ъ], [ь], при том что по нормам книжного произношения эти буквы читались как [о], [е]. После падения редуцированных изменились исходные рус. формы. Там, где редуцированные прояснились в его живой речи, писец произносил [о], [е], и, соответственно, писал *о*, *е*. Там, где редуцированные пали в его живой речи, он не произносил никакого звука и, соответственно, не писал никакой буквы (за исключением еров на конце слова, которые в условиях слитного письма выполняли разделительную функцию). В обоих случаях механизм пересчета рус. форм в ц-сл. формы не меняется.

Процесс падения и прояснения редуцированных в живых рус. говорах, отразившись на ц-сл. правописании, в конечном счете обуславливает и изменение книжного произношения: в результате этого процесса исчезает традиция чтения еров как [о] и [е].

Как это происходит? Процесс падения и прояснения редуцированных на первых порах неминуемо приводил к разнобою в написании, которое по идее должно было воспроизводиться в книжном произношении при чтении соответствующих текстов (постольку, поскольку книжное произношение в принципе ориентировано вообще на написание, представляя собой побуквенную систему чтения, см. 4.2). При ориентации на написание одни и те же слова должны были по-разному произноситься (даже в пределах одного текста). Поскольку книжное произношение, будучи связано с богослужением, предполагало единообразие (см. 6.3), такой разнобой в произношении оказывался недопустимым. Разнообразие в орфографии, вообще говоря, имело место и раньше, однако оно в принципе было допустимо лишь постольку, поскольку относилось к написанию омофоничных букв или фонетически тождественных форм: в этом случае разнобой в написании не мог сказываться на книжном произношении (при чтении текста). Теперь же колебания такого рода должны отражаться на произношении. Это обуславливает необходимость преобразования обучения грамоте и в первую очередь изменение произношения еров. В

результате буквы ъ и ь перестают читаться как [o] и [e], т.е. прекращается обучение произношению такого рода. Это происходит, по-видимому, не ранее XIV в.

При этом в книжном произношении наблюдается отчетливая тенденция избегать позиционного изменения звуков, вызванного падением редуцированных в живой речи, а именно ассимиляции согласных в консонантных стыках и оглушения звонких согласных на конце слова. Противодействие ассимиляционным процессам в книжном произношении обуславливает появление разделяющего гласного призвука. В этих условиях написание еров приобретает новую фонетическую функцию: еры пишутся теперь для того, чтобы избежать позиционного изменения согласных; одновременно буквы ъ и ь обозначают твердость и мягкость предшествующего согласного. Соответственно, с определенного времени буквы ъ и ь начинают читаться как редуцированные звуки (гласные призвуки типа шва), которые, возможно, совпадают по звучанию с бывшими редуцированными живой рус. речи. Традиция такого произношения до сего дня сохраняется в церковном чтении старообрядцев-беспоповцев: в процессе обучения грамоте при прохождении складов в букваре старообрядцы учились (отчасти учатся и теперь) читать сочетания согласных с ъ или ь (типа бѣ, вѣ., бѣ, вѣ... или брѣ., брѣ... и т.п.) как самостоятельные звуковые сочетания, в принципе равноправные любому другому сочетанию, образующему "склад", т.е. слог (типа ба, ва..., бра, вра...) (Успенский, 1968, с. 36–39; Успенский, 1970, с. 91; Успенский, 1971, с. 16–17). Старообрядцы сохраняют традицию книжного произношения Моск. Руси, восходящую в этом отношении к эпохе падения редуцированных; отметим, что в книжном произношении Ю.-З. Руси еры в принципе не читались, т.е. имели чисто орфографическое значение (см. 13.4).

Стремление избежать позиционного изменения звуков, вызванного падением редуцированных в живой речи, в некоторых случаях может способствовать сохранению старого книжного произношения, которое отражает в конечном счете чтение еров в древнейший период. Это сказалось на произношении (а в дальнейшем и на написании) суффиксов -ѣств- и -ѣск- в позиции после шипящих или после сочетания согласных (т.е. в таких, например, словах, как *пророчество*, *пророческий* и т.п.). После того, как слабые редуцированные были утрачены в живом языке, писцы, исходя из своего разговорного произношения, могли не писать в этих суффиксах букву ь; в результате на морфемных швах образовывались - в указанных позициях - сложные для произношения консонантные группы, что приводило к ассимиляционным изменениям и прежде всего к упрощению такого рода групп. Подобные изменения были недопустимы в книжном произношении, и это заставляло обращать особое внимание как на написание, так и на произношение данных суффиксов. Писцы были особенно внимательны к тому, чтобы в указанных позициях в этих суффиксах писалась буква ь: в противном случае при чтении искажался фонетический облик слова. До реформы книжного произношения (когда буквы ъ и ь стали читаться как гласные призвуки) эта буква закономерно читалась при этом как [e]; вместе с тем, отталкивание от разговорного произношения способствовало сохранению в этих условиях старой произносительной нормы и в последующее время - таким образом, эти суффиксы продолжали произноситься (в указанных позициях) с [e] на месте этимологического *ъ и после того, как буква ь стала читаться как разделительный гласный призвук. В самом деле, в позиции после шипя-

шего, а также в позиции после сочетания согласных этот призвук должен был произноситься особенно тщательно - для того, чтобы он был слышен (чтобы он звучал как разделительный гласный), его необходимо произнести с некоторым протяжением, и в результате он приближается по своему звучанию к гласному полного образования, который легко может ассоциироваться с гласным [e]. Речь идет, таким образом, об утрированном произношении - подобное произношение имеет место и сегодня, когда, например, москвичи гиперкорректным образом произносят "*Калужское шоссе*" (вместо *Калужское*).

Старые написания с ерами (не в конце слова) могут окказионально всплывать в более поздних текстах, написанных много веков спустя после того, как завершились описанные здесь процессы. Такие формы можно встретить в рукописях XVI-XVII вв. и в старопечатных книгах. Так, например, в житии Михаила Клопского по рукописи 1552-1554 гг. мы неоднократно встречаем написание *дньсь* (Дмитриев, 1958, с. 143, 151, 152) наряду с *днесь*. В посланиях митр. Даниила по рукописи 1561-1568 гг. слово "сон" записывается как *сънъ* (Дружинин, 1909, с. 102). Такие примеры легко умножить. Эти написания объясняются влиянием др-рус. орфографии: начитанные в др-рус. рукописях писцы могли окказионально употреблять заимствуемые оттуда формы как специфически книжные орфограммы.

Итак, книжное произношение еров изменилось. Тем самым, чтение букв ъ и о, ь и е стало различным. Для того чтобы обозначить [o], нужно было теперь написать о, для того чтобы обозначить [e] нужно было написать е. Это отразилось на орфографии певческих рукописей. Поскольку в пении сохранялась традиция старого произношения, т.е. на месте этимологических еров звучали [o] и [e], они стали теперь записываться с помощью букв о и е, т.е. появились написания *сопасо*, *денесе* и т.д. (см. выше, 7.5.3). Вместе с тем изменилось обучение чтению, т.е. стали по-разному учить читать буквы ъ и о, ь и е, они перестали выступать как омофоничные буквы. Соответственно, сходят на нет (с XIV в.) старые системы не-книжного письма, в которых ъ и о, ь и е выступают как эквивалентные способы обозначения.

Равным образом с помощью букв о и е начинают передаваться - рано или поздно - те грамматические показатели, в которых отражается старое книжное произношение, а именно префиксы *съ-*, *въз-* могут записываться теперь как *со-*, *воз-*, суффиксы *-ьств-*, *-ьск-* - как *-еств-*, *-еск-*, т.е. появляются такие написания, как *соборъ*, *воздати*, *пророчество*, *пророческій* и т.п.

Отметим, что если отражение старого книжного произношения еров в грамматических показателях представляет собой относительно нередкое явление, то в корнях это произношение практически не отражается: [o] или [e] на месте слабых *ъ или *ь наблюдается в корнях, как правило, лишь тогда, когда прояснение слабого редуцированного имеет место и в разговорном языке, т.е. в таких словах, как *волити*, *соты*, *доска*, *чести* (род.-дат.-местн. ед.) - речь идет в подобных случаях не об отражении специальной традиции книжного произношения, а об адаптации произношения разговорного, которое в данном случае не противопоставляется книжному. Различие между корнями и грамматическими показателями предстает при этом весьма отчетливо: оно, несомненно, свидетельствует о том, что отражение старого книжного произношения еров было связано с определенным грамматическим осмыслением. В период перестройки книжных норм, обусловленной падением редуцированных в живом рус. языке, книжники отталкивались, по-видимому, от разговорного произношения и пытались сохранить фонетический облик слова; однако это оказывалось возможным не везде, а лишь в определенных грамматических показателях, произношение которых не представляло трудностей для усвоения.

Ц-сл. формы с [о] или [е] на месте слабого *ъ или *ь в ряде случаев проникают (в качестве заимствований) в рус. язык; они могут сосуществовать здесь с коррелянтными рус. формами, отражающими падение слабого редуцированного. Ц-сл. происхождение форм такого рода проявляется в их стилистике и семантике. Так, если формы типа *восстал*, *сокрыл* и т.п. только стилистически противопоставлены в современном рус. языке формам *встал*, *скрыл* и т.п., то в других случаях произошла дифференциация значений (ср., например: *содержать* - *сдержать*, *сохранить* - *схоронить*, *собор* - *сбор*, *воздух* - диалектное *вздух*) или полное проникновение ц-сл. формы в рус. язык (ср. *соблазн*, *восторг*, *восток*, *соблюдать*, *союз*, *вопить* и т.п.). Очевидно, что подобные случаи отражают различные этапы взаимодействия ц-сл. и рус. языков. Любопытно, что в таких парах, как *совершить* - *свершить*, *собирать* - *сбирать* рус. форма парадоксальным образом воспринимается как более архаическая (книжная). Ср. еще такие пары, как *греческий* - *грецкий*, *купеческий* - *купецкий*, *молодеческий* - *молодецкий*, *мужеский* - *мужской* и т.п.; соответственно, такие формы, как *тысяцкий*, *немецкий*, *волжский* являются чисто рус. образованиями, тогда как *человеческий*, *вражеский*, *княжеский* представляют собой славянизмы.

Частным случаем указанной дифференциации значений является то, что приставка *съ-/со-* в ц-сл. языке обладает другим набором значений, чем в рус. языке, и это проявляется в позднейшем противопоставлении славянизмов и русизмов (внутри рус. языка). Именно, ц-сл. приставка *съ-/со-* обладает значением совместности, которое отсутствует у рус. приставки *с-*, ср. такие славянизмы, как *собеседовать*, *соболезновать*, *соединять*, *соровование*, *сообщество*, *сотрудник*, а также такие новообразования, построенные по ц-сл. модели, как *сопереживать*, *сотворчество*, *соавторство* и т.п. (Улуханов, 1972, с. 40-41).

В XVIII в. предлоги *во*, *со*, *ко* становятся принадлежностью высокого стиля, что, видимо объясняется связью с ю-з-рус. традицией чтения предлогов *въ*, *съ*, *къ* как *во*, *со*, *ко* (см. 7.5.3). Сумароков специально указывает, что лучше говорить "*во глубинѣ*, а не *въ глубинѣ*; лутче *во Италиі*, нежели *въ Италиі*; лутче *во Ерусалимѣ*, нежели *въ Ерусалимѣ*" (Сумароков, X, с. 43).

7.6. Книжное произношение *г*. Особенностью рус. книжного произношения является фриктивное произношение буквы *г* как [γ]. Это произношение отличается от юж-сл. произношения этой буквы как смычного [g]. Есть основания полагать, что такая манера чтения характеризует уже начальный этап рус. книжной традиции.

Смычный или фриктивный характер звонкого заднеязычного является, по-видимому, одной из древнейших диалектных черт, противопоставлявших северные и южные вост-сл. говоры (Хабургаев, 1980, с. 87). Книжное произношение *г* как фриктивного на южной территории возникло в результате адаптации ц-сл. орфоэпии к фонетике живого языка. Таким образом, на юге Киевской Руси книжное и живое произношение не были противопоставлены по данному признаку. Видимо, уже в древнейший период такое книжное произношение распространилось и на всю остальную территорию Киевской Руси, при этом на севере оно оказывалось противопоставленным живому произношению. По словам А. А. Шахматова, "усваивая себе церковнославянское произношение, новгородское духовенство подражало при этом киевскому" (Шахматов, 1941, с. 91). Таким образом южнорус. манера чтения воспринималась в северной Руси как специфически книжная.

Естественно, что фрикативное или взрывное произношение *г* не может непосредственно отражаться в орфографии ц-сл. текстов: каким бы ни было произношение, между буквой *г* и соответствующим звуком ([*γ*] или [*g*]) устанавливается однозначная корреляция. В написании реальный характер произношения *г* может отражаться только в виде спорадических ошибок. Ошибки здесь могут быть двух типов: либо смешение буквы *г* с *х* (или реже с другой буквой, обозначающей фрикативный), либо опущение буквы *г*.

Спорадическое смешение *г* и *х*, обнаруживающее фрикативное произношение *г* наблюдается в ряде древнейших рус. ц-сл. рукописей. Так, в частности, в Изб. 1073 находим *кѣнїхъ-чии* (л. 232в) наряду с *кѣнигъчии* (там же) и *кѣнигъчии* (л. 199а) (ср., впрочем, форму *кних-чии* в Супр. рукописи, с. 135), в Сл. Гр. Бог. XI в. *ходъ* вместо *годъ* (л. 146б), *слоугъ* вместо *слоухъ* (л. 336а), ср. еще *врѣхомъ* вместо *грѣхомъ* в Леств. XII в. (л. 127). Правда, поскольку все перечисленные памятники не имеют северных черт, т.е. могут рассматриваться как южнорусские, смешение *г* и *х* в них может объясняться и как отражение разговорного произношения. Аналогичные написания, однако, встречаются и в рукописях северного происхождения. Так, в Студ. уставе XII в., обнаруживающем черты новгородского происхождения (в нем отражается цоканье и встречаются написания с *жг* - Дурново, IV, с. 84), находим *хроушѣ* вместо *гроушѣ* (л. 208). В Кондакаре ОИДР XII в. находим *сыграни* вместо *сыхрани* (л. 4 об.); этот кондакаръ относят к северо-западной территории (в нем отражается цоканье и смешиваются *оу* и *в* - Тихомиров, II, с. 134), где современное диалектное произношение дает [*γ*]; следует полагать, однако, что в XII в. здесь имело место произношение [*g*], которое позднее было вытеснено фрикативным произношением (Хабургаев, 1980, с. 87, 118). В ростово-суздальских, как полагают, Пандектах Никона Черногорца XIV в. (ГБЛ, ф. 304, № 14) имеем *грѣговнѣм* вместо *грѣховнѣм* (л. 158). Вместе с тем в великорус. рукописях XV-XVII вв. встречаем частое написание *хрѣх-* (Виноградов, 1923, с. 285; Пруссак, 1915, с. 45; Котков, 1974, с. 175; Винокур, 1959, с. 59; Панченко, 1973, с. 204).

О фонетической значимости смешения букв *г* и *х* свидетельствуют современные малограмотные записи, принадлежащие носителям диалектов с [*γ*], такие как *холова* ("голова"), *хордо* ("гордо") или *грамавой* ("храмовый") (Чернышев, 1898, с. 223). Отметим еще любопытную опisku в письме А. М. Дмитриева-Мамонова к Екатерине II от 5.VI.1790 г.: "Да дасть... вергъ надъ врагами Вашими..." (Грот, 1911, с. 5).

О фрикативном произношении *г* может свидетельствовать и пропуск этой буквы. Оставляя в стороне примеры относительно непоказательные, которые могут получать особую интерпретацию или объясняться простой опiskой (ср. в Изб. 1073 *бо* вместо *богъ*, л. 50; в Изб. 1076 *сырѣшж* вместо *сыгрѣшж*, л. 1 об.; в Леств. XII в. *оумачи* вместо *оумагчи*, л. 45, *оумачиша* вместо *оумагчиша*, л. 83, *оумачено* вместо *оумагчено*, л. 116 об.; *овѣда* вместо *овѣгда*, л. 45; в формах *оумачи* и *овѣда* буква *г* приписана позднейшей рукой - Владимиров, 1899, с. 104), отметим достаточно часто встречающиеся написания *осподь*, *осподарь*, *осподин* и т.п. Особенно показательны подобные формы в текстах великорус. происхождения, например, в относящейся к XIII в. части Новгородской летописи по синодальному списку, ср. также форму *осподыни* в новгородской берестяной грамоте № 112, XIII в., так же как и в берестяных грамотах XIV-XV вв. (например, грамоты № 17, 22, 23, 31, 413, 446, 465, 466, 469,

494, 496, 519); аналогичные формы встречаются и в пергаменных новгородских грамотах XIV в. (Шахматов, 1885–1895, с. 166), равно как и в псковских текстах (там же; Каринский, 1909, с. 86). Подобные формы обусловлены потерей фрикативного звука, свойственного ц-сл. орфоэпии, причем не исключено, что само отсутствие звука могло приобретать своего рода гиперкорректный характер и определять таким образом особую манеру книжного произношения соответствующих форм в XIV–XV вв. В этом плане может трактоваться сообщение IV Новгородской летописи под 1476 г.: "Той же зимы нѣкоторые философов начаша пѣти: *О Господи помилуй*, а друзѣи: *Осподи помилуй*" (ПСРЛ, IV, 1848, с. 130).

В этой связи представляют интерес тайнописные передачи слова "Осподи" в записях на книгах XV в. Ср. запись на Минее XV в. собр. Троице-Сергиевой Лавры *Олноци Илуле*, т.е. "Осподи Исусе" (Иларий и Арсений, II, с. 178, № 546), или запись на Минее XV в. собр. Архангельского собора *Олноци по(ро)фи*, т.е. "Осподи помози" (Сперанский, 1981, с. 327). Если форму *Осподи* надо рассматривать в качестве транскрипции реального (по всей видимости, книжного) произношения, то цитированные тайнописные формы представляют собой результат транслитерации этой транскрипции – и то обстоятельство, что данные формы при этом сохранялись (пройдя, так сказать, через двойную трансформацию), свидетельствует о том, что они должны были восприниматься как нормальные.

О фонетической значимости опущения буквы *г* свидетельствуют при этом малограмотные написания типа *орох* ("горох"), *олова* ("голова"), *уляти* ("гуляти") в украинской диалектной среде (Тимошенко, 1954, с. 69).

Помимо написаний древних рукописей, о фрикативном характере *г* в книжном произношении свидетельствует традиция транслитерации иностранных слов, при которой латинская буква *h* передается через *г*. Такой способ передачи несомненно объясняется тем, что при обучении азбуке букву *г* учили читать как фрикативный звук. Соответственно, акустически сходный звук [h] иноязычной речи закономерно передается буквой *г*. Наиболее ранний пример такого рода представлен в новгородской берестяной грамоте № 2 (XIV–XV вв.), где финское название *Huhmar* передается как *гугморо* (Кипарский, 1959, с. 87 сл.). Традиция такой передачи иноязычного *h* дошла до наших дней; такая традиция характерна для транслитерации, тогда как транскрипция тех же слов может передавать реальное произношение, и это отражает разницу между книжными и некнижными заимствованиями (такими, например, как *Гамбург* и *Амбург*). Установившаяся таким образом корреляция между лат. *h* и рус. *г* в настоящее время является уже автоматической и не зависит от произношения соответствующих имен рус. речи, ср. Гейне, Голландия, Герман Гессе и т. д.

Указания на фрикативное произношение *г* содержатся и в грамматических сочинениях XVI в., где приводятся параллельные ряды так называемых "сходительных" согласных, т.е. согласных, противопоставленных по звонкости-глухости, причем коррелятом к *г* здесь выступает *х*, а не *к*: пара *г* – *х* приводится наряду с парами *б* – *п*, *в* – *ф* (ϕ), *д* – *т*, *ж* – *ш*, *з* (*ѕ*) – *с* (Ягич, 1896, с. 371). В одном грамматическом сочинении XVI в. специально подчеркивается, что ц-сл. букве (т.е. звуку) *глаголь* соответствует у греков "кгамма, понеже во грѣцех глаголя нѣсть" (Ягич, 1896, с. 409; Петровский, 1888, с. 15); ясно, что речь идет о соответствии ц-сл. фрикативного [ɣ] и греч. взрывного [g]. О том, что в рус. языке, как и в чешском, *г* произносится как *h* свидетельствует в XVI в. и Герберштейн, имея при этом в виду, надо думать, книжное произношение (Исаченко, 1957, с. 342). Такое произношение прослеживается

у него в частности в транскрипции собственных имен. Герберштейн основывается при этом на тексте летописи, которая ему читалась вслух книжником или толмачом, причем, чтение основывалось на нормах книжного произношения (Исаченко, 1975, с. 108; ср. выше о принадлежности летописей к ц-сл. традиции, 5.2.1); даже если летописи переводились для Герберштейна, собственные имена звучали в ц-сл. произношении.

Отметим еще несколько любопытных фактов, которые так или иначе указывают на фрикативное произношение *г*. В акростишном каноне Феодосию Печерскому, относящемся еще к дотатарскому времени, читается форма *Хригоров* вместо *Григоров* (Чижевский, 1970, с. 103). Фрикативное произношение *г* отражается и в передаче имени св. Глеба в виде формы *Хлѣбъ* в юж-сл. памятниках. Надо полагать, что имена свв. Бориса и Глеба, которые появляются в юж-сл. месяцесловах в XIII в. (может быть, после специального канонического акта - см. Мошин, 1963, с. 80), осознавались как имена рус. святых, в связи с чем в юж-сл. текстах и могло передаваться специфически рус. (возможно, именно церковное) звучание последнего имени (см. примеры из текстов XIV в. у Яцимирского, 1916, с. 195-199; Лаврова, 1928, с. 40-41). Константин Костенечский (XV в.) специально указывает, что русские произносят *хосподине* (Ягич, 1896, с. 109, 90-91), однако он может иметь в виду южнорус. произношение. Вместе с тем в старопольском языке зафиксировано слово *boхуs* в значении "хлеб", что предполагает ассоциацию *Глѣбъ* - *хлѣбъ*. Характерно, что в Белоруссии черный хлеб может называться *борис*, а белый - *глеб* (Снегирев, I, с. 212).

Фрикативное произношение *г* сохранялось в церковном чтении до нач. XX в., когда в семинариях стали учить читать *г* как [g], видимо, воспринимая старую манеру чтения как провинциальную (украинскую); у старообрядцев такое произношение сохраняется до сего дня (Успенский, 1968, с. 40-43; Успенский, 1971, с. 15-16). В XVIII в.-первой пол. XIX в. такое произношение было обязательным в высоком стиле (см. Успенский, 1973а). Остатком такого произношения является фрикативный на месте *г* в словах *Бог*, *Господь*, *благо*, *богатый*.

7.7. Палатальные сонорные. Для дальнейшего изложения необходимо остановиться на судьбе палатальных сонорных, хотя различия между ст-сл. и рус. ц-сл. языками в этом аспекте довольно незначительны. Следует сразу же предупредить против смешения палатальных и палатализованных согласных, поскольку они часто смешиваются в литературе: палатальность является признаком места образования (среднеязычные согласные), тогда как палатализованность является признаком окраски - или, в иной терминологии, дополнительной артикуляции (Трубецкой, 1960, с. 151 сл.), - а именно *i*-окраски. В современных славянских языках может иметь место фонологическое противопоставление как палатальных и непалатальных согласных (сербский, словацкий), так и палатализованных и непалатализованных (польский, восточнославянские), однако тройное противопоставление типа /*n*/ - /*ñ*/ - /*n'*/ в славянском ареале не представлено.

В ст-сл. языке было три палатальных сонорных - /*ñ*, *ĩ*, *ř*/, - восходящих к о-сл. сочетаниям **nj*, **lj*, **rj*; /*ñ*/ возникало также в сочетании /-*gn*-/ перед передними гласными (ср. аналогичное развитие во французском: *lignum* > *ligne*). Они могли обозначаться буквами *н*, *л*, *р* с диакритическим значком типа каморы. В Хиланд. листках палатальное /*ĩ*/ обозначается как *л̣*, представляющее собой разновидность написания с диакритикой (в дальнейшем, приводя написания палатальных сонорных, мы не делаем различия между *л̣*, *н̣* и *л*, *н*, используя *л*, *н* в качестве общего обозначения). Кроме того, палатальный согласный мог

передаваться йотацией последующего гласного. Написание с йотированной гласной может сочетаться с написанием с диакритикой. Указанные обозначения палатальных сонорных наблюдаются в Супр. рукописи, в Зогр. ев. и в Хиланд. листках, а также в одной позиции в Сав. книге. Другие ст.-сл. памятники никак не обозначают палатальных сонорных, если не считать нескольких примеров в Мар. ев. Таким образом, в ст.-сл. памятниках, где специально обозначаются палатальные сонорные, различается форма имени существительного в им. падеже дв. числа *елени* от формы притяжательного прилагательного в мест. падеже ед. числа *елени*. Такое различие мы встречаем в Супр. рукописи. Таким же образом должны были бы различаться в им. падеже ед. числа существительное *елень* и прилагательное *елень*, хотя реально эти формы не зафиксированы. То обстоятельство, что в ст.-сл. алфавите (как в глаголице, так и в кириллице) отсутствуют специальные буквы для палатальных сонорных, заставляет предположить, что они либо не были свойственны солунскому диалекту, носителями которого были Кирилл и Мефодий (что мало вероятно), либо различие между палатальными и непалатальными сонорными игнорировалось составителями славянской азбуки. В первом случае следует думать, что различие палатальных и непалатальных сонорных было диалектной чертой юж.-сл. говоров IX–X вв.

Н. С. Трубецкой предполагал, что отсутствие особых букв для палатальных сонорных в созданном Кириллом Философом алфавите объясняется восприятием их в связи с греч. палатальными сонорными. В греческом палатальные сонорные характерны для народного языка, в котором они возникают из сочетаний сонорного с передней гласной, переходящей затем в заднюю. Если в греческом палатальные сонорные в народном языке появились уже в IX в., отсутствие особых знаков для палатальных сонорных в первоначальном алфавите можно объяснить тем, что Кирилл Философ приписывал им то же социолингвистическое значение, какое они имели в греческом, – вульгарной разновидности сонорных, которую не нужно обозначать, поскольку образованному человеку достаточно указания, содержащегося в написании последующей гласной буквы (Трубецкой, 1954, с. 30–31).

В целом ряде рус. ц.-сл. памятников XI–XIII вв. мы также встречаем написание *л*, *н* или *л*, *н* (*л*, *н*) с последующей йотированной гласной в соответствии с этимологическими *lj, *nj. Написания с *л*, *н* можно встретить еще в Луцком ев. XIV в. (Соболевский, 1884, с. 41). В отличие от ст.-сл. памятников, в рус. текстах почти не встречается особых обозначений для рефлексов *rj. В Остр. ев. 1056–1057 гг. имеется всего четыре случая написания *р* с диакритикой (Козловский, 1885–1895, с. 17), при том что рефлексy *lj, *nj обозначаются здесь достаточно последовательно с помощью йотированной гласной. Это означает, что написания *р* с диакритикой отражают влияние протографа и не соответствуют никакой фонетической реальности. Отсюда следует, что в рус. ц.-сл. языке не было палатального /ř/, что отличает его от ст.-сл. языка (хотя и в ст.-сл. языке происходил процесс утраты этой фонемы: знак *р* очень редок в Зогр. ев. и почти полностью отсутствует в Супр. рукописи).

Интерпретация написаний *л*, *н*, равно как и написаний *л*, *н* с последующей йотированной гласной, может быть различной. Трудно предположить, что эти написания объясняются одной лишь орфографической традицией. В некоторых памятниках эта черта проведена достаточно последовательно. Так, во втором почерке Арх. ев. 1092 г. после *л* и *н* из о.-сл. *lj, *nj одно только йотированное *ж* пишется более ста раз, и столь же последовательно после всех

остальных согласных пишется нейотированное *е* (единственный случай написания *ж* не после *л*, *н* приходится на положение после шипящей – *нарече~~ж~~шиса*; можно думать, что йотация выступает здесь как избыточное обозначение палатальности *ч*, см. Дурново, 1924, с. 147–148). Столь последовательное обозначение как в этом, так и в некоторых других памятниках, по-видимому, исключает возможность того, что писец пользовался какими-нибудь чисто орфографическими правилами. Можно было бы предположить следование юж-сл. протографу, однако подобные написания встречаются и в оригинальных рус. текстах, например, в Мстисл. грамоте ок. 1130 г.: *дон~~ж~~лѣже, осеньн~~ж~~к: въ н~~ж~~* (и только один раз написано *оу него*; между тем, после *н*, не восходящего к **nj*, писец пишет нейотированное *е*). Мстисл. грамота не списана с протографа, и это дает основание думать, что мы имеем дело с различием в произношении (ср. Дурново, 1924, с. 148). Этому не противоречит то, что в тех случаях, когда палатальность сонорного передается диакритикой, соответствующее обозначение часто может отсутствовать. Один и тот же писец нередко пишет одно и то же слово с этимологически палатальными сонорными, в одном случае обозначая их *л* или *н*, а в другом случае опуская диакритический значок – ясно, что при этом имеется в виду одно и то же произношение, подобно тому как мы в современном рус. письме можем писать то *ѐ*, то *е*, в соответствии с одним и тем же звуком.

Несомненно, что такое различие было в произношении книжном, которое может либо соответствовать, либо же не соответствовать живому произношению (а может соответствовать живому произношению одних писцов и не соответствовать живому произношению других писцов). Если признать это различие присущим искусственному книжному произношению, подражающему произношению юж-сл. книжников (как считает Лант, 1949, с. 78), остается непонятным, какие правила могли поддерживать этимологически верное различие палатальных и непалатальных сонорных. Поэтому различие палатальных и непалатальных сонорных следует предполагать присущим живой речи по крайней мере тех писцов, которые это различие последовательно проводят. Если бы обозначение палатальных сонорных было бы чисто книжным явлением, никак не связанным с живой речью, их должна была бы постигнуть такая же судьба, как и юсы, т.е. их этимологически правильного написания следовало бы ожидать лишь в наиболее ранних и наиболее грамотно написанных памятниках (таких как Остр. ев.).

Поскольку обозначения палатальных сонорных не входили в славянскую азбуку, буквы *л* и *н* не усваивались при обучении грамоте. Поэтому в некнижном письме, преобразующем правила чтения в правила письма, такого рода обозначения полностью отсутствуют; характерно, например, что их нет в берестяных грамотах, тогда как в Мстисл. грамоте они присутствуют, поскольку эта грамота выдержана в книжной орфографии (см. 5.4). Коль скоро обозначениям палатальных сонорных не учили в процессе обучения чтению, употребление соответствующих обозначений было связано с профессиональными навыками писцов и приобреталось в скрипториях. Понятно, что при этом создавались разные традиции обозначения палатальных. Так, в одних рукописях мы находим обозначение палатальных только с помощью диакритического значка (например, в Синай. патерике XI в.), в других – только с помощью йотированных гласных (например, в Остр. ев.), наконец, в третьих оба эти способа обозначения совмещают-

ся (например, в Мстисл. ев. нач. XII в.). Наконец, есть целый ряд рукописей, где такие обозначения вовсе отсутствуют; это может указывать не на то, что соответствующие фонемы отсутствуют в книжном или разговорном произношении писца, а на то, что в данной скриптории этому не обучали. Способ обозначения палатальных сонорных может, тем самым, служить типологической характеристикой др-рус. рукописей.

Как мы уже говорили, в славянских языках может иметь место либо фонологическое противопоставление палатальных и непалатальных (например, в сербском), либо фонологическое противопоставление палатализованных и непалатализованных (например, в современном русском). Полагаем, что др-рус. произношение – как книжное, так и живое (по крайней мере, в части диалектов) – до падения редуцированных было устроено в данном аспекте по сербской фонологической модели, отличаясь от ситуации современного рус. языка: у непалатальных фонем могли быть палатализованные и непалатализованные фонетические варианты (аллофоны), однако противопоставление по палатализации, в отличие от противопоставления по палатальности, до падения редуцированных не было фонологическим. После падения редуцированных противопоставление по палатализации становится фонологическим, поскольку функциональная нагрузка, которую несли слабые /ъ/ и /ь/, после их падения легла на предшествующие согласные. Одним из следствий этого является то, что палатальные сонорные совпадают с палатализованными.

7.8. Различение *ѣ* и *е* в книжном произношении. Среди рус. ц-сл. памятников имеется ряд таких, в которых широко смешиваются буквы *ѣ* и *е*. К таким памятникам относятся, например, Тип. устав XI–XII в. (второй почерк), Софийские Минеи нач. XII в. (ГПБ, Соф. 188), Стихирарь 1157 г. (ГИМ, Син. 589). По крайней мере некоторые из этих памятников являются новгородскими, т.е. идут из той диалектной зоны, где во время их написания, безусловно, различались /е/ и /ѣ/ (поскольку впоследствии на этой территории /е/ и /ѣ/ дают разные рефлексy: /ѣ/ переходит в /і/ перед мягкими согласными, а /е/ этого изменения не претерпевает; /е/ переходит в /о/ перед твердыми согласными, а /ѣ/ этого изменения не претерпевает). Очевидно поэтому, что смешение *ѣ* и *е* в указанных рукописях не может быть объяснено как отражение живого произношения, а требует иной интерпретации; такая интерпретация предполагает учет орфографии, книжного произношения и живого произношения как основных факторов, обуславливающих возможные вариации написаний (ср. 6).

Неразличение букв *ѣ* и *е* (а также *ѣ*, *ь* и *е*) находим в целом ряде берестяных грамот, написанных на той же территории (ср. примеры выше, 7.5.3). Поскольку в разговорном произношении писавших /е/ и /ѣ/ различались, следует думать, что в процессе обучения грамоте (чтению, а не письму) не устанавливалось однозначной ассоциации между различением букв *ѣ* и *ѣ* и противопоставлением фонем /е/ и /ѣ/ в разговорном языке. Это означает, во-первых, что в данном отношении книжное и разговорное произношение не совпадали, что ставит перед нами задачу реконструировать особое книжное произношение *ѣ* и *е*. Во-вторых, из сказанного следует, что правильное (соответствующее этимологии) написание *ѣ* и *е*, присущее большинству др-рус. рукописей (как северного, так и южного происхождения), основывалось на специ-

альных орфографических правилах; это ставит перед нами задачу реконструировать данные правила.

Ключом к реконструкции древнейшего книжного произношения может служить орфоэпическая традиция, представленная в церковном чтении старообрядцев-беспоповцев.

В книжном (литургическом) произношении старообрядцев противопоставление букв *е* - *ѣ* реализуется как твердость или мягкость предшествующего согласного, ср. *Христе* [xr'iste] (зв.) - *Христѣ* [xr'is't'e] (мест.), *безѣ* [bezə] - *бѣсѣ* [b'esə]. В тех случаях, когда перед *е* или *ѣ* стоит согласный, который не входит в корреляцию твердых и мягких, противопоставление *е* и *ѣ* не имеет места. Так, обычно полностью тождественно произношение слов *Богородице* (зв.) и *Богородицѣ* (дат. и мест.), *госпоже* (зв.) и *госпожѣ* (дат. и мест.). При таком способе различения оппозиция характеризует согласные, а не гласные: в отличие от современного рус. литературного языка противопоставление мягких и твердых согласных имеет место и перед /е/, а буквы *е* и *ѣ* оказываются (для положения после согласного) в таком же отношении, как *ѣ* и *ю*, *а* и *л*, *ы* и *и* (см. Успенский, 1968, с. 29-33; Успенский, 1971, с. 13-15).

Такое произношение усваивалось в процессе обучения чтению по складам, при котором склады *бе* - *бѣ*, *ба* - *ба*, *бѣ* - *бю*, *бы* - *би*, *бѣ* - *бѣ* читались с одним и тем же произношением согласных: в первом случае твердым, во втором - мягким. Это произношение, которое сейчас сохраняется только в замкнутом социуме, входило ранее в общую норму книжного произношения (как церковного, так в XVIII в. и светского). Свидетельства о таком способе различения доходят до нач. XVII в. Так, в рукописи сер. XVII в. (ГБЛ, ф. 218, № 714, л. 140) содержится специальное предупреждение, чтобы "не в'писати в' мѣсто *ести* *ѣтъ*, и в' мѣсто *иже*, *ы*. и в' мѣсто *оу* *ю*. и в' мѣсто *ера*, *ерь*."

Ибо ино есть *себѣ*, и ино *себе*.

Ино же *а^спѣшли*, и ино *а^спѣшлы*.

Ино *ѣродѣ*, и ино *юродѣ*.

Ино есть *кровѣ*, и ино *кровь*:

и прочая подобная симъ".

Указания такого рода находим и в более ранних рукописях, например, в грамматическом сборнике нач. XVII в. из собр. Тихонравова (ГБЛ, ф. 299, № 336): "Вопрос. что есть орфографія. От[вет]. Орфографія есть се, еже учить право і непогрѣшно в' писмѣ ставити писма, да не поставим *аза* вмѣсто *л* : *своа* *люди*, но *своа* *люди*. и паки да не поставим *ѣ* вмѣсто *аза*: *сице*, *ѣковѣ*. но *ѣковѣ*. І паки да не поставим *ѣта* вмѣсто *еста*: *сице* *тебѣ* *люблю*, но *тебе* *люблю*. и паки да не поставим *еста* вмѣсто *ѣта*: *сице*, *себе* *хощу*, но *себѣ* *хощу*. и паки да не впишем *и* вмѣсто *ы*: *сице* *ѣлци*, но *ѣлцы*. и паки да не пишем *ы* вмѣсто *иже*: *сице* *грѣхы*, но да пишем *грѣхи*" (л. 82-82 об., ср. л. 2-2 об.). Итак, буквы *е* и *ѣ* оказываются здесь в точно таком же отношении, как *а* и *л* (*л*), *ѣ* (*оу*) и *ю*, *ы* и *и*, *ѣ* и *ь*. Совершенно очевидно, что речь идет здесь о том, что перед одним рядом гласных букв произносится мягкий согласный, а перед другим - твердый.

Возникает вопрос: когда появился этот способ различения *ѣ* и *е* и с чем было связано его появление? Последовательное противопоставление набора букв *а, ю, и, ѣ, ь*, обозначающих мягкость предшествующего согласного, набору букв *а, ѡ, ы, е, ѣ*, обозначающих твердость этого согласного, – то самое противопоставление, которое мы находим в старых грамматических руководствах и которое реализуется в чтении по складам, – могло возникнуть только после падения редуцированных и установления фонологической корреляции твердых и мягких согласных: только после этого в языковом сознании должно было происходить отождествление согласного в таких выучиваемых им складах, как *ба, бю, би, бѣ*, и *бѣ, бѡ, бѣ*, и этот мягкий согласный должен был противопоставляться твердому согласному складов *ба, бѡ, бы, бѣ* и *бе*. Фонологическая корреляция твердых и мягких является необходимым условием такого обобщения; вне этого условия склады не должны были образовывать противопоставленных серий, но могли восприниматься как отдельные слоговые группы, противопоставленные не только по качеству согласного, но и по качеству гласного.

Связывая рассматриваемое явление с падением редуцированных, мы говорим лишь о фонологическом оформлении, но не о возникновении самого явления. Точно так же как возникновению фонологической оппозиции */ba/ – /b'a/* должно было предшествовать фонетическое различие типа *[ba] – [b'ä]*, фонологической оппозиции */be/ – /b'e/* должно было предшествовать фонетическое различие типа *[be] – [b'ě]*. Поэтому можно предположить, что до падения редуцированных рефлексы **е* и **ě* различались в книжном произношении не стационарной частью гласного звука, а характером перехода от согласного к гласному, т.е. перед */ě/* согласный смягчался сильнее, чем перед */е/*. Это предположение подтверждается рядом обстоятельств.

Во-первых, при таком характере противопоставления естественно ожидать, что оно будет нейтрализоваться после согласных, фонетически не варьирующихся по твердости-мягкости, т.е. после палатальных, а именно */с'/, /č'/, /š'/, /ž'/, /dž'/, /l'/, /ñ/, /j/*. Древнейшие памятники действительно отражают такую нейтрализацию: в рукописях, где *ѣ* и *е* пишутся этимологически правильно, после соответствующих букв наблюдается смешение. Правда, такие случаи единичны, что, видимо, связано с наличием простых правил, позволяющих написать правильную гласную. Поэтому нас должны особенно интересовать те случаи, где эти правила не дают однозначного результата.

В положении после */j/* для большей части вост.-сл. говоров уже к XI в. осуществляется, видимо, переход */е/* в */о/*, если в последующем слоге стоит непредний гласный (Шевелев, 1979, с. 143 сл.). Соответственно, */е/* и */ě/* могут здесь нейтрализоваться только в других позициях, а именно если в последующем слоге стоит передняя гласная или же на конце слова. Для этих последних позиций трудно предложить простые правила, обеспечивающие этимологически правильное написание. И действительно, в этих позициях смешение *ѣ* и *е* в рус. ц.-сл. памятниках представляет собой достаточно обычное явление. Так, в первом почерке Арх. ев. 1092 г. мы находим такие формы, как *ксти* (л. 2 об., 55, 74 об.), *кдѣть* (л. 5, 71) и т.п.; в целом ряде рукописей на месте падежной флексии *-ѣ* (в соответствии со ст.-сл. *-а*) мы находим написания с *-е* (*-к*), ср. в Тип. уставе XI–XII в. *илик, марик, наѣалик, присно-*

В положении после шипящих буква *ѣ* не может стоять, поскольку возникшие после первой палатализации или из сочетания с /j/ последовательности *šě, *žě, *čě дали ša, ža, ča; *ѣ* после шипящих мог появляться только в результате морфологической аналогии (эти случаи для нас интереса не представляют). После *ц*, напротив, преимущественно должна была писаться буква *ѣ*, поскольку /с/ представляет собой результат второй палатализации в положении перед /ě/ и /i/. Однако /с/ могло иметь и другое происхождение, восходя к третьей палатализации; *ц* такого происхождения могло стоять и перед *е*. Итак, для шумных палатальных могли быть сформулированы правила: (а) "после ш, ж, ч пиши е, но не *ѣ*"; (б) "перед *ѣ* пиши *ц* и не пиши ч". Можно думать, что именно таким правилом объясняется исправление в форме императива в Стихираре XII в. (ГИМ, Син. 279): писец первоначально написал *сѣчете* (форма презенса вместо императива представляет обычную ошибку в рус. ц-сл. текстах северного происхождения), затем исправил *е* на *ѣ* (т.е. презенс на императив) и затем - автоматически - *ч* на *ц* (л. 68). Итак, что касается шумных палатальных, единственным местом, где возникал вопрос, что написать, *ѣ* или *е*, было положение после *ц*. Здесь и наблюдаются случаи смешения. Ср., например, в Синай. патерике XI в. *цѣлова* и *целова* (л. 8); в Изб. 1076 *целованиѣ* (л. 45 об.); в Мин. 1097 *ицелении* (л. 3 об.); в Минее XII в. (ГИМ, Син. 161) *ицелениѣ* (л. 225).

Такой же позицией нейтрализации является и положение после палатальных сонорных *ĩ* и *ñ*. Из случаев смещения в этом положении можно отметить в Изб. 1073 *гнквѣ* (л. 28в bis), *г'иква* (л. 32а), *прогнкваеши* (л. 31в); в Ефр. кормчей XII в. *понк* ~ *поне* (л. 2 об., 107), *онѣмъ* (л. 93), *понѣже* (л. 269 об.); в Златостр. XII в. *гнєвѣ*; в Добрил. ев. 1164 г. *нынє* (л. 23 об.); в Выголекс. сб. конца XII в. *болкєзни* (л. 165 об.), *болкєсть* (л. 139 об., 164, 165), *огнѣви* (л. 150 об.).

[illegible]

Еще одним свидетельством того, что противопоставление *ѣ* и *е* связывалось с различием предшествующих согласных по мягкости, является, возможно, судьба сочетаний **SeгC* в рус. ц-сл. языке: ст-сл. сочетанию *pѣ* в рус. изводе ц-сл. языка соответствует *ре* (*брѣгъ* - *брегъ*). Эту замену можно объяснить тем, что в юж-сл. говорах происходило отверждение /*r*/, и рус. книжники, слышавшие перед *ѣ* твердый согласный, воспринимали гласный как *е* (см. 7.8.1).

Естественно предположить далее, что др.-рус. книжное произношение формировалось в столичном Киеве на основе диалекта, в котором предварялись отношения второго типа: мягкость согласного и передность гласного были связаны в слоговом сингармонизме, откуда и возникала оппозиция [С'ě - Се]. Данное произношение в качестве книжного распространялось и на ту территорию (в частности, новгородскую), где диалектное произношение было иным и противопоставление рефлексов *ě и *е выражалось исключительно в качестве гласных, т.е. было противопоставление [С'ě - С'е]. Это не единичный пример экспансии киевских диалектных черт на общерус. книжное произношение, так же обстоит дело с [γ]; [γ] в книжном произношении восходит, видимо, к [γ] киевского диалекта, но представлено и в книжном произношении северной Руси, где оно противопоставит [g] диалектного языка (см. 7.6).

Boris A. Uspenskij - 9783954790128
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:18:33AM
via free access

[b'e] - в разговорном языке оказывалось сразу два соответствия - [b'e] и [b'ě]. Таким образом, твердость или мягкость согласного оказывалась единственным релевантным признаком, противопоставлявшим *ѣ* и *е* в книжном произношении представителя северных говоров; это оказывалось одной из важных черт, отличавших книжное произношение от разговорного.

Именно это расхождение книжного и разговорного произношения и приводит к смешению *ѣ* и *е* на письме. Поскольку в разговорном произношении формы с *е* (*село*) произносятся так же, как в книжном произношении могут читаться формы с *ѣ* (*дѣло*), формы с *е* могут записываться через *ѣ* (*сѣло*), а отсюда смешение может идти и дальше и формы с *ѣ* могут записываться через *е* (*дело*). Характерно, что в ряде новгородско-псковских памятников постановка *ѣ* вместо *е* встречается существенно чаще, чем обратная замена (Каринский, 1928, с. 236). Во избежание таких ошибок писец должен был пользоваться специальными правилами, соотносящими его разговорное произношение с написанием, т.е. правилами типа: "в тех случаях, когда в разговорном языке слышится [ě], пиши ѣ; в тех случаях, когда в разговорном языке слышится [e], пиши е". Именно такие правила и обеспечивали грамотные написания. Неграмотный писец (не получивший специального образования или плохо его усвоивший) этими правилами не пользовался, что и приводило к смешению *ѣ* и *е*, которое мы наблюдаем в берестяных грамотах и в ряде книжных текстов (см. выше).

Итак, так же как и в случае с ерами (ср. 7.5.4), правильные написания обеспечивались разговорным произношением, т.е. орфографические правила предполагали ориентацию на живую речь; напротив, влияние книжного произношения, имевшее место у тех, кто так или иначе исходил в своей орфографической практике из правил чтения, могло приводить к написаниям неправильным.

А. А. Шахматов (1915, с. 162), а вслед за ним Н. Н. Дурново (1933, с. 51, 55) полагали, что в книжном (церковном) произношении *ѣ* произносилась как [e], т.е. так же как и буква *е*. Как писал Н. Н. Дурново, "в русском литературном диалекте старославянского языка звук болгарского диалекта, передававшийся буквою *ѣ* и соответствовавший этимологически русскому *ѣ*, но отличавшийся от него по произношению, был заменен не этим звуком, а звуком [ě], надо думать, потому, что был по произношению ближе к русскому [e], чем к [ě], и воспринимался русскими как [e]" (Дурново, 1933, с. 55). Данная гипотеза, объясняющая смешение *ѣ* и *е* в древнейших рус. памятниках, не объясняет тем не менее двух фактов. Остается неясным, во-первых, почему смешение *ѣ* и *е* наблюдается только в памятниках северного происхождения. Во-вторых, предлагаемая трактовка никак не связывает древнейшего книжного произношения *ѣ* и *е* с последующей традицией книжного произношения. Тогда, в свою очередь, возникает вопрос, как создавалась та традиция книжного произношения, которая сейчас сохраняется у старообрядцев. Чтобы ответить на этот вопрос, Н. Н. Дурново предполагал, что такая система чтения возникла в XIV-XV вв. Не приводя никаких аргументов, он в одном случае связывал ее со вторым юж-сл. влиянием, а в другом - с процессом отвердения согласных перед /e/ в вост-сл. говорах. Ни одна из гипотез не приемлема. У южных славян не было и не могло быть такой системы, что же касается процесса отвердения согласных перед /e/, то те украинские говоры, которые имел в виду Дурново (независимо от того, считать ли твердость согласных перед /e/ в них инновацией или исконным состоянием), не оказывали в XIV-XV вв. никакого влияния на рус. литературное произношение.

Необходимо оговориться, что смешение *ѣ* и *е* наблюдается в определенных случаях не только в северных, но и в южных рукописях, а именно в специфически книжных формах, написание которых не могло ориентироваться на живое произношение. Так, на месте ст-сл. *тѣлесе* в рус. памятниках находим *телесе*, и это явно не противоречит норме рус. ц-сл. языка; ср. затем характерное предупреждение в орфографическом

трактате "Сила существу книжного письма" (XVI в.): "Се *ѣ* у нѣкихъ в'мѣсто *е* приемлется, егда *тѣлесныи* глаголють въ мѣсто *телесныи*" (Ягич, 1896, с. 429) – таким образом, форма *телесиини* признается правильной. Подобное написание связано с тем, что соответствующая рус. разговорная форма *тѣла* противопоставлялась книжной форме по другому признаку – по типу основы. Совершенно так же местоименные формы дат.-мест. падежа *тебѣ*, *себѣ* замещаются в рус. памятниках формами *тебе*, *себе*, и это связано с тем, что соответствующими рус. разговорными формами были *тобѣ*, *собѣ*, т.е. и в этом случае противопоставление разговорной и книжной формы опиралось на другой признак. Одновременно при этом имела место контаминация специфически книжных форм дат.-мест. *тебѣ*, *себѣ* с общими для книжного и разговорного языка формами род.-вин. *тебе*, *себе*. Таким образом, когда противопоставление основывается на другом, более ярком признаке, противопоставление *ѣ* и *е* как бы нейтрализуется, и замена *ѣ* на *е* объясняется ассимиляцией (в одном случае регрессивной – *телесе*; в другом случае прогрессивной – *тебе*, *себе*) (Дурново, 1924, с. 102; Дурново, VI, с. 43, 46, 49). Можно найти еще несколько форм, в которых замена *ѣ* на *е* (или *е* на *ѣ*) имеет место относительно регулярно, в абсолютном же большинстве случаев такая замена представляет собой очевидную ошибку.

Как уже говорилось, после падения редуцированных и установления корреляции твердых и мягких согласных противопоставление *ѣ* и *е* в книжном произношении становится в один ряд с противопоставлением произношения *а* – *я* (*ѧ*), *ѹ* – *ю*, *ы* – *и*, *ѣ* – *е*. Судьба этой традиции оказывается разной в Моск. и в Ю.-З. Руси. В Ю.-З. Руси, где книжное произношение совпадало в данном аспекте с живым, с изменением живого произношения меняется и книжное. Так, при сохранении различия по твердости-мягкости перед рефлексам **е* и **ѣ*, книжное произношение отражает свойственный южноукраинским диалектам переход /ѣ/ в /і/. Соответственно, *ѣ* начинает читаться здесь как /і/, причем это произношение закрепляется в качестве нормы церковного чтения, распространяясь и на ту территорию Ю.-З. Руси, где такого перехода не было в живой речи; это произношение сохраняется позднее в традиции униатской церкви.

На великорус. территории, где книжное произношение в данном аспекте изначально было противопоставлено живому, различие *ѣ* и *е* по твердости-мягкости предшествующего согласного сохранялось в церковном чтении по крайней мере до нач. XIX в. В XVIII в. такое произношение отразилось и на орфоэпии высокого стиля, т.е. светское и церковное книжное произношение не были противопоставлены по данному признаку. Именно эту систему произношения описывают в качестве нормативной В. Е. Адодуров, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков и другие авторы XVIII в., писавшие о нормах рус. литературного произношения. Так, например, А. П. Сумароков пишет: "Все наши согласные литеры сугубое произношение имеют, то есть тупое и острое: *абѣ*, *абь*; *авѣ*, *авь*..."; установив, таким образом, противопоставление "тупых" (т.е. твердых) и "острых" (т.е. мягких) согласных, он продолжает: "Ежели *б* или *в* тупое, так литера гласная к ним ставится *а е ы о у*; ежели острое, так непременно должно ради голоса поставить *я ѣ и ю*" (Сумароков, X, с. 19–20).

Указанный принцип различения *ѣ* и *е* усваивался в XVIII в. не только при обучении ц.-сл. языку, но и при обучении рус. языку, которое также осуществлялось путем чтения по складам. Соответственно, книжные слова в рус. литературном языке произносились с твердым согласным перед *е*. Поскольку заимствования из европейских языков принадлежали к словам книжным, они читались именно таким образом. Отсюда и возникает традиция особого произношения заимствованных слов с твердым согласным перед /е/, сохранившаяся до наших дней (ср. 7.6. об отражении книжного произношения *г* в орфографии заимствованных слов).

Любопытно отметить, что указанный принцип рус. книжного произношения отразился в сербском ц-сл. произношении, обусловив здесь чтение *ѣ* как [je], которое, в свою очередь, повлияло и на произношение сербского литературного языка (см. Ивич, 1970, с. 286–287). Здесь проявляется влияние рус. книжной культуры на сербскую, имевшее место в новое время (с нач. XVIII в.), ср. выше (7.4) о рус. чтении *щ* в сербском ц-сл. языке. Таким образом, рус. ц-сл. произношение *е* и *ѣ* первоначально отличается от юж-сл. произношения, но впоследствии юж-сл. норма подчиняется рус. норме.

7.8.1. Отражение *ег в межконсонантной позиции. Как уже говорилось, ст-сл. сочетанию *рѣ*, восходящему к о-сл. *ег между согласными, в рус. изводе ц-сл. языка регулярно соответствует *ре*; в разговорном рус. языке в этих случаях имеет место полногласие (*ере*). Таким образом, мы имеем соответствие

о-сл.	ст-сл.	рус. ц-сл.	рус.
*CегC	CrѣC	CreC	CereC
*per-	прѣ-	пре-	пере-
*berгъ	брѣгъ	брегъ	берегъ

В рус. рукописях мы встречаем и написания с *ѣ*, соответствующие ст-сл. норме, однако это было чисто графическим явлением и формы *прѣ-*, *брѣгъ* и т.д. читались так, как если бы они были написаны с *е*. Об этом свидетельствует Тип. устав XI–XII в., где в ненотном тексте писец может написать *прѣчистаѧ*, *прѣхвальне*, а в нотном тексте он пишет те же формы с тянувшимся *е* - *преечииниии стаѧ*, *пееееехвааааальне*. В других случаях писец пишет и в нотной форме *прѣ-* - явно желая соблюсти орфографические нормы - однако при растяжении звука это *ѣ* переходит в *е*. Так, он пишет в ненотной форме *прѣобразисѧ*, *прѣмоудрости*, *прѣхвальнаѧ* и т.п., а в нотной форме *прѣееообраааазиниисѧ*, *прѣеемоуѣдрооости*, *прѣеехваалььььнаѧ* и т.д. Точно так же он пишет в ненотной форме *на дрѣвѣ*, *неврѣдимо*, *врѣмене*, а в нотных формах того же текста - *на дрѣееееевѣѣѣ*, *неврѣеедимо*, *врѣеемене* (Успенский, 1973, с. 334–335). Аналогично писец Усп. кондакаря 1207 г. пишет *неееееее•е•е•врѣеее•жено* (л. 62 об.).

Некоторые из приведенных написаний обнаруживают сходство с примерами из кондакарей, которые цитировались выше, когда мы иллюстрировали смешение *ѣ* и *е* в результате нейтрализации, обусловленной растяжением гласной (см. 7.8). Данные примеры, однако, имеют принципиально иной характер: они обусловлены здесь расхождением орфографической и орфоэпической нормы. Начав писать *прѣ-* (*дрѣ-*, *врѣ-* и т.д.) в соответствии с некоторым орфографическим навыком, писец нотного текста начинает ориентироваться на фонетический принцип. Поэтому при протяжении звука он не повторяет *ѣ*, а изменяет это орфографическое *ѣ* в фонетическое *е*. Иначе говоря, мы имеем в таких примерах результат контаминации юж-сл. ц-сл. написания и рус. ц-сл. произношения.

Замена *-рѣ-* на *-ре* в данном положении в рус. ц-сл. памятниках может быть связана с отвердением /r'/ в юж-сл. произношении (о юж-сл. отвердении /r'/ см., например: Вайан, 1952, с. 76–77). Поскольку для русских противопоставление *е* и *ѣ* связывалось с палатализацией предшествующего согласного, гласный после отвердевшего /r/ они воспринимали как *е*. Правда, в этом случае можно было бы ожидать подобного же процесса, т.е. замены *рѣ* на

ре, и в сочетаниях с *рѣ*, восходящих к о-сл. *гѣ (*грѣхъ*, *крѣп-*, *сърѣсти* и т.п.), т.е. мы могли бы ожидать написаний типа *грехъ*, *кретькъ* и т.д. Можно думать, что этимологически правильное написание этих слов с *ѣ* обеспечивалось правилами, связывавшими написание с разговорным произношением. Исходя из живого произношения, писцы ставили букву *ѣ*, которая очевидно коррелировала с рефлексам **ѣ* в их говоре; однако они не имели такой возможности при передаче юж-сл. сочетания *рѣ*, восходящего к о-сл. *ег, поскольку в их живой речи этому сочетанию соответствовали полногласные формы, и они, естественно, ориентировались на юж-сл. произношение.

В принципе возможно и другое объяснение рассматриваемого явления. Можно предположить, что формы типа *пре-*, *брегъ* возникли в рус. ц-сл. языке в результате контаминации соответствующих ст-сл. форм (*прѣ-*, *брѣгъ*) и рус. разговорных форм (*пе-ре-*, *берегъ*), подобно тому, как в результате контаминации ст-сл. неполногласной формы *гласъ* и соответствующей рус. полногласной формы *голосъ* появляются гиперкорректные формы типа *глось*. Однако формы типа *глось* не закрепляются в книжной норме, тогда как формы типа *брегъ* закрепляются в ней. Механизм, дающий формы такого рода, представляется следующим: писец знает о недопустимости полногласия и стремится от него избавиться; однако, избавляясь от полногласия, он сохраняет качество гласной. Предложенное объяснение, однако, вызывает возражения, поскольку при таком объяснении можно было бы ожидать, что писец будет аналогичным образом поступать и с другими формами, в которых юж-сл. неполногласие соотносится с рус. разговорным полногласием. Дурново формулировал это возражение следующим образом: "Употребление *е* вместо *ѣ* в неполногласных сочетаниях могло бы объясняться компромиссом между русским и южнославянским произношением соответствующих слов: писцы не писали *е* перед гласной, потому что его не было в церковнославянском, и писали *е* после гласной, потому что в их живом языке было *е*, подобно писцу Синайского патерика, писавшему *злотникъ*, *оброниша са* и т.п., где *ло*, *ро* соответствовали рус. *оло*, *оро* и церковнославянским *ла*, *ра*. Но в таком случае мы должны бы ждать и в других памятниках рядом с написаниями *ре* вместо *рѣ* также написаний *ло*, *ро* вместо *ла*, *ра*, а вместо *лѣ* не *ле*, а *ло* и притом тем чаще, чем чаще пишется *ре*; между тем такие написания, кроме Синайского патерика, почти не встречаются" (Дурново, VI, с. 50-51). Возражение такого рода не представляется, однако, вполне убедительным, поскольку оно исходит из предположения, что полногласие и неполногласие - это категории писца, а не только лингвиста, т.е. что писец обобщал различные случаи неполногласия и пользовался единым механизмом преобразования юж-сл. форм; между тем, формы с *ере* и формы с *оло*, *оро* не обязательно должны были ассоциироваться.

7.8.2. "Новый ять". После падения редуцированных в южных вост-сл. (украинских) диалектах в новых закрытых слогах, образовавшихся из-за утраты еров, /е/ переходит в /ѣ/ перед мягкими согласными. Этот процесс находит отражение в книжном произношении и, соответственно, в орфографии южнорус. памятников письменности. Древнейшие примеры находим в надписи на кресте Ефросинии Полоцкой 1161 г. (*камѣнье*) и затем в Добрил. ев. 1164 г. (*камѣнь*, *оучитѣль*, *ремѣнь*, *шѣсть*, *пѣшь*, *можѣть* и т.д.).

Этот процесс может быть объяснен тем, что в закрытых слогах сохранялось противопоставление рефлексов редуцированных, которые здесь проявились и дали открытые /е/ и /ѣ/, и рефлексов *ѣ, *е и *о. Эти последние гласные противопоставлялись рефлексам редуцированных как закрытые открытым, что давало здесь /ѣ/ в соответствии с *о, и приводило к слиянию гласных переднего ряда - /е/ и /ѣ/ - в одном закрытом гласном, т.е. /ѣ/ (ср. Гард, 1974).

"Новый ять" образуется, в частности, в окончаниях глагольных форм 3 л. ед. наст. времени (*придѣть*, *боудѣть*, *зовѣть* и т.п.). Интересно отметить, что "новый ять" в этих формах

оказывается недолговечным: в XIII в. в южнорус. рукописях в этих формах вновь пишется *е*, а не *ѣ* (Шевелев, 1979, с. 304). По-видимому, здесь отражается ориентация правописания *ѣ* и *е* на разговорное произношение. Действительно, в украинских говорах основной формой 3 л. ед. наст. времени была форма без *-ть*, т.е. *приде*, *буде* и т.п. В этих формах "новый ять", понятно, не возникал, поскольку конечный слог был здесь открытым. Можно полагать, что носители этих говоров, когда писали по-церковнославянски, исходили из форм своей живой речи, прибавляя к ним книжное окончание *-ть*. В эпоху, когда возникновение "нового ятя" было живым фонетическим процессом, он отражался при чтении, так же как и в разговорной речи. Поэтому формы наст. времени читались с "новым ятем", что и могло отражаться в их записи. Когда этот процесс завершился, прибавление конечного *-ть* перестало приводить к изменению гласного, поэтому в окончаниях наст. времени стало вновь писаться *е*, соответствующее гласному разговорных форм, что отразилось и на книжном произношении данных форм.

7.9. Отражение противопоставления /*ô*/ и /*э*/. В вост-сл. диалектах в исторический период (после падения редуцированных) возникает противопоставление /*ô*/ - /*э*/. Однако генезис этого противопоставления в разных говорах различен. В южных (украинских) говорах это противопоставление развивается в новых закрытых слогах, причем **о* дает здесь /*ô*/, а **ъ* дает /*э*/. Закрытое /*ô*/ развивается затем в южноукраинских диалектах в /*і*/, что усваивается впоследствии и нормой украинского литературного языка; в североукраинских диалектах (так же как и в южнобелорусских) /*ô*/ реализуется под ударением как [*ʲo*].

Противопоставление /*э*/ - /*ô*/, закрепляясь в книжном произношении данного ареала, может закрепляться и в орфографии, причем /*э*/ передается буквой *о*, а /*ô*/ - буквой *ѡ*, т.е. противопоставление букв *о* и *ѡ*, которое не соответствовало никакому фонетическому различию в ст-сл. языке (*ѡ* была введена в славянский алфавит в соответствии с *ω* греч. алфавита и употреблялась преимущественно в заимствованиях из греческого), получает совершенно иное функциональное наполнение. Такие написания находим в приписках конца XIII-нач. XIV вв. к Октоиху Венской национальной библиотеки (S1. 37, J 62 - см. Шевелев, 1978), а также в галицко-волынском Евангелии сер. XIV в. (МГУ, № 1367). Так, в Венской рукописи мы встречаем написания *грѡбъ*, *рѡдъ*, *сѡвръ* и т.д. По-видимому, не случайно для передачи /*ô*/ была выбрана *ѡ*: /*ô*/ в результате заместительного удлинения было фонетически долгим, между тем как *ѡ* по крайней мере в одном случае произносилась как долгий гласный, а именно в случае зват. частицы, писавшейся обычно как *ѡ*.

Соответственно, иногда закрытое /*ô*/ может изображаться и двойным *о*, т.е. последовательностью *оо*, ср. в Галицком ев. ок. 1266, г.: *воовьця* (овца), *воовьчихъ* (овчихъ); в Поликарповом ев. 1307 г.: *воотця* (отца) (Соболевский, 1907, с. 51; ср. Соболевский, 1884, с. 105). Можно предположить, что *омега* (*ѡ*) и двойное *о* (*оо*) воспринимались вообще как варианты одного и того же графического начертания. Это совершенно очевидно в галицко-волынском Евангелии МГУ (№ 1367), где, как мы уже говорили, *омега* последовательно передает /*ô*/ в новых закрытых слогах; вместе с тем двойное *о*, образующееся на морфемном стыке (в словах типа *вооружение*), также передается здесь *омегой*. Не случайно в позднейшей ц-сл. традиции *омега* может называться "двойное он" (Соколов, 1907, с. 11).

На великорус. территории процесс прояснения редуцированных также дает /ɔ/ из /ъ/; /ɔ/ возникает здесь также из /е/ в результате перехода /е/ → /ɔ/ (см. 8.2.5). Судьба рефлексов *о отличается здесь, однако, от судьбы рефлексов *о в украинских диалектах. Если в украинских диалектах всякое *о в закрытом слоге дает /ô/, а в открытом слоге /ɔ/, то в великорус. диалектах /ô/ происходит из *о под автономным ударением, тогда как отражением безударного *о (включая сюда и *о под автоматическим ударением в энклименах) является /ɔ/. Развитие оппозиции /ô/ - /ɔ/ связано здесь, таким образом, с акцентными условиями.

В др-рус. языке слова могли либо иметь закрепленное за определенным слогом ударение (ортотонические словоформы), либо вовсе не иметь фонологического ударения (энклимены). Будучи в изолированном положении, энклимены получали усиление (фонетическое ударение, отличавшееся по своим характеристикам от ударения ортотонических словоформ) на первом слоге. Если перед ними стояли проклитики, усиление (фонетическое ударение) автоматически переходило на проклитики; такое усиление называют автоматическим ударением, отличая его от автономного ударения, т.е. ударения ортотонических словоформ. Эта передвижка автоматического ударения отражается в таких современных формах, как *пó воду, из дому, за́городом*. Автономное ударение было закреплено за определенным слогом и передвижке не подлежало, ср. *на двóр, по во́ле, из ко́жи*. Различие между автономным и автоматическим ударением теряется некоторое время спустя после падения редуцированных (по-видимому, в XIV в.), отражение этого различия сохраняется в противопоставлении /ô/ и /ɔ/, ср. *двô/р, но д/ɔ/м* (Зализняк, 1985). Следует отметить, что в древнейший период рус. ц-сл. язык и рус. разговорный язык не противостояли друг другу по характеру акцентной системы.

Противопоставление /ô/ и /ɔ/ было усвоено и великорус. книжным произношением. Оно могло отражаться и в орфографии великорус. ц-сл. памятников. Рукописи, в которых последовательно проводится это различие, за одним исключением (о котором мы скажем ниже), дошли до нас только от XVI в., однако есть основания думать, что такая орфографическая система возникла раньше. Противопоставление двух о может передаваться в великорус. рукописях разными способами, а именно, /ɔ/ передается через о, а /ô/ - через ѡ (ср., например, Травник ГБЛ, ф. 37, № 431, XVI-XVII в.); /ɔ/ передается через о или ѡ, а /ô/ - теми же буквами со знаком каморы (̑) - такое правописание характерно для новгородско-псковского ареала и представлено в значительном числе рукописей XVI в.; /ɔ/ передается узким вариантом буквы о, а /ô/ - широким вариантом - такое правописание наблюдается в книгах, напечатанных в анонимной типографии, которая работала, как предполагают, в Москве в 1553-1564 гг. (см. Васильев, 1929; Зализняк, 1978).

В Мер. Праведном сер. XIV в., написанном, видимо, на территории Тверского княжества, наблюдаем противопоставление букв о и ѡ, которое может отражать либо оппозицию /ɔ/ и /ô/ великорус. происхождения, либо - в первом слоге словоформы - оппозицию /ɔ/ и /ô/ украинского происхождения (см. Зализняк, 1978; Зализняк, 1978а).

Как видим, применение ѡ для передачи /ô/, независимо от происхождения этого звука, наблюдается достаточно рано и встречается в самых разных ареалах. Великорус. книжники в грамматических сочинениях иногда констатируют особый характер звука, обозначаемого ѡ. Они говорят о необходимости различать *ба - бѧ, бе - бѣ, бы - би, бѣ - бю, бѣ - бь* и вместе с тем, *бо - бѡ*, причем звук, передаваемый как ѡ, регулярно получает эпитет "логовать", что означает ложбинчатый, вогнутый - по-видимому, здесь передается дифтонгиальность закрытого

/ô/ (Ягич, 1896, с. 348, 352, 367, 375, 408, 637; Петровский, 1888, с. 70; Зализняк, 1978, с. 94-96).

Таким образом, противопоставление /ô/ - /ɔ/ переходит из произношения разговорного в произношение книжное и закрепляется здесь. Поэтому оно отражается в орфографии и может подвергаться кодификации в грамматических руководствах.

7.10. Произношение иностранных слов. Специфика рус. традиции ц-сл. языка проявляется в произношении иностранных слов, а именно в произношении начального [e]/[je], поскольку оно отражается в написании, и в произношении Ө (фиты) и ʋ (ижицы).

7.10.1. Отсутствие йотации перед начальным /e/. Правописание большей части рус. рукописей XI-XII вв. отражает противопоставление йотированного и нейотированного [e] в начале слова, передавая его соответственно буквами *е* и *ѣ*. Отсутствие йотации наблюдается прежде всего в иностранных (греч.) словах, например, *евангелѣи*, *едемъ*, *елинъ* и т.п. Отсутствие йотации наблюдается в некоторых словах славянского происхождения, образующих замкнутую группу: *етерьъ*, *еда*, *едъва*, *еи* (утвердительная частица - однако *ѣи* в местоименной форме дат. ед.), *еже*, *ельма*, *езеро*, *елень*. Спорадически отсутствие йотации имеет место и в некоторых других словах (см. Дурново, 1924а; Дурново, VI, с. 23-37).

Это явление, безусловно, не отражает живого произношения, поскольку оно наблюдается в заимствованных словах и в словах специфически книжных, отсутствовавших в разговорном языке (например, *етерьъ*). Вместе с тем, его нельзя было бы объяснить как результат комбинации ст-сл. форм *ѣзеро*, *ѣлень* с рус. *озеро*, *олень*, так как тогда следовало бы ожидать написаний **единъ* (а не *ѣдинъ*), **елико* (а не *ѣлико*) и т.п.

Рассматриваемое явление восходит, возможно, к юж-сл. традиции. Вместе с тем, единственным ст-сл. памятником, где различаются начальные *е* и *ѣ*, является Супр. рукопись, в ней наблюдаем начальное *е* в греч. словах, в утвердительной частице *еи* и в слове *етерьъ*; мы уже говорили о возможности особого значения этого памятника для формирования рус. книжной традиции (см. 3.1.2). Существенно, что на Руси эту традицию отражают памятники, списанные с глаголических оригиналов (например, Сл. Гр. Бог., XI в.), в которых противопоставление йотированного и нейотированного *е* не могло быть выражено. Отсюда следует, что различие *е* и *ѣ* в рус. памятниках принадлежит к рус. орфографической традиции, которая отражает, видимо, церковное произношение. Это рус. церковное произношение, в свою очередь, по-видимому, восходит к юж-сл. церковному произношению (Дурново, VI, с. 36). Характерно, вместе с тем, что нейотированное произношение наряду с книжными словами свойственно междометиям, частицам, местоимениям, где вообще следует ожидать фонетических аномалий (ср. в современном рус. языке, где в исконной лексике нейотированное /e/ в начале слова невозможно, такие слова, как *эй*, *это* - см. Живов и Успенский, 1973). Таким образом, привнесенное извне церковное произношение ассоциировалось с периферийной фонетикой исконных слов.

По предположению Дурново, "первоначальное церковное произношение, различавшее начальные [e] и [je], уже в XI в. стало заменяться другим произношением, с начальным [je] во всех случаях, и это другое произношение и вызвало отступления от установившейся орфо-

графии у менее грамотных писцов. Оно же легло в основание орфографии, употребляющей в начале слов только ю. Эта последняя орфография возникла очень рано, так как засвидетельствована уже во втором почерке Изборника 1073 г. и в первом почерке Архангельского ев. 1092 г., но не получила большого распространения" (Дурново, VI, с. 37). Итак, уже с XI в. на Руси существует две нормы книжного (церковного) произношения начального *е*: в одной из них различалось произношение иноязычных и славянских слов, которые были противопоставлены по признаку наличия йотации, тогда как в другой норме все слова без различия читались с йотацией. В дальнейшем первая норма была усвоена книжной традицией Ю.-З. Руси, а вторая - книжной традицией Моск. Руси (см. 13.4).

В одном грамматическом сочинении XVI в. сообщаются фонетические различия между греч. и рус. языком, причем отмечается, что славянской букве "есть" соответствует у греков "эсть" (Ягич, 1896, с. 409; Петровский, 1888, с. 14); имеется в виду протетическая йотация перед звуком [e], которая отличает ц-сл. язык (московской редакции) от греческого.

Поскольку со второй пол. XVII в. имеет место влияние ю-з-рус. книжной традиции на великорусскую (в частности, на светское литературное произношение), противопоставление по йотации начинает противопоставлять церковное и светское произношение одних и тех же слов, ср. церковное *еллин*, *екзарх*, *Еммануил*, *епистола* и соответствующие литературные *эллин*, *экзарх*, *Эммануил*, *эпистола*. С этим противопоставлением связана кодификация буквы *э* в рус. гражданской орфографии (ср. 17.2.2).

7.10.2. Чтение феты. Ц-сл. язык рус. извода и ст-сл. язык различаются характером произношения буквы *θ*, встречающейся лишь в заимствованиях из греческого. Наряду с этимологически правильным написанием этих грецизмов с *θ* в соответствии с греч. *θ*, мы встречаем вариантное написание этих слов в ст-сл. памятниках с *τ*, в рус. памятниках - с *φ*. Таким образом, в рус. ц-сл. произношении *θ* читалась как *φ*, в ст-сл. произношении - как *τ*. Отметим, что произношение *θ* как *φ* отражается в македонских памятниках; вообще, такое произношение в юж-сл. ареале характерно исключительно для Македонии (Будзишевская, 1969, с. 30; ср. Геров, 1938). Оно отражает, по-видимому, переход *θ* > *φ* в некоторых греч. говорах (Фасмер, 1909, с. 22-23). Таким образом, произношение *θ* как *φ* может в русском трактоваться как македонизм. Косвенным отражением такого произношения являются греч. заимствования с *π* на месте *θ*, см., например, в Синай. патерике XI в. *кантилии* < *κανθήλιος*, *пермик* < *ἑρμιον*: надо полагать, что *θ* произносилась как *φ*, и *π* появлялось в качестве одного из способов передачи чуждого рус. языку звука [f] (ср. Фасмер, 1909, с. 23).

7.10.3. Чтение ижицы. Буква *ι* (ижица) выступала в славянской азбуке как соответствие греч. *ι* (ипсилону) и употреблялась прежде всего в грецизмах. В зависимости от позиции эта буква могла читаться по-разному: как гласная или как согласная. Как гласная ижица читалась между согласными или в начале слова перед согласным, в остальных позициях она читалась, вообще говоря, как согласная. Орфографически правильные написания ижицы на месте ипсилона не сообщают никаких данных о произношении этой буквы. Однако встречаются варианты написания, в которых нарушается соответствие между ижицей и ипсилоном (ижица

стоит на месте другой греч. буквы, или же другая славянская буква находится на месте ипсилона), и они позволяют в какой-то мере судить о произношении этой буквы. Положение, однако, осложняется тем, что варианты написания встречаются и в юж-сл. памятниках, так что некоторые написания рус. рукописей могут в принципе восходить к юж-сл. протографу.

Выступая как гласная, ижица могла смешиваться с *оу* (*ю*) или с *и*. Так, наряду со стандартными написаниями с ижицей, мы встречаем формы типа *Кирилъ*, *Кюриль* и *Куриль*, *Киприанъ* и *Купреянъ* и т.д. (ср. передачу имени *Kúros* в Усп. кондакаре 1207 г.: *кюра* в заголовке, но *кѣѣѣѣѣръ* в соответствующем нотном тексте, л. 90, 91). Такие колебания мы наблюдаем и в юж-сл. текстах (см. Геров, 1942). Это может свидетельствовать о том, что существовали разные нормы чтения этой буквы (как гласной), хотя в то же время не исключено, что колебания в написаниях отражают затруднения в передаче звука [û], т.е. того звука, который соответствовал букве *ю* (ср. варианты отражения нем. [ÿ] в именах *Миллер* ~ *Моллер*, *Шлиссельбург* ~ *Шлюссельбург* и т.п.); однако в грецизмах этот звук мог находиться в тех позициях, в которых он не мог стоять в словах славянского происхождения. Действительно, для древнейших памятников характерно чередование *у* и *ю*, что, по мнению Н. Н. Дурново (1926, с. 371), указывает на произношение ижицы как [û]. Вместе с тем в современном языке старые формы с ижицей произносятся как формы с [u] или с [i] в соответствующей позиции, ср. греч. Γλυκερία и рус. *Гликерия* и *Лукерья*, греч. Κυπριάνος, рус. *Киприан* и *Куприан*, греч. Ἀκυλίνα рус. *Акилина* и *Акулина* и т.д. Такое отражение ижицы в современном языке побуждает думать, что в свое время ижица в книжном произношении могла читаться как [i] или [u]. При этом формы с [u] сейчас могут рассматриваться как просторечные, противопоставленные более книжным формам с [i]. Поскольку речь идет о специфически книжных словах (грецизмах), и то, и другое произношение несомненно восходит к произношению книжному. Таким образом, существовало, видимо, две книжных нормы, причем можно предположить, что та, которая отразилась в современных просторечных формах, является более архаической (ср. аналогичные соотношения в формах с [ž] или [žd] на месте *dj или в акцентуации собственных имен: см. 10.2 и 17.2.1).

Итак, в более архаической норме книжного произношения ижица, видимо, читалась как [u] или [û], а затем эта норма уступила место другой, в которой ижица стала читаться как [i]. Этот процесс сходен, вообще говоря, с изменением произношения греч. ипсилона; в свое время, по крайней мере еще в IX в. нормативным произношением ипсилона в греч. языке было [û], а несколько позднее (видимо, к концу X в.) это произношение под влиянием народных говоров сменяется нормативным произношением ипсилона как [i]. Можно думать, что смена произносительных норм в истории рус. литературного языка так или иначе связана со сменой норм в греч. языке. Ср. специальное предупреждение Ф. Поликарпова, ориентировавшегося, вообще говоря, на современные ему греч. нормы, не произносить ижицу как [u]: "Вмѣсто *у*, не глаголи *Ѹ*, яко *МартврїѸ*, а не *МартѸрїѸ*... *ТрѸфѸнъ*, а не *ТрѸѸнъ*" (Поликарпов, 1701, л. 7). Это соотношение греч. и рус. норм отразилось и в ряде примеров, где греч. η (i) соответствует рус. *оу* или греч. ου соответствует рус. *и*; такие соответствия могли возникнуть лишь в результате записи этих слов с ижицей, что и дало потом не оправданное с точки зрения греч.

Архаическое произношение ижицы как [ц] нашло отражение в орфографической практике, при которой ижица могла заменять *оу* в позиции после согласной (не только в грецизмах). Характерно, что древнейшее название ижицы "ик" стало затем обозначать лигатуру *ѣ* (тогда как диграф *оу* может называться "оник", т. е. "он" + "ик" - Успенский, 1968, с. 16-19; ср. 11.1). Отождествление ижицы и *ѣ* прослеживается в растяжном письме кондакарей. Так, например, в Усп. кондакаре 1207 г. гласная *ю* при растяжении регулярно переходит в *ѣ*: *юѣѣ...* (например: *ѣтвьѣржааюѣѣтъ*, л. 168). Вместе с тем на л. 135 об. находим: *ѣоуѣроносицааѣѣ*, что ясно показывает тождество соответствующих букв.

Исключение составляет имя "Павел", где написание *Лаоуль* отражается на произношении. Действительно, в певческих текстах, где встречается такое написание, над буквой *у* (*оу*) может стоять нотный знак, что свидетельствует о произношении здесь

слогового звука (см. Лавр. кондакарь XII-XIII в., л. 103-103 об., или Стихирарь XII в. ЦГАДА, ф. 381, № 145, л. 9 об.), и соответствующий звук может тянуться (ср. в Благ. кондакаре XII-XIII в.: *Пааууууле*, л. 16 об.). При этом во всех приведенных случаях в заголовках нотного текста показана форма *Павла* (род. падеж), которая имеет, видимо, условный орфографический характер (ср. Лавр. кондакарь, л. 102 об., Благ. кондакарь, л. 16). Ср. также форму *Паѣль* в надписи на иконе апостола Павла из деисусного чина XV в. собр. Архангельского музея. Такое произношение объясняется сближением с именем *Саул*. Ср. чередование *Саул* - *Савл* (отражающее греч. *Σαῦλ* и *Σαύλ*, *Σαῦλος*), причем для древних памятников более характерна форма *Саул* - в тех случаях, когда в более поздних текстах стоит *Савл* (см. Геров, 1943, с. 7, 10 - о ст.-сл. текстах; ср. чередование обеих форм в Чуд. Нов. Завете 1355 г., л. 63, 64, 64 об., 67, 75, 78, 93 об., 159 об.). Содержательный параллелизм этих имен в новозаветном тексте обуславливал и их формальное уподобление.

В дальнейшем написания типа *Еоуламгии* могли обуславливать и соответствующее произношение, о чем говорит старообрядческое произношение имени "Евлп" как "Еу́пл" (ср. 11.1). О том, что подобные формы могли отражаться на произношении, говорят как великорус., так и белорусские и украинские формы *Елтуфий* ~ *Олтуфий* ~ *Олтух* (из *Еутихий*), *Елфим(ий)* ~ *Олфим* (из *Еуфимий*), *Олгенья* (из *Еугения*), *Елпатий* (из *Еупатий*), *Елсуфий* ~ *Олсуфий* (из *Еупсихий*) (Соболевский, 1907, с. 124; Хюбнер, 1966, с. 213). Подобные формы отразились в фамилиях *Алпатов*, *Елпатьевский* (от *Еупатий*), *Алтуфьев*, *Алтухов* (от *Еутихий*), *Елхимов*, *Елфимов* (от *Еуфимий*), *Олсуфьев*, (от *Еупсихий*), *Елдокимов* (от *Еудоким*), а также в великорус. топонимике. Не менее показательны и случаи обратной замены - гиперкорректного характера - типа *Еоугидиѳора*, вместо *Елгидиѳора* (Срезневский, I, стлб. 563).

7.11. Морфологические отличия рус. ц-сл. от ст.-сл. языка. Специфика рус. ц-сл. языка ярче всего выявляется в рассмотренных фонетических признаках. Морфологические признаки, к рассмотрению которых мы переходим, имеют более частный характер. Адаптация юж-сл. извода ц-сл. языка на рус. почве, приведшая к созданию отдельного рус. извода, проходила в основном на фонетическом уровне, тогда как морфологическая норма была усвоена в ее целостности и сближения с разговорным языком здесь почти не наблюдается. Морфологическая специфика рус. ц-сл. языка обусловлена не столько адаптацией ц-сл. языка на рус. почве, сколько особыми отношениями, которые возникали здесь между книжными и некнижными формами.

7.11.1. Окончания тв. падежа ед. числа. Ст.-сл. флексиям тв. ед. -*омь*, -*емь* соответствуют в ц-сл. языке рус. извода флексии -*ьмь*, -*ьмь*. В первоначальных рус. текстах формы -*омь*, -*емь* отражают влияние юж-сл. протографов. Однако уже в XI в. написания -*ьмь*, -*ьмь* становятся орфографической нормой (Дурново, 1933, с. 64); только такую орфографию наблюдаем, например, в обоих почерках Арх. ев. 1092 г. (Соколова, 1930, с. 122). В Изб. 1073 первый писец предпочитает сохранять ст.-сл. окончание -*омь*, а второй обычно пользуется уже окончанием -*ьмь* (Еленски, 1960, с. 633-654). Показательно, что уже в нач. XII в. окончание -*омь* может исправляться на -*ьмь*. Такую правку находим, например, в *Минеях* нач. XII в. (ГИМ, Син. 160, 161), в Стихираре XII в. (ГИМ, Син. 279) (Живов, 1984, с. 287), в *Выголекс.* сб. XII в. (Судник, 1963, с. 196). Такая правка наглядно показывает, что в сформировавшейся орфографической норме рус. извода ц-сл. языка окончания -*омь*, -*емь* признаются

написаниям соответствовало, по-видимому, произношение, отвечающее стяженной форме. Указание на это находим в кондакарях. Так, в Тип. уставе XI–XII в. писец пишет в ненотном тексте *сѣтнмь, бороущаагоса*, однако в нотном тексте передает те же формы иначе: *сватымь, бо-ооооорюѹщагооса* (*борушагоса*) (л. 26–26 об., 73 об.–74). Ср. также такие формы в кондакарях, как *мрачьныыхъ* (*мрачьныхъ*), *неиздречееенныыхъ* (*неиздреченныхъ*), *лѣнниии-выыыыыыыыхъ* (*лѣнивыхъ*) и т.п. (Успенский, 1973, с. 338); такие примеры тем более показательны, что в случае растяжения гласных мы бы ожидали, вообще говоря, сохранения полной формы (ср. сохранение полных форм прилагательного в былинах в зависимости от ритма).

7.11.4. Окончания прилагательных в дат. падеже ед. числа. Ст.-сл. окончаниям *-уему, -юему, -ууму, -уму, -юму* прилагательных в дат. падеже ед. числа муж./ср. рода в рус. изводе ц.-сл. языка соответствуют окончания *-ому, -ему*, ср. ст.-сл. *доброуемоу* – рус. ц.-сл. *добромоу*. Такие окончания становятся регулярными по крайней мере с XII в., тогда как в более ранних рус. памятниках можно встретить и юж.-сл. написания. Необходимо, однако, оговориться, что окончания *-ому, -ему* характерны и для ц.-сл. памятников болгарского извода, т.е. в юж.-сл. изводе ц.-сл. языка наблюдается тот же процесс, что и в рус. изводе (Вайан, 1952, с. 147, 183). Если формы с юж.-сл. окончаниями в рус. текстах объясняются влиянием юж.-сл. протографов, то окончания *-ому, -ему* в юж.-сл. памятниках объясняются, напротив, как инновации.

7.11.5. Окончание 3 л. наст. времени. Ст.-сл. окончанию *-тъ* у глаголов 3 л. наст. времени (ед. и мн. числа) соответствует в ц.-сл. языке рус. извода окончание *-тъ*, ср. ст.-сл. *береть* – рус. ц.-сл. *береть*, ст.-сл. *берѣтъ* – рус. ц.-сл. *берѣтъ*. Рус. орфография явно отражает здесь книжное произношение, обусловленное в свою очередь формами разговорного языка. Отметим, что рус. *-тъ* восходит к о.-сл. **tь* из и.-е. **tī*, т.е. рус. формы представляются более архаичными. Юж.-сл. окончание *-тъ* объясняется не фонетическим развитием, а влиянием указательного местоимения *тъ*. Современные литературная и севернорус. диалектная формы на /т/ твердое развились позднее и независимо от ст.-сл. влияния (в новгородских говорах такие формы появляются с XIII в.); в южнорус., а также в восточнорусских говорах сохранилось мягкое *-тъ* (такого же происхождения и белорусское *-ц* в соответствующих глагольных формах). /т'/ мягкое осталось в литературном языке в реликтовых формах атематических глаголов (ср. *есть, суть, бог вестъ*). Можно полагать, что отверждение *-тъ* в великорус. говорах обусловлено той же причиной, что и в ст.-сл. языке – влиянием указательного местоимения *тъ*. Как и в ряде других случаев (ср., например, падение редуцированных) мы наблюдаем в славянских языках одни и те же общие тенденции, которые сначала осуществляются в юж.-сл., а потом в вост.-сл. языках.

7.11.6. Окончания имперфекта. В отличие от ст.-сл. языка в рус. ц.-сл. языке возможно окончание *-тъ* в форме 3 л. имперфекта: ст.-сл. *видѣаше* – рус. ц.-сл. *видлашаеть*, ст.-сл. *видѣахъ* – рус. ц.-сл. *видлахоуть*. Ср. в Остр. ев. 1056–1057 гг. *ноуждашетъ*, в Арх. ев. 1092 г. *оугнѣтахоуть*. При этом форма имперфекта, по-видимому, была чисто книжной формой, отсут-

вовавшей в рус. разговорной речи (см. 8.7.1). Поэтому в формах с окончанием *-ть* можно видеть результат контаминации ц-сл. форм имперфекта и рус. форм наст. времени. Поскольку при этом в разговорных формах 3 л. наст. времени *-ть* может отсутствовать (ср. формы типа *напише* - 8.4.3), появление окончания *-ть* может объясняться гиперкорректным отталкиванием от разговорного языка; вместе с тем, оно оправдано стремлением к разграничению омонимичных форм 2 и 3 л. имперфекта (ср. 8.7.3; 8.7.4).

7.11.7. Окончания аориста. Подобное же явление, т.е. окончание *-ть* в 3 л. ед. числа встречается и в формах аориста. Можно думать, что это наращение *-ть* и в формах аориста возможно в пределах нормы ц-сл. языка (хотя оно встречается реже, чем в формах имперфекта). Так, например, в Житии Феодосия Печерского из Усп. сб. XII-XIII в. мы находим аористные формы *приять* наряду с *приять* и *прига*, *начать* наряду с *начать* и *нача*. А. И. Соболевский (1907, с. 236) отмечает такие формы в целом ряде евангелий XIV в., например: *възложи на ня руцѣ и отъидеть* (Евангелие 1339 в.), *Илья придетъ и створиша кму кливо хотѣша* (Евангелие 1355 и 1358 гг.) и т.п.

Так же как и в случае имперфекта, появление подобных форм оправдано стремлением к разграничению омонимичных форм 2 и 3 л. аориста. Как и в имперфекте, эти формы имеют, по всей видимости, гиперкорректное происхождение, поскольку в наст. времени книжные и некнижные формы могут противопоставляться именно по наличию *-ть*, т.е. наличие *-ть* выступает как признак книжности, который гиперкорректно может переноситься на формы аориста и имперфекта. Такие формы аориста могут возникать и в результате приложения правила, выработанного при сопоставлении юж-сл. и рус. ц-сл. форм наст. времени: ст-сл. *-тъ* - рус. ц-сл. *-ть*. Если в формах наст. времени на *-ть* можно видеть результат адаптации, то формы аориста на *-ть* возникают вполне искусственным путем. Аорист отсутствовал в разговорном языке (см. 8.7.1), и поэтому юж-сл. формы аориста на *-тъ* могли трансформироваться в формы с *-ть*, причем это искусственное *-ть* могло распространяться и на те классы глаголов, где *-тъ* было этимологически не оправданным.

С появлением грамматик ц-сл. языка формы аориста с окончанием *-ть* в некоторых случаях подвергаются кодификации. Так, согласно грамматике Смотрицкого глаголы с инфинитивом на *-яти* оканчиваются в этой форме на *-ять*, а не на *-я*, т.е. следует говорить *заклять*, *запать*, *зачять*, а не *закля*, *запя*, *зачя* (Смотрицкий, 1619, л. 0/2), ср. также аористные формы *взять*, *отъять* (там же). То же указание повторяется и в московской перепечатке 1648 г. (л. 190 об.); в позднейшей московской перепечатке 1721 г. формы эти квалифицируются как неупотребительные (л. 117). Ср. характерное заявление чудовского инок Евфимия в сочинении о исправлении Миней (1692 г.): "Обрѣтошася... в' тѣх правленныхъ книгахъ, не вѣдомо по какому случаю, реченія многая оставленна неисправлена, по грамматическому художеству во временехъ... времена помѣшена, мѣсто настояща[о] прешедшее..." (Никольский, 1896, с. 79).

В рус. текстах чрезвычайно редки архаические формы сигматического аориста типа *вѣсъ* (только *ведохъ*), *идъ* (только *идохъ*) и т.п. Спорадически встречающиеся формы такого рода объясняются как отражение македонского протографа (Лант, 1975, с. 279).

7.11.8. Основа имперфекта. Ст-сл. показателю имперфекта -ѣа- соответствует в ц-сл. языке рус. извода -ла- (-ла-). Аналогичным образом, в стяженных формах ст-сл. показателю -ѣ- соответствует -а- (-ла-), ср. ст-сл. бѣахъ - рус. ц-сл. *блахоу*, ст-сл. *видѣхъ* - рус. ц-сл. *видахъ* (Дурново, VI, с. 57-60). Н. Н. Дурново считает, что "употребление -ла- в имперфекте вместо -ѣа- в памятниках русского письма основано на известном русским писцам произношении южных славян", читавших в этих формах ѣ как [ä] (там же, с. 60). Итак, рус. написание отражает, по-видимому, произношение, однако произношение южных славян, поскольку живой рус. речи имперфект вообще не был известен (ср. 8.7.1). Отметим, что нестяженные формы имперфекта встречаются в рус. памятниках древнейшего периода весьма редко.

Нестяженные формы имперфекта появляются в более поздних текстах в процессе второго юж-сл. влияния. Они фиксируются в грамматических описаниях, причем противопоставлению стяженной и нестяженной формы может искусственно придаваться какое-то грамматическое различие. См., например, в грамматике Лаврентия Зизания 1596 г. *гавлах* "протяженное" время, *гавлаах* - "пресовершенное" время (Зизаний, 1596, л. 57-57 об.), в грамматике Смотрицкого *читах* определяется как "прешедшее" время, *читаах* - как "мимошедшее" время (Смотрицкий, 1619, л. О/2 об.-О/3; Смотрицкий, 1648, л. 190 об.-191 об.), и т.п.

7.12. Словообразовательные отличия рус. ц-сл. языка от ст-сл. языка: суффикс -ѣн ~ -ан. Ст-сл. суффиксу прилагательных -ѣнъ, употребляемому для обозначения вещества, в рус. ц-сл. языке соответствует -ѣнъ (-анъ), ср. ст-сл. *мѣдѣнъ* - рус. ц-сл. *меданъ*, ст-сл. *дрѣвѣнъ* - рус. ц-сл. *древанъ*. В ст-сл. языке этот суффикс может выступать и в форме -анъ ~ -ѣнъ, но только в особой фонетической позиции, а именно, после палатального (в частности, и в начале слога, т.е. после протетического j - ср. *можданъ* от *мозгъ*, *оусниѣнъ* от *оусникъ*, см. Вайан, 1952, с. 236). Между тем, в рус. ц-сл. языке -ѣнъ ~ -анъ употребляется во всех позициях. Только в этой форме представлен данный суффикс в Остр. ев. 1056-1057 гг., Сл. Кир. Иерус. XI-XII в., Синай. патерике XI в., Мин. 1095-1097, Мстислав. ев. нач. XII в. и т.д. В некоторых памятниках XI в. иногда встречаются и формы с -ѣнъ (Изб. 1073; Сл. Гр. Бог.; Чуд. пс., Панд. Антиоха), но эти случаи явно объясняются влиянием протографа. Характерно, что в Изб. 1073 с ѣ написаны слова, встречающиеся в Евангелии, кроме *роуманъ*, т.е. хорошо известные писцу, а с ѣ - слова, не встречающиеся в Евангелии, кроме *багърѣници*, - при написании таких слов писец, вероятно, в большей степени следовал протографу (Дурново, VI с. 54-55). Написания с -ѣнъ ~ -анъ обусловлены фонетически, т.е. писец следовал здесь произношению - книжному, которое в данном случае совпадало, видимо, с живым.

7.13. Некоторые обобщения. Рассмотрение признаков, отличающих ц-сл. язык рус. извода от ст-сл. языка, позволяет констатировать, что рус. писцы в своей орфографической практике, как правило, исходили из своего книжного произношения. Это книжное произношение по ряду признаков могло быть не противопоставлено разговорному. Так, исчезновение ѣ, новая орфографическая функция ѣ, написание ж в соответствии с о-сл. *dj, написание жд (жг, жч) в соответствии с о-сл. *zdj, *zgj, *zg', написание шч в соответствии с о-сл. *stj,

*skj, *sk', отражение в орфографии нового ятя и /ô/ закрытого объясняются отражением книжного произношения, которое определялось живым произношением, т.е. представляет собой результат приспособления церковной орфоэпии к фонетике разговорного языка. В других случаях орфография рус. писцов отразила книжное произношение, которое было противопоставлено разговорному: сюда относятся написания типа *пре-*, написание нейотированного *е* в начале слова и т.п.

Вместе с тем книжное письмо было связано с рядом орфографических условностей, не опиравшихся на книжное произношение. Реализация таких чисто орфографических норм могла быть связана и с обращением к живому произношению. Так обстоит дело с различием *ъ* и *о*, *ь* и *е* (которые в книжном произношении звучали одинаково), а также с различием *ѣ* и *е* (которое в книжном произношении реализовалось иначе, чем в живом). В обоих случаях ориентация на книжное произношение приводила к орфографически неправильным написаниям, тогда как, исходя из своего разговорного произношения, писцы достигали правильной орфографии.

Если ориентация на произношение (книжное или живое), как видим, чрезвычайно характерна, то следование орфографической традиции как таковой в целом нетипично; оно может быть констатировано, например, в случае опущения еров в замкнутой группе слов.

Обзор признаков рус. редакции ц-сл. языка позволяет, как мы видели, выделить локальные орфографические особенности. Так, для южных рукописей специфичны написания *шч*, *жч*, отражение нового ятя и нового *о* украинского типа, для северных рукописей - написание *жг*, отражение нового *о* великорус. типа. Эти отличия, однако, не есть признаки самостоятельных редакций ц-сл. языка, а варианты, допустимые (но не обязательные) в пределах единой нормы.

8. ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИМ И РУССКИМ ЯЗЫКОМ

8.1. Наддиалектные фонетические явления. Если ц-сл. язык представлял собой определенную унифицированную норму, то некнижный язык в древнейший период дан нам не как единая система, а как совокупность различных диалектов. Для носителя языка в тот период было актуальным не вообще противопоставление ц-сл. и рус. языка, но противопоставление книжного языка родному диалекту. Понятно, что в разных диалектных условиях противопоставление книжного и некнижного строилось по разным наборам признаков. Однако в некоторой своей части эти наборы совпадали - постольку, поскольку ряд явлений был свойствен всем вост-сл. диалектам. Обсуждая фонетические различия между ц-сл. и рус. языком, мы рассмотрим сначала фонетические явления, имеющие наддиалектный характер, т.е. специфичные для вост-сл. диалектов в целом.

8.1.1. Рефлексы *or, *ol перед согласным. В соответствии с о-сл. *or, *ol в позиции перед согласным мы находим в ц-сл. языке *ра, ла*, в рус. языке - *ро, ло*; исключение составляют лишь рефлексы данных сочетаний под восходящей интонацией, которые и в вост-сл. диалектах давали *ра-* и *ла-* (ср. *рало, лань*). Вне этих условий рус. и ц-сл. языки противостояли, ср. ц-сл. *работа* - рус. *робота*, ц-сл. *лакътъ* - рус. *локътъ* и т.д.

В современном языке формы с *ра, ла* являются славянизмами, ср. соответствие *равный* - *ровный*, *работать* - *робить*, *ладья* - *лодка*. Формы с *ро, ло* можно найти и в ц-сл. текстах, однако такого рода русизмы представляют собой явное отклонение от книжной нормы. Так, например, во втором почерке Изб. 1073 можно встретить *роботати, робъ, распаса, лодиа, локътъ*.

Соответствующее противопоставление относится и к приставке *раз-* ~ *роз-*, ср. в современном языке семантическое противопоставление *разный* - *розный*. В Изб. 1073 можно встретить *рослаблениа* (1 почерк), *розоумъ* (2 почерк), но это опять-таки явные отступления от ц-сл. нормы.

8.1.2. Полногласие. Ц-сл. неполногласные формы противостоят рус. полногласным. Таким образом,

CraC - CoroC	(градъ - городъ)
Clac - ColoC	(гласъ - голосъ)
CreC - CereC	(брегъ - берегъ)
ClěC - ColoC	(плѣнь - полонъ).

В современном рус. языке неполногласие является ярким признаком славянизмов, которые обычно коррелируют с полногласными русизмами, противопоставляясь стилистически (*хлад* - *холод*), а иногда и семантически (*бремя* - *беременный*). В некоторых случаях славянизм полностью вытеснил в современном языке соответствующий русизм: так, *время* вытеснило *веремя*, которое зафиксировано в др-рус. памятниках, но неизвестно ни литературной, ни великорус. диалектной речи (ср. 4.4). Употребление неполногласных форм в современном языке имеет ак-

тивный характер, и неполногласие выступает как продуктивная черта при образовании неологизмов (ср. *млекопитающее, здравоохранение, вратарь* и т.п.).

Усвоению неполногласных форм рус. ц-сл. языком могли способствовать исконные рус. формы типа *братъ*. В ц-сл. памятниках наряду с правильными неполногласными формами можно встретить и гиперкорректные образования типа *план* - в Сл. Гр. Бог. XI в. (л. 360б) или в Чуд. пс. XI в. (л. 48 об.); *план*- вместо *плѣн*- указывает на то, что при порождении неполногласной формы писец исходил из формы живой речи (*полон*). Если при порождении *план*- из *полон*- говорящий исходит из коррелирующих пар типа *млат* - *молот*, то в других случаях гиперкорректные формы образуются иначе, ср. в Панд. Антиоха XI в. *хроминѣ* вместо *храминѣ*, в Синай. патерике XI в. *злотъникъ* вместо *златъникъ*. При порождении таких форм просто устраняется лишнее *о* в полногласных сочетаниях. Подобные гиперкорректные написания представляют собой отклонение от нормы ц-сл. языка; показательно, что они могут подвергаться правке, ср. в Минее нач. XII в. (ГИМ, Син. 162) исправление *злото* на *злато* (л. 211 об.), в другой Минее того же времени (ГИМ, Син. 161) находим исправление *злотошбразъне* на *златошбразъне* (л. 109).

В ц-сл. текстах можно встретить и полногласные формы, однако они представляют собой, как правило, ошибки писца. В одном случае полногласные формы допускаются ц-сл. орфографической нормой, именно при переносе слова со строки на строку; это связано с тем, что писец при переносе должен оканчивать строку непременно гласной буквой и поэтому, не имея возможности перенести *ст-рана*, он может переносить *сто-рона* (Кандаурова, 1968, с. 8-10). К такого рода лексикализованным случаям следует относить, видимо, вост-сл. собственные имена, которые, как правило, пишутся в своей полногласной форме. Так, например, имя "Владимир" регулярно пишется как *Володимиръ* ~ *Володимеръ*, топоним "Новгород" регулярно пишется как *Новѣгородъ*, а не как *Новѣградъ* и т.д.

8.1.3. Рефлексы **tj*, **kt'*. Ц-сл. /šč/ из **tj*, **kt'* соответствует рус. /č/, ср. ц-сл. *свѣща*, рус. *свѣча*, ц-сл. *хощеши*, рус. *хочеши*, ц-сл. *аще*, рус. *яче* (*аче*) и т.д.; аналогичным образом ц-сл. причастиям на *-ѣщ-*, *-ѣщ-* соответствуют рус. формы на *-уч-*, *-яч-*. В современном рус. языке формы с *щ* при наличии коррелянтных форм с *ч* свидетельствуют о ц-сл. происхождении, ср. *мощь* - *мочь*. В некоторых случаях славянизм полностью вытеснил соответствующий русизм. Так, до нас дошли только ц-сл. формы *пища*, *вещь* при том, что исконно рус. формы **глича*, **вечь*, которые мы можем реконструировать на основании родственных форм других славянских языков, не зафиксированы ни в современном языке (литературном или диалектном), ни в письменных памятниках (см. 4.4).

Указанная закономерность может нарушаться в одном случае. В рус. ц-сл. язык вошло *чоуж-* (*чоужд-*, *чуж-*, *чужд-*) при том, что в ст-сл. языке этот корень представлен в форме *штоуждъ-*. Основа *чоуж-* (*чоужд-*) довольно часто встречается уже в Изб. 1073, и это единственный случай написания в этом памятнике *ч* в соответствии со ст-сл. *шт* (Дурново, IV, с. 78). В дальнейшем такое написание становится вполне обычным в рус. ц-сл. текстах, хотя еще в Усп. сб. XII-XIII в. форма *щуж-* (*щужд-*, *щужд-*) преобладает над *чуж-*. Надо полагать, что произошла контаминация основы *чоуж-* и *чюд-*, причем такая же контаминация произошла в сербском и болгарском языке, ср. серб. ц-сл. *чоуждъ*, болг. *чужд-*, *чужд-*. В свою очередь "чудо" могло пи-

саться в ц-сл. языке как *штоудо* (Фасмер, IV, с. 378-379). Таким образом, написание *чоуж-* появляется под влиянием слова "чудо".

8.1.4. Йотация перед /а/ в начале слова. Ц-сл. /а/ в начале слова соответствует рус. /ја/, ср., например, ц-сл. *агна*, рус. *ягна*, или в современном языке пары типа *агнец - ягненок*. Следует иметь в виду, что в о-сл. языке слова не начинались с /а/ за исключением союза *а*. В ст-сл. текстах мы наблюдаем колебания начальных *а* и *я*. Слова, которые всегда имеют *а-*, - это либо заимствования, т.е. специфически книжная лексика (например, *ангель*), либо слова, в которых о-сл. **or*, **ol* в результате метатезы дали не *ра*, *ла* (ср. 8.1.1), а *ар-*, *ал-*, например, *алкати* (ср. *лакати*), *алдиѧ* (ср. *ладиѧ*). Вместе с тем, в юж-сл. говорах в результате фонологического развития начальная йотация в некоторых словах исчезает, ср. отсюда *азъ*, *аще*, *агода*, *агньць*. Соответственно, отсутствие начальной йотации перед /а/ и становится признаком ц-сл. языка.

Необходимо отметить, что йотация перед /а/ могла сохраняться и в некоторых юж-сл. говорах. Так, для македонских говоров была характерна форма *jazъ* (Селищев, II, с. 112). Тем не менее, на рус. территории форма с йотацией воспринималась как русизм.

Следует подчеркнуть, что наличие или отсутствие йотации перед начальным *оу-* для данного периода не является признаком, противопоставляющим ц-сл. и рус. языки. Отсюда в ц-сл. текстах мы наблюдаем варьирование написаний с начальными *оу* и *ю*, ср. в Симон. пс. 1270-1296 гг.: "Многажды брашаса со мною Ѡ юности моѧ. да речеть нынѣ изѣ. многажды брашаса со мною Ѡ оуности моѧ" (Пс. СХХVIII). В дальнейшем же, а именно после второго юж-сл. влияния, ц-сл. и рус. языки будут противопоставляться и по этому признаку (см. 11.3.5).

8.1.5. Соответствие /е/ - /о/ в начале слова. Ц-сл. /е/ или /је/ в начале слова соответствует в некоторых случаях рус. /о/, ср. ц-сл. *езеро* ~ *кзеро*, *едѣва* ~ *кдѣва*, *елень* ~ *клень*, *кдинъ* и рус. *озеро*, *одѣва*, *олень*, *одинъ*. Любопытно отметить, что такого рода противопоставление может иметь место и в грецизмах, ср. *ектениѧ* ~ *иктениѧ* и рус. *октениѧ* (последняя форма встречается в Тип. уставе, а также в целом ряде других памятников, ср. Дурново, IV, с. 82; Срезневский, II, стлб. 654).

8.1.6. Рефлексы *ѣ, *ъ. Этимологические *ѣ, *ъ в ц-сл. произношении предстают в виде /о/ и /е/, тогда как в живом рус. произношении им соответствуют особые звуки /ѣ/ и /ѡ/. Это противопоставление, как мы уже знаем, сохранялось до времени падения еров (см. 7.5.3; 7.5.5).

8.2. Диалектные фонетические отличия. Как мы уже говорили, для каждого диалекта имеется свой набор признаков, по которым он противопоставлен книжному языку. Все разнообразие таких признаков вряд ли поддается реконструкции. Для большинства ареалов мы не располагаем некнижными текстами достаточно раннего времени; лишь из ограниченного числа центров доходят до нас и однозначно локализуемые книжные тексты. Диалектологические данные, относящиеся к существенно более позднему периоду, также недостаточно информативны, поскольку они могут отражать позднейшие процессы диалектной конвергенции, т.е. стира-

ния определенных диалектных различий, имевших место в древности. Поэтому мы остановимся лишь на основных диалектных чертах, которые определяют дистанцию между книжной и разговорной речью.

8.2.1. Рефлексы *g. Вост-сл. говоры различались, как мы уже упоминали, по произношению *g: в одних здесь был фрикативный звук, в других - смычный. Фрикативное произношение характерно для южных говоров, причем граница распространения такого произношения со временем продвигалась на север (Хабургаев, 1980, с. 118 сл.). В тех говорах, в которых было взрывное [g], оно было противопоставлено фрикативному [ɣ], свойственному книжному произношению. Таково, в частности, было положение во всех северных культурных центрах - Новгороде, Ростове, Владимире и т. д. (см. 7.6).

8.2.2. Характер противопоставления /e/ и /ě/. В ряде рус. говоров согласный перед /e/ произносился мягко, тогда как в книжном произношении он звучал твердо (ср. 7.8). Мягкость согласного перед /e/ свойственна большей части великорус. и белорусских говоров. Поскольку в ряде современных великорус. говоров перед /e/ стоит твердый согласный, можно думать, считая это произношение реликтовым, что в прошлом произношение такого рода захватывало заметную часть великорус. территории; это произношение свойственно и основной массе укр. говоров.

У нас нет данных для реконструкции древнейшего диалектного произношения /ě/. Можно полагать, однако, что качество /ě/ зависело от характера противопоставления /ě/ и /e/: в тех говорах, где перед /e/ был твердый согласный, /ě/ произносилось иначе, чем в говорах, где перед /e/ произносился мягкий согласный. Дифтонгическое произношение /ě/ было, видимо, свойственно прежде всего тем говорам, где перед /e/ согласный смягчался и, следовательно, мягкость предшествующего согласного не служила для противопоставления рефлексов *е и *ё. О том, как живое произношение соотносилось с книжным, было сказано выше (см. 7.8).

8.2.3. Характер противопоставления /i/ и /i/. В южных рукописях встречается смешение букв и и ы, которое также, безусловно, представляет собой отклонение от нормы. Фонетические причины этого явления не вполне ясны (ср. Шевелев, 1979 с. 182 сл.), но оно имеется уже в древнейших памятниках и явно отражает диалектную основу. Мы наблюдаем его уже в Арх. ев. 1092 г. (написанном, как полагают, на юге): *годыны, постыдытьса*, в Добрил. ев. 1164 г.: *бити* (вместо *быти*), *просыти, совѣтъныкъ*. Менее показательны случаи, где смешение ы и и имеет место после *р*, так как здесь оно может быть обусловлено отражением протографа, ср. в Изб. 1073 *прикривае, риба*; в Арх. ев. *рибы, рызы* (Шахматов и Крымский, 1922, с. 65).

8.2.4. Характер противопоставления *v и *u. Другой особенностью южных (галицко-волинских) рукописей является смешение *в* и *у*, см., например, в Добрил. ев. 1164 г. *доуль-кть*, в Тип. ев. XII-XIII вв. *навѣчиша, въмыю, упрашаахуть* (Соболевский, 1884 с. 7, 15). Нужно думать, что в соответствующих говорах рефлексом *v был билабиальный полугласный

звук типа [ц]. Смещение такого рода представляет собой явное отклонение от орфографической нормы.

8.2.5. Переход /е/ в /о/. Переход /е/ в /о/, равно как и /ь/ в /ъ/ после шипящих и /j/ (т.е. после палатальных) характеризует большую часть вост-сл. говоров (кроме, видимо, галицких – Шевелев, 1979, с. 155); этот переход осуществляется в тех случаях, когда в следующем слоге стоит непередний гласный, представляя собой, таким образом, своеобразное проявление гармонии гласных. Этот переход может спорадически отражаться в памятниках, хотя он является явным отклонением от нормы. Произношение гласной [е] (как на месте *е, так и на месте *ь) в этой позиции было, видимо, нормой книжного произношения, и орфография основывалась здесь именно на нем. Очевидно, у писца были определенные правила, по которым он писал е и ь, там где в разговорном произношении звучали [о] и [ъ]. Эти правила и обеспечивали орфографическую норму. Тем не менее, встречаются ошибки против орфографии, обнаруживающие разговорное произношение. Так, в Изб. 1073 однажды встречается написание *чоловъка* (род. ед., л. 179) при том, что обычно это слово пишется здесь с начальным *че-*. В Сл. Ипполита XII в. находим: *съкажомъ* (л. 22), *блажонъ* (л. 99), *моужомъ* (дат. мн., л. 21), *бывъшомъ* (дат. мн., л. 24) и т.д., в Лобк. прол. 1262 г.: *зъвавъшомоу* (л. 49), *пришьдъшомоу* (л. 54), *пославъшомоу* (л. 67 об.), *съшьдшомоу* (л. 124), ср. многочисленные примеры у Соболевского (1907, с. 59–61). В тех же условиях /ь/ переходит в /ъ/. Так, в Остр. ев. 1056–1057 гг. основа *шьд-* 57 раз написана с ером (т.е. *шьд-*), в Панд. Антиоха XI в. замена ь на ъ после шипящих зафиксирована более, чем в четырехстах случаях; спорадически такие примеры наблюдаются и в других памятниках XI–XII вв., ср. Изб. 1073 *что* (л. 114в, 202г), *многашъды* (л. 99г, 107а) и т.д., ср. многочисленные примеры у Дурново (VI, с. 22). Особенно знаменательны данные Тип. устава XI–XII в., где в ненотном тексте в соответствии с орфографической традицией пишется *соущьствъмъ*, а в соответствующем месте нотного текста тот же писец пишет *сущьствъзмъ-ь-ь* (л. 44–44 об.); совершенно аналогично ненотной форме *просвъщъша* соответствует нотная форма *просвъщъшаааго-о-о* (л. 49 об.-50 об.). Таким образом, в живом произношении писца Тип. устава в соответствующих позициях звучал /ъ/, но это произношение, как правило, не оказывало влияния на орфографию. Аналогичный переход имел место и после /j/, ср. в Изб. 1073 *василиово*, в Луцк. ев. XIV в. *кого*, *комоу* (наряду с *вашеого*) (Шевелев, 1979, с. 150–151).

Относительная редкость подобных примеров (хотя есть памятники, в которых они встречаются довольно часто) показывает, как уже говорилось, что писцы пользовались определенными правилами, позволявшими им соблюдать орфографическую норму. О наличии таких правил свидетельствуют гиперкорректные формы, где они применены к грецизмам, имевшим этимологически правильное /о/ после /i/ или /j/. Так, в новгородских текстах XIV–XV вв. нередко встречается форма *Еванъ*, ср. такую форму в грамотах Великого Новгорода (Бэклунд, 1959, с. 89–90, 101–102). Такую форму мы находим и в надписи на новгородской иконе XIII в. с изображением свв. Иоанна, Георгия и Власия (собр. Рус. Музея). Аналогичным образом, имя "Иосиф" может в новгородских текстах писаться как *Есиф* или *Есип* (Бэклунд, 1959, с. 151–156). Таким же образом объясняется и распространенная форма *Иевъ* от имени "Иов", ср. про-

изводное отсюда *Евша* и т.п. (Успенский, 1969, с. 149–150). Наличие гиперкоррекции однозначно свидетельствует о том, что разговорное произношение входило в конфликт с книжной нормой.

Неясно, осуществлялся ли переход /е/ в /о/ и /ь/ в /ъ/ после палатальных сонорных. Отсутствие специальных букв для палатальных сонорных практически исключало возможность отражения такого перехода на письме: если бы писец использовал буквы *о* и *ъ* вместо *е* и *ь* и писал бы, например, *бѣлонъ* вместо *бѣленъ* (страд. причастие), форма должна была бы читаться с непалатальным сонорным (написание *ъ* и *о* после шипящих к такому результату, понятно, не приводило). Тем не менее, отдельные очень редкие случаи таких написаний встречаются, ср. *к номуу* в берестяной грамоте № 10 второй пол. XIV в., ср. в той же грамоте *межу нобомъ и землею*. О переходе /ь/ в /ъ/ после палатальных сонорных может свидетельствовать и запись с растяжением гласных в Тип. уставе XI–XII в. формы *вольнью* как *воолтъьъ·ььь·ьь·нью* (л. 76), ср., впрочем, чередование *ера* и *еря* при их растяжении и в других позициях в данном памятнике (Успенский, 1973, с. 319–320).

В тех говорах, в которых после падения редуцированных последовательно развивается корреляция мягких и твердых согласных (например, в ростово-суздальских и в части новгородских), палатальные согласные функционально объединяются с мягкими (в случае палатальных сонорных это приводит к совпадению их с соответствующими мягкими сонорными, см. 7.7). Отсюда переход /е/ в /о/, который раньше осуществлялся в позиции после палатальных, распространяется здесь на позицию после мягких. При этом переосмысляются и самые условия этого перехода: раньше он осуществлялся перед непередним гласным последующего слога, теперь, когда слабые редуцированные пали, те же условия обобщаются как положение перед твердым согласным. Таким образом, переход /е/ в /о/ в этих говорах имеет место после мягкого согласного перед твердым, причем в одних говорах он осуществляется безотносительно к ударению ([s'olo] "село"), а в других лишь под ударением ([s'ol] "сел"). В тех говорах, где корреляция твердых и мягких не была проведена последовательно (такова, например, основная масса украинских говоров), палатальные не объединяются в один класс с мягкими, и поэтому на положение после мягких переход /е/ в /о/ не распространяется.

Переход /е/ и /о/ не отразился на рус. книжном произношении. Отсюда возникает один из основных фонетических признаков, противопоставляющих ц-сл. и рус. (украинскую, белорусскую) разговорную речь. По этому признаку могут определяться славянизмы в современном литературном языке, которые в ряде случаев семантически противопоставлены русизмам, ср. такие пары, как *падеж* - *падѣж*, *небо* - *нёбо*. Отсутствие перехода /е/ в /о/ в соответствующих фонетических условиях воспринимается как специфический признак книжности. Этим обусловлено его распространение уже в относительно недавнее время. Так, еще в XIX в. в литературной разговорной речи были приняты формы *нёбо*, *лёв*, *совремѣнный*; тем самым, семантическое противопоставление *небо* - *нёбо* представляет собой инновацию.

8.2.6. Отражение второй палатализации. Вторая палатализация имела место не во всех вост-сл. говорах; незатронутыми ею остались говоры новгородско-псковского ареала (Зализняк, 1982). Для этого ареала, соответственно, были противопоставлены книжные формы типа *цѣлый*, *Лоуцѣ*, *на брезѣ* и т.д. и разговорные формы типа *кѣлый*, *Лоукѣ*, *на берегѣ* и т.д. Формы второго рода последовательно представлены в берестяных грамотах, встречаю-

щиеся здесь иногда случаи отражения второй палатализации объясняются исключительно на счет ц-сл. влияния.

В великорус. говорах, отразивших вторую палатализацию, в формах словоизменения имеет место процесс аналогического выравнивания, при котором уничтожается возникшее в результате второй палатализации чередование заднеязычных со свистящими (*руцѣ* → *рукѣ*, *друзи* → *други*; *послусн* → *послухи* и т.п.). Этот процесс последовательно отражается в некнижных памятниках с XIV в. Поскольку ц-сл. язык этому процессу не подвержен, образуется целый ряд новых противопоставлений ц-сл. и рус. парадигм. Следует отметить, что в украинских и белорусских говорах подобного выравнивания не происходило.

Аналогичным образом, в рус. языке появляется /sk'/ перед гласными переднего ряда. В ц-сл. же языке сохраняется старое состояние: еще в о-сл. период *sk перед *ѣ* < *oi* изменялось в одних говорах в /sc/, в других - в /st/; в ст-сл. памятниках встречается как *сц*, т.е. написания *иудеисцѣмъ*, *людьсциі* (Сав. книга, Зогр. ев.), так и *ст*, т.е. написания *дѣстѣ*, *чловѣцѣсти* (Супр. рукопись). Сочетание *ст*, являвшееся в окончаниях именных основ на *sk в некоторых падежах, рано стало спорадически заменяться через *ск*: *золотѣ женьскѣ*, *в чловѣцѣскѣи доуши* (Изб. 1073), *земли роусьскѣи* (Сказание о Борисе и Глебе, в Усп. сб. XII-XIII в., л. 176, ср. еще л. 18г). Надо полагать, что *ск* в старших рукописях является по аналогии, т.е. это явление относится не к фонетике, а к морфологии. В результате этого процесса возникают противопоставления типа ц-сл. *ангельстѣй* - рус. *ангельской*.

8.2.7. Неразличение аффрикат (цоканье). Для северо-запада вост-сл. территории (новгородско-псковские, смоленско-полоцкие и тверские говоры) характерно неразличение аффрикат, т.е. совпадение рефлексов *с и *ѣ в одном согласном (цоканье). Соответственно, в некнижных текстах, написанных на этой территории, наблюдается смешение букв *ц* и *ч*. В книжных текстах также может наблюдаться такое смешение, хотя здесь оно явно противоречит орфографической норме и несомненно должно рассматриваться как ошибка писца. Об этом определенно свидетельствуют встречающиеся в ряде памятников исправления, ср., например, в Стихираре XII в. (ГИМ, Син. 279) исправления *моученице* на *моучениче* (зват. ед. муж., л. 41 об.), *вѣньца* на *вѣньча* (аор. 3 л. ед., л. 104 об.), в Минее XII в. (ГИМ, Син. 161) *творьча* на *творьца* (род. ед., л. 61) (ср. подробнее: Живов, 1984, с. 266).

Для того чтобы соблюсти орфографическую норму, предполагающую этимологически правильное написание *ц* и *ч*, носитель цокающего говора должен был очевидно прибегать к искусственным орфографическим правилам. На природу этих правил указывает характер ошибок, чаще всего совершаемых книжным писцом. Анализ случаев смешения *ц* и *ч* показывает, что оно преимущественно встречается после букв *ь* и *и*, т.е. в позиции, где были условия для третьей палатализации. В этой позиции на месте *с может появляться *ч* (когда, например, пишут *лица* вместо *лица*, род. ед.), а на месте *ѣ может появляться *ц* (когда, например, пишут *съконьца* вместо *съконьча*, аор. 2/3 л. ед.). Так, например, в первом почерке новгородской ноябрьской Минеи нач. XII в. (ГИМ, Син. 161) всего сделано 47 ошибок (что составляет 1,7% от числа всех написаний аффрикат), из них 44 относятся к указанной выше категории и всего лишь 3 ошибки - к другим случаям. Такого рода распределение ошибок может быть отмечено и

в целом ряде других новгородских рукописей. Как видим, писцы легко справлялись с правильным написанием в случае рефлексов второй палатализации и в случае рефлексов *ѣ, находящихся не после букв *ь* и *и*. Исходя из этого, можно реконструировать правила, которыми руководствовался новгородский книжный писец. Поскольку на новгородско-псковской территории вторая палатализация не проходила и книжным формам с *ц*, отражающим вторую палатализацию, здесь соответствовали разговорные формы с /k'/, писец мог применять правило: "Если в разговорном языке слышится [k'], то в книжном письме пишется ц". Столь же просто регулировалось и написание аффрикаты не после букв *ь* и *и*, здесь могли стоять только рефлексы *ѣ, т.е. писец мог применять правило: "Если в разговорном языке слышится аффриката, а предыдущая буква не *ь* или *и*, в книжном письме пишется ч". Сложнее обстояло дело с позицией после букв *ь* и *и*: аффриката, которая слышалась в соответствующих формах разговорного языка, могла быть как рефлексом *ѣ, так и рефлексом *с (в результате третьей палатализации). Чтобы соблюсти здесь орфографическую норму, писец должен был пользоваться грамматической характеристикой форм *и*, понятно, мог при этом делать большое число ошибок (см. подробнее: Живов, 1984). В принципе правила, использующие и грамматическую информацию, могли обеспечивать полное соблюдение орфографической нормы: есть целый ряд памятников, написанных в Новгороде, в которых цоканье не отражается вообще (Остр. ев. 1056–1057 гг., Мстисл. ев. нач. XII в., Юрьев. ев. ок. 1120 г. и т.д.). На другом полюсе лежат памятники, написанные недостаточно грамотными писцами, процент ошибок может достигать здесь 20% всех написаний аффрикат (как это имеет место, например, в Стихираре 1157 г., ГИМ, Син. 589).

Остается неясным, каким было книжное произношение аффрикат на цокающей территории, т.е. допускалось ли в книжном произношении их неразличение или же оно было присуще только произношению разговорному. Если неразличение аффрикат было присуще лишь разговорному произношению, то книжное различение аффрикат должно было опираться на орфографию, тогда как орфография основывалась на описанных выше правилах. Если цоканье было свойственно и книжному произношению, то этимологически правильное написание *ц* и *ч* оказывалось чистой орфографической условностью (подобной этимологически правильному написанию *ъ* и *о* или *ь* и *е*, ср. 7.5.4).

8.2.8. Второе полногласие. К севернорус. (в частности, новгородским) особенностям относят и явление так называемого второго полногласия, отразившееся в современных говорах в формах типа *верех*, *молонья*. Это явление вслед за Шахматовым обычно связывают с падением редуцированных, причем считают, что в группах, восходящих к о-сл. *СѣгС, *СѣгС, *СѣлС, *СѣлС в результате сокращения редуцированных последующего слога слоговые плавные удлиннялись, а после падения редуцированных "долгие слоговые плавные утрачивали и свою слоговость, и долготу. Благодаря этому не только предшествующие плавным /ѣ/ и /ь/ изменялись в /о/ и /е/, но и после них развивались гласные /о/ и /е/, т.е. образовывалось так называемое второе полногласие, например, *тѣ|ѣ|гъ > *тѣ|ѣ̄|гъ > torog, *z'ь|ѣ|пъ > *z'ь|ѣ̄|пъ > *z'er'en, *рѣ|ѣ|пъ > *рѣ|ѣ̄|пъ > roŋon" (Сидоров, 1966, с. 19). Имеется и другое объяснение второго полногласия, восходящее к Соболевскому, кото-

рое видит в нем древний процесс: группы типа *CorC и типа *CъrC развивались аналогичным образом, так что если *CorC давало CoroC, то *CъrC давало CъrъC (Марков, 1958). В зависимости от того, какое принимается объяснение, время возникновения данного различия между книжной и разговорной речью относится либо к эпохе возникновения письменности, либо ко времени после падения редуцированных. Существенно отметить, что книжные памятники не дают указаний для решения этого вопроса: написания типа *дълъжьникъ* в Остр. ев. не могут быть с уверенностью сочтены отражением живого произношения, поскольку их легко объяснить как явление ц-сл. орфографии (см. 7.5.2) – у этого последнего объяснения по крайней мере то преимущество, что оно распространяется и на подобные формы в памятниках киевского происхождения, например, в Изб. 1073 *твьрьдо, извьрьзи* и др. (ср. Шахматов, 1915, с. 182).

8.2.9. Неразличение шипящих и свистящих. Для псковской территории характерно неразличение шипящих и свистящих: и *š, *ž, и *s, *z давали здесь одинаковые рефлексy, а именно, мягкие шепелявые [š''], [ž'']. Соответственно, в псковских памятниках (которые фиксируются с XIV в.) мы наблюдаем смешение букв ш и с, ж и з. Так, например, в Псковском прологе 1383 г. встречаем *помѣсати* вместо *помѣшати*, *зѣлаше* вместо *желаше*, *в затву* вместо *в жатву*, *жимою* вместо *зимою*, *до шего дне* вместо *до сего дне* (Борковский и Кузнецов, 1965, с. 95). Подобные написания должны рассматриваться как отклонения от нормы, обусловленные влиянием живого произношения, противопоставленного здесь произношению книжному.

8.2.10. Аканье и яканье. Ярким признаком рус. диалектного произношения, противопоставленного книжному ц-сл. произношению и отражающегося в ц-сл. памятниках лишь в виде спорадического отклонения от нормы, является аканье. Старейший памятник, отражающий аканье, – написанное в Москве Евангелие 1339 г., ср. *кака* вместо *како*, *дивна* вместо *дивно*, *апустѣвшии* вместо *опустѣвшии*. Другим памятником такого рода является Евангелие 1354 г., написанное в Переяславле Залесском (Соболевский, 1907, с. 76). С конца XIV в. ц-сл. памятники со спорадическим отражением аканья встречаются достаточно часто, в частности аканье представлено в московском Евангелии 1393 г. и в московской Псалтыри 1397 г. (известной под названием Киевская Псалтырь), которые написаны, по-видимому, одним и тем же писцом Спиридоном. Относительно происхождения аканья существуют разные мнения. Одни ученые связывают этот процесс с падением редуцированных и соответственно относят его к концу XII или к XIII в. (см. Борковский и Кузнецов, 1965, с. 149). Более вероятным представляется мнение, согласно которому аканье обусловлено балтийским субстратом и связано с тем, что индоевропейское *ā переходило в *o под ударением и не переходило в *o в безударном положении (Чекман, 1975; Лекомцева, 1978; Лекомцева, 1980). При такой гипотезе возникновение аканья относится к существенно более раннему времени, и в принципе не исключено, что книжное оканье в ряде диалектов противостояло разговорному аканью со времени появления литературного языка. То обстоятельство, что аканье сравнительно поздно отражается в памятниках, может объясняться тем, что до нас не дошли в сколько-нибудь широком объеме тексты, написанные на акающей территории.

Приблизительно так же обстоит дело с противопоставлением книжного произношения и разговорного яканья, которое также может объясняться либо как относительно поздний процесс, либо как явление, обусловленное балтийским субстратом.

8.3. Морфологические явления именного и местоименного склонения. Отличия книжного языка от некнижного в сфере именного и местоименного склонения ограничены лишь небольшим набором признаков. При этом необходимо отличать признаки, изначально специфичные для вост-сл. говоров, от тех признаков, которые развились в них позднее. Ряд явлений, развившийся в диалектах, никак не отразился в книжной норме, и это обусловило возникновение новых противопоставлений между книжным и разговорным языком. Тем не менее, вне определенного набора признаков, противопоставлявших книжный и некнижный язык (на них, видимо, книжники обращали специальное внимание), явления живого языка могли отражаться в книжных текстах. Нас, естественно, будут прежде всего интересовать признаки, на которых основывалась оппозиция книжного и некнижного языка.

8.3.1. Перегруппировка типов склонения и ее последствия. Создание славянской книжной традиции относится к тому периоду, когда во всех славянских диалектах шла перегруппировка типов склонения, поскольку типы основ не были уже актуальным для славянского языкового сознания принципом. Такая перегруппировка типов склонения происходит и в вост-сл. говорах. Поскольку для ц-сл. именного словоизменения нет четко фиксированной нормы, вост-сл. диалектные процессы могут отражаться и в ц-сл. памятниках, не обязательно выходя при этом за пределы книжной нормы. Однако, в результате перегруппировки типов склонения в рус. языке появляются особые падежи (так называемые второй родительный и второй местный). Соответствующие формы с окончанием *-у/-ю* спорадически встречаются и в ц-сл. памятниках, ср. *от льноу* (Изб. 1073), *от бою* (Усп. сб. XII-XIII в.), *въ гною* (Паремейник 1271 г.) и т.п. (Дурново, 1924, с. 272-273). Это явление сводится, однако, к окказиональному внесению в книжный текст отдельных форм, нарушающих книжную норму; самые категории второго родительного и второго местного отстаются полностью исключенными из книжного языка. Мы не будем специально останавливаться на многих других преобразованиях форм именного словоизменения (таких, как развитие род. мн. с окончанием *-ов/-ев*, дат. ед. с окончанием *-у/-ю* и т.п.), поскольку неясно, в какой мере они были актуальны для противопоставления книжного и некнижного языка; этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

8.3.2. Основы на *з. Падежные формы существительных ср. рода с основой на *-ес-* типа *тѣлесе, словесе, небесе* и т.п. являются специфически книжными, поскольку в живом рус. языке им соответствуют формы с основой, равной основе им. падежа - *тѣла, неба, слова* и т.п. Вместе с тем, в рассматриваемый период эти последние формы допускаются и в ц-сл. текстах (см., например, в Мин. 1095-1097); таким образом, если формы с основой на *-ес-* предстают как маркированные книжные формы, то противостоящие им формы с основой, равной основе им. падежа, по-видимому, не воспринимаются как некнижные.

В дальнейшем варианты формы *слова ~ словесе, слову ~ словеси* и т.п. могут противопоставляться в ц-сл. языке по своему употреблению, а именно регламентируется осо-

бое склонение лексики *слово* как обозначения Бога (второй ипостаси Троицы - "Бога Слова"), отличное от склонения той же лексики в иных значениях (см. 12.5). Для рассматриваемого периода это противопоставление нехарактерно.

8.3.3. Местоимения в дат. и местн. падеже ед. числа. Ц-сл. местоимениям *тебѣ, себѣ* соответствуют рус. местоимения *тебѣ, себѣ*. Последние формы встречаются в ц-сл. памятниках, например, в первом почерке Изб. 1073, однако, представляют собой отклонения от книжной нормы.

8.3.4. Прилагательные в им. падеже ед. числа. Ц-сл. окончания прилагательного на *-ый, -ий* в рус. языке соответствовали окончания с редуцированными, причем рус. формы можно считать более архаическими, непосредственно сохраняющими структуру *добръ + и, синь + и* с основной формой краткого прилагательного. В результате прояснения редуцированных в сильной позиции в рус. языке появляются окончания *-ой, -ей*, противопоставленные ц-сл. *-ый, -ий*. Написания с *-ой, -ей* отмечаются со второй пол. XIII в.

На основании этого различия возникают семантические противопоставленные пары такие, как *благий* "блаженный, святой" - *благой* "дурной, придурковатый". До нач. XX в. эти слова противопоставлялись не только по окончанию, но и по фрикativному или взрывному произношению согласного, соответствующего букве *г*. Ср. запись Ломоносова в подготовительных материалах к "Российской грамматике": "*Благій (blahjī) - bonus. Благой (blagoi) - fatuus*" (Ломоносов, VII с. 619).

8.3.5. Прилагательные в косвенных падежах. В рус. языке парадигма прилагательного испытывает влияние местоименного склонения, в силу чего появляются соответствия:

	ц-сл.	рус.	ср. рус. местоимение
род. ед. жен. рода	-ыгъ (добрыгъ)	-оѣ (доброѣ)	тоѣ
дат. и местн. ед. жен. рода	-ѣи -ии (добрѣи)	-ои -еи (доброи)	тои сеи
местн. ед. муж. и ср. родов	-ѣ(е)мь (добрѣ(е)мь)	-омь (добромь)	томь
род. и местн. дв. ч. всех родов	-ую -юю (добрую)	-ою -ею (доброю)	тою сею
род. ед. муж. и ср. родов	-ааго, -аго -яаго, -яго (добраго)	-ого -его (доброго)	того

Следует отметить, что противопоставление ц-сл. *-аго* и рус. *-ого* (род. ед.) появилось, по-видимому, не сразу. Еще в XI-XII вв. формы с *-аго* не были чужды живой речи, как это стало впоследствии, когда склонение членных прилагательных в рус. языке полностью подчинилось влиянию склонения указательных местоимений. Позднее, с развитием в рус. диалектах

окончания *-ово (-ова)* формы с *-ого* могут фигурировать в ц-сл. текстах в качестве допустимых вариантов: окончания *-ого* и *-аго* объединяются в этом случае в противопоставлении маркированному книжному окончанию *-ово*.

Что касается окончания род. ед. жен. рода, то здесь следует отметить, что эти формы имеют то же происхождение, что и окончания существительных мягкой разновидности в род. ед. (*-ѣ*): в обоих случаях *ѣ* во флексии является отражением так называемого "третьего носового", называющегося также "носовым ятем". Тем не менее, если формы существительных на *-ѣ* допустимы в пределах книжной нормы (см. 7.11.2), то соответствующие формы местоимений и прилагательных явно выходят за рамки нормы. Рус. формы встречаются уже в древнейших ц-сл. памятниках, однако, всегда представляют собой отклонение от нормы, ср., например, в Арх. ев. 1092 г. *стоѣ*. В начале слога *ѣ* /*ѣ*/ может переходить в /*е*/, и соответственно вместо буквы *ѣ* может писаться *е*. Так, в Чуд. пс. XI в. мы встречаем: *кдинокъ, одинокъ, различьныхъ*.

8.3.6. Некоторые диалектные особенности. Для древнейшего периода морфологические особенности отдельных вост-сл. диалектов почти не восстанавливаются. Это обусловлено прежде всего отсутствием книжных текстов древнейшего периода для большей части вост-сл. территории и позднейшими процессами перестройки морфологической системы, которая не дает возможности реконструировать древнейшее состояние, исходя из современных диалектологических данных. Особое положение занимает новгородская территория. Берестяные грамоты позволяют восстановить ряд особенностей морфологической системы древненовгородского диалекта. В именном склонении к таким особенностям относится окончание *-е* в им. ед. муж. твердой разновидности *о*-склонения; при этом в вин. ед. муж. твердой разновидности *о*-склонения окончанием является *-ѣ*; таким образом, формы им. и вин. ед. здесь не совпадают (им. ед. *доме* - вин. ед. *домѣ*). Окончанием род., дат., местн. ед., им., вин. мн., им., вин. дв. имен *а*-склонения является *-ѣ*; это же окончание и в местн. ед. имен *о*-склонения. Такие формы довольно последовательно представлены в древнейших берестяных грамотах XI–XII вв. Так, например, в грамоте № 247 XI в. читаем: "а замѣке кѣле а двѣри кѣлѣ" (т.е.: а замок цел, а двери целы); здесь *замѣке* и *кѣле* - это формы им. ед., а *кѣлѣ* - форма им. дв. или мн. *а*-склонения (Зализняк, 1982, с. 61–62; Зализняк, 1984, с. 129 сл.). Такие формы могут встречаться и в новгородских пергаменных грамотах, ср., например, в грамоте Варлаама Хутынского ок. 1192 г.: "Въдале Варламе..." (Обнорский и Бархударов, I, с. 36). Такие формы отражаются и в летописях, ср., например, в Погодинском списке I Псковской летописи такие формы им. ед., как *городе, Иванке, дворе*; род. ед. *а*-склонения как *ѿ римскаго палѣ, стѣго Николѣ* (Каринский, 1909, с. 87). Книжная орфография не допускала таких форм, и в книжные тексты они проникают только как ошибочные написания, которые могут подвергаться исправлению, ср. в Мин. 1095 исправление *видѣле еси* на *видѣлѣ еси* (ЦГАДА, ф. 381, № 294, л. 32 об.).

8.4. Морфологические явления глагольного словоизменения, не относящиеся к системе прошедших времен. Ц-сл. и рус. языки противопоставлялись прежде всего в системе

прошедших времен. Эти различия будут специально рассмотрены ниже (см. 8.7). Вне этих различий противопоставление ц-сл. и рус. спряжения сосредоточено всего лишь на нескольких формальных признаках, на которых мы сейчас остановимся.

8.4.1. Показатель инфинитива. Ц-сл. показателю инфинитива *-ти* соответствует рус. показатель *-ть*. В рус. письменных памятниках инфинитивы на *-ть* засвидетельствованы с XI в., древнейшие примеры в Остр. ев. 1056–1057 гг., Изб. 1073, Арх. ев. 1092 г. – в каждом памятнике по одному случаю (Соболевский, 1907, с. 165–166).

8.4.2. Показатель 2 л. ед. числа наст. времени. Ц-сл. показателю 2 л. ед. числа наст. времени *-ши* соответствует рус. показатель *шь*, который спорадически отражается в памятниках с XII в. По мнению А. И. Соболевского (1907, с. 159), др-рус. языку изначально было свойственно окончание *-шь* (аналогичное окончание представлено и во всех других славянских языках, исключение представляют лишь некоторые карпатские говоры – Дурново, 1924, с. 314). Вместе с тем окончание *-шь* ближе к формам других индоевропейских языков, чем ст-сл. окончание *-ши*. Тем не менее, ряд исследователей видит здесь результат эволюции *-ши* → *-шь*, которая, по их мнению, имела место в др-рус. языке.

8.4.3. Некоторые диалектные особенности: показатели 3 л. наст. времени. В ряде вост-сл. говоров в окончаниях 3 л. ед. и мн. числа наст. времени могло отсутствовать *-ть*. Это характерно, в частности, для новгородско-псковских говоров, и соответствующие формы широко представлены в новгородских берестяных грамотах, ср., например, в приведенной выше (см. 7.5.3) грамоте № 531 форму 3 л. мн. числа *боудоу* (ср. Зализняк, 1984, с. 147–150). Подобные формы встречаются и в записях и приписках к книжным текстам, например, в записи Остр. ев. 1056–1057 гг. (*напише*), в записи Мин. 1095 (*обряще*), в записи Мстисл. ев. нач. XII в. (*вѣдак*). Такие же формы могут окказионально встречаться и в самих книжных текстах, например, в декабрьской Минее нач. XII в. (ГИМ, Сии. 162) *имѣ, к* (3 л. ед. числа, л. 178, 182 об.). Рассматриваемое явление было, видимо, характерно и для южных вост-сл. говоров (ср. соответствующие глагольные формы в современных украинских диалектах); поэтому в качестве отступления от нормы они могут употребляться и в ц-сл. памятниках южного происхождения, ср. в Изб. 1073 *к, бжде, нарицак, бывак, боли, соу*; в Изб. 1076 *к, соу*; в Арх. ев. 1092 г. *к, приде* и т.п. (Соболевский, 1907, с. 249; Дурново, 1924, с. 316). Таким образом, формы 3 л. наст. времени без *-ть* весьма широко представлены в вост-сл. говорах. Вместе с тем нельзя думать, что это явление было повсеместным, поскольку окончание *-ть* в этих формах не соответствует ст-сл. *-ть*, соответствуя в то же время о-сл. **тъ* (см. 7.12.5); оно отражается и в современных говорах, причем нет оснований считать это инновацией. То обстоятельство, что рус. писцы последовательно заменяли юж-сл. *-ть* в формах 3 л. на рус. ц-сл. *-ть*, объясняется, видимо, не ориентацией на те говоры, где законсервировалось это окончание, а ориентацией на архаическое состояние языка: можно думать, что утрата конечного *-ть* была относительно недавним процессом и формы с *-ть* сохранялись в пассивной памяти языкового коллектива. Следует иметь в виду, что формы 3 л. наст. времени без *-ть* были свойственны и юж-сл. диалектам и окказионально могли встречаться в ст-сл. памятниках (см., на-

пример: Вайан, 1952, с. 249), однако в рус. контексте такие формы воспринимались как отступления от нормы, связанные с влиянием некнижного языка.

Утрату окончания *-ть* в 3 л. наст. времени следует сопоставить с обратным процессом - наращением окончания *-ть* в 3 л. имперфекта и аориста (см. 7.11.6; 7.11.7). Появление *-ть* в окончаниях имперфекта и аориста, которые представляют собой специфически книжные категории, может в какой-то степени объясняться отталкиванием от живого языка (этому способствует, видимо, тенденция к разграничению омонимичных форм 2 и 3 л. ед. числа аориста и имперфекта, ср. 8.7.3).

Отсутствие показателя *-ть* в окончании 3 л. в живом языке является, видимо, причиной наблюдающегося в ряде памятников появления *-ти* вместо *-ть* в формах 3 л. Так, в псковской Палее 1494 г. находим: "Дѣша оубо члѣска силоу приати ѿ бѣгѣ дѣновеніа и животворить и правити" (л. 44 об.), ср. между тем тот же текст в псковской Палее 1477 г.: "...силѣ приат[ъ]... и животворить и править" (л. 50 об.); в Палее 1494 г.: "Ничтож смислити... члѣкъ тѣтъ" (л. 2 об.; в Палее 1477 г. *смислить*); в Палее 1494 г.: "Егда же ли оузрити ѿца или мѣтрѣ великъ вопль испущает[ъ]" (л. 51; в Палее 1477 г. *оузритъ*), ср. еще другие примеры у Каринского (1909, с. 40). Появление *-ти* на месте *-ть* имеет явно гиперкорректный характер и обусловлено двумя факторами: с одной стороны, отсутствием в живом языке показателя *-ть* в 3 л. наст. времени, с другой же стороны, соответствием книжного *-ти* некнижному *-ть* в окончании инфинитива. В перспективе разговорного языка показатели *-ти* и *-ть* объединяются, поскольку в разговорном языке в формах наст. времени окончание *-ть* утрачено; при этом *-ти* воспринимается как специфически книжный вариант окончания *-ть*, что и побуждает перенести этот показатель из форм инфинитива в формы 3 л. наст. времени.

8.5. Морфологические признаки причастий. Ц-сл. и рус. причастия с самого начала отличались рядом формальных признаков. В ходе развития рус. языка целый ряд причастных форм вышел из употребления, в то время как другие изменили свою функцию и стали употребляться как деепричастия (*бегаючи, будучи*) или как перфектные личные формы (*он пришедши*). Тем самым, употребление причастий становится одним из самых ярких признаков книжности. Сейчас мы остановимся на некоторых формальных отличиях ц-сл. и рус. причастий.

8.5.1. Причастия наст. времени действит. залога. Ц-сл. причастиям на *-ы* (наст. времени действит. залога в им. падеже муж. и ср. рода) типа *несы* соответствуют рус. причастия на *-а* типа *неса*. Причастия на *-а* изредка встречаются уже в древнейших рус. ц-сл. памятниках (Изб. 1073, Миней 1096 и 1097 гг., Добрил. ев. 1164 г., Усп. сб. XII-XIII вв.). "Незначительное количество примеров причастий на *-а* [в рус. ц-сл. памятниках XI-XII вв.] не позволяет решить, следует ли в них видеть русизмы, независимые от того, что было написано в южнославянских текстах, или русскую передачу (согласную с русским живым произношением) южнославянских причастий на *-а*. В последнем случае можно было бы думать, что причастия на *-а* не только встречались изредка в южнославянских рукописях, проникших на Русь в XI в., но и существовали в живом языке некоторых из бывших тогда на Руси южных славян" (Дурново, IV, с. 94).

/а/ - носовая гласная, являвшаяся в юж-сл. диалектах в им. падеже муж. и ср. рода причастий наст. времени с основой на твердые и передававшаяся частью особой буквой ѣ - при том, что глаголическое ѣ равняется л (в кириллической транслитерации эта буква обычно изображается как Δ), - частью безразлично буквами ж и л; см. об этом звуке: Селищев, II, с. 187. Щепкин видел в этой глаголической букве звук [ѣ], т.е. звуковое обозначение л, без предшествующей мягкости (Щепкин, 1901, с. 89 сл.).

Так или иначе, причастия на -а представляют собой несомненные русизмы; они отразились в современном языке в формах, сохраняющих специфически разговорную стилистическую окраску, - так, к ним восходят такие субстантивированные причастия, как *рѣва*, *пройда*, ср. также половицу "кто кого мога, тот того в рога" (см. Соболевский, 1907 с. 164-165, 186, 259-260; Шахматов, 1957, с. 136-138).

8.5.2. Причастия прош. времени действит. залога. Причастия прош. времени действит. залога на -ь из *jъ от глаголов с основой на -і типа *любль*, *хваль*, *моль* являются специфически книжными формами, отсутствующими в живом языке. В рус. языке им соответствовали причастные формы на -ивъ типа *любивъ*, *хваливъ*, *моливъ*. Следует, однако, иметь в виду, что формы на -ивъ не являются специфически разговорными, поскольку они возможны и в ц-сл. языке; они встречаются и в ст-сл. памятниках (в Супр. рукописи это нормальное явление - Лант, 1974, с. 93). Таким образом, причастные формы на -ь маркированы как книжные.

8.5.3. Упрощение причастных форм. В рассматриваемый период в причастных формах типа *моглъ*, *пеклъ* происходит упрощение сочетания согласного с плавным, ставшего конечным в результате падения редуцированных в конце слова. Старые формы остаются, однако, в ц-сл. языке. Этот процесс отражается в памятниках с XIII-XIV в. (Соболевский, 1907, с. 113).

8.6. Утрата некоторых грамматических категорий (не относящихся к системе прошедших времен). В истории рус. языка происходит утрата ряда категорий. Соответственно, употребление этих категорий становится специфической характеристикой ц-сл. языка, противопоставляющей его языку некнижному.

8.6.1. Утрата дв. числа. В рус. языке исчезает категория дв. числа, что отражается в памятниках, начиная с XIII в. Это относится как к формам имени и местоимения, так и к согласуемым с ними глагольным формам. Замена дв. числа на мн. число для ц-сл. памятников рассматриваемого периода не характерна.

8.6.2. Утрата зват. формы. В великорус. говорах утрачивается славянская зват. форма. Этот процесс нашел отражение уже в Остр. ев. 1056-1057 гг., ср. здесь: "Рече ки ѿс марѣа марѣа печеши сѧ и мѣлвиши о мѣнозѣ" (л. 217г).

8.6.3. Утрата супина. В ряде вост-сл. диалектов утрачивается супин. Следует отметить между тем, что правильное употребление супина наблюдается в новгородских, смоленских и западнорус. некнижных текстах (грамотах) еще в XIV в. (Соболевский, 1907, с. 257-258). Реликты супина отмечаются и в современных диалектах (ср. *иду пахат*). Неясно, насколько обязательной категорией был супин в ц-сл. языке, он может заменяться инфинитивом

или свободно варьировать с ним уже в самых ранних текстах. По-видимому, несмотря на утрату супина в ряде вост-сл. говоров, его употребление не становится специфическим признаком книжности.

8.7. Система прошедших времен. Наиболее существенное различие между ц-сл. и рус. языком наблюдается в системе прошедших времен, и это заставляет специально остановиться на данном вопросе. Именно здесь образуются наиболее значимые признаки книжного языка, так что употребление таких форм, как аорист или имперфект, может однозначно свидетельствовать о ц-сл. характере текста, сколь бы сильной ни была его русификация по другим признакам.

8.7.1. Употребление аориста и имперфекта. Можно полагать, что такие категории, как имперфект и, вероятно, аорист, отсутствовали в рус. языке уже в период первого юж-сл. влияния. Во всяком случае, эти формы почти не засвидетельствованы в тех текстах, по которым мы могли бы судить о разговорной речи. Формы имперфекта вообще отсутствуют в грамотах, что же касается форм аориста, то они встречаются в них чрезвычайно редко. Так, по подсчетам Ц. Г. Янакиевой, обследовавшей тексты 85 грамот на пергаменте и бересте и текст Русской Правды пространной редакции по древнейшему списку, из 364 форм прошедшего времени 331 форма приходится на перфект, 24 - на аорист и 9 - на плюсквамперфект (Янакиева, 1977, с. 6). Место аориста в грамотах и Русской Правде, как правило, бывает занято формами перфекта (со связкой или без нее). Так, например, в Мстисл. грамоте ок. 1130 г. нет ни одной формы аориста, но вместо аориста последовательно употребляются формы перфекта (как мы увидим, эти формы не имеют в рус. текстах обязательного перфектного значения - тем самым, термин "перфект" употребляется условно). Такое положение типично и для других грамот. Ср. преамбулу Смоленской грамоты 1229 г., где рассказывается об обстоятельствах заключения договора между Смоленском и Ливонским орденом: "...*Ѹздоумалъ князѣ смольнескый мѣстиславъ двѣдвѣ снѣ прислалъ въ ригу своѣго лоучшего попа крьмеа и съ нимъ оумна моужа пантеля...* Та два *была* послѣмъ оу ризѣ, из ригы кѣхали на гочкии берѣго тамо твердѣти миръ... Пре сеи миръ *троудили* сѧ дѣбрии людикъ" (Смоленские грамоты, с. 20-21). Совершенно явно, что глагольные формы обозначают здесь не действие, сохраняющее свое значение в настоящем - тогда был бы оправдан перфект, - но ряд последовательных действий в прошлом: это типичный случай аористного значения. То, что они передаются формами перфекта, свидетельствует как о несвойственности аориста живой речи, так и о том, что формы перфекта не имели в живом языке ограниченного перфектного значения (ср. Горшкова и Хабургаев, 1981, с. 307). Аналогичным образом, формы перфекта имеют аористное значение в новгородской берестяной грамоте № 531 (XII-XIII вв.): "Како *еси возложило* пороукоу на мою сестроу и на дочере еи *назовало еси* сѣтроу мою коровоу и дочере бладею. А нынѣца ѿедео прѣхаво, оуслышаво то слово и *выгонало* сѣтроу мою и хотело потати". Если в последней фразе форма перфекта оправдана, поскольку имеет перфектное значение (онѣ соотносится с настоящим временем), то в первой фразе те же формы перфекта имеют аористное значение. В самом деле, речь идет о действиях, относящихся к предыстории тяжбы.

Вместе с тем, формы аориста, хотя и редко, но встречающиеся в грамотах, могут иметь перфектное значение. Так, в договорной грамоте Александра Невского и новгородцев с

немцами 1262–1263 гг. читаем: "Се азъ князь шлѣксандръ и снъ мои дмитрии с посадникомъ михаилѣмъ и с тысяцкымъ жирославомъ и съ всѣми новгородци *докончахомъ* миръ с посломъ нѣмцкымъ..." (Обнорский и Бархударов, I, с. 51). Текст явно требует формы перфекта, а не аориста, и форма аориста здесь - безусловно, дань книжной традиции. Функционирование форм аориста с перфектным значением свидетельствует о семантической недифференцированности форм аориста и перфекта.

Такое же употребление аористных форм с перфектным значением наблюдается и в летописи. Характерным образом, оно может встречаться здесь в прямой речи, где формы аориста явно представляют собой результат искусственной славянизации не книжного текста; славянизация при этом касается лишь форм, а не значений, и поэтому аористные формы оказываются в неаористном значении: через оболочку книжных форм явно просвечивает разговорный субстрат. Так, в эпизоде с приходом древлян к Ольге Ольга обращается к древлянам со словами: «"Добри гостѣ придоша", и рѣша древляне: "Придохомъ княгине"» (ПСРЛ, I, стлб. 55). В обоих случаях в прямой речи аористные формы употреблены в значении перфекта, т.е. в том перфектном значении, в котором мы сейчас говорим: "Гости пришли", или: "Вот, мы пришли" (ср. Кузнецов, 1953, с. 233; Исаченко, II, с. 362).

Не менее показательное употребление глагольных форм в рассказе Владимира Мономаха о своей жизни: "А се в Черниговѣ *дѣяль* ксмѣ. конь дикихъ своимъ рукама *свазаль* ксмѣ. въ пушахъ *·ī·* и *·к·* живыхъ конь. а кромѣ того иже по Рови ѣзда *ималъ* ксмѣ своимъ рукама тѣ же кони дикиѣ. тура ма *·ѵ·* *метала* на розѣхъ и с конемъ. шлень ма *шдинъ* *болъ*. а *·ѵ·* лоси *шдинъ* ногами *топталъ*. а други рогома *болъ*. вепрь ми на бедрѣ мечъ *шталъ*. медвѣдь ми у колѣна подъякла *оукусиль*. лютии звѣрь *скочилъ* ко мнѣ на бедра. и конь со мною *поверже*. и *бѣ* неврежена ма *съблюде*. и с коня много *падах*. голову си *розбих* дважды. и руцѣ и нозѣ свои *вередих* въ оуности своей *вередих* не блюда живота своего. ни щада головы своего" (ПСРЛ, I, стлб. 251). Мы видим, что перфектные и аористные формы употреблены здесь без всякой попытки их семантической дифференциации. С помощью перфектных форм описывается последовательность действий в прошлом, т.е. перфектные формы употребляются в типичном аористном значении. Отдельные употребления аористных форм оказываются в этом контексте семантически немотивированными (ср. "лютии звѣрь *скочилъ*... и... *поверже*..."). В отдельных случаях употребление аориста оказывается скорее мотивированным стилистически, как более книжной формы (ср. "*бѣ* неврежена ма *съблюде*"). Все это указывает на отсутствие грамматического противопоставления аориста и перфекта в разговорном языке автора.

Редкий случай функционирования аориста с аористным значением в грамотах зарегистрирован в списке "В" готландской редакции смоленского договора 1229 г. (список 1297–1300 гг.): "того лѣтъ коли альбрахтъ... оумерлъ... князь смоленський мѣстиславъ... *присла* в ригу своего лучшего попа..." (Смоленские грамоты, с. 25). Однако в более древних списках "А" и "С" той же готландской редакции, а также в списках рижской редакции (списки "D", "E", "F") употреблена форма перфекта: *прислалъ* или *послалъ*. Таким образом, форма аориста была, видимо, внесена переписчиком в силу тенденции к окнижению текста договора; во всяком случае употребление формы перфекта с аористным значением гораздо более типично для языка деловой письменности, чем правильное употребление формы аориста (Янакиева, 1977, с. 12–13). В новгородских берестяных грамотах формы аориста почти не встречаются; исключением является грамота № 46 (XIII–XIV в.), которая представляет собой за-

шифрованную школьную шутку: "Невѣжа писа, недума каза, а хто се [ч]ита" (конец текста отсутствует, однако основываясь на позднейшей школьной традиции - весьма устойчивой, - мы можем предположить, что далее следует нелестная характеристика того, кто читал). Эта надпись явно связана с процессом школьного обучения, и поэтому появление в ней ц-сл. форм никак не удивительно. Формы аориста можно встретить в грамотах в начале текста, во фразах типа *се кути, се заложи* и т.д., однако, мы имеем здесь дело со стереотипными дипломатическими формами, способными сохранять архаизмы и испытывающими особо сильное книжное влияние, т.е. ц-сл. формы представляют собой здесь явление текста, а не языка (см. 5.4).

А. М. Селищев полагал, что нехарактерность форм аориста в деловом языке представляет собой не особенность системы этого языка, а особенность его содержания: так, в юридическом документе речь идет обычно об установлении факта, сохраняющего силу в момент создания документа, а потому он и должен быть выражен именно перфектом (Селищев, 1968, с. 131-132). Однако, это не всегда так: часто возникает необходимость изложить события, предшествующие возникновению данного дела, но и в этих случаях мы, как правило, не встречаем форм аориста (ср. приведенные примеры).

По мнению Л. П. Якубинского, аорист уже в XI в. вышел из употребления, сохраняясь, однако, в языке фольклора. В качестве типологической параллели Якубинский ссылается на употребление в современном французском языке форм *passé simple* или *imparfait*, которые являются грамматическими признаками литературного языка, будучи невозможны в живой разговорной речи (Якубинский, 1953, с. 313-314).

Взаимозаменяемость аориста и перфекта, обусловленная их семантической недифференцированностью, наглядно проявляется при сопоставлении разных списков летописного текста. Ср. в списках I Новгородской летописи:

бесѣдовавши, *рече* к ней;

А бои *бысть* мѣсяца февраля;

понеже бо *слышахомъ* от

отець своихъ;

а иное *помре* голодом

бесѣдова к ней, *рекль*;

А бои сии *быль* мѣсяца февраля;

понеже *слышалъ есмь* от отецъ

своихъ;

а иное *помърло* голодом

(Лопушанская, 1975, с. 271-274).

В виду приведенных примеров то обстоятельство, что форма аориста изредка попадает - обычно в традиционных формулах - еще в грамотах XIV-XV вв. (новгородских, псковских и двинских - Дурново, 1924, с. 327; Соболевский, 1907, с. 235), не говорит о сохранении категории аориста в живом рус. языке. Если аорист и был известен живому языку после появления письменности, то это относилось лишь к самому началу данного периода и при этом носители рус. языка скорее всего владели формами аориста не активно, а пассивно, примерно так, как носители современного рус. языка владеют формами краткого прилагательного.

На то обстоятельство, что в свое время аорист все же был в разговорном рус. языке, могли бы указывать следы его в современном разговорном языке. Формы аориста в фольклоре весьма редки и объясняются непосредственным влиянием книжного языка, см. примеры аориста в былинах, сказках, пословицах и загадках: Шмелев, 1960, с. 86; в дополнение к приведенным здесь примерам сошлемся на употребление форм аориста в заговорах, ср. "Прогнахъ и прогоняю Калуса, Пира, Маруса, Лурама, Рахана прогнахъ... (Виноградов, II, с. 21), "встахомъ завтра и помолихсе Господу Богу и дынище" (Афанасьев, I, с. 73).

Формы аориста в современном языке сохранились в цитатах и клишированных выражениях (таких, как *Христос воскрес, своя своих не познаша*, ср. также *умре, помре*, которые в разговорной речи получают шутливо-иронический смысл), которые должны быть отнесены на счет влияния книжного языка. Вместе с тем, формы аориста отрази-

лись, возможно, в употреблении форм повелит. наклонения в значении прош. времени типа *брат и вскрикну от боли, а он возьми и скажи* и т.п. По предположению Шахматова (1941а, с. 200–201), подобное употребление императивов в значении прош. времени "вызвано влиянием аориста" и обусловлено тем, что формы 2 и 3 л. аориста от ряда глаголов омонимически совпадали с формами повелит. наклонения 2 л. ед. числа (ср., например, *скажи, уступи, отложи, постави, прослави, увѣри, замѣти, побѣди, заложи, пусти* и т.п.).

Другим остатком аориста может быть междометие *чу!*, которое восходит к глаголу *чути* "слышать" (Соболевский, 1907, с. 235); и в этом случае форма аориста может переосмысливаться как форма повелит. наклонения (ср., вместе с тем, возможность употребления формы прош. времени в значении императива в современном языке во фразах типа *пошел вон!* и т.п.).

Наконец, формы повелит. наклонения могут употребляться в условных предложениях типа *Случись он там, все было бы по-другому*. Такое употребление следует сопоставить с образованием древних форм сослагат. наклонения: причастие прош. времени на -л + форма аориста от глагола *быти*; к форме аориста от глагола *быти* в этой конструкции и восходит современная частица *бы*. То обстоятельство, что аорист принимал участие в образовании сослагат. наклонения, указывает, что в его синтаксические функции могло входить выражение условности в придаточном предложении. Отсюда, возможно, и объясняется употребление форм повелит. наклонения - если считать их генетически соотнесенными с формами аориста - в условном значении. Если согласиться с шахматовской трактовкой, связывающей повелит. наклонение в современном языке с аористом, следует полагать, что аорист был некогда свойственен разговорному языку; однако, это могло быть в глубокой древности, и тот факт, что реликты аориста сохраняются в разговорной речи, никак не свидетельствует о новизне данных процессов. Во всяком случае, употребление форм повелит. наклонения и в значении прош. времени, и в значении условного наклонения известны и другим славянским языкам (Шахматов, 1941а, с. 200), и это заставляет предположить, что сближение семантики аориста и повелит. наклонения могло иметь место достаточно давно.

Другим случаем реликтового отражения аориста в современном разговорном языке, по мнению Шахматова, являются междометия, произведенные от глагольных основ, типа *хлоп, трах, бух* и т.п.; отмечая, что обычным значением таких междометий является значение прош. времени соверш. вида, Шахматов допускает их родство "с древними образованиями несигматического или частью и сигматического аориста" (Шахматов, 1941а, с. 6).

8.7.2. Аномальные формы прошедших времен. О том, что формы аориста и имперфекта в рассматриваемый период отсутствовали в живом рус. языке, могут свидетельствовать многочисленные неправильные образования этих форм, указывающие, что у писца не было возможности при употреблении этих форм опираться на соответствующие формы живого языка. Таким образом, возникали разнообразные загрязненные формы как аориста, так и имперфекта. Некоторые из этих форм были адаптированы книжной нормой. Так, формы аориста и имперфекта с окончанием -ть в 3 л., перенесенным из парадигмы наст. времени, закрепились в ц-сл. языке рус. редакции (см. 7.11.6; 7.11.7). Если бы имперфект и аорист существовали в живой речи, такая контаминация была бы невозможна, поскольку правильное образование аориста и имперфекта должно было бы обеспечиваться в этом случае живым противопоставлением систем окончаний наст. времени и прошедших времен.

Писец может порождать формы аориста и имперфекта, исходя из форм прошедших времен, имеющих в его языке. Для аориста это может выражаться в гиперкорректном обнажении основы, когда от соответствующих перфектных форм отсекаются форманты -лъ, -ла, -ло и т.п. Так, в I Новгородской летописи читаем: "Приде архиепископъ Антонию... и сѣ на своемъ

стулъ и ради бы вьси". Ясно, что формы *сѣ* вместо *сѣдѣ* и *бы* вместо *быша* образованы от *сель* и *были* (Исаченко, II, с. 364).

На исключительную принадлежность аориста и имперфекта к книжной речи указывают и случаи смешения окончаний аориста и имперфекта, наблюдающиеся по крайней мере с XIII в. Так, в 3 л. мн. числа аориста вместо окончания *-ша* нередко появляется окончание *-ше*, т.е. окончание 3 л. ед. числа имперфекта, ср., например, в новгородском Евангелии XIII в. (ГПБ, Ф. 8, л. 1 об.) "*придоша и позобаше*", ср. примеры у Соболевского (1907, с. 236). В менее явной форме смешение данных окончаний представлено уже в Тип. уставе XI–XII вв., где в ненотном тексте дана форма *оустоупаша*, а в соответствующем месте нотного текста – форма *остоупаше* (л. 49 об.-50); морфологическая вариация осложняется здесь вариацией лексической и может быть связана с переосмыслением текста. Уже к XV в. смешение окончаний *-ше* и *-ша* становится для некоторых текстов обычным явлением. Ср., например, в псковской Палее 1494 г.: "*шни плакашас[я] зань и глше емоу*" (л. 58 об.), "*моужи исхождаше*" (л. 292), "*но оумныма очима прозреше велиции патріарси*" (л. 90 об.) и т.д. Н. М. Каринский, анализируя этот памятник, замечает: "Замена *е* через *а* и обратно в аористе и имперфекте настолько часта, что здесь не может быть и речи о случайных описках, а ясна орфографическая тенденция. Писец, видимо, даже не задавался мыслью о возможном отличии данных форм" (Каринский, 1909, с. 14). Аналогичные примеры приводит Н. М. Каринский и из других псковских памятников XIV–XVI вв., ср. в Палее 1477 г. "*хлѣби ... блше посхли*" (л. 262), в Евангелии Типографской библиотеки № 18 *свиньи бѣжаше* (л. 61), *преѣхаша* (3 л. ед., л. 60 об.) и т.п. (Каринский, 1909, с. 49, 146, ср. еще с. 67, 80, 100–101, 114, 132). Ср. еще любопытный пример из II Новгородской летописи по списку XVII в.: "*Садъ весь изгорѣша, овому тимя [= тѣмя] изгорѣша, а иному чрево погорѣша, иные въ воде потопаше*"; в этом примере встречаем как окончание *-ша* вместо *-ше* в ед. числе, так и окончание *-ше* вместо *-ша* во мн. числе (см. Соболевский, 1907, с. 237) формы аориста на *-ше* при подлежащем во мн. числе очень часто встречаются и в ю-з-рус. печатных изданиях Франциска Скорины (там же, с. 236) – таким образом, это явление достаточно широко распространено и отнюдь не сводится к новгородско-псковской традиции. Знаменателен в этом смысле упрек инок Савватия в его челобитной 1660-х годов в адрес никоновских справщиков: "А въ 98м псалмѣ гла Дѣдъ от лица Моисеова и Аронова и Самуилова к лицу же бжю множественною рѣчю: яко *бываше* имъ ^смлитивъ... А нѣ напечатали единьственной рѣчю: *бываль еси* имъ ^смлитивъ" (ГИМ, Увар. № 497/102, л. 8 об.; Три челобитные, с. 27). По всей видимости, Савватий отождествляет формы *бываше* и *бываша*, т.е. трактует 3 л. ед. числа имперфекта как 3 л. мн. числа аориста.

Окончание *-ша* sporadически встречается и в других лицах, ср., например, в предисловии к печатному московскому Апостолу 1644 г.: "*мы слухи наши отвратиша*" (3 л. мн. числа аориста вместо 1 л. мн. числа).

Совершенно так же могут смешиваться окончания 1 л. ед. числа аориста (*-хъ*) и 3 л. мн. числа имперфекта (*-ху*). Наиболее ранний из известных случаев такого смешения представлен в Евангелии 1393 г. (ГПБ, Ф. п. I.18, л. 93): "*послании обрѣтохъ болящаго раба*

ицѣливша" (Соболевский, 1907, с. 237). Равным образом в упоминавшейся уже псковской Палее 1494 г. читаем: "не азъ *предстоаху*" (л. 120 об.), "апли изда^слеча зрлхъ и ко гробоу *идахъ*" (л. 107), "се азъ *стоаху*" (л. 46 об.), "вси пакъ ба *чтлхъ* златица" (л. 117) (Каринский, 1909, с. 6).

Окончание -ху спорадически встречается и в других лицах; так, в Житии Геннадия Костромского XVI в. (ГИМ, Син. 929) читаем: "мы на конехъ *яздяху*" (3 л. мн. числа имперфекта вместо 1 л. мн. числа), "а онъ никакоже *требоваху*" (3 л. мн. числа имперфекта вместо 3 л. ед. числа), ср. в то же время здесь же: "старецъ *сотвори*хъ молитву" (1 л. аориста вместо 3 л.) (Соболевский, 1907, с. 237).

Если смешение окончаний -ше и -ша, -ху и -хъ является более или менее устойчивой чертой ряда памятников, то смешение других окончаний аориста и имперфекта носит более или менее окказиональный характер. Тем не менее, и оно достаточно показательно, определенным образом свидетельствуя о статусе этих форм как признаков книжного текста: в каждом случае существенна их противопоставленность живому языку, а не их конкретное грамматическое значение. В дополнение к приводившимся примерам отметим еще в Повести о Карпе Сутулове: "Азъ *был* у друга своего Афанасия и *би* челом ему о тебе" (2/3 л. ед. числа аориста вместо 1 л. ед. числа) (Адрианова-Перетц, 1977, с. 90). Ср. такое же смешение в фольклоре, где сказочный герой говорит про себя: "Одним махом сто побивахом", - употребляя окончание 1 л. мн. числа аориста вместо 1 л. ед. числа (Афанасьев, 1957, № 432). Такая вариантность окончаний, основанная на безразличии к их грамматическому значению, могла, во-видимому, отражаться даже при чтении молитвы. В "Детстве" М. Горького (гл. IX) рассказывается, как его дед спорил с другим начетчиком о правильном тексте Покаянного канона: дед утверждал, что следует читать "согрешихом, беззаконовахом, неправдахом", тогда как его оппонент настаивал на чтении "согрешиша, беззаконоваша, неправдоваша", - как видим, устная традиция произнесения ц-сл. текста обнаруживает те же явления, которые отражаются в письменных памятниках.

В дальнейшем, с появлением грамматик ц-сл. языка смешение форм аориста и имперфекта (в одном и том же лице) может закрепляться в этих грамматиках в качестве нормы. Так, в "Донатусе" Дмитрия Герасимова (1522 г.) в "минувшем совершенном" и в "минувшем пресовершенном" времени формы аориста и имперфекта даются как варианты формы 3 л. мн. числа: "*учаху* или *учиша*", "*читаху*, *читаша*" (Ягич, 1896, с. 572, 575). Аналогично, в грамматике Зизания в "пресовершенном" времени в 3 л. мн. числа показаны варианты формы: *гвляху* и *гвляша* (Зизаний, 1596, л. 57 об.), в грамматике Смотрицкого в "прешедшем" времени в 3 л. мн. числа в качестве вариантов даны формы "*читаху* или *читаша*", а в "мимошедшем" времени - формы "*читааху* или *читааша*" (Смотрицкий, 1619, л. О/3; Смотрицкий, 1648, л. 190 об.-191 об.). Точно так же в грамматике Иустина Вишневецкого (конца XVIII в. - ЦГИАЛ, ф. 834, оп. 3, № 3374, л. 136 об.) формы имперфекта и аориста даются как варианты как в 3 л. ед. числа ("*трясе* или *трясоше*"), так и в 3 л. мн. числа ("*трясоша* или *трясаху*").

Равным образом аорист и имперфект могут смешиваться с причастиями; этому смешению может способствовать совпадение по форме аориста 2-3 л. ед. числа с окончанием *-тъ* и им. ед. муж. страдат. причастий, ср. формы типа *приятъ*, *питъ* и т.п. Так, например, в списках I Новгородской летописи мы наблюдаем смешение имперфекта и причастных форм на *-вши*: в одном списке *бесѣдоваше к нимъ*, в другом - *побѣсѣдовавше...*, в одном списке *говоряшеть Новугороду*, в другом - *глаголавше...* (Лопушанская, 1975, с. 279). Аналогичным образом, в качестве замены имперфекта может выступать и причастие на *-ущ*, *-ащ*, ср. в разных списках той же летописи:

и събрачеся чернь, и
волочаху добрые мужи,
думающе с ними, кого
цесаря поставять

Новгородъци же много
моляхуся

и събрашася чернь, и
волниующеся добрыа мужи,
думающе с ними, кого
цесаремъ поставят

Новгородци же много
молящеся ему

(Лопушанская, 1975, с. 280).

В поздних текстах употребление причастий в функции личных форм получает иногда широкое распространение, ср. в переводе басен Эзопа Федора Гозвинского (XVII в.): "Лисища же неминующую беду видев, пришед ко лву, обещааяся предати ему осла на съядение" (Тарковский, 1975, с. 58-59); здесь в качестве личных форм последовательно выступают одни причастия, и можно думать, что такое употребление обусловлено их изначальным смешением с формами аориста и имперфекта. Подобное же употребление причастий в функции личных глагольных форм находим и в сочинении Котошихина "О России.."; в ц-сл. фрагменте этого текста читаем: "Црю ж і великому кнзю Михаілу Феодоровичю от кроворазлитія хрстіянского успокоівшуся правивше гсѣрство свое тихо и блгополучно" (л. 5). Для поздних текстов такое употребление воспринимается, по-видимому, как разновидность нормы, допустимая в определенных жанрах книжной письменности. Вместе с тем, чудовский инок Евфимий в сочинении о исправлении миней (1692 г.) отмечает это явление как типичное нарушение норм книжного языка: "Глаголи личніи во временехъ и лицехъ и начертаніихъ премного помѣшаню, а индѣ причастіе мѣсто гла, индѣ глѣ мѣсто причастія" (Никольский, 1896, с. 114).

Прецеденты такого смешения можно найти уже в Тип. уставе XI-XII вв., где в не-
нотном тексте находим причастную форму, тогда как в соответствующем месте нотного текста стоит форма аориста (в соответствии с греческим оригиналом), например, *шѣтивъ* - *освати* (л. 55 об.), *оувазъся* - *увазеса* (л. 74 об.-75), *сѣда* - *сѣде* (л. 84 об.). В результате такого смешения могут появляться предложения без личных глаголов, ср. кондак на Рождество Богородицы: "Ішакимъ и Анна поношенна бещадига и Адамъ и Елга ис тѣла съмъртныа избавльшася прѣчистага стѣимъ рождствѣмъ твоимъ и то празднуююще людикъ твои вины грѣховъ избавитиса въпиюще ти неплоды ражають бцю и питательницу жизни нашеа" (л. 26); в нотном тексте на месте причастной формы (дв. числа) *избавльшася* стоит форма аориста *избавишася* (л. 26 об.).

Ассоциация причастных форм с формами аориста или имперфекта может отражаться даже в грамматических сочинениях. Так, в трактате "О множестве и о единстве" (по рукописи ГПБ, Соф. 318) говорится: "Вѣжд[ь] ж[е] и се, ꙗко еже рещи *ста, добродетелна, трудна, жадна, алчна, сѣи рѣчь* настоаща суца, а еже рещи *алчюща она* іли *блѣща* іли *зраща* іли *вѣщающа* іли *славаща*, сѣа рѣчь предбывша суца, сирѣч издавна зраща и блѣща и вѣщающа и славаща. сице и прочяя такова. множ[е] ственаа рѣчь мужскаго і женскаго імени сице: *алчѣща ѡны, блѣща ѡны, глаголюща ѡны, зраща ѡны, вѣщающа і славаща ѡны*, сѣа рѣчь множ[е] ствена і обща суца всему" (Ягич, 1886, с. 435). Автор этого рассуждения противопоставляет прилагательные и причастия, приписывая причастным формам специальное значение прошедшего времени; он явно исходит при этом из сходства причастного окончания *-ща* (во мн. числе *-ща*) - соответствующее окончание, по-видимому, воспринимается им как основное, исходное для форм причастий - и аористного окончания *-ша*.

Не менее показателен трактат "Книга глаголема буквы грамотичнаго учения", где утверждается, что формы *бѣ* и *бѣяше* различаются по роду подобно тому, как различаются по роду формы причастий, а именно форма *бѣ* считается формой муж. рода, форма *бѣаше* - формой жен. рода: "Различіе рѣчей мужских от женских; *бѣ* - муж[ска], *бѣаше* - женска. *бл̑годаря, бл̑годарящи. браня, бранящи. болс[а], болшиса. борася, борюшиса. бѣгала, бѣгаючи*" (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 28-28 об.). Итак, автор отождествляет книжные претеритные формы с причастными формами, ассоциируя их именно по признаку книжности и перенося на личные формы те различия, которые имеются в причастиях: аористная форма *бѣ* воспринимается как причастная форма типа *благодаря*, а имперфектная форма *бѣяше* - как причастная форма типа *благодарящи*.

Разные типы смешения, которые были разобраны выше, а именно, смешение форм аориста и имперфекта, смешение форм в рамках парадигм этих времен, смешение простых прошедших времен с причастиями, - свидетельствуют об отталкивании от живого рус. языка как принципе построения ц-сл. текста: в перспективе рус. языка все эти формы объединяются по признаку книжности. То обстоятельство, что у рус. прош. времени нет различения по лицу, способствует, в частности, неразличению личных показателей в рамках парадигмы аориста или имперфекта. Что касается неразличения по числу, оно объясняется фонетической ассоциацией окончаний *-ша* и *-ше*, с одной стороны, *-хъ* и *-ху*, с другой.

8.7.3. Введение перфектных форм в парадигмы аориста и имперфекта: грамматическая традиция. Как было показано, формы аориста и перфекта могут употребляться в одном и том же значении, выступая как варианты способы выражения прош. времени. Между тем, различия аориста и имперфекта оформляются как видовые различия: аорист образуется, как правило, от глаголов соверш. вида, имперфект - от глаголов несоверш. вида. Поэтому для аориста и имперфекта создаются противопоставленные возможности вариации: если аорист варьируется с перфектом типа *читал есть*, то имперфект варьируется с перфектом типа *читывал есть*.

Таким образом, в плане содержания внутри прош. времени имеет место противопоставление по виду: ц-сл. язык испытывает здесь влияние рус. некнижного языка. В плане выражения каждому из членов видовой оппозиции соответствует не один, а два набора средств выражения, т.е. соверш. вид выражается формами аориста и формами перфекта типа *читал есть*, а несоверш. вид выражается формами имперфекта и формами перфекта типа *читывал есть*. Тем самым, для каждого из значений образуются две параллельные парадигмы, дублирующие друг друга. В обоих случаях при этом "перфектная" парадигма (имеется в виду "перфектность" в

плане выражения, а не в плане содержания, т.е. формы на -л или, иначе говоря, л-перифраза со связкой или без нее) выступает как более близкая к разговорной речи, тогда как парадигмы аориста или имперфекта выступают как специфически книжные. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что "перфектная" парадигма ассоциируется с формами прош. времени разговорной речи (т.е. с теми же формами на -л, но без связки), с другой же стороны, тем, что формы аориста и имперфекта закономерно появляются в текстах, отражающих влияние протографов, т.е. связываются с авторитетной книжной традицией. Такая дублетность создает возможности для сосуществования двух вариантов ц-сл. языка - более простого и более книжного (см. 14.3; 18.2.1).

Приводя ц-сл. глагольные формы прошедших времен (аориста и имперфекта), Смотрицкий оговаривается в своей грамматике, что прошедшие времена "Руска иногда языка навыкомъ" образуются, а именно,

преходящее: *цель есмь, цель еси, цель есть*

прешедшее: *читалъ есмь* и проч.

мимошедшее: *читаалъ есмь*, и проч.

непредѣльное: *прочелъ есмь* и проч.

(Смотрицкий, 1619, л. О/З об.; Смотрицкий, 1648, л. 192-192 об.).

Итак, дублетные формы прошедших времен могут восходить либо к формам аориста или имперфекта, либо к формам перфекта, причем последние формы ассоциируются с "русским языком".

Наличие дублетных парадигм приводит к их контаминации. Это ясно проявляется при кодификации ц-сл. языка. В появляющихся с XVI в. грамматиках даются контаминированные парадигмы, объединяющие формы аориста, перфекта и имперфекта. Так, в "Донатусе" Дмитрия Герасимова (1522 г.), т.е. в описании ц-сл. языка, составленном по схеме латинской грамматики Доната, мы находим следующие парадигмы:

Минувшее совершенное время

*возлюбих
возлюбил ты
возлюбил тои*

*возлюбихомъ
возлюбисте
возлюбиша или возлюбити*

Минувшее пресовершенное

*люблѣвах
люблѣваше
люблѣвалъ*

*люблѣвахомъ
люблѣвасте
люблѣваху*

Минувшее совершенное

*учихъ
учил еси
учил*

*учихомъ
учисте
учаху или учиша*

Минувшее пресовершенное

*учѣвах
учѣваше или ты учѣвалъ
учѣвал*

*учѣвахомъ
учѣвасте
учѣваху*

Минувшее совершенное		
<i>чтох</i> <i>чель еси</i> <i>чел</i>		<i>чтохомъ</i> <i>чтосте</i> <i>чтоша или чести</i>
Минувшее пресовершенное		
<i>читах</i> <i>читаше</i> <i>читаль</i>		<i>читахом</i> <i>читасте</i> <i>читаху, читаша</i>
Минувшее несовершенное		
<i>услышах</i> <i>услышал еси</i> <i>услышал есть</i>		<i>услышахом</i> <i>услышасте</i> <i>услышаху</i>
Минувшее свершенное		
<i>слышах</i> <i>слышал еси</i> <i>слышаль</i>		<i>слышахом</i> <i>слышасте</i> <i>слышаша или услышати</i>
Минувшее пресвершенное		
<i>слыхах</i> <i>слыхаль еси</i> <i>слыхаль</i>	.	<i>слыхахомъ</i> <i>слыхасте</i> <i>слыхаху</i>
Минувшее свершенное		
<i>хотѣхъ</i> <i>хотѣл еси</i> <i>хотѣль</i>		<i>хотѣхомъ</i> <i>хотѣсте</i> <i>хотѣша или хотѣти</i>
Минувшее пресвершенное		
<i>хачивах</i> <i>хачивал еси</i> <i>хачивал</i>		<i>хачивахомъ</i> <i>хачивасте</i> <i>хачивали</i>

(Ягич, 1896, с. 566-567, 572, 575, 578, 583).

В этих парадигмах (которые мы приводим выборочно) отражается как смешение форм аориста и имперфекта с перфектом, так и смешение аориста и имперфекта между собой. Заслуживает внимание также частое отсутствие связки в "перфектной" форме. Аналогичным образом, в другом грамматическом описании XVI в. - "Простословии" старца Евдокима - мы находим парадигмы:

Минувшее съвершенное		
<i>любих</i> <i>любиль еси</i> <i>любиль</i>		<i>любихомъ</i> <i>любиста</i> <i>любиша</i>
Минувшее несовершенное		
<i>полюбих</i> <i>полюбиль еси</i> <i>полюби</i>		<i>полюбихом</i> <i>полюбисте</i> <i>полюбиша</i>

(Ягич, 1896, с. 655).

Такие парадигмы фиксируются в ю-з-рус. печатных изданиях. Так, например, в грамматике "еллино-славенского" языка (Ἀδελφότης) 1591 г. даются парадигмы глагольных форм ед. числа:

Непредѣльное		Пресовершенное
познахъ	молотихъ	оукрѣпляхъ
позналъ еси	молотилъ еси	оукрѣплялъ еси
позна	молотилъ	оукрѣпля

(Аделфотес, л. 160, 164, 174).

Те же явления наблюдаем и в грамматике Лаврентия Зизания 1596 г.:

Мимошедшее		
гавих	гавихом	
гавиль, ла, ло еси	гависте	
гави	гавиша	
Протяженное		
гавлях	(формы мн. числа	
гавлялъ, ла, ло еси	не показаны)	
гавляше		
Пресовершенное		
гавляхъ	гавляхом	
гавлялъ еси	гавлясте	
гав'ляше, гавлял	гавляху, гавляша	

(Зизаний, 1596, л. 57-57 об.).

Эта традиция закрепляется и в грамматике Мелетия Смотрицкого, где даются следующие парадигмы:

Преходящее		
чтохъ	чтохомъ	
чел (чла, чло)	чтосте	
че	чтоша	
Прешедшее		
читах	читахомъ	
читалъ (читала, читало)	читасте	
читаше	читаху или читаша	
Мимошедшее		
читаах	читаахомъ	
читаалъ (читаала, читаало)	читаасте	
читааше	читааху или читааша	

(Смотрицкий, 1619, л. О/2-3; Смотрицкий, 1648, л. 190 об.-191 об.).

Отражение такой нормализации глагольной парадигмы можно видеть в Кратком катехизисе Петра Могилы, изданном в Москве в 1649 г. (эта книга была переведена в Москве с "простой мовы" на ц-сл. язык, ср. 16.3). Здесь читаем: "Вопросъ: Понеже ^свѣспомянулъ еси ѿ кртѣ... научи мене... Отвѣтъ: Понеже ѿ ^скртѣ *воспомянухъ*, подобаетъ..." (л. 16). Как видим, перфектная и аористная форма соотнесены здесь как формы 2 и 1 л. одной глагольной парадигмы.

Такое же отношение к формам аориста, имперфекта и перфекта наблюдается и в более поздних грамматических сочинениях. Так, например, в грамматике ц-сл. языка Иустина Вишневского (ЦГИАЛ, ф. 834, оп. 3, № 3374) конца XVIII в. дается следующая парадигма глагола *трясти*:

Прошедшее несовершенное	
<i>трясохъ</i> <i>тряслъ, ла, ло еси</i> <i>трясе или трясоше</i>	<i>трясохомъ</i> <i>трясосте</i> <i>трясоша или трясаху</i>
Прошедшее совершенное	
<i>тряснухъ</i> <i>тряснулъ, ла, ло еси</i> <i>трясну или трясне</i>	<i>тряснухомъ</i> <i>тряснусте</i> <i>тряснуша</i>
или	
<i>тряснулъ, ла, ло есмь</i> <i>тряснулъ, ла, ло еси</i> <i>тряснулъ, ла, ло есть</i>	<i>тряснули есмь</i> <i>тряснули есте</i> <i>тряснули суть</i>

(л. 136 об. и сл.).

Особенно характерно появление "перфектной" формы в "аористой" парадигме во 2 л. ед. числа, что обусловлено омонимией форм 2 и 3 л. ед. числа аориста в его этимологически правильной парадигме.

8.7.4. Введение перфектных форм в парадигму аориста и имперфекта: книжная справа. Тот же процесс, т.е. смешение парадигмы аориста и перфекта, наблюдается и в книжной справе, при которой формы аориста (во 2 и иногда 3 л.) постепенно вытесняются "перфектными" формами. Как в приводившихся выше случаях кодифицированного описания ц-сл. глагола, так и в случаях книжной справы речь идет не о спонтанном смешении, но о сознательной нормализации, т.е. соответствующие процессы имеют вполне эксплицитный характер.

В первой половине XVI в. в этом направлении правит глагольные формы Максим Грек со своими помощниками. В переводе Толковой Псалтыри 1519–1522 гг. они последовательно употребляют во 2 л. ед. числа перфектную форму там, где в предшествующих переводах употреблялась форма аориста. Приведем для сопоставления перевод Максима (ГИМ, Син. 236, конец XVI в.) и предшествующий Максиму текст Псалтыри по рукописи XV в. (ГИМ, Епарх. 137):

Предшествующий перевод	Перевод Максима	Греч. текст
сѣдѣла 14 об.	содѣлалъ еси 85 об.	εἰργάσω
ωзлюбѣ 14 об.	ωзлюбилъ еси 85 об.	ἐχάχωσας
Ѡринѣл 15	Ѡринѣлъ еси 91	ἀπώσω
не восхотѣ 11 об.	не восхотѣлъ еси 40	οὐχ ἤτησας
ты разѣмѣи 12	ты разѣмѣлъ еси 43	σὺ ἔγνωνς

Точно так же в 1525 г. Максим правит Триодь и заменяет *сѣдѣ одесную Отца* на *сѣдѣл одесную Отца* (значение этой фразы определяется тем обстоятельством, что она соответствует 5-му члену Символа веры, т.е. имеет догматический смысл). Это вызывает протесты

книжников традиционалистского направления, которые обвинили Максима в кощунственном искажении содержания церковных книг. Обвинение это сыграло важную роль в суде над Максимом Греком в 1525 г. С точки зрения противников Максима Грека, "Максим говорил, и учил, и писал о Христе, яко сидение Христово одесную Отца мимошедшее есть, и где было в здешних книгах написано 'и седе одесную Отца' ... и он то зачернил, а иное выскреб и вместо того написал: ... инде 'седел есть', а инде 'седел еси одесную Отца' написал" (Покровский, 1971, с. 126, ср. с. 90, 94, 105, 109, 120, 140, 158, 160). Следует иметь в виду, что "мимошедшее время" есть грамматический термин, означающий одно из прошедших времен. При этом митр. Даниил, председательствовавший на суде, велел спросить Максима: "Что ради Христово сидение одесную Отца мимошедшее писал еси и говорил и учил многих сему". Максим отвечал: "В том разньства никоторого нет, а то мимошедшее и минувшее..." (там же, с. 90, ср. с. 109, 126, 140, 158, 160). Обвинители Максима неоднократно возвращаются к этой проблеме, в ходе судебного разбирательства этот вопрос поднимался по крайней мере трижды. Позднее, в "Исповедании православныя веры" 1534–1539 гг. Максим, вспоминая об этих обвинениях, писал, что его противники утверждали: "Се Максим явѣ отлучает еже одесную сѣдалища Бога и Отца сопрестольна и соприсносушна Сына Его; сїе бо: сѣдѣл еси... помимошедшаго времени есть, глаголють сказательна, а не настоящего и всегдашняго" (Максим Грек, I, с. 32).

Максим между тем настаивал на своей правоте. Весьма характерно, что, хотя замена "аористной" формы на "перфектную" была одной из причин обвинения Максима на суде в 1525 и в 1531 гг., в позднейшем переводе Псалтыри 1552 г. Максим не только сохраняет эту правку, но и распространяет ее далее в том же направлении, например, *насади* заменяется на *насадила*, *насыти* – на *насытил*, *положи* – на *положил*, *основа* – на *основал еси*, *съкруши* – на *съкрушил*, *сломѣ* – на *сломил*, *възгнушася* – на *възгнушалася*, *избави* – на *избавил* (Ковтун и др., 1973 с. 108–109). Особенно показательны в этом смысле собственноручные исправления Максима на рукописи Следованной Псалтыри XV–XVI вв. (ГБЛ, ф. 304, № 315); исправления Максима относятся, видимо, к 1540-м годам. Формы аориста во 2 л. ед. числа достаточно регулярно правятся здесь на перфектные формы: *оуслыша* на *оуслышал еси* (л. 67 об.), *сотвори* на *сотворил еси* (л. 76 об.), *избави* на *избавил еси* (л. 119), *разсѣче* на *разсѣклъ еси* (л. 181) и т. д.

Мы видим, что одни и те же языковые явления воспринимаются существенно различным образом. Максим Грек явно хотел приблизить рус. ц-сл. тексты к их греч. оригиналам, передать в ц-сл. тексте всю ту информацию (в частности, грамматическую), которая содержалась в греч. первоисточнике. Это выражалось, в частности, в стремлении уподобить ц-сл. глагольную парадигму греч. парадигме; поскольку в греческом нет омонимии форм 2 и 3 л. аориста, ее не должно было быть и в церковнославянском. Передавая греч. аорист ц-сл. глагольными формами, Максим разрешал омонимю 2 и 3 л. введением перфектной формы 2 л. ед. числа в аористную парадигму. Таким образом, перфектные и аористные формы оказывались у него не противопоставленными по значению.

Необходимо иметь в виду, что ближайшим помощником Максима в переводе Псалтыри был не кто иной, как Дмитрий Герасимов, автор цитированного выше ц-сл. Донату-

са. На первых порах Максим недостаточно свободно владел ц-сл. языком, и мы знаем, как происходила работа над переводом Псалтыри: сначала Максим переводил с греч. языка на латынь, а потом Дмитрий Герасимов вместе с Власием (другим помощником Максима) переводил с латыни на ц-сл. язык (описание этой процедуры содержится в "Исповедании православныя веры", написанном Максимом между 1534 и 1539 гг., а также в письме Дмитрия Герасимова к дьяку Мисюрю Мунехину - Максим Грек, I, с. 33; Иванов, 1969, с. 41). Далее Максим, надо думать, корректировал получившийся перевод.

В процессе такой работы Максим, видимо, спрашивал своих помощников: что соответствует на ц-сл. языке той или иной греч. форме, например, 2 л. аориста, 3 л. аориста и т. д. О том, что мог ответить на подобные вопросы Дмитрий Герасимов, мы знаем из его Донатуса, который был написан приблизительно в то же время, когда Дмитрий работал с Максимом над переводом Толковой Псалтыри, и где, как мы видели, очень наглядно представлена контаминация аористных и перфектных форм. Именно от Дмитрия Герасимова Максим и мог узнать, что греч. формам аориста могут соответствовать ц-сл. перфектные формы.

При таком подходе было естественно стремиться к разрешению омонимии 2 и 3 л. аориста, поскольку ее нет в греч. языке, а Максим искал точных соответствий между ц-сл. и греч. текстом. При этом языком-посредником служила латынь: на греч. системе прошедших времен (где различаются аорист, имперфект и перфект, а также плюсквамперфект) накладывалась латинская система, где нет аориста, а есть только имперфект и перфект (а также плюсквамперфект). При таком наложении аорист и перфект естественно соединялись: аористу и перфекту в греч. языке соответствовал перфект в латинском. Это могло способствовать контаминации соответствующих парадигм и в ц-сл. языке.

В "Исповедании православныя веры" Максим прямо говорит: "егда бываше мною грѣшнымъ исправленіе триодное, латинскою бесѣдою сказахъ с толмачемъ вашимъ Митѣ да Власу, занеже не у совершеннѣ изучившу ми ся вашей бесѣдѣ; аще убо хульно мнится вамъ въ реченіихъ тѣхъ: 'сѣдѣлъ еси', 'сѣдѣвъ', имъ праведно есть вмѣнити сичево нечестное презрѣніе, а не мнѣ, понеже азъ тогда не вѣдахъ различія сичевыхъ реченій" (Максим Грек, I, с. 33): как видим, Максим Грек вполне определенно связывает употребленные им глагольные формы с процедурой перевода.

Итак, Максим Грек явно ориентируется в своей языковой практике на греч. языковую модель. Такая система предполагает активное владение ц-сл. языком, когда текст порождается на основании определенных грамматических правил и парадигм - в данном случае соотношенных с греч. грамматикой. Усвоенные таким образом правила и определили представления Максима Грека о ц-сл. глаголе. Между тем, противники Максима Грека воспринимают его правку совершенно иначе. В основе их представлений о ц-сл. языке лежит не ц-сл. грамматика, а корпус ц-сл. текстов, из интерпретации которого они и исходят в своих языковых представлениях. Интерпретируя текст, они естественным образом исходят из языковой интуиции, сложившейся на основе родного, т. е. живого рус. языка. Соответственно, они исходят не из парадигмы в ц-сл. грамматике, а из видовой оппозиции типа *сел* - *сидел*, определяющей в рус. языке два основных значения прош. времени: завершенность или незавершенность в прошлом. Прош. время глагола несоверш. вида означает завершенность действия в прошлом, т. е. то, что в настоящее время оно уже не имеет места. Именно поэтому Максима обвиняют в том, что согласно его учению Христос некогда сидел одесную Отца, а теперь перестал сидеть; или что Господь был нам прибежищем, а теперь им не является. Вместе с тем аорист *сѣдѣ* в исходном

тексте Триоди воспринимается ими в противопоставлении форме *сѣдѣл* по модели глагола соверш. вида, который может означать актуальность действия для настоящего.

Одновременно, поскольку перфектные формы соотносились с формами прош. времени рус. языка, замена аористой формы на перфектную должна была восприниматься как коллоквиализация ц-сл. языка, приближение его к разговорной речи, т.е. его обмирщение. Так это действительно и понималось – не только оппонентами Максима Грека, но и его сторонниками. Так, Зиновий Отенский, последователь Максима, указывал: "Мняше бо Максим, по книжнѣи рѣчи у нас и обща рѣчь", – и объяснял это тем, что Максим как иностранец не познал "опаснѣ языка русскаго", т.е. ц-сл. языка (Зиновий Отенский, 1863, с. 967). Зиновий вообще очень четко противопоставляет "язык свой", т.е. рус. ц-сл. язык, и "народа общую речь", т.е. рус. разговорный язык.

Необходимо иметь в виду, что уже в древнейшей славянской письменности, т.е. в ст-сл. памятниках наблюдается вариативность форм аориста и перфекта, особенно во 2 л. ед. числа. Там, однако, это явление было вызвано иными причинами, поскольку аорист был живой категорией в юж-сл. языках и соответственно грамматические значения аориста и перфекта были дифференцированы. Вместе с тем, в ряде контекстов оппозиция аориста и перфекта могла нейтрализоваться; это имело место, в частности, в контекстах, связанных с обращением (сюда относится и вся Псалтырь) – в этих контекстах и оказывается возможной вариативность соответствующих глагольных форм. Ср., например, в Зогр. ев.: "Бже мои въскѣж ма остави" (Мф. XXVII, 46), – тогда как в соответствующем месте Мар. ев., Ассем. ев., Сав. книги: "Бже мои въскѣж ма еси оставилъ". В Сав. книге (Мф. VIII, 29): "Сноу бжи приде прѣжде врѣмене насъ мѣжитъ" – в Зогр. ев., Ассем. ев., Мар. ев.: "Сне бжи пришелъ ли еси сѣмо прѣжде врѣмене мѣжитъ насъ". В Зогр. ев. (Лк. XV, 30): "Егда же снѣ твои... приде і закла емоу телець питомъ" – Ассем. ев.: "Егда же снѣ твои ... приде и заклалъ емоу еси телець питомъ". Равным образом аористные и перфектные формы могут выступать в ст-сл. памятниках в качестве однородных сказуемых, например, в Зогр. и Ассем. ев. находим: "ѣли есте хлѣбы и насытите сѧ" (Ин. VI, 26); в Зогр., Ассем. ев., Сав. книге: "Оутайлъ еси ... і отъкры" (Лк. X, 21); ср. еще в Синай. пс.: "Възлюбилъ еси правдѣ и възненавидѣ безаконіе" (Пс. XLIV, 8). Распределение форм аориста и перфекта в ц-сл. тексте никак при этом не соответствует распределению этих форм в греч. оригинале.

Как показал А. Н. Троицкий, вариации такого рода отражают деятельность книжных справщиков X–XI вв., редактировавших древнейший ц-сл. перевод св. Писания. Редакторы ц-сл. текста стремились при этом избавиться от омонимии 2 и 3 л. ед. числа аориста в тех случаях, когда она приводила к двусмысленности, заменяя в этих случаях формы аориста на формы перфекта; при этом они, как правило, не ориентировались на греч. источник, а исправляли ц-сл. перевод в согласии со своей интерпретацией (иногда ошибочной). Итак, если в России Максим Грек (а вслед за ним и справщики XVII в., см. ниже) руководствовались стремлением последовательно различать 2 и 3 л. ед. числа в формах прошедших времен, подражая языку греч. оригиналов (где формы 2 и 3 л. различались во всех временах), то справщики X–XI вв. стремились ликвидировать омонимию лишь в отдельных случаях, чтобы сделать текст более понятным (однозначным), причем они могли исправлять ц-сл. текст без всякой сверки с греч. источником. Иначе говоря, формы аориста заменялись на формы перфекта не из подражания греч. языку, а только для того, чтобы избавиться от омонимии в тех случаях, когда она могла помешать пониманию текста. Характерно, что в контекстах, однозначно указывающих на лицо (например, при наличии местоимения *ты* или формы вокатива), когда двусмысленность не возникала, аористные формы 2 л. сохранялись без изменений.

Отсюда различие между рус. и юж-сл. справкой, которая может приводить к отчасти сходным результатам. В России мы наблюдаем стремление уподобить структуру ц-сл. языка греч. языковой структуре, т.е. имеет место ориентация на греч. языковую модель. Здесь актуальной является проблема правильности (языка). Максим

Грек и Дмитрий Герасимов не только правят текст, но и устанавливают новую языковую норму, в которой 2 л. ед. числа перфекта вводится в парадигму аориста - это явление языка, а не текста. В юж-сл. языках основной является проблема понятности (текста). Таким образом, соответствующие изменения мотивированы здесь требованиями текста, они не имеют системного характера - правка предстает здесь как явление текста, а не языка.

Понятно, что условием изменения нормы является отсутствие семантической дифференциации форм аориста и перфекта в рус. изводе ц-сл. языка, тогда как в ст-сл. языке, где такая дифференциация имела место, изменения могли касаться только текста, а не языковой системы.

То, что языковая практика Максима Грека обусловлена именно ориентацией на греч. языковую модель, а не стремлением внести разговорный элемент, видно из того, что совершенно так же поступают сто лет спустя никоновские справщики: и они также последовательно заменяют 2 л. ед. числа аориста и имперфекта перфектной формой. Подобные исправления, так же как и в случае с Максимом Греком вызывают решительный протест книжников традиционного направления, в данном случае старообрядцев. Замечательно, что их возражения против новых форм буквально совпадают с критикой в адрес Максима Грека (см. 8.7.5).

Представление о характере никоновской sprawy в интересующем нас отношении можно получить из сопоставления одного и того же текста в дониконовской и современной редакции, ср. текст службы Вознесению, на стиховне вечера:

Дониконовская редакция

*Родися ꙗко самъ восхотѣ, ꙗвился
еси ꙗко самъ изволи, пострада
плотію бже нашъ. из мѣртвахъ
воскресе, поправъ смерть,
вознесся во славу, иже всяче-
ская исполняй, и послалъ еси
намъ дхъ бжественный, во еже
воспѣвати и славити твое
бжество.*

Современная редакция

*Родился еси ꙗко самъ восхотѣль
еси, ꙗвился еси ꙗко самъ изволилъ
еси: пострадалъ еси плотію бже
нашъ, из мертвыхъ ^своскрлъ еси
поправъ смерть. вознеслся еси во
славу, всяческая исполняй, и по-
слалъ еси намъ дха бжественнаго,
еже воспѣвати и славити твое
бжество.*

(Алипий, 1964, с. 207).

Как уже говорилось, основным стимулом такой sprawy было стремление устранить омонимию глагольных форм 2 и 3 л. в парадигме аориста и имперфекта: за "генетическими" формами аориста и имперфекта оставлялось исключительно значение 3 л., тогда как значение 2 л. выражалось перфектной формой. Такое восприятие соответствующих форм прослеживается уже у киевских книжников начала XVII в. (которые могли исходить при этом из грамматик Лаврентия Зизания или Мелетия Смотрицкого, см. 8.7.3). Так, Иосиф Кириллович в предисловии к киевской Псалтыри 1624 г. отмечает: "Прочая же къ исправленію искуснѣйшымъ оставихъ, идеже преводитель славенскій въ превожденіи свойства діалекта не съхрани, и многажды... третее лице вмѣсто втораго полагаше, и в' сочиненіи реченій Еллинскій зря Діалект, Славенскому ничтоже внимаше" (Титов, 1918, прилож., с. 89). Очевидно, что имеются в виду те случаи, когда "генетические" формы аориста или имперфекта употреблены в значении 2 л.;

теперь они воспринимаются исключительно как формы 3 л. и поэтому их употребление во 2 л. рассматривается как ошибка, отступление от "свойства" ц-сл. языка. Характерно вместе с тем, что восставая против подобного употребления, Иосиф, тем не менее, не решается править данные формы.

Такая справа в широком масштабе началась только со второй пол. XVII в. после реформ патр. Никона. Ее теоретическое обоснование было таким же, как у Иосифа Кирилловича. Так, известный справщик конца XVII в. чудовский инок Евфимий говорит в своем трактате о исправлении миней 1692 г.: "Обрѣтошася... в' тѣх правленныхъ книгахъ [миняхъ], не вѣдомо по какому случаю, реченія многая оставленна неисправлена, по грамматическому художеству во временехъ и лицахъ. втораго лица глы премножайшии, третіимъ лицомъ писаны, еже зѣло не лѣпо тако быти" (Никольский, 1896, с. 79). И далее Евфимий пишет: "Глаголи личнии во временехъ и лицахъ и начертаниихъ премного помѣшано", - и приводит примеры такого смешения в минях. В частности, обсуждая фразу "Что ти принесемъ Хрте ꙗко явился на земли" (из службы на Рождество, десятая стихира на "Господи, воззвах"), Евфимий замечает: "Что ти Хрте, стіхъ глетъ ко второму лицу; явился же (ꙗко члкъ) глѣ третьего лица. и въ единомъ лицѣ Хртовѣ два лица стіхъ оный поеть: и сіе зѣло вредословно. Кто бо инъ явился, ꙗко члкъ насъ ради, токмо самъ единъ Хртось Бгъ, а не инъ кто, ꙗко стіха погрѣшеніе показуеъ второе лице мѣстоименіемъ, и именемъ, еже тебѣ Хрте. Глаголомъ же еже явился, показуеъ третіе лице. Подобаеъ же пѣти весь стіхъ ко единому второму лицу Хву сице: *Что ти принесемъ Хрте, ꙗко явился еси ꙗко члкъ* по просту ꙗко реши: *Ты Хрте Бгъ сый явился еси ꙗко члкъ, въ единомъ лицѣ, или впостаси. и тебѣ что за сіе принесемъ*" ("по просту реши" означает в данном случае толкование, а не перевод на простой язык). Обсуждая другой пример "Въ послѣхъ насъ ради безсловесныхъ положиися доготерпѣливе Спасе" (из службы на утреню, первый седален), Евфимий пишет: "Долготерпѣливе и Спасе имена, звателнаго суть падежа. звателный же падежъ вездѣ пишется и глется ко второму присущему лицу. никто бо не присуща или отсуща кого зоветъ. Глѣ же [положиися] ... лица есть третьего, време прешедшаго, сочиняти же подобаеъ къ имени звателнаго падежа глѣ втораго лица, сице: *положился еси долготерпѣливе спсе. ꙗко же и в' первомъ стіѣ, явился еси. а не положиися спсе, ниже явился Хрте*". Приводя еще один пример такого рода "Изліяся блгтъ во устнахъ твоихъ отче (Васіліе) и бысть пастырь хвы цркви" (из службы на 1-е января, стихира на славнике), Евфимий утверждает, что по точному грамматическому смыслу данной фразы пастырем оказывается не *Василій*, а *благодать*: "Два гла, *изліяся* и *бысть*, и време прешедшаго, и лица третьего. *Блгтъ* же и *пастырь*, имена именительнаго падежа. *отче* же звательнаго падежа. *Вопросительно* [т.е.: спрашивается]. Кто быс[тъ] пастырь,... блгтъ, или отцъ, рекше *Васілій*; глѣ бо третьего лица, *быс[тъ]*, относит имя пастыря на блгтъ, а не на *отче*. И кто благоразсудных не зазрит сицевой грубости. Стіхъ сей написа творецъ ко второму лицу стѣаго *Васіліа*. повѣствуя третьего лица глом [т.е. называя его], блгти *наполненіе*, и тоя ради (рекше блгодати) отче *Васіліе* былъ еси пастырь, а не *бысть*. Аще убо написано будетъ третим лицомъ, и *бысть пастырь*. то не *Васілій* быс[тъ] пастырь, но блгодать изліявшаяся, по глѣ третьего лица, *бысть*. И сіе зѣло вредословно". Евфимий при этом отмечает, что подобные

тексты исправлены "в mineaxъ общих послѣднихъ изданій", однако не исправлены в служебных mineaxъ (Никольский, 1896, с. 114–116). Таким образом, Евфимий воспринимает старые формы 2 л. аориста и имперфекта, совпадающие с формами 3 л., именно как формы 3 л. – форма *явися* для него соотносится исключительно с 3 л., поскольку во 2 л. должно быть *явился еси* и т.п.

И последующие справщики продолжают ту же тенденцию. Особенно показательна в этом отношении работа над Елизаветинской библией (1751 г.): справщики регулярно меняют во 2 л. аорист на перфект. Так, например, фраза "и обрѣте я ложны" (Апок. II, 2) исправляется на "и обрѣлъ еси ихъ ложныхъ", причем этому исправлению сопутствует помета: "гль in secunda persona", в подтверждение чего приводится греч. текст (ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 4, № 38, ч. III, л. 310 об.); фраза "поминай убо, како пріять и слыше" (Апок. III, 3) исправляется на "... пріять еси и слышалъ еси" с пометой справщиков "глы in 2 pers" и греч. текстом (там же, ч. III, л. 312 об.), фраза "ты бо рече" (Исайя, XXXVII, 24) исправляется на "ты бо реклъ еси" (там же, ч. II, л. 117 об.); аналогичным образом *спаде* исправляется на *спалъ еси* (Апок., II, 5), *пріять, воцарися* – на *пріять еси, воцарился еси* (Апок., XI, 17), *добрѣ рече* – на *добрѣ рекла еси* (Ин. IV, 17), причем каждый раз справщики указывают, что в греч. тексте глагол стоит во 2 л. (там же, ч. III, л. 310 об., 323 об., 132). Здесь же встречаем и случаи, когда в 3 л. перфектная форма исправляется на аористную, например: "и пожерлъ есть телцы" (III Царств. I, 19) исправляется на "и пожре телцы" (там же, ч. I, л. 183), "яко пришелъ есть Ѳарака, црь Мурскъ" (Исайя, XXXVII, 9) исправляется на "И изыде Ѳарака црь Еѳіопскій (там же, ч. II, л. 167). Так, если в свое время аористная и перфектная парадигма употреблялись параллельно, т.е. смешение было возможно во всех трех лицах, то теперь в соответствии с рекомендациями грамматики Смотрицкого устанавливается четкая дифференциация: во 2 л. появляется перфектная форма, в 3 л. – аористная.

Работа над Елизаветинской библией не отразилась непосредственно на церковной службе, поскольку она не затронула напрестольных евангелий, по которым евангельский текст читается в церкви: новоисправленный евангельский текст (тетроевангелие) восходит к Елизаветинской библии 1751 г., тогда как напрестольные евангелия (апракос) отражают предшествующую языковую норму. Вообще, с появлением Елизаветинской библии начинает различаться богослужебный ц-сл. язык и ц-сл. язык церковных книг, предназначавшихся только для чтения (см. 18.2.1). Таким образом, замена старых форм аориста и имперфекта на перфектную форму во 2 л., осуществленная справщиками Елизаветинской библии, не распространилась на богослужебные книги. Ср. один и тот же текст (Ин. XXI, 18) в богослужебном и небогослужебном варианте современного ц-сл. языка:

Богослужебное издание

Егда бѣ юнъ, поясахеса самъ, и
хождаше, аможе хотяше...

Небогослужебное издание

Егда былъ еси юнъ, поясался еси самъ, и
ходилъ еси, аможе хотѣлъ еси...

(Алипий, 1964, с. 207)

8.7.5. Введение перфектной формы в парадигму аориста и имперфекта: глагол *быти*. Рассмотренный процесс имел место и в отношении форм глагола *быти*. Здесь

также 2 л. ед. числа аориста и имперфекта могло замещаться перфектной формой (*был еси*). Замены такого рода вызвали особенно бурную полемику в XVI–XVII вв. в силу специальной семантики глагола *быти*. Эти споры начинаются опять-таки с Максима Грека и продолжаются в ходе полемики старообрядцев с новообрядцами, вызванной икононовской справой. Позиция Максима, равно как и икононовских справщиков, совершенно ясна и не нуждается в особых комментариях: они исходят из греч. языковой модели, т.е. из необходимости различать 2 и 3 л. аориста и имперфекта. Их подход – грамматический, они идут от грамматики к тексту и ориентируются на активное употребление. Для них несущественна семантическая дифференциация прошедших времен, постольку, поскольку она не закреплена в грамматике. Их подход к глаголу *быти* ничем не отличается от их подхода к другим глаголам.

Иначе обстоит дело с книжниками традиционного направления. Они ориентируются не на грамматику, а на тексты. Поэтому вносимые исправления заставляют их задуматься над тем, не изменился ли смысл текста. Тем самым, они оказываются вынужденными сопоставлять разные варьирующиеся формы, определяя их смысловые различия. Правка актуализирует для них семантические различия конкурирующих друг с другом форм прошедших времен. Эта актуализация особенно ярко проявляется в отношении глагола *быти*, поскольку разные интерпретации форм этого глагола непосредственно связаны с богословским пониманием текста. Богословские рассуждения дают в данном случае картину языкового сознания традиционных книжников.

Так, одни формы глагола *быти* соотносятся с "всегдашним" временем, другие – с временем преходящим, одни формы этого глагола могут расцениваться как относящиеся к Богу в противопоставлении другим, приличествующим только людям, и т.п. При этом разные значения этого глагола связываются с разными его формами, т.е. его полисемия распределяется по разным парадигматическим формам. В этом распределении участвуют два фактора. Один из них – текстовая традиция, т.е. традиция употребления тех или иных форм в ц-сл. текстах, которая теперь получает эксплицитное осмысление. Другой фактор – ассоциации с некнижным языком, т.е. интерпретация тех или иных форм ц-сл. глагола как эквивалента определенных форм разговорного языка.

В плане выражения прошедшие времена глагола *быти* реализуются в следующих формах (приводим формы 2 и 3 л.):

	Аорист	Имперфективный аорист	Имперфект	Перфект
2 л.	<i>бысть</i>	<i>бѣ</i>	<i>бѣаше (бѣше)</i>	<i>быль еси</i>
3 л.	<i>бысть</i>	<i>бѣ</i>	<i>бѣаше (бѣше)</i>	<i>быль есть</i>

В плане содержания эти формы могут связываться с оппозицией по следующим признакам:

1) отмеченность/неотмеченность начала состояния. Глагол *быти* как в ц-сл., так и в живом языке может означать либо состояние, либо возникновение этого состояния; в последнем случае отмечено начало этого состояния и данный глагол означает "стать";

2) отмеченность/неотмеченность конца состояния. По существу это видовое различие типа различия между формами *приходили* и *пришли*. *приходили* значит "пришли и ушли", *пришли* значит "пришли и, возможно, остались";

3) отмеченность/неотмеченность процесса, т.е. указание на то, что состояние имело место, или на то, что состояние имело место и какое-то время продолжалось.

Указанные формы могут соотноситься с данными значениями следующим образом – описываем языковое сознание книжников традиционного направления, обуславливавшее восприятие книжной справы (плюсом обозначаем отмеченность, минусом – неотмеченность):

	Начало состояния	Конец состояния	Продолженность состояния
<i>бысть</i>	+/–	–	–
<i>бѣ</i>	–	–	–
<i>бѣше</i>	–	–	+
<i>быль еси (есть)</i>	–	+	+/–

Итак, форма *бысть* может рассматриваться как специальное обозначение начала состояния (в этом случае *бысть* означает "стал"), а может рассматриваться и как

форма, синонимичная форме *бѣ*, ср. для первого значения "и о томъ бысть" между ими ненависть" (ПСРЛ, I, стлб. 74), т.е. "между ними возникла вражда". Форма *быль еси* может рассматриваться как обозначение продолженного состояния (аналогично форме *бѣше*), а может рассматриваться как простое указание на то, что состояние имело место (аналогично форме *бѣ*). В рамках этих возможностей интерпретации и действуют рус. книжники, старающиеся установить семантические различия данных форм.

Споры о значении разных форм глагола *быти* сосредоточиваются прежде всего вокруг интерпретации одного стиха из 89-го псалма - "Господи, прибѣжище бысть намъ" (Пс. LXXXIX, 2). Максим Грек в своем переводе Толковой Псалтыри 1519-1522 гг. передает эту фразу, введя в нее перфектную форму: "Господи, прибѣжище *быль еси* намъ". Это изменение вызывает нарекания не только врагов, но и друзей Максима. Так, тверской епископ Акакий, вообще говоря, покровительствовавший Максиму, обвинил его в том (между 1531 и 1548 гг.), что, произведя это изменение, Максим будто бы ограничил вечное пребывание Бога, исключая его из настоящего. Мы знаем об этом из "Послания брату Григорию" Максима Грека, в котором он протестует против этого обвинения и защищает свои позиции: "...Слышал есмь стороною, что государь наш владыка тферской смущается о мнѣ бедном пословицею сею: *Господи, прибѣжище был еси нам* и говорит оглаголюя мене напрасно: восе-де Максим писаніем сицевым своим мудрствует, что нам ужъ нѣсть прибѣжище к Богу. Избави мя, Господи, от таковыа хулы... А сіа пословица: *был еси* не отлучает нас Божиаго Промысла и прибѣгства, якоже владыка толкует, но наипаче исповѣдует и твердо являет Божій, иже о нас Промысл, явѣ глаголя, яко не точію нынѣ прибѣжище *еси* нам Господи, но искони челоуѣческаго рода *бысть* или *был еси* прибѣжище нам. Сіе бо сказует нам еже в род и род, еже есть выну, сирѣчь изначала и нынѣ *еси* прибѣжище нам и до скончания вѣка будеша..." (Максим Грек, II, 421-422). Как видим, для Акакия формы *бысть* и *был еси* противопоставлены по признаку отмеченности-неотмеченности конца состояния: "*был еси* прибѣжище" означает для него, что Бог в настоящее время таким прибежищем не является. Для Акакия, так же как ранее для митр. Даниила, протестовавшего против замены *сѣдѣ* на *сѣдѣль еси* (см. 8.7.4), в форме *быль еси* актуализируется значение рус. глаголов несоверш. вида в прош. времени: он воспринимает ц-сл. текст в перспективе своего живого языка.

Если для Максима, который исходит из греч. языковой модели, формы *бысть* и *быль еси* различались только по лицу, а не по времени, то для его ученика и последователя Зиновия Отенского, ориентировавшегося на ц-сл. книжную традицию, дело обстоит не так. Однако его позиция существенно отличается от позиции Акакия. Зиновий Отенский считает, что форма *бысть* неуместна, когда речь идет о Боге. Так, в слове о св. Ипатии он говорит: "Сын же Божий едиnorodный всегда присно есть, а не бысть, яко Сын бѣше всегда и не бѣше никогда же, егда не бѣше, но всегда бѣше Сын у Отца Бога Сын едиnorodный...", "...Не бѣше времени никогда же, егда не бе Сына, но в начале бе Слово с Отцем, и Слово бе у Отца присно, искони, и вся Тем быша, и без Сына ничто же бысть еже бысть" (Корецкий, 1965, с. 175). В своем понимании форм *бѣше*, *бѣ* и *бысть* Зиновий основывается на интерпретации одного из самых важных в христианском вероучении текстов, на начале Евангелия от Иоанна (Ин. I, 1-3), который он при этом и цитирует, ср.: "искони бѣ слово и слово бѣ отъ ба. и бѣ бѣ слово. се бѣ искони оу ба и тѣмъ вса быша. и без него ничто же не бысть кже бысть" (Остр. ев. 1056-1057 гг., л. 1а). Именно отсюда выводит он противопоставление формы *бѣ* и *бысть*: *бысть* означает становление, а *бѣ* - пребывание, т.е. в наших терминах для *бысть* отмечено начало состояния, а для *бѣ* - не отмечено. Зиновий, таким образом, понимает евангельский текст так: "Слово было у Отца всегда, с самого начала, и без Сына не возникло ничего из того, что возникло". Отметим, что греч. текст Евангелия не дает оснований для такой именно актуализации значений (поскольку форма аориста *ἐγένετο* может относиться как к глаголу *ἵσταναι* 'быть, становиться', так и к глаголу *εἶναι* 'быть, существовать'). Вместе с тем, формы *бѣше* и *бѣ* выступают для Зиновия как синонимичные в данном аспекте, обе эти формы для Зиновия не отмечают начала состояния (ср. "всегда бѣше Сын у Отца" и "Слово бѣ у Отца присно"). Таким образом, оказывается, что к Богу приложимы формы *бѣше* и *бѣ*, но не *бысть*; между тем Акакий, как мы видели, считал, напротив, что к Богу приложима форма *бысть*, но не *быль еси*. Хотя Зиновий никак не упоминает форму *быль еси* и ничего не говорит о споре Акакия и Максима, можно думать, что этот

спор был ему известен и что он, не высказываясь прямо против Акакия, приводит дополнительные аргументы в защиту позиции Максима.

Очень четко семантическое различие аористных форм с основой *бѣ-* и с основой *бы-* проводится в азбуковнике XVII в. из библиотеки Соловецкого монастыря: "Ино же есть *бѣхъ* и ино *быхъ*. По изгнаніи из рая рекъ себѣ Адамъ: увѣ мнѣ, что *бѣхъ* и что *быхъ*: *бѣхъ* бо царь вѣмъ сущимъ на земли и *быхъ* рабъ грѣху, - *бѣхъ* прежде и *быхъ* послѣ" (Карпов, 1878, с. 188). В современном рус. переводе слова Адама звучали бы следующим образом: "Горе мне, кем я был и кем я стал: был я царем над всем существующем на земле, а стал рабом греха - вот каким я был и вот каким я стал". Таким образом, оппозиция форм *бѣхъ* и *быхъ* осмысливается как противопоставление немаркированного обозначения состояния в прошлом и маркированного обозначения начала состояния.

Изменение *бысть* на *былъ еси* в тексте псалма, сделанное Максимом, не было принято. Тем не менее, столетие спустя никоновские справщики правят Псалтырь в точности так же, как это делал Максим, т.е. они заменяют в цитированной фразе форму *бысть* на *былъ еси*. Одновременно они заменяют на *былъ еси* и форму имперфекта *бѣаше* в пасхальном тропаре ("Еже въ гробѣ съ плотію"), ср. в дониконовской редакции "И на престолѣ *бѣаше* Христе со Отцемъ и Духомъ", в новой исправленной редакции "И на престолѣ *былъ еси* Христе со Отцемъ и Духомъ". Эти исправления вызывают решительный протест старообрядцев. Здесь как бы вновь повторяется полемика Максима и Акакия: никоновские справщики действуют из тех же побуждений, что и Максим Грек, т.е. они ориентируются на греч. грамматическую модель (различение 2 и 3 л. аориста и имперфекта), тогда как для старообрядцев это актуализирует вопрос о семантической дифференциации форм прошедших времен.

Так, священник Лазарь, осуждая такие исправления, писал: "Да в' новыхъ ... книгахъ напечатано: Гди прибѣжище *былъ еси* намъ. Еще же и в' тропарѣ напечатано: На прѣтолѣ *былъ еси* Хрѣте со Оцемъ. И тѣ рѣчи Хрѣту в' похуленіе и отметны, сею рѣчию сказуютъ намъ Гдне прибѣжище, и на прѣтолѣ его бытіе мимошедшее" (Симеон Полоцкий, 1667, л. 133). То же самое пишет в своей челобитной 1670 г. и старец Авраамий: "А инде врази Божии напечатали во псалме: Господи, прибежище *был еси* нам. А в старых печатях положено: Господи, прибежище *бысть* нам" (Субботин, VII, с. 277). Наиболее обстоятельно останавливается на этом вопросе инок Савватий в челобитной 1660-х годов. Он пишет: "...сами справщики совершенно грамматики не умѣютъ и обычай имѣютъ тою своею мѣлкою грамматикою бѣга опредѣляти мимошедшими времени и страшному и неопisanному бѣжтву его гдѣ не довлѣетъ лица налагаютъ. В воскресном, гдѣрь, тропарѣ на пасху еже 'во гробѣ с плотію' прежде сего печатали: и на прѣстолѣ *бѣаше* Хрѣте со Оцемъ и Дѣхомъ вся исполняя неописанный. А нѣтъ в новой треоди напечатали мимошедшимъ временемъ: '...на прѣтлѣ *былъ еси* Хрѣте со Оцемъ и Дѣхомъ', якоже бы иногда был а иногда нѣсть. А сего неразумѣютъ яко по бѣгсловнымъ кнѣгамъ при бѣзѣ бытіе не глѣтся якоже при тварехъ но предбытіе понеже всякого существа и бытія прежде бѣгъ. И лѣпо бѣгу присно быти, зданию же [т.е. созданию, творению], бывати. Тѣлеса члѣская преходятъ от мѣста в мѣсто, сего ради и временемъ множицею к лицу члѣческому глѣтся, яко здѣ или ондѣ былъ. А бѣгъ не яко тѣлеса през мѣсто не преходитъ ни предѣлу ни мѣсту не подпадаетъ, само опредѣляетъ вся. И како удобно глѣти к лицу Хрѣтову временемъ яко к лицу члѣческому: *был еси* на прѣтолѣ; тою своею глупостию разлучаютъ Его от Оца и Дѣха, и от прѣтола не всегда глѣютъ Его со Отцемъ и Дѣхомъ на прѣтолѣ быти... Тамо в тропарѣ еже 'во гробѣ с плотію' за *бѣаше* *былъ еси* положили не дѣломъ. А индѣ за *бысть* *был* же *еси* печатаютъ не гораздо. Яко же во псалтырѣ... прежде сего печатали: Гди прибѣжище *бысть* намъ, а нѣтъ печатаютъ: Гди прибѣжище *был еси* намъ. А в октае 4^{го} гласа в' нѣлю на утрѣнѣи на хвалитѣхъ во второмъ стисѣ о женахъ мироносицахъ глѣтъ, яко со слезами дошедше гроба Гдня вопіяху глѣюще: увѣ намъ, Спсе нѣшъ црѣю всѣхъ, како украден *бысть*. А нѣтъ в' треоди напечатали: како украденъ *был еси*, якожъ бы самому ему в лицо глѣли. А во

ейліи в Лукѣ в зачатѣ 113 глет, яко самого Гда тогда мироносицы не видѣша, от аггль слышаху яко живъ естъ. Или в треоди же, Гдрь, в Ілю 4^ю по пасцѣ, в синоксарѣ было напечатано: егда обрѣте Ісѣ по исцѣленіи разслабленнаго во стлищи и гла ему, се здоровъ *бысть*, к тому не согрѣшаи. А ннѣ в синоксарѣ напечатали: се здоровъ *был еси*, к тому не согрѣшаи; якобы паки по исцѣленіи не здоровъ *бысть* разслабленный. А индѣ и глупіе того учинили ... в субботу на вечернѣ на стиховнѣ в 'славникѣ еже 'в притворѣ соломоновѣ', егда первое обрѣте Ісѣ разслабленнаго при купѣли на одрѣ лежаща и сотвори его здрава, такоже соврали, напечатали, яко гла ему Ісѣ: возми одрѣ свои и ходи, се здоровъ *былъ еси*, къ тому не сгрѣшай; а онѣ до Хрта здоровъ не бывалъ, а по исцеленіи боленъ не бѣ. Не явная ли, Гдрь, в сем глупость их. Гдѣ ту грамматикѣ потреба и какому лицу тамо удобно быти. Или в ырмость 8^{го} глса еже 'уставъ преиде естества', прежде сего печатали от лица бцы: и дверь спсєнія мирови *бысть*. А ннѣ в ырмолюх тиснѣнія 165^{го} году тое же рѣчь к лицу ея напечатали: *была еси* мирови спсєніе; якоже бы древле спсла, а ннѣ нѣстъ. А *дверь* и *бысть*, блуденъ ради своих, отставили. Тако же, Гдрь, и стых многихъ в тропарѣх и в кондакѣх печатають: *был еси* помощникъ, *былъ еси* заступникъ. Еи, Гдрь, смутились и кнги портятъ и вперед будутъ портить, аще не уимут ихъ от такова безумія. А учили такъ плутати недавно. Прежде сего и они такъ не печатавали. А свела их с ума несовершенная их грамматика да приѣхшие нехаи [т.е. украинцы]. В' бгословныхъ, Гдрь, кнгахъ пишетъ, яко *бѣяше* непредѣльная рѣчь при бѣѣ глється искони и присносущное, а *бысть* при члвцѣ и при иныхъ тварѣхъ, отнележе наста что, обачѣ от начатка и то присносущное же. А *был еси* всегда глється мимошедшее, яко здѣ или ондѣ был... Непшуютъ себе, яко по грамматикѣ втораго ради лица за *бѣяше* и за *бысть* удобно глати *был еси* и *бывалъ еси*. И грамматика в сихъ не потреба" (ГИМ, Увар. 497/102, л. 6-8 об., ср.: Три челобитные, с. 22-27).

Итак, инок Савватий считает, что формы *бѣяше*, *бысть* и *былъ еси* различны по своему значению. Форма *бѣяше* является "непредѣльной рѣчью", т.е. обозначает состояние без начала и без конца; поэтому эта форма должна употребляться, когда говорится о Боге. Форма *бысть* обозначает состояние, отмеченное в своем начале ("отнележе наста что", т.е. когда что-то возникло), хотя и не отмеченное в своем конце ("обаче от начатка и то присносущное же", т.е. состояние мыслится как раз начавшееся и затем пребывающее вечно). Поэтому эта форма должна употребляться, когда говорится о том, что Бог сотворил, в частности, о человеке. Наконец, *былъ еси* относится к "мимошедшему" времени, и означает состояние, отмеченное в своем конце, - то, что случилось, но больше не имеет места. Исходя из этой семантической дифференциации, Савватий показывает, к каким смысловым искажениям приводит никоновская правка текстов. По мнению Савватия, в новых книгах получается, что святые были некогда помощниками и заступниками и перестали ими быть, что Богородица была спасением миру, но больше мир не спасает. С точки зрения Савватия, никоновские справщики вкладывают в уста Иисуса, обращающегося к исцеленному им больному, совершенно бессмысленные слова: если прежний текст *се здоровъ бысть* означает "ты стал здоровым", то исправленный текст *се здоровъ былъ еси* означает "ты побыл здоровым", т.е. "был здоровым и перестал им быть". Равным образом, когда жены-мироносицы говорят Христу *како украденъ былъ еси* это означает, по мнению Савватия, что Христос был украден и возвращен и что жены-мироносицы расспрашивают его, как это случилось, "якоже бы самому ему в лицо глаголали"; это делает соответствующий текст бессмысленным; между тем в предшествующей редакции стояло *како украденъ бысть* - здесь маркируется начало состояния, а не его конец, - и текст имеет значение риторического вопроса: "Как это могло случиться, что тебя украли?".

В то же время Савватий вполне отдает себе отчет в аргументации своих противников. Он понимает, что они основываются на грамматических правилах, позволяющих отличить 2 л. от 3 л. Однако он считает, что эти искусственные грамматические правила применимы лишь тогда, когда человек пишет новый текст и может сам распоряжаться его смыслом. Эти искусственные правила не могут, однако, прилагаться к уже существующим боговдохновенным текстам; в них смысл задан, и применение подобных правил приводит к искажению этого смысла. Никоновские справщики, говорит Савватий, на Божество "гдѣ не довлѣет, лица налагають", т.е. к Божественной сущ-

ности прилагают человеческую грамматику, тогда как "грамматика в сих не потреба"; равным образом, по утверждению Савватия, Бога нельзя ограничивать временем, тогда как Бог создал человеческое время, в котором мы живем, пребывая сам вне времени и над временем. Следует иметь в виду, что никоновские справщики исходят, по-видимому, из грамматики ц.-сл. языка как она была кодифицирована к тому времени, т.е. прежде всего из грамматики Смотрицкого. Именно это и подразумевает скорее всего Савватий, когда пишет о справщиках: "Свела их с ума несовершенная их грамматика, да приезжие нехай". Савватий несомненно знал, что грамматика Смотрицкого украинского происхождения, и он воспринимал никоновскую справу в контексте ю-з-рус. влияния (ср. 16).

Эта полемика отражает конфликт двух языковых сознаний - одно ориентируется на грамматику и на активное употребление, другое - на текст и его интерпретацию. Этот конфликт продолжается затем в спорах старообрядцев и новообрядцев. Та интерпретация форм прошедших времен, которую изложил Савватий, характерна вообще для старообрядческой традиции. Так, еще в конце XIX в. в антистарообрядческом сочинении иеромонаха Филарета читаем: "Глаголемые старообрядцы, преимущественно из малограмотных, обвиняют православных в том, что они, аки бы неправильно читают в означенном стихе [имеется в виду все тот же стих из Псалтыри], вместо *бысть* - *был еси*, так как выражение *был еси* означает прошедшее время, а слово *бысть* означает, по их мнению, всегдашнее время, и что таким чтением православные будто бы проповедают, что Господь некогда был, а не всегда есть наше прибежище". Здесь же Филарет заявляет, что форма *бысть* является формой 3 л., а *был еси* - соотнесенной формой 2 л., т.е. он трактует, в сущности, *был еси* как аористную форму (Ильминский, 1886, с. 6).

Как видим, старообрядцев обвиняют в малограмотности. В основе этого обвинения, - постоянного в антираскольничьей полемике - отказ старообрядцев признать универсальное значение грамматики и их обращение к традиционному каноническому тексту как к источнику грамматической информации. Этот подход чужд, между тем, новообрядческой традиции - употребление определяется грамматическими правилами, а семантические различия, не зафиксированные в грамматике, объявляются несуществующими. Об этом очень ясно писал Афанасий Холмогорский, отвечая на обвинения старообрядцев:

"Имѣя умная очеса, видить добрѣ быти преведено: *Гди, прибѣжище былъ еси*, в' мѣсто: *бысть намъ*. ибо звательный падежь выну полагается со вторымъ лицомъ, никогда же с третимъ; второе же лице есть, *былъ еси*, *бысть* же третіе паче неже второе. Убо имать быти: *Гди, прибѣжище былъ еси*, а не *бысть намъ*. Во времени же несть погрѣшеніе, ибо яко *бысть* тако и *былъ еси*, есть времени прешедшаго" (Афанасий Холмогорский, 1682, л. 220 об.-221; ср. наборную рукопись ЦГАДА, ф. 381, № 413, л. 73).

Ориентация новообрядцев на грамматические правила имеет в то же время искусственный характер. Языковое сознание остается прежним, и это очень ясно проявляется в рассуждениях чудовского инок Евфимия, который был одним из главных теоретиков никоновской книжной справы и который, как мы уже видели, настаивал на необходимости введения перфектных форм в аористную парадигму (во 2 л. ед. числа). В трактате о превосходстве греч. языка над латынью (1684-1685 гг.) Евфимий заявляет: "Латины... мѣсто *сый*, причастія единыя части, глаголють двѣ части - мѣстоименіе и глаголь: *иже есмь*, *иже есть*, *иже бысть*. Подобнѣ и поляки отъ латинскаго языка и ученія глаголють мѣсто *сый* - *который есмь*, *который есть* и *былъ*, иже не знаменуетъ вѣчности, но наченшееся что и кончущееся, *сый* же и *бѣ* являютъ Божественное существо безначальное и безконечное" (Сменцовский, 1899, прилож., с. XIII). Итак, формы *был* и *бѣ* противопоставляются по своему значению: *был* означает состояние, которое имеет начало и конец, а *бѣ* - состояние "безначальное и безконечное", поэтому эта глагольная форма соответствует Божественному существу. Как видим, проводимая Евфимием семантическая дифференциация форм прош. времени глагола *быти* вполне сходна с той, которую утверждают Савватий и другие старообрядцы. Евфимий в данном случае полемизирует не со старообрядцами, а с латинофилами (последователями Симеона Полоцкого), и при отсутствии антистарообрядческой полемической установки выходит наружу естественное для рус. книжника XVII в. языковое сознание.

8.7.6. Перфектные формы: наличие или отсутствие связки. Поскольку в рус. текстах формы аориста и имперфекта практически не встречаются и в соответствии с ними выступают причастные формы на -л со связкой или без связки, последние не имеют здесь специального значения перфекта, но выражают прошедшее время вообще. В то же время в разговорном языке появляется новый способ выражения перфектного значения при помощи причастий на -вши. Такое употребление характерно прежде всего для новгородской территории (Обнорский, 1953, с. 156–157).

Соответственно, образуется противопоставление ц-сл. перфекта и рус. прош. времени, которое формально выражается в отсутствии или наличии вспомогательного глагола. В рус. текстах, особенно древнейшего периода, прош. время может выражаться и причастной формой на -л со связкой, наряду с бессвязочным употреблением; наличие связки факультативно, и она чаще появляется в формах 1 и 2 л. (см. Соболевский, 1907, с. 239–240); характерно, что в Смоленской грамоте 1229 г. нет ни одной формы со вспомогательным глаголом. Однако в ц-сл. текстах опущение связки представляет собой явное отклонение от нормы. Следует оговориться, что опущение связки в формах перфекта представляет собой очень древнее явление и зафиксировано уже в Супр. рукописи, где оно встречается несколько раз; это явление наблюдается и в древнейших рус. ц-сл. памятниках, например, в Панд. Антиоха XI в., в Изб. 1073 (Соболевский, 1907, с. 239–241); в Изб. 1076 это явление встречается 18 раз (Лопушанская, 1975, с. 255).

В дальнейшем, отсутствие связки в формах прошедших времен будет кодифицировано в ц-сл. языке, см. выше примеры из "Донатуса" Дмитрия Герасимова, а также из "Простословия" старца Евдокима, где соответствующие формы могут появляться во 2 и 3 л. В некоторых случаях наличие связки различает формы 2 и 3 л. ед. числа, например, в "Донатусе" 3 л. *хотѣлъ, хачивалъ, челъ, слышалъ, слыхалъ*, 2 л. - *хотѣлъ еси, хачивалъ еси, челъ еси, слышалъ еси, слыхал еси*; в "Простословии" 3 л. - *любилъ*, 2 л. - *любилъ еси*. Отсутствие связки во 2 л. ед. числа аориста и имперфекта дается в качестве нормы в грамматике Смотрицкого 1619 и 1648 гг.: *челъ, читалъ*; любопытно, однако, что при переиздании этой грамматики в 1721 г. (переиздание осуществлено Федором Поликарповым) соответствующие формы даны со связкой: *челъ еси, читалъ еси*. Между тем, в грамматике Федора Максимова 1723 г. формы 2 л. ед. числа опять-таки не имеют связки (*питалъ, напигиталъ*).

Так или иначе, в древнейший период отсутствие связки представляло собой отклонение от книжной нормы. Об этом свидетельствует появление гиперкорректных форм со связкой. В новгородских берестяных грамотах можно встретить формы *вза ксме* (№ 482 - конец XIII в.), *посла кси* (№ 99 - XIV в.), *кси посла* (№ 135 - XV в.), *кси шдода* [т.е. отъда] (№ 311 - XIV-XV в.). Такое же явление находим и в Ипатьевской летописи: "Ркоша ꙗко Киѣ *есть* перевозникъ *быст[ь]*" (ПСРЛ, II, стлб. 7), а также у Епифания Премудрого в Повести о Стефане Пермском: "*Бѣше же естъ* епископъ Стефанъ искусень сый кнѣгами..." (Кушелев-Безбородко, IV, с. 154). Гиперкорректный характер связки (как признака книжности) может выражаться в том, что формы вспомогательного глагола могут употребляться без согласования по лицу и числу. Это явление отражает, с одной стороны, отсутствие различения по лицу в формах прош. времени некнижного языка, с другой же стороны, употребление связки как искусственный прием окнижнения текста. Так, в "Римских деяниях", переводном ц-сл. тексте XVII в., находим: "Азъ сѣя нощи *ловил еси* рыбу и *обрел еси* пильгрима вкинута в море" (с. 185 - 2 л. ед. числа вместо 1 л. ед. числа), "[он] ѣдучи через лѣсы по-

губиль еси тридесять сребреникъ" (с. 204 – 2 л. ед. числа вместо 3 л. ед. числа). Как видим, формы вспомогательного глагола употребляются безразлично по отношению к согласованию по лицам, подобно тому как безотносительно к согласованию по лицам могут употребляться формы аориста и имперфекта (см. 8.7.2) – в обоих случаях это объясняется тем, что в основе книжного текста лежит разговорный субстрат. Наличие связки оказывается таким образом своеобразным сигналом книжности.

Итак, одним из формальных отличий рус. ц-сл. языка древнейшего периода является наличие обязательной связки в сочетании с причастиями на -л. Другое отличие состоит в том, что в рус. языке связка всегда выступает как энклитика и присоединяется к первому слову фразы, имеющему автономное ударение, в ц-сл. же языке эта закономерность не соблюдается, и связка может помещаться в иных позициях (см. 8.9.14; ср. 7.9).

8.7.7. Перфектные формы в сослагат. наклонении. Как мы видели, связка может выступать как специфически книжный элемент и употребляться поэтому гиперкорректным образом. Особенно характерно гиперкорректное употребление связки в сослагательных конструкциях. Такие конструкции несколько раз встречаем в новгородских берестяных грамотах: "чоби есте поихали во городо" (№ 497 – XIV в.), "тобы еси масло тобы еси продале" (№ 528 – XIV в.; ср. в этой же грамоте сочетание связки с личной глагольной формой: "продава дабы еси"); "стобы кси. господине. окупили" (№ 102 – XIV в.); "цобъ кси прислало воську" (№ 129 – XIV–XV в.); "цобы еси ... пересмотреле" (№ 413 – XV в.). Ср. также в других новгородских и псковских грамотах: "а к намъ бы есте вѣсти слалѣ" (1410–1411 гг.), "чоби еси имѣ велѣлъ" (1417 г.) – (Грамоты Новгорода и Пскова, с. 88, 92). Такая конструкция регулярно встречается и в духовном завещании Ивана Грозного 1572–1578 гг.: "А людей бы есте, которые вам прямо служат, жаловали и любили их", "и были бы есте, ты Иван и Федор, по моему наказу, оба заедин и во всем бы себя берегли и жили по Бозе во всяких делах" (Доп. к АИ, I, с. 372, 377, ср. еще 373, 374).

В сер. XVII в. сослагат. конструкции с гиперкорректной связкой становятся нормой в ц-сл. языке: исправители Елизаветинской библии (1751 г.) вводят такую конструкцию в ц-сл. книги. Так, если в старопечатной Псалтыри, предшествующей никоновской справе, читаем: "яко аще бы восхотѣлъ жертвы, далъ быхъ убо", Пс. L, 18 (ср. такой же текст и в более ранних Псалтырях, например, в Симон. пс. 1270–1296 гг.: "яко аще бы восхотѣлъ жертве далъ убо быхъ"), то в позднейшей редакции этот текст предстает в таком виде: "яко аще бы восхотѣлъ еси жертвы, далъ быхъ убо" (см. Ильминский, 1886, с. 45). В старопечатном дониконском Евангелии читаем: "Ащебы вѣдала даръ бжїи..., ты бы просила у него, и далъ ти бы воду живу" (Ин. IV, 10); в послениконовской редакции – "Аще бы вѣдала еси даръ бжїи..., ты бы просила у него, и далъ ти бы воду живу". Аналогичным образом, в старопечатном Евангелии: "Гїи, аще бы здѣ былъ, не бы братъ мой умерлъ" (Ин. XI, 32); в новой редакции – "Гди, аще бы еси былъ здѣ, не бы умерлъ мой братъ". Именно такая конструкция сослагат. наклонения фиксируется в грамматике Смотрицкого – во всех трех изданиях, 1619, 1648 и 1721 гг.: 1 л. ед. числа – аще бымъ чель, 2 л. ед. числа – аще бы еси чель, 3 л. ед. числа – аще бы чель и т.п. (Смотрицкий, 1619, л. О/5; Смотрицкий, 1648, л. 194; Смотрицкий, 1721, л. 119 об.) – таким образом, внесение связки в сослагат. конструкцию кодифицировано здесь лишь во 2 л. (что связано, вероятно, с введением аналогичной формы 2 л. в

парадигмы прошедших времен, см. 8.7.3). Между тем, в грамматике Федора Максимова 1723 г. внесение связки в формы сослагат. наклонения распространяется и на 1 л., ср. здесь: 1 л. ед. числа - *аще бы есмь питалъ*, 2 л. ед. числа - *аще бы еси питалъ*, 3 л. ед. числа - *аще бы питалъ* (Максимов, 1723, с. 38).

Появление связки в формах сослагат. наклонения может быть объяснено и иначе: *бы* со временем перестает восприниматься как аористная форма и начинает функционировать как частица, обозначая условность предложения и не отождествляясь с вспомогательным глаголом; в результате такого переосмысления причастная форма на -л воспринимается как самостоятельная глагольная форма, причем отсутствие связки (вспомогательного глагола) при этой форме расценивается как отступление от грамматической нормы; отсюда происходит окнижение данной конструкции.

8.7.8. Плюсquamперфект. Ц-сл. форма плюсquamперфекта, состоящая из аориста или имперфекта вспомогательного глагола *быти* и причастия на -л, противостоит рус. форме выражения этой временной категории, состоящей из перфекта вспомогательного глагола *быть* и причастия на -л. Так, в ц-сл. "приведоша разбоиники съвязаны, ихъ же *бѣша* *или* въ кѣдиномъ селѣ монастырьскѣ" (Усп. сб. XII-XIII в., л. 50г), "всѣ принимаше съ всякимъ оусердикѣмъ *бѣ* бо и самъ въ искушении томъ *былъ*" (там же, л. 37в). Ср. рус. формы плюсquamперфекта: "Ярославъ *былъ* устави́лъ и убити" (Рус. Правда), "дали кѣмъ *былъ*" (Договор Новгорода с Тверью 1305 г.). Личная форма глагола *быть* как вспомогательная связка обычно опускается в рус. плюсquamперфекте, особенно в поздних текстах, и соответственно плюсquamперфект образуется из прош. времени глагола *быть* (*былъ* - без изменения по лицам) и причастия на -л от соответствующего глагола. См., например, в Смоленской грамоте 1229 г.: *ишлъ былъ* (= *ишло было*), в грамоте новгородского архиепископа Геннадия 1490 г.: "которые еретики *были* *показались*, ... *всѣ сбѣжали*" и т.п., подобные формы мы встречаем в московских текстах еще в XVII в. (Соболевский, 1907, с. 164, 242-243). Таким образом, при различии формального выражения плюсquamперфекта в ц-сл. и рус. языках сама эта категория была представлена в обоих языках. В современном литературном языке остатком плюсquamперфекта является, возможно, конструкция прош. времени с неизменяемым словом *было* (*пошел было*, *хотел было* и т.п.), которое называют иногда прерванным прошедшим (ср. Шмелев, 1960 с. 82-83).

Случаи замены плюсquamперфекта перфектом, т.е. формой простого прошедшего времени, наблюдаются достаточно рано. Так, в договорной грамоте Новгорода с вел. князем Ярославом Ярославичем 1264-1265 гг. читаем: "на *семъ* *кнѣже* *цѣлоуи* *сѣ* [хрестъ] къ *всѣмоу* *новогороду*, на *цѣмъ* то *цѣловали* *дѣди* и *шци* и *шцѣ* твои *ярославъ*" (Обнорский и Бархударов, I, с. 52-53). Здесь речь идет о том, что уже не сохраняет силы и целиком относится к прошлому, т.е. здесь была бы уместна форма плюсquamперфекта. Ср. у Ивана Грозного в первом послании Курбскому: "Тако же потом... изменники на нас *подъяша* и с теми изменники *пошел был* к Новугороду... и те в те поры от нас *отступили*..." (Переписка Грозного с Курбским, с. 27); формы аориста, плюсquamперфекта и перфекта (некнижного прошедшего времени) служат для обозначения последовательных действий, совершавшихся в прошлом, - в значении плюсquamперфекта. Подобные замены, однако, не говорят об отсутствии плюсquamперфекта как глагольной категории в др-рус. языке, поскольку употребление формы плюсquamперфекта маркировано по отношению к употреблению формы прош. времени и, таким образом, сама фиксация и выражение плюсquamперфектного значения носит не-

обязательный характер. Такое же необязательное употребление плюсквамперфекта мы наблюдаем и в современном разговорном английском языке.

Рус. плюсквамперфект может совпадать (во 2 л.) с ц-сл. сослагат. наклонением: *был еси читал* означает на рус. языке плюсквамперфект, а на ц-сл. языке - сослагат. наклонение (ср. Смотрицкий, 1619, л. 0/5 об.; Смотрицкий 1648, л. 194 об.).

8.8. Явления словообразования. Определенные отличия между ц-сл. и рус. языком наблюдаются и в области словообразования, они объясняются прежде всего как диалектные отличия юж-сл. и вост-сл. диалектов. Совсем не все эти различия, однако, образовывали четко осознаваемые противопоставления, поскольку они могли осмысляться как различия лексические, а для лексического уровня, как уже говорилось (см. 4.4), противопоставленность ц-сл. и рус. языков выражена в наименьшей степени. Вместе с тем, определенные словообразовательные средства могли ассоциироваться с соответствующими греческими, что определяло их особую продуктивность в ц-сл. языке. К таким средствам относится прежде всего словосложение: появление сложных слов в ц-сл. языке прямо обусловлено ориентацией на греч. словообразовательные модели. Здесь же можно назвать и образования с приставкой *без-* в соответствии с греч. *α* и т.д. (ср. 3.2.5). Образования этого рода составляют специфику книжного языка, однако, не всегда конституируют коррелятные признаки, т.е. книжным формам в этих случаях, как правило, не находится соответствующих некнижных.

Вместе с тем отталкивание книжного языка от некнижного приводит к использованию определенных словообразовательных средств для получения пар специфически книжных и неспецифически книжных слов; производные слова получают в этом случае маркированный книжный статус. Такой процесс имеет место уже в ст-сл. языке, ср. дублетные пары типа *вдова* - *вдовица*, *любодѣи* - *любодѣиць*, которые противопоставляются в старославянском не семантически, а стилистически: производное слово является как бы специфически книжным (Цейтлин, 1977, с. 286-289). Процесс вытеснения непрямых слов производными продолжается в ц-сл. языке и на последующих этапах.

Примеры противопоставления ц-сл. и рус. словообразовательных средств, которые приводятся ниже, носят иллюстративный, а не исчерпывающий характер.

8.8.1. Именное словообразование. Различие словообразовательных средств в ц-сл. и рус. языках в некоторых случаях обуславливает появление коррелятных пар, ср., например, ц-сл. *сѣтъникъ* (*сотъникъ*) - рус. *сѣтский* (*сотский*), ц-сл. *тысящникъ* - рус. *тысячский* и т.п. Специфическими ц-сл. суффиксами, отсутствовавшими в живом языке, были, видимо, *-тель* (*оучитель*), *-ание*, *-ение* (*преображение*, *роукописание*). Напротив, специфически рус. суффиксами являются *-щикъ* (*доводыщикъ*) и *-ѣк* (*лѣвка*, *дѣвка*).

8.8.2. Глагольное словообразование. Ц-сл. приставка *из-* регулярно соответствует рус. *вы-*. В рус. языке приставка *из-* употреблялась в особом значении, выражая не пространственно-временные отношения, а полноту действия, ср. *исходити* (весь город), *исписати* (весь лист), *изорати* (все поле) и т.д. Вне этого значения приставки противопоставлялись, однако, как книжная и некнижная, ср. в современном литературном языке такие стилистически или се-

мантически противопоставленные пары, как *избирать* - *выбирать*, *исходить* - *выходить* и т.п. (таким образом, слово *исходить* в значении "*выходить*" является славянизмом, а в значении "*обойти все*" - нейтральным по отношению к книжному и некнижному элементу).

Отметим, что глаголы с *вы-* встречаются иногда и в старославянском (Славский, 1966), например, в Синай. пс., где они объясняются как моравизм. Следует иметь в виду, что *вы-* представлено как в вост-сл., так и в зап-сл. языках, тогда как *из-* характерно для юж-сл. языков. Таким образом, в рус. языке образования с *из-* (в соответствующем значении) маркированы как стилистически книжные лексемы, тогда как образования с *вы-* необязательно представляют собой русизмы.

8.9. Синтаксические явления. Едва ли не ярче всего книжный язык противопоставляется некнижному в области синтаксиса. Это и не удивительно, поскольку в литературном языке всегда имеется целый ряд синтаксических конструкций, связанных с письменным изложением и не характерных для разговорной речи. В области синтаксиса дистанция между литературным языком и разговорной речью является универсальным явлением, независимым от типа литературного языка. Эта дистанция становится особенно значительной, когда литературный язык не ориентируется на разговорную речь, как это имеет место в случае ц-сл. языка. Особенности ц-сл. синтаксиса в большой степени связаны с греч. влиянием: ц-сл. язык как язык литературный образуется в результате переводов с греческого, и это откладывает неизгладимый отпечаток на его синтаксическую структуру. Многие синтаксические конструкции, будучи по происхождению синтаксическими кальками с греческого, употребляются затем и в оригинальных ц-сл. текстах; тем самым, они оказываются не явлениями переводных текстов, но явлениями ц-сл. языка. Таким образом, греч. влияние в существенной мере определяет противопоставление ц-сл. и рус. синтаксиса. Вместе с тем, некоторые синтаксические признаки могут иметь и другое, а именно юж-сл. происхождение, т.е. отражать различия не между греч. и славянским синтаксисом, но между юж-сл. и вост-сл. синтаксисом. В частности, такие признаки могут возникать за счет синтаксических конструкций, развившихся в вост-сл. диалектах. Рассмотрение синтаксических признаков мы начнем с тех, которые обусловлены греч. влиянием. При этом мы будем приводить примеры как из переводных, так и из оригинальных рус. ц-сл. памятников; для сопоставления будут привлечены Мстисл. ев. нач. XII в. (отчасти и Остр. ев. 1056-1057 гг.) и Житие Феодосия по Усп. сб. XII-XIII в.

8.9.1. Причастные конструкции: дательный самостоятельный. Синтаксис причастий подвергся особенно сильному греч. влиянию, что, видимо, обусловило особую роль причастий в книжном языке; неслучайно в формах причастий отчетливо проявляется противопоставление книжного и некнижного языка (см. 8.5). Специфически книжным оборотом является дательный самостоятельный, который калькирует родительный самостоятельный греч. языка; греч. род. падеж передается при калькировании дат. падежом, поскольку славянский дательный соответствует вообще греч. родительному в ряде основных значений (прежде всего посессивном, ср. 17.3.1). Ср. пример:

Ἦ τε θάλασσα, ἀνέμου μεγάλου
πνέοντος, διηγεῖρετο
(Ин. VI, 18)

Море же вѣтроу великоу дыхающе вѣстааше
(Мстисл. ев., л. 8г)

О распространении этой конструкции в оригинальных ц-сл. памятниках могут свидетельствовать примеры из Жития Феодосия: "И тако многашьды молащю ся кмоу. и се приидоша страньници въ градъ тъ" (Усп. сб., л. 28в); "Да не пастоухоу оубо ѿшьдѣшу да опоустѣжъ пажить юже бѣ благослови" (Усп. сб., л. 28г). Дательный самостоятельный укореняется в книжном языке, и о интенсивности его использования может свидетельствовать тот факт, что он 415 раз встречается в Лаврентьевской летописи и 227 раз - в Ипатьевской (Кедайтене, 1968, с. 280).

8.9.2. Причастные конструкции: причастие при личном глаголе. Там, где в большинстве европейских языков стоят однородные глагольные сказуемые, в греч. языке на месте одного из глаголов находится причастие. Эта синтаксическая конструкция калькируется ц-сл. языком и становится одной из примет книжного синтаксиса (ср.: Исаченко, I, с. 85-86). Ср.:

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
(Мф. XV, 13)

Онъ же отвѣщавъ рече
(Мстисл. ев., л. 42в)

Ср. такие же конструкции и в непереводном Житии Феодосия: "Отвѣщавааше мѣри свожи глагола" (Усп. сб., л. 29в); "И запрети кмоу глѣши" (Усп. сб., л. 30а).

8.9.3. Причастные конструкции: субстантивированное причастие. В греч. языке нередко имеет место субстантивация причастий (там, где в других языках можно ожидать относительного придаточного предложения). Эту характеристику наследует и ц-сл. синтаксис, ср.:

Ἡμᾶς δὲ ἑργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ
πέμψαντός με
(Ин. IX, 4)

Мнѣ подобаѣтъ дѣлати дѣла посълавъшааго
мѧ...
(Мстисл. ев., л. 18г)

Это же употребление находим и в непереводных текстах, ср. в Житии Феодосия: "И тако иды трѣми недѣлѣми. доиде преже реченааго" (Усп. сб., л. 31а).

8.9.4. Причастные конструкции: причастия после глаголов восприятия. В греч. языке при глаголах восприятия то действие, которое является предметом восприятия, выражается действительным причастем в вин. падеже, а субъект этого действия - согласованным с причастием именем. Эта конструкция утверждается и в ц-сл. языке (Исаченко, I, с. 86), ср.:

Εἶδεν δύο ἀδελφούς... βάλλοντας
ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν
(Мф. IV, 18)

Видѣ два брата... вѣмещюща
мрѣжю въ море...
(Мстисл. ев., л. 31г)

Аналогичные примеры находим и в непереводном Житии Феодосия: "Видѣвши кго пекоуща проскоуры" (Усп. сб., л. 29г); "Властелинъ же видѣвы и тако ходѣща" (Усп. сб., л. 30б); "Видѣвши ѿна своѣго въ таковѣи скърби соуща" (Усп. сб., л. 32в).

8.9.5. Причастные конструкции: причастия в сочетании с глаголами состояния. В греч. языке распространены аналитические перифрастические конструкции, состоящие из глагола "быть" в сочетании с причастной формой. Эти конструкции калькируются в ц-сл. языке (Исаченко, I, с. 87), ср.:

τὴν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων	Бѣ Иванъ крѣста
(Ин. I, 28)	(Мстисл. ев., л. 3а)
τὴν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη	Бѣ же далече отъ нихъ стадо
χοίρων πολλῶν βοσκομένη	свинии много пасомо.
(Мф. VIII, 30)	(Мстисл. ев., л. 38г)

Такие конструкции становятся органической принадлежностью ц-сл. синтаксиса, ср. в Житии Феодосия: "И се по приключая божию бѣша идуще поутѣмъ тѣ коупци" (Усп. сб., л. 31а); "Градъ кѣтъ ѿстога отъ кыква града стольнааго ·н· попьришь" (Усп. сб., л. 27а).

8.9.6. Конструкции с инфинитивом: винительный падеж с инфинитивом. Типичной калькой с греческого является оборот "винительный с инфинитивом" (*accusativus cum infinitivo*) после глаголов говорения и восприятия: действие, которое является предметом речи или восприятия, выражается инфинитивом, а его субъект стоит в вин. падеже. Ср.:

Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι	Кого ма глѣють чл ^о вци быти
(Мк. VIII, 28)	(Мстисл. ев., л. 127б)

Такую конструкцию находим и в Житии Феодосия: "О стадѣ своимъ мола ба и того призывага помощника имѣ быти о всакомъ подвижѣ ихъ" (Усп. сб., л. 57б). Ср. еще в первом послании Ивана Грозного к Курбскому: "Или мниши сие быти свѣтлость благочестивая" (Переписка Грозного с Курбским, с. 70).

8.9.7. Конструкции с инфинитивом: дательный падеж с инфинитивом в значении результата. В греч. языке в функции придаточного следствия (результата) после союза ὥστε употребляется синтаксическая конструкция, в которой результирующее действие выражается инфинитивом, а субъект этого действия - именем в вин. падеже. Эта конструкция в ц-сл. языке калькируется оборотом дательного с инфинитивом, причем союз ὥστε передается как *яко*. Несоответствие в падеже обусловлено, возможно, тем, что в ц-сл. языке данные конструкции испытывают влияние со стороны оптативных конструкций типа *а ему идти* или *дабы ему идти* (в самостоятельном употреблении или в функции придаточного цели, ср. 8.9.13). Ср.:

Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη,	Исѣ же къ нимъ ничсо же не отвѣща <i>яко</i>
ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον	дивити сѧ пилатѣу.
(Мк. XV, 5)	(Мстисл. ев., л. 115г)

Эта конструкция органически входит в ц-сл. язык и употребляется в непереводных памятниках, ср. в Житии Феодосия: "И въскорѣ извыче всѧ граматикѧ. и *яко* же всѣмъ чудити сѧ о премоудрости и разоумѣ дѣтища" (Усп. сб., л. 28а); "Отъиде мѣти юго на село и *яко* же пребыти кѧ тамо дѣни многы" (Усп. сб., л. 30г); "И пакы имѣ лѣушемъ оукропѣ въ нѣ. и се обрѣте сѧ тоу жаба. *яко* же тои варенѣ быти въ таковѣи водѣ" (Усп. сб., л. 52г).

8.9.8. Конструкции с инфинитивом: дательный с инфинитивом в модальном значении. В греч. языке имеется модальная конструкция со значением приличествования или долженствования, в которой после глагола *ἐστί* употребляется инфинитив в сочетании с именем в вин. падеже. Так же как и в предшествующем случае, этот оборот калькируется ц-сл. конструкцией, где после формы глагола *быти* стоит инфинитив и имя в дат. падеже (Исаченко, I, с. 87-88). Ср.:

τὸ δὲ χαρίσαι ἐχ δεξιῶν μου ἢ ἐξ
εὐωνύμων οὐχ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι
(Мк. X, 40)

А кже сѣсти одеснѣж мене и о лѣвѣж.
нѣсть мѣнѣ дати.
(Остр. ев., л. 136а)

Аналогичные примеры находим и в непереводном Житии Феодосия: "Бѣ^с же родителема блженнаго преселити сѧ въ инѣ градѣ коурьскѣ нарицаемѣи" (Усп. сб., л. 27в).

8.9.9. Двойной винительный. В ц-сл. языке по образцу греческого с глаголами типа *нарицати*, *глаголати*, *именовати*, *творити*, *избирати* и т.п. сочетаются два вин. падежа. По-видимому, достаточно рано такие конструкции оказались противопоставленными разговорным конструкциям с творительным предикативным (типа *нарицати его князем*). Ср.:

λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
(Мк. XV, 12)

кго же глѣте ^сцрѧ жидовьска
Мстисл. ев., л. 116а)

Такие конструкции представлены и в непереводной литературе, ср. в Житии Феодосия: "Такого себе сѣдѣльника показа и пастоуха инокимѣ" (Усп. сб., л. 26в); "И имѣ же мѧ бѣ пастоуха створилѣ" (Усп. сб., л. 27в).

8.9.10. Пассивные конструкции с от. В пассивных конструкциях субъект действия в ц-сл. языке может обозначаться именем в род. падеже с предлогом *от*; эти обороты являются кальками с греч. пассивных конструкций с предлогом *ὑπό* + имя в род. падеже. Ср.:

διεσπάσθαι ὑπ' αὐτοῦ τᾶς ἀλύσεις
(Мк. V, 4)

Претързаахж сѧ отъ нкго веригы и поуѧ
сѣкроушаахоу сѧ
(Мстисл. ев., л. 59г)

Эта схема управления употребляется в ц-сл. текстах вне зависимости от их переводного или непереводного характера, ср. в Житии Феодосия: "Оумоленѣ бысть отъ людий тѣхъ. преити къ сѣтославоу князю" (Усп. сб., л. 41в); "И се рекъ невидимъ бысть отъ него" (Усп. сб., л. 46а). Эту же конструкцию находим и в летописях, ср., например, во II Псковской летописи: "Взята бысть Москва от царя Тартаныша" (Пск. летописи, II, с. 29). Из ц-сл. языка в XVIII в. эта конструкция переходит и в рус. литературный язык нового типа (Йордаль, 1973, с. 150).

8.9.11. Конструкция "еже + инфинитив". В греч. языке номинализация глагола может осуществляться прибавлением артикля в ср. роде (τὸ) к инфинитиву. В ц-сл. языке эта конструкция передается оборотом "еже + инфинитив", где *еже* выступает в соответствии с греч. артиклем. Примеры такого оборота можно найти как в переводных ц-сл. текстах (ср. выше пример из Остр. ев., 8.9.8), так и в оригинальной ц-сл. литературе. Так, в "Слове о за-

коне и благодати" митр. Илариона читаем: "Помилова ны бѣ и въсѣа и въ насъ свѣтъ разѣма еже познати его. по прѣорочѣствѣ" (Молдован, 1984, с. 89); "И потыкающемся намъ въ пѣтехъ погыбели. еже бѣсомъ въслѣдовати" (там же, с. 89).

8.9.12. Прилагательные и местоимения ср. рода в обобщенно-субстантивированном значении. Как в греч., так и в ц-сл. языке имена прилагательные и местоимения обладают способностью выражать обобщенно-субстантивированное значение в форме мн. числа ср. рода, ср.:

χαῖ τὰ ἐμὰ πάντα σὰ ἐστὶν χαῖ	И моя всѣа твоя сѣтъ и твоя моя.
τὰ σὰ ἐμὰ	
(Ин. XVII, 10)	(Мстисл. ев., л. 148г)

На врѣменная (прѣсχαῖρα) вѣзирають.

(Панд. Антиоха, XI в. - Срезневский, I, стлб. 319)

Такое же употребление находим и в непереводных памятниках, ср., например, в Житии Феодосия: "Никонъ... пришедъ въ монастырь великааго бѣа нашего теодосия и всѣа своя блѣга предавъ блѣженуоумоу..." (Усп. сб., л. 41г). Отражение этой конструкции находим и в пословице XVII в. "Крадый чужая не обогатеет" (Буслаев, 1959, с. 425).

8.9.13. Конструкция "да + индикатив". До сих пор мы говорили о тех синтаксических признаках ц-сл. языка (по сравнению с книжным рус. языком), которые обусловлены греч. влиянием. Необходимо иметь в виду, что приведенный перечень этих признаков не является исчерпывающим (ср. о других возможных признаках: Исаченко, I, с. 86-88; Йордаль, 1973, с.164). В то же время ряд синтаксических грецизмов, характерных для ц-сл. языка, появляется в нем позднее (в результате второго и третьего юж-сл. влияний) и не свойствен его древнейшему состоянию (ср. 11.6; 17.3). В отдельных случаях различия в синтаксисе ц-сл. и рус. языков имеют иной источник и возникают за счет диалектных различий славянских языков. В этих случаях могут устанавливаться параллельные соответствия между книжными и книжными конструкциями.

Так, ц-сл. конструкция "да + индикатив" в функции оптатива или придаточного цели (*да идетъ*) соответствует книжной конструкции "дат. падеж + инфинитив" (*а ему идти*). Ср. различие синтаксических конструкций в типичных формулировках ц-сл. и рус. юридических кодексах:

Ц-сл. перевод Эклоги	Русская Правда (Простр. ред.)
Аще кѣсть имовить растлѣвыи. <i>да</i>	Аже боудеть ли слѣда или къ селоу
<i>вдасть</i> растлѣнѣи двѣ злата литру	или к товароу, и не шсочать шт себе
кѣдину. аще ли кѣсть неимовить... <i>да</i>	слѣда... то <i>тѣм платити</i> тат'боу и про-
<i>затшченъ будеть</i>	<i>дажю</i> ...
(Мер. Праведное, л. 191)	(Рус. Правда, I, с. 158)

Следы конструкции "да + индикатив" с оптативным или целевым значением обнаруживаются и в вост-сл. диалектах, а именно в современных полесских говорах (Толстая, 1984-

1985), а также в древненовгородском (в новгородских берестяных грамотах в соответствующей функции выступает союз *дать*, генетически связанный с союзом *да*, - Зализняк, 1986, с. 160-161, § 67). Таким образом, данная конструкция не является специфически книжной; вместе с тем, противопоставленная ей конструкция "дат. падеж + инфинитив" является специфически некнижной. В то же время в тех диалектах, в которых данная конструкция отсутствует, она может восприниматься как явление книжного синтаксиса.

В современном рус. литературном языке конструкция "да + индикатив" объясняется ц-сл. влиянием - обороты типа *да здравствует* представляют собой типичные синтаксические славянизмы.

8.9.14. Порядок слов: место вспомогательного глагола. В некнижном языке, поскольку он отражает разговорную речь, употребление энклитик (в том числе и форм вспомогательного глагола *быти*) и проклитик отражает фонетические закономерности живой речи. В частности, вспомогательный глагол (*есмь, еси*; и т.д.) ставится здесь после первого слова фразы, имеющего автономное ударение (об автономном ударении см. 7.9). В ц-сл. языке, поскольку он не связан непосредственно с живой речью, эти закономерности не обязательно соблюдаются; соответственно, здесь оказывается возможной свободная постановка вспомогательного глагола (Зализняк, 1986, с. 154-158, § 63-64). Ср., например, закономерный для рус. текстов порядок слов в духовной грамоте Ивана Калиты 1327-1328 гг.: "А что есмь придобылъ золото что ми дал бѣ и коробо[ч]ку золотую а то есмь далъ кнѣгини своѣи с меншими дѣтми" (Обнорский и Бархударов, I, с. 91); ср. в то же время специфический ц-сл. порядок слов в Усп. сб. XII-XIII в.: "Извѣсто разоумѣли кѣте ꙗко хѣа раба кѣсмь" (л. 70б) - в соответствии с рус. структурой предложения должно было бы быть: "Извѣсто кѣте разоумѣли ꙗко хѣа кѣсмь раба".

Таким образом, нарушение соответствующих закономерностей является специфическим (маркированным) признаком ц-сл. синтаксиса - при том, что их соблюдение вполне возможно в ц-сл. тексте. Любопытно, что никоновские справщики в сер. XVII в. в ряде случаев вводят именно особый ц-сл. порядок слов. В "Росписи вкратце нововводным церковным раздором..." священника Лазаря (1660-х гг.) отмечается, между прочим, что в новых книгах напечатано "Яко Спаса родила еси душъ наших", тогда как в старых, дониконовских книгах стояло: "Яко родила еси Спаса, избавителя душамъ нашимъ" (Субботин, IV, с. 197). Как видим, новая редакция противопоставлена старой, в частности, и по порядку слов.

8.9.15. Некоторые специфические синтаксические русизмы. Противопоставление книжного и некнижного синтаксиса осуществляется не только за счет специфически книжных конструкций, которые, как правило, не встречаются в некнижных текстах, но также за счет специфически некнижных конструкций, имеющих восточнославянскую диалектную основу и не встречающихся в текстах книжных. Так, специфическим русизмом является конструкция типа *ко-сить трава (взяти гривна, взяти коуна* и т.п.), представленная в современных диалектах; в современном литературном языке эта конструкция отразилась только во фразеологизме *шутка сказать*. Не менее характерно для рус. разговорного языка повторение предлогов, опять-таки

сохраняющееся в диалектной речи, так же как и в языке фольклора (см. Гринкова, 1948; Собинникова, 1954). Повторение предлогов характерно и для делового языка, ср. например, в двинских грамотах: "Раднал с шоурією съ его съ игуменомъ съ Игнатемъ и съ братомъ его с Маноуилою" (Шахматов, 1903, с. 139). Типичным синтаксическим русизмом является также употребление союза *а* в соединительном значении.

8.10. Лексические явления. Остается сказать о лексических различиях ц-сл. и рус. языка. Собственно лексических различий, видимо, не было, поскольку границы ц-сл. словаря не были строго фиксированы (ср. 4.4). Однако были различия лексико-семантические, т.е. совпадающие по форме слова ц-сл. и рус. языков могли иметь в них разное значение. Так, например, *недѣля* в ц-сл. языке означает "воскресенье", а в рус. языке - "неделю", т.е. "седмицу". Об этом специально предупреждает Феодосий Печерский в своем ответе на вопрос князя Изяслава Ярославича: "...Недѣля не наричется недѣля, яко же вы глаголете, нъ първый день всея недѣлѣ наричется. Понеже Христосъ Богъ нашъ в тотъ день въскресе из мертвыхъ и наричется въскресный день. А понедѣльникъ наричется вторый день..." (Еремин, 1947, с. 168).

Слово *недѣля* уже в ст-сл. языке может употребляться в обоих указанных значениях, ср. употребление этого слова как в том, так и в другом значении в Ассем. ев. (Сл. ст-сл. яз., XX, с. 353), однако, на Руси произошла дифференциация этих значений по языкам.

Аналогичным образом, слово *животь* означает в ц-сл. языке "жизнь" (а также "животное"), а в рус. языке - "имение, имущество"; слово *гривья* означает в ц-сл. языке "ожерелье, кольцо", а в рус. языке - "вес, денежная единица", *губа* в ц-сл. означает "губка", а в рус. - "губа", "гриб", "залив", "уезд", "место, где производится следствие" (последнее значение отразилось в современном жаргонном употреблении *губа* "гауптвахта, карцер"). Количество противопоставлений такого рода, по-видимому, не может быть сколь угодно большим - в условиях тесного взаимодействия книжного и некнижного языков такие примеры могут быть только единичными.

Если в приведенных выше примерах рус. и ц-сл. значения взаимно противопоставлены друг другу, то в других случаях в ц-сл. языке имеет место специфическое значение, которое не характерно для рус. языка. Так, ц-сл. *цѣловати* означает "приветствовать" и "целовать", тогда как в рус. языке соответствующий глагол означает только "целовать". Ц-сл. *пиво* означает "напиток" и "пиво", в рус. языке - только "пиво". Характерно, что во всех этих случаях современный литературный язык отражает рус., а не ц-сл. семантику.

Соответственно, образуются корреляции рус. и ц-сл. слов, в которых рус. слово в своем специальном рус. значении получает отдельный ц-сл. эквивалент. Так рус. *недѣля* оказывается соотнесенным с ц-сл. *седьмица*, рус. *губы* с ц-сл. *устыѣ* и т.п.

8.11. Некоторые обобщения. Мы рассмотрели признаки, определяющие специфику книжного языка по сравнению с языком некнижным - иначе говоря, те признаки, которые определяют противопоставление между ц-сл. и рус. языком. Эти признаки могут иметь соотносительный или несоотносительный характер: в случае соотносительных признаков устанавливается корреляция между элементами книжного и некнижного языка, в случае несоотноси-

тельных признаков такая корреляция отсутствует. В первом случае носитель языка может исходить из разговорной речи при порождении книжного текста, заменяя определенные формы живого языка на соотнесенные с ними книжные формы. Однако в случае несоотнесенных признаков носитель языка не может поступать таким образом, и он вынужден исходить не из естественных для него речевых навыков, а из готовых образцов книжной речи. Так обстоит дело с большинством синтаксических признаков – здесь работают специальные синтаксические модели, на которые ориентируется писец при создании книжного текста.

Отношения книжных и некнижных элементов могут строиться по-разному. В одних случаях мы можем говорить о специфически книжных элементах, т.е. элементах, маркированных по признаку книжности, а в других случаях – об элементах специфически некнижных, т.е. маркированных по признаку некнижности. Соответственно, и признаки, определяющие противопоставление книжного и некнижного языка, делятся на два класса: одни признаки выделяют специфически книжные элементы, другие выделяют элементы специфически некнижных. Так, например, формы аориста и имперфекта воспринимаются как безусловно книжные элементы, они заведомо не могут ассоциироваться с некнижным языковым полюсом, в то время как противостоящие им перфектные формы (причастие на *-л* со связкой или без связки) не обязательно соотносятся с разговорной речью и могут восприниматься как формы нейтральные. Таким образом, систематическое введение в текст форм аориста и имперфекта однозначно указывает на его книжный характер. Вместе с тем другие элементы выступают в языковом сознании как специфически некнижные. Так, например, формы с */ѣ/* на месте **tj* ассоциируются исключительно с некнижным полюсом. Заметим, что несоотнесенные признаки всегда выделяют специфически книжные элементы. Таким образом, рассматриваемое сейчас подразделение относится исключительно к признакам соотносительным. И в дальнейшем мы будем говорить только о соотносительных признаках.

Противопоставление книжного и некнижного языка не является стабильным, поскольку живой язык находится в непрерывном изменении (не говоря уже о том, что в разных диалектных условиях книжный и некнижный языки противопоставляются разным образом), и это сказывается на том, как книжный язык противопоставляется некнижному. В результате эволюции живого языка могут создаваться новые противопоставления и переосмысляться старые (такие же процессы могут быть обусловлены и изменением нормы книжного языка, но мы не будем на них сейчас останавливаться, поскольку изменение нормы книжного языка является предметом дальнейшего рассмотрения).

Так, например, в рус. языке окончания дат., тв., местн. мн. числа *а*-склонения *-амъ/-ами/-ахъ* распространяются на другие типы склонения. Возникающие в результате этой инновации формы типа *столамъ*, *столами*, *столахъ* могут восприниматься как специфические русизмы, противопоставленные формам на *-омъ/-ы/-ѣхъ* (которые в зависимости от перспективы рассмотрения могут расцениваться либо как книжные, либо как нейтральные). Другой случай представляет история окончаний прилагательных род. ед. муж. и ср. рода. Для определенного периода здесь устанавливается оппозиция ц-сл. *-аго* – рус. *-ого*. В ходе развития рус. языка окончание *-ого* вытесняется в значительной части говоров окончанием *-ово* (*-ова*). Воз-

никающие в результате этой инновации формы с окончанием *-ово (-ова)* выступают как специфически книжные. Вместе с тем этот процесс имеет и другой результат, а именно, формы с окончанием *-ого* перестают соотноситься с разговорной речью и поэтому могут переосмысляться как формы книжные или во всяком случае как нейтральные. Что же касается форм с окончанием *-аго*, то они оказываются в положении специфически книжных форм (ср. 8.3.5). Наконец, в условиях ц-сл. влияния на рус. язык книжный язык осваивает определенные ц-сл. формы, и это также меняет характер отношений между книжным и книжным языком. Так, усвоение книжным языком целого ряда неполногласных форм приводит к тому, что неполногласные формы перестают осмысляться как специфически книжные, при том что противопоставленные им полногласные формы могут осмысляться как формы специфически книжные. Таким образом, в результате изменений живого языка соотношение книжных и книжных элементов может переживать весьма разнородные перестройки.

Итак, в условиях инновации новые формы закономерно воспринимаются как специфически книжные (т.е. создаются признаки, выделяющие специфически книжные элементы); в то же время старые, вышедшие из живого употребления формы начинают функционировать как формы нейтральные, что может приводить к переосмыслению противопоставленных им ц-сл. форм как форм специфически книжных (т.е. создаются признаки, выделяющие специфически книжные элементы). К аналогичным результатам приводит и усвоение книжной речью книжных элементов: эти элементы начинают восприниматься как нейтральные, а противопоставленные им элементы живого языка - как элементы специфически книжные. Следует отметить, что последний процесс имеет принципиально более сложный характер, поскольку он затрагивает прежде всего отдельные формы, а не признаки - соотнесение этого процесса с признаками имеет вторичный характер и предполагает специальное преобразование языкового сознания.

Как мы видим, набор признаков, противопоставляющих книжный и книжный язык, и характер противопоставления по тем или иным признакам достаточно изменчивы. Вместе с тем эта изменчивость неодинаково характеризует разные признаки. Одни противопоставления носят стабильный характер, а другие - нестабильный. Действительно, можно выделить ряд признаков, которые последовательно противопоставляют книжный и книжный язык на всех этапах развития и во всех ареалах. К таким признакам относятся, например, формы аориста и имперфекта - их употребление выступает как постоянный признак книжности. Другие признаки, как было показано, возникают в результате эволюции книжного языка. Наконец, возможен и такой случай, когда какие-то признаки перестают противопоставлять книжный и книжный язык: например, окончание *-е* в им. ед. *о*-склонения, свойственное новгородскому диалекту и противопоставлявшее в новгородско-псковском ареале книжный язык книжному (см. 8.3.6), в результате конвергентных процессов исчезает из диалектного языка, а тем самым перестает функционировать соответствующий признак.

Остается сказать, что противопоставление по тем или иным признакам может нейтрализоваться при создании тех или иных текстов на книжном языке: автор сосредоточивает свое внимание на одном наборе признаков, тогда как признаки, стоящие вне этого набора, оказываются в данном случае нерелевантными; в случае нерелевантных признаков здесь может на-

блюдаться свободная вариация тех форм, которые в других текстах противопоставляются как книжные и некнижные. Для определения статуса языка важны здесь естественно только релевантные признаки. Нейтрализации такого рода можно наблюдать, в частности, в летописях. Можно предположить, что существует определенная иерархия признаков, которая проявляется в том, что противопоставления по одним признакам нейтрализуются более свободно, чем по другим. Вопрос этот подлежит специальному исследованию.

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

ВТОРОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ РЕДАКЦИЙ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

ГЛАВА I. ВТОРОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

9. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

9.1. Из историографии вопроса. Второе южнославянское влияние имеет место с конца XIV в. На второе юж.-сл. влияние как на кардинальное событие истории рус. литературного языка первым обратил внимание А. И. Соболевский (Соболевский, 1980, с. 147–158). Открытие Соболевского получило широкое признание. Сам факт второго юж.-сл. влияния можно считать бесспорно установленным; тем не менее, со времени Соболевского наши знания об этом событии увеличились не намного. Как и в случае первого юж.-сл. влияния, очень четкие и несомненные языковые показания, свидетельствующие о влиянии юж.-сл. книжной традиции на русскую, сочетаются с почти полным отсутствием прямых исторических свидетельств относительно южнославянско-рус. культурных контактов (ср. 3.1.3). В результате, как для того, так и для этого периода мы имеем много недоказанных предположений и недостоверных утверждений, которые, повторяясь из книги в книгу, приобретают характер наукообразной мифологии (следует отметить, что Соболевский не несет ответственности за те мифы, которые создались вокруг второго юж.-сл. влияния – все его выводы относятся к филологической стороне проблемы и полностью сохранили свою значимость).

Одним из таких мифов, создавшихся вокруг второго юж.-сл. влияния, является положение о массовой иммиграции южных славян на рус. территорию, которая была обусловлена, как полагают, турецким завоеванием Балканского полуострова. Однако следует иметь в виду, что завоевание Балканского полуострова не было мгновенным, а длилось почти целое столетие, завершившись лишь в сер. XV в. Таким образом, этот процесс, захвативший несколько поколений, ни в коей мере нельзя рассматривать как внезапную катастрофу, вызвавшую поток беженцев в другие страны. Мнение о том, что борьба Балкан против турецкого нашествия была борьбой христиан против мусульман или же славян против турок, в известной мере преувеличено. Эта борьба отнюдь не была сплоченной, осложняясь междоусобными распрями, при которых турки могли выступать не только как противники, но и как союзники (ср. поведение рус. князей во время татаро-монгольского нашествия). Как длительность процесса, так и междоусобный характер столкновений приводили к тому, что миграция населения, вызванная турецким нашествием, если вообще принимала сколько-нибудь значительные размеры, имела место главным образом в пределах Балканского полуострова; незачем было бежать в Москву или Новгород, когда можно было уйти в соседний монастырь или в соседний город. Возможна была и эмиграция в соседние Молдавию или Валахию, которые сохранили политическую автономию; характерно, что на этой территории сохраняется среднеболгарский извод ц.-сл. языка, исчезнувший в самой Болгарии. Иногда полагают, что в условиях турецкого завоевания стало не-

возможным продолжение книжной деятельности. И это предположение вряд ли обосновано; книжная деятельность продолжалась и под турецким владычеством, прежде всего на Афоне и в других монастырях, и до нас дошли сотни болгарских рукописей XV в. (точно так же и татарское владычество на Руси никак не препятствовало такой деятельности) (см. Талев, 1973, с. 67-77).

Как бы то ни было, у нас нет никаких исторических свидетельств, которые подтверждали бы факт массовой эмиграции южных славян в Россию (см. Талев, 1973, с. 75 сл.). Мы можем говорить лишь о нескольких выходцах из юж.-сл. земель, которые при этом совсем не были эмигрантами, - правда, выдающихся по своему авторитету и по тому положению, которое они занимали в России. Это прежде всего два болгарина - митр. Киприан и митр. Григорий Цамблак; кроме того, в сер. XV в. на Руси подвизался серб Пахомий Логофет, афонский инок, агиограф - он переработал целый ряд уже существовавших житий святых и составил ряд новых, в частности, житие Кирилла Белозерского. Из этих трех фигур, только первые две могут иметь отношение к началу второго юж.-сл. влияния, поскольку Пахомий Логофет действовал уже в период расцвета этого влияния.

Митр. Киприан впервые прибыл в Москву в 1374 г. в качестве посла константинопольского патриарха. В 1375 г. он был поставлен в митрополиты литовские (с резиденцией в Киеве) и условным образом в митрополиты всея Руси с тем, чтобы после смерти митр. Алексия, стать митрополитом Московским и объединить обе рус. митрополии. После смерти митр. Алексия (в 1378 г.) Киприан стал в 1381 г. митрополитом Московским, однако в 1382 г. он был изгнан из Москвы Дмитрием Донским и отправился в Студийский монастырь в Константинополе; после смерти Дмитрия Донского в 1389 г. Киприан добивается своего восстановления на Московской кафедре и занимает эту кафедру до своей смерти в 1406 г. Митр. Григорий Цамблак (ок. 1364-1420), племянник митрополита Киприана и ученик патр. Евфимия Тырновского, провел некоторое время в афонских и константинопольских монастырях. После смерти Киприана в 1406 г. усилилась вражда между Московским и Литовским княжествами. Литовский великий князь Витовт в 1414 г. избрал Цамблака в митрополиты Литовской Руси и послал его в Константинополь за благословением патриарха. Патриарх, находившийся в зависимости от Москвы, отказался создать отдельную литовскую митрополию с Цамблаком во главе. Тогда Витовт предложил епископам Литовской Руси поставить Цамблака в митрополиты собором, согласно древней церковной практике; в 1415 г. Григорий стал митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси, после чего он был предан анафеме как московским митрополитом (Фотием), так и константинопольским патриархом (Евфимием). В результате этого он обратился к папе Римскому и принял участие в Констанцском соборе (1418 г.), где обсуждался вопрос о соединении церквей. Если влияние митр. Киприана распространялось главным образом на московскую территорию, то влияние митр. Григория сказывалось по преимуществу в Ю.-З. Руси. Оба они занимались литературной деятельностью. Так, митр. Киприан написал житие митр. Петра, перевел служебник (ср. запись писца в рукописном служебнике конца XIV в., ГИМ, Син. 601, л. 72: "Сии служебник переписал от грецких книг на руский язык рукою своею Киприан смиренный митрополит киевский и всея Руси..."), а также аналогичную по содержанию запись на л. 132 об.). Он переписывал книги (как мы знаем, переписывание в Древней Руси предполагало редактирование и рассматривалось как неотъемлемая часть литературной деятельности), в частности, Лествицу Иоанна Лествичника, которая дошла до нас в автографе (ГБЛ, ф. 173, № 152; ср. запись писца на л. 279 об.). Существуют и другие тексты, которые традиция связывает с именем Киприана, однако они дошли до нас в более поздних списках (Князевская и Чешко, 1980). Литературной деятельностью занимался и митр. Григорий. Судьба этих двух болгарских деятелей сложилась по-разному: Киприан был признан святым, а Григорий - анафематствован. Тем более любопытно, что сочинения Григория Цамблака пользовались большим уважением и в Моск. Руси; его сочинения в XV в. вносятся в сборники

церковных поучений, а в XVI в. московский митрополит Макарий ввел его сочинения в свои Четыи Минеи, объединив их под названием "Книга Григория Самвлака". Можно предположить, что авторитет Цамблака в Моск. Руси объясняется деятельностью Пахомия Логофета.

Итак, массовой иммиграции южных славян в Россию не было. Вместе с тем, второе юж-сл. влияние имело исключительно широкий характер: оно отражается на всем, что связано с книжной и - шире - с церковной культурой: на языке, на палеографии, на оформлении книги, на иконописании. Даже если считать, что митрополиты Киприан и Григорий приехали на Русь не одни, а со своим окружением (что очень вероятно), и что в их окружении были какие-то юж-сл. книжники, это никак не объясняет того масштаба, который приняло второе юж-сл. влияние.

Другим мифом, связанным со вторым юж-сл. влиянием, является утверждение, что это влияние было непосредственным продолжением юж-сл. sprawy (тырновской и ресавской - прежде всего, книжных реформ патр. Евфимия Тырновского). В настоящее время доказано, что тырновской sprawy не было вообще. Хотя патр. Евфимий Тырновский действительно был известным литературным деятелем (писателем и переводчиком), с его именем нельзя связать сколько-нибудь заметной нормализации ц-сл. языка: ц-сл. язык в Болгарии приобрел нормализованную орфографию, грамматику и лексику задолго до того, как Евфимий стал патриархом (Талев, 1973, с. 162, 174, 178, 181, 183). Что же касается так называемой ресавской sprawy, то с ней также много неясного и во всяком случае нет никаких оснований рассматривать ее как фактор второго юж-сл. влияния.

Важно отметить, что ко времени второго юж-сл. влияния болгарская и сербская письменность были в значительной степени нормализованы, т.е. подверглись книжной справе. У южных славян эта справа могла связываться с теми или иными авторитетными именами или центрами. Так, болгарский книжник Константин Костенечский (XV в.) ссылается на авторитет патр. Евфимия Тырновского (Ягич, 1896, с. 102-103, ср. 81, 202) и называет "добрым" "извод ... ресавским или тръншв'ским" (там же, с. 249, ср. с. 230), ср. еще позднейшую ссылку на авторитет "старых прѣвѣдникъ ресавских" в хиландарском Апостоле 1660 г. (Богданович, 1978, с. 83). Для рус. книжности, однако, имели значение не те или иные имена или центры, а самый прецедент нормализации. Действительно, значение второго юж-сл. влияния заключается именно в начале последовательной книжной sprawy на Руси. В этом смысле второе юж-сл. влияние связано с позднейшими реформами патр. Никона и его последователей в процессе третьего юж-сл. влияния (см. 17.1). Знаменательно, что во второй пол. XVII в. справщики могут апеллировать к авторитету митр. Киприана, подчеркивая преемственность своей деятельности (см. 16.1).

Об авторитете митр. Киприана свидетельствует тот факт, что его духовная грамота, написанная в 1396 г. (см. текст: ПСРЛ, V, с. 254-256), послужила моделью других завещаний духовных лиц, в частности для духовной грамоты Кирилла Белозерского 1427 г. (см. текст: АИ, I, № 32). Существенно отметить, что для своего времени грамота митр. Киприана явно была необычной, ср. рассказ о кончине Киприана в летописи: "...и прежде преставленіа своего за четыре дни написа грамоту незнаему и страннолѣпну яко прощальную..." (ПСРЛ, XVIII, с. 151); эпитет *страннолѣпный* означает, по-видимому, насыщенность грецизмами, что было необычно для грамот предшествующего периода.

9.2. Второе юж-сл. влияние: пурификаторские и реставрационные тенденции. Поскольку второе юж-сл. влияние не связано с иммиграцией южных славян и не может рассматриваться как непосредственное перенесение юж-сл. книжных реформ на рус. почву, причины его возникновения следует искать в самой России. Этой внутренней, а не внешней причиной явилось стремление рус. книжников обновить свою письменность, очистить свой литературный язык от всего того, что могло бы рассматриваться как порча этого языка. Основная роль в этом процессе принадлежала, таким образом, не юж-сл. учителям, а самим рус. книжникам. Юж-сл. извод ц-сл. языка послужил той моделью, на которую ориентировались рус. книжники, однако специфические орфографические, грамматические и лексические признаки, относящиеся к той или иной локальной редакции, более или менее тщательно устранялись в рус. копиях. Как правило, юж-сл. рукописи копировались рус. писцами в международных центрах православной церковной жизни - в Константинополе и на Афоне, - и при этом локальные признаки устранялись уже в первых копиях.

Необходимо различать субъективный и объективный аспекты второго юж-сл. влияния. В субъективном плане действовало стремление очистить ц-сл. язык, возвратив его к первоначальному, исходному состоянию. Объективно же имело место влияние юж-сл. культурной традиции. В результате осуществляется искусственная архаизация языка через призму юж-сл. книжной традиции.

Влияние именно юж-сл. традиции обусловлено тем, что она воспринимается как архаичная, а тем самым, и как наиболее авторитетная. Поскольку ц-сл. язык пришел на Русь от южных славян, специфические юж-сл. черты воспринимаются на Руси как архаические. Другим фактором, определяющим престиж юж-сл. редакции ц-сл. языка, является представление о более тесной связи юж-сл. и греч. культурных традиций. У южных славян были постоянные живые контакты с греками, у них постоянно осуществлялись переводы с греч. на ц-сл. язык, и это накладывало отпечаток на характер юж-сл. извода ц-сл. языка (насыщенность заимствованиями, кальками с греческого, сохранение некоторых черт греч. орфографии). Наконец, как уже говорилось, важную роль должно было играть и то обстоятельство, что у южных славян с XIII в. имела место книжная справа, т.е. последовательная тенденция к нормализации ц-сл. языка.

Таким образом, речь шла не о специальном заимствовании чужой нормы, а о возвращении к общей ц-сл. норме, к исходному состоянию ц-сл. языка, которая, по мысли рус. книжников того времени, была и на Руси в начальный период рус. христианства. Разумеется, эти представления были утопическими, однако именно эти утопические представления и оказали влияние на формирование новой нормы ц-сл. языка. Стремление рус. книжников не заимствовать чужую норму, а воссоздать свою определяет их ориентацию не на балканские страны, а на интернациональные и, в частности, межславянские культурные центры, такие как Константинополь и Афон. В этих центрах книжники из разных славянских стран находились в непосредственном общении (Дуйчев, 1963; Мошин, 1963; Вздорнов, 1968). При этом в Константинополе была рус. колония, где с торгово-административной деятельностью соседствовала деятельность книжная. В 1349 г. на Афоне восстанавливается рус. Пантелеймонов монастырь,

причем характерно, что его воссоздателем выступает серб старец Исаия, известный переводчик сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита; благодаря Исаие этот монастырь становится центром русско-сербского культурного общения в XIV–XV вв. (Мошин, 1940, с. 126–128). Понятно, что в таких центрах стремились к выработке единых общеславянских норм ц-сл. языка, а не к усовершенствованию его частных изводов.

Следует отметить, что это центры межславянские, но одновременно и славяно-греческие; как мы увидим ниже, второе юж-сл. влияние непосредственно связано с византинизацией ц-сл. языка и церковной культуры. Тексты, переписанные в Константинополе и на Афоне, вообще пользовались определенным престижем в славянском мире. Так, в некоторых юж-сл. рукописях второй пол. XIV в. можно встретить утверждение о правильности афонской редакции ц-сл. языка – "извода светогорского правога" (запись на сербской Триоди 1374 г. – Стоянович, I, с. 47, № 144). Соответственно объясняется и устранение специфических черт той или иной локальной редакции. Если первостепенное значение сначала приобретает болгарская редакция ц-сл. языка, то это происходит именно потому, что эта редакция не была связана исключительно с болгарскими культурными центрами, но в значительной степени обслуживала и других славян. К первой пол. XIV в. болгарский ц-сл. язык приобрел характер междиалектного и в большой степени межнационального (прежде всего межславянского) способа коммуникации (помимо славян, этот язык обслуживал православных романцев на территории Молдавии, Валахии и т.п.). Вместе с тем, болгарское и сербское влияние последовательно чередуются, что соответствует, по-видимому, меняющейся роли болгар и сербов в афонских монастырях (Вздорнов, 1968, с. 181–183; Талев, 1973, с. 193). В целом же приходится говорить об общем болгаро-сербском влиянии (следует иметь в виду, что разница между болгарским и сербским изводами ц-сл. языка была в это время незначительной и проявлялась, главным образом, в орфографии, тогда как грамматических различий почти не наблюдается; во многих случаях крайне трудно определить, болгарское или сербское происхождение юж-сл. памятника XI–XIV вв.; это различие тем более нивелировалось при пересадке юж-сл. традиции на рус. почву).

Особая роль болгарского извода ц-сл. языка обусловлена двумя факторами. С одной стороны, этому способствовала ревизия среднеболгарских текстов в соответствии с греч. оригиналами, т.е. книжная справа у болгар, которая начинается еще в XIII в. и длится затем на протяжении почти всего XIV в. С другой стороны, этому способствовало то, что орфография среднеболгарских текстов особенно близка к орфографии ст-сл. памятников и, вместе с тем, приближается – при написании грецизмов – к греч. орфографии; отсюда она может восприниматься как архаическая, исконная (Талев, 1973, с. 366–370).

О интернациональном характере второго юж-сл. влияния говорит и тот факт, что это влияние имело двусторонний характер. Наряду с юж-сл. влиянием на рус. книжную традицию, мы наблюдаем и обратное – рус. культурное влияние в юж-сл. странах (Сперанский, 1960, с. 55–103; Лихачев, 1958, с. 14–15). Правда, у нас здесь меньше фактов, но это объясняется как историческими обстоятельствами (турецкое завоевание Балканского полуострова), так и вообще тем, что болгарское и сербское письменное наследие сохранилось несравненно хуже, чем русское. Показательно во всяком случае, что в то время, как рус. книжники созна-

тельно ориентируются на юж-сл. книжную традицию, юж-сл. книжник Константин Костенечский (XV в.) восхваляет рус. язык, утверждая, что в основание ц-сл. языка лег не "дебелѣйшии" болгарский язык, не "высокий" сербский, но "тънчаишии и красѣишии роушкии кзыкъ" (Ягич, 1896, с. 108-110, ср. с. 88-89; о форме *роуш(ьс)кыи* "русский" см. Лавров, 1928, с. 40-41). Сходное мнение высказывает в сер. XVII в. хорват Юрий Крижанич (Крижанич, 1859, предисловие "К читателю", а также с. I-II); об аналогичных взглядах других хорватских книжников XVII-XVIII вв. см.: Засадкевич, 1883, с. 192-204). Из того же источника, вероятно, объясняется утверждение Матвея Стрыйковского (XVI в.) о том, что "древнейшим языком славянским был, кажется, русский, московский" (Стрыйковский, 1582, с. 109).

Можно предположить, что это мнение так или иначе восходит к Житию Кирилла Философа, в VIII главе которого говорится о том, как Кирилл обрел в Херсоне Евангелие и Псалтырь, написанные "русскими" буквами ("роушьскими писмены писано" - Лавров, 1930, с. 12). Таким образом, "русский" язык согласно авторитетному для славянских книжников Житию Кирилла оказывается у истоков славянской письменности. В настоящее время можно считать доказанным, что слово "русский" стоит здесь на месте "сирский" (т.е. сирийский), представляя собой результат неправильного прочтения (характерно в этом смысле, что в XVI главе Жития вместо обычного *соури* читается в ряде списков *роуси* - Ягич, 1896, с. 3, примеч. 49; ср. Вайан, 1935, с. 76). Таким образом, Кириллу приписывается знакомство с сирийским переводом св. Писания, однако в результате неправильного прочтения "сирский" был переосмыслен как "русский". Это же переосмысление прослеживается и в сербских списках "Сказания о писменех" черноризца Храбра, где вместо *асиреомъ* стоит *роусомъ* и утверждается, что Адам говорил не "сирским" (сирийским), а "роушскимъ езикомъ", т.е. и здесь "сирский" заменяется на "роушский" - Стипчевич, 1964, с. 53, 54, 56; ср. Иванова, 1969, с. 74). Константин Костенечский был несомненно знаком с этими памятниками - его трактат обнаруживает вообще непосредственную зависимость от сочинения черноризца Храбра - и писал, явно основываясь на традиции указанного переосмысления. Эта традиция получила новую значимость в условиях, когда Россия воспринималась как хранительница православного благочестия, что естественно распространялось и на представления о чистоте сохранившегося здесь языка.

Необходимо иметь в виду, что ц-сл. язык представляет собой по своей функции язык интернациональный, и поэтому периодически возникает тенденция к устранению локальных признаков национальных редакций. При этом практически эта тенденция выражается, как правило, в экспансии наиболее авторитетного (по тем или иным причинам) извода на всю территорию православного славянства. В этом смысле история ц-сл. языка (охватывающая разные его изводы) "есть довольно последовательная смена периодов централизации... и децентрализации... в плане структурно-нормативном и миграция центров... в плане экстралингвистическом" (Толстой, 1963, с. 232).

9.3. Второе юж-сл. влияние: грекофильские тенденции. Наряду с тенденцией к реставрации в процессе второго юж-сл. влияния действовала тенденция к византизации рус. книжной культуры. Обе эти тенденции органически объединялись. Юж-сл. традиция в большой степени выступает как авторитетный и практически доступный проводник греч. влияния (то же самое имело место, как мы видели, в период первого юж-сл. влияния); между тем в период третьего юж-сл. влияния в соответствующей роли будет выступать ю-з-рус. традиция, кстати в значительной степени развивающая второе юж-сл. влияние (ср. 13.4). Как мы уже говорили, одной из причин авторитета юж-сл. книжной традиции в глазах рус. книжников послужила именно большая близость юж-сл. (болгарских и сербских) изводов ц-сл. языка к греч. языку, которая объясняется, в свою очередь, относительно более тесными контактами южных славян с греками. Необходимо иметь в виду, что в период, предшествующий второму юж-сл. влиянию,

у балканских славян наблюдаются "архаизаторские и декадентские тенденции на византийский манер" (Винокур, 1959, с. 60). Сочинения юж-сл. книжников часто производят впечатление перевода с греческого - хотя бы это и были оригинальные произведения - в виду следования греч. грамматическим конструкциям, насыщенности грецизмами, элементов греч. правописания и т.п. (так, например, у Евфимия Тырновского или Константина Костенечского). Показателен в этом отношении трактат Константина Костенечского "О писменех", в котором особо подчеркивается значение греч. языка и греч. правописания. И. В. Ягич писал о Константине: "Он сам был по воспитанию и образованию скорее грек, чем славянин; его уступчивость авторитету греков не знала пределов, он смотрел на них как на естественных посредников между евреями и славянами в отношении церковно-христианской письменности... Поэтому первым и главным правилом для Константина существовало - безусловное подражание всему греческому... Эта зависимость от греков доходила у Константина до того, что он даже принятому порядку букв славянского алфавита не сочувствовал, считая более разумным познакомить мальчика сначала с 24 буквами алфавита греческого" (Ягич, 1896, с. 84-85). Эта связь юж-сл. и греч. влияния обусловлена тем, что возрождение ц-сл. языка органически объединяется в рус. культурном сознании с ренессансом православной идеологии. То и другое представляет собой два аспекта единого культурного процесса. В XIV в. явно делается попытка восстановить *Slavia Orthodoxa* как единое культурно-политическое целое, возглавляемое Византией и способное противостоять экспансии ислама. Это возрождение требовало единой культуры, т.е. среди прочего, единого культурного языка и единой идеологии. Таким единым культурным языком и должен был стать унифицированный церковнославянский, тогда как роль единой идеологии предназначалась исихазму как комплексу богословских и социально-политических воззрений (см. об исихазме: Мейендорф, 1974; Мейендорф, 1974а). Именно это и связывает исихазм со вторым юж-сл. влиянием. Иногда полагают (Лихачев, 1958; Талев, 1973, с. 184-194), что исихазм и обусловил второе юж-сл. влияние как культурное явление. С этим трудно согласиться: не исихазм как идеологическое течение принес второе юж-сл. влияние, но второе юж-сл. влияние как струя, связанная с Византией, принесло в Россию ту идеологию, экспансия которой входила в задачи Византии.

Вообще, византийское влияние в период так называемого второго юж-сл. влияния проявлялось отнюдь не только в письменно-языковой традиции, но в самых разнообразных аспектах культуры. Однако, "если для письменности византийское влияние в XIV-XV вв. составляло в основном как бы часть южнославянского, то для живописи, напротив, южнославянское входило составной частью в объединяющее его византийское влияние" (Лихачев, 1958, с. 7-8). Здесь очевидным образом сказывается различие между словесными и изобразительными средствами выражения: изобразительное искусство воспринимается непосредственно, тогда как словесное нуждается в переводе. В обоих случаях ц-сл. культура подчиняется греческой - как дочерняя материнской, - но в одном случае греч. язык воспринимается через призму церковнославянского, в другом же случае ц-сл. искусство функционирует как часть греческого.

Следует иметь в виду, что болгарское искусство и литература XIV в. лишены национальной специфики. Они являют собой часть византийской культуры, и именно

эта сторона привлекала русских. Отсюда юж-сл. образцы служили способом для приближения рус. культурной жизни к византийскому уровню.

Возрождение в рассматриваемый период византийско-рус. культурных связей было тем более актуально, что связи эти в XIII в. пришли в упадок. Это было обусловлено, с одной стороны, татаро-монгольским нашествием (хотя татары непосредственно и не вмешивались в церковную жизнь), с другой же стороны, завоеванием Константинополя крестоносцами (1204–1261 гг.). В дальнейшем, как мы увидим, Россия берет на себя миссию сохранения и продолжения византийской культуры (см. 16.2).

В виду связи второго юж-сл. влияния с византизацией рус. культуры представляется неслучайной та роль Константинополя и Афона, о которой мы говорили выше. Начало работы рус. книжников в Константинополе предшествует второму юж-сл. влиянию. Оно обозначено появлением таких памятников рус. письменности, как Чудовский Новый Завет 1355 г., а также Евангелие 1383 г. (ГИМ, Син. 742). Эти памятники были написаны в Константинополе. Чуд. Нов. Завет по преданию был написан митр. Алексием (в рукописи несколько почерков, но Четвероевангелие написано одним почерком, который традиция, видимо, и связывает с Алексием), в то время как он ожидал поставления на рус. митрополию. Он представляет собой перевод с греческого, который был осуществлен, по всей вероятности, под руководством Алексия во время его поездки в Константинополь в 1355 г. (таким образом, новозаветный текст был переведен заново, а не списан с какого-то славянского протографа). Тот факт, что Новый Завет заново переводится с греческого, очень характерен, свидетельствуя о критическом отношении рус. книжников к имеющимся у них переводам и о стремлении привести эти переводы в соответствие с принятыми у греков текстами. Чуд. Нов. Завет резко отличается от более ранних др-рус. рукописей, хотя здесь и не прослеживаются еще черты второго юж-сл. влияния. Здесь, однако, наблюдается непосредственное греч. влияние, которое проявляется в начертаниях букв α , ϵ , υ , ω , Ω , в употреблении греч. лигатур, в увеличении нагрузки i , в употреблении греч. окончаний в грецизмах. Замечательной чертой этого памятника является последовательная постановка ударений, и это также несомненно объясняется греч. влиянием, поскольку в греч. текстах ударения передавались (знаменательно в этом смысле, что, когда Петр I вводит гражданский шрифт, отражающий ориентацию на латинскую культурную традицию и отталкивание от традиции византийской, он считает необходимым устранить надстрочные знаки - Живов, 1986). Чуд. Нов. Завет - первый рус. памятник с обозначенными ударениями, и это делает его исключительно ценным материалом для рус. исторической акцентологии; если иметь в виду, что от XV в. у нас практически нет памятников с рус. ударениями, поскольку в рус. рукописях показаны юж-сл. ударения (см. 10.3), то Чуд. Нов. Завет оказывается единственным сколько-нибудь крупным акцентуированным памятником до XVI в. (спорадические рус. ударения обозначены еще в нескольких рукописях конца XIV в.).

Ударения обозначены также на рус. глоссах к греч. словарю из собрания греч. рукописей Венской национальной библиотеки (MS 171). Эти записи хронологически совпадают со временем создания Чуд. Нов. Завета, причем они также были сделаны в Константинополе. Можно полагать, что рус. глоссы на Венской рукописи и Чуд. Нов. Завет представляют одну школу письма: рус. записи в греч. лексиконе, возможно, отражают работу над переводом Нового Завета, в результате которой и появился Чуд. Нов. Завет.

Кроме того, спорадически - преимущественно в словах иноязычного происхождения - акцентные знаки ударения встречаются еще в двух рукописях конца XIV в., а именно в Четвероевангелии Никона Радонежского 1399 г. (ГБЛ, ф. 304, III, № 6/М. 8652) и в Четвероевангелии из собр. Ф. А. Толстого (ГПБ, О.П. I, № 1). Оба этих памятника испытали сильное влияние Чуд. Нов. Завета - это влияние, в частности, и проявилось в расстановке акцентных знаков. См. Ушаков, 1971; Ушаков, 1975, с. 263-268.

Итак, Чуд. Нов. Завет отражает, видимо, непосредственное греч. влияние. Позднее - несколько десятилетий спустя - это влияние будет опосредствованным, т.е. будет осуществляться через юж-сл. книжную традицию. Однако субъективно и в этом случае имеет место византинизация ц-сл. языка и ц-сл. текстов. Греческое влияние сливается с южнославянским: одно переходит в другое. Можно сказать, таким образом, что Чуд. Нов. Завет знаменует собой предысторию второго юж-сл. влияния.

Итак, второе юж-сл. влияние связано с ориентацией на греч. культуру. И в этом случае необходимо различать субъективный и объективный аспекты второго юж-сл. влияния. Наряду со стремлением к реставрации ц-сл. языка имело место непосредственно с ним связанное стремление к реставрации византийской православной культуры на Руси. Объективно же как то, так и другое стремление обуславливало влияние юж-сл. культурной традиции, поскольку южные славяне воспринимались и как носители архаической ц-сл. традиции, и как авторитетные посредники в греч.-рус. культурных контактах. В результате стремление к архаизации языка органически сочетается в период второго юж-сл. влияния с тенденцией к его византизации. Последняя проявляется прежде всего в написании грецизмов: в частности, вводятся греч. буквы, уже вышедшие из употребления в рус. изводе ц-сл. языка (см. 11.1). Вместе с тем в это же время в рус. рукописях появляется и "греческое" лигатурное письмо, т.е. имеет место влияние греч. минускульного письма и, таким образом, рус. палеография оказывается под прямым воздействием греческой (Сперанский, 1932). Это непосредственное (а не через юж-сл. традицию) греч. влияние объясняется в данном случае так же, как и влияние в живописи (см. выше) - здесь языковой барьер не имел значения, поскольку речь идет о изобразительной, а не о собственно языковой сфере. Византийское влияние проявляется и в орнаменте рус. рукописей: в рассматриваемый период в них появляется неовизантийский геометрический орнамент (который сменяет тератологический орнамент, характерный для предшествующего периода); естественно, что и в этом случае греч. влияние могло быть непосредственным.

9.4. Некоторые типологические характеристики второго юж-сл. влияния как культурного явления. Итак, второе юж-сл. влияние определенно связано с реставрационными тенденциями: с одной стороны, речь идет о реконструкции первоначального состояния ц-сл. языка, с другой стороны - о возрождении православной духовности. И тот и другой процесс объединяются в рамках общего возрождения церковной культуры, существенное место в которой занимает несомненно и ц-сл. язык. Говоря о возрождении (иногда говорят для данного периода о предвозрождении), необходимо подчеркнуть, что речь не идет о ренессансе как культурно-типологической категории, сопоставимой с тем, что имело место в то же время на Западе. Мы

можем говорить лишь об отдельных чертах сходства между западным Ренессансом и вторым юж-сл. влиянием в России: внимание к книжной культуре, к критике текста и т.п. (см. Пиккио, 1975, с. 168-169). Гораздо заметнее, однако, отличия. Ренессанс как комплексная категория характеризуется прежде всего гуманистическими и рационалистическими идеями (пересмотр места Человека во Вселенной) на почве обращения к античному наследию (причем обращение осуществляется с новых позиций и в новой перспективе). Здесь же, в России, на первом месте оказываются не рационалистические или гуманистические идеи, но мистические идеи, воплощенные в учении исихастов (Григория Паламы, Григория Синаита и др.).

В Византии эти два направления - гуманистическое и созерцательно-мистическое - были противопоставлены друг другу и непосредственно сталкивались, в частности, в ходе так называемых паламитских споров (сер. XIV в.). Весьма показательно, что, если противники Паламы (Варлаам Калабрийский, Никифор Григора) культивировали светскую образованность и стремились к определенному синтезу христианства и античного культурного наследия, то для Паламы и его сторонников основным стремлением было сохранить чистоту православного учения, оградив его от смешения с какими бы то ни было посторонними элементами. Эти два направления, столкнувшиеся на византийской почве, получили дальнейшее развитие в противопоставлении рус. и западноевропейской культур: если в России были усвоены в ходе второго юж-сл. влияния идеи исихастов, то на Западе получили распространение идеи их противников (знаменательно, что учителем Петрарки был Варлаам Калабрийский).

Общим для Запада и России является интерес к культурному наследию, однако, в одном случае, это интерес к наследию дохристианскому, в другом же - к Византии, к началу русской (христианской) традиции. Это в какой-то степени связано с тем различием ц-сл. языка и латыни, о котором мы уже говорили выше (см. 2.3). Ц-сл. язык становится языком культуры постольку, поскольку он до этого является языком церкви (т.е. функции культового языка являются у него первичными, а функции литературного языка в широком смысле - вторичными); между тем, латынь становится языком церкви постольку, поскольку до этого она была языком культуры (т.е. функции литературного языка являются для латыни первичными, а функции культового языка - вторичными). И в России, и на Западе имеет место интерес к началу соответствующей культурной языковой традиции, - однако в России этот интерес оказывается интересом к церковной традиции, а на Западе - к традиции культурной. Соответственно, в России на первый план выступает обновление связей с Византией, а на Западе - возрождение античного культурного наследия. Таким образом, если и можно говорить о возрождении применительно ко второму юж-сл. влиянию, необходимо отдавать себе отчет в том, что дело идет о возрождении христианской и, уже, православной традиции.

10. ПЕРЕСТРОЙКА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КНИЖНЫМ И НЕКНИЖНЫМ ЯЗЫКОМ

10.1. Возрастание различий между книжным и некнижным языком. Помимо внешних - экстралингвистических - причин, обусловивших второе юж-сл. влияние, существовали и причины внутриязыковые. Ко времени установления письменной традиции на Руси рус. и ц-сл. языки были очень близки друг другу (см. 3.1.4) - настолько, что понимание ц-сл. языка в принципе не вызывало никаких трудностей (затруднение, естественно, мог вызывать тот или иной ц-сл. текст - например, текст, буквально переведенный с греческого, - однако, затруднения такого рода относятся не к языку, а к тексту).

Между тем, к концу XIV в. произошли существенные изменения рус. языка, обусловившие перестройку отношений между ц-сл. и рус. языком. Были утрачены целые грамматические категории (дв. число, зват. форма), произошло падение редуцированных и целый ряд связанных с ним перестроек фонетической системы; выравнились основы на заднеязычные согласные в тех формах, где в свое время имело место их чередование со свистящими; произошла существенная перегруппировка типов склонений; изменилось употребление нечленных форм прилагательных и особенно причастий; генетически причастные формы либо полностью утратили процессуальное значение, перейдя в разряд прилагательных, либо закрепились при предикате в функции сказуемого и т.п. (ср. 8). В результате этих процессов в целом ряде случаев нейтральные ранее формы становятся специфически книжными, т.е. образуются новые противопоставления ц-сл. и рус. языка, которые ранее не имели места. Так, например, такие формы, как *руцѣ*, *нозѣ*, *помози* и т.п. (с чередованием свистящих и заднеязычных в основах), *моглѣ*, *пеклѣ*, местоимения *мя*, *тя*, *ся* ранее были нейтральными, т.е. отнюдь не являлись исключительной принадлежностью ц-сл. языка, однако теперь оказываются противопоставленными формам живого рус. языка. Соответственно, увеличивается дистанция между книжным (ц-сл.) и некнижным (рус.) языком, что способствует тенденции к четкому размежеванию книжного и разговорного языка, которые осмысляются как правильный и неправильный. При этом то обстоятельство, что те или иные признаки ц-сл. (например, дв. число, чередование заднеязычных и т.п.) еще относительно недавно были свойственны и рус. языку - а память об этом сохраняется в языковом сознании, поскольку соответствующие формы представлены в фольклорных текстах, во фразеологических оборотах и т.д., - в принципе, способствует архаизаторским и регрессивным тенденциям.

Соответственно изменятся восприятие книжного (ц-сл.) языка: если в древнейший период книжный язык мог восприниматься в качестве кодифицированной разновидности живого языка, то теперь он оказывается ощутимо противопоставленным живой речи. Как мы уже знаем, в основе второго юж-сл. влияния лежат пурификаторские и реставрационные тенденции; его непосредственным стимулом было стремление рус. книжников очистить ц-сл. язык от тех разговорных элементов, которые проникли в него в результате его постепенной русификации (т.е. приспособления к местным условиям). Это обуславливает сознательное отталкивание от жи-

вого языка; соответствующие процессы особенно наглядно проявляются на лексическом уровне.

10.2. Перестройка лексических отношений. До второго юж-сл. влияния имеет место активное взаимодействие ц-сл. и рус. языков. Хотя сохраняется дистанция между книжным и разговорным языком, книжный язык испытывает непосредственное влияние со стороны живого. При конструировании оригинальных текстов на книжном языке носитель языка может исходить из соответствующих форм живой речи. Именно так обстоит дело в сфере лексики. Так, рус. книжник, которому не доставало слова для выражения того или иного понятия, в принципе мог заимствовать это слово из живого языка. Если это слово не соответствовало формальным критериям, предписываемым языковой нормой, оно более или менее автоматически преобразовывалось в соответствии с этими предписаниями - например, полногласная форма превращалась в неполногласную и т.п. (об этом наглядно свидетельствуют гиперкорректные формы типа *глось*, *планъ* вместо *гласъ*, *плѣнь*, наблюдаемые в ц-сл. памятниках рус. редакции, которые явно образованы из *голосъ*, *полонъ* и т.п., ср. 8.1.2). Если же рус. слово не противоречило формальным критериям ц-сл. текста, оно просто заимствовалось в том виде, в каком оно представлено в рус. языке. Строго говоря, на этом этапе вообще нет лексических различий между ц-сл. и рус. языком: ц-сл. и рус. формы противопоставлены в данном случае не на лексемном, а на морфемном уровне (по форме корня, флексии или словообразовательного форманта), т.е. на том уровне, который выражается в виде общих правил (образующих бинарные ряды соотнесенных друг с другом элементов), а не в виде конкретных противопоставлений отдельных лексем (ср. 4.4). Соответственно, ц-сл. и рус. формы воспринимаются и функционируют как одно слово. Это проявляется, во-первых, на содержательном уровне, где имеет место взаимное влияние семантики рус. и ц-сл. формы (так, *власть* может употребляться в значении "волость", подобно тому как *волость* может употребляться в значении "власть"); во-вторых, на формальном уровне, где ц-сл. текст в определенных условиях допускает рус. элементы как нормативное явление, а не как отклонение от нормы (так, на конце строки может появляться полногласная форма, т.е. противопоставление полногласных и неполногласных форм нейтрализуется в этой позиции, см. 8.1.2).

После второго юж-сл. влияния в результате сознательного отталкивания от разговорной речи прямые лексические заимствования из рус. в ц-сл. языке в принципе не допускаются. Теперь противопоставление рус. и ц-сл. языка распространяется и на сферу лексики; при этом отношения между двумя языками строятся на лексемном уровне и образуются коррелятивные пары соотносительных книжных и некнижных лексем. Рус. книжник, которому не хватает слова для выражения своей мысли, не может теперь заимствовать это слово из разговорного языка и потому вынужден образовывать неологизм, используя средства выражения ц-сл. языка. Таким образом, стремление к архаизации и реставрации, являющееся одним из главных стимулов второго юж-сл. влияния, фактически вызывает удаление от исходного состояния и стремительную эволюцию книжного языка (как это и вообще характерно для реставрационных, пуристических движений).

Отсюда объясняется активный характер процессов, связанных со вторым юж-сл. влиянием. Из юж-сл. ц-сл. языка берутся, главным образом, не формы, а модели, которые стимулируют производство новых слов и выражений - в частности, модели словообразовательные, стилистические (так называемое "плетение словес", т.е. особый витийственный стиль, широко использующий риторические украшения, синонимические повторы, параллелизм и т.д.), орфографические (ср. ниже о форме *всѣа* - 11.3.1), и т.п. Особенно характерна активизация словообразовательных средств, в результате которой в ц-сл. языке появляется огромное количество неологизмов, внешне имеющих приметы ц-сл. происхождения, но в действительности никогда не употреблявшихся в ц-сл. текстах. Этот процесс развивается в двух направлениях.

Во-первых, непродуктивные аффиксы становятся продуктивными, участвуя в порождении новых слов; примером может служить суффикс *-тель*, который чрезвычайно активизируется в это время (Кайперт, 1970, с. 151 сл.), а также связанный с ним суффикс *-тельн* (Кайперт, 1977 с. 39 сл.). В этот период появляются такие слова, как *читатель*, *хвалитель*, *основатель*, *разсудитель* и т.д., а также *оболгательный*, *разсудительный* и др. Подобным же образом активизируются приставки *со-* и *воз-*.

О продуктивности суффикса *-тель* можно судить по тому, что он выступает как средство номинализации глагольных конструкций с сохранением у имени деятеля модели глагольного управления. Такая трансформация была еще возможна в XVII - нач. XVIII вв., ср., например, в "Службе кабаку": "Нагие, веселитесь, се бо *вам подражатель* явися, *голоду терпитель*" (Адрианова-Перетц, 1977, с. 38); ср. еще характеристику Ф. Ю. Ромодановского в "Гистории о царе Петре Алексеевиче..." Б. И. Куракина: "Превеликой *нежелатель* добра никому" (Архив Куракина, I, с. 65).

Во-вторых, появляется огромное количество сложных слов, состоящих из двух и более элементов. Например, у Епифания Премудрого мы встречаем сочетание *младорастущая ветвь*, элементы *млад-*, *раст-* и *-ущ-* являются обычными ц-сл. морфемами, однако слово *младорастущий* не заимствовано из какого-либо ц-сл. текста, а представляет собой неологизм. Равным образом, появляются такие новообразования, как *всегорделивый*, *каменноградный*, *благоумильный*, *зловѣрный*, *мудросложный*, *многоукрепленный*, *бѣсояростный*, *свѣтлозрачный*, *благодатноименный*, *каменносердечен*, *злораспалѣемый* и т.д. (Левин, 1964, с. 81). Появление сложных слов непосредственно обусловлено ориентацией на греч. язык. Мы уже говорили, что этот процесс характерен вообще для ц-сл. языка (см. 8.8.1), и в этом смысле мы можем констатировать дальнейшее развитие той тенденции, которая наблюдается при самом его образовании. Подобные неологизмы нередко имеют окказиональный характер; в ряде случаев они могут состоять из большого числа компонентов. Одно грамматическое сочинение ("Технология") 1725 г., принадлежащее, видимо, Федору Поликарпову, приводит примеры таких сложных слов в ц-сл. языке: *всепокорнослужимый*, *всепресвѣтлосіятелный*, *щедроотцемилосерднѣйшій*, *высокоправдолюбопріятнѣйшій*, *пастыреначалоправнтелствующій*, *славенороссійскоотцемилосерднѣйшій*, *православновсероссійскомудролюбнѣйшій*, *самопредмудроправдовселюбопріятнѣйшій*, *премудростенаставляющебогатодарователь*, *славенороссійскослнббраннодивновсеополчитель*, *славенороссійскопреславномироблагодаятель*, *славенороссійсковсепремилосердновразумитель*, *православновсероссійскофлотоначалопремудродѣлатель*, *хвалебночинонебесноземнотрісвятоспѣваемый* (ГПБ, НСРК Р. 1921. 60, с. 8-9). Только что приведенные примеры пред-

ставляют собой окказиональные образования, созданные в XVIII в. (часть из них относится к Петру I), однако они следуют традиции, идущей от второго юж-сл. влияния. Вместе с тем, во многих случаях сложные слова, возникшие в этот период, закрепляются в языке. Из ц-сл. языка такие слова попадают в русский. Такие слова современного рус. литературного языка, как *драгоценный, суевер, рукоплескание, гостеприимство, тлетворный, вероломство, первоначальный, любострастие, громогласный* восходят к неологизмам, появившимся в период второго юж-сл. влияния (Виноградов, 1958, с. 109–110; относительно *драгоценный* см. Цейтлин, 1974 - с неточной интерпретацией).

Создаваемые таким образом книжные неологизмы призваны заменить собственно рус. лексемы. Отсюда на лексемном уровне образуются парные противопоставления книжных и не-книжных элементов, создается как бы двуязычный ц-сл.-рус. словарь. Этот процесс обуславливает появление словарей "произвольников" ("произвольных речений"), в которых наряду с иноязычными словами толкуются и ц-сл. слова; характерно, что такое толкование получают и общеизвестные слова (Ковтун, 1963) - таким образом, целью подобных указаний является установление именно соответствия между ц-сл. и рус. словом. Эта тенденция соотношения лексем ц-сл. и рус. языка находит отражение в рассуждении Зиновия Отенского о глаголах *чаю* и *жду* в последнем члене Символа веры (*чаю воскресения мертвым* или *жду воскресения мертвым*). Зиновий возражает тем, кто считает, что *чаю* и *жду* отличаются семантически, полагая, что *чаю* выражает неполную уверенность; с его точки зрения, *чаю* относится к книжной речи, а *жду* - к народной (Зиновий Отенский, 1863, с. 967). Действительно, в Символе веры, цитируемом в послании патр. Фотия Михаилу Болгарскому (по списку XVI в. - ГБЛ, ф. 113, № 488), в тексте читаем "чаю въскресение мертвым", но на полях дается глосса "ожидаю" (Синицина, 1965, с. 102). Аналогичная корреляция устанавливается в этот же период между словами *око* и *глаз* и т.п., ср. в Толковой Псалтыри перевода Максима Грека (по списку ГИМ, Син. 233, 1692 г.) вынесенную на поле глоссу *глаз*, относящуюся к слову *око* (Горский и Невоструев, II, 1, с. 100). Во всех этих случаях устанавливается семантическое тождество этих слов, но при этом подчеркивается, по существу, их разная языковая принадлежность.

Характерен, вместе с тем, анонимный комментарий (XVI в.) к Псалтыри, переведенной Максимом Греком в 1552 г., где говорится о смысловых различиях слов *успение* и *смерть*. Здесь утверждается, что смерть святых следует именовать *успение*, поскольку праведники - не *умершие*, а *усопшие*, они пробудятся, воскреснут (Ковтун, 1975, с. 37). Как видим, это аргументация того же порядка, что и мнение, против которого выступает Зиновий Отенский; между тем с противоположной точки зрения *успение* и *смерть* не различаются по значению, будучи соотнесены как книжное и не-книжное или как книжное и нейтральное. Существенно при этом, что как слово *жду*, так и слово *смерть* представлены не только в ц-сл., но и в рус. языке, тогда как *чаю* и *успение* принадлежат по преимуществу ц-сл. языку, т.е. маркированы как книжные элементы. Отталкивание от разговорного языка и заставляет воспринимать *жду* и *смерть* как непригодные для высокой книжной речи слова, соотнося их со специфическими ц-сл. эквивалентами. Таким же в точности образом могут противопоставляться *житие* и *жизнь* и т.д. и т.п.

Это особое внимание к книжной лексике отчетливо проявляется, например, у Курбского, который пишет в предисловии к "Новому Маргариту": "И аще гдѣ погрѣшихъ въ чемъ, то есть, не памятаючи книжныхъ пословицъ словенскихъ, лѣпотами украшенныхъ, и вмѣсто того буде простую пословицу введохъ, пречитающими, молюся съ любовію и христоподобною кротостію да исправятся" (Архангельский, 1888, прилож., с. 13-14; *пословица* означает здесь "слово"). Ср. также характерные извинения писца Евангелия 1506 г. в том, что "многія пословицы приходили новгородскія" (Симони, 1899а, с. 1).

Установлению корреляции между ц-сл. и рус. языком на лексемном уровне способствует также следующее обстоятельство. В ходе второго юж-сл. влияния осуществляется ревизия ц-сл. языка рус. редакции, в результате чего книжные и некнижные лексемы начинают противопоставляться по новым признакам, по которым они не противопоставлялись ранее. Так, например, на месте о-сл. *dj в ц-сл. языке начинает писаться и произноситься жд (а не ж, что было нормой в предшествующий период) и т.п. Слова ц-сл. происхождения, соответствующие старой, а не новой норме, объявляются некнижными и тем самым причисляются к русизмам. Таким образом, слово *одежа*, которое ранее соответствовало норме ц-сл. языка, противопоставляется теперь ц-сл. *одежда* и воспринимается как специфический русизм. Итак, те лексемы, от которых отказывается ц-сл. язык, оказываются в фонде рус. лексики; соответственно, они образуют лексические корреляты к новым (исправленным) ц-сл. лексемам, т.е. устанавливается однозначное соответствие между ц-сл. и рус. словом (ц-сл. *одежда* - рус. *одежа*).

Отталкивание от разговорной речи распространяется и на акцентные характеристики лексем. Поскольку специфически книжные лексемы, коррелирующие с лексемами некнижными и им противопоставленные, могут получать в это время особое книжное ударение (обычно неподвижное предфлекссионное), отсюда появляются акцентные противопоставления типа *пріняли* - *пріяли*, *приняла* - *пріяла*, *чужой* - *чұдый* и т.п. (Зализняк, 1985).

Все это очевидным образом свидетельствует о перестройке отношений между ц-сл. и рус. языком: создаются предпосылки для перехода от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию. Диглоссия сохраняется постольку, поскольку сферы употребления ц-сл. и рус. языков остаются прежними, но словари этих языков образуют параллельные ряды, что в принципе определяет возможность перевода с языка на язык (невозможного при диглоссии, но естественного при двуязычии).

Отталкивание от рус. языка приводит к осознанию его как самостоятельной системы, своего рода антинормы: рус. язык начинает фиксироваться в языковом сознании как особая языковая система, противопоставленная ц-сл. языку. Соответственно, если раньше носитель языка при порождении книжного текста исходил из естественных для него речевых навыков и процесс порождения сводился к трансформации отдельных элементов текста, то теперь при переходе с некнижного языка на книжный может иметь место переключение языковых механизмов. Иначе говоря, если раньше мы наблюдаем корреляцию ц-сл. и рус. текстов, то теперь эта корреляция может осуществляться на уровне кодов (т.е. механизмов языка): книжный и некнижный языки противопоставляются в этом случае не по отдельным признакам (фонетическим или грамматическим), а в целом.

Именно поэтому различия между ц-сл. и рус. языком в значительной степени осознаются теперь как различия лексические - при том что ранее эти различия проявлялись главным образом на фонетическом и грамматическом уровне. Отношения между двумя языками выражаются на данном этапе не в виде общих закономерностей, которые могут быть сформулированы и усвоены как правила, позволяющие производить соответствующую трансформацию (т.е. осуществлять преобразование некнижного текста в книжный), а в виде конкретных соответствий, устанавливающих корреляции между элементами одного и другого языка. Как мы уже говорили (см. 4.4), если фонетические и грамматические соответствия могут быть сформулированы в виде общих правил, доступных для усвоения, то лексические соответствия всегда имеют конкретный характер и в принципе не сводимы к правилам.

Таким образом, если в свое время ц-сл. язык был маркирован по отношению к русскому, выступая как его кодифицированная разновидность, - тогда как рус. язык не был маркирован по отношению к церковнославянскому, - то теперь оба языка оказываются взаимно маркированными по отношению один к другому, т.е. ц-сл. и рус. языки, которые раньше образовывали привативную оппозицию, образуют теперь оппозицию эквиолентную. Соответственно изменяется способ отождествления ц-сл. и рус. языков в языковом сознании. Ц-сл. и рус. языки, поскольку они сосуществуют в ситуации диглоссии, по-прежнему воспринимаются как две разновидности одного языка - правильная и неправильная, - однако они объединяются как две самостоятельные системы. Иными словами, происходит не структурное, а чисто функциональное объединение (за счет того, что они не употребляются в одних и тех же ситуациях).

10.3. Изменение соотношения орфографии и орфоэпии. Отталкивание от рус. языка в период второго юж-сл. влияния имеет место и в сфере орфографии, которая приобретает вообще принципиальное значение в этот период, поскольку именно здесь наиболее наглядно проявляется связь с юж-сл. традицией. Влияние чужой (в данном случае юж-сл.) традиции закономерно способствует повышению роли орфографии и размежеванию произносительной и орфографической нормы.

Ранее написание в значительной мере ориентировалось на книжное произношение; при этом книжное произношение в целом ряде случаев не было противопоставлено живому произношению и, соответственно, в той или иной степени могло отражать реальные фонетические процессы, происходившие в разговорном языке (см. 7.13). В результате второго юж-сл. влияния писцы начинают ориентироваться на собственно орфографическую традицию, привнесенную извне и резко расходящуюся с произносительными навыками. Поскольку этот процесс, как правило, не затрагивает книжного произношения, происходит обособление орфографии и, отсюда, размежевание орфографической и орфоэпической традиции (ранее непосредственно связанных). Таким образом, увеличивается дистанция между ц-сл. и рус. языками, которые и в этой сфере начинают противопоставляться друг другу.

Действительно, усилия справщиков были направлены преимущественно на орфографию, и лишь в отдельных случаях вводимые ими написания вторичным образом влияют на книжное произношение (так происходит в случае группы *жд*, написания начального *ю*). Так, в соответствии с греч. образцом появляется написание типа *Маріа*, *Матѣѡ* (род. пад.) и т.п., т.е. не

обозначается йотация в начале слога. Однако подобные формы, по-видимому, читались, как и раньше, с йотацией; иначе говоря, они воспринимались как чисто орфографическая условность. Об этом говорит как традиция церковного произношения подобных форм, так и тот факт, что впоследствии писцы могут возвращаться к орфографии, передающей йотацию и отражающей, тем самым, непрерывную традицию книжного произношения (йотация, однако, передается теперь не буквой *я*, а буквой *л*).

Другим примером такого же рода служат знаки акцентов, которые в данный период не несут фонетической информации: в рус. текстах этого периода показаны юж-сл. ударения или имитирующие их. Вместе с тем, с концом второго юж-сл. влияния в рус. ц-сл. текстах появляются такие же ударения, какие были и до него (т.е. примерно такие же ударения, которые представлены в Чуд. Нов. Завете). Надо полагать, что в период второго юж-сл. влияния сохранялась традиция книжного произношения (акцентуации), существовавшая независимо от орфографии; в отдельных случаях новое ударение закрепилось в специфически книжных формах, не соотносившихся с формами живого языка (ср. 10.2; см. также о юж-сл. ударениях в грецизмах, отразившихся в книжном произношении - 13.4). Чисто орфографическое значение имеют знаки придыханий, которые появляются в данный период в подражание греч. написаниям.

Специфическая юж-сл. орфография в большинстве случаев оказалась скоропреходящей. В Моск. Руси она исчезает в середине XVI в. Тем не менее какие-то черты этой орфографии закрепляются в ц-сл. языке (см. 11.7).

10.4. Скоропись как особый тип письма и ее функциональная значимость. Перестройка отношений ц-сл. и рус. языков проявляется и в области палеографии. Вообще, второе юж-сл. влияние непосредственно связано с палеографической реформой: старший полуустав сменяется младшим полууставом, обнаруживающим явную зависимость от юж-сл. почерков (Щепкин, 1967, с. 129) (как мы уже отмечали, наряду с юж-сл. влиянием в палеографии имеет место и непосредственное греч. влияние на рус. письмо). Особенно же важно, что в этот период появляется скоропись как особый тип некнижного письма, противопоставленный книжному письму (уставу и полууставу): если книжное письмо ассоциируется с ц-сл. языком, то некнижное письмо соотносится с рус. языком.

Поскольку это касается собственно графики, скорописное письмо появляется еще до второго юж-сл. влияния (в XIV в.), но в этот период скоропись противопоставляется полууставу лишь в начертании букв: "По своим начерткам русская скоропись XIV в. есть в сущности тот же древнейший русский полуустав, но только значительно ускоренный полной свободой нажимов и взмахов. Не только отдельные начертки этой древнейшей скорописи все принадлежат русскому полууставу, но также и орфографическая система" (Щепкин, 1967, с. 136). Между тем, в XV-XVII в. скоропись противопоставляется книжному письму с и с т е м н о - противопоставление строится не только на начертании букв, скоропись обладает своим инвентарем букв, своей орфографией. Характерно, например, расхождение скорописи и книжного письма в отношении употребления букв *і* и *и*: если в книжном письме после второго юж-сл. влияния буквы *і* и *и* всегда сочетаются в последовательности *іи* (т.е. буква *и* не употребляется перед буквой *і*, но лишь после нее - см. 11.3.3), в скорописи, напротив, эти буквы регулярно образуют последовательность *иі* (т.е. буква *і*, как правило, не употребляется перед буквой *и*, но лишь после нее); при этом в скорописи сохраняется в данном случае древнейшее употребление этих букв, предшествующее второму юж-сл. влиянию (Щепкин, 1967, с. 125, 136). Другим примером может служить написание прилагательных в род. падеже муж. рода ед. числа: окончанию *-аго/-яго* в книжном письме закономерно соответствует окончание *-ого/-его* в письме скорописном; подобно тому как окончание *-аго*, в принципе, является нормой для ц-сл. языка, окончание *-ого* является нормой для рус. приказного языка (Барсов, 1981, с. 147,

468, 58); ср. Сумароков, X, с. 31; подробнее см.: Живов и Успенский, 1983, с. 151 сл.).

Скоропись обнаруживает явную зависимость от юж-сл. влияния. Это проявляется прежде всего в начертаниях букв: такие скорописные начертания, как П ("треножное твердо"), одностороннее ч, в четырехугольное и округлое (II. ρ), ђ, приближающееся к ѝ (ъ), з, уподобляющееся по начертанию цифре 3, - соответствуют юж-сл. почеркам (Щепкин, 1967, с. 130, ср. рис. 56, 58; ср. Беляев, 1911). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ряде случаев такие же начертания характерны в XVIII в. для рус. гражданского шрифта (см., например, соответствующее начертание буквы т, принятое в гражданской печати до сер. XIX в., курсивное написание буквы ђ и т.п.); это объясняется генетической связью гражданского шрифта со скорописью - и та и другая графическая система соотносится с рус. языковой стихией; иначе говоря, в рус. гражданском письме прослеживаются рефлексy второго юж-сл. влияния. Можно предположить, что и характерное для скорописи неразличение букв ѝ и ѥ восходит к юж-сл. смешению этих букв.

Как полагают, юж-сл. влияние отразилось в характере оформления деловых бумаг. Так, делопроизводственная манера склеивать документы в столбцы (противопоставлявшая деловую письменность, существовавшую в виде столбцов, церковной письменности в виде книг), по-видимому, пришла к нам от южных славян, у которых наиболее ранний документ в форме столбца датируется последней четвертью XIV в. (до 1382 г.) - грамота Иоанна Шишмана Витошскому монастырю (Тихомиров, 1947, с. 177; Лихачев, 1958, с. 5).

То обстоятельство, что скоропись как специальный тип письма для деловых документов появляется практически одновременно со вторым юж-сл. влиянием (возможно, под влиянием юж-сл. канцелярской скорописи) представляется неслучайным: противопоставление книжного письма некнижному соответствует общему стремлению отделить книжный язык от народного.

Появление и распространение скорописи может быть также связано и с греч. влиянием. В византийских школах учили тахиграфии (оксиграфии) - искусству сокращенного письма под диктовку; это обучение ориентировалось на подготовку будущих чиновников. Таким образом, скорописное письмо изначально связано с бюрократической сферой: оно присуще деловой письменности и может восприниматься как характеристика правильно организованной бюрократии. В этом качестве, видимо, утверждается скоропись и у южных славян - показательно, что она исчезает на Балканах в эпоху турецкого владычества (ср. Мошин, 1973, с. 44-45, 49, 64), т.е. с исчезновением здесь славянской государственности и, следовательно, административного аппарата. Напротив, у русских по мере усиливающейся ориентации на Византию (в частности, и в сфере бюрократической организации) возникает необходимость в особом деловом письме как элементе правильной бюрократической организации. Надо полагать, что само название *скоропись* калькирует греч. *ὀξύγραφία* или *ταχύγραφία*; действительно, в переводах с греческого *скорописецъ* соответствует *ὀξύγράφος* или *ταχύγράφος* [ср. Бычк. пс. XI в., л. 24 (Пс. XLIV, 2); этот стих в данной редакции цитирует Даниил Заточник - Зарубин, 1932, с. 5, 53] или в Хронике Георгия Амартола (Истрин, I, с. 311, 312; Истрин, III, с. 133, 181)].

Итак, книжное письмо связывается с книжным языком, а скоропись, поскольку она противопоставлена книжному письму, в принципе соотносится с языком некнижным, т.е. с рус., а не ц-сл. языком. "Скоропись появляется на Руси прежде всего в памятниках, кои служат практическим целям: в документах дипломатических (грамоты и договоры), административных (писцовые и переписные книги, делопроизводство в приказах), судебных (следственные дела и тяжбы, челобитные и судебные решения), хозяйственных (описи имущества, книги приходные и расходные). В таком употреблении скоропись довольно распространена уже в XV в., а в XVI и XVII вв. господствует. Кроме того, в XVI в. реже, а в XVII в. чаще скорописью пишутся и литературные памятники. Однако до XVIII в. литературные памятники (кроме черновиков) несравненно чаще пишутся полууставом, а церковные - почти всегда" (Щепкин, 1967, с. 136). Встречаются сборники, где тексты церковного или литературного в широком смысле содержания написаны книжным письмом, а тексты делового содержания - скорописью. Так, в сборнике, написанном в конце XVI в. и содержащем "судный список" по делу Максима Грека, единственная глава, написанная скорописью, - это "собор на Максима Грека Святогорска", т.е. протокол суда над Максимом Греком; остальные главы

написаны полууставом. Вместе с тем, это единственная глава, представляющая собой деловой документ, между тем как все остальные главы сборника посвящены свято-отеческой или вообще религиозной литературе; существенно, что данная рукопись объединяется единым содержанием и несомненно не является конволютом, т.е. не может рассматриваться как позднейшее объединение разнородных текстов. Таким образом, противопоставление полуустава и скорописи имеет здесь функциональное значение (Покровский, 1971, с. 15).

Функциональный характер противопоставления полуустава и скорописи, несомненно, осознавался. В немецко-рус. разговорнике Т.Фенне 1607 г. содержится характерное указание: "Только если желаешь писать о божественных или царских или господских вещах, употребляй ϵ , s , y , ϕ . Но если ты хочешь писать об адских и низменных вещах, то пиши ϵ , z , δ , ϕ " (с. 23). Таким образом, противопоставление начертаний букв с одним фонетическим значением непосредственно связывается с высоким или низким содержанием; фактически это предвосхищает дифференциацию церковного и гражданского письма после введения Петром I гражданского алфавита (гражданский шрифт при этом по своему происхождению непосредственно связан со скорописью). Равным образом, в букваре Георгия Давида 1690 г. мы встречаем различие и противопоставление букв двух родов: "Character Biblicus" и "Character usualis, profanus et communis", причем во втором случае имеются в виду начертания, принятые в скорописи (Унбегаун, 1958, с. 100).

Итак, скоропись может восприниматься как специальное некнижное письмо и в этом своем качестве связываться с рус. языковым полюсом. Характерно в этом смысле противопоставление "книжного писания" и "скорописного писания" в предисловии к Азбуковнику XVII в. (ГПБ, Q. XVI, № 12, л. 1), где писец в числе причин, побудивших его писать скорописью, ссылается на свое "ненаучение" (Пруссак, 1915, с. 14). Эта ссылка относится, может быть, не столько к особенностям графического изображения, сколько к особенностям языка, которые могут быть оправданы именно применением скорописи, но были бы неуместны при ином написании. Этот некнижный характер скорописного письма парадоксальным образом сочетается с тем обстоятельством, что владение скорописью представляло определенную трудность (для читающего) и скорописи специально учились. Так, в предисловии к одной азбуке ("буковнице") говорится: "Сего ради построена бысть сия буковница, рекше азбука ... словеньскія грамоты, росіискія области, московскаго державства ... да бы сѣдѣи во училищи ученикъ імена буквамъ і лица ихъ по начертанію ізѣсно в различіяхъ вѣдалъ, какъ которую зовуть и какъ коа написана буква в книжномъ писмѣ і какъ та же пишется в метномъ писмѣ і в скорописи. Вся сіа подобаетъ со всяцѣмъ навикновеніемъ твердо учти. Мнози бо неискусни по книгамъ говорят по гладкому писму, а по скорописи и по метному писму устъ разверсти не умѣють. А иніи по скорописи и по метному говорят и они по книгамъ по гладкому писму не умѣють. понеже бо учатся грамотѣ у невѣгласовъ, у худыхъ грамотиковъ, у неискусныхъ мастеровъ, которые грамотѣ сами отнюдь не умѣють і не вѣдаютъ что грамота именуется" (Ягич, 1896, с. 400). О том, что среди русских имеются люди, которые понимают книжное письмо, но не понимают скорописи, и наоборот, - понимающие скоропись, но не понимающие книжного письма - свидетельствует Давид в предисловии к своему букварю 1690 г. (Давид, 1690). Характерно, что, когда в 1680 г. в Киево-Печерскую Лавру были высланы из Москвы мнѣи (в скорописном списке Типографской библиотеки), то их пришлось возвратить назад ввиду "трудности скорописного писания" (Шляпкин, 1891, с. 38; ср. Архив Ю.-З. России, I, 5, с. 278). В цитированном предисловии к Азбуковнику XVII в. говорится: "Бедно и нужно и тягостно скорописное писание к прочтанию и вницанию мало навикшим и худо умеющим грамматическаго здраваго учения..." (Пруссак, 1915, с. 14), т.е. для того, чтобы понимать скоропись, требуется знание "грамматическаго здраваго учения" - скоропись предполагает специальное обучение. Особенно красноречиво в этой связи свидетельское показание по делу, слушавшемуся в Витебском суде в 1540 г. Поскольку возникло сомнение в подлинности расписки, которая якобы была написана более 10 лет назад неким дьяком Клином (к тому времени уже умершим), в суд был вызван священник, "в которого тотъ исты' Клинец учился грамоте". Этот священник, между прочим, показал, что "тотъ Клинецъ... будучы выросъкомъ молодымъ учылся в мене а ле скорописи не вмелъ ани сѣ учылъ, бо ѿ и самъ скорописного писма писати не умелъ..." (Булыко, 1970, с. 142). Итак, знание скорописи предполагает прохождение специального курса, причем учились, как

можно видеть, не только читать, ни и писать скорописью.

Существенно, что обучение скорописному письму становится распространенным явлением. Что касается книжного письма, то здесь грамотность предполагала прежде всего умение читать (см. 6.3.1): умение писать книжным письмом было более или менее профессиональным - если читать учили повсеместно, то писать учили в специальных скрипториях. Между тем, при обучении скорописи учат именно писать, и, таким образом, скоропись становится обычным непрофессиональным способом письменной фиксации речи. Это связано с тем, что скоропись соотносится с рус. языком: ц-сл. языком владеют обычно пассивно, а русским - всегда активно, и поэтому умение писать как массовое явление оказывается именно умением писать скорописью. Поскольку скоропись связывается с рус. языком, обучение скорописи может рассматриваться - под определенным углом зрения - как начальный этап обучения рус. языку; тем самым закладываются предпосылки для кодификации рус. речи.

Ц-сл. языком владеют по большей части пассивно, а русским - всегда активно; поскольку скорописное письмо ассоциируется с рус. языком, владение скорописью предполагает активные навыки. По свидетельству Котошихина, при обучении царских детей грамоте в XVII в. "в учителі выбирают учителных людей [т.е. специальных учителей] ... а писать учить выбирают ис посолских подъячих" (л. 25); существенно, что для обучения письму выбирались не духовные лица, а подьячие, которые обучали, несомненно, скорописному письму.

Отношения между книжным и скорописным письмом обнаруживают те же тенденции, что и отношения между ц-сл. и рус. лексикой (см. 10.2). Так, в скорописи могут писаться под титулом рус. (некнижные) эквиваленты ц-сл. подтительных слов: если, например, в ц-сл. текстах принято сокращение *нынѣ* (*нынѣ*), то в скорописи, соответственно, встречаем соотносящуюся по значению форму *тучь* (*тогда*) и т.п. (ср. Беляев, 1911, с. 30-31); характерно, между тем, что в древнейшей рус. скорописи (XIV в.) сокращения те же, что в уставе или полууставе. Здесь, очевидно, проявляется та же тенденция к установлению корреляции между ц-сл. и рус. языком, которую мы прослеживали выше на лексическом материале, т.е. специфические скорописные формы и соответствующие формы книжного письма оказываются в отношении эквивалентного перевода.

Уместно отметить, что когда в XVIII в. появляются первые опыты кодификации рус. языка, в них предписываются те же сокращения, которые свойственны скорописи, и вообще здесь встречаются неоднократные ссылки на скорописную орфографию (Успенский, 1975, с. 41-42). Итак, противопоставление скорописного и книжного письма в известной мере определяет характер представлений о рус. языке.

Мы столь подробно остановились на проблемах функционирования скорописи, поскольку здесь отчетливо отражаются основные изменения языковой ситуации. С одной стороны, оформляется противопоставление рус. и ц-сл. языка, отразившееся в противопоставлении книжного и скорописного письма. С другой стороны, появление и распространение скорописи знаменует становление специальной нормы особого приказного языка, который отчетливо противопоставляется языку ц-сл. и связывается с рус. языковой стихией - при том, что этот язык обнаруживает элементы искусственного нормирования, отличающего его от разговорной речи. Это нормирование было связано с деятельностью канцелярий и, следовательно, с определенной письменной традицией, которая, вместе с тем, подготавливает почву для последующей секуляризации литературного языка. Связь с письменным началом и определяет специфику приказного языка по отношению к рус. разговорной речи. Указанное обстоятельство объясняет, между прочим, борьбу с подьяческим языком в XVIII в. в условиях ориентации литературного языка на рус. разговорную языковую стихию (ср. выступления Сумарокова, Новикова и др.): в перспективе разговорной речи приказной язык начинает восприниматься как книжный и в этом смысле может даже ассоциироваться с ц-сл. языком. Приказной язык, традиция которого сохраняется до XIX в., не имел (на великорус. территории) прямого отношения к литературному языку, однако его стабилизация и функционирование имеют самое непосредственное отношение к языковой ситуации изучаемого периода.

10.5. Возникновение грамматической традиции. Перестройка отношений между книжным и некнижным языком приводит к появлению грамматической традиции. До второго юж-сл.

влияния грамматические описания ц-сл. языка в России отсутствуют, и нет оснований полагать, что существовали какие-то не дошедшие до нас описания. В самом деле, ранее, в условиях взаимодействия книжного и некнижного языка, в таких описаниях не было необходимости, поскольку книжный язык воспринимался как кодифицированная форма языка некнижного. Для искусного владения ц-сл. языком необходимо было знание греч. грамматики (см. 3.2.3). Владение греч. грамматикой снабжало искусного книжника разного рода синтаксическими моделями, определявшими несоотносительные признаки книжного языка (см. 8.9). Однако владение греч. грамматикой, дающей возможность употреблять специфически книжные синтаксические конструкции, было дополнительным моментом. Основой владения ц-сл. языком был пересчет некнижного языка в книжный. Правила такого пересчета преподавались при обучении письму, и именно на этих правилах строились знания грамотного книжника. Кодификация книжного языка в этот период осуществлялась не через грамматические описания ц-сл. языка как целого, а через опирающееся на некнижный язык обучение, которое строилось на соотносительных признаках.

В условиях второго юж-сл. влияния, напротив, нужны грамматические описания ц-сл. языка, поскольку этот язык мыслится как самостоятельная система, в целом противостоящая языку некнижному. Книжный язык не может быть теперь получен из некнижного, а должен осваиваться как самостоятельное и независимое целое. Этим и обусловлена потребность в грамматических описаниях. Со временем такие описания становятся все более полными - не только потому, что они совершенствуются, но также и потому, что все больше осознается противопоставленность книжного и некнижного языка.

Наряду с внутренними процессами, о которых мы сейчас говорили, появление грамматических описаний было, видимо, стимулировано и причинами внешними. У южных славян подобные описания появляются раньше, чем у славян восточных, и ряд рус. грамматических сочинений в той или иной степени несомненно восходит к юж-сл. источникам. В частности, на Руси распространяется трактат "О осмих частех слова" (Ягич, 1896, с. 38 сл.), а также рассуждение Константина Костенечского "О писменех" (там же, с. 247 сл.; Никольский, 1924, с. 398); влияние этого последнего сочинения прослеживается, между прочим, в букваре Ивана Федорова 1574 г. (Быкова, 1955, с. 471; ср. Лукьяненко, 1960); юж-сл. происхождение приписывается и "Простословию" старца Евдокима (Ягич, 1896, с. 629-661; Соболевский, 1903, с. 34-36). Юж-сл. источники на Руси могут перерабатываться и видоизменяться, они так или иначе отражаются во многих оригинальных сочинениях и таким образом составляют первоначальное ядро рус. грамматической традиции.

Наряду с юж-сл. источниками рус. грамматическая традиция может использовать и источники иноязычные - как греческие, так и латинские. Так, в 1522 г. в Моск. Руси появляется рус. перевод "Доната", принадлежащий Дмитрию Герасимову, где грамматика ц-сл. языка строится по латинской модели (Ягич, 1896, с. 524-623). Между тем, в Ю.-З. Руси в XVI в. появляется грамматика "еллино-славенского" языка, где грамматическое описание ц-сл. языка строится по греч. модели (Аделфотес, 1591). Особого упоминания заслуживают грамматики Лаврентия Зизания 1596 г. и Мелетия Смотрицкого 1619 г., изданные в Ю.-З. Руси, а также

великорус. грамматические сочинения: "Простословие" старца Евдокима, использующее юж-сл. источники (Ягич, 1896, с. 629-661), и "Буковница" старца Герасима Ворбозомского (ГБЛ, ф. 173, I, № 35, л. 134-234), где делается попытка для каждого слова дать полный набор его словоформ - "Буковница" представляет собой, таким образом, грамматический (словоизменительный) словарь (см. Аксенова, 1981).

Авторство Герасима Ворбозомского устанавливается предположительно на основании следующих данных. Дошедший до нас список этого сочинения был сделан в 1592 г. в Благовещенском Ворбозомском монастыре (на озере Ворбозом в 22 км юго-восточнее Белозерска). Вместе с тем, в ряде грамматических сочинений XVII в. упоминаются "Буквы" старца Герасима Ворбозомского (Петровский, 1888, с. 17; Карпов, 1878, с. 62; Ягич, 1896, с. 349, 683, 698); в одном рукописном сборнике второй четверти XVII в. (ГБЛ, ф. 310, № 628, л. 443-453 об.) помещена статья "Избрание букв", приписанная "старцу Герасиму зовоному Пал'ка" (Ягич, 1896, с. 442, 683); можно полагать, что это одно и то же лицо. К "Буковнице" Герасима Ворбозомского очень близка "Книга глаголемая буквы грамотичного и осмочастного учения", дошедшая до нас в списке первой четверти XVII в. (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 23 об.-58 об.); возможно, это вариант (переделка) того же сочинения.

,

11. РЕФОРМА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

11.1. Орфография: написание грецизмов. Для второго юж-сл. влияния характерно стремление привести написание грецизмов в соответствие с греч. правописанием, что явно отвечает общей эллинофильской направленности происходящих в этот период культурных процессов. Начинают вновь употребляться буквы ψ и ξ , которые были введены в славянскую азбуку именно для передачи грецизмов, но в орфографической практике, сложившейся в конце XIII–XIV вв., фактически больше не применялись (оставляем в стороне цифровое значение этих букв). Эти буквы, равно как и буквы ϕ , ν , ω начинают писаться в грецизмах в полном соответствии с правописанием исходных греч. слов.

Особого комментария требует употребление буквы γ (ижицы). В предшествующей традиции эта буква писалась так же, как вторая часть диграфа ou , и в позиции после согласных могла выступать в той же функции, что и данный диграф, т.е. для обозначения фонемы /u/, – следует помнить, что славянский диграф ou восходит к греч. диграфу ou , где славянское γ (ижица) соответствует греч. υ (ипсилону). Выступая в XIII–XIV вв. как эквивалент диграфа ou , буква γ (ижица) теряет свою первоначальную функцию специальной буквы, передающей υ (ипсилон) в грецизмах; именно поэтому название этой буквы ("ик") начинает выступать как название δ , которая по происхождению является лигатурным написанием ou , но может пониматься как отдельная буква (см. 7.10.3). После второго юж-сл. влияния появляется новое начертание ижицы (ν), которое употребляется практически исключительно в грецизмах и может противопоставляться букве γ (т.е. старому начертанию ижицы); в свою очередь эта последняя буква может отождествляться с лигатурой δ .

Равным образом, в соответствии с греч. орфографическими правилами начинают писаться и сочетания букв, что предполагает и греч. правила чтения этих сочетаний. Именно так обстоит дело с написанием $гг$ вместо $нг$, $гк$ вместо $нк$. Так, например, под влиянием греч. орфографии вместо *ангелъ* начинает писаться *аггелъ* (ср. греч. $\alphaγγελος$), вместо *евангелие* – *еваггелие*, вместо *Панкратии* – *Пагкрати* и т.п. При этом по правилам греч. произношения $\gamma\gamma$ и $\gamma\chi$ читается с первым носовым согласным: [ng], [nk]. Аналогичное произношение предполагается теперь и для рус. двойного $гг$ и $гк$, т.е. как написание, так и произношение входят в соответствие с греч. образцом. Таким образом, произношение соответствующих слов не меняется, а меняется только их написание (что может служить еще одной иллюстрацией расхождения орфографии и орфоэпии, характерного для второго юж-сл. влияния, см. 10.3). В случае слова "ангел", однако, новое написание (аггелъ) может влиять на произношение, т.е. появляется произношение [áɣ:el'], обусловленное прочтением данного написания не по греч., а по рус. правилам; этому произношению усваивается особый смысл (см. 12.4).

Другим случаем, когда орфография оказывает влияние на произношение, т.е. греч. написание, переданное славянскими буквами, читается по славянским, а не по греч. правилам, является форма имени собственного "Евпл". В период второго юж-сл. влияния это имя начинает писаться как *Евплъ* в соответствии с греч. написанием $\epsilon\upsilon\pi\lambda\omicron\varsigma$, $\epsilon\upsilon\pi\lambda\omicron\upsilon\varsigma$. Согласно греч. правилам чтения такое написание предполагает произношение *Евпл*, и действительно, в Ю.-З. Руси сохраняется эта форма. Однако в Моск. Руси

появляется форма *Еѹплъ*, которая соответствует греч. написанию, но не произношению, т.е. обусловлена прочтением формы *Еѹплъ*, где *ѹ* (ижица) отразилась в виде *у* (ср. 7.10.3); о полемике по поводу этих форм см. Успенский, 1969, с. 158.

В некоторых случаях в написаниях грецизмов непосредственно отражается греч. произношение, которое может не соответствовать греч. орфографии. Это наблюдается при написании групп согласных, а именно пишется *нд* вместо *нт* (*Андонїи* вместо *Антонии*) и *мб* вместо *мп* (*Олумбъ* вместо *Олимпъ*).

11.2. Орфография: отдельные буквы. В целом ряде случаев книжная орфография претерпевает изменения, так или иначе отражающие влияние юж-сл. нормы. Это сказывается прежде всего на употреблении отдельных букв.

Так, вновь вводится буква юс большой (*Ѧ*), которая ко времени второго юж-сл. влияния совершенно исчезла из рус. орфографической практики (см. 7.1). Речь идет о чисто орфографическом нововведении, поскольку эта буква употребляется рус. писцами вне зависимости от этимологии. В дальнейшем, с прекращением второго юж-сл. влияния буква эта постепенно исчезает из рус. письменности: с началом книгопечатания она употребляется еще в ю-з-рус. изданиях, но практически не встречается в книгах московской печати; она показана, впрочем, в московских букварях XVII в. - вероятно, под влиянием ю-з-рус. букварей. После никоновских реформ эта буква не представлена в ц-сл. языке и употребляется лишь в ключе границ пасхалии (для обозначения Пасхи 24 апреля), т.е. по существу функционирует уже не как буква.

Буква зело (*ѕ*), употреблявшаяся ранее главным образом в числовом значении ("6"), начинает регулярно писаться в определенных словах, например, *ѕѣлѡ*, *сло*. Если в юж-сл. орфографии противопоставление букв *з* и *ѕ* могло иметь фонетическое значение, то в России оно является орфографической условностью.

В некоторых словах пишется *○* (*о очное*). Так, в частности, может писаться слово "око" (*○ко*), что имеет идеографический характер - это видно уже по тому, что слово "очи" может писаться *○○чи*.

Буква еры начинает писаться как *ѣ*, а не как *ѣ*, и такое написание прочно усваивается ц-сл. традицией. Это обусловлено влиянием юж-сл. графики и косвенно связано с меной еров в юж-сл. рукописях, поскольку *ѣ* осмыслялось как диграф *и*, соответственно, в ст-сл. и рус. текстах вместо *ѣ* могло писаться *ѣи*, *ѣі*, *оі*, *ои* (где *о* выступает как графический эквивалент *ѣ*). Ср. характерный перенос со строки на строку в надписи царя Самуила 993 г.: *съ-ина*. Показательно, что в Мин. 1095, равно как и в ряде других памятников, первоначальные написания с *оі* на месте *ѣі* последовательно исправляются на *ѣі* (ср. Корнеева-Петрулан, 1917, с. 30), что соответствует правке *о* на *ѣ* на месте **ѣ* в тех же памятниках (ср. 7.5.4).

В результате второго юж-сл. влияния число 900 начинает обозначаться буквой *ц*, а не буквой *л*, как это имело место в предшествующий период; это цифровое значение закрепляется за буквой *ц* и в дальнейшем. Это различие соответствует разнице кириллицы и глаголицы: в кириллице числовое значение 900 передается буквой *л*, в глаголице - буквой *ц*; таким образом, *ц* в цифровом значении может рассматриваться как рефлекс глаголицы, принесенный вторым юж-сл. влиянием.

Со вторым юж-сл. влиянием в рус. памятниках исчезает *ѣ*. Отсюда теряется графическое различие между [je] и [e] в начале слова. Как мы уже отмечали (см. 7.10.1), древняя произносительная традиция, различающая [e] и [je] в начале слова, сохраняется в Ю.-З. Руси, но не сохраняется в Моск. Руси, где в начале слова автоматически перед *е* появляется йотация. Соответственно, в Ю.-З. Руси с утратой *ѣ* ощущается необходимость в адекватных графических средствах для этого различия. Отсюда здесь появляется буква *э*, которая наблюдается в ю-з-рус. письменности с конца XV в. (Карский, 1928, с. 186; Булыко, 1970, с. 40–43). В великорус. письменности буква *э* встречается только в одном специальном значении, а именно в певческих рукописях демественного и путевого распева (известных с XVI в.); эта буква стоит здесь в начале музыкальной строки (например: "Э на рѣцѣ вавилонстѣи..." и т.п.), причем функция ее остается неясной – возможно, она играла роль звукового настроя, задающего определенный тон всему следующему за ней песнопению. Так или иначе над буквой *э* всегда стоит в этом случае нотный знак, и, следовательно, она несомненно выпевалась, а не представляла собой какой-либо технической пометы. Можно думать, что эта буква передавала тянувшийся звук [e] без йотации, которым начиналось песнопение: действительно, старообрядцы, которые сохранили демественный распев, произносят *э* в певческих рукописях именно таким образом, т.е. выпевают ее в виде чистого гласного [e], не имеющего начальной йотации. Если отвлечься от этого специального случая, буква *э* появляется в великорус. ц-сл. текстах лишь sporadически – как правило, в тех случаях, когда они восходят к ю-з-рус. источнику (Успенский, 1975, с. 188; Шоберг, 1975, с. 22). Буква *э* приходит на Русь из юж-сл. письменности, где она встречается в памятниках XIII–XIV вв. (Карский, 1928, с. 186). Обычно считают, что она восходит к глаголической *Э*, хотя она может трактоваться и просто как перевернутое кириллическое *є*. Под ю-з-рус. влиянием эта буква появляется в XVIII в. в гражданской письменности.

Особым случаем является написание *э* в наименовании Бога в апокрифическом Откровении Иоанна, входящем в Сильвестровский сборник сер. XIV в. (ЦГАДА, ф. 381, № 53): "Прѣвѣче крѣче сте эль. бѣ кдиневластне самородене нетлѣме... вѣчнии крѣче сте саваофе преславне. эль. эль. эль. эль. іаоилъ. ты кси кгоже възлюби дша моя" (Тихонравов, I, с. 43). Характерно, что буква *э* появляется в иностранном слове (гебраизме), при том что отсутствие йотации могло бы быть выражено здесь и буквой *е*. Употребление буквы *э* связано, по-видимому, в данном случае с сакральным характером имени. Сильвестровский сборник написан до второго юж-сл. влияния, однако уже здесь могут наблюдаться тенденции, окончательно оформившиеся несколькими десятилетиями позже (как это имеет место и в отношении Чуд. Нов. Завета, написанного примерно в то же время, см. 9.3).

11.3. Орфография: изменение орфографических правил. Со вторым юж-сл. влиянием из юж-сл. письменности усваиваются определенные орфографические принципы дистрибуции букв, которые у южных славян могли быть мотивированы фонетически, в России же они выступали как чисто орфографическая инновация. Как правило, эти орфографические инновации не имеют никакого отношения к рус. книжному произношению.

11.3.1. Дистрибуция букв -а и -ѧ, -ѧ в поствокальной позиции. Со вторым юж-сл. влиянием после гласной пишется *а* там, где раньше писалось *ѧ*, например, *моа*, *своа*, *добраа*, *спасеніа* и т.п. Это зияние, возникшее фонетически в говорах болгарского языка, в России

графически распространилось и на такие случаи, где болгарский язык никогда не имел звука [а]. Так, регулярно пишется *всѣа Рѣси* (ср. ст.-сл. *всьем*, среднеболг. *всьел*, *всьеж*, *всьеж* - Шепкин, 1967, с. 130). Такой орфографический принцип мог ассоциироваться с написанием грецизмов, в которых и до второго юж.-сл. влияния могли писаться нейотированные буквы, например, *Мариа*, *Иаковъ* и т.д. Таким образом, юж.-сл. и греч. орфографические принципы естественно сливались в глазах рус. книжника (ограничение в употреблении йотированных букв, характерное вообще для второго юж.-сл. влияния, может быть связано с отсутствием подобных букв в греч. алфавите; это заставляло воспринимать такие буквы как локальную инновацию). С прекращением второго юж.-сл. влияния правописание такого рода как принцип не удерживается, но закрепляется в определенных формах и категориях слов. Так, форма *всѣа* часто встречается в титулах царей (князей) и патриархов (митрополитов), представляя собой сознательный архаизм. В некоторых текстах форма *всѣа* может употребляться только в титуле умерших царей и правителей России - примером может служить Уложение 1649 г. (Черных, 1953, с. 333-334). В дальнейшем соответствующие написания удерживаются только при передаче грецизмов, причем они могут применяться в новом ц.-сл. языке и при склонении грецизмов, т.е. появляться в собственно рус. флексиях, например, *ѿ Матѣѣа, Николаа*. При этом в одном и том же тексте могут встречаться формы типа *Николаа* и *Николаа*, ср. в Служебнике (СПб., 1905) *Николаа Чюдотворца* (с. 349, 391), но (императора) *Николаа* (с. 129, 131) - характерно, что юж.-сл. форма применена к имени святого. Как мы уже говорили, соответствующие написания, по-видимому, не отражались на произношении.

11.3.2. Правописание еров. В соответствии с одной из юж.-сл. орфографических традиций в рус. ц.-сл. текстах написание еров подчиняется дистрибуционным правилам: на конце слова всегда пишется *ь* (на месте *ь* и *ъ*), в середине слова пишется *ъ* (на месте *ъ*, *ь*, а также на месте *о* и *е*, восходящих к **ъ* и **ь*). В юж.-сл. орфографии это искусственное правило было обусловлено совпадением рефлексов **ъ* и **ь* в одной фонеме, что делало буквы *ъ* и *ь* омофоничными и взаимозаменяемыми; между тем в рус. рукописях орфография вступала здесь в явное противоречие с произношением. В отдельных случаях смешение *ъ* и *ь* в памятниках XV-XVI вв. отразилось на произношении. Таким образом объясняется слово *стогна*, где *о* заменяет этимологический *ъ* (ранее это слово пишется как *стыгна* или *стегна*, ср. родственные слова *стезя*, *достигать*), а также слово *зодчий*, где имеет место то же явление (ср. древнюю форму *зѣдчий*, а также глагол *зѣдати*, родственный современному *созидать*); в этих случаях *ь* в середине слова заменился на *ъ*, который в свою очередь был заменен на *о* (Соболевский, 1894, с. 218). В грамматическом сочинении "Книга глаголемая буквы грамотичного и осмочастного учения", автором которого является, возможно, уже упоминавшийся выше (см. 10.5) старец Герасим Ворбозомский, - это сочинение дошло до нас в грамматическом сборнике первой четверти XVII в. (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 23-58 об.) - читаем: "Зданъ, сотворенъ... По ельин'ски бо сотвореніе наричет'ся зодъ, а еже по руски, с'данъ глѣтся, свер'ху в'низ поданъ" (л. 36 об.-37). Итак, специфическая ц.-сл. форма, отражающая второе юж.-сл. влияние (ср. *зодчий*), объявляется "еллинской" (не исключено, что здесь имеет место и ассоциация с греч. ζῶ "жить"), она противопоставляется "русской" форме - южнославянское и греческое

естественно объединяются на рус. почве.

Восстанавливается юж-сл. написание в группах типа *СъгС*, т.е. слова, которые в предшествующий период писались *врѣхъ*, *тѣргъ* начинают писаться как *врѣхь*, *тѣргь* и т.п., ср. характерный гиперкорректизм *плѣ* вместо *полѣ* (т.е. "половина"); это слово было осмыслено как восходящее к сочетанию редуцированного с плавным, в результате чего в новой орфографии *ѣ* оказывается после плавного (*л*) и, попадая в позицию конца слова, автоматически заменяется на *ь* (Щепкин, 1967, с. 130). В редких случаях такое написание отражается на произношении; именно таким образом объясняются формы *брение*, *бранный* – до XIV в. мы имеем *брьник*, *берник*, *брьньнъ*, *берненъ*.

11.3.3. Дистрибуция букв *і* и *и*. В результате второго юж-сл. влияния складывается орфографическое правило, согласно которому перед гласными пишется *і*, а не *и* (такое правило было усвоено затем и гражданской орфографией и сохранялось до 1917 г.). Подобная орфография обусловлена в конечном счете ориентацией на греч. модель, поскольку в греческом сочетании *ια*, *ιο*, *ιε*, *ιη* встречаются существенно чаще, чем *ηα*, *ηο*, *ηε*, *ηι* и т.п. (слав. *и* восходит к греч. *η* и естественно ассоциируется с этой буквой, а слав. *і* восходит к *ι* и ассоциируется с нею). Ср. в орфографическом трактате "Написание языком славенским о грамоте..." специальное предписание: "Гдѣ случится в началѣ реченіи два *і*, то в' послѣднѣя[о] мѣсто *иже*. а гдѣ прилучится в' среди реченіи *иже*, а по нем *і*, то во *ижа* мѣсто *і*, а въ *і* мѣсто *иже*" (Ягич, 1896, с. 368), т.е. здесь указывается, что там, где раньше писалось сочетание *иі*, следует писать *іи*. Написание *и* в позиции перед гласной сохраняется лишь там, где возникает необходимость орфографического различения омонимов, ср. противопоставление *благіа* (им. мн. женск.) – *благиа* (род. ед. женск.) в грамматике Смотрицкого (1619, л. А/7; ср. 12.2).

11.3.4. Употребление диграфа *оу* (*ѣ*). Диграф *оу* или лигатура *ѣ* последовательно используются теперь для передачи фонемы /u/. Ранее обычно *оу* писалось в начале слога, тогда как в середине слога писалось *у* (ср. 11.1). Это орфографическое правило прочно усваивается ц-сл. традицией.

11.3.5. Буквы *ю*- и *оу*- (*ѣ*-) в начале слова. Со вторым юж-сл. влиянием в определенных словах закрепляется написание с начальным *ю*, при том что раньше те же слова могли писаться как с *ю*, так и с *оу* (*ѣ*). В ст-сл. памятниках одни и те же слова могут писаться то с *оу*, то с *ю*; так, в Мариинском ев., Синайской пс., Саввиной книге встречаем *оуже* и *юже*, *оутро* и *ютро*. Вместе с тем в позднейших юж-сл. памятниках одни слова пишутся с *оу*, другие – с *ю*. Так, в Евангелии Иоанна Асеня сер. XIV в. регулярно пишется *оуже*, однако *югъ*, *южьска*, *юности*, *юноше*, *юнци* и т.п. (Талев, 1973, с. 285–286). Йотация невозможна при этом в следующих словах с начальным **у*: 1) в словах с приставкой *оу*- типа *оубогіѣ*, 2) в определенной группе слов, таких как *оуши*, *оуста*, *оудъ*, *оумъ*, *оучити* и некоторых других. В рус. ц-сл. текстах до второго юж-сл. влияния мы встречаем как формы *оудоль*, *оуродивыи*, так и формы *юдоль*, *юродивыи*, т.е. это колебание не выходит за пределы ц-сл. языковой нормы (ср. 8.1.4). В результате второго юж-сл. влияния устанавливается нормативное правописание

определенных слов с начальным *ю*, а именно пишется *юдоль*, *юродивьи*, *союзъ* (ср. старое *съвузь*); при этом те слова, которые не могут принимать протетическую йотацию в юж-сл. языках, не принимают ее и в рус. ц-сл. языке. В грамматическом сочинении "Сила существу книжнаго писания" читаем: "Да нѣци пишутъ от неискуства. *ютроба*, *юродивьи*... ты же, возлюбленне, пиши. *ѹтроба*, *ѹродивьи*... Да нѣци пишутъ не вѣдая *ѹзы юзами*... а инѣи пишутъ не вѣдая. *соѹзомъ любви*, ты же пиши *союзомъ любви*" (Ягич, 1896, с. 439–440). Подобные написания отражаются на произношении, причем противопоставление формы с йотацией и формы без йотации начинает восприниматься как противопоставление книжной и некнижной формы. В некоторых случаях противопоставленные таким образом формы получают семантическое различие, ср., например, *юродъ* и *оуродъ* (см. 12.4), причем в этом специальном значении форма без йотации может входить в норму ц-сл. языка.

11.3.6. Смешение букв под влиянием юж-сл. протографов. Под влиянием юж-сл. письменной традиции в рус. памятниках, написанных в период второго юж-сл. влияния, встречается смешение *л* и *ю*, *л* и *ж*, а также *ѣ* и *л*. Такое смешение широко представлено в юж-сл. памятниках, где оно обусловлено фонетически. В рус. памятниках оно встречается лишь окказионально, отражая влияние юж-сл. протографов.

11.3.7. Рефлексы **ег* между согласными. Под влиянием юж-сл. орфографии рефлексы **ег* между согласными снова начинают писаться как *рѣ*, а не как *ре* (что входило в орфографическую норму предшествующего периода, см. 7.8.1), например, *прѣдъ*, *врѣмѣ*, *брѣгъ* и т.п. Эти написания оказываются, однако, скоропреходящими и не удерживаются в рус. ц-сл. орфографии. Судя по этому, правописание не оказало здесь влияния на книжное произношение.

11.3.8. Рефлексы **dj*. После второго юж-сл. влияния в соответствии с о-сл. **dj* может регулярно писаться не *ж*, а *жд*, ср. в сочинении "Сила существу книжнаго писма" порицание тех, кто "пишут и говорят" *рожешѹ* вместо *рождьшѹ* (Ягич, 1896, с. 425, примеч. 4). Старое правописание с *ж* может, однако, спорадически встречаться в ц-сл. текстах вплоть до настоящего времени. Так, в современных богослужебных книгах мы встречаем "Таинство странное вижѹ" (вместо "виждѹ" – Рождественский ирмос), "Хвалите его во оутверженіи силы егѹ" (вместо "оутвержденіи" – стих на хвалитех) (Алипий, 1964, с. 31, примеч. 2). Подобные случаи следует рассматривать как отражение старой нормы ц-сл. языка, предшествующей второму юж-сл. влиянию: в процессе книжной sprawy в период второго юж-сл. влияния книжники регулярно заменяли *ж*, соответствующее **dj*, на *жд*, однако отдельные случаи при справе могли быть пропущены, и такие случаи закрепились затем в церковных книгах. Написание *жд* соответствует юж-сл. норме и, тем самым, орфография рус. книг приближается к юж-сл. орфографии.

Написание *жд* отражается на произношении, чтение *жд* как [ʒd] входит в норму книжного произношения. Вместе с тем исчезает графическое различие между /ʒd/ и /ʒdʒ/, поскольку и то и другое сочетание одинаково передается на письме как *жд*. Поскольку книжное произношение ориентировано на орфографию, данное различие утрачивается и в произношении: в соответствии с написанием в обоих случаях – как в случае рефлексов **dj*, так и

написание одних и тех же слов под титлом и без титла начинают противопоставляться по значению. Так, слово "ангел" в подтительном написании (*аѣгль, аѣгелъ*) обозначает ангела, т.е. благого вестника, а в написании без титла (*аггелъ*) - беса, т.е. падшего ангела (ср. 12.4). Слово "Бог" в подтительном написании обозначает христианского Бога, а в написании без титла - бога языческого. Сам принцип написания сакральных слов под титлом восходит к греч. источнику (см. Чремошник, 1925; Гранстрем, 1954; Траубе, 1907; Паап, 1959). Противопоставление полного и сокращенного написания, связанное с противопоставлением доброго и злого начала, спорадически встречается уже в ст.-сл. текстах: так, в Зогр. ев. противопоставляется сокращенное написание под титлом Духа Святого полному написанию духа нечистого (ср. Мф. VIII, 16; X, 1). Однако подобное противопоставление до определенного времени, кажется, не характерно для рус. памятников, где можно встретить написание корня *бог-* под титлом в том случае, когда речь идет о языческом божестве, см., например, в Чуд. Нов. Завете: "великиа бѣина Артеміды" (л. 72 об.), в Паисиевском сб. XIV в.: "проклятому бѣгу Перуну" (ГПБ, Кир.-Бел. 297/1081, л. 40 сл.). Вместе с тем, после второго юж.-сл. влияния противопоставление полного и сокращенного (подтительного) написания становится орфографическим принципом, который прочно усваивается ц.-сл. языком. Этот принцип специально оговаривается в грамматических сочинениях: "Титла пишется над ^сгдскими, і ^сбгородичными имени, вся бо ^схва ^сбжтвенная імена, и ^сбцы, и ^скртлва и ^сстыхъ ^спрркъ і ^саплъ, и ^сстлеи, и ^ссщїно ^смки, і ^спрѣбных, і ^спрѣвных, и ^сблгих, и ^сблженных, и ^сблгочтивыхъ ^сцреи, и ^сцрць, и ^скнзей, і ^скн҃гнь, и ^свлки, і ^сепклы, и ^ссщ҃ники, і ^соуч҃тли, і ^сстр҃ти ^сстыхъ, і ^спроста рещи всяко ^сстоє именованіє писати под покрытіємъ; Також всяко имя отпадшее писати складом, а не под покрытіємъ; ꙗкож суть сія, ангелы лукавыя, л'жеапостолы, л'жепророки, духъ лукавыи, антихриста, и предотецѣю его, и злочестивыя цари і князи, і епископы, и владыки, и оучител[и], і священники, і боги, и церкѣви идольскія, и страсти, рекше похоти, і подобная симъ" ("Грамматика" по списку нач. XVII в. - ГБЛ, ф. 299, № 366, л. 105 об.-106; ср. еще аналогичные предписания: Ягич, 1896, с. 419-428, 433, 459, 498). В одном из сочинений, специально посвященных данному вопросу, читаем: "Аще ли кто... сопротивляется о таковыхъ гл҃я: едино си есть и ^ссто и отпадшее... и несть грѣха одинако писати. Оувы такового неразуміа и погибели дш҃евная... о таковемъ что и гл҃ати, но точію молимъ ^сга ^сбга, да избавить нас от такового мужа" (Ягич, 1896, с. 726). Ср. в словаре Памвы Берынды: "БЛАГ(У): гды пишется без титлы, в ршсской мовѣ значить: не гараздъ, мдле, недобре, оуломне, зимно, лѣниво, гнѣсне, не шхотне, блѣдо, сине, що трупѣю фарбу маєт" (Берында, 1627, стлб. 5-6; см. выше о противопоставлении *благой-благий* - 4.4). Принцип написания сакральных слов под титлом получает затем дальнейшее развитие. Так, в Библии, напечатанной в 1891 г. в Петербургской синодальной типографии, мы встречаем: *гла ей Іисъ* (Ин. II, 4), *гл҃гола мѣти Іисова къ нему* (Ин. II, 3) *глагола к нему Никодимъ* (Ин. III, 4) - здесь слово *глагола* напечатано три раза и каждый раз различно (предельно кратко, с меньшим сокращением и вовсе без сокращения) - в зависимости от того, относится ли оно к Христу, Богородице или Никодиму; сакральность обозначена в данном случае как знаком титла, так и сокращением слова (Соколов, 1907, с. 24).

Итак, титло становится знаком сакральности и признаком его. Это отчетливо проявляется в XVII в. в полемике старообрядцев против никоновской sprawy. Так, Никита Добрынин протестует против замен в никоновских книгах *церковь* на *храм* и *крест* на *древо* и мотивирует недопустимость такого исправления тем, что *церковь* и *крест* - сакральные слова, поскольку они пишутся под титлом, тогда как *храм* и *древо* под титлом не пишутся и, следовательно, сакральными словами не являются (Румянцев, 1916, прилож., с. 337, 351).

Принцип семантической дифференциации подтительных и неподтительных написаний выходит за рамки церковных книг. Любопытно в этом плане свидетельство Тредиаковского: "...почитай всякъ у насъ въ досаду себѣ приметь, читая начальный и обыкновенный титулъ въ письмѣхъ напимѣрь, написанный всѣми складами такъ, *Государь мой*", вместо *Г^сдрь мой* (Тредиаковский, III, с. 165), - написание с титлом противопоставляется написанию без титла как более вежливая форма.

11.4.3. Знаки препинания. В период второго юж-сл. влияния появляются новые знаки препинания, в частности, запятая, точка с запятой (которая означает знак вопроса), знак переноса и кавычки. Все эти знаки рассматриваются Константином Костенечским в его трактате "О писменех" (Ягич, 1896, с. 140 сл.), т.е. были установлены юж-сл. книжниками по образцу греч. письменности. Эти знаки входят в рус. ц-сл. орфографическую норму и не исчезают с прекращением второго юж-сл. влияния (см. о истории ц-сл. пунктуации: Абакумов, 1948).

11.5. Морфологические инновации. Второе юж-сл. влияние не внесло существенных изменений в морфологию ц-сл. языка. Влияние собственно южнославянское сказывалось преимущественно в орфографии, в изменении условных орфографических правил. Влияние греческое сказывалось прежде всего в синтаксисе и по самому существу не могло сказаться в морфологии (в Чуд. Нов. Завете у отдельных грецизмов сохраняются греч. окончания при словоизменении, однако это не становится нормой ц-сл. языка). Морфология оказывается, таким образом, наименее податливым материалом для внешних влияний. Тем не менее имеют место отдельные морфологические инновации.

11.5.1. Зват. форма в функции им. падежа. Наиболее заметным морфологическим признаком второго юж-сл. влияния является употребление зват. формы собственных имен в значении им. падежа, например, *Василіе* в качестве им. ед., и т.п. По-видимому, такие формы воспринимались как правильные корреляты греч. имен, поскольку они часто встречаются в надписях на иконах, где вообще нередко наблюдаются греч. и псевдогреч. написания. Характерно, что, если с концом второго юж-сл. влияния такие формы практически исчезают из памятников, они закрепляются в иконных надписях, где могут встречаться еще в XVII в. Точно так же они закрепляются в качестве специальных форм иноческих имен, которые противопоставлены обычным формам соответствующих имен; поскольку монастыри были непосредственно связаны с византийской церковной традицией, специализация данных форм собственных имен как иноческих указывает на то, что они воспринимались как грецизмы. Иначе говоря, юж-сл. форма имени воспринималась как чужая, но при этом приближенная к греч. форме, что и способствовало ее сохранению как на иконных надписях, так и в монастырском обиходе. Так, в

списке иноческих имен, приведенных в печатном иноческом Потребнике (М., 1639), мы встречаем такие формы, как *Авксентіе, Амфилохіе, Арсеніе, Николае*; при этом в обычном месяцеслове, входящем в данную книгу, употребляются обычные формы тех же имен, являющиеся истинной формой им. падежа (ср. Успенский, 1969, с. 217–219).

11.5.2. Формант *-ов-* в именном и местоименном склонении. Другой морфологической чертой является формант *-ов-* в парадигме мн. числа основ на **-у*, например, *сыновомъ, сыновѣхъ* и т.п. Соответственно, в грамматике Смотрицкого даются варианты парадигмы мн. числа:

Им.:	сыны	или сынове	жерци	или жерцеве
Род.:	сынѣ	или сыншѣ	жерцѣ	или жерцевѣ
Дат.:	сыншѣмъ	или сыновшѣмъ	жерцѣмъ	или жерцевѣмъ
Вин.:	сыны	или сыновы	жерцы	или жерцевы
Твор.:	сыны	или сынами	жерцы	или жерцами
Местн.:	сынѣхъ	или сыновѣхъ	жерцѣхъ	
	(сынѣхъ)	(сыновѣхъ)		

(Смотрицкий, 1619, л. Е/7 об.-8: Смотрицкий, 1648, л. 113 об.-114).

Признаком второго юж-сл. влияния являются также новые формы притяжательных местоимений: *еговъ, тоговъ*. Подобные формы в дальнейшем в принципе исчезают из рус. ц-сл. языка, хотя спорадически могут встречаться в ц-сл. текстах относительно поздно. Так, А. А. Барсов упоминает в своей "Российской грамматике" (1783–1788 гг.), что в церковных книгах встречаются притяжательные местоимения *еговъ, егова, егово* (Барсов, 1981, с. 527). Такого рода случаи представляют собой реликты второго юж-сл. влияния, следы которого спорадически сохраняются несмотря на позднейшую справку.

11.6. Синтаксические инновации. В области синтаксиса происходящие в разбираемый период изменения связаны с греч. влиянием. Определенные синтаксические грецизмы закрепляются в это время в норме ц-сл. языка. Понятно, что в качестве окказиональных явлений они могут появляться и ранее в переводных текстах. Со вторым юж-сл. влиянием такие грецизмы из явлений текста становятся явлениями языка.

11.6.1 Одинарное отрицание. Важной синтаксической чертой, появившейся в результате второго юж-сл. влияния и определившей еще один признак, по которому противопоставляются ц-сл. и рус. языки, является одинарное отрицание. Как известно, в славянских языках имеет место двойное отрицание, т.е. отрицание в любом из членов предложения (кроме сказуемого) требует повторения отрицания и в составе сказуемого (*никто не пришел, ничего не хочу, нигде не был*). Между тем, целому ряду других языков, в том числе греческому, свойственно одинарное отрицание, т.е. отрицание в любом из членов предложения (кроме сказуемого) предполагает отсутствие отрицания в сказуемом (ср. в англ. *Nobody has come* и т.д.). В ц-сл. языке со времени Кирилла и Мефодия принято было двойное отрицание; соответственно, в ст-сл. памятниках мы читаем, например, в Евангелии от Иоанна (I, 3): *ничѣтоже*

не бысть. еже бысть (Зогр.); *нічесоже не бѣишь. еже бысть* (Ассем.); или в другом стихе (Ин. I, 18): *Ѣа нѣктоже не видѣ, николиже* (Зогр.); *Ѣа нѣктоже не видѣ никъдеже* (Ассем.). Ту же конструкцию находим и в древнейших среднеболгарских памятниках, например, в Добромировом ев. нач. XII в.: *ничѣтоже не бысть, еже быст*; *Ѣа никътоже не видѣ никдеже*. Совершенно такие же конструкции характерны и для рус. ц-сл. памятников периода первого юж-сл. влияния. Так, в Остр. ев. имеем: *ничѣтоже не бысть кже бысть; Ѣа никътоже никъдеже не видѣ*. В рус. памятниках встречается иногда, наряду с двойным отрицанием, и отрицание одинарное, явно под влиянием греч. синтаксиса (см., например, в Остр. ев.: *ни оцѣ вашъ отъпустишь вамъ съгрѣшении вашихъ*, л. 123г-124а; ср. еще примеры: Цакалиди, 1982). Однако уже в Чуд. Нов. Завете одинарное отрицание становится нормой (для данного памятника) и это объясняется его непосредственной связью с греч. оригиналом: *бы^с ничто^ж еже бы^с; Ѣа никто^ж видѣ когда*. В результате второго юж-сл. влияния одинарное отрицание становится нормативным в ц-сл. языке, и эта черта удерживается им до настоящего времени (ср. в принятом в настоящее время тексте Евангелия: *ничтоже бысть, еже бысть; Ѣа никтоже видѣ нигдѣже*). Исключительные случаи двойного отрицания в ц-сл. текстах нового периода (см., например, в принятом в настоящее время тексте Евангелия: *и ничесоже ему не глаголють*, Ин. VII, 26) представляют собой с точки зрения ц-сл. языка архаизм, т.е. должны рассматриваться как реликтовые явления, отражающие предшествующую языковую норму.

Нормативный характер одинарного отрицания в ц-сл. языке нового периода подчеркивает в своей грамматике Смотрицкий, по мнению которого двойное отрицание дает положительное утверждение (Смотрицкий, 1619, л. Щ/2 об.-3; Смотрицкий, 1648, л. 320-320 об.). В сер. XVII в. этот вопрос становится предметом обсуждения в полемике старообрядцев со сторонниками реформ патр. Никона. Так, старообрядец священник Лазарь упрекал никониан в том, что в их книгах напечатано "Х^стось воскресе никто же не вѣруеть", замечая: "Се же есть велій соблазнъ; ибо вси вѣруемъ". Отвечая на этот упрек, Симеон Полоцкий возражает Лазарю: "Никто же не вѣруеть; тождо знаменуеть еже всякъ вѣруеть", - и советует своему оппоненту: "Иди прежде научися грамматичесествовати" (Симеон Полоцкий, 1667, л. 100 об.-101). Таким образом, нормы книжного ц-сл. языка оказываются радикально противопоставленными естественным речевым навыкам.

О нормативном характере одинарного отрицания в ц-сл. языке свидетельствует и его последующее использование в качестве средства, изменяющего стилистический регистр повествования, ср. в письме Петра I к царевичу Алексею (1716 г.): "Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не точию бранил, но и бивал, к тому же сколько лет почитай не говорю с тобою; но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь..." (Устрялов, VI, с. 348).

11.6.2. Родительный восклицания. Другим синтаксическим грецизмом, появляющимся в результате второго юж-сл. влияния, является *Genetivus exclamationis*, т.е. родительный восклицания: в сочетании с частицами *о*, *оле*, а также *увы* существительное (именная группа) ставится в род. падеже. После частицы *о* в ц-сл. языке может стоять либо зват. форма (*о славо*), либо им. падеж (*о слава*), либо род. падеж (*о славы*). Частица *о* при этом выступает в разных функциях; в грамматике Смотрицкого различаются "о звания и восклица-

ния", "о сетования" и "о удивления", которые, между прочим, противопоставляются и по начертанию надстрочных знаков: в изд. 1619 г. противопоставляются "ѿ званія и восклицанія", "ѿ сѣтованія" и "ѿ удивленія" (Смотрицкий, 1619, л. Ш/7 об.), в изд. 1648 г. - "ѿ званія и восклицанія" и "ѿ сѣтованія и удивленія" (Смотрицкий, 1648, л. 325 об.); при этом здесь сообщается, что "о звания и восклицания" сочетается со звательным, а "о сетования и удивления" с родительным падежом.

"О звания" всегда сочеталось в ц-сл. языке со зват. формой, тогда как после "о сетования и удивления" до второго юж-сл. влияния предполагался им. падеж; в результате второго юж-сл. влияния здесь появляется вместо именительного род. падеж, что и кодифицируется в грамматике Смотрицкого. Такое же изменение произошло и в случае частиц *оле*, *уф*, *увы*, близких по значению к "о сетования". Так, в сборнике патристических переводов Египетского Славинецкого, изданных в Москве в 1665 г., находим: "Оуфъ купльства, Оуфъ, воздагни" (с глоссой: *увы, увь* - л. 26 об.), ср. также у протопопа Аввакума: "Увы разсѣченія тѣла Христова" (РИБ, XXXIX, стлб. 17) (Чельберг, 1959). Это изменение обусловлено ориентацией на греч. синтаксические конструкции.

В греч. языке после частицы *ω* также возможны три формы - им., род., зват. При этом конструкция с род. падежом отсутствует в Новом Завете, но характерна для патристической литературы (Иоанн Златоуст, Григорий Богослов). В поздних греч. грамматиках (XVI в.) можно встретить различие "о звания", которое обозначается как *ω* и сочетается с зват. формой, и "о удивления или сетования", которое обозначается как *ω* или *ω̄* и сочетается с им. или род. падежом. Очевидно, что Смотрицкий заимствовал свою классификацию из греч. источников. Конструкция с род. падежом встречается параллельно с конструкцией с им. падежом в ст-сл. языке (несомненно под греч. влиянием), но только в Супр. рукописи (*ω* *ослоушѣливыхъ отъць* - с. 323 и др.). Тем не менее, как правило, мы встречаем в этих конструкциях им. падеж, и так же обстоит дело с рус. ц-сл. памятниками старшего периода.

После второго юж-сл. влияния "родительный восклицания" становится одним из признаков, различающих рус. и ц-сл. языки. Ломоносов отметит в своей грамматике 1755 г. (§ 570): "Восклицательное *о!* у славян полагается с родительным падежом: *о чуднаго промысла!* Но россиянам свойственное именительный: *о чудный промыслъ!*" (Ломоносов, VII, с. 574).

В качестве славянизма подобные конструкции в XVIII в. встречаются и в рус. тексте. Ср., например, в речи Советника в "Бригадире" Фонвизина (действ. II, явл. 2): "О, грехов моих тяжести!" Такое противопоставление может давать повод для языкового обыгрывания, когда синтаксический славянизм макаронически сочетается с лексическим русизмом. Так, у Н. А. Львова мы встречаем в "Послании к А. М. Бакунину" (1797 г.): "Ай, батюшки, беды, беды!" - или в "Львином указе" (1775 г.): "Ах! кумушка! беды!". На том же макаронизме основывается реакция Ломоносова на стихи Тредиаковского в "Новом и кратком способе сложения российских стихов" 1735 г. ("Ода вымышлена в славу правды, побеждающая ложь..."):

О раза прѣблагополучна!

О побѣда! О слава звучна!

(Тредиаковский, 1735, с. 65).

Ломоносов против слов "О раза [т.е. случая] прѣблагополучна" написал "О!!! веле-лѣтнѣйшія оплеухи" (Берков, 1936, с. 59, 63 - с неверным прочтением). Таким образом, Ломоносов переводит лексику Тредиаковского в просторечный стилистический план, где *раз* синонимично слову *оплеуха*, ср. *дать раза*, однако сохраняет славянскую синтаксическую конструкцию, которая приобретает в этом контексте пародийный смысл (следует иметь в виду, что Ломоносов в этот период активно выступает против славянизмов в рус. литературном языке, ср. Успенский, 1985, с. 88-89).

11.7. Некоторые обобщения. Мы видим, что ряд признаков второго юж-сл. влияния восходит к греч. языку, т.е. обусловлен стремлением воссоздать славянскими языковыми средствами особенности греч. языка и орфографии, сблизить насколько это возможно греч. и ц-сл. языки: юж-сл. традиция оказывается связующим звеном между рус. ц-сл. и греч. традицией. Это проявляется в палеографии (влияние греч. письма на русское; появление неовизантийского орнамента); в написании грецизмов с посильным соблюдением греч. орфографических правил; в отражении греч. произношения (формы типа *Олумбъ*); в употреблении надстрочных знаков (акцентов и придыханий) на греч. манер; в употреблении титл; в употреблении знаков препинания, сходном с греческим; в написании *i* перед гласной; в введении одинарного отрицания; в появлении родительного восклицания; в образовании сложных слов по греч. моделям. В этой связи становится понятным, что и чисто юж-сл. формы могут восприниматься как грецизмы (например, так воспринимаются формы собственных имен типа *Николае*, *Антоние* в им. падеже).

В других случаях новые признаки рус. ц-сл. языка не объясняются из греческого, но восходят к соответствующим чертам юж-сл. изводов ц-сл. языка. Так объясняется появление *ж*, употребление *а* вместо *я* (*моа*); мена еров; написание *ы* вместо *ѣ*; юж-сл. написания в группах типа *СѣхС* с постановкой еров после буквы плавного; в употреблении буквы *ѕ*; в употреблении *ѣ* (*оу*); в введении *э*; в введении *о* очного; в придании *ц* числового значения "девятьсот"; в написаниях *жд* на месте **dj*; в нормативном написании некоторых слов с начальным *ю*; в смешении *я* и *ю*, *ѣ* и *ѥ*, *л* и *ж*; в таких написаниях, как *цѣфту*, *прѣзъ*; в употреблении зват. формы в значении им. падежа; в появлении форманта *-ов-* в парадигме мн. числа основ на *-и*; в местоименных формах типа *еговъ*.

Признаки второго юж-сл. влияния, как правило, отражаются в рус. текстах с большей или меньшей непоследовательностью. Вместе с тем, само наличие тех или иных признаков в тексте может быть достаточно показательным, свидетельствуя о стремлении книжников перестроить орфографию по юж-сл. образцу. Таким образом, соответствующие признаки могут иметь сигнальный характер, что само по себе предполагает вариативный характер формирующейся нормы. Такая норма в целом ряде моментов может быть неустойчивой, и в дальнейшем отказ от ориентации на юж-сл. образцы (см. 13.2) естественно приводит к предпочтению сохраняющихся старых вариантов. В самом деле, второе юж-сл. влияние было временным явлением в истории литературного языка на Руси. С прекращением этого влияния некоторые признаки исчезают, другие же, напротив, оказываются прочно вошедшими в норму ц-сл. языка. Следует к тому же иметь в виду, что второе юж-сл. влияние по-разному и в разной степени усваивалось в Моск. и Ю.-З. Руси, что в значительной мере и определило различие их книжных традиций (см. 13.4). Скажем о признаках ц-сл. языка, появившихся с вторым юж-сл. влиянием, которые были усвоены как той, так и другой традицией, определив дальнейшее развитие ц-сл. языка. Сюда относится написание *ы*, употребление *ѣ* (*оу*), употребление *ѕ*, употребление букв *ѣ*, *ѥ*, *ѧ*, *Ѩ*, *ѩ*, и вообще правописание грецизмов, употребление надстрочных знаков (акцентов и придыханий), употребление титл, употребление знаков препинания, употребление буквы *ц* в значении "девятьсот", употребление *жд* на месте **dj*, употребление *i* перед гласной, употре-

бление начального ю, формы род. падежа числительных, одинарное отрицание, родительный восклицания. Характерно, что с введением гражданского шрифта и гражданской орфографии некоторые черты юж-сл. влияния отражаются и здесь, ср. написание ы и употребление і перед гласной, а также введение в азбуку букв э и й.

12. СЕМИОТИЗАЦИЯ ФОРМАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ

12.1. Принцип антистиха и его славянская трансформация. Ориентация на греч. грамматическую традицию у славянских книжников приводит к усвоению ими принципа антистиха. В византийский период греч. орфография была построена по этимологическому принципу, т.е. в орфографии сохранялись те этимологические различия, которые потеряли фонетическую значимость. Соответственно, при обучении грамоте особое внимание обращалось здесь на правописание омофоничных слов, т.е. слов, совпадающих в звучании, но расходящихся в написании и в значении. Составлялись списки таких пар и для их заучивания употреблялась мнемоническая техника, когда запоминались соответствующие пары слов - антистихи (греч. ἀντίστοιχον, т.е. противостояние). Максим Грек специально учил славянских книжников: "Пословицы у насъ такожде ины двѣ подобнѣ к' себѣ по гласу, а по писмени и разуму много зѣло раз' ликующе" (Ковтун, 1975, с. 56).

Этот принцип усваивается славянскими книжниками, но здесь при фонологическом в своей основе характере славянской орфографии он переосмысливается; он приобретает здесь не этимологический, а чисто функциональный смысл: предполагается, что, если есть какое-то семантическое различие, то для него следует найти орфографическое выражение. Таким образом, если в греч. пары типа χεῖρα "руку" - χήρα "вдова" получились в процессе исторического развития (орфография отражает здесь более раннее произношение), то славянские книжники устанавливают это различие искусственно, т.е. различие в написании делается принципом дифференциации омонимов. Принцип антистиха становится, таким образом, активным принципом ц-сл. орфографии, который приводит к последовательному орфографическому противопоставлению ранее не различавшихся форм. Этот принцип кладется в основу кодификации ц-сл. языка.

В рус. книжность данный принцип приходит через юж-сл. посредство. Константин Костенечский посвящает данному принципу специальный трактат "О писменех", он обозначает противопоставления такого рода терминами *антистихо*, *антистихое*, *антистихие*. Так, рассуждая о формах *мврно* (от *мвро*, "священное масло") и *мирно* (от *мир*, "мир, покой"), он пишет: "Сице *мѣр'но* *мір'но*. се едина писмена въ шбоих, кромѣ антистихихъ ѿ ѿ, иже сѣуть соупротивна дрѣгъ дроугѣ. соупротивит' бо се едина дрѣгой павлзе инъ гль. еда ли ты речеши, ѿ въсѣ писче, пако едина гль ес(ть) шбое; то вънми кѣде како коеждо свои поутъ въземлетъ" (Ягич, 1896, с. 124). Таким образом, Константин распространяет принцип антистиха на славянский языковой материал. Основная мысль данного трактата в том, что смешение букв может приводить к изменению смысла, что особенно опасно для ц-сл. языка как языка сакральных текстов. Константин постоянно иллюстрирует этот свой тезис, показывая, к чему приводит неразличение орфографически противопоставленных форм. Все буквы имеют для него смысловозначительную функцию. При этом в славянском алфавите имелись избыточные омофоничные буквы, которым при таком подходе также приписывается смысловозначительная функция; соответственно, омофоничные буквы закрепляются в формах, противопоставленных по своему значению -

и сам факт этого противопоставления оправдывает существование данных букв. Следование этому принципу вытекает, согласно Константину, из самой задачи построения ц-сл. языка по образцу греческого: "Мы ж образъ даемъ о антистихных. и аще невѣр'но мнит' ти се, свидѣтеля приводѣ ти мѣрь твою грѣчские глѣ и писмена" (Ягич, 1896, с. 125).

12.2. Орфографическая дифференциация грамматических форм. Как уже было сказано, принцип орфографической дифференциации используется при кодификации ц-сл. языка. Использование орфографических признаков для различения омонимичных грамматических форм впервые отчетливо проведено в том же трактате Константина Костенечского, где предлагается, например, отличать форму ед. числа *единая* от формы дв. числа *единая*. Этот принцип получил дальнейшее развитие в распространенном на Руси трактате "О множестве и о единстве", в котором предлагается последовательно различать правописание омонимичных форм ед. и мн. числа. Так, здесь говорится: "Множество же пиши во всем с твердымъ шномъ, да ерь да еры пишется множествоно же. внимай ш семъ разѣмно, да не во т'ше бѣдетъ тѣдъ нашъ. а единственное пиши он крѣглои да иже да ерь во всѣхъ рѣчех... множество а, а единство а. множество оу, а единство ѱ" (Ягич, 1896, с. 431). Таким образом, автор этого трактата противопоставляет буквы *ш, ѱ, ѱ, а, оу*, которые пишутся в формах мн. числа, буквам *о, ѱ, и, а, ѱ*, которые пишутся в формах ед. числа. Он приводит соответствующие примеры:

им. ед. жен.	аггльскаа	им. мн. ср.	аггльскал
род. ед. жен.	аггльскіа	им. мн. жен.	аггльскыл
тв. ед.	аггломъ	дат. мн.	агглѡмъ
тв. ед.	аггльскіѡ	дат. мн.	аггльскѡѡ
род. ед.	азбѣки	им. мн.	азбѣкы
им. ед.	азбѣчникъ	род. мн.	азбѣчникъ и т. д.

(Ягич, 1896, с. 432–433).

На этих примерах мы видим, как вполне искусственным образом грамматическая омонимия разрешается при помощи орфографических средств, при этом соответствующие противопоставления применяются не только в случае омонимичных форм, но закрепляются за теми или иными грамматическими категориями вообще. Таким образом происходит кодификация грамматических форм, которая оказывается непосредственно связанной с их орфографическим оформлением.

В этой кодификации отчетливо прослеживаются как греч., так и юж-сл. источники. Так, например, использование противопоставления *о - ѡ* для различения форм ед. и мн. числа ориентировано на образец греч. парадигмы, где в именах третьего склонения в окончании род. ед. -*ος* стоит *о*, а в окончании род. мн. -*ων* стоит *ѡ* (ср. еще во втором склонении им.-вин. ед. ср. *μῆτρον* - род. мн. *μῆτρων*). Таким же образом на греч. модель ориентировано написание наречий с *ѡ*, которое может противопоставляться написанию омофоничных прилагательных с *о*, ср. прилагательное *блѣо* - наречие *блѣѡ* (ср., например, в грамматике Смотрицкого, 1619, л. И/2, Х/7): в греч. языке прилагательные оканчиваются на -*ος*, а производные от них наречия качества оканчиваются на -*ως*.

Другой принцип, проводимый рус. книжниками, связан не с греч., а с юж-сл. ориентацией. В результате второго юж-сл. влияния в рус. ц-сл. текстах появляются юж-сл. написания, которые конкурируют с принятыми ранее рус. ц-сл. написаниями. При этом юж-сл. написания в одних случаях вытесняют предшествующие, а в других вступают с ними в дополнительную дистрибуцию, при которой возникающие варианты распределяются по разным грамматическим формам. Показательно, что за формами ед. числа закрепляются новые (юж-сл.) формы, тогда как старые формы остаются на долю мн. числа: по-видимому, формы ед. числа воспринимаются как первичные, а формы мн. числа - как вторичные, ср. ед. ч. *аггльскаа, аггльскіа, азбѹчникъ* - мн. ч. *аггльскаа, аггльскыа, азбѹчникъ*.

Аналогичная кодификация орфографических различий в формах ед. и мн. числа наблюдается в целом ряде рус. грамматических сочинений XVI-XVII вв., в частности, в "Буковнице" Герасима Ворбозомского (ГБЛ, ф. 173, I, № 35, л. 130, 132), ср. здесь, например, тв. ед. *богомъ* - дат. мн. *бѹгомъ*. Дальнейшее развитие этот принцип получает в грамматике Мелетия Смотрицкого 1619 г., где формы ед. и мн. числа различаются с помощью противопоставления *е* и *ѡ*, *о* и *ѡ* и т.п. - в ед. числе пишется *е*, *о*, во мн. числе - *ѡ*, *ѡ*, ср. им. ед. *клевреть* - род. мн. *клеврѣтъ*, им. ед. *творецъ* - род. мн. *творѣцъ*, тв. ед. *клевретоу* - дат. мн. *клеврѣтѹмъ*, тв. ед. *творецѹмъ*, дат. мн. *творѣцѹмъ*, им. ед. *пророкъ* - род. мн. *прорѡкъ*; таким же образом может реализоваться противопоставление *и* - *і*, а также надстрочных знаков оксии (вариі) и каморы, ср., например, им. ед. *сѣиѣ* - род. мн. *сѣиѣ*, им. мн. *благіа* - род. ед. *благіа* (Смотрицкий, 1619, л. А/6 об.-7, Е/3 об.-4, Е/7-7 об.).

Соответствующие правила воспринимались как необходимые условия грамотного письма и несомненно преподавались при обучении письму. Характерен в этом плане диспут московских книжников игумена Ильи и спращика Григория с Лаврентием Зизанием по поводу Катехизиса, который Лаврентий привез в Москву в 1627 г. с намерением здесь его издать: "Да мыж молвили Лаврентію, что надобно въ божественныхъ титлах писания тонкостию ума разсматривати, чтобы вмѣсто лица не написат образа і вмѣсто образа лица, потому что лица в Троицѣ три, а образ един и сего ради имя лице свойство во Троицѣ являет, а образ существо едино в Троицѣ. И Лаврентіі молвил: Есть разнь между лица и существа. И потомъ Лаврентіі от грамотики почел говорити орфографіею: Есть де иная разнь в писменах между образа и образов, инде де надобно оник маленькоі а инде де большой. И мы ему отказали: Та, Лаврентіе, дѣцкая рѣчь учащихся буквам, что писменами разумѣти единство и множество, а мы ныне не о таковом дѣле упраздняемся" (Прения Лаврентія Зизанія..., с. 87; ср. Заседание в Книжной палате..., с. 17). Итак, Лаврентий говорит о противопоставлении ед. и мн. числа слова "образ" с помощью *о* и *ѡ*. Из возражений же московских книжников видно, что они расценивают это как элементарные школьные сведения ("детская речь учащихся буквам"), которые смешно обсуждать на ученом богословском диспуте.

12.3. Орфографическая дифференциация лексических омонимов. Те же принципы, действие которых мы наблюдали в грамматической кодификации, проводятся для дифференциации лексических омонимов. Если в одних случаях рус. книжники следуют здесь за юж-сл. нормой, то в других они являются новаторами.

Примером может служить противопоставление форм *языкъ* (в значении "часть тела, орган речи") - *языкъ* (в значении "народ"). Это противопоставление, по-видимому, восходит к юж-сл. орфографии. Так, Константин Костенечский предлагает в своем трактате "О писменех" различать *языкъ* в значении греч. *γλῶσσα* ("часть тела, речь") и *языкъ* в значении греч. *ἔθνος*

("народ") (Ягич, 1896, с. 117–118, ср. комментарий на с. 237). Ориентация на греч. язык предполагает, вообще говоря, дифференциацию между значениями "часть тела, орган речи" и "нарекание, речь", с одной стороны, и "народ, племя", с другой; тем не менее, рус. книжники обычно не расчленяют значения "народ" и "нарекание". Итак, различая *языкъ* "народ" и *языкъ* "часть тела", книжники, как правило, объединяют значения "народ" и "нарекание", употребляя в обоих случаях форму *языкъ*; соответственно, форма *языкъ* употребляется тогда только в анатомическом значении. Противопоставление *языкъ* - *языкъ* прочно усваивается в ц-сл. языке и фиксируется в XVII в. в грамматических сочинениях. Это противопоставление, как кажется, более свойственно языку Моск. Руси, нежели языку Ю.-З. Руси, поскольку оно отмечено в московском издании грамматики Смотрицкого (1648, л. 55) и не отмечено в предшествующем ю-з-рус. издании (Евье, 1619) - иначе говоря, оно было внесено московскими справщиками (Иваном Наседкой и др.) при перепечатке грамматики Смотрицкого. Тем не менее, оно не вполне чуждо и Ю.-З. Руси, поскольку оно отмечается в словаре Памвы Беринды (1627, стлб. 312, 314; 1653, с. 209, 210). В дальнейшем, данное различие неукоснительно соблюдается в московских изданиях, включая послениконовские. Так, московские справщики Сильвестр Медведев, инок Иосиф, священник Никифор "с товарищи" правят в 1679 г. Апостол, изданный в Москве в 1671 г., и вносят исправление: *языкъ* вместо *языкъ* в значении "народ" (см. "ковычный", т.е. правленный экземпляр Апостола 1671 г. - ЦГАДА, ф. 1251, № 14, л. 103 об.). Позднее соответствующее различие фиксируется в Грамматике Малой Кариона Истомина, составленной для царевича Алексея Петровича, 1690-х годов (БАН, собр. Петровской галереи, № 61, л. 45 об.; Браиловский, 1902, с. 446), в грамматике Федора Максимова 1723 г. (с. 3), а также в грамматике Иакова Блоницкого 1754 г. (ЦГИАЛ, ф. 834, оп. 3, № 3372, л. 11), которая не была издана из-за слишком большой приверженности автора к украинскому изводу ц-сл. языка (см. Никольский, II, 2, № 3372–3373). Наконец, это же различие фиксирует и Тредиаковский в "Разговоре об орфографии" 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 41, примеч.). Вплоть до настоящего времени оно является нормативным в ц-сл. языке (Соколов, 1907, с. 16). При этом в новое время форма *языкъ* начинает регулярно обозначать как орган речи, так и самое *речь* - в соответствии с семантикой греч. *ἔννοια* или лат. *lingua*.

Подобным же образом вводится дифференциация форм *миръ* ("покой") - *міръ* ("вселенная"). Необходимость различения этих слов подчеркивал Максим Грек в послании к рус. митрополиту: "Понеже... по старому преводу вашему, священники же и діакони, в началѣ святыя литургии велят благовѣрным молиться о свышнем мирѣ, и нѣцыи толкуют то о ангелех [т.е. некоторые понимают слова "свышний мир" как Небесное Царство, т.е. в значении "вселенная", тогда как *речь* идет о даруемом от Бога покое], - вѣдомо да есть твоему преподобію, яко пословица сія *мир* у вас двое что знаменует, сирѣчь и тварь всю видиму же и невидиму, да еще союз любовен, им же человекѣ межи себе мир имѣют; а у греков пословицы розни: мир бо, рекше вся тварь, *козмос* [κόσμος] именуется, а союз любовен *ирини* [εἰρήνη] нарицается" (Максим Грек, III, с. 92–93). Максим, как видим, различает эти слова, поскольку они соотносятся с разными греч. словами; он констатирует различие в их значении, однако это различие не отражается у него на письме (ср. цитированный текст в сборнике сочинений Максима

Грека сер. XVI в., собственноручно правленном автором, - ГБЛ, ф. 173, I, № 42, л. 303; в обоих случаях здесь пишется *миръ*). То же говорит затем и старец Арсений Глухой в послании боярину Б. М. Салтыкову 1619 г.: "Множицею *гль* бывает единообразен, но различна в нем обрѣтается разумѣния. Ап̑тль убо пишет: не любите мира, ни яж[е] в мирѣ [II Иоанн II, 15]. Двѣ же вѣщаетъ: възми мир и пожени [Пс. XXXIII, 15]. Се убо имя едино есть *мир*, но разумѣние в нем нѣсть едино... срамен в нашемъ языце *гль* сей, но и прикровень зело и различна имат разумения" (ГБЛ, ф. 304, № 700, с. 319 об.; ср. неточное воспроизведение: Скворцов, 1890, с. 437). Наконец, в сочинении "Буквы грамотичнаго учения", представленном в сборнике 1620-х гг., читаем: "Вѣжды же и се, како есть нѣкая во единѣхъ слозехъ і просодіохъ пишемая, по два же разума імуща, а ни писмомъ ни просодіею различія разумъ обавити не могущая. како...іно *миръ* члѣцы; и паки *миръ*, тишина і безмолвіе" (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 46, ср. еще л. 41).

Итак, русские, по-видимому, в свое время не различали указанных двух значений. Они начинают обращать внимание на это различие лишь после второго юж-сл. влияния в результате ориентации на греч. язык. Соответственно, в это время появляется и дифференциация форм *миръ* и *міръ*, отражающая данное семантическое противопоставление. Эта дифференциация появляется, однако, в качестве локальной орфографической нормы, которая закрепляется в традиции Ю.-З. Руси. Она фиксируется в словаре Лаврентия Зизания 1596 г. (Нимчук, 1964, с. 56), в словаре Памвы Берынды (1627, стлб. 119; 1653, с. 79), в рукописной грамматике Гербовецкого монастыря первой пол. XVII в. (Курдиновский, 1907, с. 316). В первой пол. XVII в. это орфографическое противопоставление прослеживается и в текстах киевского книжника Тарасия Земки (Отроковский, 1921, с. 109, 116). Между тем, московским печатным изданиям до никоновской sprawy оно, кажется, неизвестно. После никоновской реформы это противопоставление кодифицируется и в московском ц-сл. языке (см., например, последовательное различение соответствующих форм в московском печатном Евангелии 1653 г.). Московский справщик Евфимий пишет в сочинении "О исправлении в преждепечатных книгах Минеах..." (1692 г.): "*Миръ*, пишемое чрезъ и, гречески *Ірини*, знаменуєть любовь между члѣки, согласіе, покой отъ вражды всякія, соединеніе. *Міръ*, пишемое чрезъ і, гречески *хόσμος*, знаменующее красоту, чинъ, народъ, селенную, *міръ*" (Никольский, 1896, с. 82-83). Характерно, что редактируя Требник Петра Могилы для московского издания 1658 г., справщики последовательно исправляют те случаи, где формы *миръ* и *міръ* употреблены неправильно, например, прошение "ω *міръ* всегω *мира*" исправляется на "ω *миръ* всегω *міра*" (см. "ковычный", т. е. правленный экземпляр Требника 1646 г. - ЦГАДА, ф. 1251, № 978, ч. I, л. 916, ср. еще л. 444, 503 и др.). В дальнейшем это противопоставление фиксируется в грамматиках - в частности, в грамматике Федора Максимова 1723 г. (с. 3), в "Технологии" 1725 г., автором которой является, видимо, Федор Поликарпов (ГПБ, НСРК F 1921. 60, с. 18), в грамматике Иакова Блоницкого 1754 г. (л. 11). Вплоть до настоящего времени оно является нормативным в ц-сл. языке (Соколов, 1907, с. 10). Из ц-сл. языка оно усваивается и рус. гражданской орфографией; необходимость такого различения отмечает Сумароков (X, с. 26-27), а также Каржавин (1791, тетрадь 5, л. 2).

В Ю.-З. Руси, по-видимому, данное различие было не только графическим, но и фонетическим, поскольку согласный перед *и* читался твердо, а перед *і* - мягко (см. 13.4), ср. польскую транскрипцию униатского богослужения (униаты, вообще говоря, сохранили ю-з-рус. ц-сл. традицию): О мирѣ всего міра, и мира мірови. О *myri wseho mira, i myra mirowy* (Чин униатской литургии, 1932, с. 6, 54) или английскую транскрипцию: о *miree vseho sheera; i mira sheerovi* (Чин униатской литургии, 1954, с. 7, 107). Между тем, на великорус. территории это различие приобрело чисто графическое значение, поскольку *и* и *і* никак не различались в произношении.

На то, что *мирѣ* и *мірѣ* различались в произношении Ю.-З. Руси, имеем достаточно определенные указания, хотя характер этого различия остается не вполне ясным. В славяно-польском словаре, составленном в 1641 г. ученым доминиканцем Марианом с Яслиск (словарь был составлен в Жовкве около Львова и отражает украинскую традицию ц-сл. языка), где славянские слова даны в польской транскрипции или транслитерации, различаются *miir* "swiat" и *mir* "pokey" (Карась и Карасева, 1969, с. 68); вероятно, здесь отражается различие произношений слов *мирѣ* (*miir*) и *мірѣ* (*mir*), хотя не исключено, что двойное *ii* передает написание буквы *и*. Любопытно, что и Сковорода, который также различает *мирѣ* "покой" и *мірѣ* "вселенная" - он пишет "Діалог или разглагол о древнем *мирѣ*" и "Разговор дружескій о душевном *мирѣ*" (Сковорода, I, с. 308, 324), - возможно, противопоставляет эти слова по произношению. Имея в виду первое из названных своих сочинений, он пишет М. Коваленскому 26.IX.1790 г.: "'Древній *мыр*' (пишу *ы*, ut differat ab illo *мир*)", но затем исправляет *мыр* на *мір*; равным образом и в автографе данного сочинения ("Діалог... о древнем *мирѣ*") слово *мир* в значении "вселенная", как и производные от него слова, было первоначально всюду написано как *мыр*, но затем последовательно исправлено на *мір* (Сковорода, II, с. 357; I, с. 513, примеч. I). Итак, Сковорода соотносит написание *мір* и *мыр* (в значении "вселенная"), противопоставляя их написанию *мир* (в значении "покой"); к этому времени традиция украинского ц-сл. произношения была в восточной Украине утеряна, и Сковорода, по-видимому, не придавал фонетического различия буквам *и* и *і*; однако он мог помнить, что произношение этих слов различалось по твердости-мягкости первого согласного, и искусственно передает это различие (неправильно, с исторической точки зрения), пользуясь великорус. орфографическими средствами, т.е. различием *и* и *ы*. Отметим вместе с тем, что И. Огиенко (1942, с. 5) в своих практических указаниях по украинскому церковному произношению, предназначенных для западноукраинских церквей, предписывает произносить *мирѣ* и *мірѣ* одинаково - со смягчением согласного.

В этот же период находит формальное выражение противопоставление существительного *т(ь)ма* "темнота" и числительного *т(ь)ма* "десять тысяч". Это противопоставление проявляется прежде всего в орфографии, которая, в свою очередь, могла отражаться и на произношении. В Ю.-З. Руси это противопоставление проявляется лишь в акцентных знаках: существительное *тма̑* пишется с каморой (знак циркумфлекса), числительное *тма̑* - с варией (знак грависа), см. такое противопоставление в словаре Памвы Берынды (1627, стлб. 256; 1653, с. 170); такое же предписание мы находим и в одном из вариантов грамматического сочинения "Сила существу книжного писма" (Ягич, 1896, с. 426, примеч. 2). Между тем, в Моск. Руси оформляется другое противопоставление, а именно, существительное *тма* противопоставляется числительному *тьма*. Как раз это противопоставление и может отражаться на произношении. В одном грамматическом руководстве мы встречаем указание: "Есть слово *глется* едино надвое. *тма̑*, *тьма̑*. говорити *тма̑* то есть число а говорити *тма̑*, то мученое мѣсто *тьма̑*" (ГБЛ, ф. 299, № 380, л. 78 об.-79). Итак, здесь предписывается произносить данное слово с палатализацией согласного, если имеется в виду числительное, тогда как в основном своем значении

это слово должно звучать с твердым согласным; противопоставление надстроочных значков здесь соответствует противопоставлению букв ъ и ь, т.е. знак ' ("ерик") выступает вместо ера, а знак ~ ("паерк") - вместо еря. Некоторые старообрядские чтецы, действительно, читают существительное *тма* с твердым согласным, противопоставляя это слово в произношении числительному *тъма*. После никоновских реформ происходит смешение традиций. Если у старообрядцев это противопоставление сохраняется (как на письме, так и в чтении), то у новообрядцев теряется различие в произношении соответствующих форм (возможно, под ю-з-рус. влиянием). В грамматике 1720-х гг., автором которой является, по всей вероятности, Федор Поликарпов (ЦГАДА, ф. 201, № 6), указывается: "Произносити подобаетъ по свойству діалекта и реченія, ибо аще на примѣр и не пишется *тъма*, но *тма*, а не употребляется в произношеніи *тъма*, понеже не может писмя перемѣнить свойство рѣчи" (л. 68), - таким образом, здесь утверждается, что различие между *тма* и *тъма* чисто орфографическое (а не фонетическое).

12.4. Семантизация фонетических вариантов. В ходе второго юж-сл. влияния в рус. ц-сл. языке появляются фонетически варианты формы, и сосуществование подобных форм ставит перед книжниками задачу их семантического осмысления, т.е. противопоставления вариантов форм генерируют противопоставления в плане содержания. Здесь имеются разные возможности: новая форма может противопоставляться старой как правильное неправильному, как сакральное - профанному, или как более сакральное - менее сакральному. Появляющиеся при этом семантические различия специфичны для рус. извода ц-сл. языка и не находят непосредственного соответствия ни в юж-сл. изводах ц-сл. языка, ни в греч. языке - при том что одна из вариантных форм обусловлена вторым юж-сл. влиянием, самое противопоставление развивается на рус. почве.

Наиболее яркое выражение этот процесс находит в противопоставлении форм [ányelʲə] - [áɣ:elʲə]. Как мы уже упоминали (см. 11.4.2), в период второго юж-сл. влияния слово "ангел" начинает писаться *аггелъ* в согласии с греч. написанием соответствующего слова. Такое написание предполагало и греч. прочтение данного слова с [ɲg]. Таким образом, произношение данного слова не изменилось, изменилось лишь его написание. Однако под влиянием грецизированного написания появляется и неправильное произношение, обусловленное побуквенным чтением, т.е. произношение [áɣ:elʲə]. Этому неправильному произношению усваивается специальный смысл: прочтенное таким образом, *аггелъ* начинает означать не ангела, а беса, падшего ангела; в этом специальном значении данное слово входит в норму ц-сл. языка. Таким образом, неправильная форма не отвергается нормой книжного языка, но служит для дифференциации смыслов, которые прежде не различались формальным образом. На письме этому противопоставлению соответствует написание с титлом или без титла. Данное противопоставление появляется в процессе второго юж-сл. влияния, однако у самих южных славян произношение с заднеязычным, а не с носовым не имеет отрицательного значения (ср. серб.-хорв. *aggel* "ангел" - Фасмер, 1944, с. 44). Иначе говоря, рассматриваемое противопоставление представляет собой явление чисто русское. Любопытно отметить, что форма, соответ-

вующая южнославянской, оказывается в данном случае неправильной и связывается с бесовским началом.

Другим примером семантизации различия между формой, соответствующей исходной греч. форме, и формой, ей не соответствующей, служат формы имен *Мария*, *София*. Ранее эти имена имели ударение на первом слоге; в соответствии с греч. произношением в период второго юж.-сл. влияния появляются формы с ударением на втором слоге *Марія*, *Софія*, однако такое ударение усваивается лишь при специальном - сугубо сакральном - значении этих имен, а именно при наименовании Богородицы и Софии Премудрости Божией. Таким образом, начинает противопоставляться *Марія* при наименовании Богородицы и *Мáрия* при наименовании таких святых как Мария Египетская, Мария Магдалина и т.п.; точно так же противопоставляются *Софія* при наименовании Премудрости Божией и *Сóфия* при наименовании святой. Это соответствует правилу, предписывающему писать имя *Мария* под титулом, если оно относится к Богородице, и "складом", если имеются в виду другие святые (см., например: Ягич, 1896, с. 437, 440, 718). В рус. переделке сочинения Константина Костенечского "О писменех" читаем: "Всѣх мáреи без възмѣта пиши складом, аще и сѣты суть. едина бѣу пиши под възметом: мѣ́а, мѣ́е..." (Ягич, 1896, с. 278); наряду с противопоставлением полного написания и написания под титулом, здесь прослеживается и противопоставление по ударению: *Марія* (когда речь идет о Богородице) - *Мáрия* (в остальных случаях).

Таким образом, как новые формы *Марія*, *Софія* (появляющиеся в процессе второго юж.-сл. влияния и соответствующие греч. произношению), так и старые ц.-сл. формы *Мáрия*, *Сóфия* входят в норму ц.-сл. языка, хотя и противопоставляются семантически; в результате книжных реформ патр. Никона в сер. XVII в. грецизированные формы распространяются как единственно возможные в ц.-сл. языке, т.е. начинают употреблять формы *Марія*, *Софія* во всех случаях, тогда как формы *Мáрия*, *Сóфия* признаются неправильными; старая форма *Сóфья* закрепляется при этом в литературном произношении, тогда как *Мáрья* остается в разговорной речи (Успенский, 1969, с. 39-51).

Сходным образом, в период второго юж.-сл. влияния появляется противопоставление формы *Никола* как православной канонической формы имени "Николай" и формы *Николай*, последняя форма применяется по отношению к иноверцам или еретикам и в этом значении также принадлежит ц.-сл. языку - таким образом именуется, например, апостол-еретик в Деяниях Апостолов (VI, 5), между тем как в Чуд. Нов. Завете он еще именуется "Николой" (л. 62), т.е. так же как и святые (Успенский, 1969, с. 14-16, 220-221); указанное разграничение форм (*Никола* - *Николай*) регулярно прослеживается как в Моск., так и в Ю.-З. Руси (см., например, старопечатные издания Апостола - московские 1564 и 1644 гг., киевский 1630 г., львовский 1639 г.). Ср. характерное противопоставление рус. (православной) и иноязычной (неправославной) формы данного имени в пределах одной фразы в Московском летописном своде под 1428 г.: "И пришедшу ему [Витовту] под град Порхов и тоа пушкы мастер Н и к о л а и [имеется в виду "немчин пушечник", т.е. пушечный мастер] похвалився Витовту: не токмо, княже, пушкою сею пиргос разбью, но и церковь иже Н и к о л у в градѣ разздражу" (ПСРЛ, XXV, с. 247).

Любопытно отметить, что в данном случае с сакральным началом оказывается связанной старая форма, тогда как новая форма, соответствующая греч. канонической форме данного имени (Νικόλαος) получает отрицательный смысл. Здесь могли сказаться разные факторы: во-первых, канонической формой у южных славян была форма *Никола*, и юж-сл. влияние могло способствовать здесь удержанию традиционной рус. формы; во-вторых, форма *Николай* в отличие от формы *Никола* ассоциировалась не только с греч., но и с латинским языком, а, следовательно, не с православной, а с инославной традицией; в-третьих, наконец, сохранению традиционной формы должно было способствовать особое почитание св. Николая на Руси. В результате книжных реформ патр. Никона в сер. XVII в. каноническая форма *Никола* была заменена на *Николай* (впервые такую замену находим во втором издании Служебника 1656 г.) - грекофильская ориентация патр. Никона шла здесь дальше, чем у предшествовавших книжников. Это вызывает протест протопопа Аввакума, который, ориентируясь на дониконовскую норму, пишет, что "Николу чудотворца Николаем еретиком называли..." (Демкова, 1965а, с. 230). Никониане, по словам Аввакума, "не токмо святыя книги измѣнили, но и ризы, и мирскія обычаи, и вещи, и пословицы, и имена преложили: глаголют бо... Николу Чудотворца Николаем - той бо Николай при апостолах еретик бысть, а великій чудотворец Никола бысть при царѣ Константинѣ" (Бороздин, 1898, прилож., с. 42). И в другом месте Аввакум восклицает: "Русь, чего-то тебѣ захотѣлося нѣмецкихъ поступовъ и обычаевъ! А Николѣ Чудотворцу имя нѣмецкое написали: Николай. В нѣмцахъ нѣмчинъ былъ Николай [имеется в виду Николай Булев, к которому адресован ряд сочинений Максима Грека], а при Апостолѣхъ еретикъ былъ Николай, а во святыхъ нѣтъ нигдѣ Николая. Толко съ ними [т.е. никонианами] стало. Никола Чудотворецъ терпитъ, а мы немощни..." (РИБ, XXXIX, стлб. 284).

Есть основания думать, что зват. форма от имени *Никола* образовывалась по-разному - в рамках ц-сл. языка - в зависимости от того, имелся ли в виду святой или обычный человек. В отношении святых употреблялась форма *Никóлае*, тогда как при наименовании людей выступала форма *Никóло* (Успенский, 1969, с. 15).

Еще одним примером семантизации фонетических различий, появляющихся в результате второго юж-сл. влияния, могут служить формы *юрод* ~ *урод*. Как мы говорили (см. 11.3.5), после второго юж-сл. влияния в ряде слов фиксируется написание начального у- или начального ю- (тогда как раньше в этих словах имела место свободная вариация), при этом фиксируется не только написание, но и произношение. В отдельных случаях, однако, в литературном языке сохраняются и формы с начальным у-, и формы с начальным ю-, однако эти формы получают теперь разное значение. Так обстоит дело с формами *урод* и *юрод*. Форма, соответствующая новой норме ц-сл. языка (*юрод*), означает духовное юродство, тогда как противопоставленная ей форма *урод* соотносится исключительно с физическим уродством; в этом специальном значении форма без йотации входит в норму ц-сл. языка по крайней мере в его великорус. редакции. Так, в филологическом рассуждении, известном под названием "Алфавит духовный", указывается: "вѣждь же и се: ꙗко ино есть *оурод*. и ино *юродъ*. *Оуродъ* есть, иже естеством уродится что какво; еже есть блгообразно или злообразно, или мало, или великотѣлесно. а *юродъ* наричется буй и несмыслень" (ГБЛ, ф. 218, № 714, л. 185 об.-186 - рукопись сер. XVII в.). Для югозападнорус. традиции такое противопоставление кажется нехарак-

терным; так, в словаре Памвы Берынды (1627, стлб. 272, 311; 1653, с. 181, 208) представлены обе формы: *Ѹродъ* и *юродъ*, однако они не противопоставляются по значению.

12.5. Семантизация грамматических вариантов. Аналогичный процесс может наблюдаться и в отношении грамматических вариантов, которые также могут противопоставляться по своему значению. Примером может служить склонение лексемы *слово*. Ранее, как мы знаем, формы косвенных падежей у этой лексемы могли образовываться как от основы с формантом *-ес-* (*словесе*, *словеси* и т.п.), так и от основы, совпадающей с основой им. падежа (*слова*, *слову* и т.п.); соответствующие формы выступают как варианты для ц-сл. языка, хотя формы с основой на *-ес-* и отмечены как специфически книжные (см. 8.3.2). После второго юж-сл. влияния употребление этих вариантов регламентируется - они оказываются семантически дифференцированными. В обычном случае норма ц-сл. языка предполагает, вообще говоря, склонение лексемы *слово* с основой на *-ес-*. Вместе с тем, предписывается особое склонение лексемы *слово* как обозначения Бога (второй ипостаси Троицы - "Бога Слова"), отличное от склонения той же лексемы в иных значениях: основа косвенных падежей совпадает здесь с основой им. падежа. *Слово* выступает в данном случае как собственное имя, и на него не распространяются закономерности, относящиеся к имени нарицательному, т.е. здесь проявляется тенденция формально противопоставить собственное и нарицательное имя. Соответствующее правило фиксируется в грамматике Смотрицкого (1619, л. Ж/2 об.; 1648, л. 116-116 об.).

12.6. Некоторые обобщения. В период второго юж-сл. влияния ясно прослеживается стремление привести в однозначное соответствие план выражения и план содержания: с одной стороны, различающиеся по значению формы получают разное орфографическое оформление, с другой же стороны, вариантным средствам выражения приписываются разные значения. Эта тенденция является частью более общего процесса кодификации ц-сл. языка как особой системы. Однозначное соответствие между планом выражения и планом содержания становится характеристикой книжного языка, противопоставляющей его как целое языку некнижному: безразличное употребление вариантов, присущее некнижному языку, недопустимо, вообще говоря, в языке книжном.

В процессе кодификации актуализируются представления книжников о правильном языке, в частности, о неконвенциональном характере языкового знака, о безусловности связи между означающим и означаемым. Именно это представление и обуславливает направление деятельности рус. книжников, их стремление однозначно соотнести план выражения и план содержания. Книжный язык, устроенный таким образом, мыслится как правильное отражение онтологического порядка. В соответствии с этим ц-сл. язык начинает восприниматься как икона православия. В этих условиях изменения ц-сл. языка не могут быть безразличными по отношению к содержанию, отступления от языковой нормы могут в принципе восприниматься как отступления от православия. Такое отношение к языковой норме со всей отчетливостью проявляется в дальнейшем в отношении старообрядцев к книжным реформам патр. Никона (см. 17.4) - таким образом, второе юж-сл. влияние подготавливает реакцию на третье юж-сл. влияние.

ГЛАВА II. КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ МОСКОВСКОЙ И ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ ПОСЛЕ ВТОРОГО ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО ВЛИЯНИЯ

13. СУДЬБА ВТОРОГО ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО ВЛИЯНИЯ В МОСКОВСКОЙ И ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ: ОБРАЗОВАНИЕ ОСОБЫХ ИЗВОДОВ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

13.1. Культурно-исторические предпосылки. Второе юж.-сл. влияние совпадает с размежеванием культурных традиций Моск. и Ю.-З. Руси. При этом, если в Ю.-З. Руси продолжается общение с южными славянами и греками (Ю.-З. Русь входит в юрисдикцию константинопольского патриарха), то в Моск. Руси в XVI в. наблюдается реакция на второе юж.-сл. влияние, т.е. тенденция к культурному обособлению. Если второе юж.-сл. влияние связано со стремлением установить единый литературный язык для всего православного славянства, то теперь в Моск. Руси действует обратная тенденция - определить свой национальный извод ц.-сл. языка. Таким образом, эпоха унификации сменяется эпохой обособления и размежевания.

Эти процессы исторически связаны, с одной стороны, с падением Византийской империи (1453 г.), и, с другой стороны, с окончательным свержением в России татарского господства (1480 г.). Эти два события, которые приблизительно совпадают по времени, связываются на Руси; таким образом, в то время, как в Византии имеет место торжество мусульманства над православием, в России совершается обратное - торжество православия над мусульманством. При этом русские соотносят падение Константинополя (1453 г.) с принятием греками Флорентийской унии (1439 г.): падение Константинополя и завоевание турками Византии рассматриваются как Божья кара, как наказание за измену православию, см., например, послание митр. Ионы литовским епископам 1459 г. (РИБ, VI, № 81, стлб. 623) или послание митр. Филиппа в Новгород 1471 г. (АИ, I, № 280, стлб. 513-514). После падения Константинополя в глазах русских Византия завершила свою историю - и это относится не только к падению византийской государственной власти, но и к авторитету константинопольского патриарха. Политическая катастрофа воспринималась русскими как следствие повреждения веры, в силу чего русские отказываются от подчинения константинопольскому патриарху, и явочным порядком образуют свою автокефальную церковь.

С падением Византии великий князь московский оказывается единственным православным правителем (если не считать Грузий, находящейся на далекой периферии), т.е. единственным независимым монархом православной ойкумены. Предполагалось вообще, что есть только один царь в православном мире (РИБ, VI, прилож., № 40, стлб. 274 сл.; ср. Дьяконов, 1889, с. 14, 25-26; Савва, 1901, с. 200 сл.); это место, которое ранее занимал византийский император, занимает теперь рус. князь. Отсюда великий князь московский начинает осмысляться по модели византийского императора. Прежде всего, это проявляется в наименовании его "царем", т.е. так, как называли на Руси византийского василевса (а также татарского хана). Уже Василий Темный более или менее последовательно именуется "царем" и "самодержцем" (Попов, 1875, с. 379, 384, 394; РИБ, VI, № 90, стлб. 673; АИ, I, № 60, стлб. 107; об истории наименования рус. князей "царями" см. Водов, 1978), и с таким пони-

манием статуса рус. великого князя связывается установление автокефальной рус. церкви. Важно отметить, что царем называет великого князя Василия уже первый глава этой церкви, митр. Иона.

Таким образом, с падением Византийской империи Византия и Русь как бы меняются местами, в результате чего Моск. Русь оказывается в центре православного (а тем самым, и христианского) мира. Соответственно, Москва осмысливается как новый Константинополь или третий Рим, причем утверждение Москвы в этом качестве одновременно означает отрицание Константинополя, как и Рима, в качестве центра христианского мира, поскольку всякий раз предполагается существование одного Константинополя или одного Рима. К этому необходимо добавить, что вторая пол. XV в., когда происходят все эти перемены, окрашена эсхатологическими и мессианистическими настроениями, поскольку в 1492 г. по завершении 7000 от сотворения мира ожидался конец света. Как раз в этом году глава рус. церкви митр. Зосима составляет "Изложение пасхалии" на новую, восьмую тысячу лет, где официально объявляет Москву Новым Константинополем, а московского великого князя (Ивана III) "государем и самодержцем всея Руси, новым царем Константином новому граду Константинову - Москве и всей русской земле и иным многим землям государем" (РИБ, VI, № 118, стлб. 799).

При этом издавна пророчество о конце света связывалось на Руси с представлением о том, что Россия и Греция поменяются местами: "Повесть временных лет" под 1071 г. сообщает о появлении волхва, который предвещал, что реки потекут вспять, земли перейдут с места на место, и греческая земля станет там, где стоит русская, а русская окажется на месте греческой (ПВЛ. I, с. 116). Поскольку эсхатологические переживания закономерно переплетаются с мессианистическими, падение Константинополя, воспринятое на фоне пророчеств такого рода, понимается как указание на мессианистическую роль России как оплота православия и предводительницы христианского мира.

13.2. Реакция на второе юж-сл. влияние в Московской Руси. В соответствии со сказанным московские книжники, начиная с XVI в., стремятся обособиться от юж-сл. влияния. Это стремление со всей отчетливостью проявляется, например, у Нила Курлятева, ближайшего сотрудника и помощника Максима Грека, который писал в предисловии к Псалтыри, переведенной Максимом Греком в 1552 г.: "А прежнии перевод'цы нашего языка извѣстно не знали, и онѣ перевели ино гречески, ово словенски і ино сербьски і другаа болгар'ски, их же не удоволишася преложити на русскіи языкъ. А Кипріан митрополит по гречески гораздно не разумѣлъ и нашего языка довольно не зналъ же. Аще і с нами един наш язык, сірѣчь словенскіи, да мы говорим по своему языку чисти и шумно [вариант: и наша рѣчь руская чиста и шум'ка], а онѣ говорят моложаво и в' писании рѣчи наши с ними не сходятся. І онѣ мнилъ ся что поправиль псал'мов по нашему а болши неразуміе в них написалъ в рѣчех и в' словах [т.е. в словах и в буквах], все по сербьски написалъ. І нѣтъ многіа у нас і в ся времяна книги пишут, а пишут от неразуміа все по сербьски. И говорити по писму, по нашему языку прямо не умѣют. И многіа неразумныя смущаются. Гдѣ надобет по нашему а, а по сербьски ѣ, или ж по нашему ю, а серб'ски љ, по нашему о, а сер'бьски љ, у нас ы, а серб'ски и. А рѣчи по нашему не-замедли, а серб'ски іли буде бол'гарски не замуди, по нашему косно медлено язычен или гугнивъ, а серб'ски муд'ноязычен і прочіа рѣчи нам неразумны: бохма, васнь, рѣснотивіе,

цѣщи, ашут и много таковых мы не разумѣем ино сербьски, а ино бол'гарски. I сѣа доселѣ не достанет лѣто на повѣствованіе" (Ковтун, 1975, с. 96–97). Говоря о "русском" языке, Нил Курлятев имеет в виду ц-сл. язык рус. редакции (такое употребление слова *русский* известно и ранее, по крайней мере с XIII в. – ср., например, Ковтун, 1963, с. 398). Рус. извод ц-сл. языка противопоставляется при этом юж-сл. изводам. Показательно, что по утверждению Нила Курлятева русские говорят по-церковнославянски "чисто", а южные славяне – "моложаво", т. е. рус. извод признается более правильным и вместе с тем более древним.

Приведенное рассуждение Нила Курлятева содержит цитаты из словаря к Лествице Иоанна Синайского в редакции XV в., который называется "Тълкование неудобь познаваемомъ въ писаныхъ рѣчехъ, понеже положены суть рѣчи въ книгахъ отъ начальныхъ прѣводникъ ово словѣнски и ино сръбски и другаа блѣгарски, их же не удоволишася прѣложити на рускии"; равным образом, называя славянские слова непонятными рус. читателю, Нил берет их из того же словаря, ср. здесь: *васнь* – *мню*, *прѣсно*, *цѣща* – *ради*, *бѣхма* – *весма*, *рѣснотивіе* – *истин'но*, *ашуть* – *туне*, рекше *даром*" (Ковтун, 1975, с. 68, 70; ср. Ковтун, 1963, с. 421 сл.). Характерно, однако, что в цитируемом словаре не содержится еще отрицательного отношения к сербским и болгарским речениям, столь очевидного у Нила Курлятева.

Московские книжники игумен Илья и справщик Григорий в своих прениях с Лаврентием Зизанием в 1627 г. заявляют: "Вѣдаем сербским языком *кутина*, а по рускии *куст*" (Прения Лаврентия Зизания..., с. 88; ср. Заседание в Книжной палате..., с. 19). Итак, ц-сл. слово *кутина* признается сербизмом; "русский" язык не противопоставляется здесь ц-сл. языку и, таким образом, эпитет *сербский* указывает здесь на противопоставление рус. извода ц-сл. языка и его юж-сл. изводов.

Осмысление рус. извода ц-сл. языка как наиболее "чистого" непосредственно связывается при этом с особой миссией России. Россия воспринимается как единственная хранительница православной и вместе с тем славянской культурной традиции, от которой в той или иной мере и по разным причинам отпали все другие славянские народы. В грамматических сочинениях XVI–XVII вв. констатируется, что, если ранее у славян была одна вера и одна грамота, то теперь эта вера и эта грамота сохраняется только у русских. Так, в одном таком сочинении читаем: "...егда вси единокупно бѣша словяне, пріѣша крещеніе і писмена от грѣкъ, тогда вси единые грамоты держашася. і ꙗко минувшим многым лѣтом, и паки разлучишася на части ради держав'ствъ і несоединеніа вѣроу и грамотою". Наряду с славянами-каатоликами, которые приняли "писмена і вѣру от римлянъ", здесь называются и православные славяне ("сербь, словяне и бол'гары"), которые приняли "писмена грѣческыя". Всем прочим славянам противопоставляются русские как хранители истинной веры и ц-сл. языка: "...а русіа даже и до нѣе держать писмена словен'ская, а вѣра у нихъ едина грѣческаа, ꙗкоже і сперва предана вѣмъ словяном" (Ягич, 1896, с. 409).

Со второй пол. XVI в. в грамматических сочинениях встречаются протесты против юж-сл. орфографии. Так, в "Грамматике" нач. XVII в. читаем: "Да не в'пишем аза вмѣсто а, хотяще единственый разумъ в рѣчь тѣм ꙗвити в сицевых: *моа дѣша*; но да пишем: *моа дѣша*" (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 2, ср. еще л. 21–21 об.) – как видим, здесь отвергается тот способ противопоставления ед. и мн. числа, который развивается на рус. почве в результате второго юж-сл. влияния (см. 12.2). В другом сочинении ("Сила существу книжнаго писма") юж-сл. форма *бѣхѹ* признается "нелѣпой": "Ты же пиши *бѣхѹ*. и се есть блѣгоугодно употребленіе" (Ягич, 1896, с. 430).

Важная роль в процессе обособления рус. извода ц-сл. языка от юж-сл. изводов принадлежит Максиму Греку - ученому книжнику, приглашенному в Московскую Русь в 1518 г. с Афона для перевода Толковой Псалтыри (этот перевод был завершен к 1521-1522 гг.). Максиму Греку принадлежит и ряд других переводов с греческого (он переводил также и с латыни): в период работы над переводом Толковой Псалтыри он перевел также часть Апостольских Деяний с толкованиями (в 1519-1520 гг.). Позднее Максим Грек перевел Псалтырь без толкований (в 1552 г.), Житие Богородицы Симеона Метафраста и некоторые другие тексты. После окончания работы над Толковой Псалтырью, в 1522 г. Максиму было поручено исправление богослужебных книг, и он исправил Цветную Триодь, Часослов, Псалтырь, Евангелие и Апостол (сохранилась рукопись Псалтыри конца XV в., в которой находятся многочисленные исправления лексического, синтаксического, а также орфографического характера, сделанные рукой Максима Грека - ГБЛ, ф. 304, № 315; ср. Сеницына, 1977, с. 13); таким образом, Максим Грек оказал существенное влияние на нормализацию рус. извода ц-сл. языка. Максим Грек был связан с такими известными рус. книжниками, как Вассиан Патрикеев, Дмитрий Герасимов (переводчик Посольского Приказа), Курбский; он обучал рус. книжников греч. языку (в частности, Нила Курлятева и старца Сильвана).

Естественно, что Максим Грек выступал против южнославянизмов - идея ориентации на греч. язык через юж-сл. посредство ему, как греку, была, конечно, чужда, и он пытался писать языком, принятым у русских. Соответственно, характеризуя перевод Псалтыри 1552 г., Нил Курлятев в упомянутом уже предисловии противопоставляет Максима Грека митрополиту Киприану и утверждает, что в переводе Максима "отнюд нѣтъ рѣчей по серб'ски или болгарски, но все по нашему языку прямо з' греческаго языка и без украшеніа" (Ковтун, 1975, с. 97-98). Правда, в автографах Максима Грека мы наблюдаем южнославянизмы: так, он этимологически правильно употребляет *ж*, он нередко распределяет *ъ* и *ь* в соответствии с юж-сл. орфографией (*ъ* в середине слова, *ь* - в конце) и пишет *ъ* после плавного (Соболевский, 1903, с. 263; Ковтун, 1975, с. 189-190). Это объясняется тем, что еще до приезда в Москву Максим был знаком с ц-сл. языком юж-сл. извода, а возможно знал и болгарский разговорный язык (Соболевский, 1903, с. 263; Сперанский, 1960, с. 178). Тем не менее, оказавшись в Москве, он увидел отличия рус. извода ц-сл. языка от юж-сл. изводов и естественно захотел переводить именно на рус. извод. Иногда он отказывается при этом от высокой книжной лексики, поскольку она совпадает с лексикой юж-сл. ц-сл. языка, т.е. это объясняется именно отталкиванием от южнославянизмов и стремлением писать на собственно рус. литературном языке (ср. цитированные выше слова Нила Курлятева о том, что Максим Грек перевел Псалтырь "по нашему языку ... без украшеніа").

13.3. Реакция на греч. влияние в Московской Руси. Итак, Максим Грек выступает против южнославянизмов, стремясь писать на рус. ц-сл. языке. Одновременно он выступает и против грецизмов, т.е. заимствований из греческого и буквального калькирования греч. слов и выражений, как это характерно для рус. книжников, ориентирующихся на греч. культурную стихию: понятно, что просвещенному греку такой буквализм казался бессмысленным. Эта тенденция также находит поддержку у рус. книжников.

Характерно, что в это время широко расходуется в списках рассуждение Иоанна Экзарха болгарского (X в.) в предисловии к его переводу "Богословия" Иоанна Дамаскина. В этом рассуждении Иоанн говорит о несходстве грамматических структур ц-сл. и греч. языка, иллюстрируя их различие прежде всего несовпадением рода у греч. и славянских слов с одним и тем же значением ((Ягич, 1896, с. 35). Протестуя против дословных переводов с греческого, Иоанн призывает исходить из смысла ("разума") переводимого текста, а не из его формы: ц-сл. язык не должен быть слепком с греч. языка. Тем самым, в сущности, утверждается право ц-сл. языка на самостоятельное существование. Именно это и делает актуальным данное сочинение для рус. книжников XVI-XVII вв.: это рассуждение попадает в множество рукописей этого периода (Ягич, 1896, с. 670). Непосредственное влияние сочинения Иоанна Экзарха усматривается и в ряде оригинальных рус. сочинений, в которых эксплицитно утверждается автономность ц-сл. языковой нормы. Так, ученик и последователь Максима Грека старец Сильван заявляет: "Нѣсть бо, нѣсть лѣтъ по истиннѣ всячески премудрѣйшему оному послѣдовати языку [имеется в виду греческий], понеже обращается сопротивно; ни же бо роды, ни же времена, ни же скончанія подобна ея имѣють, но вся пременена. Сего ради разума паче всего искати подобаетъ, егоже ничтоже честнѣйше" (Ягич, 1896, с. 342). Таким образом, для Сильвана (как и для Иоанна Экзарха) важным является именно точная передача смысла ("разума"), и при этом он утверждает, что ц-сл. языка, не копируя греческого, способен адекватно передать то же содержание. Сочинение Иоанна Экзарха отражается и в челобитной инока Савватия (1660-х гг.). Вслед за Иоанном Экзархом Савватий утверждает: "Еллинской рекше греческой языкъ в' своемъ діалекте красенъ и честенъ, а во иномъ языцѣ не красенъ и безчестенъ" (ГИМ, Увар. 497/102, л. 13-13 об.; Три челобитные, 1862, с. 35-36).

Вполне закономерно, что в это время в России появляются первые протесты против иностранных заимствований, т.е. впервые обнаруживаются пуристические тенденции. Так, Досифей Топорков (племянник Иосифа Волоцкого) говорит в предисловии к отредактированному им в 1528-1529 гг. Синайскому Патерику (в скобках указываем варианты): "По благословенію (и повелѣнію) преосвященнаго архіепископа великаго Новограда и Пскова, владыки Макарія, азъ грѣшный Досифеѡсъ ѡсифитіе (Досифеосъ Осифитисъ) [т.е. Досифей Иосифлянин - он называет себя так по-гречески], преписахъ таковыя повѣсти и чюдеса, преже списавшихъ (спасавшихся) отецъ, ихъ же обрѣтохъ, яко солнце покровено потемненіемъ облакъ, или злато покровено прахомъ, старыми и иностранными пословицами, иная же смѣшана небреженіемъ и неисправленіемъ преписающихъ. И сего ради ни малу зарю не подаваху сладости прочитающимъ, того ради небрегоми и непрочитаеми бяху. Азъ же много время и прочитая множды, едва возмогохъ познати силу лежащую въ нихъ иностранныхъ пословицъ, преписахъ и преведохъ чисто, яко же отъ поселянскихъ рѣчей, неученая и неискусная (наученая и искусная) словеса, и Божиємъ поспѣшеніемъ отогнавъ (отъ нихъ) таковое потемненіе, и показавъ въ нихъ первые (прѣвыя) сладости зарю, яко да прочитающе таковыя (таковая) къ своей ползѣ приложитъ (приложатъ), и о моемъ оканьствѣ да воспомянутъ къ Богу. Яко да не точію не поставитъ ми таковая въ грѣхъ, но и к(ъ) пользѣ (къ) моей приложитъ; яко же (бо) они блаженіи отци написаша таковая словеса

не за что ино, но точію пользы ради прочитающимъ, тако и азъ грѣшный понудивъся, о б ѣ т-
ш а в ш а т а к о в а я с л о в е с а п о н о в и т и, не за что ино, (но) точію пользы ради
прочитающихъ, и елици погрѣшиша в(ъ) писаніи семъ в(ъ) жизни своей, потщимся отъ таковыхъ
сохраняти себе" (Смирнов, 1917, с. 149). Итак, Досифей протестует против "старых и ино-
странных пословиц", затемняющих смысл текста, т.е. против южнославянизмов и грецизмов;
Досифей познал значение таких слов ("силу, лежащую въ нихъ") и перевел их "чисто", т.е.
на чистый рус. литературный (ц-сл.) язык. Одновременно он перевел "отъ поселянскихъ рѣчей
на ученая и искусная словеса", т.е. "чистый" язык отталкивается от разговорного.

Как это ни парадоксально, процесс отталкивания от греч. эталона также может быть
связан со вторым юж-сл. влиянием. С одной стороны, юж-сл. влияние, как мы уже говорили,
связано с ориентацией на греч. культуру, юж-сл. традиция служит посредником в греческо-
рус. культурных контактах, и именно это обстоятельство является исходным фактором для рус.
книжников (см. 9.3). С другой же стороны, из юж-сл. книжности в России заимствуется пред-
ставление о самостоятельном достоинстве ц-сл. языка, независимом от греческого.

Если в свое время - в эпоху полемики с триязычной ересью, столь актуальной для Ки-
рилла и Мефодия, - обсуждалось само право на существование ц-сл. языка, т.е. его до-
пустимость в богослужении, то теперь на повестке дня его достоинство (*dignitas*), т.е. то,
что он никак не уступает греческому и может даже превосходить его. Ц-сл. язык рассматри-
вается при этом не просто как система коммуникации, но как средство выражения богооткро-
венной истины.

Такое восприятие обусловлено процессами стабилизации языковой нормы; вместе с тем,
оно усваивается русскими от южных славян, приходя с вторым юж-сл. влиянием. В частности,
в это время на Руси появляется рассуждение "О писменех" черноризца Храбра, где содержится
полемика с триязычной ересью и одновременно утверждается, что ц-сл. язык святее грече-
ского, поскольку ц-сл. язык создан святыми апостолами (Кириллом и Мефодием), а греческий
- язычниками; "Тѣм же словѣн'скаа писмена стѣиши сѣт[ь] и чѣстѣиша. стѣ бѣ мѣжъ ство-
рилъ ꙗко ис[тъ], а грѣчьскаа еллини погани ... Аще бо въпросиши книгъчиа грѣчьскыа гл҃а. кто
вы естъ писмена створилъ, или книги прѣложилъ, или въ кое врѣмѣ, то рѣд'ціи ѿ нихъ вѣ-
дать. аще ли въпросиши словѣн'скыа боукара гл҃а. кто вы писмена створилъ естъ, или книги
прѣложилъ, то вси вѣдать. и ѿвѣщавше рекътъ. стѣи константинъ философъ нарицаемый ки-
рилъ. тѣ намъ писмена створи и книги прѣложи. и мефодіе братъ его" (Ягич, 1896, с. 11;
Куев, 1967, с. 190-191). В "Слове святого Кирилла философа учителя словеньску языку",
представляющем собой болгарскую переделку сочинения Храбра и дошедшем в рукописи XIII-
XIV вв., говорится, что, если сойдутся два священника, болгарский и греческий, литургия не
должна совершаться по-гречески, но либо на ц-сл. языке, либо на двух языках, "понеже стѣ
есть българска литоургия, стѣ бо мѣжъ ставы ꙗко" (Ягич, 1896, с. 17; Куев, 1967, с. 170).
Точно также и представления о Москве - Третьем Риме имеют юж-сл. корни, т.е. юж-сл. идея
получает рус. реализацию: в юж-сл. апокрифических сочинениях XIV в. говорится, что "първо
цр҃тво грѣчьско, в [второе] алеманско, г [третье] цр҃тво българско" (Поуп, 1975).

Сочинение Храбра получает необычайную популярность на Руси и широко расходуется в списках. Его цитируют рус. книжники как в Моск., так и в Ю.-З. Руси. Так, уже Епифаний Премудрый в Житии Стефана Пермского утверждает вслед за Храбром: "Русская грамота честнѣйши есть Еллинскіѣ: святѣ бо мужь сътворилъ ю есть, Кирила реку философа; а Греческую алфавиту Елині некрещени, погани суще, составлявали суть"; соответственно, он считает, что и пермская грамота, составленная св. Стефаном Пермским, по тем же причинам святее греческой (Кушелев-Безбородко, IV, с. 153). Аналогичные рассуждения находим и в других др.-рус. сочинениях о языке, см., например, предисловие к греч.-рус. и татарско-рус. словарям XV–XVI вв. (Симони, 1908, с. 6), трактат "О свитци книг" в рукописи нач. XVI в. (Куев, 1967, с. 223–225, ср. еще с. 178–179), а также "Книжку" Иоанна Вишенского (Вишенский, 1955, с. 24). При этом, если черноризец Храбр говорит о "словенской" грамоте, то Епифаний Премудрый и следующие ему рус. книжники говорят о "русской" грамоте, имея в виду ц.-сл. язык рус. редакции.

Отголоски сочинения Храбра мы встречаем и в рус. рассуждении "О еже како просодия достоит писати и глаголати", дошедшем до нас в рукописях XVI в., где говорится: "многом бо греческіи языкъ в' пословицах скуднѣиши словен'скаго языка, и свидѣтель сему азбука, в' греческой азбукѣ. кѣд. [24] писмен, а в словенской азбукѣ ли [38] писмен. и греческой с численными і двоегласными .ли. [38] писмен, а словенской с прикладными .мв. [42] ... от сего есть всяко гвѣ, яко словенскіи языкъ пространнѣиши есть греческаго" (Ягич, 1896, с. 457). Совершенно так же инок Савватий, противник никоновских реформ, противопоставляет затем в своей челобитной царю Алексею Михайловичу (1660-х годов) "природный и пространнѣиши", "широкий и велесловный" ц.-сл. язык "греческому тесному" языку (ГИМ, Увар. 497/ 102, л. 13–13 об.; Три челобитные, 1862, с. 35–36). В основе данного рассуждения лежит мысль Храбра, который говорит, что Кирилл создал славянскую азбуку из 38 букв, по образцу греч. азбуки, включающей дифтонги (двогласные) и числительные (буквы, обозначающие цифры) – Храбр пишет, что в греч. азбуке 24 простых буквы, 11 двогласных и 3 буквы, обозначающие числа 6, 90 и 900. Ср. риторический вопрос Савватия: "Некли [т.е. негли] гдрѣ туне грамота з' греческаго языка на славенской преложена и счинена своя азбука, прибавлены в ней потребы ради перед греческою азбукою многие лишние буквы" (ГИМ, Увар. 497/102, л. 13 об.; Три челобитные, 1862, с. 36).

Эпитет "тесный" в применении к греч. языку, возможно, восходит к эпитету "скупой", который мог употребляться в значении "лаконичный, насыщенный, информативный". Так, "скупым" называет греч. язык афонский инок Исаия, серб по происхождению и явный грекофил, о котором мы упоминали выше (см. 9.2). Говоря в предисловии к своему переводу Псевдо-Дионисия Ареопагита о "тяжести прелагания" "от многопремудраго и художнаго, зѣло скупаго ел'линскаго языка в нашъ языкъ", Исаия замечает: "Греческий бо языкъ ово убо от Бога исперва художень и пространъ быс[тъ] овож[е] и от различных по временех любомудрець ухищрень бысть. Нашъ ж[е] словен'скы языкъ от Бога добръ сътворень быс[тъ], понеж[е] вся елика створи Богъ зѣло добра, нъ улишеніемъ любоученіа любочствых слова мужей хитрости якож[е] онъ не удостои ся" (Востоков, 1842, с. 161; ВМЧ, октябрь, стлб. 263). Итак, по мысли Исаии, ц.-сл. язык не уступает греч. языку в достоинстве, но уступает ему в нормированности – ему недостает лишь "хитрости" (греч. τέχνη), чтобы быть совершенно равноправным с греческим. Эпитет "скупой" означает, таким образом, в этом контексте "ухищенный" и именно эта характеристика греч. языка может отра-

жаться в цитированном заявлении инок Савватия, где она подвергается переосмыслению. Как бы то ни было, у Савватия эпитет "тесный" явно употребляется в отрицательном значении.

Сходным образом и протопоп Аввакум цитирует Храбра, обращаясь к царю Алексею Михайловичу: "Вѣдаю разумъ твой; умѣешь многи языки говорить: да што в том прибыли? ... воздохни-тко по старому... и рцы по рускому языку: Господи, помилуй мя грѣшнаго! А кирѣ-леисон-отъ оставь; так елленя говорятъ; плюнь на нихъ! Ты вѣдь, Михайлович, русакъ, а не грекъ. Говори своимъ природнымъ языкомъ; не унижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Какъ насъ Христосъ научилъ, такъ и подобаетъ говорить. Любить насъ Богъ не меньше греков; предал намъ и грамоту нашимъ языкомъ Кириломъ святымъ и братомъ его. Чево же намъ еще хочется лутче тово? Развѣ языка ангельска? Да нѣтъ, нынѣ не дадутъ, до общаго воскресенія" (РИБ, XXXIX, стлб. 475). То, что ц-сл. книги переведены святыми, является для Зиновия Отенского аргументом против исправлений Символа веры, предложенных Максимом Греком (Зиновий Отенский, 1863, с. 961–967).

К сочинению Храбра ближайшее отношение имеет оригинальное рус. сочинение, известное под названием "Сказание о славянской письменности", которое вошло в состав Толковой Пален 1494 г. Рус. грамота, наряду с рус. верою, признается здесь богооткровенной, независимой от греч. посредства: "еже вѣдомо всѣмъ людемъ буди, ꙗко рускій ꙗзыкъ ни откуду приѡ вѣры сѣѡ сеѡ, и грамота руская нѣкимъже ꙗвлѣнна. но токмо самимъ Бѣгомъ вседеръжителемъ, ѡцемъ и сѣномъ и сѣымъ дѣомъ. Володимеру дѣхъ сѣѡ вѣдохнулъ вѣру приѡнати. а крещеніе от грекъ... а грамота руская ꙗвлѣнна Бѣгомъ и дана въ Корсунѣ русину. от негоже научисѡ Костѡнтинъ Философъ. оттуду же сложив и написавъ книги рускимъ ꙗзыкомъ ... той же мужъ живѡше благовѣрно. постомъ мѣлтвами въ чистой вѣры. единъ от рускаго ꙗзыка ꙗвисѡ прежде хрістіѡны. невѣдомъ же никимъ отинюд [т.е. откуда] естѡ" (Мареш, 1963, с. 174–175). Соответственно, наряду с "русским" (т.е. ц-сл.) языкомъ появляется и "русская" (т.е. православная) вера - поскольку Русь воспринимается как хранительница православия, православная вера называется русской.

Так, казначей Иверского монастыря Никон, донося в сер. XVII в. об уходе из монастыря прежней братии и о поселении там кутейнских иноков, замечает: "А священника у насъ в монастыре нашѡя русскія вѣры нѣту ни единаго" (Каптерев, II, с. 10). Итак, понятие русской веры ограничивается православием Моск. Руси: даже представители Ю.-З. Руси не принадлежать "русской вере".

В другом сочинении читаем: "Вопросъ: Рече Еѡангелистѡ Лука: да открыетѡся отъ многыхъ сердець по мысли челоѡкомъ. Толкъ: Открѡйсѡ разбойнику на крестѣ рай, а Логину сотнику и Клеопѣ и Луцѣ въ преломленіи хлѣба. Стефану и Петру во отверженіи, Фомѣ въ осязѡнии, Павлу идущѣ въ Дамаскъ, и прочимъ всѣмъ языкомъ вѣровати во Христа; и открыйсѡ послѣди всѣхъ Русскому языку вѣровати во Отца и Сына и Святаго Духа, а не бывшу никому же апостолу въ Русской земли, но по истинѣ Русскому языку милость Божіѡ открысѡ" (Цветник XVI в., ГИМ, Син. 687, л. 25 об., см. Буслаев, 1859, с. 76). Слово "язык" в данном случае имеет, по-видимому, прежде всего этнический смысл, однако мысль о избранности рус. народа ближайшим образом соответствует мысли о избранности "русского" (ц-сл.) языка, которая звучала в приводившихся выше цитатах: то и другое в принципе неразлично.

Об отрицательном отношении к греч. языку говорит характерное обвинение, выдвинутое в Москве в 1650 г. против Федора Ртищева, когда москвичи "меж себя шептали: учится де у киевлян Федор Ртищев греческой грамоте, а в той де грамоте и еретичество есть" (Каптерев, 1913, с. 145, примеч.; о Ртищеве и его школе см. ниже, 16.3). Котошихин (л. 25) свидетельствует, что в Московской Руси, наряду с латинским или немецким языками, царевичей не учили и греч. языку. Попытки организовать в Москве преподавание греч. языка вплоть до реформ патриарха Никона успеха не имели (см. о таких попытках: Белокуров, 1888, с. 22 сл.; Каптерев, 1885, с. 477 сл.; Каптерев, 1889; Каптерев, 1913, с. 100–104; Бороздин, 1898, с. 29–31).

Это отношение к грекам распространяется на все области книжной и вообще церковной культуры. Так, подобно тому как грамота признается возникшей на Руси самостоятельно, независимо от греч. посредничества, и церковное пение осмысливается теперь как явление собственно рус., а не греч. происхождения. Безымянный автор "Предисловия, откуда и от коего времени начася быти в нашей Рустей земли осмогласное и на оба лика в церкви пети", дошедшего до нас в рукописи XVII в., говорит: "Аще убо рекут к нам прочии иноязычницы, от прочих окрестных правоверных стран - откуда убо вы взясте сие осмогласное пение? - мы же к ним отвечаем... при нем же [князе Ярославе] убо, еже написано в нашей русской Степенной книге... приидоша из грек в Киев три певцы искусни вельми знаменному и троестрочному прекрасному демественному пению и от них разсеяся по всей русской земли. Нам же убо мнится, яко и се не истинна есть, понеже во всех греческих странах и в Палестине, и в Киеве, и во всех тамошних великих обителях пение от нашего пения отлично, поют по подобию мусийского согласия... А нашему русскому пению и погласице они дивятся, что с их пением и погласицею не сходится... А мним мы грешни, что наше русское осмогласное знаменное и троестрочное пение своею погласицею изложено некоими премудрыми русскими риторами... А еже рещи о сих трех греческих певцах, осмогласного знаменного и путного и демественного и троестрочного их пения, русские философы у них не приняли и не училися, из их знаменных переводов ничего не писали. Потому их греческие и киевские погласицы и переводы с нашими русскими попевками и с погласицею, и с переводы не сходятся" (Бражников, 1974, с. 126–127). Не менее показательны прения о вере, которые в 1650 г. вел с греками Арсений Суханов. На вопрос греков "откуда жъ вы [русские] вѣру прияли? Ведь от нас?", Арсений отвечал: "мы вѣру прияли от Бога, а не от вас". Затем "паки греки рекли: крещение вы прияли от нас грековъ? И Арсений говорилъ: мы крещение изначала прияли от апостола Андрѣя, а не от вас". В свою очередь, и Арсений спрашивает греков: "скажите ми вы, греки, про себя: от ково вы крещение прияли? И архимарит Филимонъ говорилъ: мы крещение прияли от Христа, и от апостолъ и от Якова брата Божия. Арсениі говорилъ: то вы неправду говорите... А крещение вы прияли... от апостола Андрѣя и от прочих... и мы крещение в тож время прияли от апостола, какъ и вы, а не от вас греков" (Белокуров, II, прилож., с. 40–42). Следует подчеркнуть, что такое отношение к грекам характерно именно для Моск. Руси, но отнюдь не присуще Ю.-З. Руси. Знаменательно в этом смысле, что в цитированном выше рассуждении о происхождении рус. церковного пения Киев относится к греч. культуре и противопоставляется Москве. Такое восприятие приобретет особую актуальность в период третьего юж.-сл. влияния (см. 16.2).

Еще более показателен диалог гречанина Ивана с неким Пахомом, о котором мы знаем из письма Ивана к кн. В. В. Голицыну (конец XVII в.): "И прошлого года говорил я Пахому: смотри, бедные греки, которые под агаряны, хранят веру свою честно и догматы православия, которое постановили святые отцы, держат непоколебимо... И он мне говорил так: я де накладу на веру греческую пред многими людьми" (Доп. к АИ, XII, с. 201, № 17). Показательно, что православие у греков именуется "греческой верою", явно противопоставляясь при этом подлинному православию русских, т.е. "русской вере".

В соответствии с таким восприятием ц-сл. язык признается теперь полностью - во всех отношениях - равноправным греческому и именуется сладчайшим и т.п. Так, старец Сильван (XVI в.), ученик и сотрудник Максима Грека, называет последнего мужем мудрым "во всѣхъ трехъ языцѣхъ, въ еллинскомъ глаголю и римскомъ и въ сладчайшемъ мнѣ рускомъ" (Ягич, 1896, с. 340) - тем самым рус. (ц-сл.) язык оказывается в числе основных священных языков; если раньше таковыми считались еврейский, греческий и латынь, то теперь в этом качестве выступают греческий, латинский и "русский". Тот же эпитет (*сладчайший*) мы находим затем у Спафария, который также говорит о "сладчайшем ми русском языке" (Спафарий, 1978, с. 143, 147). Если в свое время инок Исаия (серб) считал, что ц-сл. язык, не уступая греч. языку в достоинстве, уступает ему в нормированности (см. выше), теперь ставится вопрос именно о нормированности ц-сл. языка, что естественно связано с его кодификацией.

Мысль о том, что церковнославянский, греческий и латынь являются тремя сакральными языками, развивает впоследствии Федор Поликарпов в предисловии к славяно-греко-латинскому "Трехязычному лексикону": "Три языки повѣствуетъ писаніе бжтвенное бывшія на кртѣ ^сспсителя нашего Хрта Гда, еврейскій, греческій и латинскій. Тайна поистиннѣ сокровенна в' семь трехязычїи. Ибо еврейскій языкъ есть языкъ сѣ, греческій языкъ есть языкъ премудрости, латинскій языкъ есть языкъ единоначалствїя". Поликарпов ссылается на трехязычную надпись на кресте, на котором распят Христос, определяющую сакральный характер еврейского, греческого и латинского языков. Вместе с тем он считает, что в настоящее время еврейский язык уступил место "славенскому", т.е. ц-сл. языку: "Юже древле бжтвенное писаніе воспѣ похвалу Виѡлеемскому граду: и ты (рече) Виѡлееме земле Іудова, ничимже менши еси въ вѣлахъ Іудовыхъ [Мф. II, 8]. Тую похвалу мало нѣчто измѣнше, о языцѣ нашемъ славенскомъ, славѣ соименитомъ [имеется в виду этимология слова *славенский*], можемъ проповѣдати. И ты роде и языче славенскій, ничимже менши еси въ начальныхъ родѣхъ и языцѣхъ. Сей убо языкъ нашъ славы сѣна, или паче рещи оца, вмѣсто третїаго еврейскаго, в' семь лексиконѣ (рекше именъ собранїи) предпоставихомъ, и прочїимъ двоимъ, сїестъ греческому и латинскому присовокупихомъ, ꙗко да по подобїю онаго надписанїя, и кртнаго титла, тремъ языки триѡпостасный и единосущный бгъ прославляется" (Поликарпов, 1704, предисловие, л. 2-2 об.). Итак, Поликарпов исходит, в сущности, из трехязычного учения (с которым когда-то полемизировали Кирилл и Мефодий): в трех языках он видит манифестацию Троицы. Поэтому ц-сл. язык заменяет еврейский, объединяясь с ним по признаку святости.

В других случаях может сохраняться та же трехязычная схема, однако ц-сл. язык ставится не на место еврейского, а на место латыни. Так, в приветствии учеников Московской академии патр. Адриану по случаю его вступления на патриарший престол (24 августа 1690 г.) говорилось: "...радуется и нашъ языкъ, и праведно, зане еще еврейскій языкъ превозносится, ибо имъ Богъ Адаму глагола и Божественное Писаніе

написася; аще еллинскій языкъ славится, ибо имъ прекрасншія науки и художества написася; точнѣ можетъ и нашъ славенскій языкъ хвалитися нынѣ, зане имъ прославляется святѣйшее подлежащее блаженства твоего" (Смирнов, 1855, с. 31). Ц-сл. язык выступает здесь вместо латыни - если латынь является языком римского папы, то ц-сл. является языком патриарха.

13.4. Размежевание культурно-языковых традиций Московской и Ю.-З. Руси: великорус. и югозападнорус. изводы ц-сл. языка. Второе юж-сл. влияние имеет неодинаковую судьбу в Моск. и Ю.-З. Руси. Если в Моск. Руси мы наблюдаем реакцию на второе юж-сл. влияние, которая во многом возвращает московский ц-сл. язык к его прежнему состоянию, то в Ю.-З. Руси, где продолжался непосредственный контакт как с южными славянами, так и с греками (см. 13.1), второе юж-сл. влияние имеет гораздо более органический характер; соответственно, "в московской письменности первой половины XVI в. югославянские особенности представлены уже непоследовательно, как пережиток. Во второй половине XVI в. московская письменность уже свободна от югославянской орфографии, между тем как западная и юго-западная страдает ими весь XVI в. и еще в начале XVII в." (Щепкин, 1967, с. 133). Так, например, в великорус. письменности в XVI в. совершенно исчезают *ж*, сочетания *рѣ*, *лѣ* вместо *ор*, *ол*, сочетание *аа* вместо *ала*; между тем, в Ю.-З. Руси еще и в XVII в. мы встречаем в печатных книгах написания типа *Срѣ́гій* (Сергий), *прѣ́вый* и т.п. Равным образом, в Ю.-З. Руси закрепляется особая традиция произношения иноязычных слов (включая сюда и грецизмы), а именно произношение начального *е* без йотации, которое в результате второго юж-сл. влияния может передаваться особой буквой *э*; произношение взрывного [g], противопоставленного фрикативному [ɣ] в прочих ц-сл. формах, которое передавалось на письме сочетанием *кг* или особой буквой *г* (последняя буква встречается с конца XVI в. и называется греч. именем "гамма" в отличие от буквы *г*, называемой "глаголь"; сочетание *кг* наблюдается со второй пол. XIV в.); особым образом читалась здесь и *θ*, а именно как сочетание [ft], что также, видимо, обусловлено вторым юж-сл. влиянием; наряду с этим на Украине существовало и специфически книжное (ученое) произношение фиты в виде спиранта, более или менее приближающееся к греч. произношению теты (Успенский, 1969, с. 250-252; Успенский, 1975, с. 182-183).

Различия ц-сл. традиции в Моск. и Ю.-З. Руси, таким образом, в значительной степени обусловлены характером рецепции второго юж-сл. влияния. Это различие удобно проиллюстрировать на материале акцентуации специфически книжной лексики - например, ц-сл. форм собственных имен. Рассмотрение собственных имен дает вообще особенно наглядную картину в связи с предельно отчетливым противопоставлением здесь канонических (ц-сл.) и неканонических форм. Действительно, если в именах нарицательных ударение обусловлено обычно этимологическими рефлексам и лишь отчасти позднейшими нормами произношения, то в личных собственных именах, вследствие их специфики, а также ввиду обычного отсутствия здесь непосредственных этимологических связей (как это характерно вообще для заимствованной лексики), ударение определяется главным образом нормой произношения, имеющей более или менее условный характер. Канонические, т.е. ц-сл. формы собственных имен в Моск. и Ю.-З. Руси обнаруживают вообще значительные различия в ударении (см. Успенский, 1969). Эти раз-

личия очень часто обусловлены именно различным отражением второго юж-сл. влияния: в целом ряде случаев югозападнорус. форма имени отражает юж-сл. акцентовку, тогда как великорус. форма сохраняет ударение, свойственное древнейшему периоду (т.е. периоду первого юж-сл. влияния). Так, например, в XVI-XVII вв. в Моск. Руси мы встречаем ударения *Миха́ил*, *Саму́ил*, *Ману́ил*, *Исма́ил*, *Миса́ил*, *Нафанáил*, *Ио́иль*, *Иезеки́иль*, а в Ю.-З. Руси *Миха́йл*, *Саму́йл*, *Ману́йл*, *Исма́йл*, *Миса́йл*, *Нафанáйл*, *Ио́иль*, *Иезеки́иль*; в Моск. Руси показаны формы *Пантелéи-мон*, *Три́фон*, *Соло́мон*, а в Ю.-З. Руси - *Пантелеи́мон*, *Трифóн*, *Соломóн*; в Моск. Руси каноническими являются формы *Козмá*, *Прóхор*, *Максím*, *Ники́фор*, *Йов*, тогда как в Ю.-З. Руси - формы *Кóзма*, *Прохóр*, *Мáксим*, *Никифóр*, *Йóв*; в Моск. Руси имена *Петр*, *Флор* и *Лавр* имели в косвенных падежах ударение на флексии (например, в род. падеже, *Петрá*, *Флорá*, *Лаврá* и т.п.), а в Ю.-З. Руси - ударение на основе (например, *Пéтра*, *Флóра*, *Лáвра* и т.п.). Во всех этих случаях великорус. ц-сл. форма соответствует старой норме произношения, предшествующей второму юж-сл. влиянию, тогда как соответствующая ю-з-рус. форма появилась в процессе второго юж-сл. влияния и совпадает с юж-сл. формой (необходимо оговориться, что в Ю.-З. Руси, где не было единой ц-сл. нормы, могут встретиться и формы с ударением, соответствующим великорус. произношению; мы приводим специфические ю-з-рус. акцентные формы). Подчеркнем, что юж-сл. форма может расходиться с греческой - так, формы *Кóзма*, *Фóма*, *Иоáким*, появляющиеся на Руси в процессе второго юж-сл. влияния не соответствуют по ударению греч. формам тех же имен, но, тем не менее, именно юж-сл., а не греч. форма воспринималась на Руси как правильная.

Существенно отметить, что в Ю.-З. Руси юж-сл. по своему происхождению акцентные формы отразились в ряде случаев и в живой разговорной речи, явно пройдя через ц-сл. посредство; это опять-таки указывает на более органический характер второго юж-сл. влияния в Ю.-З. Руси - если в Моск. Руси акцентные знаки, появляющиеся в ц-сл. памятниках в результате второго юж-сл. влияния, были чисто орфографическим явлением (поэтому после реакции на второе юж-сл. влияние в великорус. памятниках появляются примерно те же акценты, которые были до него, т.е. орфография приводится в этом отношении в соответствие с орфоэпией; ср. 10.3), то в Ю.-З. Руси акцентные знаки в каких-то случаях могут иметь фонетический характер. Так, следы юж-сл. влияния могут быть обнаружены в таких разговорных формах, как белорус. *Трыпóн*, укр. *Михихвóр*, белорус. *Прахóр* и т.д.: подобные формы соответствуют по ударению как юж-сл. формам, так и ц-сл. формам Ю.-З. Руси. В других случаях украинские или белорусские формы могут соответствовать юж-сл. формам при том, что мы не находим для них соответствия в ц-сл. формах Ю.-З. Руси XVI-XVII вв. (сюда относится, например, укр. *Хóма* ~ *Фóма*, белорус. *Тимíш* ~ *Тимóх*, *Свирíд*, ср. юж-сл. *Фóма*, *Тимóфей*, *Спирíдон*); это указывает на тот глубокий след, который оставило второе юж-сл. влияние в Ю.-З. Руси - даже в тех случаях, когда ц-сл. норма не сохранила юж-сл. ударений, эти ударения проникли в народную речь (Успенский, 1969).

В одной группе имен мы наблюдаем обратное явление: юж-сл. влияние отражается в великорус. формах канонических имен, и не отражается в ю-з-рус. формах XVI-XVII вв. Речь идет о некоторых именах на *theo*, которые в великорус. традиции имеют ударение на втором

слоге от начала (*Ѡеоѡан, Ѡеоѡил, Ѡеоѡност*), а в ю-з-рус. традиции - на последнем слоге (*Ѡеоѡѡн, Ѡеоѡѡил, Ѡеоѡѡност*). Ударение на *Ѡеоѡ-*, так же как и ударение на *-ѡил*, появляющееся со вторым юж-сл. влиянием, определяется тем, что соответствующие компоненты (*Ѡеоѡ-*, *-ѡил*) означают "Бог" (в одном случае по-гречески, в другом - по-еврейски); соответственно, данные формы представляют собой результат искусственного грамматического осмысления иноязычной формы славянскими книжниками. Точно так же в юж-сл. текстах, как и в текстах, окрашенных непосредственным юж-сл. влиянием, мы встречаем - по той же причине - ударение на сочетаниях *Дѡо-*, *Иѡо-* в именах, начинающихся таким образом, что объясняется аналогичным значением соответствующего элемента (*Дѡѡнисѡе, Иѡѡкимѡ* и т.п.). Следует отметить, что исходная греч. форма в этих случаях может отличаться от южнославянской (ср. греч. *Ѡеоѡѡνης, Δѡѡνύσιος, Ἰѡѡχѡίμ*), т.е. данные формы искусственно образованы славянскими книжниками.

Различие между ц-сл. редакциями Моск. и Ю.-З. Руси не объясняется, однако, исключительно за счет второго юж-сл. влияния. Еще до второго юж-сл. влияния существовали, как мы уже знаем, региональные варианты ц-сл. языка на Руси, которые, однако, не составляют особых изводов ц-сл. языка, а являются вариантной реализацией одной и той же нормы. Для периода первого юж-сл. влияния мы можем выделять специфические признаки, характерные для рукописей того или иного региона и не являющиеся при этом отклонениями от ц-сл. нормы - таковы, например, написание *жч*, отражение "нового *ѡ*" или "нового *о*" в галицко-волинских памятниках и т.д. (см. 7.2; 7.8.2; 7.9). Однако соответствующие признаки не являются обязательными в рукописях данного региона и вместе с тем признаки, характерные для одного региона, не связаны между собой (в том смысле, что наличие одного признака не предполагает с обязательностью наличия другого), т.е. не складываются в особую местную норму, противопоставленную какой-либо другой норме в пределах рус. ц-сл. языка.

Между тем, после второго юж-сл. влияния оформляются особые нормы Моск. и Ю.-З. Руси, и сам факт этого размежевания обусловлен вторым юж-сл. влиянием. Таким образом, региональные признаки оказываются связанными между собой в пределах одной местной нормы, и второе юж-сл. влияние выступает как катализатор этого процесса. Так, из регионального признака в конституирующий признак ю-з-рус. извода ц-сл. языка превращается произношение *ѡ* как [i] и *и* как [y] (в силу чего *и* и *ы* не различаются в чтении), между тем в Моск. Руси сохраняется старая традиция чтения *ѡ*, состоящая в различении *ѡ* и *е* по палатализованности предшествующего согласного (см. 7.8), и различение *и* и *ы*. Другим различием московской и ю-з-рус. нормы было произношение еров: еры произносились в виде редуцированных гласных звуков в Моск. Руси (см. 7.5.5), но никак не читались в Ю.-З. Руси. Соответственно, одно из отличий великорус. и ю-з-рус. букварей состоит в том, что в первых в числе слогов (складов), осваиваемых в процессе обучения чтению, фигурируют, наряду со слогами *ба, ва, бе, ве*, слоги *бѡ, вѡ, бѡѡ, вѡѡ*; между тем в ю-з-рус. букварях склады с ерами отсутствуют (Успенский, 1970, с. 99-100). Как видим, древняя орфоэпическая традиция в каких-то случаях представлена в ц-сл. норме Моск. Руси (например, различение *ѡ* и *е*), в других же случаях оно может сохраняться в традиции Ю.-З. Руси (ср., например, различение йотированного и нейоти-

рованного *е* в начале слова - см. 7.10.1). О книжном произношении Ю.-З. Руси можно, в частности, судить по изданиям богослужебных книг, в которых *ц-сл.* текст передается в польской транскрипции (см., например: Огилевич, 1671).

Различие между великорус. и ю-з-рус. изводами *ц-сл.* языка проявлялось и во фразовом ударении. Церковное произношение Моск. Руси сохраняет старые акцентологические закономерности, по которым в фонетических словах с энклитомеми (ср. 7.9) ударение падает на проклитику, т.е. здесь читалось *во́ вѣки, во́ имя, на́ землю, на́ небеси* и т.п. Между тем в Ю.-З. Руси произносилось *во вѣ́ки, во и́мя, на зѣ́млю, на небеси́* и т.п. (Дурново, 1969, с. 41). Это различие в произношении отражается и в постановке акцентов в великорус. и ю-з-рус. книгах, как рукописных, так и печатных: в московских книгах показан перенос ударения на предлог (*во́ вѣки* и т.п.), тогда как в книгах Ю.-З. Руси ударение в предложном сочетании стоит либо на имени (*во вѣ́ки*), либо как на имени, так и на предлоге (*во́ вѣ́ки*). Можно полагать, что за обоими написаниями, принятыми в Ю.-З. Руси, скрывается одно и то же произношение, однако в одном случае оно отражается на постановке акцентов, в другом - не отражается (поскольку постановка акцента подчиняется в этом последнем случае условным автоматическим правилам, вообще не ориентированным на произношение). Если в случае обозначения ударения только на предлоге (*во́ вѣ́ки*) или только на знаменательном слове (*во вѣ́ки*) акцентуация отмечает ударение на фонетическом слове, то в случае постановки ударения как на предлоге, так и на знаменательном слове акцентуация соответствует разделению слов по грамматическому принципу, отмечая ударение на слове как грамматически значимой единице; постановка ударений в последнем случае полностью обусловлена, по-видимому, графическим разделением слов, обозначенным пробелами, т.е. выступает как производное от графического словоделения.

Смотрицкий специально предписывает в своей грамматике "безпросодійна полагаема бывати" частицам *бо*, а также местоимениям *ми, мя, ти, тя, се, здѣ* и т.п., т.е. предписывает не ставить ударения над такими словами (Смотрицкий, 1619, л. Б/5-5 об.; Смотрицкий, 1648, л. 62 об.). Тем не менее в ю-з-рус. книгах можно встретить ударение и над такими словами, равно как и над предлогами (примером может служить киевская Цветная Триодь 1631 г., изданная Тарасием Земкой). Относительно ударения в предложных конструкциях Смотрицкий не дает каких-либо указаний.

Ц-сл. норма Ю.-З. Руси представляется менее унифицированной, чем великорус. норма. Это объясняется наличием одного культурного центра в Моск. Руси (культурное значение Новгорода в это время сходит на нет), но нескольких центров - в Ю.-З. Руси. Это приобретает особенно большое значение с началом книгопечатания, которое вообще играет существенную роль в стабилизации *ц-сл.* языковых норм: в Моск. Руси книгопечатание сосредоточено в Москве, где все издания проходят специальное редактирование, в том числе и языковое (книжная справа), а в Ю.-З. Руси книги печатаются в различных культурных центрах (в Киеве, Вильне, Львове, Остроге и др.) и, таким образом, редактирование не носит сколько-нибудь последовательного и унифицированного характера; кроме того, они не обязательно издаются здесь с санкции церковных властей, что обуславливает большое число вариантов. В самом

общем виде можно было бы говорить об украинской и белорусской ц.-сл. традициях, которые, однако, отчетливо друг другу не противопоставлены.

Таким образом, после второго юж.-сл. влияния общерус. ц.-сл. норма распадается на две, внутри которых также допустимы определенные вариации. Однако специфические локальные признаки, допустимые в пределах той или иной нормы, не образуют системного целого, позволяющего выделять в этих пределах отдельные микронормы. Противопоставляются друг другу два крупных единства - ц.-сл. язык Моск. Руси и ц.-сл. язык Ю.-З. Руси.

Ввиду того, что ц.-сл. язык Моск. Руси был унифицированным в большей степени, чем это можно сказать о ц.-сл. языке Ю.-З. Руси, отношение между двумя изводами не было симметричным. Великорус. норма ц.-сл. языка была допустима и в Ю.-З. Руси, но не наоборот. Соответственно, в Ю.-З. Руси могли буквально воспроизводиться московские издания без каких-либо исправлений в языке. Так, Постная Триодь, изданная в Вильне (у Мамоницей) около 1609 г., в точности повторяет московское издание 1589 г. (печати А. Т. Невежи); точно так же святцы, изданные в Киеве в 1690 г., представляют собой точную перепечатку московских святцев 1648 г. Между тем, в Моск. Руси подобная перепечатка книг ю.-з.-рус. происхождения, - т.е. перепечатка с сохранением особенностей языка оригинала - была невозможна. Так, в Москве в 1641 г. был переиздан острожский Маргарит 1595 г.; в 1639 г. в приложении к мирскому Требнику было воспроизведено второе издание киевского Номоканона 1624 г. - в обоих случаях при переиздании была произведена правка языка.

Такое неравноправие ц.-сл. норм Моск. и Ю.-З. Руси обусловлено той тенденцией к культурному обособлению, о которой специально говорилось выше (см. 13.1). Моск. Русь воспринимает себя как единственную хранительницу православной традиции, что выражается, в частности, в отношении к ц.-сл. языку. Это отношение к традиции Ю.-З. Руси как к иноязычной традиции отчетливо проявляется, между прочим, в прениях игумена Ильи (московского Богоявленского монастыря) и справщика Григория с протопопом Лаврентием Зизанием, видным книжным деятелем Ю.-З. Руси, автором ц.-сл. грамматики и словаря. Зизаний в 1627 г. предложил издать в Москве составленный им "Катехизис", текст которого вызвал возражения московских книжников. По этому поводу состоялись прения в Московской книжной палате, которые были тогда же запротоколированы (Прения Лаврентия Зизания...; Заседание в Книжной палате...). В частности, москвичи упрекали Лаврентия Зизания в неправильном употреблении слова *собра* вместо *изведе*, искажающем, по их мнению, смысл в соответствующей фразе. На это Зизаний отвечал: "То де перевотчик погрешил, а не я; я де [т.е. Зизаний] писал: Отец Сына і Духа Святаго *изведе*, а не *собра*. И князь Іван Борисович [кн. И. Б. Черкасский, председательствующий на заседании] спросил Лаврентья: По литовскому де языку как вы говорите *собра*? И Лаврентіі сказал: тож и по литовскому языку *собра*. И потом спросил: А *изведе* как? И Лаврентей сказал: по нашему и *изведе*" (Прения Лаврентия Зизания..., с. 81; ср. Заседание в Книжной палате..., с. 4). Таким образом, оказывается, что "литовский" язык в данном случае вообще ничем не отличается от "русского", при этом очевидно, что формы *собра* и *изведе* относятся к ц.-сл. языку ввиду приставок *из-* и *со-* и аористой формы.

В "Грамматике" нач. XVII в. (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 1-22 об.) отмечается различие великорус. и "литовской" редакций ц-сл. языка, причем здесь же критикуется грамматика Лаврентия Зизания 1596 г. (л. 3-3 об., 21-22 об.), ср.: "В' просодіохъ і в' слозѣхъ литов'скія грамотичныя книгѣ словен'скаго языка тон'костному разуму не согласны. пишет бо в' грамматикахъ тѣхъ сице, в' *кѡн'ци* или *на кон'цѣ* строки [вместо в' *концѣ*]. і паки в'мѣсто *црѣю* пишет *црѣ*. в'мѣсто *прю* пишет *прѣ*. в'мѣсто *совѣтъю*, і *пол'зѣю*, і в'торѡй, пишет *совѣтъю*, *пол'зѣю*, в'торѡй, і ина многа не согласна словенску языку. не укоряя жъ Лаврен'тія, ниже себе мрѣйши того хотя гавити, в' сицевыхъ рекохъ здѣ. но да точію истиннѣйшее блгочтивымъ гавѣ будетъ" (л. 22-22 об.). Таким образом, различие между великорус. и ю-з-рус. нормой ц-сл. языка четко осознавалось в Моск. Руси.

Противопоставленность двух норм ц-сл. языка - великорусской и югозападнорусской - отчетливо проявилась при перепечатке в Москве в 1648 г. грамматики Мелетия Смотрицкого, первое издание которой вышло в Евъе около Вильны в 1619 г. Московские справщики (Иван Наседка и др.) последовательно исправляли первое издание, приводя его в соответствии с великорус. нормой. Таким образом, сопоставление изданий 1619 и 1648 гг. дает полную картину различий между двумя изводами (см. анализ этих различий: Булич, 1893; Горбач, 1964; до нас дошел "ковычный" экземпляр грамматики Смотрицкого, т.е. экземпляр первого издания этой грамматики с пометами московских справщиков - ЦГАДА, ф. 1251, № 141).

Расхождение между ц-сл. традициями Моск. и Ю.-З. Руси иллюстрирует, между прочим, следующий эпизод. Осенью 1627 г. московским книжникам игумену Илие (участвовавшему в том же году в прениях с Лаврентием Зизанием) и Ивану Наседке (выступившему впоследствии как редактор московского издания грамматики Смотрицкого) было поручено рассмотреть сочинение ю-з-рус. автора - "Учительное евангелие" Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, изданное в Рохманове в 1619 г. Автор этой книги, Кирилл Транквиллион, рассуждая на тему о воскресении Лазаря, цитирует Евангелие от Иоанна (XI, 14): "Тогда имъ рече Ісѣ не обинѣася, Лазарѣ оумрѣтъ" (Кирилл Транквиллион, 1619, ч. I, л. 63 об.). Форма *оумрѣтъ* представляет собой при этом форму аориста, которая нередко встречается (наряду с *оумрѣ* ~ *оумре*) в древнейших ц-сл. текстах (ср. *оумрѣтъ* ~ *оумрѣтъ* в Остр. ев. 1056-1057 г., л. 17в, 33в, 33г, 66а, 96г, 101г; *оумрѣтъ* ~ *оумреть* в Мстисл. ев. нач. XII в., л. 96, 16г, 26а). Существенно, что эта форма сохраняется в ю-з-рус. письменности. В частности, она представлена в ю-з-рус. редакции евангельского текста, который цитирует Кирилл Транквиллион; ср., например, именно такой текст в Новом Завете с Псалтырью, изданном в Вильне ок. 1600 г. (л. 144), в Новом Завете с Псалтырью, изданном в Евъе в 1611 г. (л. 183-183 об.), во львовском напрестольном Евангелии 1636 г. (л. 345 об.) (в изданиях Ивана Федорова представлена аористная форма *оумреть* или *оумре*^т, не отличающаяся от формы наст. времени, - см. острожский Новый Завет с Псалтырью 1580 г., л. 245 об., или острожскую Библию 1581 г., л. 50 об. евангельской фолиации). Между тем, московским книжникам подобная форма аориста оказывается совершенно неизвестной (в московских печатных евангелиях XVI-XVII вв. в соответствующем месте фигурирует форма *оумре*); они принимают ее за форму наст. времени, и это дает им основание обвинить Кирилла Транквиллиона в ереси: "В субботу Лазареву во евангеліи превращал Кирил Христовы словеса: гдѣ надобно *Лазар[ъ]* *ѹмре*, а Кирил печатал *Лазар[ъ]* *умрет*. И по сему его мудрованию, ушто в то время какъ бѣдоу довал Христосъ ко ученикомъ, Лазар[ъ] живъ былъ? А вселенский благовѣстникъ Богословъ Иоанн ушто не истинствовалъ? Блудивый Кирил свою правду из[ъ]яснил, противя Богослову, и прочимъ богоноснымъ отцемъ" (ГИМ, Син. V, л. 53-53 об.; ср. Горский и Невоструев, II, 3, № 294, с. 439; Маслов, 1984, с. 176; неточное воспроизведение у Голубцова, 1890, с. 557). Книга Кирилла Транквиллиона в 1627 г. была предана в Москве огню "за слог еретический" (Харлампович, 1914, с. 111-112, 449-450; Маслов, 1984, с. 177; Голубцов, 1890, с. 565); как видим, размежевание куль-

турно-языковых традиций Моск. и Ю.-З. Руси может приводить к трагическим недоразумениям.

В 1689 г. киевский митр. Варлаам Ясинский спрашивает московского патр. Иоакима, которому он теперь подчиняется (после перехода киевской митрополии в юрисдикцию московского патриарха в 1685 г.), как печатать Псалтырь: "Усумневаемся, како зде в Малой России печатати, по коему зводу? Ибо аще по Московску, то не обыкоша сии людие тако читати и не имут куповати, разве аще бы особый на то был монарший указ и патриарший всенародный; аще ли по Киевскому зводу, то мощно ли прилагати яко за повелением или изволением православных монархов и за благословением святейшества вашего [т.е. можно ли поставить благословение патриарха]; разве: 'при державе государской и при патриаршестве вашей святыни', умолчавше изволение и благословение" (Архив Ю.-З. Руси, I, 5, с. 287, № 80). Варлаам Ясинский имеет в виду различия московской и киевской редакции ц-сл. языка - знаменательно, что этим различиям придается такое значение. О борьбе с ю-з-рус. изводом ц-сл. языка в XVIII в. будет сказано ниже (см. 16.5).

14. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ МОСКОВСКОЙ РУСИ

14.1. Сохранение церковнославянско-рус. диглоссии. Итак, второе юж-сл. влияние определяет перестройку отношений между ц-сл. и рус. языком и в принципе способствует переходу церковнославянско-рус. диглоссии в церковнославянско-рус. двуязычие. Однако эта возможность по-разному осуществляется в Моск. и в Ю.-З. Руси, политическое и культурное размежевание которых приблизительно совпадает со временем второго юж-сл. влияния.

В Моск. Руси по-прежнему имеет место ситуация церковнославянско-рус. диглоссии, что проявляется в распределении функций двух языков. Характерно, что Зиновий Отенский видел основную ошибку Максима Грека именно в том, что тот, будучи иностранцем и не ориентируясь в рус. языковой ситуации, не проводил различия между книжным и простым языком: "мняше бо Максимъ по книжнѣй рѣчи у насъ и обща рѣчь"; в этой связи он протестует против тех, кто уподобляет и низводит "книжные рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей" (Зиновий Отенский, 1863, с. 967, ср. еще с. 964-965). В другом своем сочинении Зиновий писал о современных ему еретиках, что те "безсловеснейши свиней суть", поскольку не могут прочесть не только книжный текст, но и народную грамоту: "не токмо грамотических не ведяху словес, неже и поборников мужей философов, но ниже народных грамот ведут или умеют прочитати" (Корецкий, 1965, с. 175-176). Итак, ц-сл., т.е. литературный язык четко противопоставляется народным грамотам, подобно тому как "книжные речи" противопоставляются "народным речам". Отметим еще противопоставление книжного ц-сл. языка и "простой речи", которой владеют "от дѣт'ства своего", в упоминавшемся выше (см. 10.5) "Простословии" старца Евдокима (Ягич, 1896, с. 635).

Различие между книжной и некнижной речью было совершенно очевидно для иностранных наблюдателей - гораздо в большей степени, чем для самих русских, которые в условиях диглоссии склонны были отождествлять ц-сл. и рус. языки, воспринимая их как правильную и неправильную разновидность одного и того же языка. Так, Матвей Меховский, польский историк XVI в., писал в своем "Трактате о двух Сарматиях", что "в русских церквах при богослужении читают и поют на сербском, то есть славянском языке", отмечая вместе с тем, что в русских землях говорят "по-русски или по-славянски", что "речь там повсюду русская или славянская" (Матвей Меховский, 1936, с. 98, 109, 112, 116, 175, 185-186, 188-189, 192; ср. Толстой, 1976, с. 189-190). Название "славянский" выступает при этом как родовое понятие, объединяющее разные славянские языки; таким образом, Матвей Меховский констатирует различие между ц-сл. языком, принятым в рус. церкви (он называет его "сербским") и рус. разговорным языком (который он называет "русским"). Точно так же и Юрий Крижанич, описывая рус. языковую ситуацию, различает "Руский [језі́к] ђбщій, и подлїнний: коим на вѣликоѣ Рѹси го-вѣрят" и "Кнѣжнїй, или Прѣвѣдничскїй [језі́к]: кїѣ тако же јест мѣшанїна изъ Грѣческого да Рѹского дрѣвнѣго" (Крижанич, 1891, с. 28). Таким образом, противопоставляется собственно рус. (разговорный) язык и книжный (ц-сл.) язык; Крижанич полагает, что рус. язык является основой славянских языков, и видит в ц-сл. языке ненужное напластование на этот язык.

Между тем иерусалимский патриарх Досифей в письме в Москву (до 1671 г.) говорит, что Спафарий знает славянский (т.е. ц-сл.) язык и "русский может скоро выучить" (Голубев, 1971, с. 296). То же различие констатирует позднее и Лудольф в своей грамматике 1696 г., где ц-сл. и рус. языки описываются как два разных языка. Лудольф здесь же отмечает, что ц-сл. языком не пользуются в обиходных ситуациях, т.е. этот язык не является средством разговорного общения: "...Точно так же как никто из русских не может писать или рассуждать по ученым вопросам, не пользуясь славянским языком, так и наоборот, - в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка... Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски" (Лудольф, 1696, предисл., л. 2); по существу это достаточно точное описание ситуации диглоссии. Важно отметить, что замечание Лудольфа о рус. языковой ситуации приводится не как собственное наблюдение, а со ссылкой на мнение самих русских ("так у них и говорится..."). Различие между ц-сл. и рус. языком достаточно четко осознавал и И.-Г. Спарвенфельд, шведский филолог, посетивший Россию в 1684-1687 гг. и составивший позднее большой церковнославянско-латинский словарь; Спарвенфельду, между прочим, была известна грамматика Лудольфа (Биргегорд, 1985, с. 95). При этом Спарвенфельд отличает "язык славянский чистый или ветхий [т.е. ветхий]" от "славено-российских-московских словесъ немало глаголимых по вседневному обычаю в' синклитѣ дворском царей и великихъ князей московскихъ и во всехъ тѣхъ странахъ и удѣлехъ к' посполитому и пос'солскому дѣлѣ удобных и уживаемых" (там же, с. 78), т.е. различает ц-сл. и приказной язык, противопоставляя их и по функционированию.

14.2. Активное употребление ц-сл. языка: ориентация на грамматику. Итак, в Моск. Руси сохраняется диглоссия, но ц-сл. язык осознается теперь как вполне самостоятельная система (см. 10). Это может отражаться на характере активного пользования ц-сл. языком. Ранее пишущий на ц-сл. языке в большой степени мог исходить из коррелянтных форм живой речи, производя необходимую поэлементную перекодировку. Теперь, с появлением грамматических описаний, он может основываться на имманентных грамматических правилах, более или менее независимых от естественных речевых навыков. Итак, активное употребление в принципе предполагает теперь ориентацию на грамматику, на грамматические правила. Естественно, наряду с этой новой установкой может иметь место и старая практика перекодировки, которая теперь, однако, осознается как неискусное владение книжным языком.

Традиция активного употребления ц-сл. языка, ориентированного на грамматику, идет в Московской Руси от Максима Грека. Неслучайно, когда в 1648 г. в Москве переиздается грамматика Мелетия Смотрицкого, в нее включаются грамматические сочинения Максима Грека; имя Смотрицкого здесь вообще не называется, но фигурирует имя Максима Грека, поэтому авторство данной грамматики может приписываться Максиму. Максим, как мы видели, переводил ц-сл. тексты с греческого заново и основывался при этом именно на грамматике, соотнося греч. и ц-сл. парадигмы (см. 13.2). Это приводило к отказу от тех специфически книжных средств выражения, которые по преимуществу принадлежали пассивной памяти носителей языка и могли употребляться как стилистическое украшение. Именно поэтому его ученик Нил Курлятев в пре-

дисловии к переведенной Максимом в 1552 г. Псалтыри утверждает, что Максим перевел Псалтырь "по нашему языку прямо з' греческаг[о] языка и без украшеніа" (Ковтун, 1975, с. 97–98). Обратившись к этому переводу, мы находим здесь местоименные формы *ихъ* вместо *я* (Пс. II, 9), *всѣхъ* вместо *вся* (Пс. III, 8; V, 6; XVII, 40); равным образом, Максим устраняет здесь формы дв. числа (ср. *подъ ноги мои* вместо *подъ ногама моима* – Пс. XVII, 39; *рукъ моихъ* вместо *руку мою* – Пс. XVII, 21), а также архаические формы местоимений (ср. *поработаша мнѣ* вместо *поработаша ми* – Пс. XVII, 44) (Порфирьев и др., I, с. 13–15). Таким же образом может быть истолкована и контаминация аористой и перфектной парадигмы, о которой мы говорили выше (см. 8.7.4), т.е. замена аористных форм на перфектные.

Переводческая деятельность Максима Грека носила экспериментальный характер, и он мог предлагать разные варианты перевода одного и того же текста, различающиеся своими стилистическими параметрами. В одном из своих сочинений Максим Грек учит, как поступать с "пришельцами философами", т.е. с людьми, подобными ему самому, приглашаемыми на Русь для книжного дела, и предлагает для испытания их два параллельных перевода с греч. языка, отчетливо различающиеся по степени книжности:

Инока Максима Грека о томъ, како
подобаетъ входить во святія
Божія храмы

Егда же въ божественный сей
храмъ ходиши, о иже рачитель
благовѣрію неблазненому еси! въ
самѣхъ Вышняго мни дворехъ
пречистыхъ ходити, ангельска
пѣснь непрестанна въ нихъ же;
блюди убо, како входиши. Аще убо
отнюдъ отъ лжи и зависти
и злопамятныя мысли и безза-
конныхъ похотей душа твоя чи-
стотуетъ, божественнымъ освятися
страхомъ же и любовію
и смиренными одежами и хри-
стіанолѣпными украшаешься,
гнушаяся отъ души всякое
поганское одѣяніе.
Аще сице входить тщишися,
блаженъ еси ты и живой и пришедъ
къ иже послѣди жизни.

Другіи преводъ тѣхъ же срокъ по
собрانیю рѣчей

Егда же входишь въ божественный
сей храмъ, о иже еси рачитель
божественному и неблазненому
благовѣрію! мни въ самѣхъ ходити
Вышняго пречистыхъ дворехъ, въ
нихъ же непрестанна есть
ангельска пѣснь. Блюди убо, како
входишь, сирѣчь аще отнюдъ душа
твоя чистотуетъ отъ лжи, зависти
же и мысли злопамятныя и безза-
конныхъ блудныхъ похотей,
божественнымъ же страхомъ
освятися и любовію и смиренными
одежами и христіанолѣпными
украшаешься гнушаяся отъ души
всякое поганское одѣяніе.
Аще сице входить тщишися,
ты еси блаженъ и живой и пришедъ
къ яже послѣди жизни.

(Максим Грек, III, с. 288–289).

В основе этих двух переводов лежит недошедший до нас греч. текст, написанный героическим и элегическим стихом: левая колонка соответствует героическому, а правая элеги-

ческому стиху. Основное и, может быть, даже единственное различие между двумя переводами заключается в порядке слов, другие отличия незначительны и имеют, по-видимому, вторичный характер. Специфически книжный грецизированный порядок слов в переводе героического стиха противопоставляется нормальному для славянских языков словорасположению в переводе элегического стиха. Максим Грек основывается в данном случае на древней риторической традиции переработки одного вида стиха в другой, при которой изменение метра связано с изменением порядка слов. Так, Дионисий Галакарнаасский приводит стихи Гомера (написанные героическим стихом - гекзаметром) и переделывает их в песенный стих (тетраметры), не меняя слов, но меняя их расположение (Античные риторика, с. 172). По-видимому, это обычный учебный прием в греч. риториках, который приспосаблиется Максимом к ц-сл. материалу. Поскольку в ц-сл. традиции нет стихотворных размеров, эта переработка касается исключительно порядка слов. Таким образом, демонстрируется возможность вариантного порядка слов - более книжного и менее книжного, - причем разные варианты осмысляются в стилистических категориях (сами стилистические категории заимствуются из греч. риторика). Коль скоро "элегический" текст оказывается менее книжным, здесь могут спорадически появляться вторичные языковые признаки, связанные с тем же противопоставлением (ср. *ходиши* - *входишь* и т.п.).

Как видим, Максим Грек принципиально допускает вариативность в употреблении ц-сл. языка, причем он сам склоняется, по-видимому, в своей переводческой практике к отказу от специфически книжных средств выражения: преследуя задачи адекватной передачи переводимого содержания и максимальной ясности текста, он может отвлекаться от собственно стилистических задач и, говоря словами Нила Курлятева, переводит "без украшения". Такая практика может вызывать отрицательную реакцию. Зиновий Отенский, последователь Максима, указывал, как уже упоминалось, что Максим не соблюдал дистанции между книжной и некнижной речью ("мняше бо Максимъ по книжнѣй рѣчи у насъ и обща рѣчь"), объясняя это тем, что Максим как иностранец не познал "опаснѣ языка русскаго" (Зиновий Отенский, 1863, с. 967). По существу, Зиновий обвиняет Максима не в незнании языка как такового, а в том, что Максим не отдавал себе отчета в специфике рус. языковой ситуации, предполагающей дифференцированное употребление "книжных" и "народных речей".

На примере Максима ясно видно, что ориентация на грамматику не устраняет вариативности в книжном языке. Более того, она может ее усугублять, поскольку грамматики могут предписывать новые нормы, создающие дополнительный выбор средств выражения. Следует иметь в виду, что доступные рус. книжнику грамматические описания, появившиеся после второго юж-сл. влияния, носят фрагментарный характер; они, как правило, не содержат исчерпывающего описания ц-сл. языка (по крайней мере, до грамматики Смотрицкого), приводимый в них материал в большинстве случаев фигурирует в качестве иллюстрации, демонстрирующей различные возможности правильного или же неправильного употребления. В этом виде они, понятно, не могут обеспечить унификации языковой практики. К тому же ориентация на грамматику вообще не представляет собой повсеместного явления, так что тексты, написанные исходя из новой "грамматической" установки, соседствуют с текстами традиционного типа.

При пассивном восприятии ц-сл. языка варианты могут вообще не осознаваться, т.е. вариантные формы не противопоставляются друг другу. При активном употреблении вариантные средства выражения ставят перед пишущим задачу выбора, и этот выбор может иметь вполне осознанный характер. Сопоставление вариантных форм актуализирует их стилистическую значимость. Таким образом, свойственная ц-сл. текстам вариативность начинает осмысляться в стилистических категориях: если какие-то варианты связываются с основным противопоставлением книжного и некнижного языка, то другие варианты оказываются стилистически маркированными в рамках книжного (ц-сл.) языка.

14.3. Развитие стилистических оппозиций в рамках книжного языка. Как мы видели, в результате второго юж-сл. влияния оппозиция книжного и некнижного языка распространяется и на лексический уровень, т.е. образуются противопоставления книжных и некнижных лексем. Эти противопоставления могут реализоваться по-разному: в одних случаях специфически книжная лексема противопоставляется нейтральной, тогда как в других нейтральной лексеме противопоставляется специфически некнижная лексема. Лексические оппозиции включаются, таким образом, в ту систему противопоставлений, которая представлена на грамматическом и фонетическом уровне (в случае соотносительных признаков, см. 8.11).

Соответственно, отталкивание от живого языка может приводить в этих условиях как к отказу от специфически некнижных форм (поскольку они отсутствуют в ц-сл. языке, т.е. в принципе нехарактерны для ц-сл. текстов), так и к отказу от нейтральных форм (поскольку они представлены в рус. языке). В последнем случае формы, возможные как в живом, так и в книжном языке, могут, вообще говоря, осмысляться как некнижные; иначе говоря, одна и та же форма может относиться - в зависимости от перспективы рассмотрения - либо к ц-сл. языковому полюсу (ввиду ее употребляемости в ц-сл. языке), либо к рус. языковому полюсу (ввиду ее употребляемости в рус. языке). Так, мы видели, что в качестве некнижных могут восприниматься такие лексемы, как *жду, смерть, умерший*, поскольку они противопоставляются специфически книжным лексемам *чаю, успение, усопший* (см. 10.2). Совершенно так же строятся отношения между словами *правда* и *истина, жизнь* и *житие: правда* и *жизнь* могут восприниматься как русизмы, несмотря на то что они в равной мере принадлежат и ц-сл. языку, входя в нейтральный лексический фонд, общий для рус. и ц-сл. языка.

Это создает возможность для развития стилистических оппозиций в рамках книжного, ц-сл. языка; в результате формируются стилистические разновидности книжного языка, так что если ранее вариации по соотносительным признакам характеризовали индивидуальные тексты, теперь они становятся чертой стиля. Специфически книжные элементы функционируют теперь не как изолированные сигналы книжности, а объединяются в единую систему специфически книжных средств выражения, присущих высокому книжному стилю. Можно думать, что объединение разнообразных специфически книжных элементов в одну стилистическую систему было стимулировано именно переосмыслением лексических оппозиций, поскольку с включением лексики в систему оппозиций специфически книжных и неспецифически книжных элементов это противопоставление может осмысляться как глобальное.

Развитие стилистических оппозиций в книжном языке может приводить к сознательному и последовательному "окнижнению" ц-сл. текста, когда из него не только изгоняются окказиональные специфические русизмы, но вместе с тем и нейтральные элементы заменяются специфически книжными. Одним из выражений этого процесса является стилистическая правка в ходе редактирования отдельных текстов. Именно это имеет место в Степенной книге (официальном царском летописце), составленной в 1560-х годах, куда включается ряд текстов из предшествующих источников, которые подвергаются при этом целенаправленной лингвистической обработке. Так, при заимствовании из Никоновской летописи рассказа о новгородских событиях 1471 г. (восстание Марфы Посадницы) язык этой летописи подвергается правке в ряде отношений. С одной стороны, устраняются формальные русизмы, представленные в исходном тексте в административных терминах и названиях местных реалий (*король* заменяется на *краль*, *тысячкие* на *тысящские*, *Новгород* на *Новъ Градъ*). С другой стороны, специфически не книжная лексика заменяется на нейтральную (например, *мужыкъ* на *человѣкъ*, *чинити* на *содѣвати*, *наймиты* на *наемьницы*), а нейтральная на специфически книжную (например, *отчина* на *отчѣство* или на *держава*, *зватися* на *именоватися*, *который* на *иже*, *нѣкоторые* на *нѣции*), ср., например, такой отрывок:

Никоновская летопись

Тѣмъ же измѣнници начаша най-
мовати худыхъ мужыковъ вѣчниковъ,
иже на то завсе готови суть по ихъ
обычаю, и, приходяще на вѣче ихъ,
звоняху завсе въ колоколы и,
кричаще, глаголаху: "за короля
хотимъ"; инѣи же глаголаху имъ:
"за великого князя хотимъ Московъ-
скаго по старинѣ, какъ было прежде
сего"
(ПСРЛ, XII, с. 126)

Степенная книга

Враждотворниѣи же измѣнници на-
имствоваху худѣишихъ человѣкъ, иже
суть готови на всякое неистовство; и
ти, приходяще на вече и не престающе,
въ колоколы звоняху и кричаще,
глаголаху: "Краля хошемъ, да
владѣть нами!" Инѣи же: "Великаго
князя Московскаго, его же хошемъ,
есьмы держава отъ древнихъ лѣтъ и до
нынѣ"
(ПСРЛ, XXI, с. 530–531)

Такой же правке подвергается при включении в Степенную книгу и Устав Владимира. При сопоставлении с текстом Устава по списку XIV в. (ГИМ, Син. 132, л. 628–630; ср. Шапов, 1976, с. 22–24) выявляется целый ряд исправлений формального характера; так, *ропусты* заменяются на *распусты*, *роздавить* на *раздавить*, *суди* на *судове*, *пошибанье* на *пошибание*, *сватѣство* на *сватовство*, *вѣдьство* на *вѣдовство*, *дчи* на *дщи*. Наряду с этим, как и в предшествующем фрагменте, подвергается правке и лексика, причем здесь также специфически не книжное заменяется на нейтральное (ср. *промежи* - *межу*, *въ племени* - *во сродствѣ*, *поимутся* - *бракъ*, *блядня* - *блудничество*, *зadyница* - *имѣние*, *потка* - *птица*, *дѣвка* - *дѣвица*, *подѣть* - *содѣть*, ср. еще замену *живот* "имение" на *сожитство* в результате неправильного понимания текста), а нейтральное - на специфически книжное (ср. *татѣба* - *украденіе*). Во всех этих случаях мы видим сознательное окнижнение текста, проводящееся на разных языковых уровнях и призванное сообщить тексту отчетливо выраженный книжный статус.

Подобная редактура, обусловленная задачей окнижения текста, в каких-то моментах может приближаться к переводу с рус. языка на ц-сл., который, вообще говоря, как мы знаем, невозможен при диглоссии, ср. прямую речь восставших новгородцев в Никоновской летописи и в Степенной книге:

Никоновская летопись

Не хотимъ за великого князя Московского, ни зватися отчиною его; волные есмы люди Великий Новгородъ, а Московской князь великий многи обиды и неправду надъ нами чинить; но хотимъ за короля Полского и великого князя Литовского Казимира.
(ПСРЛ, XII, с. 126)

Степенная книга

Не хотимъ быти владымы великимъ княземъ Московскимъ, ни именоватися отчествомъ его, понеже велики обиды и неправды содѣваетъ намъ. Мы есмы вольни люди - Великий Новъ градъ! Хотимъ быти владымы кралемъ Казимеромъ Польским!
(ПСРЛ, XXI, с. 530)

Следует, однако, иметь в виду, что в данном случае имеет место не перевод как таковой, а редакционная обработка текста, выравнивание его по одним стилистическим параметрам. Перерабатываемый текст безусловно не воспринимается как текст на рус. языке (даже в отдельных своих фрагментах), вкрапленные в него рус. фразы трактуются так же, как трактуются отдельные некнижные словоформы, т.е. как проявления вариативности в рамках книжного текста, - вариативности, которая и подвергается устранению в процессе редактирования. Действительно, о переводе речь могла бы идти только в том случае, если бы имело место сознательное и последовательное соотнесение двух языков, противопоставленных как самостоятельные системы.

Задача такой стилистической обработки обусловлена тем, что со вторым юж-сл. влиянием выделяются два типа книжного языка: риторически украшенный и грамматически нормированный книжный язык и обычный книжный язык, не выдерживающий последовательно стилистических и грамматических норм. Отталкивание от разговорного языка как общий принцип построения новой книжной традиции распространяется и на сферу книжного языка: тому, что в книжном языке совпадает с разговорным, противопоставляются специфически книжные элементы. Эти специфически книжные элементы и образуют основу риторически украшенного и грамматически нормированного "высокого" книжного языка. Сюда включаются как чисто риторические элементы, так и элементы лексические и грамматические. В плане риторическом этот язык отличает "плетение словес" как особая стилистическая модель, противопоставляющая риторически украшенную и риторически неукрашенную речь; в результате второго юж-сл. влияния риторические ухищрения перестают быть характеристиками отдельных текстов и становятся нормативным явлением. В плане лексическом для этого языка характерна тенденция использовать специфически книжную лексику там, где есть выбор между нейтральными и специфически книжными средствами выражения (ср. оппозиции типа *успение* - *смерть*, *житие* - *жизнь* и т.п., о которых было сказано выше). Такая же тенденция характеризует, наконец, и грамматический уровень, где в случае соотносительных признаков избирается специфически книжный, а не нейтральный элемент.

Так, в сочинении "Наказание ко учителем", помещенном в качестве предисловия к учебной Псалтыри 1645 г. сообщается: "А по просторѣчию молвится вмѣсто, и, его"; здесь же указывается, что в вин. падеже мн. числа вместо *ихъ* следует говорить *я*: "принеси *я* вмѣсто *ихъ* речется" (Буслаев, 1861, стлб. 1086). Следует подчеркнуть, что формы *его* и *ихъ*, вообще говоря, не противоречат норме ц-сл. языка и регулярно встречаются в ц-сл. текстах: фор-

мы *его* и *и* даются в грамматике Смотрицкого как вариантные (Смотрицкий, 1648, л. 178; ср. Смотрицкий, 1619, л. М/7 об.); форма *ихъ* у Смотрицкого отсутствует, однако она широко представлена в канонических ц-сл. текстах московской печати, отредактированных московскими справщиками. И в других грамматических сочинениях XVI–XVII вв. формы *и* и *его*, *я* и *ихъ* рассматриваются как вариантные (Ягич, 1896, с. 479, 640, 723). Таким образом, "просторечие" оказывается противопоставленным высокому стилю речи.

То обстоятельство, что "просторечие" выделяется в рамках книжного языка, весьма показательно. Оно свидетельствует о развитии стилистических оппозиций в книжном языке: просторечие противопоставляется красноречию, а не вообще ц-сл. языку. Именно это и имеет в виду, скорее всего, протопоп Аввакум, когда говорит в предисловии к своему житию: "Не позазрите просторѣчію нашему, понеже люблю свой русской природной языкъ, виршами фило-совскими не обыкъ рѣчи красить, понеже не словесъ красныхъ Богъ слушаетъ, но дѣлъ нашихъ хощеть" (РИБ, XXXIX, стлб. 151). О том, что имеет в виду Аввакум под "русским природным языком", можно судить по уже упоминавшемуся (см. 13.3) обращению его к царю Алексею Михайловичу: "... рцы по рускому языку: Господи, помилуй мя грѣшнаго!.. Говори своимъ природнымъ языкомъ; не унижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицахъ... Любить насъ Богъ не меньше грековъ: предалъ намъ и грамоту нашимъ языкомъ Кириломъ святымъ и братомъ его" (там же, стлб. 475). Для нас важно в данном случае, что Аввакум цитирует ц-сл. молитву и ссылается на Кирилла и Мефодия – ясно, что "природный русский язык" не противопоставляется у него ц-сл. языку. Он может противопоставляться, однако, риторически украшенному стилю ц-сл. языка, развитие которого Аввакум связывает с внешним (греч.) воздействием, осуществляющимся через ю-з-рус. посредство (см. 16.2) – на ю-з-рус. контекст указывает полонизм *вирши* в приведенной цитате Аввакума.

Не менее показательна в этом смысле предисловие к книге "Статир" 1683–1684 гг. (ГБЛ, ф. 256, № 411; ср. Востоков, 1842, с. 629–633), представляющей собой сборник поучений, написанных неизвестным священником городка Орел (Орлов) Пермской епархии. Автор сообщает здесь, что когда ему приходилось читать в церкви книги проповедей Симеона Полоцкого, "тая простѣйшимъ людемъ за высоту словесъ тяжка бысть слышати, и грубымъ разумомъ не внимателна". Столь же "зѣло неразумително, не точію слышашимъ, но и чтущимъ" оказались беседы и поучения Иоанна Златоуста: "велми бо препросты страны сея жители в' ней же ми обитати, – поясняет автор, – не точію от мирян' но і от сѣенникъ, иностраннымъ языкомъ, тая Златоустаго писанія нарицаху". "По таковой винѣ, – заключает автор "Статира", – азъ грубый начахъ простѣйшія бесѣды издавати, ово устно, овое написаніемъ..." (предисл., л. 5–5 об.). При этом "Статир" определенно написан на книжном, ц-сл. языке и не обнаруживает каких-либо сознательных от него отступлений. Очевидно, что речь здесь идет не о некнижном языке, а о книжном языке без специальных риторических ухищрений (более подробный комментарий к этому тексту см.: Успенский, 1983, с. 116–118).

Выделение "простого" ц-сл. языка получает теоретическое обоснование в сочинениях рус. книжников. Так, в XVI в. появляется грамматическое сочинение "Простословие, некнижное учение грамоте", которое приписывается старцу Евдокиму (Ягич, 1896, с. 629–661). Это сочи-

нение упоминается наряду с грамматикой Мелетия Смотрицкого, "Буковницей" Герасима Ворбозомского и львовской грамматикой "еллинославенского" языка 1591 г. в качестве основного пособия по ц-сл. языку (Петровский, 1888, с. IV). "Простословие" здесь отнюдь не обозначает некнижного языка, а слова о "некнижном учении" отсылают к риторически неукрашенному ц-сл. языку, допускающему свободную вариацию специфически книжных и нейтральных средств выражения, ср. в этом трактате о допустимой вариации местоимений вин. падежа: "Идѣже глѣтся мужско имя 'въспомяни его', и тож глѣють 'возспомяни и'. А идѣже глѣтся жен'ско имя 'воспомяні ея', и тож глѣтся 'въспомяни ю'. А идеж глѣтся посреднее имя, не мужьско, ни женско, ꙗко же нѣбо, сѣнце, море, 'въспомяни его', и тож глѣють 'въспомяни е'. А идѣже глѣтся множественному имяни 'въспомяни их', и тож глѣють 'въспомяни я'" (Ягич, 1896, с. 640, ср. с. 723). Под "простотой" автор данного сочинения имеет в виду элементарные сведения о книжном ц-сл. языке, которые являются необходимым условием для овладения высоким ц-сл. языком, т. е. языком риторически и грамматически изощренным - "для искуснѣшаго уменіа книжнаго" (там же, с. 630). Так он пишет: "Слышах невѣжду глѣюща, рече: что ми учити бук'ва; треба ми учити книги. Не ступя первыя стопы, вторыя не ступити; невозможно, первыя стопы не положив'ше, вторыя положить. Також не лѣтъ не умѣа начала ученіа, и в конец извѣстну быти гораздымъ. Кто сначала не учится изрядно, сей много мятется. Мнози спѣшат учити книги, отлагают различны ученіа буквы и всяку простоту, хотяще скоро мудрѣе иных быти, и того ради не получают искуснаго ученіа" (там же, с. 633-634).

Естественно, что в условиях диглоссии стилистическая дифференциация возможна только внутри литературного (книжного) языка; соответственно отнесение термина "просторечие" ("простословие") к одному из стилей ц-сл. языка показывает, что лишь ц-сл. язык мыслится как литературный.

Таким образом, внутри книжного языка формируются две разновидности. Соблюдение элементарных грамматических правил, противопоставляющих книжный язык некнижному, определяет характер "простого" книжного языка - "простота" означает здесь не некнижность, а отсутствие дополнительных стилистических усложнений, характерных для высокого книжного языка. Этому последнему свойственно сознательное отталкивание от нейтральных средств выражения, общих для книжного и некнижного языка; так в рамках ц-сл. языка происходит стилистическая дифференциация специфически книжных и неспецифически книжных средств выражения. "Простой" книжный язык выступает вместе с тем как необходимый минимум, обеспечивающий правильное владение ц-сл. языком. Противопоставление "простого" книжного языка и языка некнижного определяется в терминах правильного и неправильного, противопоставление "простого" и высокого книжного языка - в терминах искусного и неискусного, изысканного и элементарного.

Необходимо отметить, что высокий книжный язык отличается от "простого" книжного языка большей нормированностью, поскольку он стремится исключить вариации специфически книжных и нейтральных элементов. Между тем для "простого" книжного языка характерна вариативность, поскольку здесь допустимы как специфически книжные, так и нейтральные элементы. Если высокий язык стремится избавиться от всех точек соприкосновения с разговорным

языком, то "простой" книжный язык отличается от разговорного лишь по ограниченному числу признаков. Вне этих признаков он оказывается подвержен влиянию живого языка. Соответственно, в рамках "простого" книжного языка осуществляется консолидация книжных и некнижных средств выражения, т.е. создаются возможности для включения в сферу книжности определенных элементов живого языка.

14.4. Изменение отношения к некнижному языку. В период диглоссии основным для языкового сознания является противопоставление книжного и некнижного языка. Выделение высокого языка в рамках языка книжного имеет вторичный характер. Высокий язык оказывается маркированным по отношению к "простому" книжному языку и это актуализирует значимость специфически книжных языковых средств. Одновременно может актуализироваться и значимость специфически некнижных языковых средств. Поскольку высокий книжный язык отталкивается от разговорного, разговорный язык попадает в сферу языкового сознания: он оказывается негативно значимым.

Исключительно знаменательны в свете сказанного указания др.-рус. грамматик относительно написания сакральных слов под титлом (ср. 11.4.2). Так, в одном грамматическом сборнике первой четверти XVII в. говорится, что титло пишется "над *с̑*тыми аг̑гелы і арх-аг̑глы" и т.п., но предписывается писать складом "лже пророки і апосталы, і оучители священники, отца лжи..." (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 15 об.-16). И в другом случае тот же писец противопоставляет написание под титлом *аплкое*, уместное и необходимое в том случае, когда речь идет об истинных апостолах, и написание складом *апосталы ложнал* (л. 92 об.). Мы видим, что говоря о лжеапостолах, писец пишет слово "апостол" с отражением аканья (*апо-стал*), и это, конечно, не случайная описка в этой исключительно грамотно написанной рукописи: наряду с противопоставлением написания под титлом и написания складом, здесь противопоставляется ц.-сл. "окающее" и рус. акающее произношение, причем специфическое рус. произношение соотносится с дьяволом как "отцом лжи".

Аналогичным образом в сочинении "Сила существу книжнаго писма" (XVI в.) читаем: "Аг̑гль *с̑*тыхъ и *с̑*тыхъ *апл̑* і *с̑*щенных архіе^{с̑}пкль покрыто пиши, сирѣчь под в'зметомъ, понеже что покрыто пишется, то *с̑*то. ангелов же сопротивниковъ і апостоловъ не богодохновенныхъ і архіепископовъ не священных отнюдъ не покрывай, но складомъ пиши, понеже враждебно бѣтву и чело^{с̑}вѣческому естеству". Ср. еще здесь же: "Бл̑гаго у^{с̑}чтля хр̑та б̑га і его *с̑*тыхъ уч̑нкъ... покрыто пиши, ꙗкож подобаетъ. Посреднихъ же учителей і вн̑шнихъ вѣдущихъ искусъ нѣкоихъ художствъ і ихъ учениковъ... отнюдъ не покрывай, но складомъ пиши вн̑шнее" (Ягич, 1896, с. 419-420, 426-427). Итак, четко противопоставляются формы: святых *ангел*, но злых *ангелов*, святых *апостол*, но ложных *апостолов*, священных *архіепископ*, но *архіепископов* не священных, святых *ученик*, но мирских *учеников* - при этом ц.-сл. (нулевая) флексия род. падежа мн. числа связывается с сакральным началом, а противопоставленная ей рус. флексия - со злым, бесовским началом.

В том же сочинении ("Сила существу книжнаго писма") указывается, что противопоставление написания с *жд* и написания с *ж* - имеется в виду рефлекс о-сл. **đj* - аналогично противопоставлению написания одних и тех же слов под титлом (под "взметом") и без титла

("складом"). Соответственно, здесь предписывается в определенных случаях писать сакральные слова, "покрывая во взмета мѣсто добромъ [т.е. буквой *д*]". Отсюда, в частности, вытекает рекомендация не писать *враждебно*, но *вражебно*, поскольку слово *враг* означает дьявола: "врага пиши вражебно сущо без добра: *вражебно*" (Ягич, 1896; с. 421). Итак, поскольку данное прилагательное образовано от слова, которое нельзя писать под титулом, оказывается неуместным ц-сл. написание с *жд* - ц-сл. орфография отчетливо предстает как сакральная и отступления от нее имеют вполне сознательный характер. Совершенно так же здесь противопоставляются по написанию "рѣтво хрѣтво і прѣчѣя бѣы, рѣтво іванна прѣчѣ гдѣя" и "рожьство ... беззаконнаго ірода" (там же, с. 425) - в первом случае явно предполагается чтение *рождество*, во втором же случае - чтение *рожество* или *рожство*.

Во всех этих случаях противопоставление ц-сл. и рус. языков рассматривается как противопоставление Божественного и Сатанинского, хотя в одних случаях это проявляется на уровне фонетики, в других - на уровне морфологии.

Не менее характерно, что речь Сатаны в книжном ц-сл. тексте может передаваться рус. языковыми средствами, ср., например, в "Повести об убогом человеке како от диавола произведен царем", а также в старообрядческом "Собрании от Святого Писания об Антихристе" (Успенский, 1984, с. 383-385). Равным образом, халдеи в Пещном действе, исполнявшемся до сер. XVII в. в кафедральных соборах Москвы, Новгорода, Вологды и др., говорили - в церкви! - на рус., а не на ц-сл. языке, и это отвечает ассоциации халдеев с нечистой силой. Речь халдеев оказывается противопоставленной таким образом речи других участников Пещного действия, как и ц-сл. языку православного богослужения - вообще это уникальный случай использования рус. языка в церкви. Примечательно, что в вологодском Пещном действе халдеи могли говорить с яканьем (например, *чаво* "чего"), при том что яканье не характерно для вологодских говоров, - т.е. с подчеркнутыми русизмами, на сугубо неправильном рус. языке (см. там же). Рус. язык осмысливается в подобных случаях как греховное искажение сакрального ц-сл. языка, которое приписывается дьявольскому умыслению. Неслучайно Зиновий Отенский, протестуя против порчи книжного языка, его русификации, приписывает это дьявольскому наущению, "умыслению лукавого": "Мню же и се лукаваго умысленіе въ христорѣцѣхъ или въ грубыхъ смысловѣхъ, еже уподобляти и низводити книжныя рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей. Аще же и есть полагати приличнѣйши, мню, отъ книжныхъ рѣчей и общія народныя рѣчи исправляти, а не книжныя народными обезчещати" (Зиновий Отенский, 1863, с. 967 - здесь же Зиновий Отенский противопоставляет "языкъ свой", т.е. рус. ц-сл. язык, и "народа общую рѣчь", т.е. рус. разговорный язык), ср. сходные заявления Иоанна Вишенского о борьбе дьявола с ц-сл. языком, цитированные выше (см. 5.2).

Таким образом, по отношению к "простому" книжному языку маркированными оказываются как высокий книжный язык, так и язык разговорный. "Простой" книжный язык занимает, тем самым, как бы промежуточное положение между этими двумя полюсами. И это опять-таки может рассматриваться как предпосылка разрушения диглоссии. Действительно, для превращения диглоссии в двуязычие достаточно того, чтобы высокий книжный язык и "простой" книжный язык перестали отождествляться языковым сознанием (как разновидности единого книжного

языка) и "простой" книжный язык начал противопоставляться высокому как отдельный книжный язык. Как бы то ни было, "простой" книжный язык оказывается в центре языковой практики, и это не зависит от его осмысления. Поскольку в нем консолидируются нейтральные средства выражения, которые не являются ни специфически книжными, ни специфически некнижными, здесь образуется та нейтральная языковая сфера, которая служит в дальнейшем основой для рус. литературного языка нового типа.

14.5. Отношение к грамматике и риторике. "Простой" книжный язык определяет элементарные нормы грамотной речи, на которые могут накладываться дополнительные стилистические усложнения. Эти усложнения определяются прежде всего риторикой, владение которой оказывается необходимым для искусного ученого книжника. Ориентация на грамматику, столь характерная для рассматриваемого периода, сочетается с интересом к риторике, поэтике и т.п. - все эти дисциплины входят в единый комплекс гуманитарных знаний, который нужен как для адекватного (ученого) понимания традиционных текстов, так и для сочинения новых текстов по их образцу. Только при этих условиях ц-сл. язык может функционировать на тех же правах, что и греческий, удовлетворяя разнообразные потребности высокой книжной культуры. Таким образом, необходимость обращения к риторике, а также поэтике и философии восходит в конечном итоге к грекофильской ориентации, идущей от второго юж-сл. влияния. В самом деле, еще черноризец Храбр в своем рассуждении "О писменех" - столь авторитетном для рус. книжников - приписывал грекам создание грамматики, риторики и философии.. Максим Грек, говоря о греч. языке, подчеркивал: "Еллинска... бесѣда много и неудобъ разсуждаемо имать различіе толка реченій, і аще кто не доволнѣ и совершеннѣ научился будетъ, ꙗже грамматикии и пиитикии и риторикии самая философиі, не можетъ прямо и совершенно ни же разумѣти писуемая, ни же преложити я на ихъ языкъ" (Ягич, 1896, с. 301; Максим Грек, III, с. 62). В другом месте, отвечая на вопрос какого-то русского корреспондента, Максим писал: "Грамматікіа ес[тъ] ... ученіе зѣло хытро у еллинех... Сего ради требуем мы грекы длѣго сѣдѣти у учителя добраг[о] и учитис[я] со многым трудом и біеніемъ, доколѣ внидет въ умъ нашъ" (Ягич, 1896, с. 306); ср., наконец, панегирические высказывания о пользе грамматики, риторики, диалектики, философии в приписываемых Максиму Греку статьях, опубликованных в московском издании грамматики Смотрицкого 1648 г. (Смотрицкий, 1648, л. 3-3 об., 24, 40, 42, 348; ср. Ягич, 1896, с. 327, 329). Равным образом и Курбский, считающий себя последователем Максима Грека, с похвалой отзывается о Ю.-З. Руси, где "некоторые челоуецы обретаются, не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских учение" (Переписка Грозного с Курбским, с. 101). Положительный отзыв о "грамматичном и риторском и философском учении" мы встречаем и в рассуждении о "Буквах, сиречь о словах" по рукописи XVII в. (Петровский, 1888, с. 17). Ср. еще такой же отзыв о риторике и других высших гуманитарных науках в предисловии В. М. Тучкова к переработанному им Житию Михаила Клопского (XVI в.); "Что же реку, и что възглаголю, и како началу слова коснуса, разума нищетоу объяту ми сушу? Ниже риторикии навикшу, ни философии учену когда, ниже паки софистиики прочетшу..." (Дмитриев, 1958, с. 144). Это традиционный прием авторского самоуничижения; ср., например, такое же в точности авторское самоуничижение ("ниже риторики навикъ, ни фи-

лософiи учився") в предисловии к "Книге о вере" (М., 1648, л. 2 об.; относительно автора этой книги см. 16.2). Комментируя цитированную фразу В. М. Тучкова, Л. А. Дмитриев пишет: "Из этих слов следует, что Тучков на самом деле был и философии 'учен', и читал 'софистики', и 'навык' риторики" (там же, с. 73). В нач. XVII в. Антоний Подольский (по свидетельству другого русского книжника - Ивана Наседки) утверждал, что "никто ... совершенно против него грамотикии и диалектики в России не знает" (Скворцов, 1890, с. 274). Связь грамматического учения со всем комплексом гуманитарных знаний тогда же (ок. 1619 г.) подчеркивал справщик Арсений Глухой - сотрудник известного грекофила Дионисия Зобниновского - в послании к протопопу Ивану Лукьяновичу: "I извыкох осмим частем слова кромѣ малых дробей по граматикии, иже i сия разумна сут[ь], к тому ж роды i числа, времена i лица, и залози, i в них же воля души содержится пяти словех, рекше в повелѣнном, в молитвеном, в вопросном, во звателном, в повѣстном, яж[е] изложения наричются. К тому ж и священную философию до сотию проидох... Есть государь Иван Лукьянович i таковы iныя которыя на насвину возлагают, кое и азбуки едва умѣют, а то вѣдаю что не знают кои во азбучѣ гласныя писмена i согласныя, а родов и времен i лицъ и числ, того и не поминаи, священная ж философия и в руках не бывала. Без нея ж никтоже может право разсудити не точию в Божественных писаниих но и в земских дѣлех..." (Огнев, 1880, с. 65-66; ср. также сходный текст в послании Арсения Глухого к боярину Б. М. Салтыкову 1619 г. - Скворцов, 1890, с. 426). Грекофильская ориентация Арсения ясно отразилась в предисловии (1616 г.) к отредактированному им каноннику (ГБЛ, ф. 304, № 283): "Аз грѣшный инок Арсений Селижаровец написах сію книгу... Писах же с разных переводов, и в них обрѣтох многа неисправлена, паче же в тѣх, яже суть в Рустѣй земли составлены службы и каноны неискусными творцы грамотичному ученію. И елика возможна моему худому разуму, сіа исправлях..." (Иларий и Арсений, II, с. 58, № 283, ср. с. 57, № 281; ср. еще: там же, III, с. 48, № 684). Связь обращения к грамматике и риторике с грекофильской ориентацией отчетливо видна и в словах Епифания Премудрого, в написанном им житии Стефана Пермского: "Азъ... есмь умою грубъ, и словомъ невѣжа, худъ имѣя разумъ и промыслъ предоумень, не бывавшю ми во Афинѣхъ отъ уности, и не научихся у философовъ ихъ ни плетения риторьска, ни вѣтиских глаголъ, ни Платоновыхъ, ни Арестотелевыхъ бесѣдъ не стяжахъ, ни философию, ни хитрорѣчия не навыкохъ" (Кушелев-Безбородко, IV, с. 119-120). Здесь же Стефан Пермский характеризуется как "чюдный дидаскаль, исполнь мудрости и разума, иже бѣ измлада научился всѣй внѣшнѣй философи, книжнѣй мудрости и грамотнѣй хитрости" (там же, с. 134).

Соответственно, в Моск. Руси распространяются риторические руководства, построенные по греч. образцам (Соболевский, 1903, с. 371 сл.); позднее здесь появляются риторики западного происхождения (Лахман, 1980; Аннушкин, 1984). Характерно, что знание грамматики и риторики указывается как необходимое требование к книжному справщику в царской грамоте 1616 г., направленной в Троицкий монастырь: исправление Требника предписывалось поручить здесь тем монахам, которые "подлинно и достохвално извычии книжному учению и грамотику и риторию умеют" (ААЭ, III, с. 483, № 329). По этой грамоте исправление Требника было поручено архимандриту Дионисию Зобниновскому и иноку Арсению Глухому, о которых мы уже гово-

рили - Арсений, как мы знаем, оставил специальное рассуждение о пользе грамматики и философии.

Итак, обращение к грамматическому и риторическому учению возникает как естественное следствие грекофильской культурной ориентации. Однако в плане гуманитарного образования греч. культура не отличалась здесь от латинской. Тем самым, такое обучение могло восприниматься и как характерный признак латинства - там, где борьба с латинским языком и латинской образованностью была актуальна. Тем самым, одни и те же понятия (грамматика, риторика и т. д.) могут приобретать положительный или отрицательный смысл в зависимости от ориентации - положительной (на греков) или отрицательной (против латинян).

Князь Курбский писал: "Молю и совѣтую, аще кто языка словенскаго братій нашихъ хочетъ прочитати книгу его [Иоанна Дамаскина] и оныхъ древнихъ учителей премудрыхъ церковныхъ, да первое учаться трудолюбне и тщательно прочитають со прилежаніемъ божественные писанія, потомъ и внѣшнымъ поучаются, сирѣчь философскимъ искусствамъ (аще ли не обрящутъ въ землѣ своей таковыхъ учителей, да не лѣнятся ѣздити и до чужыхъ странъ...)" (Оболенский, 1858, стлб. 361). В этой цитате обращает на себя внимание стремление сочетать текстологический и грамматический подход к ц-сл. языку, т.е. подход, основывающийся на изучении текстов, и подход, основывающийся на овладении грамматикой (ср. Толстой, 1976). Понятно, что для традиционной культуры такой путь мог быть принципиально неприемлем.

Действительно, уже старец Елеазарова монастыря Филофей в послании к дьяку Мисюрю-Мунехину "на звездочетцы и латины" первой трети XVI в. говорит о греховности изучения риторики и философии (Малинин, 1901, прилож., с. 37-38); этот текст почти дословно повторяется затем в азбучных прописях 1643 г. (Востоков, 1842, с. 463, № 326). Гуманитарные науки ассоциируются здесь с языческой мудростью и вместе с тем с латинством (Мисюрь-Мунехин, который первым, кажется, поднимает этот вопрос, был московским эмиссаром в Пскове и боролся там с западным культурным влиянием). Филофей, правда, не упоминает о грамматике, но очевидно, что имеется в виду весь комплекс гуманитарных знаний; во всяком случае уже во второй пол. XVII в. соответствующие высказывания могут эксплицитно распространяться и на грамматику. В XVI в. такие высказывания характерны, главным образом, для представителей Ю.-З. Руси - мы встречаем их у Иоанна Вишенского в "Книжке", а также в послании старице Домникии и в "Зачапке мудраго латынника с глупым русином" (Вишенский, 1955, с. 10, 23, 162-163, 172, 175-176, 194), у старца Артемия в его послании к "люторским учителям" второй пол. XVI в. (РИБ, IV, стлб. 1325; ср. идентичный текст в "Списании против люторов" 1580 г. - РИБ, XIX, стлб. 174), у острожского священника Василия в его антикатолическом сочинении "О единой вере" 1588 г. (РИБ, VII, стлб. 673) и в анонимных "Вопросах и ответах православному з папезником" 1603 г. (РИБ, VII, стлб. 108). Эти высказывания могут пониматься в связи с протестом против латинского языка и латинского образования, что было особенно актуально в Ю.-З. Руси; характерно, что совершенно аналогичные заявления могут быть встречены и у представителей польской реформации - таких, например, как Мартин Чехович (Перетц, 1926, с. 44), - что также связано, конечно, с борьбой против латинского

языка. Речь идет при этом о программе так называемых семи свободных наук, принятых в латинских (и протестантских) школах, куда входили грамматика, риторика и диалектика, составляющие вместе первый раздел данной программы (тривиум).

Такая программа усваивалась постепенно и православными школами Ю.-З. Руси (Архангельский, 1888, с. 39-42), что и вызывало протесты представителей традиционной православной культуры. Характерно, что в 1590 г. киевский митрополит Михаил Рагоза в своей клятвенной грамоте на львовских мещан Рудька и Билдагая отлучил их от церкви за противодействие деятельности братских школ и, в частности, "грамматическому, диалектическому и риторическому учению" (Акты Зап. России, IV, с. 33, № 24).

С сер. XVII в. совершенно такие же протесты мы встречаем и у великорус. книжников, а именно у представителей старообрядческой партии - например, в "Книге о правой вере" архимандрита Спиридона Потемкина (Бороздин, 1898, с. 108), у протопопа Аввакума в "Житии", в "Книге толкований и нравоучений" и в различных посланиях (РИБ, XXXIX, стлб. 67, 133, 151, 214, 547-548; Демкова, 1974, с. 388-389; Демкова и Малышев, 1971, с. 178-179; Кудрявцев, 1972, с. 196-197; ср. Субботин, I, с. 486-488), в "Житии" старца Епифания (Пустозерский сб., с. 81), а также в прениях старообрядцев - диакона Федора с иконийским митрополитом Афанасием в 1668 г. (Субботин, VI, с. 54) и инока Авраамия с рязанским архиепископом Иларионом в 1670 г. (Субботин, VII, с. 395, ср. с. 266). Это объясняется тем, что старообрядцы видели в никоновских реформах латинизацию русской культуры (что связано с экспансией ю-з-рус. образованности в период третьего юж-сл. влияния, см. 16.4). Вообще, в целом ряде случаев выступления такого рода непосредственно сочетаются с протестами против латинского учения (так, например, у старца Филофея, у Иоанна Вишенского, у священника Василия, у Спиридона Потемкина; в "Вопросах и ответах..." 1603 г. утверждается именно разобщенность латинской науки с "верхней диалектикой" и с "внутренней Богом дарованной церковной философией").

Протест против грамматики, риторики и философии как частей латинского учения мог обуславливать переоценку высокого книжного языка у представителей старообрядческой партии. В условиях ю-з-рус. влияния язык этот оказывался в их восприятии дискредитированным как язык нетрадиционной образованности, как нечто искусственное и навязанное извне. Именно это может обуславливать демонстративное обращение протопопа Аввакума к "просторечию", т.е. к "простому" книжному языку (см. 14.3), противопоставление этого языка языку ученой книжности как естественного искусственному, духовного - культурному. Весьма показательна в этом плане, что Никита Добрынин, разбирая исправления никоновских справщиков, осуждает между прочим замену местоимения вин. падежа *ихъ* на *я* (в Пс. LXXII, 18), т.е. нейтральной ц-сл. формы на специфически книжную (Румянцев, 1916, прилож., с. 355).

15. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ (ЛИТОВСКОЙ) РУСИ

15.1. Историко-культурные сведения. В течение XIII–XIV вв. древние южнорус. и западнорус. княжества, за исключением Галицко-Волынского княжества, Буковины и Карпатской Руси, стали частью Великого княжества Литовского. При князе Ольгерде (1293–1377) границы этого княжества простирались до Черного моря на юге, на востоке они охватывали Чернигов, Брянск и Смоленск, на западе часть Волыни с Острогом. Галицко-Волынское княжество (Галичина и другая часть Волыни) вошло в состав Польши, Буковина оказалась под властью молдавского господара, а Карпатская Русь вошла в состав Венгрии.

Литовское княжество было многоязычным государством, во главе его стояли литовские князья, наследники Гедимины, при этом государственным (канцелярским) языком был русский. Вплоть до XIV в. большое число литовцев были язычниками, в то время как рус. (вост.-сл.) население оставалось православным. Естественно, поэтому, что рус. культура играла в Литовском государстве доминирующую роль, что и обусловило пользование рус. языком как государственным. В 1386 г. великий князь литовский Ягайло вступает в брак с польской королевой Ядвигой и занимает польский королевский престол. С этого времени Литовское княжество, сохраняя автономию, входит в состав Польско-Литовского государства. Процесс слияния Литвы и Польши завершается Люблинской унией 1569 г.

Подобно тому, как Литовское княжество было многонациональным государством, оно было и многоконфессиональным государством: здесь сосуществовало православие, католицизм, протестанство, иудаизм. После польско-литовской унии 1385 г., когда Ягайло принял католичество, начинается процесс латинизации населения Литовского государства; латинизации в конфессиональном отношении соответствует полонизация в языковом отношении. И тот и другой процесс затрагивает прежде всего социальные верхи (шляхту). Отсюда особую актуальность получает здесь борьба с распространением католицизма и католической пропагандой. Эта борьба особенно обостряется после церковной Брестской унии 1596 г., в результате которой появляются униаты, сохраняющие православный обряд, но признающие главенство папы и католическое вероучение. Борьба с католицизмом обуславливает появление православных братств в XVI в., т.е. городских корпораций православных, ставивших своей задачей поддержание и защиту православной веры. Для нас важно, что при братствах существовали школы, в которых поддерживалось знание ц.-сл. языка. Эти школы ставили перед собой задачу воспитания образованных православных, которые могли бы противостоять католической пропаганде. Они давали общее образование, включавшее обучение греч., а иногда и латинскому языку. В отличие от Моск. Руси в Ю.-З. Руси совсем не было грекофобии, напротив, для нее характерны живые контакты со всем православным Востоком, равно как и с южными славянами (Молдавия, в которую входила Буковина, сохраняла болгарскую традицию ц.-сл. языка). Показательно в этом смысле появление здесь славяно-греч. учебников с параллельным текстом на двух языках - таковы Букварь 1578 г., изданный в Остроге Иваном Федоровым, и 'Αδελφότης. "Граμμα-

тика доброглаголивого еллино-словенского языка", изданная во Львове в 1591 г. (эта грамматика была предназначена для Львовской братской школы).

Несмотря на то противостояние, которое православные оказывали католицизму, западное культурное влияние в Ю.-З. Руси было исключительно сильным, распространяясь на самые разные аспекты культуры и, в частности, сказываясь на языке. Культурные деятели Ю.-З. Руси обычно владели польским языком как родным: так, например, польский язык был основным для Петра Могилы. Характерное для ю-з-рус. культуры многоязычие находит отражение в макаронических текстах, составленных из фраз на ц-сл., польском и латинском языках, которые пишутся такими, например, православными деятелями, как Лазарь Баранович или Димитрий Ростовский. Этому многоязычию (и вообще западному влиянию) способствовало и то, что православные, желавшие получить высшее образование, получали его обычно в католических университетах.

Наряду с православием и католицизмом, большую роль в Ю.-З. Руси играли и протестанты различных направлений, в частности, так называемые социниане ("ариане"). Деятельность протестантов обусловила появление первых переводов Св. Писания на "русский" язык (об этом языке будет специально сказано ниже - перевод Св. Писания и богослужения на национальные языки вообще был характерен для Реформации).

15.2. Различие в языковой ситуации Моск. и Ю.-З. Руси. Как мы знаем, второе юж-сл. влияние определяет потенциальную возможность преобразования церковнославянско-рус. диглоссии в церковнославянско-рус. двуязычие. Однако эта возможность по-разному осуществляется в Моск. и в Ю.-З. Руси (политическое и культурное размежевание которых приблизительно совпадает со временем второго юж-сл. влияния). Если в Моск. Руси после второго юж-сл. влияния сохраняется ситуация д и г л о с с и и, в Ю.-З. Руси появляется церковнославянско-рус. д в у я з ы ч и е. Иными словами, в то время как в Моск. Руси функционирует один литературный язык (ц-сл. язык великорус. редакции), в Ю.-З. Руси сосуществуют два литературных языка: наряду с ц-сл. языком (специальной ю-з-рус. редакции), в этой функции выступает здесь так называемая "проста или руска мова".

Это различие в языковой ситуации наглядно отражается, между прочим, в номенклатуре наименований, принятых для соответствующих языков: в Моск. Руси эпитет "русский" при обозначении литературного языка относился к ц-сл. языку, т.е. "русский" и "словенский" были синонимами; напротив, в Ю.-З. Руси этот эпитет обозначал язык, противостоящий ц-сл. языку, т.е. "рус(с)кий" и "словенский" выступали как антонимы. В свою очередь слово "русский" синонимично в Ю.-З. Руси слову "простой": если в Моск. Руси эпитет "простой" в принципе не противопоставлен "словенскому" (см. 14.3), то в Ю.-З. Руси "простым" именуется язык, находящийся в оппозиции к ц-сл. языку. Характерно, что "просту мову" в Моск. Руси могут называть "литовским" или "белорусским" языком, но, естественно, не называют этот язык ни "простым", ни "русским", поскольку эти термины имеют здесь иное семантическое наполнение.

Что касается терминов "словенский" и "словенороссийский", то они служат для обозначения ц-сл. языка как в Моск., так и в Ю.-З. Руси. Специфической ю-з-рус. формой является "славенский", которая встречается здесь наряду с "словенский", тогда как в Моск. Руси употребительна только последняя форма.

15.3. "Проста (руська) мова" как особый литературный язык Ю.-З. Руси. "Проста мова" отнюдь не совпадает с живой диалектной речью, представляя собой до некоторой степени искусственное образование. Само название *проста* ни в коем случае нельзя понимать буквально, поскольку выражение *проста мова* восходит к лат. *lingua rustica* (вместе с тем, как мы увидим, оно может сближаться также и с соответствующими греч. наименованиями, см. 15.4) - иначе говоря, это книжное по своему происхождению выражение.

Отличия "простой мовы" от диалектной разговорной речи очень четко осознавались в Ю.-З. Руси. Так, в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.) *lingua sclavonica*, т.е. "проста мова", с одной стороны, противопоставляется *lingua sacra sclavonica*, т.е. ц-сл. языку, а с другой стороны - *lingua popularis*, т.е. украинской диалектной речи (Кудрицкий, 1970, с. 39-42). В словаре Памвы Берынды (1627 г.) "руская" речь (т.е. "проста мова") противопоставляется "волынської" (т.е. украинской) и "литовської" (т.е. белорусской): ц-сл. *пѣтель* здесь соответствуют "руски, когутъ, волынски, пѣвень. литовски, петухъ" (Берында, 1627, стлб. 199; Берында, 1653, с. 133). В рукописной "Науке христианской", составленной в 1670 г. неким священником Симеоном Тимофеевичем, говорится, что книга эта изложена "барзо простою мовою и диялектом, иж и напростѣйшому челоувѣковѣ снадно понятая" (Белодед, 1958, с. 77); при этом "барзо простая мова" противопоставляется обычной "простой мове". В львовском букваре 1790 г. мы встречаем характерное предупреждение: "Старайся, абы не мовити по простацку" (Букварь, 1790, л. Е/2). Поскольку сам букварь написан на "простой мове", очевидно, что речь идет не о ней, а о языке простонародья, т.е. "проста мова": противопоставляется "простацкой мове".

О книжном (литературном) характере "простой мовы" свидетельствует ее сложный синтаксис, явно искусственный и противопоставленный синтаксису разговорной речи. На синтаксическом уровне "проста мова" может быть вообще не противопоставлена ц-сл. языку. Соответственно, Симеон Тимофеевич в только что упоминавшейся "Науке христианской" 1670 г., ратуя за применение "барзо простой мовы и диалекта", специально обосновывает необходимость говорить с церковной кафедры "простой и короткой мовой", а не "широкой и узловатой" (Белодед, 1958, с. 78), т.е. "проста мова" как книжный язык противопоставляется "барзо простой мове" именно по синтаксическому критерию. Следует при этом иметь в виду, что ю-з-рус. книжники нередко именуют ц-сл. язык "широким" (Памва Берында), "широкоглагольным" (Памва Берында), "пространным" (Тарасий Земка) (Титов, 1918, прилож., с. 185, 84, 251) - таким образом, в отношении синтаксиса ц-сл. язык и "проста мова" получают одинаковую оценку.

Приведем несколько произвольных примеров. В посвящении Захарии Копыстенского в изданной им книге бесед Иоанна Златоуста (Киев, 1623) читаем: "и дал' Митрополіту Неофту з' Епископы и благородным' посломъ розказуючи донести Великому Князю Володімеру Всеволодовичу, и просиль его мовячи: прійми от насъ о Боголюбивый Княже тыи зацныи дары, которыи твоему Благородству предзначены сут[ь], и поклоненіе Царскіх жребій пало, на Славу и честь и на вѣнчаніе Твоего Самовольного и Самодержавного Царства" (Титов, 1918, прилож., с. 70). В "Мессии Праведном" Иоанникия Голятовского (Киев, 1669): "посредѣ облака видѣли всѣ Ха Збавителя поступу-
ючого, и великою свѣтлостю блискаючого, который сталъ на оболуку против Архієп^с

па и мовиль: для мѣтвы Егѣповои, улѣчает васъ на Крѣтъ прибитый от отцовъ ваших" (л. 117 об.).

Соответственно, может обсуждаться вопрос о степени владения "русским" языком ("простой мовой"), т. е. знание этого языка не предполагается как нечто само собой разумеющееся - как это в общем имеет место в случае живой диалектной речи, - но оказывается связанным с культурно-ценностным началом, как это и характерно вообще для литературного языка. Так, например, современники говорят о Тарасие Земке (известном книжнике нач. XVII в.) как о человеке, сведущем в греч., латинском, ц-сл. и русском языках ("człowiek uczony w Graeckim, Łacińskim, Słowiańskim, y Ruskim Dialekcie" - Отроковский, 1921, с. 9, 11).

Статус литературного языка, противопоставленного живой разговорной речи, отчетливо выражен в орфографии "простой мовы". Так, например, здесь не получает отражения переход /о/ в /у/ или /і/ в новых закрытых слогах, причем оказывается возможной гиперкоррекция (сосодъ вместо сосудъ); здесь употребляется буква ф, означающая звук, еще и сегодня чуждый украинской речи, и т. п. Таким образом, орфография "простой мовы" не отражает фонетических явлений живой речи. Вместе с тем, она может противопоставляться орфографии соответствующих ц-сл. слов. Так, Лаврентий Зизаний в грамматике 1596 г. явно стремится противопоставить орфографический облик слов, совпадающих в ц-сл. языке и в "простой мове": ц-сл. *четыри*, рус. *чотыри*, ц-сл. *коликш* - рус. *колкш* и т. п. (см. 15.4).

Таким образом, "проста мова" противопоставляется как ц-сл. языку, так и диалектной украинской или белорусской речи. Однако, в отличие от ц-сл. языка этот язык обнаруживает несомненный разговорный субстрат, который подвергается искусственному окнижению за счет, во-первых, славянизации и, во-вторых, полонизации. Соответственно могут быть выделены два варианта "простой мовы" - украинский и белорусский: украинский вариант более славянизирован, белорусский в большей степени полонизирован. Границы между "простой мовой" в ее белорусском варианте и польским языком оказываются при этом весьма нечеткими: в предельном случае тексты на "простой мове" могут приближаться к кириллической транслитерации польского текста (ср. Соболевский, 1980, с. 65); в других случаях эти тексты могут отличаться лишь по ограниченному набору признаков (см. 15.4).

В основе "простой мовы" лежит актовый канцелярский язык Ю.-3. Руси, официально признанный в Польско-Литовском государстве как язык судопроизводства. Этот язык, постепенно теряя функции делового языка, становится литературным языком в широком смысле, т. е. употребляется и вне деловых текстов. Став языком литературы (в том числе и конфессиональной литературы), этот язык подвергся нормированию (главным образом на уровне орфографии и морфологии). Таким образом, "проста мова" представляет собой книжный (литературный) язык, возникший на основе делового государственно-канцелярского языка Ю.-3. Руси. В Моск. Руси, как мы знаем, также есть особый приказной язык, но там он не конкурирует с ц-сл. языком; это различие в судьбах делового языка в Моск. и Ю.-3. Руси отражает различие в языковой ситуации на этих территориях: в Моск. Руси деловой язык вписывается в ситуацию диглоссии, в Ю.-3. Руси - в ситуацию двуязычия.

В Литовском Статуте специально оговорено право применения "русского" языка в законодательстве - см. об этом как в рукописной редакции 1566 г. (Аниченко и др.,

I, с. 145), так и в печатном виленском издании 1588 г. (с. 122); о том же говорится и в других ю-з-рус. документах конца XVI в. (см. Нимчук, 1980, с. 35–36, 40). Характерно при этом, что Литовский Статут был напечатан (в 1588 г.) курсивом, который представляет собой типографский эквивалент скорописи – скоропись же, как уже упоминалось, ассоциируется с деловым языком (см. 10.4).

Статус государственного языка способствовал кодификации "простой мовы". В то время как язык частных и местных актов и грамот в силу своей ограниченности, локальной направленности носит следы местного говора, иногда доходя почти до транскрипции живого произношения и отражения живых форм речи, канцелярский язык тяготеет к стандартизации и кодификации. Однако он базируется на живом языке, изменяясь вместе с ним, а униформность ему нужна для связи в пространстве, а не во времени. В этом существенное отличие "простой мовы" от ц-сл. языка. Это литературный язык нового типа по сравнению с ц-сл. языком: будучи связан с живой речью, он обнаруживает тенденцию к эволюции. Именно поэтому мы наблюдаем в Ю.-З. Руси характерное терминологическое противопоставление ц-сл. языка – "простой мове": "язык" противопоставляется "речи (мове)", т.е. тому, что находится в непрерывном движении; позднее "просту мову" будут называть "язычием". При этом подчеркивается различие в самой природе сопоставляемых явлений, разная степень их оформленности. Соответственно "проста мова" обнаруживает определенную свободу варьирования, и это определяет специфику ее описания: если ц-сл. язык может быть описан как независимая и самостоятельная языковая система, то признаки "простой мовы" определяются в ее противопоставленности ц-сл., диалектному или польскому языку (иначе говоря, если ц-сл. язык может быть описан как система правил, то "проста мова" может быть описана как система запретов).

"Проста мова" в дальнейшем почти бесследно исчезает. В частности, она не обнаруживает связей с современным украинским и белорусским литературными языками, которые всецело базируются на живом говоре. В XVIII – нач. XIX вв. "проста мова" сохраняется лишь в униатских монастырях. Тем не менее сам факт ее существования оказывает, как мы увидим (см. 18.3), значительное влияние на рус. языковую ситуацию; можно сказать, что "проста мова" имеет существенно большее значение для истории рус. литературного языка, чем для истории украинского и белорусского литературного языков.

15.4. Характер сосуществования ц-сл. языка и "простой мовы". Церковнославянско-рус. двуязычие в Ю.-З. Руси калькирует латинско-польское двуязычие в Польше; функциональным эквивалентом латыни выступает здесь ц-сл. язык, а функциональным эквивалентом польского литературного языка – "проста мова". По мере становления польского литературного языка латинский и польский языки употребляются параллельно, причем постепенно польский язык вытесняет латынь. В точности то же самое мы наблюдаем в Ю.-З. Руси, где "проста мова" постепенно вытесняет ц-сл. язык, оставляя за ним лишь функции культового языка.

Эта аналогия языковой ситуации в Ю.-З. Руси и в Польше была совершенно ясна современникам. Так, например, Афанасий Филиппович подчеркивал в своем "Диариуше" (первая пол. XVII в.) одинаковое соотношение "русского" и "словенского" языков, с одной стороны, и польского и латыни, с другой, – отмечая, что "Русь словенским и руским, а поляки латинским и полским языком ведлуг народу и потребы литеральной книг" пользуются (РИБ, IV, 1, стлб. 125; Аниченко, 1969, с. 232). Важно при этом подчеркнуть, что "простым" может называться и

польский язык (см., например: Клеменсевич, II, с. 23, 25, 29; Карский, 1896, с. 75), т.е. данный эпитет объединяет польский литературный язык и литературный язык Ю.-З. Руси.

Вполне естественно в этих условиях, что произведения, написанные на "простой мове" в целом ряде случаев являются переводами с польского. Ю.-з.-рус. книжники нередко пишут сначала по-польски, а затем переводят на "просту мову" (например, Мелетий Смотрицкий, Петр Могила и др.). Даже Краткий катехизис Петра Могилы и Исаи Козловского, преследующий учебные цели и предназначенный, очевидно, прежде всего для православных читателей, был напечатан в Киево-Печерской лавре в 1645 г. сначала по-польски, а затем уже в переводе на "просту мову" - "первѣй языкомъ Полским, а теперъ Діалектомъ Рускимъ". Особенно знаменательно, что и такой памятник, как Киево-Печерский патерик переводился на "просту мову" не с ц.-сл. языка, а именно с польского (этот перевод остался в рукописи - Перетц, 1926, с. 92-100; Перетц, 1958). В предисловии к своему переводу (1581 г.) "с полского языка на речь рускую" сочинения евангелия М. Чеховича (польское издание вышло в 1577 г.) В. Негалевский заявляет, что его перевод предназначен для тех "учоныхъ, богобойных... людей, которые писма полского читати не умеют, а языка словенского читаючи писмом рускимъ выкладу з словъ его не розумеют" (Назаревский, 1911, с. 119). Таким образом, польский понятнее этим "учоным богобойным людям", чем ц.-сл. язык, смущает их лишь польская (латинская) графика; соответственно, как уже говорилось, тексты на "простой мове" могут приближаться к кириллической транслитерации польского текста.

Тексты на "простой мове" могут при этом непосредственно коррелировать с соответствующими текстами на польском языке, отличаясь от них лишь по ограниченному набору маркированных признаков - совокупность подобных признаков и определяет в подобных случаях специфику "простой мовы", способствуя тем самым ее кодификации. Особенно показательно в этом отношении "Казанье св. Кирилла патриарха Иерусалимского о антихристе..." Стефана Зизания, напечатанное в Вильне в 1596 г. на двух языках - с параллельным текстом на польском языке и на "простой мове", ср., например:

A co Hereticy bioro sobie
ná te swoje herezye dowody.
Pierwŷy od Ewanyeliey, co
chrystus napomina: Aby každy
poki tu na swiecie żywie
rozpráwil sye koniecznie
z przeciwnikiem swym

А што еретици берѸ^Т собѸ^Т
на свою ере^С доводы,
первы^И ѿ евлѸ^Иа, што
Хс наминае^Т, абы кажды^И
поки на свѣтѣ живе^Т
розправилсѧ конечне
с противнико^М свои^М

Ср. еще примеры параллельных текстов на польском и на "простой мове": Толстой, 1963, с. 250-253.

Таким образом, мы можем констатировать перенесение в Ю.-З. Русь польской языковой ситуации, которая и приводит к становлению церковнославянско-рус. двуязычия по модели латинско-польского двуязычия: ц.-сл. язык непосредственно коррелирует с латынью, а "проста

мова" - с польским литературным языком. Это прямо отражается на функционировании обоих литературных языков Ю.-З. Руси.

Подобно латыни, ц-сл. язык становится языком ученого сословия: знание ц-сл. языка, как и знание латыни, связано, таким образом, с социальной дифференциацией. Если на Западе образованность предполагает знание латыни (ср. *homo litteratus* как наименование человека, который владеет книжной латынью), то в Ю.-З. Руси образованность предполагает знание ц-сл. языка. Напротив, польский язык и коррелирующая с ним "проста мова" выступают в значительной мере как языки шляхты; вообще появление "простой мовы" было в большой степени обусловлено билингвизмом социальных верхов Украины и Белоруссии. В Польше в XVI в. шляхтич стыдится знания латыни (Майенова, 1955, с. 87, № 101), и надо полагать, что такое же отношение к ц-сл. языку могло иметь место у православной шляхты Ю.-З. Руси. Это весьма существенно отличается от ситуации диглоссии, где одни и те же нормы книжного (литературного) языка охватывают все слои общества (см. 2.2.2). Вообще ситуация двуязычия в значительной степени переводит проблему литературного языка в социолингвистический план, поскольку владение тем или иным языком может связываться в этих условиях с социолингвистическим расслоением общества. Роль того или другого из сосуществующих друг с другом конкурирующих языков определяется тогда престижем социума, с которым он ассоциируется.

В качестве языка ученого сословия ц-сл. язык может выступать как средство разговорного общения. Очевидно, что и в этом случае функции ц-сл. языка не отличаются от функций латыни; вместе с тем, они разительно отличаются от функций ц-сл. языка в условиях диглоссии (например, в Моск. Руси). Так, в братских школах ц-сл. язык сознательно вводился как способ устной коммуникации - фактически на тех же правах, что и латынь в польских католических школах: согласно уставу Львовской братской школы (1587 г.) детям запрещалось разговаривать между собой на "простой мове", и они должны были разговаривать по-церковнославянски или по-гречески ("...Также учать на кождый день, абы дѣти единъ другого пыталъ по грецку, абы ему отповѣдалъ по словенску, и тыжъ пытаются по словенску, абы имъ отповѣдано по простой мовѣ. И тыжъ не мають з собою мовити простою мовою, ено словенскою и грецкою" - Голубев, 1886, с. 198; тот же текст дословно повторяется в уставе Луцкой школы 1624 г. - Архангельский, 1888, с. 39-40). Впрочем, Мелетий Смотрицкий протестует против этого и специально предупреждает в предисловии к своей грамматике 1619 г., что учителя должны под угрозой наказания пресекать попытки разговаривать на "славенском диалекте": "Діалект в' звиклой школной розмовѣ Славенскій межи тщателми под каран'емъ захованъ" (Смотрицкий, 1619, предисл., л. 3) - однако, сам протест красноречиво свидетельствует о практике такого рода. Итак, ц-сл. язык оказывается уподобленным по своей функции латыни: церковнославянский или греческий в православном мире призваны играть ту же роль, что и латынь в католических странах.

Об использовании ц-сл. языка в качестве разговорного и о параллельном употреблении ц-сл. языка и "простой мовы" свидетельствует и рукописный разговорник 1570-х гг. собрания Парижской Национальной библиотеки, озаглавленный "Розмова". Рукопись написана параллель-

но на двух языках, обозначенных автором как *popularis* и *sacra*, причем под первым названием выступает "проста мова", а под вторым - ц-сл. язык (Жовтобрюх, 1978, с. 191 сл.). Существенно отметить, что этот разговорник, по всей видимости, переводился с латыни; соответственно, употребление ц-сл. языка в данном случае оказывается прямо ориентированным на употребление латыни.

Поскольку ц-сл. язык при двуязычии не ограничен в своем употреблении, закономерно возникает пародийное использование ц-сл. языка, совершенно невозможное при диглоссии (см. 2.2.1). Наряду с пародиями, в которых несерьезное содержание выражается подчеркнуто книжным языком, здесь появляются и пародии обратного типа - в которых, напротив, серьезное (в частности, библейское) содержание выражается подчеркнуто низкими языковыми средствами; оба типа текстов явно связаны между собой и появляются в одной и той же - школярской - среде (см. вообще о пародиях в Ю.-З. Руси: Возняк, III, с. 251-252, 266 сл.). Пародии на ц-сл. языке явно отражают пародийные тексты на латинском языке, которые часто и служат для них непосредственным источником.

Различие в отношении к ц-сл. языку в Моск. Руси (в условиях диглоссии) и в Ю.-З. Руси (в условиях двуязычия) отчетливо проявляется во взгляде на языковые ошибки. Характерное для диглоссии неконвенциональное понимание знака (ср. 12.5) обуславливает восприятие языковых ошибок в сакральных текстах как греховного искажения истины, при двуязычии же ошибки относятся к выражению, но никак не затрагивают содержания. Ср. специальную молитву разрешения писарям, входившую в рус. Требники; где писец каялся в том, что он непреднамеренно исказил священный текст: "Съгрѣшихъ преписываа святаа и божественнаа писаниа свѣтыхъ апостолѣ и свѣтыхъ отецъ по своей воли и по своему недоразумію, а не яко писано" (Горский и Невоструев, III, 1, с. 219; ср. Петухов, 1888, с. 45-46; Алмазов, III, с. 209-216; Никольский, 1896, с. 58, 62). Искажение в выражении в принципе связывалось с искажением в содержании. Подобное отношение к ошибкам устной или письменной речи совершенно нехарактерно для католического Запада: невольная ошибка там не связывается с искажением содержания и, тем самым, не рассматривается как грех (ср. между тем рус. *погрѣшность* в значении "ошибка"). Равным образом, и в Ю.-З. Руси непреднамеренная ошибка не считалась грехом. Петр Могила специально подчеркивал в предисловии к Требнику 1646 г., что если в Требнике и встречаются какие-либо погрѣшности или ошибки, то они нисколько не вредят нашему спасению, ибо не уничтожают числа, силы, материи, формы и плодов свѣтыхъ таинств: "...если суть яковѣ погрѣшенія, албо помылки в ... Требникахъ, тые Спасенію нашему нѣчого нешкодят, поневажъ Личбы, Моци, Матеріи, Формы и Скутковъ свѣтыхъ Таинъ незносятъ" (Титов, 1918, с. 286; прилож., с. 371).

Функционирование "простой мовы" также свидетельствует о ситуации двуязычия. Это проявляется уже в переводе Св. Писания на этот язык. Как мы знаем, перевод сакральных книг на низкий язык в условиях диглоссии невозможен, и это явление представляет собой яркий диагностический признак двуязычия (см. 2.2.1).

К XV в. относят перевод библейских книг Ветхого Завета с еврейского языка, связанный, как полагают, с "жидовствующими", который дошел до нас в сборнике XVI в. (Карский, 1921, с. 18-19). С XVI в. появляются переводы (как ветхозаветных, так и новозаветных книг), выполненные православными, причем некоторые из них сделаны непосредственно с ц-сл. текста; так, например, Пересопницкое евангелие было переведено "изъ языка блѣгарского на мову русскую", т.е. с ц-сл. языка на "просту мову" (Житецкий, 1905, с. 13; Житецкий, 1878).

Не менее характерно, что со второй пол. XVI в. в Ю.-З. Руси появляются параллельные тексты на ц-сл. и "русском" языках (см. Толстой, 1963, с. 248-249). Такие тексты появляются как у протестантов, так и у православных - см., например, Евангелие сочинианина Васи-

лия Тягинского (1570–1580 гг.) и православное острожское издание "Лекарства на оспалый умысл човечий" Д. Наливайки (1607 г.); оба текста напечатаны в две колонки, причем в предисловии к Евангелию Василий Тягинский говорит, что оно напечатано "двема езыки за раз, и словенским и при нем тут жо рускимъ, а то наболшии словенскимъ, а злаща слово от слова" (Владимиров, 1889, с. 2). Таким же образом в две колонки располагаются ц-сл. и "русский" тексты в "Тестаменте царя Василия" в рукописном сборнике XVII в. (Перетц, 1926, с. 65–72). В других случаях двуязычные тексты на ц-сл. языке и на "простой мове" располагаются иначе, а именно, сначала идет ц-сл. текст, а после него соответствующий текст на "простой мове"; см., например, собрание изречений, составленное Д. Наливайко, в рукописном сборнике второй пол. XVI в. (ГБЛ, ф. 256, № 2616; Копержинский, 1928).

Именно таким образом написаны, между прочим, некоторые части ц-сл. грамматики Лаврентия Зизания (1596 г.), где текст на ц-сл. языке сопровождается переводом на "простую мову". Эта особенность грамматики Зизания отражает, по-видимому, школьную практику Ю.-3. Руси. Действительно, в предисловии к грамматике Мелетия Смотрицкого (1619 г.) сообщается, что грамматика "научить ... и читати по Славенску и писати роздѣлне и чтомое вырозумѣвати лацно, гды при ней за повинным потщаниѣмъ вашимъ читаны будутъ звыклымъ школь способомъ Славенскіи лекціи и на Рускіи языкъ перекладаны" (Смотрицкий, 1619, предисл., л. 2 об.-3).

Так, в грамматике Зизания читаем: "Что есть Грамматика; Грамматика есть извѣстное вѣжество, Еже благо глати и писати. Толкованіе. Грамматика есть певное вѣдане, жебысмы добре мовили и писали. Колико есть частіи грамматики; чѣтыри, орфография, просодія, Етимологія, и Синтаксисъ. Толкованіе. Колко есть частій грамматики; чѣтыри, правописание, припѣло, истинное словие, и съчинение"; (Зизаний, 1596, л. 1-1 об.). Уже в этом небольшом отрывке наглядно проявляется противопоставление ц-сл. языка и "простой мовы" на разных уровнях - фонетико-орфографическом (*коликш - колкш, чѣтыри - чотыри*), грамматическом (*еже писати - жебысмы писали*), лексическом (*вѣжество - вѣдане, извѣстное - певное* и т.п.). Любопытно отметить, что коррелирующим эквивалентом к ц-сл. словам греч. происхождения выступают в "простой мове" калькирующие их сложные слова, которые по своей структуре могли бы, вообще говоря, расцениваться как славянизмы: противопоставление ц-сл. языка и "простой мовы" выступает в одних случаях как противопоставление книжного и разговорного, в других - как противопоставление греческого и славянского; инвариантной остается противопоставленность двух языков.

Итак, соответствующий параллелизм текстов - церковнославянского и "русского" - имеет место и в этом случае, но в сфере устного общения: "проста мова" выступает как средство интерпретации ц-сл. текста. Точно так же в львовском букваре 1790 г. молитвы на ц-сл. языке сопровождаются следующим предписанием: "Когда отрок послѣдующимъ молитвамъ читати учится... [учитель] долженъ... сія славенскія реченія простымъ рускимъ языкомъ ему истолковати" (л. В/1 об.). Вообще в богослужебных книгах Ю.-3. Руси ц-сл. текст может сопровождаться пояснениями ("рубриками"), руководственными указаниями и всевозможными сопроводительными рассуждениями на "простом" языке (Титов, 1918, с. 227–231; прилож., с. 15; Огиенко, 1931а, с. 201).

Другим показательным признаком ситуации двуязычия является кодификация "простой мовы", выражающаяся, в частности, в том, что она становится предметом обучения. Так, по уставу Могилевской братской школы (1597 г.) учителя "языка и письма словенского, руского,

греческого, латиньского и польского... учти повинны" (Акты Зап. России, IV, с. 172). Наряду с обучением появляется и грамматика "простой мовы", а именно грамматика Иоанна Ужевича 1643 г. (Ужевич, 1970); правда, грамматика эта написана на латыни, и это свидетельствует о том, что кодифицированность "простой мовы" не достигает кодифицированности ц-сл. языка. Вместе с тем, элементы кодификации "простой мовы" можно обнаружить уже в грамматике Мелетия Смотрицкого, который переводит отдельные грамматические конструкции на "просту мову", тем самым определенным образом ее кодифицируя.

См., например, устанавливаемые здесь соответствия глагольных времен:

Наклоненія сослагательнаго вида совершенна

Настоящее:	аще бымъ творилъ	гды бымъ былъ чинилъ
------------	------------------	----------------------

Преходящее:	аще быхъ творилъ	гды бымъ чинилъ
-------------	------------------	-----------------

Наклоненія сослагательнаго вида учащателна

Настоящее:	аще бымъ творялъ	гды бымъ былъ чинивалъ
------------	------------------	------------------------

Прешедшее:	аще быхъ творялъ	гды бымъ былъ чинивалъ
------------	------------------	------------------------

Мимошедшее:	аще быхъ творялъ	гды бымъ былъ часто чинивалъ
-------------	------------------	------------------------------

Непредѣльное:	аще быхъ сотворилъ	гды бымъ былъ учинилъ
---------------	--------------------	-----------------------

Будущее:	аще бымъ сотворилъ	гды бымъ учинилъ напотомъ
----------	--------------------	---------------------------

(Смотрицкий, 1619, л. Р/8-С/1 об., С/6; ср. также л. О/5-О/7 об., П/5 об.-П/8 об., Т/7, У/2). Любопытно, что при переиздании грамматики Смотрицкого в Москве в 1648 г. формы *гды*, *абым* и т.п., поскольку они были чужды разговорной речи московских справщиков, были восприняты как книжные и сохранены в тексте (см. Смотрицкий, 1648, л. 194-197, 205-208 об., 217-219, 224 об., 236 об., 240 об.). Таким образом формы "простой мовы", которые призваны пояснять ц-сл. формы у Смотрицкого, были переведены в ранг нормативных ц-сл. форм. В условиях диглоссии московские книжники не могли представить себе возможности параллельных церковнославянско-рус. текстов.

Наряду с этим, в XVI в. появляются церковнославянско-"русские" словари (чтобы оценить значимость этого явления, достаточно указать, что в великорус. условиях подобные словари появляются только во второй пол. XVIII в.). Так, к одному из экземпляров Острожской библии 1581 г. приложен рукописный словарь, толкующий ц-сл. слова "просто" (Амфилохий, 1884; Нимчук, 1964, с. 177-194). Другим таким словарем является печатный "Лексис" Лаврентия Зизания, опубликованный в приложении к его букварю 1596 г. (Нимчук, 1964, с. 23-89), а также словарь Памвы Берынды, выдержавший два издания (Киев, 1627; Кутеин, 1653); ср. еще рукописные "Синонима славеноросская" (Житецкий, 1889, прилож.; Нимчук, 1964, с. 91-172).

Ю-з-рус. книжники настойчиво подчеркивают достоинство (*dignitas*) "простой мовы". Так, Мелетий Смотрицкий говоря, что грамматика должна читаться по-церковнославянски и переводиться затем на "русский" язык, т.е. на "просту мову" (см. выше), ссылается в обоснование этого на то, что и библейские книги были переведены в свое время с греч. на ц-сл. язык (Смотрицкий, 1619, л. 2 об.-3). Иначе говоря, перевод с греч. языка на ц-сл. язык служит прецедентом, оправдывающим теперь перевод с ц-сл. на "просту мову" - тем самым "русский" язык ("проста мова") оказывается в том же ряду, что греческий или церковнославянский, по своему достоинству он не уступает ц-сл. языку. Аналогичным образом в предисловии к Учительному Евангелию, изданному в Евье в 1616 г., Смотрицкий (тогда еще носивший мирское имя Максим) говорит, что текст книги при переводе на "язык наш простой Русскій" как бы воскрешается из мертвых, подобно тому как в свое время он ожил для славян, будучи переве-

ден с греческого на церковнославянский (Титов, 1918, прилож., с. 329; Карский, 1921, с. 38; Нимчук, 1979, с. 15). Это высказывание подчеркивает равноправное положение "простого русского" и ц-сл. языка и одновременно констатирует, что ц-сл. язык является как бы мертвым. Наконец, и Памва Берында в послесловии к киевской Постной Триоди 1627 г. оправдывает перевод определенных частей Триоди (синаксарей и некоторых других) с греческого "на российскую бесѣду общую", ссылаясь на перевод Евангелия от Матфея с еврейского на греч. язык, а прочих трех Евангелий - с греч. на ц-сл. язык (Титов, 1918, прилож., с. 178). И в этом случае "российская беседа общая" признается в принципе равноправной греческому или церковнославянскому - мнению, которое в Моск. Руси должны были бы почитать кощунством. Замечательно, что Памва Берында при этом добавляет, что желающие могут читать соответствующие места и по-церковнославянски, если им это угодно, и заключает свое рассуждение словами апостола Павла (I Кор. XIV, 39): "Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками" ("Изволяй же в'зем Синаксаріа Словенская прочитавай себѣ, яже удобнѣе имѣти възможеси. Также, цѣлуемъ [приветствуем] васъ съ Апостоломъ. Ревнуйте же пророчествовати, а еже глаголати языки не възбраняйте" - Титов, 1918, прилож., с. 179). При этом апостол Павел в соответствующем месте противопоставляет пророчество как сообщение людям на понятном им языке глоссолалическому общению не с людьми, а с Богом, и ставит пророчество (проповедь) выше глоссолалии. Тем самым, ц-сл. язык приравнивается у Памвы Берынды глоссолалии, и использование "простой мовы" оказывается предпочтительным по сравнению с использованием ц-сл. языка.

Отметим, что выражение "беседа общая" как обозначение "простой мовы" у Памвы Берынды представляет собой, по-видимому, не что иное, как кальку с греч. λόγος κοινῇ γλώσσῃ (γλώττῃ): в контексте перевода с греческого - переводчиком с греческого на "просту мову" в киевской Постной Триоди 1627 г. был образованный книжник Т. Л. Земка, известный своими познаниями как в том, так и в другом языке (Отроковский, 1921, с. 9, 11; ср. 15.3), - ц-сл. язык может ассоциироваться с книжным греч. языком, а "проста мова" - с разговорным греческим. Позиция ю-з-рус. книжников непосредственно смыкается при этом с позицией юж-сл. книжников, которые также могут калькировать соответствующие греч. выражения, говоря об "общем" или "простом" языке (Лавров, 1899, с. 321, 344-345; Дель-Агата, 1983, с. 92-94; Дель-Агата, 1983а; Дель-Агата, 1984).

Аналогичный смысл имеет, по-видимому, и наименование ц-сл. языка "славеноросским", которое встречаем у ю-з-рус. авторов и, в частности, у того же Памвы Берынды (в заглавии его словаря). Название "славеноросский" или "славенороссийский" было образовано по аналогии с названием "еллиногреческий" как наименованием книжного греч. языка: подобно тому как "еллиногреческий" язык противопоставлен "простому" или "общему" греч. языку, "славеноросс(ийс)кий" противостоит "простому" или "общему" российскому языку; при этом в соответствии с тем как книжный греч. язык мог называться как "еллинским", так и "еллиногреческим", ц-сл. язык мог именоваться как "славенским", так и "славеноросс[ийс]ким".

Совершенно так же великорус. книжники в конце XVII в. - в условиях ю-з-рус. влияния (см. 16.4) - могут говорить о "латиноиталианском" языке (Каптерев, 1891, с. 166; Сменцовский, 1899, с. 309) или "латинопольском" (Шляпкин, 1891, с. 70; ср.

Соловьев, VI, с. 521) - видимо, противопоставляя книжный латинский язык "простому" итальянскому или польскому.

Итак, языковая ситуация Ю.-З. Руси в принципе может соотноситься не только с польской, но и с греч. языковой ситуацией, хотя соотнесение с греческим имеет, вообще говоря, искусственный характер.

В результате легитимации "простой мовы" и признания за ней прав книжного (литературного) языка этот язык не только занимает равноправное положение с ц-сл. языком, но и постепенно вытесняет последний в области гомилетической, агиографической, дидактической и т.п. литературы (Толстой, 1963, с. 254-258; Витковский, 1969, с. 8), иногда вторгаясь и в сферу церковного богослужения. Восставая против этого, Иоанн Вишенский писал: "Евангелиа и Апостола в церкви на литургии простым языком не выворачайте; по литургии ж для зрозумѣня людского по просту толкуйте и выкладывайте. Книги церковные всѣ и уставы словенским языком друкуйте" (Вишенский, 1955, с. 23). Точно так же и униатский архиепископ Иоасафат Кунцевич должен был наставлять священников, чтобы те, читая во время богослужения Евангелие, молитвы или ектении, не переводили ц-сл. слов на "русский" язык, но читали бы, как написано; между тем, учительные Евангелиа и житийные тексты переводить дозволялось: "Кгды тежѣ читают Евангеліе, албо якую молитву в голос, або ектеніи, не мають выкладат словенских словъ по руску, але такъ читати яко написано. учитанное зас Евангеліе або житіє стѣх читаючи людем, могут выкладати..." (Карский, 1921, с. 143). В конце XVI в. некоторые основатели церквей (донаторы) могут выдвигать специальное требование, чтобы священники этой церкви и их преемники совершали богослужение именно на ц-сл. языке (Харлампович, 1898, с. 417; Мартель, 1938, с. 98); очевидно, это совсем не было общим правилом.

Показательно, что Кирилл Транквиллион-Ставровецкий считает нужным специально объяснять в предисловии к своему "Зерцалу богословии" (1618 г.), "для чого покладолос в той книзѣ простый язык и словенскій; а не все по просту". Фактически о том же идет речь и в предисловии Г. А. Ходкевича к Учительному Евангелию, изданному в 1569 г. в Заблудове Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (Щепкина, 1959, рис. 12, ср. с. 233). Жанровая обусловленность "простого" языка в гомилетической литературе была настолько велика, что и цитаты из Св. Писания в проповедях нередко давались не в ц-сл. редакции, а в переводе (Титов, 1918, прилож., с. 12-14).

Если вопрос о переводе наиболее важных частей богослужения на "просту мову" оставался дискуссионным, то для каких-то частей церковной службы "проста мова" была принятым языком. Так, чтение на "простом" языке проповедей и синаксарей было широко распространенным явлением (Огиенко, 1930, с. 78-80; Огиенко, 1931, с. 27-28; Перетц, 1929, с. 20-55). Знаменательно, что в 1620-х гг. даже в Киево-Печерской Лавре, которая выступала вообще в качестве оплота ц-сл. языка в Ю.-З. Руси, на этот язык были переведены некоторые церковные молитвы и определенные части богослужения, например, в Постной Триоди 1627 г., где, как уже говорилось, содержится специальное оправдание использования "простой мовы", а также в "Книге о вере", изданной ок. 1620 г. (Титов, 1918, прилож., с. 180-182, 34); в Кратком катехизисе Петра Могилы и Исаии Козловского, изданном в Киево-Печерской Лавре в 1645 г., на "просту мову" переведены Отче наш и заповеди (Голубев, II, прилож., с. 432-469).

Так, в "Книге о вере" возглас священника перед чтением Отче наш на литургии дается в таком переводе: "Здари намъ Пане доброволне и без наганы взывати тебе небного Ба Оца мовячи: Оче нашъ, который естес[ь] на нбсехъ..." (Титов, 1918, прилож., с. 34). Ср. принятый ц-сл. текст: "И сподоби насъ, Владыко, со дерзнове-ниемъ неосужденно смѣти призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати: Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ...".

Тенденция распространить "просту мову" на богослужебные тексты наглядно проявляется, между прочим, при перепечатке во Львове в 1646 г. Краткого катехизиса Петра Могилы и Исайи Козловского. Львовское издание, вообще говоря, довольно точно воспроизводит киевское. Тем более показательно, что текст Символа веры, который в киевском издании приводится по-церковнославянски, во львовской перепечатке дается отчасти в переводе на "просту мову". Так, если в киевском издании 3-й член Символа веры представлен в следующем виде: "Насъ дѣля члвкъ, и ншего ради спсе-нія съшедшаго съ нбсъ, и въплотившагося от Дха Ста, и Мрія Двы, и въчловечшася", - то во львовском издании этот же текст читается таким образом: "который для нас члковъ, и для нашег[о] спснїа з'ступилъ з' нба, и тѣло принял от Дха Стого из' Мріи Двы и члком' сталъся" (Голубев, II, прилож., с. 380).

В богослужебных книгах Ю.-З. Руси могут даваться и указания об использовании в церкви "простой мовы". Так, например, в той же киевской Постной Триоди 1627 г. говорится: "Вѣстно же, ꙗко от сеа ^Днли начинаем чести Діалектом домашним, по отпустѣ Литіи в' Притворѣ Катѣхизас, си ест оглашенїа ст. оца Θεодора Студїта. И аще ту ест Игумен, чтутся от него, ащеж ни, то от Екклісарха..." (с. 15). В киевском Требнике Петра Могилы 1646 г. мы читаем в разделе посвященном последованию венчания: священник "въпра- шаетъ жениха... Рускимъ языкомъ, глаголя: Маеш' ^РИмкъ неотмѣнныи и статечныи умысл' заручити собѣ тепер тую ^РИмкъ которую тут перед собою видиш' в' стан' Малженскїи" (ч. I, с. 397). И далее: "По скончанїи... Слова, въпрашаетъ Іереи Жениха Рускимъ языкомъ, глаголя: Маешъ ^РИмк' волю добрую и не принушону и постановлений умыслъ поняти собѣ за малжонку тую ^РИмкъ которую тутъ передъ собою видишь" (с. 407); "Женихъ... свойственнымъ Рускимъ языкомъ глеть, рекшу Іерею: мовъ за мною [т.е. после того, как священник говорит жениху: "повторяй за мной"]: ꙗ ^РИмкъ беру собѣ тебе ^РИмкъ за малжонку и шлюбую тобѣ милост, вѣру и учтивость малженскую..." (с. 416).

15.5. Упадок знания ц-сл. языка в Ю.-З. Руси. Поскольку "проста мова" вытесняет ц-сл. язык, знание ц-сл. языка в Ю.-З. Руси приходит в упадок; это естественно при двуязычии, где имеет место не функциональный баланс языков, а их конкуренция. Правда, поскольку этот язык может культивироваться в ученых кругах, им больше здесь занимаются, чем в Моск. Руси: именно здесь появляется наиболее полное описание ц-сл. грамматики (Мелетия Смотрицкого). Тем не менее, вне этих кругов его знание становится все более и более ограниченным. Итак, хотя в условиях двуязычия на употребление ц-сл. языка не накладывается специальных ограничений, как это имеет место при диглоссии, владение им распространено в существенно меньшей степени, чем при диглоссии.

О слабом знании ц-сл. языка в Ю.-З. Руси в XVI-XVII вв. имеем прямые свидетельства современников (Успенский, 1983, с. 81-82). Нередко польский язык оказывается здесь более доступным для понимания, чем ц-сл. Характерно, например, что когда князь Курбский послал князю Константину Острожскому - известному ревнителю православия - "Беседы Иоанна Златоуста", переведенные Курбским на "вождемънныи и любимы праотец ... прирожденный язык сло-

венскій", князь Константин, высоко оценив присланный перевод, "лѣпшаго ради выразумѣнія на Польщизну приложити далъ" (РИБ, XXXI, стлб. 412-413). Митр. Михаил Рагоза в послании 1592 г. сетует на то, что "Ученіе святых писаній зѣло оскудѣ, паче же Словенскаго Россійскаго языка, и вси челоуѣцы приложишася простому несъвершенному Лядскому [т.е. польскому] писанію..." (Акты Зап. России, IV, стлб. 42, № 32). В сер. XVII в. игумен Исая Трофимович Козловский констатировал, что многие православные священники, не понимая ц-сл. книг, обращались к книгам "на польском, легком для понимания языке" (Титов, 1918, с. 281-282). О том же говорится в униатском церковнославянско-польском лексиконе, изданном в Супрасле в 1722 г., в предисловии к которому мы встречаем сетования о том, что "сотный Іерей едва славенскій разумѣть ѳазыкъ, невѣдая что чтеть в божественной службѣ". Это обращение к польским книгам, собственно говоря, и вызывает появление переводов на "просту мову", которая выступает в той же функции, что и польский язык.

В свете приведенных высказываний обращает на себя внимание то обстоятельство, что составленный Исаем Козловским, совместно с Петром Могилой, Краткий катехизис был первоначально издан в Киево-Печерской лавре именно по-польски (см. 15.4). Особенно показательны в этом отношении богослужебные книги на польском языке, издающиеся в Ю.-З. Руси для православного населения - такова Псалтырь, изданная монахами виленского Святодуховского монастыря в переводе с ц-сл. языка на польский (Евье, 1683 - Каратаев, 1883, с. 464-465).

Соответственно, в предисловиях к ц-сл. словарям, так же как и к переводам духовной литературы на "просту мову", мы регулярно встречаем ссылку на слабое знание ц-сл. языка, которое и мотивирует появление подобного рода книг. "Широкий и великославный ѳазыкъ Славенскій.., - писал, например, Памва Берында в посвящении к своему словарю 1627 г., - трудности... словъ до вырозумѣнія темныхъ многи въ собѣ маеть, зачимъ и самаа цркъвъ Россійскаа многим власным сыномъ своим в огиду [т.е. в противность] приходит" (Берында, 1627, прилож., л. 2). Точно так же в предисловии к Учительному Евангелию 1569 г. (так наз. Евангелию Ходкевича) говорится о замысле издателя "сию книгу, вырозумения ради простых людей преложити на просту молву" (Щепкина, 1959, рис. 12, ср. с. 233). В одном из следующих изданий Учительного Евангелия (Евье, 1616) в предисловии (написанном М. Смотрицким) отмечается, между прочим, "незнаемость и неумеетность языка словенского многих", чем и оправдывается переложение текста "на язык наш простой русский", ср.: "Тепер зась (през незнаемость и неумѣетность ѳазыка Словенсково многих) многим мало потребен и непожиточен ставшися, знову переложенемъ его на ѳазыкъ наш простой Русскій, ꙗкобы змертвыхъ воскрешон... А за тым тот который тых часов хот[ь] в' зацнѣйшом, пенкнѣйшом, звязнѣйшом, суптелнѣйшом и достаточнѣйшом ѳазыку Словенском, през неспособность слухачов, не многим пожиточен был: тепер тот в' подлѣйшом и простѣйшом ѳазыку, многим, албо рачей вѣѣм Руского ѳазыка ꙗко колвек умѣетным, потребен и пожиточен быти могль" (Титов, 1918, прилож., с. 329). Равным образом в предисловии "До читальника" к "Духовным беседам" Макария Египетского, "з грецкого на руский язык ново преложеным" (Вильна, 1627), сообщается, что переводчики много трудились над переводом данной книги на "простую рускую мову", так как "словенский язык" многие считают трудным и непонятным. Ссылку на понимание "простых" людей - чтобы "всякий человек простой и посполитый, чтучи их [книги] или слушаючи может поразумети что есть

потребно к душному спасению его" - еще ранее можно найти у Франциска Скорины (Скорина, 1969, с. 62), Библия которого - изложенная по собственному его выражению "русскими словами [т.е. кириллическими буквами], а словенским языком" (там же, с. 11, 154) - представляет собой не перевод на "простой" язык, а результат сознательного упрощения ц-сл. языка.

Ссылки на недоступность ц-сл. языка для "простых" людей не имеют в виду неграмотное население. Что касается словарей типа лексиконов Лаврентия Зизания или Памвы Беринды, то они вообще были предназначены исключительно для образованных людей и в первую очередь, видимо, для клириков. Вместе с тем, и переводы духовной литературы предназначаются для тех, кто недостаточно владеет ц-сл. языком - прежде всего, по-видимому, имеется в виду православная шляхта (мещанство в большей степени знало ц-сл. язык, поскольку он преподавался в братских школах - братства же были городскими ремесленными корпорациями).

Уместно отметить в этой связи, что и переводы с латинского на польский могут мотивироваться необходимостью "простого" языка для "простых людей" (см., например: Клеменсевич, II, с. 25, 29), что совсем не обязательно предполагает ориентацию на низшие социальные слои. "Простой человек" выступает в подобном контексте как калька с *homo rusticus*, т.е. означает человека, не владеющего книжной латынью. Именно в этом смысле эпитет "простой" прилагается как к польскому языку, так и к его функциональному корреляту - "простой мове". Итак, подобно тому, как выражение *homo rusticus* определяет смысл выражения *lingua rustica*, "простой язык" оказывается соотношенным с "простыми людьми".

Необходимо в то же время подчеркнуть, что заявления представителей ю-з-рус. культуры о непонятности ц-сл. языка, о недостаточном знании его ориентируются на западную концепцию знания языка и понимания текста. В этой концепции, восходящей к Ренессансу, понимание текста предполагает возможность его интерпретации (пересказа своими словами), а знание языка - активное им владение. Между тем, в условиях диглоссии неконвенциональное отношение к языковому знаку в принципе исключает перевод как интерпретацию текста; толкование текста, его филологическая критика здесь очень ограничены; одновременно, основным типом знания ц-сл. языка является при диглоссии пассивное владение этим языком. Таким образом, то, что при диглоссии считается знанием, при двуязычии знанием не считается. Двуязычие приводит, с одной стороны, к упадку знания ц-сл. языка (поскольку "проста мова" успешно с ним конкурирует и постепенно вытесняет его на периферию), с другой же стороны, - к переосмыслению самой системы требований, предъявляемых к литературному языку.

Противопоставленность указанных концепций и лежит в основании конфликта между культурами Моск. и Ю.-З. Руси. С ю-з-рус. точки зрения, в Моск. Руси учат не читать книги. Так, в ю-з-рус. предисловии к сочинениям Иоанна Дамаскина говорится: "А бѣга ради не потакаем безумным, пачеж лукавым мнящимся быти учителями, паче же прелестником, ꙗко сам аз от них слышах еще будучи во оной русской земли под державою московского цѣря. Глѹтъ бо они прелщаючи юношѣ тѣхливых к науце хотящих навѣкати писаніа, понеже во оной земли еще многие обрѣтаются пекущеся о своем спсѣненіи, и с прещеніем заповѣдѹють им глѹще не читайте книг многих и указуют на тѣх, кто ума изступил, и онсица во книгах зашолся, а онсица въ ересь впал" (Востоков, 1842, с. 557, № 376). Эти слова принадлежат Курбскому

(ср. Айсман, 1972, с. 17–18), но Курбский выступает в данном случае как представитель ю-з-рус. культуры, ср. примечание Курбского на полях перевода Иоанна Дамаскина: "Сіа ерес[ь] в московской землі носится между нѣкоторыми безумными, блядословят бо, непотребя рече книгам много учітис[я] понеж[е] в книгах заходятся челоуѣцы, сиреч, безумеют або в ерес[ь] упадают" (Архангельский, 1888, прилож., с. 121). То же говорит и другой эмигрант из Моск. Руси – старец Артемий – в "Послании к царю": "И ина словеса глаголются от нѣкихъ мнящихся быти учителей: 'грѣхъ простымъ чести апостолъ и евангеліе'! И мнози отъ ненаказанныхъ боятся и въ руки взяти. И паки: 'не чти много книгъ, да не во ересь впадеші'! И аще кому прилучится недугъ, отъ негоже челоуѣкъ естественнаго смысла испадеть, тоже прелщающе глаголютъ: 'зашелся есть в книгахъ'!" (РИБ, IV, стлб. 1283–1284). Подобные высказывания можно сопоставить с фразой из письма XVI в. о "нелюбках [неприязни] старцев Кириллова и Иосифова монастырей": "Мнение – второе падение... Всем страстям мати – мнение" (Иосиф Волоцкий, 1959, с. 369).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ТРЕТЬЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ДИГЛОССИИ
В МОСКОВСКОЙ РУСИ

ГЛАВА I. ТРЕТЬЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И РЕФОРМА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

16. ЮГОЗАПАДНОРУССКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИКОРУССКУЮ КНИЖНУЮ ТРАДИЦИЮ

16.1. Общий характер третьего ю-сл. влияния. Как это ни парадоксально, значение "простой мовы" для истории рус. литературного языка не меньше, если не больше, чем значение этого феномена для истории украинского и белорусского литературных языков. Действительно, "проста мова" не оказала почти никакого влияния на современные украинский и белорусский литературные языки. Однако на историю рус. литературного языка "проста мова" как компонент ю-з-рус. языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об антитезе "русского" и "церковнославянского" языков, т.е. о "русском" языке как об антиподе "церковнославянского", то мы следуем именно ю-з-рус., а не великорус. традиции, принимая номенклатуру обозначений, отражающую языковую ситуацию Ю.-З. Руси XVI-XVII вв. (ср. 15.2).

Это связано с тем, что называется иногда "третьим юж-сл. влиянием", т.е. влиянием книжной традиции Ю.-З. Руси на великорус. книжную традицию в XVII в. Третье юж-сл. влияние - термин в известной мере условный, поскольку само название "южнославянское" имеет в виду южных славян не в этническом, а в географическом смысле. Таким образом, если в случае первых двух юж-сл. влияний речь шла о влиянии балканских славян, в данном случае речь идет о влиянии представителей Ю.-З. Руси. Тем не менее, применение этого термина представляется удобным и в целом оправданным, поскольку третье юж-сл. влияние обнаруживает разительное сходство с первыми двумя. И это влияние обусловлено стремлением к восстановлению единого литературного языка православного славянства. Оно, так же как и предыдущие, определяется ориентацией на греч. культуру, причем ю-з-рус. традиция выступает как авторитетный - с великорус. точки зрения - посредник в греческо-рус. культурных контактах; тем самым, третье юж-сл. влияние приводит к новой волне эллинизации рус. книжности. Субъективная ориентация на греков приводит, как и раньше, к объективной роли языка-посредника. Соответствующее восприятие ю-з-рус. традиции определяется тем, что в Ю.-З. Руси поддерживаются контакты с греками, что и естественно в условиях подчинения киевской митрополии константинопольскому патриарху (см. 13.1).

Третье юж-сл. влияние проявилось прежде всего в книжных реформах патр. Никона в сер. XVII в. Таким образом, как и второе юж-сл. влияние, третье юж-сл. влияние непосредственно связано с книжной справой. Никоновская и послениконовская книжная справа существенно изменила облик ц-сл. языка великорус. извода, приблизив его к ю-з-рус. изводу. Старая

традиция великорус. ц-сл. языка сохраняется у старообрядцев. Вообще никоновские реформы разделили рус. общество на старообрядцев и новообрядцев (никониан). Следует подчеркнуть, что, если второе юж-сл. влияние связано одновременно со стремлением к эллинизации и к архаизации (оба эти стремления органически сливаются в данный период), то в эпоху третьего юж-сл. влияния эти два стремления разобщены. Одна часть общества, а именно новообрядцы, являются сторонниками эллинизации, другая часть, т.е. старообрядцы - архаизации. Поскольку старообрядцы оказываются в оборонительной позиции, поскольку им принадлежит пассивная, а не активная роль, они прежде всего призывают к сохранению старины, а не к ее восстановлению и, тем самым, фактически (объективно) оказываются скорее консерваторами, чем архаизаторами. Старина для них важна как оправдание их традиции и доказательство неправоты никониан. Тем не менее, если не на практике, то в идеологии (субъективно) они именно архаизаторы.

Консерватизм старообрядцев определяется их ориентацией на текст: древнейший перевод Св. Писания (на ц-сл. язык) служит для них, как и для многих предшествующих поколений славянских книжников, безусловным авторитетом в лингвистических вопросах. Иную позицию занимают новообрядцы, сторонники никоновских реформ. Для них древнейший перевод Св. Писания есть не абсолютный образец правильного текста, а то, что подлежит изменению и совершенствованию (об этом прямо заявляет Афанасий Холмогорский в своей полемике со старообрядцами - Афанасий Холмогорский, 1682, л. 271 об.-272). Акцент делается при этом на грамматической правильности, которая призвана обеспечить адекватную передачу греч. текста Св. Писания в ц-сл. переводе. Таким образом, изменение отношения к первоначальному переводу Св. Писания может рассматриваться как развитие той ориентации на активное грамматическое употребление, о которой шла речь выше (см. 14.2). Совершенствование текста может идти при этом по целому ряду параметров и предполагает его обновление. Реформаторы ц-сл. языка могут подчеркивать свое критическое отношение к традиционному тексту. Так, в предисловии к Евангелию, переведенному Епифанием Славинецким во второй пол. XVII в. (о Епифании см. вообще 16.3) обосновывается необходимость отказа в целом ряде случаев от традиционного словоупотребления. Например, по поводу аористой формы *чухъ* (Лк. VIII, 46) здесь говорится: "*Чухъ въ Луки стаго еѹліста еѹліи в' главѣ ѿ с^х мѣ*, реченіе велми грубое. *Чухъ*, у простаго бо всего народа, наипаче у поселянъ знаменующо гласъ призыванія животныхъ, свиной" (ГБЛ, ф. 310, № 1291, л. 9); соответственно, предлагается использовать вместо данной формы форму *познахъ* или *разумѣхъ*. Здесь же критикуется употребление глагола *лаяти* в значении "подстерегать" (Лк. XI, 54), а также *чесати* в значении "собирать плоды" (Лк. VI, 44) (л. 8 об.-9 об.). Таким образом, значение слова в ц-сл. языке не выводится из его употребления в авторитетных переводных текстах, а закрепляется за словом постоянно, вне зависимости от традиции книжного употребления. Очевидно, что такой подход непосредственно связан с активным употреблением ц-сл. языка, когда необходимо исходить из лексикографического значения того или иного слова, а не толковать отдельные случаи его употребления.

В результате книжных реформ патр. Никона и его последователей на великорус. территории может кодифицироваться ю-з-рус. вариант ц-сл. языка. Знаменательно, что, когда Федор

Поликарпов (великорус по происхождению) переиздает в 1721 г. грамматику Смотрицкого, он кладет в основу своей публикации первое издание этой грамматики, вышедшее в Ю.-З. Руси в 1619 г., а не второе московское издание 1648 г., специально отредактированное московскими справщиками и приведенное ими в соответствие с великорус. нормой ц-сл. языка (ср. 13.4). Равным образом и Тредиаковский учился ц-сл. языку по ю-з-рус. грамматике, а именно по грамматике 1683 г., изданной в Кременце и представляющей собой в свою очередь сокращение грамматики Смотрицкого 1619 г. (экземпляр этой грамматики, собственноручно переписанный Тредиаковским в 1721 г., находится в собрании ГИМ, Чертк. 337). Вместе с тем, и ранее книжники-никониане могли ориентироваться на ю-з-рус., а не на московское издание грамматики Мелетия Смотрицкого. Так, отвечая на критику старообрядцев, протестующих против замены словоформы *тельца* на *тельцы* в заключительной фразе 50-го псалма ("тогда возложат на алтарь твой тельца"), Симеон Полоцкий мотивирует эту замену тем, что форма *тельца* восходит к форме *тельця*, которую он рассматривает как форму винительного падежа мн. числа, вариантную к *тельцы*. При этом он ссылается на грамматику Смотрицкого, где в качестве вариантных форм вин. падежа мн. числа даются *отцы* и *отця*. "Сей убо падежъ винительный множественный кончащийся на ця неискуснии писателие измѣниша на ца, и тако сотвориша винительный падежъ единственного числа" (Симеон Полоцкий, 1667, л. 146). Однако Симеон Полоцкий ссылается именно на первое издание грамматики Смотрицкого, где, действительно, приводятся варианты формы *отцы* и *отця*; между тем, в московском издании Смотрицкого формы с флексией -я исключены из числа нормативных (Сиромеха, 1979, с. 9). Таким образом, именно это издание оказывается авторитетным для никонианских книжников.

Поскольку второе юж-сл. влияние было более органично усвоено в Ю.-З. Руси (см. 13.4), третье юж-сл. влияние может рассматриваться как регенерация на великорус. территории второго юж-сл. влияния: то, от чего в Моск. Руси отказались, приходит вновь через соседнюю традицию. Дьякон Федор (известный старообрядческий деятель сер. XVII в.) ссылается на уверения никоновских справщиков, утверждающих, что они пользовались книгами сербской редакции при исправлении рус. книг (Субботин, VI, с. 33). Действительно, в ковычных (корректированных) экземплярах книг, правленных при патр. Никоне, можно встретить ссылки на сербские служебники (венецианские издания Божицара Вуковича), такие ссылки мы встречаем в ковычном экземпляре первоисправленного никоновского служебника 1655 г. (Дмитриевский. О исправлении книг..., л. 3, 14, 16 об.). Таким образом, юж-сл. книги были авторитетны для никоновских справщиков. Не менее показательна апелляция к высказываниям митр. Киприана в сочинении "О исправлении в преждепечатных книгах Минеях" известного справщика, чудовского инок Евфимия (см. изд.: Никольский, 1896, с. 61-62; относительно авторства Евфимия см.: Сиромеха, 1979, с. 12-13).

16.2. Культурно-исторические предпосылки третьего юж-сл. влияния. Грекофильство и украинофильство приобретают особую актуальность в связи с государственной политикой царя Алексея Михайловича (следует иметь в виду, что именно царю Алексею Михайловичу, а не патр. Никону принадлежит основная роль в культурных реформах этого периода - Каптерев, I-II). Алексей Михайлович продолжает те тенденции, которые были усвоены в период второго

юж-сл. влияния: он осознает себя царем всего православного мира, естественно ориентируясь при этом на византийский образец. Такой взгляд может рассматриваться как развитие идеи Москвы - Третьего Рима. Если, однако, ранее эта идея связывалась с культурным изоляционизмом, то теперь она связывается с универсализмом, т.е. предполагается единая культурная норма для всего православного мира.

Это изменение идеологии предполагает изменение отношения к грекам. После Флорентийской унии греки стали рассматриваться как повредившиеся в вере, от них надо было отмежеваться (см. 13.1). С этим связано установление автокефалии рус. церкви. Процесс церковного обособления был завершен учреждением патриаршества в России (1589 г.). С учреждением патриаршества Московское царство получило ту же структуру, что и Византийская империя - Византийская империя как бы целиком переместилась в границы Моск. Руси. Эта концепция подчеркивала религиозную и политическую самодостаточность Моск. Руси и вела к культурному изоляционизму.

Со стабилизацией рус. государственной власти в сер. XVII в. политические концепции меняются. Политическая программа царя Алексея Михайловича предполагала создание православной империи, выходящей за рамки Моск. Руси. Соответственно, православный мир не замыкался для него в Московском царстве, но снова - по крайней мере, в идеале - приобретал масштабы Византийской империи; во главе этой империи призван был теперь стоять не константинопольский василевс, а московский царь. При этом современные Алексею Михайловичу греки представлялись ему носителями византийской традиции. При изменившемся взгляде на греков создается парадоксальная ситуация: рус. царь стоит во главе православного мира, тогда как рус. церковь в силу своих традиций и обычаев занимает в нем периферийное положение. Иначе говоря, осознается несоответствие между политическим и культурным местом России в православном мире. Культурные реформы времен Алексея Михайловича и призваны это несоответствие исправить.

Эти различия в культурных тенденциях периода второго и периода третьего юж-сл. влияния - при общей для них ориентации на Византию - обусловлены и разницей исторической ситуации. После Флорентийской унии и падения Константинополя имеет место полемика с греками о месте и значении Руси в православном мире. Постепенно Москва добивается признания своего доминирующего положения. Поскольку Русь занимает центральное положение в православном мире, эта полемика перестает быть актуальной. Алексей Михайлович согласен признать ведущую роль восточных патриархов в культурно-религиозной сфере, поскольку его роль как единственного православного монарха в церковно-государственной сфере представляется теперь несомненной.

Ориентация Алексея Михайловича на византийского василевса проявляется в целом ряде аспектов. Так, например, Алексей Михайлович выписывает из Константинополя яблоко и диадему, сделанные "против образца благочестивого греческого царя Константина" (Барсов, 1883, с. 138). При Алексее Михайловиче царя начинают титуловать святым, как это было принято в Византии. До этого так могли называть рус. царя или великого князя только греч. иерархи, но не сами русские. Византинизация царской власти обуславливает и изменения чина венчания на царство, который приближается к византийскому. Со времени Федора Алексеевича (1676 г.) царь при венчании причащается в алтаре по священническому чину, как это делали византийские

императоры. Как подражание деятельности византийских императоров может быть рассмотрено и издание Уложения (1649 г.), т.е. официальное введение нового свода законов. Такое введение нового законодательства характерно и для многих византийских императоров (Феодосий Великий, Юстиниан, Лев и Константин и т.д.).

Итак, византинизация царской власти при Алексее Михайловиче обуславливает византизацию всей рус. жизни. Москва должна стать не только политическим, но и культурным центром всего православного мира. Эта византизация создается в ущерб старой московской традиции. При этом старая московская церковная традиция также имеет византийские корни, и может сохранять те византийские обряды, которые претерпели изменение у самих греков. Так обстоит дело, например, с двуперстным крестным знамением. Как известно, вопрос о крестном знамении был одним из основных моментов, обусловивших раскол рус. церкви: двуперстное знамение было усвоено в свое время от греков, т.е. было принято в Византии; однако позднее оно было там заменено троеперстным; таким образом, старообрядцы, которые сохраняют двуперстное крестное знамение, продолжают исконную византийскую традицию. Между тем, новообрядцы (последователи патр. Никона), ориентируясь на современные им греч. обряды, принимают троеперстное знамение, а старое двуперстное знамение рассматривают как местное нововведение. Существенно, что троеперстное крестное знамение было принято в XVII в. не только у греков, но и в Ю.-З. Руси (ср. свидетельство Арсения Суханова: Белокуров, II, с. 39), что и естественно в виду подчинения Ю.-З. Руси константинопольской церкви. Таким образом, ю-з-рус. влияние не отличимо в данном случае от греческого.

16.3. Начало ю-з-рус. влияния. Как и в случае второго юж-сл. влияния, третье юж-сл. влияние началось с обращения к греч. культуре: непосредственное обращение к греч. традиции в обоих случаях сменяется привлечением соседней славянской традиции в качестве посредника. Второе юж-сл. влияние началось с появления грецизированных текстов типа Чудовского Нового Завета (см. 9.3). Третье юж-сл. влияние начинается с грекофильских настроений в 1640-е гг. Подобные настроения характерны для кружка московских "боголюбцев" во главе с протопопом Стефаном Вонифатьевым, духовником царя Алексея Михайловича (с 1645 г.) и настоятелем московского Благовещенского собора. В этот кружок входили лица, которые впоследствии оказались в разных лагерях при расколе рус. церкви, а именно Аввакум и Иоанн Неронов, ставшие апологетами старообрядчества, и будущий патриарх Никон. Важную роль в этом кружке играл боярин Федор Ртищев, активный грекофил. В 1649 г. по благословению Стефана Вонифатьева царь обращается к киевскому митрополиту с просьбой прислать в Москву старцев для перевода Библии с греч. на ц-сл. язык. В Москву приезжают Епифаний Славинецкий и Арсений Сатановский, позднее, в 1650 г. к ним присоединяется Дамаскин Птицкий. Еще до этого, в 1640 г. киевский митрополит Петр Могила в грамоте к царю Михаилу Федоровичу предлагал соорудить в Москве особый монастырь, в котором бы киевские старцы обучали рус. юношей (детей боярских и простого чина) "греческой и славянской грамоте" (Соловьев, V, с. 458; Белокуров, 1888, с. 24-25) - киевские монахи мыслились как естественные учителя греч. грамоты. Ртищев устраивает в 1640-х гг. в двух верстах от Москвы Андреевский монастырь, заселив его ю-з-рус. монахами, которые преподают греч. язык. В частности, и сам Ртищев учит греч. язык, и характерно, что это вызывает протесты в Москве. Так, в 1650 г.

москвичи "меж себя шептали: учится де у киевлян Федор Ртищев греческой грамоте, а в той де грамоте и еретичество есть" (Каптерев, 1913, с. 145). Это обучение строилось по принятым в Ю.-З. Руси моделям – монахи Андреевского монастыря учили "грамматике славенской и греческой, даже до риторики и философии" (ср. 14.5 об отношении к риторике и философии). Наряду с этим, выходцы из Ю.-З. Руси учили и латыни, но преподавание латыни на первых порах вызывает сопротивление (Каптерев, там же). Ртищев не только приглашает ю-з-рус. ученых, но и посылает москвичей завершать свое образование в Киев (там же).

По непосредственной инициативе Стефана Вонифатьева (Каптерев, I, с. 17–18) в Москве в 1640-е гг. переиздаются ю-з-рус. книги, как, например, "Кириллова книга" (1644 г.), грамматика Смотрицкого (1648 г.), Краткий Катехизис Петра Могилы (опубликован в 1649 г. в сборнике "Собрание краткия науки об артикулах веры"). В Коричную книгу, изданную в Москве в 1650 г., была включена статья "о тайне супружества", взятая из Требника Петра Могилы 1646 г. (Павлов, 1887). В этот же период в Москве издается "Книга о вере" (1648 г.), приписываемая игумену киевского Михайловского монастыря Нафанаилу; хотя игумена с таким именем не было в Киеве, ю-з-рус. происхождение данной книги не оставляет никаких сомнений – она действительно восходит к сочинению какого-то киевского автора (Роте, 1983, с. 421–422). Не случайно наиболее строгие старообрядцы в дальнейшем не принимают последних книг "иосифовской печати", т.е. книг изданных при патр. Иосифе (предшественнике Никона) в последние годы его правления.

Ю-з-рус. книги начинают играть определенную роль в книжной справе. Так, в послесловии к Учительному Евангелию 1652 г. справщики отмечают, что они пользовались для "свидетельствования и справления" и книгой острожской печати. Это предвосхищает широкое обращение к ю-з-рус. книгам в процессе никоновской и послениконовской sprawy. Об авторитете ю-з-рус. книг свидетельствует такой эпизод. В 1649 г. красноярский воевода Михаил Дурново присылает в Сибирский приказ "отписку", в которой сообщает: "В нынешнем, государь, во 157-м году, объявился внове еретик – сын боярской Елизарий Розинков: чернил псалтырь, печать московскую, в Давидовых псалмах и в песнях пророческих, во многих статьях и приписывал..." В своем объяснении Розинков между прочим отвечал: "...псалтырь была в речах неисполнена и я... исполнял – чернил и приписывал, а расколу во псалтыри никакова не сделал". При этом "приписывал" Розинков в московской псалтыри "с литовския псалтыри"; иначе говоря, он правил московское издание псалтыри по соответствующему изданию Ю.-З. Руси (Оглоблин, 1892, с. 682). Как мы увидим, Розинков оказывается провозвестником никоновских реформ.

Ю-з-рус. влияние сказывается в это время и на оформлении книги. Уже в 1641 г. появляется первая московская печатная книга с титульным листом (канонник печати В. В. Бурцева), затем титульный лист мы видим в 1649 г. в "Собрании краткия науки об артикулах веры" и в "Учении и хитрости ратного строения пехотных людей"; в ю-з-рус. книгах титульный лист был принят, начиная с острожских изданий Ивана Федорова. Широкое применение титульного листа начинается лишь с 1660 г. и объясняется тем же ю-з-рус. влиянием. При патр. Иосифе публикуется сборник его поучений под его именем (1642 г.) – вещь, дотоле неслыханная, поскольку ранее авторское имя могло стоять только на произведениях отцов церкви (ср.

5.1). В дальнейшем с 1660-х годов указываются и переводчики (Арсений Грек, Епифаний Славинецкий).

Наряду с выходцами из Ю.-З. Руси в Москву приезжают и греки, причем некоторые из них живут до этого в Ю.-З. Руси и там, видимо, выучиваются ц-сл. языку. Таким образом, они связывают москвичей одновременно и с греч. и с ю-з-рус. традицией. Так, в 1632 г. в Москву приезжает протосинкелл александрийского патриарха Иосиф, ранее несколько лет живший в Ю.-З. Руси и изучивший там ц-сл. язык. Он переводил книги с греч. языка на ц-сл. (Каптерев, I, с. 40). В 1649 г. в Москву прибывает Арсений Грек, впоследствии бывший справщиком при Никоне; до своего приезда в Москву он также провел некоторое время в Киеве (там же, с. 484).

16.4. Ю-з-рус. влияние и культурные реформы второй пол. XVII в. Приведенные выше факты являются единичными примерами. Между тем, с сер. XVII в., со времени патр. Никона имеет место экспансия ю-з-рус. культуры, которая принимает массовые формы. Эта экспансия совершается на фоне все той же грекофильской ориентации. При Никоне в Москве появляются греч. амвоны, греч. архиерейские посохи, греч. клобуки и мантии, греч. живописцы, греч. церковные напевы, греч. монастыри, даже патриаршая кухня - греческая. Как видим, византинизация касается прежде всего архиерейского и монашеского обихода, что идет в одном русле с византинизацией царской власти (см. 16.2). То, что византинизация касается прежде всего как светских, так и духовных верхов, указывает на ее элитарный и искусственный характер, на насильственность ее введения (ср. подобные же характеристики в первом юж-сл. влиянии). Существенно подчеркнуть, вместе с тем, что греч. и ю-з-рус. культурные стихии органически сливаются в рус. культурном восприятии. Примечательно, например, что Арсений Грек слывет в Москве "за киевлянина" - так он именуется в приходно-расходных книгах Московского печатного двора (№ 36, л. 3; № 38, л. 1 об. - Дмитриевский, О исправлении книг..., л. 7). Характерно также, что в основанном патр. Никоном Воскресенском (Новый Иерусалим) монастыре пели на греч. языке киевским распевом (Гиббенет, II, с. 314).

В отличие от второго юж-сл. влияния третье юж-сл. влияние связано с широкой иммиграцией в Москву югозападнороссов, носителей книжной культуры. Эта иммиграция непосредственно связана с присоединением Украины в 1654 г. Выходцы из Ю.-З. Руси играют большую роль в культурной жизни, они занимаются книжной справой, из них вербуются учителя. Это ясно определяет их значение для развития книжной культуры. Поэтому ю-з-рус. влияние сказывается на школьной (книжной) терминологии. Именно из ю-з-рус. традиции приходят к нам такие слова как *школа*, *букварь*, *ерик* (надстрочный значок, заменяющий букву *ъ*). Что касается букварей, то это название ранее обозначало не учебную книгу, а лицо, т.е. выступало в значении "книжник, грамотей". Начиная с 1657 г. московские буквари выходят с титульными листами под названием "Букварь языка словенска" (до этого московские буквари назывались "азбуками"). Новое название было принесено в Москву из Ю.-З. Руси, где такое употребление слова *букварь* было принято (см. например, у Мелетия Смотрицкого, 1619, предисл., л. 3 об., а также "Буквари", изданные в Кутеине в 1631 г., в Вильне в 1645 и в 1652, в Могилеве в 1636 и в 1649 гг.). Отметим, что в великорус. букварях под влиянием ю-з-рус. букварей исче-

зают склады с ерами типа *бъ, бь, брь, брь* и т.д. Это отражает влияние книжного произношения Ю.-З. Руси, где еры не читались (см. 13.4). В соответствии с этим на ю-з-рус. манер изменяется и система чтения по складам, принятая при обучении грамоте (Успенский, 1970). О распространении ю-з-рус. книжного произношения будет сказано ниже (см. 17.2.2).

Ю-з-рус. влияние сказывается и на духовных школах. Они устраиваются непосредственно по ю-з-рус. образцам и, вместе с тем, там преподают представители Ю.-З. Руси. В частности, Московская Славяно-Греко-Латинская Академия была точной копией Киево-Могилянской Академии. Существенно, что выходцы из Ю.-З. Руси преподают грамматику (Харлампович, 1914, с. 633-740).

Ю-з-рус. влияние через духовные школы распространялось и на вероучение. В свою очередь ю-з-рус. богословие находилось под явным католическим влиянием (несмотря на ожесточенную полемику католиков и православных в Ю.-З. Руси), и поэтому югозападнороссы могли выступать как его проводники (ср. распространение учения о непорочном зачатии Божией Матери и о времени преложения св. даров). Соответственно, прошедшее через ю-з-рус. посредство католическое влияние прослеживается с сер. XVII в. и в богословской терминологии.

Так, например, в рус. богословскую терминологию входит выражение *пресуществление св. даров*, представляющее собой кальку с лат. *transsubstantiatio*, тогда как традиционным было выражение *преложение св. даров*, калькирующее греч. μεταβολή. Еще более характерна история латинизма *сакрамент*. В Моск. Руси слово *сакрамент* означало причастие у католиков, т.е. - с московской точки зрения - неистинное таинство. Таким образом, православное "причастие" противостояло здесь католическому "сакраменту"; противопоставление этих слов входило в ту же систему оппозиций, что и *епископ* - *бискуп*, *церковь* - *костел* и т.д. Так, Арсения Грека, которого подозревали в униатстве, спрашивали в Москве в 1649 г., приобщался ли он, будучи в Риме, святым таин или же "приимал сакрамент", при этом москвичи говорили, что папа всем выходцам из православных земель, чтобы обратить их в католичество, "сакрамент дает"; Арсений же настойчиво утверждал, что он приобщался св. таин у православного митрополита, "а сакраменты не приимывал" (Каптерев, 1885, с. 210). Точно так же Костка Конюховский, соратник самозванца Тимошки Акундинова, в 1652 г. под пыткой показал: "А из Царя-города Тимошка ушел и был у папы в Риме и сакрамент принимал" (Соловьев, V, с. 609). Аналогичным образом старообрядец Федор Трофимов в 1666 г. утверждал, что римский папа "кесаря Генриха подаванием сокрамент уморил" (Субботин, IV, с. 290) - очевидно, что *сокрамент* здесь означает не подлинное причастие, а нечто ему противоположное. Между тем в Ю.-З. Руси такого противопоставления не было, и *сакрамент* означал здесь "таинство" в соответствии со значением лат. *sacramentum*. Ср. в словаре Памвы Берынды 1627 г.: "Сакраментъ: святости" (Берында, 1627, стлб. 213; Берында, 1653, с. 142), в анонимном словаре "Синонима славеноросская" второй пол. XVII в.: "Сакрамент: тайна" (Нимчук, 1964, с. 154). Сильвестр Коссов издает книгу под названием "Дідаскаліа, альбо наука... о седми сакраментх, албо ли тайнах" (Кутейн, 1637). В результате ю-з-рус. влияния слово *сакрамент* в Моск. Руси теряет свое специфическое значение католического причастия и начинает обозначать "таинство" или "причастие"; в последнем случае сохраняется то конкретное значение, которое было присуще слову *сакрамент* в Моск. Руси, но теряется его отрицательная характеристика (как специально католического обряда) - можно сказать, что происходит контаминация ю-з-рус. и великорус. употребления. Так, уже протопоп Аввакум называет причастие "сакраментом": "Богъ тебя благословить, причастися святаго сакрамента" (РИБ, XXXIX, стлб. 422, 838). В дальнейшем такое употребление становится достаточно обычным, ср., например: "Зѣло насилуютца Греческого закона какъ духовные, такъ и мирскіе, и не волно имъ ниже сокраментъ явно въ дома носити" (Письма и бумаги Петра, III, с. 1049). Это всего лишь один пример, который, понятно, не может продемонстрировать масштабы ю-з-рус. влияния, однако он показывает, насколько это влияние было глубоким.

Под ю-з-рус. влиянием в Моск. Руси вновь появляется церковная проповедь. Обычай проповедовать в церкви прекратился здесь в XV в.; при этом ранее проповедь могли

произносить только архиереи (когда проповедь прекратилась, она была заменена чтением учительной литературы), с середины же XVII в. начинают проповедывать не только епископы, но и священники (в дальнейшем - по крайней мере, в XVIII в. - также и миряне; так, например, А. Д. Меншиков сам читал проповеди в Березове). Проповедь за литургией в Моск. Руси была введена Епифанием Славинецким с разрешения Никона; вне литургии проповедовать начинали уже "боголюбцы", в частности Иоанн Неронов (Субботин, I, с. 257). Во второй пол. XVII в. проповедники, как правило, ю-з-рус. происхождения. Таким образом, устанавливается традиция, продолжающаяся еще и в первой пол. XVIII в., когда "должности придворных и епархиальных проповедников замещались... почти исключительно [юго]западноруссами" (Харлампович, 1914, с. 420). Сами принципы построения проповеди были заимствованы в Ю.-З. Руси у католиков, и ю-з-рус. проповедь XVII в. ближайшим образом напоминает барочную проповедь польских авторов. Та же традиция переносится и в Моск. Русь, где стиль проповеди оказывается, тем самым, в разительном контрасте со стилем традиционной церковной литературы.

В Иверский монастырь на Валдае, заселенный при Никоне кутеинскими (ю-з-рус.) монахами, по поручению Никона были перевезены "печать книжная со всяким нарядом... и печатные мастера" (Харлампович, 1914, с. 437-438). Типография действовала с 1655 по 1665 гг., когда по указанию Никона типографский станок с принадлежностями был отправлен в Воскресенский ("Новый Иерусалим") монастырь для снятия с него копии. Станок возвращен не был, и впоследствии с 1678 г. на нем печатал свои книги Симеон Полоцкий в Верхней типографии (находившейся в царском дворце). Попутно заметим, что сама децентрализация типографского дела копирует практику Ю.-З. Руси (ср. 13.4).

Отпечаток ю-з-рус. влияния накладывается на все аспекты культуры, так или иначе связанные с церковной жизнью. Изменяется характер иконописи, церковного пения, появляется школьная драма (пьесы на сакральные темы), распространяются псалмы, преобразуется быт духовенства, - во всех этих изменениях переносится ю-з-рус. образец. Это же влияние отражается и на фамилиях великорус. духовенства, которые в дальнейшем входят в традицию специфических семинарских фамилий, поскольку ученикам духовных училищ принято было давать новые фамилии (Шереметьевский, 1908; Унбегаун, 1942).

Ю-з-рус. влияние существенно преобразует и литературу. Оно проявляется прежде всего в распространении стихотворных текстов. Тексты такого рода появляются в первые десятилетия XVII в., и их появление уже в этот период может быть связано с началом третьего юж-сл. влияния (см., в частности, стихи И. А. Хворостина, явно ориентированные на ю-з-рус. и польскую поэтическую традицию). С сер. XVII в. стихотворство принимает широкие размеры. Ю-з-рус. влияние здесь совершенно очевидно, оно проявляется прежде всего в основанном Никоном Воскресенском ("Новый Иерусалим") монастыре, где значительную роль играют украинские монахи. Здесь возникает целое поэтическое направление. В дальнейшем в распространении стихотворной традиции большую роль играет белорусс Симеон Полоцкий, причем поэтическое творчество так прочно связывается со своим ю-з-рус. источником, что в XVII-XVIII вв. даже великорус. авторы в своих стихах могут ориентироваться на украинское произношение (например, рифмовать *ѣ* и *и*). Ю-з-рус. влияние обуславливает специфические формальные признаки стихотворной речи. Под этим влиянием возникает рифма (с нач. XVII в.) и равносложность силлабических стихов (с сер. XVII в.) (см. Панченко, 1973). Ю-з-рус. влияние обусловило и появление новых жанров, прежде всего панегирической литературы. Именно как развитие традиций, связанных с третьим юж-сл. влиянием, в XVIII в. в рус. литературе возникают такие жанры, как придворная торжественная ода, похвальное слово и т. д.

Специально следует отметить ю-з-рус. влияние на рус. скоропись. Во второй пол. XVII в. в Москве появляются украинские почерки. "Еще в первой половине XVIII в. югозападные почерки отзываются в почерках великорусских семинарской науки" (Шепкин, 1967, с. 142–143; ср. Костюхина, 1974, с. 42). Наряду с украинизацией письма, имеет место проявление греч. и латинского влияния, которые также осуществляются через посредство Ю.-З. Руси. Так, во второй пол. XVII в. отдельные славянские буквы в рус. письме часто заменяются греческими и латинскими: *Ѣ* вместо *С*, *Ѧ* вместо *Н*, и т. п. (Костюхина, 1974, с. 41–42).

Итак, мы видим, что ю-з-рус. влияние распространялось на всю культурную жизнь, включая сюда всю сферу книжной культуры. На этом фоне проявления того же влияния в языке представляется совершенно закономерным явлением.

Для понимания характера третьего юж-сл. влияния и природы тех конфликтов, которые оно вызывало на великорус. территории, необходимо иметь в виду, что оно было проводником не только греч., но и западной латино-польской культуры. В самом деле, третье юж-сл. влияние было обусловлено, как мы видели, грекофильской ориентацией. Однако Ю.-З. Русь находилась под сильным западным влиянием и, соответственно, выступала не только как посредник в контактах с греч. культурой, но и как посредник в контактах с культурой западноевропейской. Тем самым третье юж-сл. влияние приводит к значительной латинизации рус. книжной культуры: субъективная ориентация на греч. традицию приводит к объективному влиянию традиции латинской. Во второй пол. XVII в. этот момент обуславливает борьбу грекофильской и латинофильской партии (к партии грекофилов относятся Епифаний Славинецкий, его ученик чудовский инок Евфимий, братья Лихуды, патр. Иоаким; к партии латинофилов – Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев); грекофильская партия группируется вокруг патриарха (Иоакима), тогда как партия латинофилов находит поддержку при дворе (при Федоре Алексеевиче и царевне Софье). Таким образом, ю-з-рус. влияние закладывает основы для того антагонизма светской и духовной культуры, который в значительной степени определил культурную и языковую политику последующего периода. Целый ряд моментов ю-з-рус. влияния, о которых мы говорили выше, связан именно с западноевропейским (латино-польским), а не греч. компонентом культурной традиции Ю.-З. Руси; сюда относится структура образования, характер литературы (силлабическая поэзия, школьная драма, псалмы) и т. п.

16.5. Великорус. влияние на Украине. В свою очередь, и великорус. книжная культура оказывает влияние на югозападнорусскую. Устанавливается единая норма ц-сл. языка, и, таким образом, постепенно исчезает специфический ю-з-рус. извод этого языка. Уже в 1685 г. украинское духовенство жалуется гетману Самойловичу, что уничтожены "книги наши киевские, а насланы московские", и что "церковное пение и чтение отменено, а то все по московски поставлено, до чего наши люди не скоро могут привыкнуть" (Архив Ю.-З. России, I, 5, с. 59–61). В 1686 г. киевская митрополия переходит в юрисдикцию московского патриарха (до этого киевский митрополит подчинялся патриарху константинопольскому), и вопрос о различиях в языке богослужебных книг, издаваемых в Москве и в Ю.-З. Руси, приобретает особую актуальность, ср., в частности, обсуждение этого вопроса в переписке патр. Адриана с архимандритом Киево-Печерской лавры Мелетием Вуяхевичем в 1692 г. (Архив Ю.-З. России, I, 5, с. 358–364, 371–373). В 1720 г. следует указ Петра I относительно богослужебных книг киевской и черниговской печати: Петр приказывает их "для совершенного согласия с великороссийскими, с такими же церковными книгами справливать прежде печати с теми великороссийскими печатями, дабы никакой розни и особого на-

речия во оных не было" (ПСЗ, VI, с. 244–245, № 3653). В течение XVIII в. Синод в ряде случаев предписывает переводить книги с ц-сл. языка украинской редакции на ц-сл. язык великорус. редакции. Так, в 1726 г. киевский митрополит Иоасаф Кроковский сложил акафист св. Варваре; Синод разрешил напечатать этот акафист лишь с условием, чтобы он был переведен "на великорусское наречие". Такие же распоряжения были даны в 1755 г. в отношении четых миней Дмитрия Ростовского и Киево-Печерского патерика (Огиенко, 1923, с. 161).

В 1780-х гг. киевский митрополит Самуил Миславский издает ряд указов, направленных против украинского церковного чтения. Отмечая в указе от 26 ноября 1784 г., что многие студенты Киевской духовной академии "являются вовсе неисправны в чтении по церковным книгам", митрополит требует - под страхом исключения из духовного ведомства - в церковном чтении "приобретения хорошего и чистого произношения, особливо с наблюдением ударения и силы, в книгах напечатанных, то есть оксии, что всего нужнее" (Акты Киевской академии, II, 5, с. 81–82); разница в ударениях осмыслялась как основное различие великорус. и специфически ю-з-рус. церковного произношения (ср. 13.4). Тот же митрополит Самуил в 1785 г. приказывает, чтобы богослужение в украинских церквях отправляли "голосом, свойственным российскому наречию" (Акты Киевской академии, V, с. 114). В 1787 г. он обращает внимание на то, чтобы и дети духовенства "учились дома и в церквях читать по ударениям, в книгах напечатанным, то есть по оксиям неотменно" (Акты Киевской академии, II, 5, с. 211). Этот приказ особенно важен потому, что дети духовных лиц обычно и сами становились затем духовными. Таким образом, здесь устанавливается новая традиция церковного произношения; старая традиция украинского церковного чтения сохраняется в униатской церкви, поскольку она относительно независима от московского влияния.

Вообще с образованием общерус. извода ц-сл. языка - единого для великорус. и ю-з-рус. территории - старые языковые традиции сохраняются в церковных общинах, которых по тем или иным причинам не коснулись данные преобразования: если великорус. ц-сл. традиция сохраняется у старообрядцев, то ю-з-рус. ц-сл. традиция сохраняется у униатов.

16.6. Ю-з-рус. влияние и проблема конвенциональности знака. В результате экспансии ю-з-рус. культуры на великорус. территорию здесь сталкиваются два отношения к языковому знаку. Одно отношение, конвенциональное, характерно для представителей ю-з-рус. образованности, оно восходит в конечном счете к латино-польской барочной культуре. Другое отношение, неконвенциональное, характерно для носителей великорус. традиции (ср. 15.4). Одни и те же тексты могут функционировать в двух ключах и - в зависимости от культурной позиции читателя - восприниматься либо в буквальном, либо в переносном смысле. Это различие в понимании в целом ряде случаев приводит к культурным конфликтам и вызывает ожесточенную полемику.

Характерна в этом плане полемика старообрядца Никиты Добрынина, носителя традиционного для Моск. Руси отношения к тексту, и Симеона Полоцкого, выступающего как представитель новой барочной культуры. Так, Никита Добрынин и Симеон Полоцкий спорят по поводу фразы "Тебѣ собесѣдуютъ звѣзды" при обращении к Богу в одной из молитв чинопоследования крещения по никоновской редакции Требника; в дониконовской версии соответствующее место читается "Тебѣ молятся звѣзды". Согласно Никите Добрынину такого рода тексты должны пониматься в безусловном смысле. По его мнению, звезды - это ангелы, однако ангелы могут лишь молиться Богу, но не беседовать с ним в силу своего подчиненного положения (Румянцев, 1916, прилож., с. 258, 339). Отвечая на эти возражения, Симеон Полоцкий писал: "Нѣсть бо слово здѣ о собесѣдованіи устномъ или умномъ, ибо звѣзды ни устъ ниже ума имѣють, суть бо вещь неодушевленная... якоже написася в тойжде молитвѣ, 'Тебе поетъ солнце',

'Тебе славить луна' ... убо яко здѣ метафорически [к этому слову дана глосса: преноснѣ] полагается 'поеть', 'славить' ... и тѣмъ подобная, тако и еже собесѣдуютъ. Вся же сія мѣста не суть безмѣстна, но лѣпо умствующимъ лѣпа же и блага: самому безумному Никитѣ со единомысленники его соблазнѣ и претыканіе" (Симеон Полоцкий, 1667, л. 55–55 об.). Таким образом, Симеон здесь прямо указывает на возможность двух восприятий одного текста. Вместе с тем отсюда видно, как новая концепция языкового знака связана с метафорическим употреблением.

Точно так же и Стефан Яворский специально обосновывает необходимость понимания слов в переносном значении. Более того, он считает возможным подходить таким образом к тексту Св. Писания. Так, в своем рассуждении о том, что "вселенский" в титуле константинопольского патриарха не означает "владеющий вселенной" (1721 г.), он пишет: "...сие имя *вселенная* не всегда свойственнѣ разумѣется за вся мѣста всего мира, но иногда имат свой толк за многа мѣста и за знатную часть мира тропическим разумом. Тако в евангелии Луки [в главе] 2 глаголется: изыиде повелѣние от Августа Кесаря написати всю вселенную. Едали вся весма вселенная со вѣми своими обителми, землями, градами, царствиями бысть в владѣнии Августа Кесаря? Никакоже. Ибо Новый Свѣтъ недавно обрѣтенный, Хинское Царство, Тартария большая, и прочая и прочая, власти его кесаревой не знали... Суть и прочія повсемственная глаголы [т.е. обобщающие наименования], но глаголы точию, а не самая истинна, и повсемственное имя за часть вземлется тропице [лат. *tropice*]. Якоже и сей глаголь апостольский: Подобае непрестанно молитися. То *непрестанно* вземлется за *часто*" (ГИМ, Увар. 1728/378/588, л. 2 об.-3).

Таким образом, носители ю-з-рус. образованности отделяют слово от его содержания, что и обуславливает возможность употребления слова в переносном смысле ("тропическим разумом"). Так, для Стефана Яворского евангельский текст не есть истина ("глаголы точию, а не самая истинна"); истиной считается содержание этого текста, поэтому текст оказывается открытым для разных интерпретаций, а истина устанавливается лишь через правильную интерпретацию (это определяет значение филологической экзегезы для послеренессансного мировоззрения). Напротив, для носителей великорус. традиции Евангелие и вообще Св. Писание, будучи богооткровенным текстом, есть истина само по себе, которая принципиально не зависит от воспринимающего субъекта. Сакральная форма и сакральное содержание по самому своему существу не могут быть расчленены, одно предполагает другое. С этой точки зрения, истина связывается не с правильной интерпретацией, а с правильным воспроизведением текста.

Характерное обоснование невозможности каких бы то ни было отступлений от канонической формы сакрального текста содержится в ответах старообрядцев дьяконовского согласия на вопросы нижегородского архиепископа Питирима 1719 г. (так называемые "Керженские ответы"; автором этого сочинения считают Андрея Денисова). Говоря о изменениях текста и, в частности, об изменениях языка, вызвавших раскол, старообрядцы заявляют: "Не дивно же ти буди и о сомнѣніи нашемъ, еже имѣемъ о новоположеніихъ вашихъ. Аще бо священный отецъ Спиридонъ, епископ Тримифійскій и не стерпѣ единыя рѣчи премѣненія, егда Трифилій епис-

копѣ, уча въ церкви, премѣни рѣчь евангельскую въ сказаніи юже рече Христосъ къ разслабленному, *возми ложе свое* [ср. Мф. IX, 6; Мк. II, 9; Лк. V, 24; Ин. V, 8, 11–12]. Тогда святой Спиридонъ разгнѣвался на него и обличил его рекъ: или ты мнишися лучши быти глаголавшаго: *возми одръ свой*, и то рекъ, избѣжалъ от ревности изъ церкви, ревнуя о христовомъ словеси, хитростію ритора Трифилія премѣненнымъ ... Колями паче намъ сомнительно есть о толикихъ множайшихъ возновствованіихъ, боящимся церковныхъ запрещений, еже приложить не премѣнити, ниже отложить что, крѣпцѣ утвержающихъ" (Керженские ответы, 1906, с. 179–180).

Итак, с усвоением западной барочной культуры в России появляется возможность двойного прочтения одного и того же текста, и то, что для одной стороны представляет собой условную фигуру речи, для другой является кошунством. Вместе с тем, традиционное понимание текста, основывающееся на неконвенциональном понимании знака, с точки зрения новой культуры является примитивным и объясняется простым невежеством. Это отчетливо проявляется, например, в употреблении таких слов, как *крест* и *крыж*. Для представителей традиционной культуры *крест* означает православный (восьмиконечный) крест, а *крыж* – католический (четыреконечный), ср. аналогичное противопоставление слов *причастіе* и *сакрамент* в первой пол. XVII в. (см. 16.4). Представители новой образованности протестуют против такого разграничения, считая, что оба слова являются наименованиями одного и того же предмета и что только невежество старообрядцев не позволяет им понять условность любого из этих наименований; слово и его денотат оказываются связанными при таком восприятии произвольной, а не безусловной связью (ср. рассуждение об этом у Афанасия Холмогорского, 1682, л. 111 об.).

Конвенциональное восприятие языкового знака сознательно насаждается в России как необходимый элемент просвещенной культуры. Этот момент органически входит в культурную политику конца XVII – нач. XVIII вв. Так, Иосиф Туробойский, префект московской Славяно-Греко-Латинской Академии, объясняя значение аллегорических изображений и основываясь на метафорической интерпретации Св. Писания, говорит в своем панегирике "Преславное торжество свободителя Ливонии" (1704 г.): "Известно тебе буди, читателю любезный, и сие, яко обычно есть мудрости рачителем, инем чуждым образом вещь вообразати. Тако мудролюбцы правду изобразуют мерилем, мудрость оком яснозрительным, мужество столпом, воздержание уздою, и прочая безчисленная. Сие же не мни быти буйством неким и кичением дмѣщагося разума, ибо и в писаниих божественных тожде. Не сучец ли масличный и дуга на облацех сияющая бѣше образ мира; не исход ли израилтянов из Египта бѣше образ нашего исхода от работы вражия; не прешествие ли чрез море образ бѣше крещения; не змий ли, на древе висѣщий, образ бѣше Иисуса распята... Рцы же ми, что являет писание святое сими словесы: дщи Сиона, дщи Иерусалима, дщи Вавилона. Видиши ли, яко чрез сих дочерей разумеются ово сонмище жидовское, ово грады, ово государства, ово души человеческия... Аще убо сия тако суть, и аще писание божественное различныя вещи в различных образах являет, и мы, от писаний божественных наставление восприемше, мирскую вещь мирскими образами явити понудихомся и славу торжественников наших в образе древних торжественников, по скудости силы нашей потщяхомся прославити". Обосновав таким образом закономерность метафорических образов,

Иосиф указывает, что не понимающие этого - закоснелые невежды: "Ты убо, благочестивый читателю, написанным нами не дивися, ниже ревнуй невегласом, ничтоже ведущим, ничтоже ни-где видевшим, но яко желв под своею клетию неисходно пребывшим, и егда ново что у себе видят, удивляющимся и различия блядословия отрыгающим" (Гребенюк, 1979, с. 155-156). Ср. подробнее: Живов и Успенский, 1983а.

Конфликт конвенционального и неконвенционального понимания знака проявляется не только в языковой сфере. Так, сакрализованные театральные представления, которые появляются в Москве при Алексее Михайловиче, воспринимаются традиционалистами как кощунство - условность театрального изображения принципиально ими отвергается. Протопоп Аввакум прямо обвиняет царя как инициатора и устроителя этих представлений, в том, что тот уподобляет себя Богу. Сравнивая Алексея Михайловича с Навуходоносором, который считал себя равным Богу, ("Богъ есмь азъ! Кто мнѣ равенъ? Развѣ Небесной! Онъ владѣть на небеси, а я на земли, равенъ Ему!"), Аввакум говорит: "Такъ-то и нынѣ близко тово. Мужика наредя архангеломъ Михаиломъ и сверху в полатѣ предъ него спустя, вопросили: кто еси ты и откуда? Онъ же рече: азъ есмь архистратигъ силы Господня, посланъ к тебѣ, великому государю. Такъ ево заразила сила Божія, мраковиднова архангела, - пропалъ и душою и тѣломъ" (РИБ, XXXIX, стлб. 466). Соответственно, в анонимном старообрядческом "Возвещении от сына духовнаго ко отцу духовному" (1676 г.), извещающем о смерти Алексея Михайловича - адресатом послания был, видимо, протопоп Аввакум - болезнь и смерть царя связывается, в частности, и с тем, что тот "тешился всяко, различными утешении и играми" на сакральные темы: "Поделаны были такие игры, что во ум человеку не-вместно; от создания света и до потопа, и по потоке, до Христа, и по Христе житии, что творилось чудотворение его, или знамение кое, и то все против писма [т.е. согласно Св. Писанию] в ыграх было учинено: и распятие Христово, и погребение, и во ад сошествие, и воскресение, и на небеса вознесение. И таким играм иноверцы уди-вляясь, говорят: 'Есть, де, в наших странах такие игры, комидиями их зовут, толко не во многих верах'. Иные, де, у нас боятся и слышати сего, что во образ Христов да мужика ко кресту будто пригвождать, и главу тернием венчать, и пузырь подделав с кровию под пазуху, будто в ребра прободать. И вместо лица Богородицы - панье-женке простерши власы, рыдать, и вместо Иоанна Богослова - голоусово детину сы-ном нарицать и ему ее предавать" (Бубнов и Демкова, 1981, с. 143). Очевидно, что речь здесь идет о театральной мистерии с изображением страстей Христовых, пред-ставления такого рода были приняты в Киево-Могилянской Академии и отсюда перене-сены в Москву; эта традиция восходит в свою очередь к польскому иезуитскому те-атру (на польско-украинский источник этой традиции указывает и выражение "панья-женка").

Во всех этих случаях ясно проявляется неконвенциональное отношение к знаку, ха-рактерное для традиционной рус. культуры, переживание знака как чего-то безуслов-ного, внеположенного, от нас не зависящего. При таком понимании, если человек управляет знаками, играет ими, придает им новый смысл, вводит их в новые сочета-ния, это ему только кажется - на самом же деле здесь проявляются более глубокие связи между знаком и значением, и человек сам оказывается игрушкой у потусторон-них сил. Представления на сакральные темы, какими бы благочестивыми они ни каза-лись, являются с этой точки зрения дьявольскими кознями.

Дурново, хотя его статья об этом до нас, к сожалению, не дошла. В письме от 20.VI.1931 Р. О. Якобсон сообщал Н. С. Трубецкому: "Дурново написал статью о русском расколе. Он установил, что никакого никоновского исправления книг на деле не было, а просто Никон хотел ввести общероссийский канон, в основе которого положил почти без изменения украинские издания церковных книг. Это вызвало отпор" (Трубецкой, 1975, с. 291). К сожалению, мы не знаем аргументации Н. Н. Дурново, и нам доступны только его выводы. Между тем аргументация А. А. Дмитриевского нам известна. Дмитриевский основывается именно на рассмотрении ковычных экземпляров, отражающих работу никоновских справщиков и, прежде всего, на первоисправленном никоновском Служебнике 1655 г., представляющем собой, как обнаружил Дмитриевский, правленный московскими справщиками экземпляр ю-з-рус. Служебника, изданного в Срятине в 1604 г. (ЦГАДА, ф. 1251, № 852/2). "Ковычные или корректурные экземпляры церковно-богослужбных книг.., - утверждает Дмитриевский, - могут служить... блестящим доказательством того, какую великую услугу оказали никоновским, да и послениконовским справщикам издания богослужбных книг южнорусских типографий. В частности, относительно Служебника 1655 г. мы можем сказать в настоящее время, что в основу его в большей части был положен известный срятинский служебник львовского епископа Гедео́на Балабана 1604 г., исправленный по греческому евхологию венецианского издания 1602 г. и по другим некоторым источникам, о которых мы можем знать по сохранившемуся доселе 'ковычному' экземпляру срятинского служебника" (Дмитриевский, О исправлении книг..., л. 8). Дмитриевский отмечает также определенное влияние киевских служебников 1620 и 1629 гг., к которым обращались московские справщики. Совершенно понятно, что ю-з-рус. книги были авторитетны для никоновских справщиков постольку, поскольку в ходе киево-могилянской книжной sprawy (при киевском митрополите Петре Моги́ле) они сличались с греч. источниками, изданными в Венеции (ср. Харлампович, 1914, с. 145). Непосредственное обращение к греч. книгам оказывалось, тем самым, не столь необходимым; никоновская справа, таким образом, продолжала справу киево-могилянскую. Так, в предисловии Тарасия Земки к киевскому служебнику 1629 г. (использованному никоновскими справщиками) отмечается, что служебник этот исправлен "от еллинскаго звѣду истиннаго", "понеже вся книги славенскія от колико сот лѣтъ преписуются невѣжами токмо чернилом мажущими, ума же не имущими, языка же не умѣющими, и силы словес не вѣдущими" (л. 13 об.); при этом подчеркивается, что греч. книги, изданные в Венеции, исправны, а в словенских - "множайшаа и бесчисленаа погрѣшенія" (л. 14) (Титов, 1918, прилож., с. 210-211; ср. Голубев, I, с. 368-384; Голубев, II, с. 524; Отроковский, 1921, с. 55, 65-66).

Никоновские справщики, работавшие над Служебником 1655 г., ссылаются также на сербские служебники (имея в виду венецианские издания Божи́дара Вукови́ча), о чем мы уже говорили (см. 16.1); однако роль сербских изданий была незначительна (см. Дмитриевский, О исправлении книг..., л. 3, 14, 16 об.). Об использовании греч. евхология 1602 г. в процессе работы над данным изданием см. Белокуров, 1886, с. XXXIII; о никоновской справе Служебника см. также Вертоградский, 1914; Никольский, 1978.

Аналогично и другие никоновские издания обнаруживают прямую зависимость от богослужбных книг Ю.-З. Руси: так, например, московское издание Постной Трои́ди 1656 г. пра-

вилось по киевскому изданию 1627 г. (Евсеев, 1915, с. 318) и киевскому изданию 1648 г. (см. ковычный экземпляр - ЦГАДА, ф. 1251, № 1025/2). Подобным же образом киевский Требник 1646 г. лег в основу московского издания 1658 г. (см. ковычный экземпляр - ЦГАДА, ф. 1251, № 978/2 и № 1083; ГИМ, Син. 307). Во всех этих случаях ковычные экземпляры представляют собой ю-з-рус. книги, правленные московскими справщиками; справщики в значительной степени сохраняли язык ю-з-рус. оригиналов, изменяя его лишь по ограниченному числу признаков. Отметим еще список Цветной Триоди (ГИМ, Син. 323), подготовленный для московского печатного издания 1660 г., где текст берется из ю-з-рус. книг и прежде всего из киевского издания 1631 г. (Горский и Невоструев, III, 1, с. 536-537; Сиромеха, 1980, с. 11).

То же явление характеризует и послениконовскую справу, в частности, работу справщиков при патр. Иоакиме. Так, ковычный экземпляр московского печатного Апостола 1671 г., правленный в 1679 г. для последующих изданий московскими справщиками - Сильвестром Медведевым, монахом Иосифом, иереем Никифором "с товарищи" - содержит исправления, которые нередко снабжены на полях пометой "киевск.", т.е. ссылкой на соответствующее киевское издание (ЦГАДА, ф. 1251, № 14). Такого рода отсылка, между прочим, имеется и тогда, когда исправление носит не содержательный, а чисто формальный характер (орфографический, фонетический или грамматический). Аналогично, в рукописных правленых святцах типографской библиотеки 1670-80-х гг. (ЦГАДА, ф. 381, № 335) при исправлениях формального характера можно встретить на полях помету "лвов"; справщики ссылаются здесь на львовский часослов 1642 г. (Покровский, 1911, с. 121). Иоаким специально указывал вообще править книги по ю-з-рус. печатным изданиям (Харлампович, 1914, с. 436). Отметим еще московское издание Библии 1663 г., основывающееся на Острожской Библии 1581 г. (см. ковычный экземпляр - ЦГАДА, ф. 1251, № 149). Московское издание Книги о священстве Иоанна Златоуста 1664 г. основывается на львовском издании 1614 г. (Сиромеха, 1980, с. 10).

Зависимость никоновской и послениконовской справы от книг "литовской" печати была достаточно очевидна как для противников новых реформ, так и для их сторонников. Так, инок Савватий писал в своей челобитной 1660-х гг.: "Нравъ по грѣхомъ таковъ у нѣмѣннихъ московскихъ грамматиковъ что новое ни обавится - за тѣмъ и пошли, а старое свое доброе покинув... печатають от литовские печати взявъ. А прежде сего на Москвѣ литовские печати непотребные рѣчи правила а нѣтъ опять за то же принялися; забыли то, яко иные литовские печати кнѣги на Москвѣ и огню предавали" (ГИМ, Увар. 497/102, л. 18-18 об.; Три челобитные, 1862, с. 44); Савватий вспоминает, видимо, сожжение Учительного Евангелия Кирилла Транквиллиона в 1627 г. (см. 13.4). И в другом месте той же челобитной Савватий пишет о московских справщиках: "Свела их с ума несовершенная их грамматика да приѣхшие нехаи [т.е. украинцы]" (там же, л. 8/с. 26-27). Приводя примеры неправильных исправлений в новых книгах, Савватий ссылается, в частности, на случаи написания *и* вместо *ы*, явно отражающие языковые нормы Ю.-З. Руси: в числе примеров находим, между прочим, такие, как *Синъ* вместо *Сынъ*, *всилаемъ* вместо *всылаемъ* и т.п. (там же, л. 14/с. 37). Равным образом, и другие старообрядческие деятели, такие, как Никита Добрынин или инок Сергей, укоряют Никона в том, что он исправлял книги по ю-з-рус. образцам - правил книги "с лядских требников Петра

пана Могила", "с польских служебников" и т.п. (Каптерев, I, с. 459–460; Румянцев, 1916, прилож., с. 103, 314, 316). Вместе с тем и И. Коренев, сторонник никоновских преобразований, констатирует в своей "Муסיкии" (предпосланной "Муסיкийской грамматике" киевлянина Николая Дилецкого), что книги правятся "с греческих и киевских" (Смоленский, 1910, с. 25).

Говоря о "несовершенной их [справщиков] грамматике", Савватий имеет в виду грамматику Смотрицкого, ю-з-рус. происхождение которой было ему несомненно известно. Здесь между прочим фигурирует и слово *нехай* в качестве "русского" слова (Смотрицкий, 1619, л. Ш/2; Смотрицкий, 1648, л. 310). Соответствующая фраза была оставлена без исправления при перепечатке грамматики Смотрицкого в Москве в 1648 г. - очевидно, по недосмотру справщиков, - что существенно изменило ее смысл, поскольку эпитет *рус(с)кий* имел разное значение в Моск. и Ю.-З. Руси: Смотрицкий имел в виду, что *нехай* относится к "простой мове", тогда как в московском издании это слово оказалось зачисленным в разряд ц-сл. слов (ср. 15.2). Не исключено, таким образом, что, говоря о "приезжих нехаях" в контексте отрицательного отношения к грамматике Смотрицкого, Савватий имеет в виду именно это место.

17.2. Ю-з-рус. компонент в реформе ц-сл. языка. Преобразование ц-сл. языка может быть обусловлено как ю-з-рус., так и непосредственно греч. влиянием. Ю-з-рус. влияние проявляется преимущественно в области орфографии и орфоэпии, в частности, оно проявляется в написании и произношении грецизмов. Ориентация непосредственно на греч. язык проявляется прежде всего в синтаксисе и отчасти в морфологии (в организации парадигм по образцу парадигм греческих, см. 17.3). Ю-з-рус. влияние осуществлялось при этом не только через книги, но и устным путем. Орфографические изменения отражают книжный путь усвоения ю-з-рус. норм, тогда как изменения орфоэпические могут быть обусловлены как книжной справой, так и непосредственным подражанием ю-з-рус. церковному произношению.

17.2.1. Орфоэпические изменения, обусловленные книжной справой. Орфоэпические изменения могут быть обусловлены книжной справой только в одном случае - в области акцентуации. Показательным примером, демонстрирующим масштабы изменения ц-сл. языка под ю-з-рус. влиянием, может служить акцентуация собственных имен. Как уже говорилось, акцентуация заимствованных слов, и прежде всего собственных имен дает особенно яркие иллюстрации изменения литературного языка под влиянием ориентации на ту или иную культурную традицию - не будучи обусловлены этимологически, формы заимствованных слов определяются именно выбором культурной традиции. Выше мы демонстрировали различие ю-з-рус. и московского изводов ц-сл. языка, проявляющееся в акцентуации собственных имен (см. 13.4). Рассмотрение того же материала по текстам второй пол. XVII в. отчетливо показывает, как великорус. формы собственных имен уступают место ю-з-рус. формам; старые великорус. формы сохраняются при этом у старообрядцев.

Так, если в Моск. Руси до никоновских реформ имена, оканчивающиеся на *-ий*, имели, как правило, ударение на этом окончании (*Савватій, Фотій, Евтихій, Евпсихій, Патрикій, Мелетій, Паисій* и т.д.), то в Ю.-З. Руси эти имена имели ударение на предпоследнем слоге (*Савва́тій, Фо́тій* и т.п.). После реформ патр. Никона великорус. формы этих имен получают в ряде случаев ю-з-рус. ударение на предпоследнем слоге. После размежевания церковной и светской традиции книжного произношения в XVIII в., это ударение отразилось одинаково как в той, так и в другой традиции: современное литературное произношение соответствующих

форм восходит именно к ю-з-рус. норме ц-сл. языка. Напротив, разговорный язык может сохранять старую великорус. акцентуацию: в тех случаях, когда имеют место расхождения в акцентуации между литературным и разговорным произношением соответствующих имен, литературная форма соответствует ю-з-рус., а разговорная - великорус. традиции ц-сл. произношения: ср. литерат. *Савва́тий, Фо́тий, Евти́хий, Патри́кий, Мелет́ий*, разг. *Саввате́й, Фоте́й, Евтифе́й, Патрике́й, Мелете́й*. Подобным же образом обстоит дело с именами на -ил: в Моск. Руси эти имена имели ударение на предпоследнем слоге (*Миха́ил, Саму́ил, Ио́иль, Миса́ил* и т.п.), тогда как в Ю.-З. Руси ударение стояло на последнем слоге (*Михаи́л, Самуи́л*, и т.п.). В результате книжных реформ патр. Никона и его последователей и эти формы обычно приобретают ю-з-рус. акцентуацию, что отражается и в современном литературном их произношении. Просторечное же произношение опять же может сохранять старую великорус. акцентуацию (ср. литерат. *Михаи́л, Самуи́л, Иои́ль*, и разг. *Миха́йло, Самбо́йло, Ио́йло*). В именах на *Фео-* великорус. формы имели ударение на этом компоненте (*Фео́фан* и т.д.), а ю-з-рус. формы - на одном из последующих слогов (*Феофа́н* и т.д.); после никоновских реформ великорус. норма уподобляется югозападнорусской (*Феофа́н* и т.д.), что отражается и на последующем литературном произношении - при том, что разговорное употребление может следовать великорус. традиции (ср. литерат. *Феофа́н*, разговорн. *Фо́фан*). Аналогичным образом, старые великорус. формы *Авва́кум, Викто́р, Ко́ндрат, О́рест, Та́рх, Еу́пл* сменяются ю-з-рус. *Авваку́м, Ви́ктор, Кондра́т, Оре́ст, Тара́х, Евпл*, причем ю-з-рус. формы влияют и на последующее литературное произношение. См. подробнее: Успенский, 1969; Успенский, 1969а.

Книжная справа собственных имен тем более показательна, что, поскольку она касается имен святых, она вызывает резкий протест приверженцев старины. Так, обличая никоновские нововведения, поп Лазарь писал в сер. XVII в.: "Да он же патриарх и власти в новых книгах напечатали и говорят - многим святым имена переменили не против старых книг. И то есть святым похуление..." (Субботин, IV, с. 200; ср. возражения Симеона Полоцкого на эти обличения в "Жезле правления" - Симеон Полоцкий, 1667, л. 149 об.). Протест против исправления собственных имен содержится также в челобитной инок Савватия 1660-х гг. (ГИМ, Увар. 497/102, л. 14-15 об.; Три челобитные, 1862, с. 37-39), который одновременно отмечает и изменение ударений: "А что и просоди́и иные в' кнѣгахъ превратили по чюжымъ пословицамъ, какими пословицы николи в Московъскомъ гдѣрствѣ не говаривали и нѣтъ не говорятъ и кнѣгъ по той рѣчи не печатывали; и то не добро же... И учалъ быти расколъ в кнѣгахъ рѣчь, а в людехъ другая" (там же, л. 15 об./с. 39-40). Особые протесты вызывает замена имени *Никола* на имя *Николай*, о которой мы уже говорили выше (см. 12.4), а также устранение в книгах новой печати формы *Иванн* (ранее в Моск. Руси эта форма была принята в качестве канонической наряду с формой *Иоанн* - Успенский, 1969, с. 16-19, 223-226).

Ю-з-рус. влияние сказывается и в принципах постановки ударения во фразе. Как уже говорилось (см. 13.4), в Моск. Руси в акцентной группе, включающей энклитики и проклитики, ставился лишь один акцентный знак, ср. *во́ вѣки, во́ время, во́ имя*, а также *вразуми́ мя* и т.д.; характерно, что во всех этих случаях в книгах, как правило, стоит знак оксии (акута), а не варии (грависа), что опять-таки свидетельствует об объединении соответствующих слов в единый фразовый сегмент, поскольку вария в принципе ставится на конце слова. Это соответствовало нормам церковного произношения Моск. Руси, которое до сих пор сохраняется в чтении старообрядцев. Эти элементы фразового ударения в акцентуации печатных книг исчеза-

ют после раскола, поскольку московские справщики второй пол. XVII в. более или менее регулярно ставят ударение вообще на каждое слово, в том числе на предлоги, на частицу *не*, на союз *но*, а также (менее обязательно) на местоименные энклитики (*мя*, *тя* и т.п.); при этом во всех этих случаях, когда слово оканчивается на ударную гласную, ставится знак варии, а не оксии, и тем самым данные элементы приобретают статус отдельного слова. Справщики при этом следуют системе расстановки акцентов, принятой в ю-з-рус. книгах. Замечательно, что в тех случаях, когда в основу никоновских изданий были положены ю-з-рус. книги с иной системой расстановки акцентов, а именно книги, в которых ударение обозначено исключительно на знаменательных словах (ср. 13.4), эти книги правятся по той же системе – иначе говоря, как великорус. *во вѣки*, так и ю-з-рус. *во вѣки* правятся никоновскими справщиками на *во вѣки* (соответствующие исправления наблюдаем, например, в киевском Требнике 1646 г., в который вносятся исправления для подготовки московского Требника 1658 г. – ЦГАДА, ф. 1251, № 978, ч. I, л. 458, 463, 480, 502, 904, ч. II, л. 19, 162).

Постановка акцентов на каждом графическом слове (отделенном пробелами) имеет вполне условный характер; вместе с тем стремление снабдить каждое значимое слово знаком ударения соответствует перестройке книжного произношения, т.е. ведет к разрушению акцентных групп типа *во имя*. В этот период усваивается ю-з-рус. принцип фразового ударения, не допускающий перетяжки ударения на проклитику (*во имя* и т.п.). Старообрядцы протестуют против этого нововведения. Так, протопоп Аввакум отмечает, что "в старопечатных книгах *во имя*, а в новых *во имя*" (Бороздин, 1898, прилож., с. 42). Точно так же инок Савватий пишет, что в новоисправленных книгах вместо *по чину* стоит *по чину*, вместо *на род* стоит *на род*, вместо *во дни воззвах* стоит *во дни воззвах*, причем Савватий прямо указывает, что по мнению справщиков-никониан "тоѣ просодіи оксіи нигдѣ неудобно полагати надѣ предлогомъ" (ГИМ, Увар. 497/102, л. 15 об.-16 об.; Три челобитные, 1862, с. 40–41). Обсуждая соответствующие изменения, Савватий восклицает: "Ей ^сгдрь і в томъ смутились еже просодіи превращають по чюжимъ пословицамъ", имея в виду, скорее всего, ю-з-рус. традицию книжного произношения (там же). Соответствующие протесты старообрядцев вообще относятся, может быть, не столько к правописанию (системе расстановки акцентов, принятой в новых книгах), сколько к изменению книжного произношения. С XVIII в. постановка ударения только на знаменательном слове (но не на предлоге) становится обычной в церковных книгах, т.е. ц-сл. написание приближается к произношению; равным образом, ударение не ставится на безударных частицах, союзах, энклитиках и т.п. (Соколов, 1907, с. 19). Таким образом, новое церковное произношение начинает противопоставляться по характеру фразового ударения произношению русскому, некнижному – ранее в произношении подобных акцентных групп книжное и разговорное произношение не противопоставлялись.

Новое ц-сл. произношение обусловило в дальнейшем произношение высокого стиля, повлиявшее и на современное литературное произношение, тогда как старая акцентуационная модель (которая была свойственна как старому церковному произношению, так и произношению разговорному) стала восприниматься как просторечная. А. А. Барсов замечает в своей "Российской грамматике" 1783–1788 гг., что "в высоком слоге приличнее выговорить *за-море*, за-

мбрем, на-мбре, на-гбру", а не *за море* и т.п. (Барсов, 1981, с. 81). Ср. об этом также у Сумарокова (X, с. 46) или у Шишкова, который писал: "Выражение *на гору* можно произнести двояким образом, ударяя оное посредине, или ударяя в начале. Произнесем *на гбру*; будет высокой или важной слог; произнесем *на́ гору*, будет простой, низкой слог. У Ломоносова в трагедии 'Тамира и Селим' (дейст. I, явл. 1) сказано:

На гору как орел всходя он возносился,

Которой с высоты на агньца хочет пасть.

Естьлиб в сем стихе стопопадение [т.е. размер] и позволило сказать *на́ гору*, то бы важность трагического слога того не потерпела" (Шишков, V, с. 73). Итак, литературное произношение отражает в данном случае традицию церковного произношения Ю.-З. Руси. В современном литературном произношении имеет место явная тенденция помещать ударение на значимую часть предложного сочетания (Ожегов, 1955, с. 28), что следует связать именно с влиянием книжного произношения XVIII-XIX вв., т.е. с произношением высокого стиля, отражающего, в свою очередь, послениконовское церковное произношение. Если в сравнительно недавнем прошлом ударение на предлоге было более принято в литературной речи (Кошутич, 1919, с. 228 сл.), то это отражает борьбу естественного произношения, основывающегося на московском разговорном языке, и книжного произношения, восходящего в конечном счете к ц-сл. орфоэпии.

Книжная справа последовательно вводит букву *й* ("иже с краткой"), которая была свойственна ю-з-рус., но не великорус. традиции ц-сл. языка (см. 11.4). Так, например, уже в правленной Псалтыри 1658 г. читаем: "Сѣѣѣ боже, сѣѣѣ крепкій, сѣѣѣ без'смертный" (л. 25) и т.п. Орфографическим различиям соответствовали и различия в произношении: если в Ю.-З. Руси *й* читалась как полугласный, то в Моск. Руси, где писалось только *и* (ср. 11.4.1), в церковном чтении в соответствующих местах звучал слоговой звук, т.е. писалось и читалось "сѣѣѣ боже, сѣѣѣ крепкии, сѣѣѣ безсмертныи" и т.п. Старообрядцы, которые естественно сохраняют традиционное великорус. книжное произношение, протестуют против такого изменения. По свидетельству Посошкова старообрядцы считали, что сторонники никоновских реформ "печатают все по лу и менем, сице: *святый боже* и т.п. ... Краткое-де значит полуимя, якобы вместо *Ивана* - *Ванька* или вместо *Семена* - *Сенька* и пр." (Посошков, 1895-1905, II, с. 21-22). Как видим, старообрядцы усматривают здесь приближение церковного произношения к произношению разговорному: с их точки зрения никонианское произношение звучит вульгарно, подобно тому как вульгарно звучат уменьшительные формы имен ("полуимена") типа *Ванька* и т.п.

17.2.2. Орфоэпические изменения, обусловленные непосредственными контактами.

В перечисленных выше случаях ю-з-рус. норма произношения влияет на великорусскую через книги - в процессе книжной sprawy. В других случаях мы можем констатировать непосредственное влияние ю-з-рус. церковного произношения на литературный язык. В этих случаях акцентуация имен в процессе книжной sprawy не изменялась (т.е. в книгах сохранялась старая великорус. норма), однако современное литературное произношение отвечает не великорус., а ю-з-рус. норме. Соответственно, литературные формы собственных имен оказываются в этом случае противопоставленными по своему ударению каноническим ц-сл. формам. Так, например,

в ц-сл. языке сохранились великорус. формы *Гордѣй, Мокий, Авдѣй, Амплѣй, Левкий, Клавдѣй, Стахий, Малахий, Евсегній, Помгѣй, Ермѣй, Евдоксѣй, Кельсѣй*, противопоставленные ю-з-рус. формам соответствующих имен с ударением на предпоследнем слоге (*Гордый, Мокий* и т.п.); великорус. ударение отразилось и в разговорной форме соответствующих имен (*Гордѣй, Мокѣй, Авдѣй* и т.п.). Однако литературное произношение, расходящееся с разговорным, отвечает не великорус., а ю-з-рус. норме: в современном литературном языке мы имеем *Гордый, Мокий, Авдѣй* и т.д. Совершенно так же великорус. формы *Зиновѣя, Клавдѣя, Евпраксѣя, Евлампѣя, Лидѣя, Хионѣя, Соломонѣя* сохранились в ц-сл. языке (т.е. не были затронуты книжной справой), отразившись также в разговорном произношении (*Зиновѣя, Клавдѣя* и т.д.). Между тем, литературное произношение следует ю-з-рус. норме - как в том, так и в другом случае мы имеем *Зиновѣя, Клавдѣя* и т.п. В тех случаях, когда формы на *-ил* не были затронуты книжной справой и в ц-сл. языке осталось старое великорус. ударение *Мануѣил, Исмаѣил, Нафанѣил* (ср. разг. *Мануѣло, Исмаѣло*), в литературном языке, тем не менее, появились формы, соответствующие ю-з-рус. традиции (*Мануѣл, Исмаѣл, Нафанѣл*). Равным образом, великорус. ударение *Феофѣил, Климент, Юв, Онисѣфор* сохранилось в ц-сл. языке, однако литературное произношение подверглось влиянию ю-з-рус., а не великорус. традиции (*Феофѣл, Климент, Юв, Онисѣфѣр*) (см. подробнее: Успенский, 1969; Успенский, 1969а). Во всех этих случаях ю-з-рус. влияние осуществлялось непосредственно, а не через книжную справу, и это можно объяснить только тем, что ю-з-рус. произношение было принято на Руси даже в тех случаях, когда оно не отражалось в церковных книгах. Из этого видно, что влияние выходцев из Ю.-З. Руси не сводилось только к области книжной справы, их произношению подражали, и оно было, видимо, широко распространено. Характерно, вместе с тем, что в прикионовских изданиях мы находим более последовательное отражение ю-з-рус. акцентуации, чем в изданиях более поздних (Успенский, 1969, с. 103). Это объясняется, видимо, ю-з-рус. происхождением ряда никоновских справщиков.

Поскольку ю-з-рус. изводу ц-сл. языка не была свойственна столь сильная реакция на второе юж-сл. влияние, как великорус. изводу, отличия ю-з-рус. акцентуации собственных имен от великорусской могут быть обусловлены более органическим усвоением второго юж-сл. влияния (ср. 13.4). Соответственно, в период третьего юж-сл. влияния в ряде случаев происходит как бы регенерация второго юж-сл. влияния, т.е. в Великой России возвращаются те самые формы, которые появились со вторым юж-сл. влиянием и затем были отвергнуты. Так, например, ударение на окончании в именах на *-ил* появляется в процессе второго юж-сл. влияния, затем в XVI в. исчезает в традиции Моск. Руси, но сохраняется в традиции Ю.-З. Руси и, наконец, в процессе третьего юж-сл. влияния вновь появляется на великорус. территории.

Ю-з-рус. традиция церковного чтения отразилась, надо полагать, и на акцентуации аористной формы *умрѣ*, заимствованной из ц-сл. в рус. язык (ср. 5.4; Смирнов, 1929, с. 256): произношение этого славянизма противопоставлено по ударению произношению соответствующей ц-сл. формы *умре*. Ударение на последнем слоге в этой форме показано в старопечатных книгах, изданных в Ю.-З. Руси (см., например, киевский Новый Завет с псалтырью 1658 г., л. 217, и др. издания), тогда как в соответствующих московских изданиях ударение всегда падает на первый слог; великорус. норма сохраняется в ц-сл. языке, а ю-з-рус. норма прослеживается в рус. произношении.

Влияние ю-з-рус. ц-сл. традиции, которое осуществлялось не через книги, а непосредственно через речь выходцев из Ю.-З. Руси, не ограничивалось сферой акцентуации. Инок Савватий в своей челобитной 1660-х гг., приводя явные примеры отражения ю-з-рус. влияния, например, написания *и* вместо *ы*, специально подчеркивает, что это влияние не сводится к книжному: ю-з-рус. произношение может звучать и при чтении книг старой московской печати; иначе говоря, ю-з-рус. произношение выступает как мода, которой стремятся подражать. В челобитной говорится: "Аще и худо а тако та глупость вселилася хотя по старымъ печатнымъ кнѣгамъ говорят, а мнози, убожаючи нѣшнему нелѣпому новому и бояся того же, что над нами учинено [Савватий был сослан за протест против никоновской книжной sprawy], симъ худымъ воспято-словіемъ говорят. И пошелъ тотъ недугъ во все гдѣрство: не много тѣхъ мѣстъ, гдѣ тоѣ глупости не любят" (ГИМ, Увар. 497/102, л. 14; Три челобитные, 1862, с. 37). В дальнейшем Сумароков вспоминал о распространении украинского церковного произношения: "Знатнейшия наши духовныя были ко стыду нашему только одни Малороссиянцы, почти до времен владеющія нами Самодержицы: от чево все духовныя слепо следуя ихъ неправильному и провинциальному наречію вместо *во вѣки* и протч. говорили *во вики* и такъ далѣе" (Сумароков, X, с. 24). Сумароков, в частности, объясняет влиянием украинского церковного произношения форму *лѣта* вместо *лѣта*: "Ибо малороссіяня то ввели: а потому что все школы ими были наполнены; такъ сие провинціальное произношеніе и вкоренилося, яко *всигды, теби, мѣя* и протчія малороссійскія испорченныя выговоры: а особливо певчія много преобразили: какъ многое преображаютъ и великороссійскія дѣячки, подѣячія и бабы. Малороссіянцы мѣсто *тебѣ Господи: теби Господы*, и вместо *Господи, помилуй*, поютъ иногда *Господы помилуй*: и такъ далѣе. Но естли намъ писать по выговору малороссійскому; такъ должны мы вместо *лѣта* говорить *литѣ*, а вместо *только, тилько* и протч. или вместо *однако однакъ* и протч. изъ чево многое уже и воспріято" (Сумароков, X, с. 26). Ср. у Каченовскаго (1812, с. 27): "Отъ чего даже до половины минувшаго столетія многіе престолы украшались архіереями, уроженцами изъ Малой Россіи? Отъ чего слухъ Великороссіянъ терпеливо сносилъ чуждое произношеніе..?" Любопытно отметить, что, когда принцесса Софія Ангальт-Цербстская (будущая императрица Екатерина II) переходила в православіе в 1744 г., возникъ споръ относительно того, какъ она должна прочесть Символъ вѣры: ее законоучитель Симонъ Тодорскій настаивалъ на украинской манерѣ чтенія, тогда какъ В. Е. Адодуровъ, учившій принцессу рус. языку, требовалъ соблюденія великорус. нормы церковнаго произношенія. Адодуровъ одержалъ верхъ, и это можно рассматривать какъ знакъ совершающагося въ этотъ періодъ поворота отъ ю-з-рус. произношенія къ великорус. традиціи (Успенскій, 1975, с. 90). Темъ не менѣе мода на украинское церковное произношеніе сохранилась по крайней мѣрѣ до конца XVIII в.: по воспоминаніямъ Тимковскаго въ домово́й церкви графа Шувалова въ Петербургѣ въ павловское время служитъ "свой сановитый дѣячокъ", который "поетъ и читаетъ малороссійскою речью" (Тимковский, 1852, с. 55).

Одновременно въ грамматическихъ сочиненіяхъ конца XVII - нач. XVIII вв. мы встречаемъ рекомендацію не читать *ѣ* какъ *и*, что указываетъ на распространяющуюся ю-з-рус. манеру церковнаго чтенія; см. в. славяно-греч. буквварѣ конца XVII - нач. XVIII вв. (ГПБ, Соф. 1208, л. 66), въ буквварѣ Федора Поликарпова (1701, л. 6), въ "Технологіи" 1725 г. (ГПБ, НСРК F

1921.60, с. 23); автором "Технологии" был, по-видимому, тот же Федор Поликарпов. Украинское произношение в это же время обуславливает рифмы типа *добродѣтель - зритель*, которые встречаются как у поэтов ю-з-рус. происхождения, так и у великорус. авторов, например, у Сильвестра Медведева (Шевелев, 1960, с. 79; Виноградов, 1938, с. 28-29; Позднеев, 1971, с. 278; Томашевский, 1959, с. 86). Последнее обстоятельство указывает, что соответствующее произношение могло восприниматься в этот период как книжное.

Насколько распространено было влияние ю-з-рус. нормы к концу XVII в., видно из того, что ц-сл. тексты, приводимые в церковнославянско-рус. грамматике Лудольфа 1696 г., представляют ц-сл. язык именно ю-з-рус. редакции. Об этом свидетельствует прежде всего расстановка акцентов. Ср., например, у Лудольфа *гла́ва, къ́ нѣму, всѣ́я, Пѣ́тру Алѣ́ксіеви́чу*, ср. также нередкую у Лудольфа передачу *ы* через *и*, и т. д.

Влияние ю-з-рус. церковного произношения на великорусское сказывается, в частности, на чтении еров: если в великорус. традиции буквы *ѣ* и *ь* произносятся в виде редуцированных звуков (см. 7.5.5), то в ю-з-рус. традиции они не читаются как гласные звуки. В результате третьего юж-сл. влияния еры перестают читаться и в новой великорус. традиции (но продолжают читаться у старообрядцев). Это отражается на великорус. букварях, где со второй пол. XVII в. исчезают склады с ерами (ср. 13.4). То же влияние проявляется, видимо, в чтении предлогов и приставок, имеющих букву *ѣ*. Мы уже говорили, что чтение *ѣ* как *о* в приставках и предлогах *съ, въ, къ* было, кажется, характерно для Ю.-З. Руси (см. 7.5.5). После раскола такая манера произношения появляется и на великорус. территории. В цитированном славяно-греч. букваре специально указывается, что *ѣ* в предлогах произносится как *о* в церковном чтении - "пишется убо *къ, съ.., ꙗ́лется же ко, со*" (л. 61 об.-62, соответствующее место мы цитировали выше, см. 7.5.5).

Влияние книжного произношения Ю.-З. Руси особенно ярко сказывается на произношении заимствованных слов. Сюда относится акцентуация греч. заимствований, о которой мы специально говорили выше. Однако это влияние не ограничивается одной акцентуацией. Напомним, что в ю-з-рус. книжном произношении заимствованные слова образовывали особую фонетическую систему. Это проявляется, в частности, в отсутствии йотации начального *е* (что могло передаваться особой буквой *э*), и в смычном произношении *г* (которое могло обозначаться особой буквой *г'* или сочетанием *кг*); вместе с тем, *ѣ*, которая встречается исключительно в заимствованиях, произносилась в Ю.-З. Руси не как [f], а как сочетание [ft] или же как спирант, более или менее приближающийся к греч. произношению (см. 13.4). В результате третьего юж-сл. влияния и в Великой России появляется особая манера произношения заимствованных слов. Она проявляется прежде всего в отношении отсутствия йотации начального *е*; как мы уже знаем, это явление, будучи свойственно ю-з-рус. книжному произношению, было совсем несвойственно ранее произношению великорусскому (см. 7.10.1).

Так, в том же славяно-греч. букваре о букве *е* говорится, что она "еже в' началѣ греческихъ реченій полагаемо ꙗ́лется дебело, а не мягко, ꙗко дѣѣогга іеѣілонъ [говоря о "дифтонге епсилоне", автор имеет в виду йотированное произношение славянской буквы *е*, которую он называет "епсилоном", в начальной позиции, т. е. произношение [je]], на приуказ

елеонъ, а не *іелеон'*. *евнѹхъ*, а не *іевнѹхъ*, ниже *іевнѹхъ*, *евлогій*, а не *іевлогій*, ниже *іевлогій* (л. 53); ср. здесь же: "в' греческихъ... именехъ и реченіихъ паче же в' началѣ именъ и реченій полагаемо [т.е. на письме] и *глемо* [т.е. в произношении] всячески должно хранить *е* дебело, а не *іе* мягкое" (л. 61). Соответственно здесь противопоставляются правильные и неправильные формы: *evaggélīe*, но не *іevágгellіe*; *evə́mīj*, но не *іevə́mīj*; *евдокімъ*, но не *іевдокімъ*; *еџілонъ*, но не *іеџілон'* (л. 69 об.). Точно так же в букваре Федора Поликарпова 1701 г. читаем: "Вмѣсто *е* не *г*ли *іе*, *іако*... *евліе* не *іевліе*" (л. 6); в этом букваре употребляется и буква *э*. Еще более ясно о том же говорится в "Технологии" 1725 г. (написанной, по-видимому, Федором Поликарповым), где на вопрос "Егда буква *е* начинается еврейская, греческая и латинская реченія, како тогда произносится" следует ответ: "Произносится какъ латинское *е*, что *нѣ*тъ *россійски* употребляемо *сиче*, *э*, *іако* пишется *еммануиль*, а произносится *эммануиль*, пишется *етимологіа*, а произносится *этимологіа*, пишется *элементъ*, а произносится *элементъ*" (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 18).

Следует подчеркнуть, что влияние ю-з-рус. церковного произношения осуществлялось в данном случае не через книги. Орфография ц-сл. книг не давала оснований для такого произношения, и соответствующая манера чтения была усвоена непосредственно со слуха. Соответственно, это произношение сохранялось в церковном чтении постольку, поскольку оно поддерживалось выходцами из Ю.-З. Руси, произношению которых подражали. В дальнейшем, когда активное ю-з-рус. влияние прекратилось, в церковном чтении возобладала старая великорус. манера произношения с обязательной йотацией начального *е*.

Ю-з-рус. манера произношения закрепилась, однако, в светском литературном произношении, поскольку оно в нач. XVIII в., сделалось независимым от церковного произношения (ср. цитированное указание "Технологии" 1725 г. на нынешнее российское употребление); этому способствовало введение в гражданский алфавит *э* (Успенский, 1975, с. 187–190). Этот процесс полностью аналогичен процессу размежевания церковной и светской акцентуации собственных имен (ц-сл. *Гордій* - рус. лит. *Гордий*, и т.п.), о котором мы говорили выше: как в том, так и в другом случае имеет место влияние ю-з-рус. церковного произношения на гражданский литературный язык, которое обусловлено непосредственными контактами с югозападнороссами. Соответственно образуются противопоставления: ц-сл. *епистола* - рус. лит. *эпистола*, ц-сл. *Едем* - рус. лит. *Эдем*, ц-сл. *Ефес* - рус. лит. *Эфес*. Соответствующее противопоставление может связываться и с семантикой слова в таких, например, случаях, как *еллин* - *эллин* (ц-сл. *еллин* в отличие от рус. *эллин* означает прежде всего не грека, а язычника).

Со второй пол. XVIII в., когда наблюдается реакция на третье юж-сл. влияние, раздаются голоса, протестующие против новой произносительной манеры (в светском произношении). Так, Сумароков, который придерживается в данном случае старой великорус. произносительной нормы, т.е. продолжает произносить слова *евангелие*, *Еммануил*, *Екатерина* и т.п. с йотацией начального гласного, считал, что так же должны произноситься и все иностранные слова (Сумароков, VI, с. 314; Сумароков, X, с. 6, 44). Постепенно под влиянием церкви в целом ряде слов, прежде всего в таких словах, которые ассоциируются с церковным обиходом, в рус. литературном языке йотированное произношение начального *е* вытесняет нейотиро-

ванное, ср. *евангелие, евхаристия, ектеня, епитимья, епархия*, а также *Европа, Евгений*. Еще Барсов в своей "Российской грамматике" (1783–1788 гг.) рекомендует писать и читать не *Европа, евангелист*, а *Эвропа, эвангелист* (Барсов, 1981, с. 47). Так, действительно, писал еще Пушкин, в письмах которого встречаем *Эвропа, эвангелист* (Малаховский, 1937, с. 11; ср. Успенский, 1975, с. 188).

С восстановлением йотированного произношения начального *е* в грецизмах, которые по большей части являются словами церковного обихода, отсутствие йотации становится принадлежностью иноязычной лексики, заимствованной в литературный язык не через посредство ц-сл. языка - прежде всего из западных языков, ср. *экспедиция, экономия, эскадра* и т.п. Таким образом, если ранее данный фонетический признак противопоставлял заимствованные и незаимствованные слова, то теперь он служит для противопоставления ц-сл. произношения и гражданского литературного произношения. Это один из путей размежевания ц-сл. и рус. литературного языка в XVIII в. При этом произношение заимствованных слов без йотации начального *е* соотносится с отсутствием йотации в таких специфически рус. словах, как *это, экой, эй* и т.п. - заимствованные слова объединяются с русизмами в своей противопоставленности ц-сл. лексике.

Одновременно в этот же период наблюдается размежевание церковной и светской нормы правописания и произношения грецизмов: в церковном произношении сохраняется греч. (рейхлинова) система чтения, тогда как в светском произношении принимается латинская (эразмова) система. Соответственно появляются протипопоставления типа *ѣеатр - театр, вивлиоѣика - библиотека* и т.п. (Успенский, 1975, с. 60–61, 197; Кузнецов, 1960; Романев, 1965).

Под влиянием Ю.-З. Руси во второй пол. XVII в. появляется особое произношение *ѣ*, отличное от произношения *ѣ*. Предписание различать в произношении буквы *ѣ* и *ѣ* мы находим в упоминавшемся славяно-греч. букваре (ГПБ, Соф. 1208, л. 3, 54 и 57 об.), в букварях Кариона Истомина конца XVII в. (см. Тарабрин, 1916), в букваре Федора Поликарпова 1701 г. (л. 7), в грамматике 1720-х гг. (ЦГАДА, ф. 201, № 6, 62 об.-63), в "Технологии" 1725 г. (автором последних трактатов является, вероятно, тот же Федор Поликарпов). Во всех этих источниках даются указания относительно спирантного ("сипливого") произношения *ѣ*. О том, что в ученом рус. произношении *ѣ* читается особым образом (в виде спиранта), сообщают и иностранные авторы, например, И. В. Паус в своей "Славяно-русской грамматике" 1705–1729 гг. (БАН, собр. иностр. рукописей, л. 15). На звуковых отличиях *ѣ* и *ѣ* настаивают во второй пол. XVIII в. Сумароков (X, с. 10, 30, 48) и Каржавин (1791). Татищев считал необходимым сохранить в гражданском алфавите буквы *ѣ* и *ѣ*, причем он, видимо, произносил *ѣ* как [ft], что также соответствует украинской манере книжного произношения (см. Успенский, 1975, с. 82–83). Другие авторы, такие как Адодуров, Ломоносов, Барсов, рекомендуют произносить *ѣ* как *ѣ* и исключают *ѣ* из гражданского алфавита. Особое произношение *ѣ* характеризует лишь эпоху активного ю-з-рус. влияния.

Обобщая, можно заметить, что ю-з-рус. влияние в XVIII в. определило различие между литературным произношением (орфоэпией высшего стиля) и ц-сл. произношением (книжным церковным произношением). Это различие обусловлено тем, что ц-сл. произношение XVIII в. в

значительной степени продолжает традицию великорус. книжного произношения, тогда как орфоэпия высокого слога может отражать ю-з-рус. традицию. Таким образом, различие между светским и церковным произношением восходит к разнице двух традиций церковного произношения предшествующего периода - великорусской и югозападнорусской.

17.3. Греч. компонент в реформе ц-сл. языка. Как уже отмечалось, ю-з-рус. традиция была связующим звеном в греческо-рус. культурных контактах: в условиях сознательной ориентации на греч. культуру ю-з-рус. культура играла роль посредника. Поэтому усвоение специфических элементов ю-з-рус. извода ц-сл. языка происходило более или менее спонтанно, т.е. было побочным моментом в византизации рус. церковной культуры. Никоновские справщики правили по большей части ю-з-рус. издания (ср. 17.1), внося в них те или иные изменения в соответствии со своими представлениями о правильном ц-сл. языке. В основе этих представлений лежала грекофильская ориентация - убеждение в том, что ц-сл. язык должен выражать те же значения и по возможности тем же образом, что и греч. язык. Таким образом, сознательные изменения, вносимые в ц-сл. тексты, были мотивированы, как правило, ориентацией на греч. тексты и на греч. языковые модели.

Мы уже видели, что ориентация на греч. языковую модель объясняет введение форм перфекта 2 л. ед. числа в парадигму простых прошедших времен - таким способом разрешалась омонимия 2 и 3 л. ед. числа в формах аориста и имперфекта, которая была чужда греч. языку, и создавалась возможность различать 2 и 3 л. в точном соответствии с греч. языковой моделью (см. 8.7.3; 8.7.4; 8.7.5). Никоновские справщики следовали здесь традиции, идущей от Максима Грека. Такой же тенденцией объясняется, возможно, изменение форм род. мн. существительных муж. рода. Так, при исправлении Требника для московского издания 1658 г., в основу которого положено киевское издание 1646 г., справщики правят киевское издание, последовательно добавляя окончание *-овъ* (*-швъ*) в интересующих нас формах, например: *аггль* заменяется на *аггльшвъ*, *пррокъ* - на *пррокшвъ*, *апль* - на *апльшвъ*, *мчникъ* - на *мчникшвъ*, *іерархъ* - на *іерархшвъ*, *оучникъ* - на *оучникшвъ*, *иноплеменикъ* - на *иноплеменикшвъ* и т.п. (см. ковычный экземпляр киевского издания с исправлениями московских справщиков - ЦГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. 2, л. 184, 187, 194, 225, 254, 258, 284, и т.д.). Еще более показательно, что Епифаний Славинецкий, исправляя Символ веры, заменяет *вѣкъ* на *вѣкшвъ*, *члвкъ* - на *члвкшвъ* (Гезен, 1884, с. 126); перевод Епифания Славинецкого отличается вообще буквальным следованием греч. оригиналу, причем вносимые в него изменения могут специально оправдываться ссылками на греч. грамматику (ср. 17.3.8). Очевидно, что в этом же ключе должны рассматриваться и приведенные исправления форм род. мн. Следует думать, что эти исправления обусловлены желанием разрешить омонимию им. ед. и род. мн., поскольку такая омонимия отсутствует в греч. парадигме. Замечательно, что, преследуя эту цель, справщики готовы внести в ц-сл. норму такие формы, которые раньше трактовались как просторечные и даже могли иметь особую отрицательную семантическую характеристику (см. 14.4). Хотя справщики руководствуются сугубо учеными соображениями, фактически они допускают определенную русификацию ц-сл. языка.

17.3.1. Расширение функций род. падежа: употребление род. и дат. падежей. Греч. влияние обуславливает и целый ряд других перестроек в грамматической структуре ц-сл. языка. Сюда относится, в частности, расширение функций род. падежа. Функции род. падежа в ц-сл. языке как великорус., так и ю-з-рус. извода были относительно ограничены (по сравнению с функциями род. падежа в греч. или в современном рус. языке), в одних случаях его замещал дат. падеж, в других – притяжательное прилагательное. В результате книжных реформ второй пол. XVII в. род. падеж значительно расширяет сферу своего употребления.

Так, род. падеж становится нормой в конструкциях, где предшествующая традиция ц-сл. языка предписывала употребление дательного приименного. Мелетий Смотрицкий специально отмечает в своей грамматике: "Вмѣсто родительнаго многажды [т.е. часто] дателный существительный существителну свойственнѣ сочиняется: ꙗко, ^Гди и ^Влѣко животу моему вмѣсто живота моего. И ^Бже и ^Гди силамъ, всяя твари содѣтелю вмѣсто силъ и проч." (Смотрицкий, 1619, л. ш/3 об.; Смотрицкий, 1648, л. 295). Никоновские справщики последовательно правят *во вѣки вѣком* на *во вѣки вѣков*, *вѣнец лету* на *вѣнец лета*, *воскресеніе мертвым* на *воскресеніе мертвых*, *отец свѣтом* на *отец свѣтов* и т.д. Эта правка вызывает протест старообрядцев – Аввакума (РИБ, XXXIX, стлб. 465), Никиты Добрынина (Румянцев, 1916, с. 462, 466–468, 495; прилож. с. 340, 354), Лазаря (Симеон Полоцкий, 1667, л. 151), Авраамия (Субботин, VII, с. 33, 319–320), Савватия (ГИМ, Увар. 497/102, л. 10 об.; Три челобитные, 1862, с. 30). Соответственно, употребление той или иной формы – род. или дат. падежа – могло осмысляться как диагностический признак правильности или неправильности того или иного текста: так, Андрей Денисов в своих полемических посланиях отвергает свидетельства некоторых старопечатных книг Ю.-З. Руси именно потому, что там стоит *во вѣки вѣков* (Смирнов, 1909, с. 195); двести лет спустя по этой же причине на Первом Соборе старообрядцев-поморцев ставят под сомнение певческие тексты эпохи Ивана Грозного (Деяния Первого Собора, с. 63 второй пагинации). Старообрядцы рассматривают такую правку как еретическую. Аввакум пишет по поводу выражения *во веки веков*: "И *вѣковъ* – тѣхъ, – и то в Кирилловѣ книгѣ описуетъ ересь: малое-де слово сіе, да велику ересь содержитъ" (РИБ, XXXIX, стлб. 465). Точно так же и поп Лазарь заявляет: "Да въ новыхъ... книгахъ напечатано во всѣхъ молитвахъ, и во всѣхъ возгласѣхъ *нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ*. И та рѣчь еретическая" (Субботин, IV, с. 200; ср.: Симеон Полоцкий, 1667, л. 150 об.-151). Употребление родительного вместо дательного приименного, которое с этих пор входит в норму ц-сл. языка, обусловлено, видимо, греч. влиянием, т.е. возникает в результате калькирования греч. грамматических конструкций. Правда, родительный приименный встречается иногда и в ю-з-рус. книгах, однако он употребляется здесь непоследовательно и никоим образом не является абсолютной нормой. Появление его в ю-з-рус. книгах также следует объяснять греч. влиянием, и об этом прямо говорят Симеон Полоцкий и Епифаний Славинецкий (см. 17.3.8). Существенно, что Епифаний Славинецкий ссылается при этом на греч. правила, т.е. на греч. язык, а не на исходный греч. текст.

17.3.2. Расширение функций род. падежа: родительный посессивный. Расширение функций род. падежа осуществляется за счет замены конструкций с притяжательным прилага-

тельным на конструкции с существительным в родительном посессивном. В предшествующей норме ц-сл. языка родительный посессивный употребляется лишь в ограниченном числе случаев, а именно при наличии нескольких определений к одному определяемому или в том случае, когда определение осложнено зависящими от него словами. Ср. в Остр. ев.: "Чѣто кѣтъ мѣнѣ и тебѣ Иїсе сѣноу бѣ вышнѣаго" (л. 98в), но: "Ты кси Хѣсѣ сѣнѣ бѣии" (л. 138в). При наличии одного нераспространенного определения нормальной являлась конструкция типа *страх Господень*, т.е. конструкция с притяжательным прилагательным, тогда как конструкция типа *страх Господа* оказывалась маркированной. Смотрицкий в своей грамматике говорит: "Обычно Славяном над Греческих діалектов свойство есть: Существителну в' родителном полагаему, Прилагателна сочинена себѣ не имущему, в' Прилагателен притяжательнѣ своему Существителну в' родѣ числѣ и падежи согласующѣ претворятися [т.е. в славянском языке, в отличие от греческого, существительное в род. падеже, не имеющее определяющего его прилагательного, трансформируется в притяжательное прилагательное, согласующееся с определяемым им существительным в роде, числе и падеже]: яко *Начало премудрости страхъ Гднѣ*, вмѣсто *страхъ Гда*; и *Книга родства Іс Хва*, вмѣсто *Іса Ха* и проч." (Смотрицкий, 1619, л. ш/3; Смотрицкий, 1648, л. 248). При этом оговариваются случаи, когда следует употреблять родительный посессивный. Во-первых, когда определяющее существительное имеет свое определение, например, "*Гласъ Гда прѣсѣцающаго пламень огня: Гда*, а не *Гднѣ*; и *зачало евлія Іс Ха сѣна бѣія*, а не *Іс Хва*... *Добрѣ глѣмѣ: Горы яко воскъ растаяша от лица Гднѣ*, от лица *Гда* *всѣя земля*; Во оboемъ мѣстѣ Греческому родителному стоящу хυρίου" (там же). Во-вторых, когда определяющее существительное согласуется с местоимением следующей синтагмы; например, неправильной является конструкция следующего типа: "Кто разумѣ умъ Гднѣ или кто совѣтникъ ему бысть?" В этой фразе следует сказать "*Гда*, а не *Гднѣ*, послѣдующаго ради возноситезнаго [местоимения] *ему*. Иначе бо *ему* вознесетсѣ [т.е. отнесетсѣ] ко *умѣ*" (Смотрицкий, 1619, л. ш/3 об.; Смотрицкий, 1648, л. 284 об.).

Ср. в грамматике Ф. Максимова (1723, с. 104–105): "Въ греческа діалекта свойствѣ есть обычай полагати при существителном родителен... Въ славенска же свойствѣ, вмѣсто сего прилагателнѣ притяжательный въ томѣ же согласіи, яко: *Ангель Господень во снѣ явисѣ Іосифу*". Равным образом И. Ужевич отмечает в своей грамматике конца 1643 г., посвященной главным образом описанию "простой мовы": "*Libri Pauli* - не *книга Павла*, а *книга Павлова*; также *Equus ducis* - *конь гетманскій*, а не *конь гетмана*"; здесь же отмечается, что следует говорить не *корона кроля*, но *корона королевская* или же *корона кроля перьского* и т.п. (Ужевич, 1970, с. 50). Аналогичные замечания содержатся и в грамматике "русского језика" Крижанича 1666 г. (Крижанич, 1859, с. 174), причем специально подчеркивается отличие от греческого или латыни. Такие же правила для рус. языка дает Барсов в своей "Российской грамматике" (Барсов, 1981, с. 178), а также Подшивалов в "Сокращенном курсе российского слога" (Подшивалов, 1796, с. 23).

Рассматриваемое явление имеет общеславянское происхождение, и ц-сл. язык в этом отношении не был противопоставлен некнижному рус. языку, где употребление родительного посессивного было ограничено подобными же условиями (об употреблении родительного посессивного в истории рус. языка см.: Макарова, 1954; Виднэс, 1958; Мароевич, 1983). Ср., например: *установица чудотворцова Аврамія рука* (Соловецкая челобитная, 1668 г.), *въ Юрьевѣ челобитной Сербенина* (дела Посольского приказа, 1676 г.), *Антониева монастыря Римлянина*

иеромонах *Мелхиседек* (запись на книге, 1686 г.), недостаток познания авторов в языкъ нашем (записка В. Е. Адодурова, 1742 г.), *Михайла Монтениевы опыты* (название книги, 1762 г.), отца *Савелиевой прямоты* (Лесков, VI, с. 21), хана *Джангарова понятия* (там же, IV, с. 419).

Подобные конструкции часто встречаются в сочетаниях имен и отчеств, типа: "Се газ, Федор, да газ, Семен, *Ивановы дѣти Федоровича Сабурова*" (Акты С.-В. Руси, I, 1952, с. 333), "*Стольника Семенова жена Алексеевича Лихарева, Ксения Федорова дочь*" (надпись на воздухе 1595 г.). В качестве примера можно привести еще выражение *Троице-Сергиев монастырь*, где *Троице (Троицѣ)* - др-рус. форма род. падежа; иначе говоря, *Троице-Сергиев монастырь* означает *Троицы Сергиев монастырь* - последнее название также можно встретить в старых текстах (например, в послании троцкого архимандрита Дионисия к князю Пожарскому 1612 г.: "живоначальныя Троицы Сергиева монастыря архимарит Дионисей..." - ААЭ, II, с. 341, № 202). Ср. также современные просторечные конструкции типа *тети Дусины пироги* и т.п.

Современный литературный язык избегает таких конструкций: характерно, что писатели, вводящие их в прямую речь своих персонажей, не всегда с этим справляются и допускают те или иные ошибки против исторически правильной формы. См., например, у Достоевского в "Подростке": "За чьим ребеночком? За Андреем Петровичевым [вместо: Андрея Петровичевым]", "Это - его словечко, Андрей Петровичево! [вместо: Андрея Петровичево]" (Достоевский, XIII, с. 294, 434).

Любопытно, что уже царь Алексей Михайлович обнаруживает некоторую нерешительность в образовании конструкций такого рода: в письме от 17-18.VIII.1656 г. из Кукейноса (Кокенгаузена), переименованного после взятия его рус. войсками в "царевичев Дмитриев град", он пишет: "И отселе нарекли сему граду имя царевичевъ Дмитреевъ градъ", причем буквы *въ* в слове *царевичевъ* были написаны и потом зачеркнуты (Письма рус. государей, V, с. 62) - создается впечатление, что Алексей Михайлович колеблется между формами *царевича Дмитриев град* и *царевичев Дмитриев град*; далее в том же письме он поздравляет свою семью "с новым нареченным *царевича Дмитреевым градом*" (там же, с. 63), т.е. употребляет правильную форму.

Соответствующая функция притяжательного прилагательного обуславливает осмысление его как эквивалента формы существительного в род. падеже. В некоторых грамматических сочинениях притяжательное прилагательное прямо дается в парадигме существительного как форма род. падежа. Так, в сочинении "О осмих частех слова", приписываемом Иоанну Дамаскину, дается следующая парадигма:

права	ѣлкѣ	жена	естество
родна	ѣлковѣ	женаина	естествово
виновна	ѣлка	жену	естества
дателна	ѣлку	женѣ	естеству
звателна	о ѣлче	о жено	о естество

(Ягич, 1896, с. 48, ср. 41, 467, 469).

Такое же явление мы наблюдаем и в "Донатусе" Дмитрия Герасимова, где парадигма существительного *магистеръ* выглядит следующим образом:

именователнѣ	магистеръ	магистры
родственѣ	магистерово	магистровы
дателнѣ	магистеру	магистерым
виновнѣ	магистера	магистровѣ
звателнѣ	о магистере	о магистры

(Ягич, 1896, с. 537).

Можно видеть, что притяжательное прилагательное выступает здесь в качестве формы род. падежа, поскольку оно квалифицируется как тождественное по функции формам род. падежа греч. или латинского языка (посессивное значение приписывается этим формам в качестве первичного).

Любопытно, что Барсов в своей "Российской грамматике" 1783–1788 гг. рассматривает конструкцию *отец Александра* как производную от *отец Александров* (Барсов, 1981, с. 178), между тем как Ломоносов в грамматике 1755 г. видит здесь обратную зависимость (Ломоносов, VII, с. 469, см. 227–228).

По аналогии с притяжательными прилагательными, заменяемыми существительными в род. падеже, никоновские справщики заменяют род. падежом и другие прилагательные. Так, *Душе истинный* регулярно правится на *Душе истины* (о Св. Духе), *солнце праведное* на *солнце правды* (о Христе). Ср. в ковычном экземпляре киевского Требника 1646 г., правленном для московского издания 1658 г., замены: *ликъ апльскій* на *ликъ апльшвъ*, *языческомѹ нашествію* на *нашествію языковъ*, *варварскимъ рѣкамъ* на *рѣки варваршвъ* и т.п. (ЦГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. II, л. 286).

Все эти исправления вызывают решительный протест старообрядцев. Никита Добрынин, например, приводит в числе недопустимых исправлений такие замены, как *кровь козлию пію* на *кровь козловъ пію* (Пс. XLIX), *домовъ неправедныхъ* на *домовъ беззаконій* (Пс. LXXIII) (Румянцев, 1916, прилож., с. 355). Другой старообрядческий деятель того же времени, инок Авраамий протестует против выражения *Душе истины*, придавая этому выражению иной смысл (отличный от *Душе истинный*), а именно, усматривая здесь то конкретное значение родительного принадлежности, которое содержится в притяжательном прилагательном, но отсутствует в непритяжательном прилагательном *истинный*: "В стихѣ Царю небесный, совершенно Духа Святаго истиннымъ не именуютъ... и напечатали сие: Царю небесный, утѣшителю, Душе истины... и тем Духа Святаго учинили раболѣпна, аки причастника точію истиннѣ, а не самый истинный Святой Духъ именуютъ" (Субботин, VII, с. 285). Действительно, если при замене притяжательного прилагательного на родительный принадлежности смысл, вообще говоря, не меняется, то при замене относительного прилагательного на существительное в род. падеже может иметь место то или иное изменение смысла. Напротив, никоновские справщики защищают замены такого рода. Так, чудовский инок Евфимий, который сыграл значительную роль в книжной справе второй пол. XVII в., писал в сочинении об исправлении миней (1692 г.): "Бѣъ Авраама. Бѣъ и Авраамъ имена суть существительная, грамматика же учить сие: два существительна различныхъ вещей стекающаяся, другое ихъ в' родителномъ полагается, ꙗко Бѣъ Авраама отца твоего, велика совѣта аггль, отецъ будущаго вѣка, домъ Гда вседержителя, Снъ Бга живаго, в' нѣдрѣхъ Авраама угодника... Аще бы имени Бѣъ сочинено было едино существительное имя Авраамъ, а не послѣдовало бы второе существительное же имя, оцъ или иное кое, глаголалося бы прилагательнымъ притяжательнымъ именемъ Бѣъ Авраамовъ, или в' нѣдрѣхъ Авраамовыхъ, или совѣт аггловъ... или домъ вседержителейъ". До сих пор Евфимий пересказывает соответствующее правило грамматики Смотрицкого, однако далее он продолжает: "Но овогда и сие еже и

без послѣдующаго втораго имени не предлагается в' прилагательное притяжательно ради благогласія и свѣтлаго разумѣнія, тако Бѣ славы, Гди силъ, древо жизни, Бже дховъ, в' мѣстѣ прохладенія, в' нѣдрѣхъ Авраама" (Никольский, 1896, с. 95–96). Итак, новые конструкции с род. падежом связываются теперь с благогласием и светлым разумением, что несомненно объясняется их непосредственной соотнесенностью с греческим.

Рассматриваемое изменение приводит к возникновению нового признака, противопоставляющего рус. и ц.-сл. языки: употребление род. падежа в соответствующей функции оказывается маркированной чертой книжного языка. Характерно, что, когда в XVIII в. появляются тексты на "простом" рус. языке (см. 18.3), который отчетливо противопоставляется ц.-сл. языку, подобные конструкции сознательно из них устраняются. Так, Софроний Лихуд, правя в 1718 г. на "простой" язык перевод "Географии генеральной" Варения, первоначально выполненный на ц.-сл. языке, более или менее последовательно проводит исправления типа: *частей океана* на *частей океановых*, *картезія толкованіе* на *картезіево толкованіе*, *планеть аспектъ* на *планетный аспектъ*, *персиды краевъ* на *персидских краевъ* и т.д. (Живов, 1986а, с. 252). Такая же правка может быть обнаружена и в "Библиотеке" Аполлодора, переведенной в 1724 г. на "общий российский язык" А. К. Барсовым, который окказионально употреблял специфические славянизмы, исправлявшиеся затем справщиками Московской типографии, ср. здесь замену: *медвѣдей мозгами* на *медвѣжьими мозгами* (ЦГАДА, ф. 381, № 1015, л. 183). Мы видим, что рассмотренные сейчас исправления зеркально противоположны тем исправлениям, которые вносят в ц.-сл. текст никоновские и послениконовские справщики. Следует подчеркнуть, что и Софроний Лихуд, и редакторы перевода Аполлодора были причастны книжной справе, т.е. занимались исправлением ц.-сл. текстов. Именно потому, что в процессе такого исправления они должны были заменять конструкции с прилагательными на конструкции с род. падежом, в данном случае они осуществляют обратную замену: представления о "простом" рус. языке определяются при этом отталкиванием от нормы ц.-сл. языка (в том виде, в каком она была запечатлена в языковом сознании рассматриваемого периода).

Тем не менее, в XVIII в. соответствующие конструкции с род. падежом усваиваются рус. литературным языком нового типа. Это обусловлено западноевропейским влиянием, которое в данном моменте совпадает с греч. влиянием: конструкции с род. падежом могут приходиться непосредственно из западноевропейских языков, однако они ложатся на почву, подготовленную реформой ц.-сл. языка второй пол. XVII в. Так, в рус. языке появляются такие галлицизмы, как, например, *генерал армии* и т.п. (Исаченко, 1958, с. 45). Подобные конструкции могут специально ассоциироваться с литературным языком: характерно, что Пушкин в 1817 г. пишет стихотворение "Анакреонова гробница", но затем исправляет название на "Гроб Анакреона".

17.3.3. Устранение энклитических местоимений в дат. падеже. Подобно тому, как дательный приименный мог выступать в качестве определения, так и энклитические местоимения в дат. падеже могли выступать в соответствующей синтаксической функции (*ми*, *ти*, *си*), т.е. в той же функции, что и местоимения притяжательные. В грамматике Смотрицкого констатируется смысловая тождественность конструкций *отец ми* и *отец мой*, *отца ти* и *отца твоего*

и т.п. (Смотрицкий, 1619, л. ш/8-8 об.; Смотрицкий, 1648, л. 290 об.-291). Если существительное в дат. падеже, выступающее в качестве определения, заменяется, как мы видели, существительным в род. падеже, то местоимение в дат. падеже в той же функции заменяется притяжательным местоимением, ср., например, правку в ковычном экземпляре Требника 1646 г., сделанную для московского издания 1658 г.: *стыа ти мѣре на стыа твоеа мѣре, легкое ти бремя на легкое твое бремя, многыхъ ми прегрѣшеній на многыхъ моихъ прегрѣшеній* и т.п. (ЦГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. I, л. 28, 907, 922 и др.).

17.3.4. **Согласование относительных местоимений.** В соответствии с греч. синтаксисом никоновские справщики употребляют относительные местоимения *имже, яже, еже*, согласуя их по роду, числу и падежу с тем словом главного предложения, к которому они относятся. В предшествующей норме ц-сл. языка падеж этих местоимений определяется моделью управления глагола придаточного предложения, например: *на мѣсто егоже хотяще* заменяется на *на мѣсто еже хотяще*; *в' терпѣніи страданіи, имже страждемъ* заменяется на *в' терпѣніи страданіи, яже страждемъ* и т.п. (ковычный экземпляр Апостола 1671 г., правленный для издания 1679 г. - ЦГАДА, ф. 1251, № 14, л. 350, 225). Смотрицкий специально отмечает различие греч. и ц-сл. языка в этом отношении, говоря: "Есть аттѣком свойство, славенску языку всяко странно, возносителному [т.е. относительному местоимению] со предидущимъ в' томже падежи сочинятися [т.е. согласоваться по падежу с анафорическим словом главного предложения, которое стоит перед относительным местоимением] на послѣдующій глѣ, имже правиму быти ему достояше, не единъ възглядъ имущему [т.е., не обращая внимания на последующий глагол придаточного предложения, который должен управлять таким местоимением]". Смотрицкий здесь же приводит примеры буквальных переводов с греческого на ц-сл. язык. Так, по-церковнославянски должно быть "первое убо слово сотворих о всѣхъ, о Теофіле, о нихъ же начать Іс творити же и учити" (Деян. I, 1), тогда как греч. конструкция передается Смотрицким следующим образом: "первое убо слово сотворих о всѣхъ, о Теофіле, яже начать Іс творити же и учити". При этом отмечается, что грецизированные конструкции могут встретиться в старых переводах Св. Писания: "Сице бо многая сим подобная в' бож[ественном] писаніи аттѣческаго діалекта свойства искуснии преводници преводиша" (Смотрицкий, 1619, л. Ц/1 об.-2 об.; Смотрицкий, 1648, л. 292 об.-293). Именно такое приближение к греч. синтаксису и наблюдается в справе второй пол. XVII в. Замечательно, что в ковычном экземпляре Апостола 1671 г., исправленного для издания 1679 г., при одном из таких исправлений на полях стоит ссылка "грамм" (ЦГАДА, ф. 1251, № 14, л. 36 об.-37), т.е. ссылка на грамматику Смотрицкого. Очевидно, именно указаниями Смотрицкого о различии между ц-сл. и греч. синтаксисом и руководствовались в данном случае справщики, однако эти указания были поняты ими как руководство для построения фразы по греч. модели.

17.3.5. **Ограничение функций местоимения *свой*.** Ориентация на греч. синтаксис проявляется у никоновских справщиков и в употреблении местоимений *свой* - *твой*. В 1 и 2 л. местоимение *свой* регулярно заменяется местоимениями *мой* и *твой*. Ср., например, исправления в ковычном экземпляре Требника 1646 г. правленного для издания 1658 г.: *Господи, оуслыши*

моленіа рабѣвъ своихъ правится на ... рабѣвъ твоихъ; дарѣѣ мѣть свою правится на ... мѣть твою; избави люди своа правится на ... люди твоа (ЦГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. II, л. 185, 186, 184). Такое употребление становится нормой для ц-сл. языка, и характерно, что Тредиаковский, который ориентируется на ц-сл. язык при установлении правильного рус. употребления, критикует Сумарокова за употребление местоимения *свой* вместо *твой* при обращении к императрице. Сумароков пишет:

Ты днесь фортуна нам пленила
И грозный Рок остановила,
В единый миг своей рукой
Объяла все свои границы.

Тредиаковский замечает: "*Своей рукой*, вместо *твоей рукой*, худо: ибо речь идет взывательная, и обращена она ко второму лицу. Для сеяж самая причины и *свои границы*, за *твои границы*, худо ж и неправильно" (Куник, II, с. 459). В этом произведении ("Письмо от приятеля к приятелю", 1750 г.) Тредиаковский вообще выступает за славянизацию рус. литературного языка. Между тем Сумароков ориентируется на разговорное употребление, которое до реформ патр. Никона не противостояло ц-сл. языковой норме.

Обратная замена (личного местоимения на возвратно-притяжательное) имеет место у никоновских справщиков в 3 л. Ср., например, изменение в отпусе (заключительные слова священника в конце службы): в дониконовской редакции было "Христос истинный Бог наш молитвами пречистыя *Его* Матере...", после справки - "...пречистыя *своя* Матере". Эта замена вызывает возражения старообрядцев, в частности, Лазаря, который утверждает, что "та речь не слична" (Субботин, IV, с. 190); ср. ответ Симеона Полоцкого в "Жезле правления" (1667, л. 124-124 об.), указывающего, что *его* в дониконовском тексте "можетъ иного лица матеръ указывати и тако усумнѣніе творити". Отметим, что эта замена отвечает рекомендациям Смотрицкого, который писал: "Вмѣсто возвратителну *его*, *ея* и прочіихъ... употребляютъ Славяне благолѣпнѣ притяжательныхъ *свой*, *своя*, *свое*: тако *сице возлюби Бѣгъ миръ, яко и Сѣна своего едиnorodнаго далъ есть*, вмѣсто *Сѣна его*, и *еще жена пуститъ мужа своего и посагнет за иного, прелюбы творит вмѣсто мужа ея*" (Смотрицкий, 1619, л. Ц/6; Смотрицкий, 1648, л. 297).

Во всех этих случаях - как в случае замены *свой* на *мой* или *твой*, так и в случае замены *его* на *свой* - имеет место уподобление греч. языку. Действительно, греческий располагает притяжательными местоимениями только для 1 и 2 л.; в этих случаях местоимение *свой* заменяется на местоимения *мой* и *твой*. Соответственно, местоимение *свой* осмысливается как местоимение 3 л., чем и обусловлены замены *его* на *свой* (*свой* коррелирует здесь с греч. αὐτοῦ).

Как и в ряде других случаев (см. 8.7.4), практика никоновских и послениконовских справщиков предвосхищена Максимом Греком. Действительно, в Псалтыри, переведенной в 1519-1522 гг., Максим регулярно пользуется местоимениями *мой* и *твой* в соответствии с греч. μου и σου - при том что в предшествующих переводах в этих случаях стояло местоимение *свой*. Заметим, вместе с тем, что в позднейшей своей редакции Псалтыри (1552 г.) Максим

отказывается от такого употребления и пользуется местоимением *свой*. По-видимому, по мере овладения ц-сл. языком Максим в ряде случаев отказывается в своих переводах от буквальных грецизмов (см. 13.2), ср. переводы Максима с предшествующим переводом по рукописи конца XV в. (ГИМ, Епарх. 137):

Редакция 1519–1522 гг.
(ГИМ, Син. 236)

щедрѡтъ твоихъ 43 об.

лице твое 98 об.

мечъ твой 109 об.

оустъ моихъ 29 об.

Редакция 1552 г.
(ГИМ, Увар. 85)

щедротъ своихъ 36

лице свое 39 об.

шроужіе свое 39 об.

оустъ моихъ 34 об.

Старый перевод
(ГИМ, Епарх. 137)

щедротъ твоихъ 12

лице свое 16

шроужіе свое 16 об.

оустъ своихъ 11

Таким образом, справщики второй пол. XVII в. продолжают ту практику, которая была начата Максимом Греком и от которой он сам в значительной степени отказался.

Ограничение в употреблении местоимений *свой* в новом ц-сл. языке (запрет на его употребление с 1 и 2 л.) имеет специфически книжный характер и конституирует новый признак, противопоставляющий книжный и некнижный язык. В XVIII в. в условиях интенсивного западноевропейского влияния (и прежде всего влияния французского языка) употребление местоимений *мой* и *твой* при субъекте соответственно 1 и 2 л. (*я взял мою книгу, возьми твою книгу* и т.п.) усваивается как галлицизм. Как и в случае с употреблением род. падежа (см. 17.3.2), западноевропейское влияние смыкается здесь с греческим, т.е. усвоение западноевропейских синтаксических моделей оказывается подготовленным реформой ц-сл. языка во второй пол. XVII в.

17.3.6. Замена предлога *о* на *в*. Никоновские справщики более или менее последовательно заменяют предлог *о* (*ω*) на *в*. Например, в ковычном экземпляре Требника 1646 г., правленного для издания 1658 г., *послѣшаніе къ всей ω Хрѣстѣ братіи* заменяется на *...во Хрѣстѣ братіи*; *црѣство... наслѣдиши, ω Хѣ Іисѣ Гдѣ нашем'* заменяется на *...во Хѣ Іисѣ...; Гди помилуй... ω еже ω Бѣѣ постѣщеніи егω* заменяется на *...ω еже в' Бѣѣ...* (ЦГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. I, л. 901, 906, 461). Предлог *о* с местн. падежом первоначально означал "вокруг", однако уже в ст-сл. языке этот предлог в данном значении вытесняется предлогом *окръсть*; соответственно, предлог *о* теряет свое конкретное значение, обозначая весьма общие отношения (Вайан, 1952, с. 223). В грамматике Смотрицкого говорится о подобном употреблении предлога *о* как о специфически славянской черте, отличной от греч. употребления: "*ω*, вместо *во*, Греческаго *ἐν*, Славяны употребляемо, тому же падежу сочиняется, ꙗко, *Возвеселится праведникъ ω Гдѣ*, вмѣсто *во Гдѣ. ω имени твоём'* *воздѣну руцѣ моѣ*, вмѣсто *во имени*, и проч." (Смотрицкий, 1619, л. Ш/5; Смотрицкий, 1648, л. 332 об.). Можно предположить, что исправления никоновских справщиков и в этом случае обусловлены ориентацией на греч. грамматику. Эти исправления вызывают протест старообрядческой партии, например, Никиты Добрынина, который возражает против таких замен, как *о Бозѣ*, на *въ Бозѣ*, *о Христѣ* на *во Христѣ*, *о Господѣ* на *въ Господѣ* (Румянцев, 1916, прилож., с. 354).

17.3.7. Лексические грецизмы. В условиях ориентации на греч. язык закономерно появляются новые сложные слова - это же имело место и в первое, и во второе юж-сл. вли-

яине. Так, при издании Требника 1658 г., в основу которого положен киевский Требник 1646 г., никоновские справщики заменяют выражение *радующихся крѣви* на *кроворадующихся*, *брань любящій* на *люبوبранный*, *перстней положеніе* на *перстноположеніе* и т.п. (см. ковыч-ный экземпляр Требника 1646 г. с исправлениями справщиков - ЦГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. II, л. 165, ч. I, л. 486). Естественно, что сложные слова такого типа обычно имеют окказиональный характер, однако в некоторых случаях они характеризуют язык, а не текст. Так, в никоновской "Скрижали" 1655 г. (с. 309) появляется слово *дориносимый* - сложное слово, состоящее из греч. (δόρυ "копье") и слав. компонентов. Это слово вошло в Херувимскую песнь, исполняемую на литургии. Старообрядцы резко реагируют на это нововведение. Поп Лазарь писал: "Да в новых же книгах напечатано в Херувимской песни: *ангельскими невидимо дориносима чинми*; а в толковании: *копии носима* и *с копии провождаема*. И та речь Христу в поругание, а не во славу: Исус Христос Сын Божий от ангельских чинов приемлет невидимое дароприношение, а не копии и с копии провождение" (Субботин, IV, с. 197; ср. ответ Симеона Полоцкого, 1667, л. 144-144 об.). Так же пишет и инок Савватий: "Прежде сего печатали и пѣвали на литоргии в подемящем Хрта ^с*дароносима*, послѣдствуя ^о*сщєнническим млтвам* и дьяконьскимъ, яко молятся о предложенных и честных дарѣх; а нѣтъ напечатали и поють *дориносима*; такожде і в ырмосѣ еже 'видѣ Исаія' напечатали Гда ^с*дориносима*..; а *дори* греческим языком копія. И како удобно реши Оца или Сна с копіи носима, при Бѣѣ оружія и ничесого вѣчнаго нѣсть" (ГИМ, Увар. 497/102, л. 20; Три челобитные, 1862, с. 47-48). Само соединение греч. и славянских компонентов в сложном слове отчетливо указывает на его искусственный характер.

Наряду со сложными словами, образованными по греч. моделям, справщики второй пол. XVII в. вводят и греч. заимствования. Это особенно характерно для Епифания Славинецкого и чудовского инок Евфимия, последний, например, пишет *параскева* вместо *пятница* (Браиловский, 1890, с. 435). Тот же Евфимий в сочинении об исправлении миней (1692 г.) настаивает на употреблении грецизма *характир*, ссылаясь на Епифания Славинецкого: "Преждеписанное нѣкіими не добрѣ мѣсто *характир*, индѣ *начертаніе*, индѣ *образъ*. Предреченный же мудрый мужъ Епифаній въ преводѣхъ своихъ опасно храняше имя *характиръ* и вездѣ идѣже прежде писано бѣ мѣсто *характера образъ* или *начертаніе*, писаше *характиръ*, вѣдая яко ино есть *ікона*, сирѣчь *образъ*, и ино *характиръ*" (Никольский, 1896, с. 87). Он также настаивает на употреблении грецизма *дракон*, который он отличает по значению от славянского *змий*: "*Змій* имя нарицательное, или общее многихъ плѣжныхъ, имже именемъ зовется малый плѣжный гадъ ядовитый ужъ, и иніи подобніи тому. *Дракинъ* же имя собственное или частное, величайшаго нѣкоего плѣжнаго, могущаго ѣлки, и кони, и волю, и иная величайшая животная жива поглотати. В' минеяхъ печатныхъ, идѣже гречески *дракинъ*, писано просто *змій*" (Никольский, 1896, с. 125); в этих именно местах Евфимий предлагает исправление *змий* на *дракон*. Евфимий ссылается при этом на Максима Грека (там же, с. 126-129), который, действительно, употребляет слово *дракон* в переводе Толковой псалтири 1519-1522 гг. (см. Горский и Невоструев, II, 1, с. 99), ср. у Курбского, ученика Максима Грека, в предисловии к "Новому Маргариту" *дракон* как глосса к слову *змий* (Архангельский, 1888, прилож., с. 10); между тем в предис-

словии к Богословию Иоанна Дамаскина Курбский употребляет в тексте *драконы* и глоссирует это слово "змиеве великие" (Попов, 1872, с. 107). Следует оговориться, что слово *дракон* можно встретить и в древнейших славянских переводах с греческого (ср., например: Усп. сб., словоуказатель), однако Евфимию эти тексты были, видимо, неизвестны: он рассматривает данное слово как относительно новое заимствование из греч. языка. Замечательно, что слово *дракон* склоняется Евфимием с отражением греч. изменения основы - *дракон, драконта, драконтов*. Обосновывая свою языковую позицию, Евфимий замечает: "Аще же речеть кто, ꙗко прости ѿлковъ не знаютъ реченіа имене *дракинъ*, но знаютъ лучше реченіе имене *змій*; Глаголательнѣ к' таковым. Суть реченіа во *ѣтомъ* писаніи обрѣтающаяся въ книгахъ нашихъ славенскихъ, ꙗже не токмо простолюдини не знаютъ, но ниже сами вземъшии ключъ разума, іерее *ѣлю*, обаче никтоже гаждаетъ я, ниже писавшымъ, или пишушымъ поносятъ и укоряють, ꙗко незнанна суть написана" (Никольский, 1896, с. 130). Слову *дракон*, т.е. обоснованию правомерности и целесообразности употребления этого слова в богослужебных текстах, посвящены и специальные записки Евфимия (Горский и Невоструев, II, 1, с. 44-45) - близкие по содержанию к только что цитированному рассуждению и написанные, видимо, приблизительно в то же время. Как видим, непонятность грецизмов несколько не смущает Евфимия, ему важна лишь соотнесенность с греч. текстом и адекватная передача всех смысловых оттенков оригинала. Необходимо отметить, что вводимые Евфимием грецизмы вызвали отрицательную реакцию: когда служебные Миней с правкой Евфимия (за сентябрь, ноябрь и декабрь) были напечатаны в 1690 г., Евфимий был обвинен в том, что он "странныя реченія ... приписывалъ ... съ греческихъ переводовъ безъ указа великихъ государей ... И отъ тѣхъ же приписныхъ ево Еѣимъевыхъ нововводныхъ странныхъ реченій ... многіе люди сумнѣваютца и въ церквахъ Божіихъ чинятца мятежи" (Мансветов, 1883, с. 57, ср. с. 21-23). Цари Петр и Иоанн в 1690 г. указывают напечатать миней снова - без правки Евфимия. Защищаясь от возведенных на него обвинений, Евфимий и пишет цитированный трактат о исправлении миней (в 1692 г.), так же как и записки о слове *дракон*.

17.3.8. Сознательный характер ориентации на греческие грамматические модели.

Ориентация на греч. грамматические модели была вполне сознательной (в отличие от ориентации на ю-з-рус. языковые нормы) и воспринималась книжниками второй пол. XVII в. как необходимое условие адекватной передачи содержания греч. текста. Поэтому они постоянно ссылаются на греч. грамматику в обоснование правомерности своих исправлений. Такие ссылки мы находим, например, у Епифания Славинецкого в его "Правилах на отмены речений святаго символа", в котором языковые исправления Символа веры последовательно обосновываются ссылкой на греч. грамматику. Так, Епифаний, оправдывая исправление *Творца небу* на *Творца небесе*, говорит: "Сице написася по правилу Греческому убо и Славенскому же, глаголющу сице: Двою существительну различныхъ вещей стекающуся, другое ихъ в родительном полагаемо бывати обыче, ꙗко *Оцъ будущаго вѣка*: сице *Творца нбсе*. Инако же преведшии, изблудиша из пути обою правилу" (Гезен, 1884, с. 126-127). Таким образом, Епифаний приводит правило, согласно которому определяющее ставится в род. падеже. Характерно, что Епифаний называет это правило "греческим и славянским же", хотя это правило является, в сущности,

греч., а не славянским. Епифаний, следовательно, считает, что ц-сл. грамматика должна во всем согласовываться с греческой; таким образом, буквализм переводов обусловлен не только ориентацией на исходный греч. текст, но и ориентацией на греч. языковую модель. Симеон Полоцкий (1667, л. 151 об.), обсуждая исправление *во веки веком* на *во веки веков*, ссылается на греческий: "Тако в' греческихъ стоить писанїихъ, тако и во прочїихъ, убо и въ словенскихъ такожде быти подобаеть". Афанасий Холмогорский, отвечая старообрядцам, которые возражали против употребления в одном из переводов Епифания Славинецкого глагольной формы *пришествовати* вместо *пришедша*, говорит: "Ибо им [старообрядцам] того слова *пришествовати* разумѣти невозможно, для того что они простолюдины не токмо грамматики, но и азбуки что есть не знают. А то написано по грамматикѣ правильно, и глагол неопределенный [т.е. инфинитив], и в' греческой дамаскиновой книгѣ писано такожде" (Афанасий Холмогорский, 1682, л. 100-100 об.); таким образом, обсуждение синтаксических функций инфинитива в ц-сл. тексте оказывается в компетенции греч. грамматики. Чудовский инок Евфимий заключает свое сочинение о исправлении миней следующим принципиальным заявлением: разумные люди должны рассудить, "чесому должно есть послѣдовати греческаго ли діалекта лежащей во святых писанїих истинѣ: или руским писцом, писавшым и описывавшымся, и не исправившымъ писанныхъ ими" (Никольский, 1896, с. 134). Совершенно так же обосновывалось и изменение в написании имени Иисуса (*Иисус* вместо *Исус*), имевшее столь большое значение для рус. раскола - никониане утверждали "А имя Иисусово справили против грамматического разума" (Субботин, VII, с. 400; ср. Афанасий Холмогорский, 1682, л. 184 об.); знание греч. орфографии входит в "грамматический разум".

Вполне закономерно поэтому, что старообрядцы обвиняли патр. Никона в том, что он изменил ц-сл. язык. По словам Никиты Добрынина "Никон в ... своих новопечатных книгах словенское наречие превращал", "во всех церковнаго украшения новопечатных книгах словенское наречие искажил - хотя ту же речь напечатал, но иным наречием", "в тех никонова повеления в новопечатных книгах нет ни единого псалма, ни молитвы, ни тропаря, ни кондака, ни седална, ни светилна, ни богородична, ниже в канонах всякаго стиха, чтобы в них наречие не изменено было" (Румянцев, 1916, прилож., с. 337, 354, 357).

Реформы книжного языка в сер. XVII в. имеют вполне искусственный характер. Ориентация на греч. грамматику еще более увеличивает дистанцию между книжным и некнижным языком. Тем не менее, целый ряд нововведений этого времени усваивается в дальнейшем рус. литературным языком нового типа. Это объясняется тем, что в определенных моментах греч. грамматика не отличается от грамматики западноевропейских языков, влияние которых испытывает рус. литературный язык в XVIII в. Так обстоит дело, например, с функциями род. падежа (см. 17.3.2) и употреблением притяжательных местоимений (см. 17.3.5). Усвоение соответствующих языковых моделей рус. литературным языком объясняется как ц-сл., так и западноевропейским влиянием - одно накладывается здесь на другое. Разные источники, которые определяют характер рус. литературного языка нового типа, действуют здесь в одном направлении. Вообще третье юж-сл. влияние в значительной степени подготавливает почву для за-

падного влияния, столь актуального для становления новой рус. культуры и, в частности, нового рус. литературного языка.

Остается отметить, что формы и конструкции, соответствующие прежней ц-сл. норме, отвергнутой в процессе книжной sprawy, перестают восприниматься как книжные, правильные, и переходят в разряд просторечия. Так, например, в качестве просторечной функционирует теперь форма *Никола*, бывшая ранее канонической, поскольку она вытесняется формой *Николай* (см. 12.4). Таким же образом воспринимаются формы *Мáрия*, *Сóфия*, которые некогда были единственными каноническими формами соответствующих имен, затем со времени второго юж-сл. влияния сосуществуют в ц-сл. языке с формами *Марíя*, *Софíя*, а в процессе никоновской sprawy окончательно вытесняются в книжном языке последними формами (см. 12.4). В точности так же обстоит дело и с перенесением ударения на предлог в случаях типа *вó веки*, *вó имя* и т.п. (см. 17.2.1), а также в конструкциях с притяжательным прилагательным типа *Иванов отец* (см. 17.3.2) и т.п. Во всех этих случаях произведенные изменения приводили к возникновению новой оппозиции между рус. и ц-сл. языками. До никоновской sprawy эти формы и конструкции принадлежали ц-сл. языку, однако не противопоставляли его рус. разговорному языку; теперь же, будучи отвергнуты ц-сл. языком, они оказываются специфичными именно для разговорной речи.

17.4. Буквализм книжной sprawy второй пол. XVII в. и актуализация традиционного языкового сознания. Ориентация на греч. текст приводит к крайнему буквализму никоновской и послениконовской sprawy, когда новоисправленный текст может входить в прямой конфликт с грамматической системой ц-сл. языка. Таким образом, и здесь мы наблюдаем то стремление приблизить ц-сл. переводы к греч. оригиналу, которое характеризует каждое из юж-сл. влияний. Афанасий Холмогорский писал: "И учащiися инаго языка, ꙗко свойственнаго намъ Грече-скаго, могутъ с' того языка, и с' ихъ книгъ ꙗко на извѣстный образъ смотря знати и преводя не грѣшити, но исправити лучше" (Афанасий Холмогорский, 1682, л. 262 об.).

Подобная эллинизация языка и текста характерна для традиции, идущей от Епифания Славинецкого и нашедшей наиболее яркое выражение в деятельности его ученика Евфимия Чудовского. Видимо, к этой традиции восходит изменение одного из самых существенных для православного богослужения текстов - начала Евангелия от Иоанна, которым открывается евангелие-апракос и которое читается во время пасхальной службы. Выше мы уже говорили о буквализме перевода этого текста в синтаксическом отношении, восходящем еще к кирилло-мефодиевской эпохе (см. 3.2.4). В результате sprawy второй пол. XVII в. текст этот оказывается еще сильнее приближен к греческому, а именно, слово *слово* соотносится с местоимением муж. рода *сей*, и, следовательно, трактуется как имя существительное муж. рода, что очевидным образом противоречит грамматическому строю славянских языков. Так, в современном ц-сл. тексте Евангелия мы читаем: "Въ началѣ бѣ слово, и слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ слово. Сей бѣ искони къ Богу" (Ин. I, 1-2). Как видим, *слово* соотносится здесь с местоимением муж. рода *сей*. Это объясняется тем, что в греч. языке *λόγος* "слово" - муж. рода. Таким образом, адекватное понимание данного текста предполагает определенное знакомство с греч. грамматикой. Такой перевод, насколько нам известно, впервые появляется в Еванге-

лии, изданном в Москве в 1701 г., тогда как в предшествующих изданиях, как московских, так и югозападнорусских, слово *слово* соотносится с местоимением *се* или *сие*, т. е. трактуется как существительное ср. рода. Так же обстоит дело и во всех ст.-сл. евангелиях, в которых представлен этот текст, а именно в Зогр. ев., Мар. ев. и Ассем. ев., равно как и в Остр. ев. и в юж.-сл. Добромировом ев. - везде в них находим местоимение *се*. Единственный известный нам текст, в котором дело обстоит иначе, - Чуд. Нов. Завет, где читаем: "Искони бѣ сло^{вѣ} і сло^{вѣ} бѣ к бу. і бѣ бѣ сло^{вѣ}. съ бѣ искони к бу" (л. 41). Итак, *слово* соотносится здесь с местоимением муж. рода *съ*. Это совпадение, может быть, неслучайно, если иметь в виду, что Епифаний Славинецкий, учитель Евфимия, был знаком с Чуд. Нов. Заветом и несомненно ориентировался на него в своем собственном переводе новозаветного текста (см. об этом в предисловии к Евангелию, заново переведенному Епифанием, - ГБЛ, ф. 310, № 1291, л. 6 об.-7; ср. еще л. 9 об., 12 об.-13); следует отметить, однако, что в самом переводе Епифания местоимение стоит в ср. роде (*сие*) (там же, л. 212-212 об.). Указанное местоимение скорее всего принадлежит, следовательно, Евфимию, который был справщиком Московского печатного двора.

Переводчик Чуд. Нов. Завета, таким образом, предвосхищает деятельность справщиков второй пол. XVII в. Это вполне понятно, поскольку в обоих случаях имеет место ярко выраженная ориентация на греч. текст и стремление максимально приблизить ц.-сл. перевод к исходному оригиналу. Вообще, здесь возможна прямая аналогия с теми процессами, которые мы наблюдали в период второго юж.-сл. влияния. Если в ту эпоху вводятся написания, соответствующие греч. орфографической норме (типа *аггелъ*), то они предполагают и знание греч. правил чтения (см. 11.1; 12.4). Точно так же правильное понимание цитированного ц.-сл. текста - определение того, к чему относится местоимение *сей* - предполагает знание того, что в греч. языке "слово" (*λόγος*) муж. рода. В обоих случаях предполагается, что греч. язык является мерой правильности ц.-сл. языка и что знание его необходимо для понимания ц.-сл. текстов.

Исправленный по греч. образцу текст естественно сопоставлялся с прежним текстом, и это могло стимулировать грамматическую рефлексию. В самом деле, для сторонников традиционной книжности важно было показать, что внесенное изменение искажает смысл текста. Это заставляло задуматься над значением тех или иных синтаксических конструкций, т. е. приводило к актуализации языкового сознания, к осознанию грамматических особенностей традиционного ц.-сл. языка. Эта проблема становилась особенно значимой, когда дело касалось сакральных текстов и изменение в значении связывалось с богословской интерпретацией. Споры вокруг никоновской и послениконовской sprawy имели конфессиональный характер, но в основе этих споров нередко лежало различное понимание ц.-сл. грамматики.

Примером может служить исключение союза *а* из Символа веры: в старой редакции *рожденна, а не сотворенна*, в новой - *рожденна, не сотворенна*. Это изменение вызвало резкие возражения старообрядческой партии. Дьякон Федор, например, заявлял: "Нам... всем православным христианам подобает умирати за един аз, егоже окажный враг [патр. Никон] выбросил из символа" (Субботин, VI, с. 188-189, ср. с. 11-12). Не меньшее значение прида-

Отсюда инок Авраамий в своей челобитной (около 1670 г.) видит в новой редакции Символа веры уклонение в арианство: "Они же [никониане] согласишася со Арием; идеже бо речено бысть на посрамление Ариево: *рожденна, а не сотворенна*, тамо лукавии, Ария друга своего оправдати хотяще, многосилную литерату аз отъемше, *рожденна, не сотворенна* с жидами глаголют, еже бо реши: не сотвори Бог сего, еже рождenu быти Христу, в него же христиане веруют" (Субботин, VII, с. 272-273); итак, разбираемую фразу без союза Авраамий интерпретирует как производную от конструкции *не сотворить рожденного*, т.е. видит здесь управление, а не сочинение.

Boris A. Uspenskij - 9783954790128
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:18:33AM
via free access

против неуместного введения союза там, где речь идет об одном лице и где, с его точки зрения, должно быть именно бессоюзное сочетание: "Зри гдѣр самодержецъ и по сему разума справщиковъ, яко два состава слитно печатають, а единъ составъ разцѣпляють, якоже... печатають *с̄не*, и *слове божіе*. Между *с̄номъ* и словом запятую и союзное слово полагають, и тѣмъ во единомъ составѣ два лица учинили. А прежде гдѣр сего ... вездѣ печатали *с̄не слово божіе*, запятые и союзаго слова в немъ не полагали, понеж[е] единъ составъ, и едино лицо, то и *с̄нъ* что слово. И правда ли гдѣр то яко единъ состав разцѣпляють, а два слитно печатають" (там же, л. 4 об.-5/с. 20). Совершенно то же писал в эти годы и поп Лазарь: "В новых же книгах во всех напечатано хулно зело: *Благословим Отца, Сына и Святаго Духа* и инде *Поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога*, и иная подобная сему; тако уже и поют богохулно, Отца Сына сливающе во едино лице (и сие есть Савелиевы гнилости вред), а Святаго Духа раболепно отставляюще, глаголют: *Благословим Отца, Сына и Святаго Духа*. Потом и отъемлюще литеру измежду Отца и Сына, и ко Ісусу прилагают с лестию [имеется в виду новая форма *Ісус* в никоновских текстах], да человечество Сына Божия разделят во ин состав от Божества" (Субботин, IV, с. 213–214). В "Жезле правления" Симеона Полоцкого это возражение Лазаря излагается таким образом: "В стіхѣ: *Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа*, отъемлюще союз и от Сына, глаголюще же: *Благословим Отца, Сына и Святаго Духа*, сливается Отец и Сын во едино лице по Савелиивѣ ереси" (Симеон Полоцкий, 1667, л. 98 об.-99). Между тем, в другом месте Лазарь говорит: "Да в новых же книгах напечатано: *Единородный Сыне и Слове Божий*. Сия речь двоелична... А в прежних книгах, печатных и писменных, написано: *Единородный Сын Слово Божие*. Сия речь единолична" (Субботин, IV, с. 189–190; ср. Симеон Полоцкий, 1667, л. 122); появление здесь союза *и*, считает Лазарь, приводит к еретическому разъединению Сына Божия и Бога Слова. Ср., наконец, аналогичную мысль и у дьякона Федора, по словам которого никоновские справщики "напечатали везде: Отца Сына, Отца Сына, Отца Сына: *благословим Отца Сына и Святаго Духа Господа; поем Отца Сына и Святаго Духа Бога*. Два лица сливают, отчее с сыновним, - по Савелию..." (Субботин, VI, с. 31). Ср. еще обличение соловецких монахов, направленное против требника Петра Могилы 1646 г. (он, как мы уже знаем, лег в основу московского издания Требника 1658 г.): "Много в немъ перед прежними киевскими печатями явилосѣ недобрыхъ статей, паче же святѣя и пресущественнѣя Троицы имя небрежениемъ слито и смято... и во имени пресвятѣя и пресущественнѣя Троицы союзъ отнять; а во имени Господа нашего Ісѣа Христа приложен" (Белокуров, II, с. 123).

Как видим, старообрядцы усматривают в сочетаниях с устранным союзом, таких как *Отец Сын*, *Отец Слово*, сочетания с аппозитивной связью, т.е. они воспринимают подобное сочетание в сущности как сложное слово - как единый комплекс, образующий единое значение (обозначающий одно лицо). Само собой разумеется, что бессоюзные сочетания были обычны в разговорной речи, но грамматика разговорной речи никак не могла служить ориентиром для книжных текстов; соответствующие конструкции в разговорной речи, если они вообще осознавались, должны были восприниматься как эллиптические.

ГЛАВА II. ТРЕТЬЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ

18. РАЗРУШЕНИЕ ДИГЛОССИИ И ПЕРЕХОД К ДВУЯЗЫЧИЮ

18.1. Начало перестройки отношений между рус. и ц-сл. языком в первой пол. XVII в. Как мы знаем, второе юж-сл. влияние создает предпосылки для разрушения церковно-славянско-рус. диглоссии и перехода к церковнославянско-рус. двуязычию. Этот переход и осуществляется в Ю.-З. Руси, тогда как в Моск. Руси сохраняется диглоссия. В процессе третьего юж-сл. влияния имеет место наслоение (перенесение) ю-з-рус. языковой ситуации (два книжных языка: "словенский" и "простой" или "русский") на великорусскую (один книжный язык: "словенский", он же и "русский"). Результатом этого является разрушение диглоссии на великорус. территории. В течение второй пол. XVII в. церковнославянско-рус. диглоссия преобразуется здесь в церковнославянско-рус. двуязычие.

Таким образом, процесс разрушения диглоссии на великорус. территории непосредственно связан с третьим юж-сл. влиянием. Однако зачатки этого процесса наблюдаются и раньше, по крайней мере, с нач. XVII в., и это может быть поставлено в связь с аналогичными культурными явлениями, т.е. с ранними проявлениями ю-з-рус. культурной экспансии (ср. 16.3). Все это складывается в единый культурный процесс, истоки которого можно искать в Смутном времени: события Смутного времени обусловили невольный выход Моск. Руси из изоляции и столкновение великорус. культуры с польской и ю-з-рус. культурой. Во всяком случае, для первой пол. XVII в. у нас есть ряд указаний на перестройку отношений между ц-сл. и рус. языком, свидетельствующих о начале разрушения диглоссии и зачатках третьего юж-сл. влияния.

Так, мы знаем, что при диглоссии предполагается невозможным перевод с книжного языка на некнижный или наоборот (см. 2.2.1). Таким образом, невозможно одновременное функционирование соотносящихся друг с другом текстов с одним содержанием на рус. и ц-сл. языке. Такое положение вещей мы и наблюдаем до XVII в., однако с нач. XVII в. можно встретить единичные примеры подобного функционирования, предвосхищающие переход к церковнославянско-рус. двуязычию во второй пол. этого столетия.

Один из таких примеров дает грамота патриарха Филарета архиепископу Сибирскому и Тобольскому Киприану от 11 февраля 1622 г. о неблагочиниях в Сибири; грамота эта написана на ц-сл. языке, однако начало и конец ее изложены по-русски - чередование языков соответствует при этом принципу диглоссии (ср. 5.2). В конце грамоты говорится: "А сее бы нашу грамоту велел чести вслух в соборной церкви, и для того велел в церковь быть боярину и воеводам и дьяку и детям боярским и всяким служилым и жилецким людям. И которые будет речи будут им неразумны, и ты б им то рассуждал и росказывал на простую молву, чтоб ся наша грамота во всех сибирских городех была ведома..." (Миллер, II, с. 282). Итак, предполагается перевод ц-сл. текста на "простую молву", что существенно нарушает принцип диглоссии; при этом выражение "простая молва", возможно, непосредственно коррелирует с

"простой мовой", поскольку рус. *молва* нормально означало не речь как таковую, но "tishul-tus, fama" (ср. Срезневский, II, стлб. 200).

Другим примером может служить Уложение 1649 г. Будучи юридическим памятником, эта книга написана преимущественно на рус. приказном языке (это, между прочим, специально отмечает Лудольф в своей грамматике 1696 г. - Лудольф, 1696, л. А/1 об.). Однако в ней встречаются и ц-сл. тексты, что мотивировано сакральным содержанием этих текстов. Так, в статье о крестном целовании (гл. XIV, ст. 10) составители Уложения переходят на ц-сл. язык, когда излагается эпизод из Св. Писания - распределение ц-сл. и рус. языка подчиняется при этом механизмам диглоссии (ср. 5.2). Принцип применения ц-сл. и рус. языка в Уложении состоит в том, что на ц-сл. языке говорится о сакральном, на рус. языке - о мирском. В соответствии с этим принципом составители Уложения переводят на рус. язык те статьи мирского содержания, которые они заимствуют из ц-сл. Кормчей (речь идет о законодательстве византийских императоров, вошедшем в Кормчую и переведенном на ц-сл. язык, - ср. 5.3). В результате появляются параллельные тексты на ц-сл. и рус. языке. Таким образом, в обоих приведенных примерах распределение ц-сл. и рус. языка отражает принцип диглоссии, однако факт перевода с ц-сл. на рус. язык, обуславливающего появление параллельных текстов, представляет собой признак двуязычия (см. Живов, 1987). Приведем несколько примеров по московским печатным изданиям Кормчей 1653 г. и Уложения 1649 г.

Кормчая, гл. 49, грань 39, ст. 53

Иже во станохъ и въ полкахъ на вой-
нѣхъ крадушіи, или убо оружія
украдетъ, сурово повелѣваемъ бити его.
Аще же подъяремника, рекше коня, или
м'ща, или осля, таковымъ руцѣ усѣченѣ
бываютъ (л. 489 об.)

Кормчая, гл. 49, грань 38, ст. 17

Ни печи ни поварницы чрезъ едину об-
щую стѣну, не можетъ никто же тво-
рити... (л. 477 об.)

Кормчая, гл. 50, грань 16, ст. 29

Аще ли кто тростіе своя нивы, или
терніе хотя пожечи, повержет огонь на
ня, огонь же болма паче пройдет, и
пожеть и чюжія нивы, или чюжь
виноградъ, подобаетъ испытати послухи,
аще по неискушенію, или лѣностію
в'вергшаго огонь бысть се, безтщетно
вреженому да творит (л. 518 об.).

Кормчая, гл. 50, грань 16, ст. 29

Аще от приключенія заж'жется домъ
нѣкогого..., и изкочит огонь и пож'жет
нѣкія от подлежащих хранинъ, бес

Уложение, гл. VII, ст. 28-29

А будетъ кто будучи на службѣ в'
полкѣхъ у кого украдетъ ружье, и того
бити кнутомъ нещадно. А что укралъ и
то на немъ доправить, и отдать тому у
кого он укралъ. А будетъ кто на
службѣ у кого украдетъ лошадь, и ему
за тое татьбу руку отсѣчь (л. 83 об.)

Уложение, гл. X, ст. 278

Так'же и печи и поварни на дворѣ к'
стѣнѣ сосѣда своего никому дѣлати...
(л. 168)

Уложение, гл. X, ст. 224

А будетъ кто учнетъ на нивахъ своихъ
жечь солому, или на лугахъ траву, и
в' то время огонь раз'горится, и
пожеть чюжіе нивы, или огороды..., и
про то сыскати, да будетъ по сыску
объявится что онъ... пустилъ огонь по
вѣтру, и чюжіе нивы, или огорода не
отнялъ своею лѣностію..., и на немъ
исцамъ убытки ихъ велѣтъ доправить
по сыску (л. 154).

Уложение, гл. X, ст. 225

А будетъ у кого загорится
дворъ не нарошнымъ дѣломъ, и
от того и иныхъ людей дворы

печали да будет, яко невольну
 заж'женію таковому бывшу (л. 519).

погорять... никому ничего не правити,
 потому, что дому его запаленіе
 учинилося не по его умышленію
 (л. 154-154 об.).

Примеры параллельных текстов, когда ц-сл. текст объясняется русским, находим позднее у протопопа Аввакума. Хотя Аввакум писал во второй пол. XVII в., т.е. в период становящегося двуязычия, можно было бы ожидать, что он как представитель консервативной старообрядческой партии, чужд тенденциям, связанным с третьим юж-сл. влиянием (с деятельностью патр. Никона), и что его сочинения отражают языковую ситуацию дониконовского времени. Для Аввакума вообще характерны разительные переходы от ц-сл. языка к русскому и наоборот, что, вообще говоря, не противоречит принципу диглоссии; в частности, ц-сл. язык в цитатах может соотноситься у Аввакума с рус. языком в толкованиях (ср. 5.2).

Характерно, что Аввакум в цитатах из Библии сохраняет ц-сл. формы, но в толкованиях может давать те же слова с рус. ударением. Так, в цитатах мы встречаем у него ц-сл. форму им. множ. *скѣти* (Пустозерск. сб., л. 151), *скѣты* (л. 155 об.), но в толковании - рус. форму *скоты́* (л. 140 об.). Аналогично в вин. мн.: *скѣти* (л. 147) в цитате, *скоты́* (л. 144) в толковании. Ср. еще противопоставление ц-сл. формы им. мн. *блудницы́* в цитате (л. 150) и *блудни́ки* в написанном по-русски Житии Аввакума (л. 34 об.).

Рус. язык выступает в этих случаях как средство интерпретации (толкования) ц-сл. текста; в других случаях Аввакум прямо пересказывает ц-сл. текст на рус. языке, что явно противоречит диглоссийному запрету переводов с высокого языка на низкий. Ср. пересказ книги Бытия (рассказ о грехопадении) у Аввакума: "И паки рече Господь: что се сотворилъ еси? Онъ же [Адам] отвѣща: жена, еже ми сотворилъ еси. Просто молыть: на што-де мнѣ дуру такую здѣлалъ. Самъ неправъ, да на Бога же пѣняеть" (РИБ, XXXIX, стбл. 671). Не менее характерно частое глоссирование ц-сл. текста рус. словами, например, "бысть же я...пріаль-чень, - сирѣчь есть захотѣль" (стбл. 16), "и возвратися в домъ свой тощъ, не пригналъ скота ничево" (стбл. 331), "на высокихъ жралъ, сирѣчь на горахъ болванамъ кланялся" (стбл. 467), "сотвори челоуѣка, сирѣчь яко скуделникъ скуделу, еже есть горшешникъ горъшокъ" (стбл. 668).

При диглоссии невозможно и функционирование пародийных текстов на высоком языке (см. 2.2.1). И этот принцип, кажется, может в отдельных случаях нарушаться уже в первой пол. XVII в. Элементы пародирования на ц-сл. языке наблюдаем в письмовнике из рукописного сборника первой трети XVII в. (ГПБ, Соф. № 1546). Здесь помещено пародийное послание заключенному в тюрьму, где ц-сл. выражения перемежаются с просторечными, причем в конце послания фигурирует даже искаженная цитата из Евангелия, которая дает основание видеть здесь шуточное обыгрывание сакрального текста:

"Господину онсице челом бью. Дивлюсь убо твоему многосудителному уму. По нему же неславная и непослышная достойнодичество учинил еси, его же несмысленіи младенцы стыдятся действовать. И в чяс, в он же помыслил еси в путное шествіе, и в то время приступила к тебе дурость

и ударила тебе в бок, -
и то тебе вечной зарок.
И потом пришел к тебе бес,
и завел тебя в лес,
и там положил на тебя свою узду,
и въехал на тебе в тюрьму.

Поистинне от неких некая притча реченна бысть:

не давай бешеному чернцу молока,
да не залетит за оболока.
И тебе убо вместо млека дали меду.
И ты убо презрел мед и восхотел еси в тюрьме леду.
И ныне спасения ради своего тамо пребываеши,
и не веси, камо помышляеши.

Аще и мысль твоя высокопарителнейша, но твердейша ея четвероугольные стены преподобное твое тело огражают. Тамо жителство имей и неисходително пребывай, дондеже воздаси последним. Кондрат." (Демин, 1965, с. 77-78, ср. также с. 75). Концовка данного текста представляет перефразировку евангельского стиха: "Аминь глаголю тебѣ, не изыдеши оттуду, дондеже воздаси послѣдній кодрантъ" (Мф. V, 26), причем обыгрывается созвучие слова *кодрант* и имени *Кондрат*; одновременно здесь обыгрывается, возможно, этимология имени *Кодрат* - *Кондрат*, т.е. "четырёхугольный".

В другом послании из того же сборника сын, приводя библейские параллели, уговаривает отца не идти в монахи, а в сущности предлагает ему пображничать: "...и ты, имярек, облещься во одежду праведнаго царя Ахава Израилтескаго, и положи на главу венец Елесфана, царя ефиопскаго, и всяд на столе царя Манасея, и напийся вина Иосифа Прекраснаго, и возприими гусли царя Давыда, и воспой песни в пустыни, яко Моисейски, и возрадуется душа твоя, отче" (Демин, 1965, с. 75-76).

Тогда же, по-видимому, появляются и такие тексты, как "Сказание о крестьянском сыне", "Слово о бражнике", "Сказание о куре и лисице", где так или иначе обыгрываются сакральные сюжеты, хотя вопрос о том, были ли эти тексты в их ранней редакции написаны на ц-сл. языке, остается открытым. Тексты с пародийным обыгрыванием сакрального содержания без специального обыгрывания ц-сл. языка представляют собой явление смежного порядка к интересующим нас случаям и косвенным образом также могут свидетельствовать о начинающемся разрушении диглоссии.

Так, Н. С. Демкова обнаружила фрагмент "Сказания о крестьянском сыне" в составе прописей попа Тихона, сопровождающих скорописную учебную азбуку. Рукопись помечена 23.XI.1620 г., хотя на основании филиграней она должна быть отнесена к концу 20-х - нач. 30-х гг. XVII в.; не исключено, что писцовая запись (с датой) копирует запись составителя прописей или писца-предшественника (Адрианова-Перетц, 1977, с. 231, 237-238). Характерно, однако, что в состав прописей был включен лишь начальный фрагмент повести, в котором отсутствует пародийное обыгрывание религиозных текстов. Таким образом, данная повесть была, видимо, известна на Руси уже в нач. XVII в., но, может быть, записываться могла только непародийная ее часть.

Точно так же в "Послании Ивана Бегичева о видимом образе Божиим", написанном в 40-х гг. XVII в. и, может быть, не позже 1643 г., содержится ссылка на "Сказание о куле и лисице" (там же, с. 210). Эта повесть упоминается здесь как нечто уже хорошо известное: наряду с Бовой, она причисляется к "баснословным повестям и смехотворным письмам" и в качестве таковой противопоставляется божественным книгам. Как и в предыдущем случае, мы можем лишь констатировать, что эта повесть бытовала на Руси еще в первую пол. XVII в., но нет оснований думать, что она относилась к кругу литературных произведений.

Наконец, Е. И. Дергачева-Скоп обнаружила фрагмент "Слова о бражнике" в рукописи первой четверти XVII в. (там же, с. 251); до опубликования этого фрагмента нет возможности судить о его характере.

18.2. Изменения в функционировании ц-сл. языка. Приведенные выше факты, свидетельствующие о начинающемся разрушении диглоссии, уникальны. В рамках языковой ситуации Моск. Руси первой пол. XVII в. они должны рассматриваться как исключения и только при ретроспективном взгляде они предстают как предвестники новой системы языковых отношений. Между тем, со второй пол. XVII в. (с реформ патр. Никона), когда третье юж-сл. влияние принимает несомненные и отчетливо выраженные формы, осуществляется переход от церковнославянско-рус. диглоссии к церковнославянско-рус. двуязычию. В результате третьего юж-сл. влияния языковая ситуация Ю.-З. Руси переносится на великорус. почву, и этот перенос коренным образом меняет все аспекты функционирования литературного языка: изменяется функционирование ц-сл. языка, появляются новые варианты литературного языка, основанные на разговорной речи, изменяется характер взаимодействия книжного и некнижного языка.

Рассмотрим подробнее, что происходит при таком перенесении. Начнем с ц-сл. языка.

Соотнесение ц-сл. языка Ю.-З. Руси и ц-сл. языка Моск. Руси обуславливает непосредственное влияние первого на второй, что и проявляется в процессе никоновской и послениконовской книжной sprawy: формальные особенности ю-з-рус. извода ц-сл. языка переносятся в великорус. извод, в результате чего происходит образование единого общерус. извода ц-сл. языка (см. 17). В функциональном аспекте новый общерус. ц-сл. язык в результате этого влияния усваивает те функции, которые были свойственны ц-сл. языку Ю.-З. Руси. Таким образом, наряду с усвоением формальных признаков ц-сл. языка Ю.-З. Руси имеет место усвоение его функций. При этом ц-сл. язык в великорус. условиях, где он был широко распространен и по традиции воспринимался как основной язык культуры, продолжает активно функционировать, в то время как в Ю.-З. Руси он был в значительной степени вытеснен "простой мовой".

Это расширение функций ц-сл. языка проявляется в ряде аспектов.

Прежде всего, на ц-сл. языке начинают разговаривать, подобно тому как это было принято в Ю.-З. Руси. В Ю.-З. Руси, как мы знаем, на ц-сл. языке специально учили разговаривать в братских школах (см. 15.4). То же самое возникает теперь и в великорус. условиях: в великорус. духовных школах, созданных по образцу югозападнорусских (см. 16.4), также учат разговаривать по-церковнославянски. Так, Тредиаковский в предисловии к "Езде в остров Любви" свидетельствует, что в свое время он разговаривал на этом языке: "Прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми" (Тредиаковский, III, с. 649-650). По всей видимости, речь идет о периоде его обучения в Славяно-Греко-Латинской Академии, т.е. о 1723-1725 гг. Это свидетельство Тредиаковского находит документальное подтверждение в

учебных тетрадях студентов Славяно-Греко-Латинской Академии за те же годы. В этих тетрадях мы встречаем характерные упражнения по переводу с рус. на ц-сл. язык: соответствующие тексты расположены в параллельных колонках с надписью "прѣстѣ" и "славенски" (см. тетрадь домашних упражнений студента Михаила Иванова за 1726-1728 гг. - ГПБ, Вяз. Q.16, л. 72-75; ср. 19.2). Это один из первых примеров параллельных церковнославянско-рус. текстов в великорус. условиях - подобное явление невозможно в ситуации диглоссии, но естественно в ситуации двуязычия: параллельные тексты свидетельствуют о параллелизме функций. Параллельные тексты на ц-сл. и на "простом" (рус.) языке можно найти - в те же годы и в том же социуме! - и в грамматике Федора Максимова (1723, с. 98-100, 109, 113-114), которая предназначена именно для учеников духовных школ (эта грамматика была создана в новгородской епархиальной "грекославенской" школе). Показательно, что в анонимной грамматике ц-сл. языка 1720-х годов (ЦГАДА, ф. 201, № 6) - автором этой грамматики является, по всей видимости, Федор Поликарпов - подчеркивается, что грамматика учит не только правильно писать и читать, но и правильно говорить, т.е. говорить по-церковнославянски (л. 15 об.-16, 18-18 об.).

Соответственно ц-сл. язык предстает как язык ученого сословия, т.е. приобретает функции, свойственные латыни на Западе и становится вообще функциональным эквивалентом латыни. Характерно, что в упомянутой тетради Михаила Иванова, наряду с переводами с рус. на ц-сл. язык, можно найти переводы как с ц-сл. языка на латынь, так и наоборот. Указание на то, что ц-сл. язык, подобно латыни, является языком науки, содержится у Лудольфа в его грамматике 1696 г.: "Точно так же как никто из русских не может писать или рассуждать о научных материях (*erudite*), не пользуясь славянским языком, так и наоборот, - в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка." Поскольку ц-сл. язык предстает как язык учености, злоупотребление этим языком может восприниматься именно как претензия на ученость и соответственно вызывать отрицательную реакцию: по свидетельству Лудольфа, "чем более ученым кто-либо хочет казаться, тем больше примешивает он славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи" (Лудольф, 1696, л. А/1-2). То же говорит и И. В. Паус в своей "Славяно-русской грамматике" 1705-1729 гг. (БАН, собр. иностр. рукописей Q 192): "Потребность в славянском языке можно видеть в том, что как только в обыденной речи заходит разговор о высоких или духовных предметах, тотчас начинают употреблять славянский язык" (л. 3); по словам Пауса, "славянский язык используется больше в церкви, а русский распространен в обыденной жизни, но в государственных и научных вопросах пользуются все же славянским. Между тем русский язык - достояние простого народа" (л. 5, ср. также л. 9) (Михальчи, 1969, с. 34-35, 40, 51). В этом же смысле, наконец, следует понимать и извинения Тредиаковского в предисловии к "Езде в остров Любви" перед теми, при которых он в свое время, разговаривая по-церковнославянски, "особым речеточцем хотел себя показывать" (Тредиаковский, III, с. 650).

В соответствии со сказанным ученые диспуты во второй пол. XVII в. ведутся по-церковнославянски: иллюстрацией может служить запротоколированная беседа Симеона Полоц-

кого, Епифания Славинецкого и Паисия Лигарида с Николаем Спафарием, имевшая место в Москве в 1671 г. (Голубев, 1971; ср.: Успенский, 1983, с. 88). Различие в языковой ситуации наглядно видно, если сопоставить этот диспут с прениями московских книжников игумена Ильи и Ивана Наседки с Лаврентием Зизанием в 1627 г., т.е. еще в условиях диглоссии (см. Прения Лаврентия Зизания...; Заседание в Книжной палате...), которые - несмотря на свою богословскую тематику - велись на некнижном языке.

Вот как выглядит начало этой беседы: "Прежде трапезы абие внегда прииде Николай в дом беседе и сед во одежде теплой согрелся зело, того ради совлекая ю с себе рече: 'Движение творит теплоту'. Симеон: 'Не во всех' - рече. Николай рече: 'Се древо и железо движением не точию согревается, но и огонь изводит'. Симеон рече: 'Не самым движением, но сопритрением единого ко другому. Сия же суть от четырех стихий. Того ради имут огонь в себе'. Николай рече: 'Вскую железо холодно, аще имать огонь в себе?'. Симеон рече отвеща: 'Яко в нем стихия холодная преобладает'. И приложи Симеон вопросити Николая: 'Рцы ми, како огонь в железе содержится?'. Отвеща Николай: 'Самым делом'. Рече Симеон: 'Аще самым делом огонь в железе содержится, то нож сей, лежащий на убрусе, сожжет и'. На се неведе Николай, что ответовати. Исправи же его Епифаний, глаголя: 'Не делом огонь есть в железе, ни, но множеством или силою, яко может притрением или ударением из него известися огонь'. И престаша о сем беседовати" (Голубев, 1971, с. 298-299).

Равным образом со второй пол. XVII в. значительно расширяется круг научной литературы на ц-сл. языке; в целом ряде случаев соответствующие тексты переводятся на ц-сл. язык непосредственно с латыни (Кутина, 1978, с. 249). Вместе с тем, в условиях церковнославянско-рус. двуязычия - при характерном для двуязычия дублировании функций - ц-сл. язык в качестве языка науки может выступать параллельно с русским. Так, в дошедшем до нас деле о сумасшедшем самозванце 1690 г. фигурируют медицинские заключения трех врачей, представляющие собой сделанные тогда же переводы с латыни и с греческого. Одно из этих заключений переведено на довольно чистый ц-сл. язык (Зенбицкий, 1907, с. 156). Таким образом, ц-сл. язык выступает в этом случае как возможный, но не обязательный язык учености.

В конце XVII в. Карион Истомина пишет в предисловии к своему рукописному букварю, что последний предназначен для того, чтобы "учитися читати божественныя книги и гражданских обычаев и дел правных" (Браиловский, 1902, с. 293). Таким образом, букварь ц-сл. языка предназначается не только для обучения чтению церковной литературы, но и для овладения литературой светской - это явно связано с секуляризацией литературного языка. Особенно любопытно упоминание "дел правных", которое говорит о том, что применение ц-сл. языка распространяется и на юридическую литературу, т.е. имеет место славянизация таких текстов, которые ранее - в условиях диглоссии - писались по-русски. В самом деле, со второй пол. XVII в. появляются ц-сл. юридические тексты; сюда относятся, например, "Приказ, объявленный... собранному на смотре войску на Девичьем поле" от 28.VI.1653 г. (ПСЗ, I, № 99, с. 291 - целиком по-церковнославянски), Уставная грамота от 30.IV. 1654 г. (ПСЗ, I, № 122, с. 320-322 - частично по-церковнославянски) и т.д. (Живов, 1987).

Расширение функционирования ц-сл. языка наблюдается и в других сферах - в частности, на ц-сл. языке начинают писаться письма, что для предшествующего периода нехарактерно. В конце XVII - нач. XVIII в. письма по-церковнославянски могут писать как духовные

лица (такие, как новгородский митрополит Иов или иеродиакон Дамаскин), так и светские (например, Ф. Поликарпов или А. А. Курбатов).

Вот, например, каким языком пишет письмо Ф. Поликарпов И. А. Мусину-Пушкину: "Вчера смущену бывшу духу моему о внезапной кончине сослужителя моего справщика Николая забвения положися", "Читать почасом ныне книгу Эсфирь" (Черты книжного просвещения..., стлб. 1056). Прибыльщик А. А. Курбатов может писать Петру I как на ц-сл. языке (Соловьев, VIII, с. 73, 277), так и по-русски (там же, с. 77, 89, 324-328, 500-501, 510-512). Характерным образом, применение ц-сл. языка может сочетаться при этом у Курбатова с имитацией языковых конструкций богослужебной литературы: так, его поздравление Петру со взятием Нарвы в 1704 г. и со взятием Полтавы в 1709 г. построено по модели акафиста (Соловьев, VIII, с. 73, 277).

На ц-сл. языке могут делаться в это время и разнообразные записи бытового содержания - дневниковые записи, пометы на книгах и т.п.; применение языка определяется при этом не отношением к предмету речи (как это имело бы место ранее), но исключительно уровнем образования пишущего - владение ц-сл. языком демонстрирует ученость, принадлежность к элитарной культуре. Так, например, до нас дошли дневниковые записи Ф. Поликарпова, сделанные на выпускавшихся подведомственной ему типографией календарях; записи эти выполнены на ц-сл. языке, ср. "получих писмо чрез почту... отдах превод часов"; "совершишася пятые книги мовсеов. правленіе. начасом чести Исуса Навина. нача чести А:К [имеется в виду А. К. Барсов]" (ЦГАДА, ф. 1251, № 271/з - Календарь на 1721 г., записи под 9-11 и 23-24 октября). Чудовский инок Евфимий на переводе толкования литургии записывает, что за этот перевод он заплатил свои деньги: "За преведеніе мзду даяхъ азъ отъ себе" (Соболевский, 1903, с. 340), - ранее подобные записи были бы сделаны на рус. языке.

Эта активизация употребления ц-сл. языка в значительной степени связана с активным характером обучения ему, которое теперь получает принципиальное значение. Ц-сл. язык как язык науки и как язык ученого сословия требует свободного владения им, при котором он мог применяться в любой ситуации и вне зависимости от предмета речи. Таким образом, ориентация на активное употребление (ср. 14.2) получает в это время дальнейшее развитие. Теперь овладение книжным языком в принципе предполагает обучение ему с помощью грамматики, т.е. обучение ц-сл. языку в известной мере уподобляется обучению латыни в католических духовных школах. Митр. Паисий Лигарид, требуя от царя Алексея Михайловича открытия училищ, специально настаивал на таком именно обучении ц-сл. языку: "Иллирическа, или славенска языка весьма учиться подобает Россом, но со правилом грамматическим, а не простообычно" (Субботин, IX, с. 240). Изменение характера владения ц-сл. языком отмечает и Афанасий Холмогорский, утверждая (с некоторым полемическим преувеличением), что "в" прежняя времена рѣдко такіа люди въ Россійской державѣ обрѣталися, который точію по книзѣ глаголати мало можетъ, а не писати книги, ради неученія грамматицескихъ наукъ" (Афанасий Холмогорский, 1682, л. 260 об.-261).

Характерна в этом смысле позиция Симеона Полоцкого. Будучи в Ю.-З. Руси, он писал на "простой мове"; между тем, попав в Москву, он рассматривает ц-сл. язык как единственный литературный язык Московского государства и старается писать именно на этом языке. Видя в ц-сл. языке прежде всего средство коммуникации, он стремится к активному владению этим языком и для этого специально ему обучается с помощью грамматики, ср. красноречивое признание к предисловию к "Рифмологиону" (1679 г.):

Писах в началѣ по языку тому,
 иже свойственный бѣ моему дому.
 Таже увидѣвъ многу ползу быти
 славенскому ся чистому учти,
 Взях грамматику, прилѣжах читати,
 бог же удобно даде ми ю знати;
 К тому странная сущи ей подобна,
 в знания ползу бѣше ми удобна.
 Тако славенским рѣчем приложихся,
 елико дал бог знати научихся;
 (Симеон Полоцкий, 1953, с. 218).

Надо полагать, что Симеон Полоцкий как православный священник, учившийся к тому же в Киево-Могилянской коллегии, в какой-то мере владел ц-сл. языком и раньше: когда он говорит о изучении ц-сл. языка, он имеет в виду именно активное овладение этим языком (ср. 15.5). Характерно, что в цитированном пассаже Симеон упоминает о сходстве ц-сл. грамматики с иностранной ("странный") грамматикой - несомненно, речь идет о латинской грамматике; это дает ему возможность воспользоваться своим знанием латыни при овладении ц-сл. языком (в предисловии к другому своему сочинению - "Вертограду многоцветному" 1678 г. - он подчеркивает, что обогатил ц-сл. язык "странными идиоматами", имея в виду латинизмы, см.: Симеон Полоцкий, 1953, с. 206). Итак, Симеон Полоцкий изучает ц-сл. язык как иностранный (отчасти пользуясь, по-видимому, даже иноязычной грамматикой): собственно, он учит ц-сл. язык так, как учат латынь, - соответственно, ц-сл. язык и выступает у него как своеобразный эквивалент латыни (как это, вообще говоря, и естественно для представителя ю-з-рус. образованности).

Иван Посошков в своем "Проекте о школах" (1705-1707 гг.) настаивает на необходимости "состроити граматика на славенском языкѣ з добрым исправлением... и о всяком разумѣ грамматическом, буде возможно, положить бы толкованіе явственное, чтоб мочно было и без учителя хотя отчасти дознаватися. А к тому не худо б и писмен азбучных пополнить, понеже азбука есть не евангелское слово, ни от Бога она составлена, но от учителей и елико им вмѣнилось, только тогда и положилось" (Срезневский, 1900, с. 21). В последней части приведенной цитаты содержится явная полемика с трактатом черноризца Храбра (хорошо известным рус. читателю, поскольку он воспроизводился в букварях XVII в. - ср. 13.3); вообще Посошков склонен относится к ц-сл. языку как к обычному средству коммуникации, усвоение и активное владение которым предполагает рационально составленное грамматическое описание.

"Проект о школах" был написан Посошковым для представления митрополиту Стефану Яворскому (см. Срезневский, 1900). Вместе с тем, судя по обращению ("ваше величество"), Посошков намеревался послать подобный текст царю, и в этой связи заслуживают внимания совпадения "Проекта о школах" с предназначенной для царя "Книгой о скудости и богатстве" 1724 г. Ср.: "...его императорскому величеству надлежит постараться о граматике, чтоб принудить ее выправить добрым расположением с самым добрым истолкованием и тако дробно ее разобрать, чтобы всякие скрытности ясно откровенныя были, и чтоб и без учителя можно познать всякия падежи и склонения и, тако исправя ю, напечатать бы их тысячь пять-шесть или десятков..." (Посошков, 1951, с. 22-23). Сходные мысли можно найти у Посошкова и в "Зерцале очевидном" 1708 г.: "И в книжном художестве, той склонения и падежи речений и сочинения силу и разумеет, кто грамматики и прочих наук достигнул; а простцу, земледельцу, или купцу, или какому иному художнику или волочаю, аще по книгам кой и читает, а учения високаго не коснулся, как ему можно разумети, чего у кого в голове нет!" (Посошков, 1895-1905, II, с. 18-19). Здесь ясно противопоставлено активное знание ц-сл. языка, доступное лишь образованным людям, овладевшим грамматикой, и пассивное знание, которое возможно и без грамматического учения, а следовательно доступно и простецам.

Примечательно при этом, что Посошков, в сущности, признает необходимым знание грамматики ц-сл. языка лишь для лиц духовного сословия – вне духовного сословия оно оказывается лишь желательным (Посошков, 1951, с. 22-25; ср. Посошков, 1895–1905, II, с. 35). Таким образом ц-сл. язык приобретает социолингвистическую окраску, которой он был лишен в период диглоссии (см. 2.2.2).

Активизация употребления ц-сл. языка в Великороссии делает процесс разрушения диглоссии здесь непохожим на процесс разрушения диглоссии в Ю.-З. Руси. В Ю.-З. Руси этот процесс начинается с появления "простого" языка, который конкурирует с ц-сл. языком и практически вытесняет его в некоторых функциях; в Великороссии этот же процесс начинается с расширения функций ц-сл. языка, который отнюдь не обнаруживает в это время тенденций к упадку. Такие тенденции появляются в XVIII в., но они связаны с иной культурной и языковой ситуацией, рассмотрение которой не входит в наши задачи.

18.2.1. Модернизация ц-сл. языка как результат активизации его употребления. Итак, в условиях разрушения диглоссии функции ц-сл. языка расширяются, а его употребление активизируется. Это приводит к определенной модернизации ц-сл. языка, причем этот модернизированный ц-сл. язык кодифицируется. Здесь ярко проявляется отношение к ц-сл. языку как к средству коммуникации, а не как к культовому языку, формы которого имеют безусловную значимость. Соответственно, разные варианты ц-сл. языка начинают оцениваться с точки зрения удобства коммуникации. Кодификация ц-сл. языка такого типа имеет отчетливо выраженный прагматический характер: она предназначена для активного пользования этим языком. Поскольку ц-сл. язык рассматривается как средство коммуникации, к нему оказывается применимым теперь критерий употребления, который раньше не играл сколько-нибудь существенной роли: элементы ц-сл. языка разделяются на употребительные и неупотребительные. Неупотребительные, архаические элементы могут получать при этом отрицательную стилистическую характеристику в качестве ненужного балласта, лишь осложняющего писание и чтение на данном языке. Так, в мнении о исправлении Библии от 10.VIII.1736 г., поданном в Синод, Феофан Прокопович заявлял: "...ветхое Славенскаго языка грамматическое учение есть весьма грубое, как в наречиях многих, так и в складе речей. Наречия обретаются обетшалья, которыя давно уже износились и стали онучами, да и чтущим неудоборазуменныя, например: *елма, колма, врѣсноту, убо, непшую, потщаваю, плищѣ, щуди, голимый* и проч., а склады бывають стропотныя, наипаче эллинизмы, то есть наречия не по природе Славенскаго, но по природе Эллинскаго языка сопрягаемыя, например: *учуся грамотѣ*, вместо *грамоты*, понеже еллинское *σπῦδῆω*, *учуся*, сопрягается с дательным падежом; тако ж и следующие: *прѣиде во еже освятити*, а для чего бы не тако: *прѣиде освятити*, а *во еже* лишнее и темность наводит; *надѣюся быти прощенію*, а не лучше ли: *надѣюся, яко будетъ прощеніе*, и проч. и проч.; а люди неискусныи и силы диалектов не разумеющии, нашед в лексиконе таковыя стропотности и гнилости, помышляют, что они нашли премудрость и оных употребляют для удивления народнаго, а своего смеха достойнаго чванства сами безумныи книгочии" (ОДДС, III, прилож., стлб. XXV–XXVI).

Рассуждение Прокоповича о конструкциях *еже* с инфинитивом отчасти напоминают разбор этих конструкций в грамматике Смотрицкого, который также может рассматривать их как неоправданный эллинизм. Анализируя фразу из Нового Завета "Бгъ есть

дѣйствуя въ васъ и еже хотѣти и еже дѣяти" (Филип. II, 13), Смотрицкий усматривает здесь буквальный перевод с греческого и замечает: "Много обаче чистѣе без еже положено было бы, сице: *бгъ естъ дѣйствуя въ васъ и хотѣти и дѣйствовати*" (Смотрицкий, 1619, л. Ш/2). Прокопович наверняка был знаком с грамматикой Смотрицкого, и очень вероятно, что в данном случае он опирается на приведенное высказывание.

Подобный подход характерен и для Федора Поликарпова, который в 1723 г. писал в Синод о переведенных Епифанием Славинецким и напечатанных в Москве в 1665 г. творениях отцов церкви: "Книга Григорія Назіанзена съ прочими, иже въ ней, преведена необыкновенною славянщиною, паче же рещи еллинизмом, и за тѣмъ о ней мнози недоумѣвають и отбѣгають. А можно оную вновь превести удобнѣе, и неудобопроходныя стези въ пути гладки устроить" (Браиловский, 1894, с. 31). Таким образом, Поликарпов отделяет обычный ц-сл. язык от "славянщины", т.е. специфически книжных оборотов, не характерных для активного употребления. Отказ от неупотребительных элементов связан для Поликарпова с совершенствованием ц-сл. языка; совершенствование ц-сл. языка связывается для него не с архаизацией, а, напротив, с освобождением от архаизмов. Этот подход очень отчетливо проявляется в его переработке грамматики Смотрицкого (1721 г.). В рукописных (подготовительных) материалах к этому изданию Поликарпов, в частности, пишет: "А понеже Г^ду поспѣшствующу славенскій нашъ діалектъ со временем паче и паче разширяется и разчищается, и уже во сто лѣтъ возрасте нѣтъ въ лучшее изрядство, того ради по настоящему времени смотря ко древнѣй грамматіцѣ нѣкая малая правила приложишася, нѣкая же древняя нѣтъ отяшася за неупотребленіе, яко рещи, двойственное число во именѣхъ, глаголѣхъ, и въ мѣстоименіяхъ, наполняющу оныхъ мѣсто числу множественному, обаче и сія на произволеніе" (ЦГАДА, ф. 381, № 1241, л. 7 об.).

Таким образом, эволюция ц-сл. языка, осуществившаяся за сто лет, прошедших с появления грамматики Смотрицкого (1619 г.), определяется для Поликарпова его активным употреблением, употреблением, основанным на грамматике. Грамматика Смотрицкого сделала такое употребление возможным, и язык начал изменяться к лучшему ("разширяться и разчищаться"). Новое издание грамматики Смотрицкого должно было зафиксировать эти улучшения и вместе с тем способствовать дальнейшему совершенствованию языка.

Как видим, Поликарпов признает, в частности, неупотребительным формы дв. числа и считает возможным заменять их на формы мн. числа. Дв. число Поликарпов рассматривает при этом как грецизм, не соответствующий природе славянских языков. Приводя глагольную парадигму в дв. числе, Поликарпов замечает: "По древнему обычаю от греков взятому, обаче нынѣ мало употребляемо, множественному числу сія наполняющу" (Смотрицкий, 1721, л. 111). Еще яснее об этом говорится в рукописных материалах к грамматике 1721 г.: "Сіе двойственное число во имяни и въ глаголѣ и въ причастіи и въ мѣстоименіяхъ употребляху древніи преводницы серби и славяне во своихъ переводахъ послѣдующе греком, двойственное число прежде имѣвшимъ во употребленіи, наипаче ради стихотворныхъ ихъ мѣръ" (ЦГАДА, ф. 381, № 1241, л. 67 об.). Соответственно, приводя форму *на біема*, Поликарпов поясняет: "вмѣсто рещи *мы два біемъ, ва біета - вы два біете, она біета - они два біють*" (Смотрицкий, 1721, л. 116). Точно так же он протестует против склонения числительных в дв. числе. Приводя помещенную у Смотрицкого парадигму числительного *четверо*, которая включает формы ед., дв.

и мн. числа, Поликарпов замечает: "Вышепомянутая реченія: *двои, трои, четверо* и прочая, аще у малороссовъ по древнему ихъ обычаю единственнымъ и двойственнымъ числами и скланяхуся, обаче нынѣ благодатию Божіею славенску языку разчищающуся, возмнѣся сіе быти неправильно. Како бо четверыхъ можетъ кто нареци единымъ или двома, еже противно и разуму. Но нынѣ обыкновеннѣе сие скланяти можно: единственного и двойственного числа лишается, множественного числа именительный: *четверо*, родительный: *четверыхъ*, дателный: *четверымъ*, винительный: *четверо* и *-рыхъ*, звательный: *о четверо*, творительный: *четверыми*, сказательный: *о четверыхъ*. Сие: *пятеро, шестеро, седмеро* и прочая" (л. 85–85 об.).

Равнымъ образом, Поликарповъ возражаетъ и противъ архаическихъ формъ местоимений. Приводя форму *ти* (им. мн.), онъ замечаетъ: "Нынѣ не употребляется" (л. 97). По поводу местоимения *чесо* Поликарповъ говоритъ: "Нынѣ необычно" (л. 96 об.-97). Аналогичными характеристиками снабжаются форма притяжательного прилагательного *Ань* ("необычно, неупотребительно", л. 79 об.), форма *зель* вместо *зелие* ("неупотребительнѣ", л. 58 об.), форма аориста 3 л. ед. числа *зачать* вместо *зача* ("обаче нынѣ не употребляются", л. 117), конструкция *біянь бывахъ* ("обаче нынѣ не во употребленіи", л. 112 об.). Такого же рода примечание онъ делаетъ по отношению къ глагольнымъ формамъ прош. времени со связкой типа *чли есмы*: "Обаче нынѣ не употребляется, славенску на лучшее Божіею помощію происходящу" (л. 118 об.). Какъ видим, въ эволюции ц.-сл. языка Поликарповъ усматриваетъ отнюдь не порчу, а улучшение, расчищение и приписываетъ это прямому действию Божіею благодати. Приводя въ качестве параллельныхъ формъ *святыхъ* и *святъ*, онъ вторую форму трактуетъ какъ "пѣитическую" (л. 69 об.), т. е. архаические формы воспринимаются имъ какъ маркированные, служащие особымъ целямъ украшения речи.

Хотя рассмотренные процессы модернизации ц.-сл. языка обусловлены прежде всего активизацией его употребления, соответствующая норма имеетъ тенденцію къ экспансии. Модернизированный такимъ образомъ ц.-сл. языкъ воспринимается, какъ мы видели, какъ более доступный и одновременно, поскольку онъ кодифицируется, какъ нормативный. Въ этомъ качестве онъ отражается на книжной справе, т. е. въ соответствии съ нимъ приводятся и старые тексты. Именно это и происходитъ при подготовкѣ къ изданію Елизаветинской библіи (1751 г.). Справщики (основную роль здѣсь играли Іаковъ Блоницкій и Варлаамъ Лашевскій) значительно модернизируютъ ц.-сл. языкъ библейскаго текста. Соответствующая модернизация не распространяется на языкъ богослужбныхъ книгъ; поэтому языкъ богослужбныхъ книгъ начинаетъ отличаться отъ языка книгъ, предназначенныхъ для внецерковнаго чтенія. Въ частности, новоисправленное Евангеліе съ этого времени отличается отъ Евангелія на престольнаго, и учебная церковная литература отличается по языку отъ богослужбной (ср. 8.7.4). Поскольку небогослужбные изданія имели несравненно большее распространение, модернизированный вариантъ ц.-сл. языка получаетъ преимущество надъ более традиционнымъ; последний, какъ правило, воспринимается лишь со слуха при церковномъ чтеніи.

Исправители Елизаветинской библіи вносили прежде всего следующие языковые изменения. Во-первыхъ, они замѣняютъ формы дв. числа на формы мн. числа, хотя и делаютъ это не всегда последовательно. Такъ, въ новоисправленномъ текстѣ повѣствованія о двухъ слѣпцахъ изъ Евангелія отъ Матфея (XX, 30–34) чередуются формы дв. и мн. числа (каждый разъ имеются в

виду два лица): "Се два слѣпца сѣдяща при пути, слышавша... возопиша, глаголюща... народъ же прещаше *има*, да умолчита, *она* же паче вопіяста глаголюща... и воставъ Исусъ, возгласи я, и рече, что *хощета*, да сотворю *вама*? Глаголаста Ему: Господи, да *отверзутся* очи *наши*. Милосердовавъ Исусъ, прикоснуса очію *ихъ*; и абіе прозрѣша очи *ихъ*, и по Немъ *идоста*". Последние фразы в напрестольном Евангелии читаются так: "Господи, да *отверзеться* очи *наю*... прикоснуса очію *има*; и абіе *прозрѣста* *има* очи и по Немъ *идоста*" (Ильминский, 1886, с. 42-43), ср. также в новоисправленном тексте Евангелия от Луки (XXIV, 32): "И *рекоста* къ себѣ: не сердце ли *наше* горя бѣ въ *насъ*, егда глаголаше *нама* на пути", тогда как в напрестольном Евангелии читается: "не сердце ли *наю* горя бѣ въ *наю*". В результате дв. число становится факультативной категорией в этом модернизированном ц-сл. языке; оно не противопоставляется мн. числу в качестве самостоятельной и независимой категории, но лишь уточняет (конкретизирует) значение мн. числа - дв. и мн. число, таким образом, не взаимоисключают друг друга, находясь в отношении привативной, а не экvipолентной оппозиции. Другим моментом исправления является последовательная замена форм аориста и имперфекта во 2 л. ед. числа на "перфектные" формы со связкой типа *читалъ еси* (Ильминский, 1886, с. 7-8); о соответствующих исправлениях мы специально говорили выше (см. 8.7.4). Наконец, формы сослагательного наклонения во 2 л. ед. числа получают связку, ср. *аще бы восхотѣлъ* - *аще бы восхотѣлъ еси* и т.п. (см. 8.7.7). Определенное упрощение вводится в парадигму прилагательного, хотя делается это и непоследовательно. Поэтому, например, мы встречаем в Псалтыри "о имени *святѣмъ* его" (Пс. X, 43) и "во дворѣ *святѣмъ* его" (Пс. XXVIII, 2) (Ильминский, 1898, с. 52).

Издание Елизаветинской библии завершило полувековую работу, начатую еще в петровскую эпоху. Указом Петра I от 14.XI.1712 г. было предписано исправить и издать ц-сл. Библию; эта задача была поручена Софронию Лихуду, Феофилакту Лопатинскому, Федору Поликарпову, Николаю Семенову и другим. В указе говорилось: "А соглашать и править во главах и стихах, речах противу греческой Библии грамматическим чином..." (ОДДС, III, стлб. 28; прилож., стлб. XLVII), т.е. предполагалось сличение с греч. подлинником и в случае несоответствия славянского и греч. текста - перевод с греч. на ц-сл. язык. Такой подход предполагал активное пользование ц-сл. языком, а не сличение имевшихся в распоряжении справщиков редакций: "текстологический" подход к языку Св. Писания, характерный для предшествующей книжной справы, сменяется подходом "грамматическим" (ср. 14.5). Такое активное (грамматическое) пользование ц-сл. языком приводит к его систематизации и модификации (см. перечень исправлений петровских справщиков: ОДДС, III, прилож. VII; Горский и Невоструев, I, с. 164-180).

18.3. Возникновение "простого" языка, противопоставленного ц-сл. языку. Если ц-сл. язык ю-з-рус. редакции непосредственно влияет на великорус. ц-сл. язык, то непосредственное влияние "простой мовы" было невозможно в виду отсутствия парного эквивалентного явления в великорус. условиях. Однако заимствуется именно языковая ситуация - заимствуется само понятие "простого" языка, который понимается в ю-з-рус. смысле, т.е. как литературный язык, противопоставленный ц-сл. языку и с ним конкурирующий; иначе говоря, являет-

ся "просторечие" как особая форма литературного языка. Как и в Ю.-З. Руси, "простой" язык в качестве литературного противостоит не только ц-сл. языку, но и разговорной речи.

Соотнесение ю-з-рус. "простой мовы" и великорус. "простого диалекта" находим у иеродиакона Феофана, который в 1660–1670-х гг. переводил в Саввино-Сторожевском монастыре сочинения ю-з-рус. авторов на ц-сл. язык. В предисловии к своему переводу (1667 г.) "Неба нового" Иоанникия Галятковского Феофан объясняет, почему эта книга "преписася с белороссийскаго диалекта на истинный широкословенороссийский диалект", т.е. переведена с "простой мовы" на ц-сл. язык: "Яко аще и сродни нам малыя и белыя России жители, ибо и тем быти словяном, не точию им, но и поляком, еже есть самем ляхом, но за купножителство иностранных обителей с нами различие имут некими реченми, яже нам, истинным словяном, странна и необычна; аще и не всеми, но многая в них иностранная нашего простаго диалекта речения обретаются, яже не суть во книгах тиснящихся в типографии царствующаго града Москвы" (Харлампович, 1914, с. 435). Итак, "проста мова" явно соотносится с рус. "простым диалектом" Московской Руси. Знаменательно, вместе с тем, что Феофан еще не пытается писать на этом "простом диалекте".

С конца XVII в. на великорус. территории появляются произведения, написанные, по утверждению их авторов, на "простом" языке. Так, Авраамий Фирсов переводит в 1683 г. Псалтырь (ГИМ, Син. 710; ср.: Горский и Невоструев, I, с. 190–196), причем книга начинается с извещения: "Преведена сіа свѣта бгодохновенная книга псалтѣрь на нашъ простои, обык-лои, словенскои языкъ" (л. 1); и далее в "Предисловии к читателю" переводчик говорит: "Нѣтъ в сеи книгѣ псаломнои, истолкованы псалмы, на нашъ простои словенскои языкъ, с великим прилежаніем... без всякаго украшенія, удобнѣйшаго ради разума" (л. 7). Псалтырь Авраамия Фирсова переводилась, по-видимому, с польского (она обнаруживает текстуальную близость как к польской протестантской брестской Библии 1563 г., так и - в меньшей степени - к католической Библии 1599 г., переведенной Вуйком), и таким образом великорус. "простой язык", подобно "простой мове" Ю.-З. Руси соотносится с польским литературным языком.

Язык Авраамия Фирсова в целом должен быть квалифицирован как гибридный церковно-славянский (ср. Целунова, 1985), т.е. такой язык, книжный характер которого основан лишь на отдельных признаках книжности - последние накладываются на нейтральный в плане противопоставления рус. и ц-сл. языка фон и могут быть проведены достаточно непоследовательно. Тексты на гибридном ц-сл. языке писались и раньше, однако раньше он воспринимался как допустимое отклонение от норм книжного языка (ср. 8.7.2; 14.4). У Авраамия Фирсова этот язык претендует на самостоятельный статус, т.е. "простой" язык противопоставляется традиционному ц-сл. языку как особый книжный язык. На этот самостоятельный статус ясно указывает перевод Псалтыри на данный язык - гибридный ц-сл. язык употребляется здесь параллельно традиционному. При этом мотивом такой замены (перевода) является удобопонятность данного языка в отличие от традиционного ц-сл. языка. Язык Авраамия Фирсова с его нередкими полонизмами не обязательно был понятен широкому читателю; ссылка на удобопонятность и общедоступность явно восходит к ю-з-рус. культурной традиции, где именно таким образом,

как мы видели, мотивируется перевод текстов на "просту мову" (см. 15.5); язык Авраамия Фирсова выступает в той же функции, что и "проста мова".

В XVIII в. произведения, написанные на "простом" языке, уже не представляют собой единичного явления. В 1718 г. выходит "География генеральная" Б. Варения, переведенная "с латінска языка на російскій" Федором Поликарповым с помощью Софрония Лихуда (ср. 18.3.1); в предисловии к этой книге Поликарпов подчеркивает, что она переведена "не на самый славенскій высокій діалект..., но множае гражданскаго посредственнаго употреблях наречія". В 1720 г. выходит первым изданием букварь Феофана Прокоповича ("Первое учение отроком"); в предисловии к нему сообщается, что "в России были таковыя книжицы, но понеже славенским высоким діалектом, а не просторѣчіем написаны... того ради лишались доселѣ отроцы подобающаго себѣ воспитанія" (Феофан Прокопович, 1721, л. 40 об.-5) - имеется в виду катехизисное изложение православного вероисповедания, т.е. толкование основных текстов (Символа веры и др.), которое помещено здесь вслед за показанием букв и слогов, составляющих необходимую принадлежность всякого букваря. Букварь Феофана Прокоповича в какой-то мере представляет собой осуществление той программы, которую Феофан намечает в "Духовном регламенте" (1718-1720 гг.): действительно, уже в "Духовном регламенте" мы находим призыв к общедоступному "просторечному" изложению православного вероучения; здесь же отмечается, что ц-сл. перевод святоотеческой и учительной литературы "стал темен" (см. подробнее: Успенский, 1983, с. 119; Успенский, 1985, с. 123-124).

Равным образом и "Послдование о исповедании" Гавриила Бужинского (М., 1723) написано "просторѣчно, да бы самое скудоумнѣйшее лице могло выразумѣть" (л. 32 об.); речь идет о тексте, который надлежит произносить священнику при исповеди, т.е. об определенной части богослужебного процесса. В 1725 г. выходит "Библиотека" Аполлодора, переведенная с греч. языка Алексеем Барсовым, с предисловиями переводчика и Феофана Прокоповича. В предисловии Барсова говорится, что в декабре 1722 г. Петр "сію книгу Еллинским и Латинским діалекты изданую вручил Святейшему Правительствующему Синоду, повелѣвая да бы преведена была на общій Россійскій язык" (с. 19); точно так же и Феофан Прокопович, подчеркивая в своем предисловии, что эта книга переведена именно "на рускіи... діалект" (с. 2) и объясняя, "чесо ради книга сія и нашего языка діалект переводом и печатію свѣтъ себѣ в Россіи получила" (с. 3), указывает, что Петр ее "повелѣл на рускіи наш язык перевести и напечатать" (с. 4). Наконец, и Тредиаковский заявляет в предисловии к "Езде в остров Любви" (1730 г.), что он эту книгу "неславенскимъ языкомъ перевелъ, но почти самымъ простымъ Рускимъ словомъ, то есть каковымъ мы межъ собою говоримъ" (Тредиаковский, III, с. 649); точно так же и Кантемир говорит в предисловии к своим сатирам о "простом" слоге сатир (Кантемир, I, с. 8), а в предисловии к переводу "Таблицы Кевика философа" (1729 г.) сообщает: "я нарочно прилежалъ сколько можно писать простѣе, чтобы вѣсмъ вразумительно" (Кантемир, II, с. 384). Таким образом, устанавливается довольно отчетливое противопоставление ц-сл. языка другому книжному языку, который декларативно объявляется "простым" и общепонятным и в качестве общелитературного языка начинает конкурировать с ц-сл. языком.

Выражение "общий российский язык", которым пользуется при этом Алексей Барсов, ближайшим образом напоминает наименование "простой мовы" в киевской Постной Триоди 1627 г., где говорится о "российской беседе общей" (см. 15.4). Это совпадение объясняется в виду того, что как то, так и другое выражение калькирует название новогреческого языка: не случайно в обоих случаях имеет место перевод с греческого. Мы вправе предположить, таким образом, что Барсов как-то ассоциирует рус. и греч. языковую ситуацию; такая же позиция характерна в те же годы и для других великорус. книжников того же круга (см. 19.2).

Тексты, написанные на "простом" языке, обнаруживают сравнительно мало сходства. Это и понятно, поскольку каждый автор, который пишет на "простом" языке, не следует какой-то сложившейся традиции, но пытается индивидуально решить проблему создания нового литературного языка, противопоставленного ц.-сл. языку - что такое "простой" язык было непонятно, но имелся, так сказать, социальный заказ писать на нем. В результате содержание понятия "простой" язык оказывается весьма неопределенным, оно определяется чисто негативно - отталкиванием от ц.-сл. языка, однако конкретный характер этого отталкивания решается каждый раз по-разному. Отсюда определяется диффузность, размытость этого языка, отсутствие границ, которые бы его четко определяли, и вместе с тем отсутствие в нем стилистической дифференциации - противостоят не стили "простого" языка, а индивидуальные варианты. Отсюда же объясняется динамичность "простого" языка, его потенция к изменению, не ограниченная никакой традицией.

Неопределенность понятия "простой язык" отчетливо выражена в Псалтыри Авраамия Фирсова, где могут предлагаться несколько вариантов перевода, которые характеризуются разной степенью близости к живому, некнижному языку: один из вариантов помещается непосредственно в тексте, другие даются на полях. Так, например, начало I-го псалма представлено здесь вариантами: "Блженъ мужъ который не идет на совѣтъ нечестивых" или "Добрыи тои чвкъ..." и т.д. (ГИМ, Син. 710, л. 10). Необходимо отметить, что в каких-то случаях вариантные чтения на полях у Фирсова могут отражать соответствующие глоссы исходного польского текста, который лег в основу данного перевода, однако к данному случаю это, кажется, не относится.

Тем не менее, сам факт функционирования "простого" языка, т.е. признание возможности отклонения от ц.-сл. языковых норм, имеет исключительное значение для последующей эволюции рус. литературного языка, обуславливая в конечном счете влияние разговорной речи на литературный язык. Этому способствуют именно такие факторы, как неустойчивость "простого" языка, его неоформленность, потенция к изменению (динамичность). Все это определяет его постепенное сближение с живой разговорной речью, с которой он и может отождествляться в языковом сознании. "Простой" язык может быть достаточно книжным по своей природе, однако он противостоит прежде всего ц.-сл. языку, а не живой речи. Существенно, что здесь возможно - и постоянно происходит - заимствование элементов живой разговорной речи, что и приводит к ее фактической легитимации. В этом значение "простого" языка: он ценен не сам по себе, поскольку это явление более или менее индивидуальное и преходящее; он свидетельствует о превращении церковнославянско-рус. диглоссии в церковнославянско-рус. двуязычие.

Одновременно в результате третьего юж.-сл. влияния изменяется значение понятия "русский язык" в великорус. языковом сознании. Именно под влиянием языковой ситуации Ю.-3.

Руси "русский" язык начинает противопоставляться ц-сл. языку. Так, в "Муסיкии" Иоанникия Коренева второй пол. XVII в. читаем: "По кїевски клиросы, по руски станицы, славенски такожде лики" (Смоленский, 1910, с. 12) - "русский" язык здесь противостоит "славенскому" и обозначает разговорную речь. В этом же значении использует слово "русский" и Сильвестр Медведев в "Манне" 1687 г.; обсуждая здесь фразу из чина литургии "Сотвори убо... *преложив* Духом Твоим Святым", Медведев замечает: "Здѣ правовѣрніи, разумѣ грамматичный извѣстно вѣдущи, зрите реченія *преложивъ*, глаголь-ли или причастіе или дѣепричастіе. И коего времени и како по-русску на простой нашъ народный языкъ толкуется" (Прозоровский, 1896, с. 488).

18.3.1. Характер противопоставления ц-сл. и "простого" языка. Следует специально подчеркнуть искусственный характер возникновения великорус. "простого" языка. Исключительно показателен в этом плане перевод "Географии генеральной" Варения, осуществленный Федором Поликарповым по предписанию Петра I. Поликарпов сначала перевел книгу Варения на ц-сл. язык, что было естественно для него как для великорус. книжника. Петр, однако, остался недоволен этим переводом, и, соответственно, 2.VI.1717 г. Мусин-Пушкин предлагает Поликарпову "исправить" перевод "не высокими словами славенскими, но простым русским языком", предписывая ему: "высоких слов славенских класть не надобять, но Посольского приказу употреби слова" (Черты книжного просвещения..., стлб. 1054; о том, что эти слова Мусина-Пушкина точно воспроизводят слова Петра I см.: Успенский, 1983, с. 97). Книгу Варения пришлось подвергнуть существенной переделке, в ходе которой последовательно устранялись специфические признаки ц-сл. языка. Эта работа была выполнена Софронием Лихудом (ср. правленный экземпляр рукописи с записью Лихуда - ЦГАДА, ф. 381, № 1008). В результате правки ц-сл. язык был заменен здесь "простым" - сама возможность преобразования ц-сл. текста в текст на "простом" языке путем замен по ограниченному числу признаков показывает, что этот язык лишь негативно определен в отношении церковнославянского. Любопытно в этом смысле сопоставление предисловий к первому (рукописному) и второму (печатному) варианту перевода "Географии генеральной". В первоначальном варианте предисловия к своему переводу (в рукописи 1716 г.) Поликарпов писал: "Убо и мне (коснувшемуся превода книги сея) должность надлежала последовати якоже сенсу, тако и тексту авторову и не общенародным диалектом Российским преводити сия, но хранити по возможному регулы чина грамматического, дабы тако изъяснил высоту и красоту слова и слога авторова" (БАН, Петровская галерея, № 72, л. 9). Между тем, в предисловии к печатному изданию 1718 г. мы читаем: "Моя же должность объявити, яко преводих сию не на самый славенский высокий диалект против авторова сочинения и хранения правил грамматических: но множае гражданского посредственного употреблях наречия, охраняя сенс и речи самого оригинала иноязычнаго". Итак, Поликарпов констатирует, что он отклоняется от грамматических правил: понятие грамматики прочно связывается с ц-сл. языком, тогда как рус. язык воспринимается как отклонение от грамматической нормы.

Правка Софрония Лихуда "построена на ограниченном наборе признаков. Производя замену по одному признаку, Софроний может игнорировать остальные... Этот неисчерпывающий

характер замен свойствен всей рукописи и не может быть объяснен невнимательностью справщика. Следует думать, что у Лихуда, как и у его современников, нет ясного представления о том, что такое книжный текст на русском ('простом') языке; известны лишь признаки, противопоставляющие книжный и некнижный язык..." (Живов, 1986а, с. 249). К признакам, по которым правит Лихуд, относится замена форм аориста и имперфекта формами прошедшего времени с *л*-перифразой, инфинитивов на *-ти* инфинитивами на *-ть*, форм 2 л. ед. числа наст. времени на *-ши* формами на *-шь*, наречий на *-ѣ* наречиями на *-о* (типа *перпендикуляр'нѣ* на *перпендикуляр'нш*), устранение превосходной степени на *-айш/-ѣйш* (они заменяются либо формами положительной степени, либо образованиями с приставкой *пре-*, либо сочетаниями положительной степени с *вельми* и *самый*), устранение сравнительной степени с суффиксом *-ш-* (подобные формы заменяются на образования с суффиксом *-ае/-ѣе*, либо с суффиксом *-айш/-ѣйш* в зависимости от их употребления в предикативной или атрибутивной функции), замена согласованных причастных форм на несогласованные (деепричастия), устранение дательного самостоятельного, конструкций *да +* форма наст. времени в значении императива или придаточного цели, одинарного отрицания, родительного принадлежности; устраняются также некоторые специфически ц-сл. местоимения и служебные слова. Вне этих признаков не только могут сохраняться генетически ц-сл. формы (например, формы с неполногласием или с чередованием заднеязычных и свистящих), но даже - в каких-то случаях - осуществляться и обратная замена, т.е. генетически рус. формы могут заменяться на соответствующие генетически ц-сл. формы (например, *озеро* на *езеро*, *одна* на *едина*, *ростет* на *растет* и т.д.); подобные замены объясняются, видимо, тенденцией к унификации (Живов, 1986а).

В принципе аналогична правка Феофана Прокоповича на рукописи его "Истории Петра Великого", где события до 1696 г. были первоначально изложены на ц-сл. языке (ЦГАДА, ф. 9, оп. I, № 1, л. 3-17). Ц-сл. текст правится на русский, при этом формы аориста и имперфекта заменяются на формы прошедшего времени с *л*-перифразой, опускается связка в формах перфекта, согласованные причастия заменяются на несогласованные (деепричастия), инфинитивы на *-ти* на инфинитивы на *-ть*, формы на *-ся* на формы на *-сь*, формы дв. числа на формы мн. числа, устраняются обороты с дательным самостоятельным и ряд специфически ц-сл. служебных слов (ср. Живов, 1985, с. 79).

Таким образом, третье юж-сл. влияние приводит к созданию "простого" языка, выступающего как великорус. эквивалент "простой мовы". Однако язык этот создается принципиально иным образом, чем "проста мова". Если "проста мова" вырастает из канцелярского языка Ю.-З. Руси, то великорус. "простой" язык создается на ц-сл. основе: ц-сл. язык преобразуется по тем признакам, которые противопоставляют книжный и некнижный язык в языковом сознании того времени.

19. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ

19.1. Переводимость ц-сл. и рус. текстов: перевод сакральных текстов на рус. язык и пародии на ц-сл. языке как признаки церковнославянско-рус. двуязычия. Ярким признаком церковнославянско-рус. двуязычия является осознаваемая теперь возможность перевода сакрального текста на иной общепонятный язык. Такая возможность предполагается, в частности, Сильвестром Медведевым в 1687 г., когда он предлагает в "Манне" истолковать фразу из чина литургии, "како по-русску на простый нашъ народный языкъ толкуется" (Прозоровский, 1896, с. 488; ср. 18.3); впрочем, по приводимым здесь толкованиям видно, что под "простым народным языком" Сильвестр понимает не рус. разговорный язык, а общепонятную модификацию ц-сл. языка. Таким образом, в своем употреблении слова "простой" Сильвестр не отходит от старой традиции (см. 14.3); новым, однако, является предложение переводить на этот язык, что явно противопоставляет "простой" и ц-сл. языки как два разных языка. Как мы уже говорили (см. 14.4), осознание такого противопоставления и переводит диглоссию в двуязычие.

Именно в этом контексте и следует рассматривать перевод Псалтыри на "простой" язык, выполненный Авраамием Фирсовым в 1683 г. (см. 18.3). Авраамий как бы осуществляет ту возможность, о которой говорит Сильвестр. Действительно, "простой" язык понимается здесь сходным образом, т.е. как общедоступная разновидность ц-сл. языка, противопоставляемая традиционному ц-сл. языку. Псалтырь Авраамия Фирсова представляет собой первый опыт перевода Св. Писания на "простой" язык (на великорус. территории). Это был, однако, перевод не с ц-сл. языка, а с польского, и таким образом, параллелизм ц-сл. и рус. текстов не проявляется здесь достаточно четко. Вместе с тем, сама тенденция применить "простой" язык для перевода сакральных текстов исключительно показательна для процесса разрушения диглоссии. Не менее характерно и то, что этот перевод был запрещен патр. Иоакимом в 1686 г. (см. Горский и Невоструев, I, с. 191), в чем можно видеть реакцию консервативного языкового сознания на явления новой языковой ситуации. Подобная реакция на долгие годы определяла отрицательное отношение к переводам Библии на рус. язык.

Относительно малое значение для рус. языковой ситуации имели протестантские переводы Св. Писания и вероучительной литературы, выполненные за рубежом. Такие переводы появляются впервые в Швеции еще в первой пол. XVII в. по специальной инициативе шведского правительства; последняя обусловлена тем, что после заключения Столбовского мира 1617 г. и присоединения к Швеции Ингерманландии и Карелии в новых границах Шведского государства оказалась многочисленная группа русскоязычного населения. В 1625 г. король Густав II Адольф издает следующий указ: "Мы Густав Адольф и т.д. доводим до сведения, что поелику Всемогуший Бог милостию своею пожаловал нас русскими подданными и желаем мы постараться, дабы они правильного знания христианской веры постигли, то повелели мы недавно изготовить несколько русских шрифтов, дабы печатать книги на русском языке" (Енсен, 1912, с. 139). В соответствии с этим указом в Швеции появляются издания рус. книг, а именно Малый Катехизис Лютера (Стокгольм, 1628), а также Букварь под названием *Alfabetum rutenicum* (Стокгольм, б.г. - до 1639 г.). Что касается Катехизиса, то король предписывает "перевести Малый катехизис на русский язык, да так, чтобы все изложено было на правильном русском языке, то же, что из Библии цитировано, не изменять, а оставлять по-славянски, так как оно в их Библии стоит"; тем не менее в

отдельных случаях цитаты из Библии переведены здесь на рус. язык (Шоберг, 1975, с. 14, 18). Что же касается Букваря, то в приложении к нему мы находим рус. перевод целого ряда молитв (в частности, Отче наш, Символа веры и др.). Ц-сл. язык явно понимается при этом как своеобразный эквивалент латыни, т.е. рус. языковая ситуация рассматривается шведами как ситуация двуязычия.

В петровское время Библию на "простой русский язык" перевел пастор Глюк с помощью неизвестного рус. монаха из Пичуговского монастыря. Это предприятие имеет более близкое отношение к рус. языковой ситуации, поскольку есть основания предполагать, что Петр собирался издать Библию на рус. языке. Глюк писал: "Я... изготовил уже на русском языке школьные книги и содержу в доме у себя, хотя с немалым иждивением, русского пожилого священника, который служит мне помощником при переводе славянской Библии на простой русский язык... К сему поощряют меня письмами и из Германии, и из Москвы, особливо Головин, царский посланник". Русский перевод Библии, сделанный Глюком, погиб при осаде и взятии Мариенбурга рус. войсками в 1702 г. После взятия Мариенбурга Глюк переехал в Москву и стал там учителем гимназии, и перевел на рус. язык Новый Завет, а также молитвенник и лютеровский Катехизис. Судьба его переводов неизвестна (Пекарский, I, с. 127-128; Сменцовский, 1899, с. 410). Все эти переводы осуществлялись не с ц-сл. языка (заявление Глюка о том, что он перевел славянскую Библию на простой рус. язык, вряд ли следует понимать буквально).

Сторонником перевода Библии на рус. язык был, возможно, и Феофан Прокопович: по некоторым свидетельствам Феофан собирался издать Библию на ц-сл. и рус. языках с примечаниями (Успенский, 1985, с. 124).

Примеры перевода с церковнославянского на русский отдельных фраз Псалтыри (Пс. I, 1; Пс. CI, 3), Евангелия (Мф. II, 1; Лк. XIX, 5), апостольских деяний (Деян. XI, 16) и посланий (I Кор. VI, 12; II Кор. XII, 9) можно найти уже в грамматике Федора Максимова (1723, с. 98-99, 113-114). Гораздо менее показателен перевод некоторых фраз апостольских посланий (I Петр. III, 10; Филип. II, 13) с ц-сл. на рус. и украинский языки в грамматике Курганова (1769, с. 67), поскольку соответствующие тексты восходят к грамматике Смотрицкого (1619, л. Ш/2). Вместе с тем, со второй пол. XVIII в. на рус. язык могут переводиться и богослужебные тексты. Так, в дополнении к "Церковному словарю" Петра Алексева (М., 1773) содержатся ирмосы и степенны, переведенные на рус. язык "за невразумительностью" их ц-сл. перевода; ц-сл. и рус. тексты расположены при этом в две колонки (Алексеев, 1776).

С конца XVIII в. появляются переводы отдельных книг Св. Писания непосредственно с ц-сл. языка на рус. язык, причем они публикуются Синодальной типографией в две колонки, в виде параллельных текстов: рус. перевод призван обеспечить точное понимание ц-сл. текста. Такой перевод "Послания к римлянам" был осуществлен в 1792 г. ректором московской Славяно-Греко-Латинской Академии архимандритом Мефодием Смирновым; ц-сл. текст и параллельный рус. перевод был напечатан московской синодальной типографией в 1794 г. (Св. кат. XVIII в., № 4207; 2-е изд. - 1815 г.). Ср.:

Что убо речемъ; законъ ли грѣхъ; да не
будеть: но грѣха не знахъ, точію закономъ:
похоти же не вѣдахъ, аще не бы законъ
глаголю: не похощеши.

Что же мы послѣ того скажемъ? Законъ
ли есть грѣхъ? Никакъ: напротивъ того, я
бы (прямо) не зналъ грѣха, если бы не
вразумил меня законъ: даже не зналъ бы
я и (грѣха) похоти, если бы законъ не
сказалъ: не похотствуй.

(Римл. VII, 7).

В особую категорию переводов сакральных текстов выделяются переводы стихотворные. Первым опытом такого рода была "Псалтирь рифмотворная" Симеона Полоц-

кого (1678 г.), напечатанная в Москве в 1680 г. В предисловии к своему труду Симеон говорит, что его перевод предназначен для того, чтобы Псалтырь стала понятна читателю: "во мнозех местех толк zde положися, еже в сущем [т.е. в каноническом ц-сл. тексте Псалтыри] глубоко сокрыся", "сия бо суть во исполнение разума... светлейшаго ради истолкования псалмов", "да ся чтущих удобь уразумевают", "да сущаго неудобное откровенно будет" (Симеон Полоцкий, 1680, л. 2 об., 4, 6, 7). Еще ранее Симеон Полоцкий занимался переложением в стихи разнообразных молитв (Харлампович, 1914, с. 390-391). Эти стихотворные переводы были выполнены на ц-сл. языке, так что понятность должна была достигаться не за счет изменения языка, а за счет более вольного пересказа канонического текста. "Псалтырь рифмованная" Симеона Полоцкого вызвала протест современников, в частности, чудовского инок Евфимия - протест, таким образом, вызвал не язык, а профанация, идущая от стихотворной формы; цитируя Афанасия Александрийского, Евфимий писал по этому поводу: "Хранити подобает, да никто псалмы мирскими красноглаголаня словесы упещряет, ниже покусится речения переменять или всячески иное, вместо иного поставляти, но просто, яко написано суть, да четет и поет, яко речется" (Татарский, 1886, с. 303), ср. о том же и в его сочинении "Остен" (Евфимий, 1865, с. 137). В 1682 г. со стихотворными переложениями рождественских ирмосов выступил Лукьян Голосов (Шляпкин, 1898); это, опять-таки, были переложения на ц-сл. язык. Точно так же и Стефан Яворский писал стихи на текст икосов (Петров, 1866-1868, № 1, с. 86).

В XVIII в. появляются стихотворные переложения (переводы) Псалтыри на рус. язык, но они воспринимаются как жанровое, а не языковое явление, т.е. в плане уже сложившейся литературной традиции. Стихотворными переложениями псалмов занимались все крупнейшие поэты XVIII в. - Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Майков, Державин и др. Наряду с этим, в XVIII в. могут перелажаться в стихотворную форму и молитвы. Так, Петр Алексеев, переводя ирмосы и степенны на рус. язык, присовокупляет их стихотворное переложение (Алексеев, 1776). Василий Рубан издает "Канон покаянный преложен стихами" (М., [1770]). Любопытно, что в 1787 г. это издание было конфисковано (Св. кат. XVIII в., № 6105). В том же 1770 г. Рубан издал "Канон Пасхи в стихах" (см. объявление в "Трутне", 1770 г., л. XI - Берков, 1951, с. 220); это издание до нас не дошло.

Другим признаком разрушения диглоссии является появление пародий на ц-сл. языке. Если в первой пол. XVII в. такие тексты имеют уникальный характер (см. 18.1), то со второй пол. XVII в. они становятся более или менее обычным явлением. При этом пародийное использование ц-сл. языка может сочетаться с пародированием церковной службы. Примером может служить "Служба кабаку" (Адрианова-Перетц, 1977, с. 37-50), которая распространяется в Великороссии с сер. XVII в. (старший список 1666 г.). "Служба кабаку" восходит к латинским службам пьяницам, известным на Западе уже с XIII в. (ср. Леман, 1963, с. 145-150, 233-250); соответственно, бытование подобных текстов свидетельствует о том, что ц-сл. получает те же функции, что и латынь на Западе. Посредническую роль при этом играет книжная традиция Ю.-З. Руси, где подобные тексты были распространены и раньше в связи с польским культурным влиянием (см. 15.4). Знаменательно в этом смысле, что в конце XVII в. сатирические произведения, поскольку они проникают в литературу, т.е. начинают пониматься именно как литературные произведения, могут восприниматься на Руси как перевод с польского - даже и в том случае, когда они являются чисто русскими по своему происхождению; произведения такого рода сопровождаются в рукописях характерными пометами типа "выписано из полских книг", "ис кроловских книг" и т.п. (Демкова, 1965, с. 95).

В течение XVIII в. создается целая литература пародийных акафистов, пародийных молитв и т.д. Эта литература образует определенную традицию, которая явно связана с се-

минарской средой, т.е. с той средой, где ц-сл. язык употреблялся в качестве разговорного. Характерным примером может служить "Акафист матери кукурузе", сложенный студентами Киевской духовной академии: "Бысть послан комиссар [помощник эконома] на базар рыбы купити, узрев же тя кукурузу сушу, возопи гласом велиим и рече: радуйся, кукурузо, пище презельная и пресладкая, радуйся, кукурузо, пище ядомая и николи же изъядаемая, радуйся, кукурузо, отцом ректором николи же зримая, радуйся, и инспектором николи же ядомая", и т.д. (Лесков, VII, с. 137). Тексты такого рода воспринимаются по большей части как нейтральные, т.е. как результат своеобразной языковой игры (то же восприятие характерно и для средневекового Запада). Поскольку они связаны с духовной средой, они явно не имеют характера намеренного кощунства (в XVIII в. мы встречаем их у таких безусловно религиозных людей, как Державин или Суворов, см. письмо Державина к неизвестному лицу 1780-х гг. или письмо Суворова Д. И. Хвостову от 19.VII.1799 г., которые написаны по-церковнославянски - Державин, V, с. 666-667, № 611; Петрушевский, III, с. 140). Между тем, в начале разбираемого периода, когда традиционное восприятие оставалось еще достаточно актуальным, подобные тексты могли расцениваться как кощунство. В предисловии к "Службе кабаку" специально говорится, что этот текст можно читать с добрым намерением; тому же, кто считает, что это кощунство, данный текст читать не следует. Подобно тому, как можно кощунствовать, цитируя тексты Св. Писания, - говорится в предисловии, - можно оставаться благочестивым, обращаясь к пародийным текстам такого рода: все зависит от доброго или злого намерения (Адрианова-Перетц, 1977, с. 156-157). Мы можем констатировать здесь новое отношение к тексту: ранее текст был самодостаточен, т.е. все его характеристики определялись внутренними по отношению к тексту моментами; сейчас же он связывается с восприятием читателя, и таким образом, смысл текста определяется не самим текстом как таковым, а его прочтением.

Обычно пародийное использование ц-сл. языка сочетается с пародированием церковных текстов, т.е. пародируются не только языковые, но и культурные моменты. Наряду с такими пародиями мы встречаем тексты, где комический эффект создается самим фактом применения ц-сл. языка в неподобающей ситуации, т.е. имеет место как бы травестийный перевод с рус. языка на ц-сл. в игровых целях, когда пародируется само говорение на ц-сл. языке как языковая деятельность. Примеры такого рода можно найти в произведениях Сумарокова и его последователей (например, В. И. Майкова). Так, в "Тресотиниусе" (1750 г.) Сумароков заставляет педанта Ксаксоксимениуса говорить таким образом: "Подаждь ми перо, и абие положу знамение преславного моего имени, его же не всяк язык изрещи может" (Сумароков, V, с. 322). Автор явно переводит при этом с рус. языка на ц-сл. (имея в виду примерно такую рус. фразу: "Подай мне перо, и я тотчас изображу свое знаменитое имя, которое не всякий народ [или: язык] может выговорить"), и знаменательно, что Тредиаковский обвиняет Сумарокова именно в неисправности такого перевода: по мнению Тредиаковского, следовало бы сказать: "Даждь ми трость, да абие положу знамение преславного моего имени, еже не всяк язык изрещи может" (Куник, II, с. 438). У нас есть сведения, что подобное пародийное употребление ц-сл. языка действительно могло иметь место. Об этом говорит, например, доношение А. П. Сумарокова Главной полицмейстерской канцелярии от 24.I.1774 г. Сообщая о том, что его слуга по каким-то причинам взят под караул, Сумароков пишет: "Сама Съезжая признала, что мой слуга невинен, однако господин капитан Баранов присланному моему сказал ругательски пословенски: 'Чадо, что глаголеши, абие еще...' и прочее, что и не в складке приказном. Хотя мой посланный и человек государев, а хотя бы и мой был, так капитану Съезжей кощунствовать непристойно" (Оснадцатый век, III, М., 1869, с. 186). Сумароков в данном случае усматривает в поведении чиновника, прибегнувшего к ц-сл. языку там,

где ожидался бы приказной слог, не только личное оскорбление, но и кощунство против святыни, для нас же существенно, что полицейский пользуется ц-сл. языком в издевательских целях. Перевод с рус. языка на ц-сл. имеет в этих случаях явно комический эффект, подобно тому, как комический эффект может иметь и обратный перевод с церковнославянского на русский.

Таким образом, любая языковая травестия - как использование ц-сл. языка на месте русского, так и наоборот, - в принципе создает комический эффект, и именно этим обусловлено соответствующее явление в литературном творчестве. Подобное литературное обыгрывание языковых средств мы и наблюдаем в XVIII в. в специальных жанрах бурлеска и ирои-комической поэмы, построенных на несоответствии языковых средств и содержания: в одном случае высокое, торжественное содержание передается низкими языковыми средствами (бурлеск), в другом - наоборот, низкому содержанию соответствует высокий славянизированный язык (ирои-комическая поэма). Оба жанра появляются в России в XVIII в. под непосредственным французским влиянием, однако существенно, что этот жанровый принцип накладывается на специфическую рус. ситуацию церковнославянского-рус. двуязычия. Соответственно, в России эти жанры получают такое языковое оформление, которого они не могли иметь во Франции. Характерен протест Варлаама Лашевского, учителя пиитики в Киевской духовной академии, принимавшего затем участие в издании Елизаветинской библии (см. 18.2.1), против шуточных песен на библейские темы, использующих книжные средства выражения, которые имели широкое хождение в школярской среде:

Видѣть безъ слезъ немощно, что глаголы жизни
Нынѣшній вѣкъ приведе въ конецъ укоризни!
Елико кощунствуютъ кошуны безстудны,
Гдѣ канты слагають, гдѣ комплементы блудны,
Матерія съ Писаній кошунамъ готова,
Въ кантахъ студныхъ начало отъ божіаго слова!
(Летописи рус. литературы и древности, I., М., 1859, с. 15).

Языковая травестия обоих типов свидетельствует о параллельном функционировании ц-сл. и рус. языков и, тем самым, об отношении двуязычия между этими языками. Важно подчеркнуть, что и та, и другая травестия, будучи в конечном счете связана с европеизацией рус. культуры и рус. языковой ситуации, наблюдается по преимуществу в относительно образованной среде.

19.2. Кодификация различий между ц-сл. и рус. языком: начальные формы кодификации рус. языка. Ситуация церковнославянского-рус. двуязычия закономерно приводит к кодификации рус. языка. Зачатки этой кодификации относятся к нач. XVIII в., ср. в этой связи характерное противопоставление ц-сл. языка и рус. "наречия" у Посошкова в "Зерцале очевидном" (1708 г.). Полемизируя со старообрядцами, Посошков заявляет: "вы не токмо грамматики [церковнославянского языка], но ниже наречия силу разумеете, а в справу грамматическия науки вступаете... Я и сам человек не ученый есмь, но токмо в наречии Божиим дарованием отчасти признаваю..." (Посошков, 1895-1905, II, с. 20). Итак, книжному языку, рассуждение о котором доступно лишь ученым людям, противопоставит "наречие", "силу" которого можно познать интуитивно, "Божием дарованием". При этом фактически обсуждается хорошее (правильное) и плохое (неправильное) владение этим "наречием", т.е. признается, что не все носители рус. языка в одинаковой степени разумеют его "силу", - отсюда один шаг до кодификации рус. языка.

Начало кодификации рус. языка связано со стремлением осознать и зафиксировать различия между ц-сл. и рус. языком и, тем самым, привести в соответствие ц-сл. и рус. формы: такая задача предполагает описание рус. языка в каких-то его фрагментах. В частности, с нач. XVIII в. фиксируются лексические различия между двумя языками. Так, в

"Лексиконе треязычном" Феодора Поликарпова (1704 г.) мы встречаем спорадические сопоставления ц-сл. и "простых" рус. форм, например: "Азъ, простѣ глаголемо я", "вотъ, простѣ глаголемо емлется вмѣсто се" и т.п.; как мы видим, Поликарпов считает нужным давать рус. эквиваленты и таким ц-сл. словам, которые, вообще говоря, не нуждаются в объяснении, т.е. речь идет именно о установлении корреляции между ц-сл. и рус. лексикой, а тем самым и о частичной кодификации рус. словаря. В предисловии к "Лексикону треязычному" Поликарпов говорит: "Въ писахомъ же нѣколько рѣчей и простыхъ, да бы могли и не книжницы пользу обратити хотяще ины языки знати" (Поликарпов, 1704, предисл., л. 8 об.); отсюда Поликарпов может приводить в этом словаре в качестве "славенского" соответствия к греческому и латинскому слову, наряду с ц-сл. словом, его рус. эквивалент, например: *дщерица, дочка; печь, пещь* и т.п. И в этом случае рус. коррелят к ц-сл. слову явно дается не в силу непонятности последнего (это может выступать лишь как дополнительный фактор), но ввиду равноправности ц-сл. и рус. варианта: оба варианта в своей совокупности образуют соответствие к греческому или латинскому слову, и поместить один ц-сл. вариант оказывается недостаточным, что указывает на то, что рус. варианты получают литературный статус. Это особенно очевидно, когда различие между ц-сл. и рус. вариантом сводится к полногласию - неполногласию, ср., например, "*бразда* или *борозда*", "*порох, прах, пыль*", "*страна, сторона*" и т.п. Характерно, наконец, что в целом ряде случаев Поликарпов помещает в свой словарь рус. форму и при ней дает отсылку к соответствующему ц-сл. варианту, например: "*берег, зри брег*", "*говорю, зри глаголю*" и т.п.; в других случаях, напротив, при ц-сл. слове дается отсылка к рус. корреляту: "*платно, зри полотно*" (Живкович, 1958, с. 158-160). Подобные примеры, несомненно, свидетельствуют о процессе легитимации рус. лексики.

Аналогичные отношения между лексикой рус. и ц-сл. происхождения фиксируются уже в "Букваре славенскими, греческими и римскими писмены" Федора Поликарпова (М., 1701), отдельную часть которого составляет трехязычный словарик, являющийся как бы прототипом более позднего "Лексикона треязычного". Здесь также в качестве соответствия к греч. и латинскому слову может даваться, наряду с ц-сл. словом, его рус. эквивалент, ср. например: *вежди, века; вертоград, сад; ветрило, парусы; делва, бочка; десница, правая рука; ланита, щека; лоно, пазуха; мрежа, сеть; овен, баран; отроковица, девочка; рало, соха; рамо, плечо; срачица, рубашка; усмарь, кожевник; устне, губы*. Особенно наглядны случаи сочетания полногласного и неполногласного варианта: *блато, болото; врабий, воробей; жребя, жеребенок; злато, золото; клас, колос; мравий, муравей; пленник, полоненик; праг, порог; шлем, шелом* (Березина, 1980, с. 15-16).

Сколько-нибудь полные церковнославянско-рус. словари появляются на великорус. территории значительно позднее - только во второй пол. XVIII в., т.е. почти на двести лет позже появления аналогичных словарей в Ю.-З. Руси (ср. 15.3). Первым опытом такого рода явился "Церковный словарь" Петра Алексеева (1-е изд. - М., 1773); за ним следовал "Краткий словарь славянский" Евгения Романова (СПб., 1784).

Сходные соответствия между ц-сл. и "простыми" формами устанавливаются и в анонимной грамматике 1720-х годов (ЦГАДА, ф. 201, № 6), которая, по-видимому, принадлежит Фе-

дору Поликарпову: "иже... попросту ꙗ҃лється *который*" (л. 40), "*сего, ... бл҃гаго* - просто́ этово, *бл҃гова*" (л. 57 об.).

Сходным образом в грамматике Федора Максимова 1723 г. автор говорит в предисловии: "Наста нужда собрати от различныхъ въ кратцѣ сію грамматику, съ приложеніемъ простыхъ реченій, понеже въ ней обдержатся славенская реченія, россійски в'малѣ разумѣваема" (с. 3). Действительно, здесь содержится перевод ц-сл. форм или же целых фраз на рус. язык, и это говорит о том, что церковнославянский и русский воспринимаются как два полных языка, допускающие перевод с одного на другой. Показателен, в частности, раздел наречий, где на одной стороне листа сообщается ц-сл. форма, а на другой - ее рус. эквивалент. Характерно, что в некоторых случаях обе стороны листа заполнены одинаковыми словами, т.е. речь идет не о пояснении ц-сл. слова рус. словом, а о последовательном соотношении ц-сл. и рус. слов: в тех случаях, когда рус. слова совпадают с церковнославянскими, они все равно приводятся (например: ц-сл. *прямо* - рус. *прямо*, ц-сл. *почто* - рус. *почто*, ц-сл. *прежде*, рус. *прежде*, *переже*, *перьво*, ц-сл. *гдѣ*, рус. *гдѣ*, *въ которомъ мѣстѣ* и т.п.). Перевод фраз на рус. язык есть и в грамматике Мелетия Смотрицкого, переизданной Федором Поликарповым в 1721 г.; при этом явно прослеживается зависимость от ю-з-рус. традиции, поскольку в соответствующих местах первого издания грамматики Смотрицкого (1619 г.) те же самые фразы переведены на "просту мову". Поликарпов оставляет текст на "простой мове" и дает к нему параллельный рус. вариант, т.е. одна и та же фраза фигурирует на трех языках - на рус. языке, на "простой мове" ("малоросском", по терминологии Поликарпова) и на ц-сл. языке (см.: Горбач, 1964, с. 6, 56; Засадкевич, 1883, с. 147-148); рус. язык при этом непосредственно коррелирует с "простой мовой".

Уместно отметить, что сопоставление ц-сл. и рус. форм у Федора Максимова, по-видимому, восходит к рукописной греч. грамматике братьев Лихудов с параллельным славянским текстом, где совершенно таким же образом сопоставляются греч. книжные и разговорные формы наречий; в частности, и здесь выдержан тот же принцип последовательного соотношения тех и других форм, что и у Максимова, т.е. разговорные греч. формы дублируют книжные в тех случаях, когда они совпадают (см. например, ГБЛ, А-233, ф. 354, № 220, л. 61 об.). Эта зависимость вполне закономерна, поскольку Максимов был учеником Лихудов.

Следует иметь в виду, вместе с тем, что учеником Лихудов был и Федор Поликарпов; тем самым, сопоставление ц-сл. и "простых" рус. форм у Поликарпова, о котором мы говорили, может в принципе объясняться аналогичным образом. О сходной позиции еще одного ученика Лихудов - Алексея Барсова - мы уже упоминали выше (см. 18.3). Можно было бы заключить, что ориентация на греч. языковую ситуацию характерна именно для окружения Лихудов; в то же время в контексте греко-рус. языковых и культурных контактов такая ориентация, вообще говоря, представляется совершенно естественной, ср. выше (15.4) об аналогичной позиции Памвы Берынды, оправдывавшего перевод с греч. языка на "просту мову" определенных частей киевской Постной Триоди 1627 г.

Еще более показательны попытки осознать грамматические различия между ц-сл. и рус. языком. Такая попытка имеет место в рукописной "Технологии" 1725 г. (ГПБ, НСРК Ф.1921.60)

- пособию для учителя, составленном в виде вопросов и ответов, привязанных к разбору некоторых ц-сл. текстов; есть основания полагать, что автором этого сочинения является, опять-таки, Федор Поликарпов. В двух случаях, а именно при рассмотрении склонения (с. 96–97) и спряжения (с. 123–127) здесь обращается внимание на специфическое "великороссийское" словоизменение, противопоставленное "славенскому". Соответственно, здесь описывается это специфическое "великороссийское" словоизменение. Так, вслед за описанием правил склонения существительных в ц-сл. языке (с. 91–96) задается вопрос: "По положеннымъ славенскимъ прикладомъ великоросійски могутъ ли склоняться имена?". Следует ответ: "Могутъ, обаче в нѣкихъ правилахъ имутъ различествовати", и далее перечисляются эти правила, определяющие различия между ц-сл. и рус. системой склонения: "*Первое* в согласныхъ сихъ *г, к и х* премѣненія не бываетъ [перед тем говорилось об изменениях *г* в *з*, *к* в *ц*, *х* в *с* при словоизменении имени]. *Второе*, звателный всѣхъ склоненій числа единствен[наго] подобенъ именителному бываетъ. *Третье* в' числѣ множественномъ живущихъ вещей [т.е. одушевленных имен], не тако винителенъ, яко родителенъ бываетъ по употребленіи, яко *учю учеников*. *Четвертое* не живущихъ вещей числа единственного на ъ кончащихся именъ родителный болѣе употребляется на *у*, а не на *а*, яко *указъ, указу*. *Пятое*, в согласіи [т.е. согласовании] сихъ числительныхъ *два, три, четыре*, именителный множественный бываетъ на *а* или на *я*, яко *два ѣлка, три ѣлка, четыре человекъ, два учителя*, и проч. Обаче *три* употребляется сице изряднѣе *трое ѣлкъ*. *Пятое* [sic!] двойственное число не употребляется. *Шестое*, разсудительный степень [т.е. сравнительная степень] не бываетъ. Аще же и употребляется, обаче положительный с' надглаголіемъ [т.е. наречием], яко *болше крѣпокъ*, равнѣ бываетъ и превосходительный полагаемъ иногда, яко *крѣпчайшіи* полагается и сице *очунь болше крѣпокъ*. *Седьмое*, в прилагательныхъ женскихъ родителный иногда бываетъ равенъ дателному в' числѣ единственномъ [имеются в виду формы типа рус. *доброй* при ц-сл. *добрыя, добръѣ*]" (с. 96–97). Равным образом, после описания ц-сл. спряжения задается вопрос: "Во общемъ великоросійскомъ діалектѣ во глѣхъ тойже ли образъ хранится якож и в' славенскомъ?" Следует ответ: "Хранится, но точію не во всѣхъ, но в' нѣкоихъ". "Покажи ми великоросійски, како глы спрягаются", - предлагает учитель. Ученик отвечает: "Спрягаются сице:

Действителнѣ, настоящее
Единственнѣ
Я пишу, ты пишешъ, онъ, она, оно пишетъ
Множественнѣ
Мы пишемъ, вы пишете, они пишутъ
[Преходящее]
Единственнѣ
Я, ты, онъ давеча писалъ, ла, ло
Множ:
Мы, вы, они давеча писали
Мимошедшее единственнѣ
Я, ты, онъ давно писывалъ, ла, ло
Множ:
Мы, вы, они давно писывали

[Прешедшее]

Единственнѣ

Я, ты, онъ оногда написалъ, ла, ло

Множ:

Мы, вы, они оногда написали

Будущее

Единственнѣ

Я напишу, ты напишешъ, онъ напишет

Множ:

Мы напишемъ, вы напишете, они напишут

Повелительное настоящее

Единственнѣ

Ну ты пиши, пусть онъ пишетъ

Множ:

Ну мы пишемъ, ну вы пишете, пусть они пишутъ..." (с. 123-124).

Перед нами - элементы кодификации рус. языка, которые имеют пока фрагментарный характер. Последовательная кодификация рус. языка осуществляется позднее, а именно в 1738-1740 гг., когда появляется грамматика Адодурова - первая грамматика рус. языка, предназначенная для самих его носителей (см.: Успенский, 1975).

Нельзя не отметить, что кодификация различий между ц-сл. и рус. языком основывается на тех же противопоставлениях, которые проводятся при переделке ц-сл. текста в текст на "простом" языке, ср. выше о правке "Географии генеральной", выполненной Софронием Лихудом, или об аналогичной правке "Истории Петра Великого", осуществленной Феофаном Прокоповичем (см. 18.3.1). Речь идет, в сущности, об одной и той же системе противопоставлений, которая в одном случае фиксируется в грамматическом описании, в другом реализуется в языковой правке. Во всех этих случаях "простой" рус. язык противопоставлен ц-сл. языку по ограниченному числу признаков, в результате чего оказывается возможным более или менее автоматическое преобразование ц-сл. текста в русский и наоборот. В этих условиях рус. язык не мыслится еще как самостоятельное целое, а воспринимается, по существу, как производное от церковнославянского - поэтому перевод с одного языка на другой может сводиться к поэлементной замене ограниченного числа форм. Упражнения по такому именно переводу мы и находим в уже упоминавшейся (см. 18.2) учебной тетради Михаила Иванова 1726-1728 гг. (ГПБ, Вяз. Q 16, л. 72-75); тексты расположены здесь в две колонки:

простѣ

славенски

Я видѣлъ малчика, которои
стоячи в' цркви осудил члка,
немного погодя и сам осудился от
ныхъ [sic!] людей.

Я ето смотрячи молвил ему:
вот ежели бы ты не осудил
то бы и сам не осужденъ былъ.

Азъ видѣхъ отрока, иже в' цркви
осуди члка.
Послѣди и сам осужденъ бысть от
иных члкѣ.
Аз сіе зрящи рекъ ему: аще бы
ты не осудилъ еси не бы и сам
осужденъ бысть.

(л. 72).

Итак, если в свое время учили производить пересчет от некнижного языка к книжному (см. 8.11), то теперь учат поизводить пересчет в обратном направлении - от ц-сл. языка к "простому" рус. языку. Проявившееся здесь языковое сознание определяет первые шаги в коди-

фикации рус. литературного языка нового типа. Вместе с тем сам факт легализации рус. языка, который естественно объединяется в языковом сознании с разговорной речью, создает возможность непосредственной ориентации на живое употребление рус. языка. Хотя эта установка сказывается в полной мере лишь существенно позже, ее предпосылки можно видеть уже и в рассматриваемый период. Действительно, уже в петровскую эпоху представления о рус. языке могут быть обусловлены не только отталкиванием от ц.-сл. языка, но и обращением к некоторому корпусу текстов, которые признаются именно "русскими".

В этом плане определенную роль в кодификации рус. языка сыграл букварь Феофана Прокоповича 1720 г.: толкование (катехизис) на "простом" языке, приложенное к буквам и слогам (см. 18.3), должно было заменить псалмы и молитвы, по которым дети учились грамоте (ср. возражение против этого Дмитрия Кантемира - Пекарский, I, с. 179-181; Чистович, 1868, с. 51-52; Извеков, 1872, с. 1069); эти тексты предписывалось заучивать наизусть, и таким образом "простой" язык становится языком, которому учатся в процессе обучения чтению. По мысли Феофана, изучение толкований должно предшествовать заучиванию псалмов и молитв; в предисловии к букварю Феофан сообщает именно, что он составил эту книгу с тем, "да бы отроцы читать учащїися по буквах и слогах, во утверждєніе чтєнія своего, не псалмов и молитв, но сего толкованїя училися. А по сем уже в вѣрѣ и законѣ Божїи наставлени, могли бы с ползою учить псалмы и молитвы" (Феофан Прокопович, 1721, л. 5 об.). Тем самым, знакомство с "простым" языком оказывается необходимым условием при изучении ц.-сл. языка.

Букварь Феофана Прокоповича в 1722 г. был административным порядком введен для употребления в "архиерейские школы", предназначенные для детей духовного сословия и готовящие священнослужителей, с предписанием заучивать тексты букваря (толкования Символа веры, заповедей и т.п.) наизусть (ПСЗ, VI, № 4021; Верховской, I, с. 393); итак, если ранее после овладения грамотой заучивали наизусть Псалтырь и молитвы, т.е. тексты на ц.-сл. языке, то теперь их заменяют в этой функции толкования на "простом" языке. Вместе с тем, в 1723 г. букварь Прокоповича было предписано читать в церквях великим постом вместо творений Ефрема Сирина и Соборника (ПСЗ, VII, № 4172; Пекарский, I, с. 181); таким образом, "простой" язык вторгается и в сферу церковного богослужения. В обоих случаях - как в сфере преподавания, так и в сфере богослужения - "простой" язык конкурирует с ц.-сл. языком, и это явно способствует процессу кодификации рус. языка.

19.3. Некоторые итоги и перспективы. Так осуществляется переход от церковнославянско-рус. диглоссии к церковнославянско-рус. двуязычию. Поскольку двуязычие, в отличие от диглоссии, является нестабильной языковой ситуацией - оба языка конкурируют друг с другом, а не распределяют свои функции, - рус. язык постепенно оттесняет церковнославянский на периферию языкового сознания, узурпируя права и функции литературного языка и оставляя за ц.-сл. языком в конечном счете лишь функции языка культового. Таким образом, следствием указанного процесса является становление рус. литературного языка нового типа - языка, в той или иной мере ориентированного на разговорную речь. Вместе с тем, именно на фоне церковнославянско-рус. двуязычия в конце XVII в. и в XVIII в. усваивается иностранно-русское двуязычие - польско-русское, голландско-русское, немецко-русское, французско-

русское,- когда тот или иной иностранный язык выступает в определенной языковой среде на правах высокого, литературного языка.

Одним из следствий перехода от диглоссии к двуязычию является социолингвистическое расслоение общества. Как уже говорилось, переход к двуязычию в значительной степени переводит проблему литературного языка в социолингвистический план (см. 2.2.2; ср. 15.4). При диглоссии одни и те же представления о языковой норме (которые относятся исключительно к книжной, а не разговорной речи) объединяют общество, оказываются едиными в принципе для всех социальных группировок. Напротив, при двуязычии - когда распадается функциональный баланс между сосуществующими языками, которые начинают конкурировать друг с другом, уподобляясь по своим функциям, и когда, соответственно, литературный язык перестает противопоставляться разговорному - владение тем или иным языком (будь то ц-сл. или какой-то иностранный язык), наряду с рус. языком, оказывается привилегией определенной части общества. Так, например, ц-сл. язык становится в этих условиях языком ученой корпорации или же духовного сословия и может в дальнейшем восприниматься в социолингвистической перспективе как своего рода сословный жаргон ("семинарское наречие"). Точно так же владение французским языком в известный период характерно для дворянского элитарного общества, и т.п. Таким образом, в условиях разрушения диглоссии социальная языковая норма выступает как субститут книжной, т.е. отношения между языковыми нормами переносятся в социальный план: проблема языковой правильности определяется социальным престижем того или иного социума. Соответственно определяется роль и удельный вес той или иной языковой стихии в процессе формирования нового рус. литературного языка.

Итак, в XVIII в. языковая ситуация радикально меняется, поскольку утверждается в своих правах новый рус. литературный язык. Этот язык, с одной стороны, противопоставлен ц-сл. языку, с другой же стороны, он принимает на себя функции ц-сл. языка. Это амбивалентное отношение к ц-сл. языку - противопоставленности и преемственности - определяет возможные направления эволюции рус. литературного языка, который может развиваться как по пути отталкивания от ц-сл. языка, так и по пути сближения с ним. Обе эти возможности и реализуются на различных этапах кодификации рус. литературного языка (см. Успенский, 1985).

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ААЗ, I-IV - Акты, собранные ... Археографическою экспедициею Академии наук, I-IV. СПб., 1836.
- Абакумов, 1948 - С. И. Абакумов. Вопросы пунктуации в трудах русских книжников XV-XVIII вв. - "Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та", XII, М., 1948.
- Аделфотес, 1591 - 'Αδελφότης. Грамматика доброглаголиваго еллино-словенского языка. Львов, 1591. См. изд.: Adelphotes. Herausgegeben und eingeleitet von O. Horbatsch. Frankfurt am Main, 1973.
- Адрианова-Перетц, 1977 - В. П. Адрианова-Перетц. Русская демократическая сатира XVII в. М., 1977.
- АИ, I-V - Акты исторические., I-V. СПб., 1841-1842.
- Айсман, 1972 - W. Eismann. O silogizme vytolkovano. Eine Übersetzung des Fürsten Andrej M. Kurbskij aus den Erotemata Trivii Johann Spangenberg's. Wiesbaden, 1972.
- Аксенова, 1981 - Е. А. Аксенова. Важный памятник средневековой грамматико-лексикографической традиции. - Сов. сл., 1981, № 1.
- Акты Зап. России, I-V - Акты, относящиеся к истории Западной России., I-V. СПб., 1846-1853.
- Акты Киевской академии, I-V - Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отделение II-е (1721-1795 гг.), т. I-V. Киев, 1904-1908.
- Акты С.-В. Руси, I-III - Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV - начала XVI в., I-III. М., 1952-1964.
- Алексеев, 1773 - Петр Алексеев. Церковный словарь... М., 1773.
- Алексеев, 1776 - Петр Алексеев. Дополнение к церковному словарю. М., 1776.
- Алексеев, 1981 - А. А. Алексеев. "Песнь песней" по русскому списку XVI в. в переводе с древнееврейского оригинала. - Пал. сб., XXVII, 1981.
- Алипий, 1964 - Алупій (Гамановичъ). Грамматика церковно-славянскаго языка. Jordanville, 1964.
- Алмазов, I-III - А. И. Алмазов. Тайная исповедь в православной Восточной церкви, I-III. Одесса, 1894.
- Амфилохий, 1884 - Амфилохий. Лексис с толкованием словенских мов просто. - ЧОИДР, 1884, кн. 2. Переиздано: Нимчук, 1964, с. 175-194.
- Аниченко, 1969 - У. В. Анічэнка. Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі. Мінск, 1969.
- Аниченко и др., I-II - У. В. Анічэнка, П. В. Вярхоў, А. І. Жураўскі, Я. М. Рамановіч. Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы, I-II. Мінск, 1961-1962.
- Аннушкин, 1984 - В. И. Аннушкин. Редакции "Риторик" начала XVII в. - "Древнерусская литература. Источниковедение". Л., 1984.
- Античные риторик - Античные риторки. М., 1978.
- Ариньон, 1980 - Ж.-П. Ариньон. Международные отношения Киевской Руси в середине X в. и крещение княгини Ольги. - ВВ, XLI, 1980.
- Арх. ев. - Архангельское ев. (1092 г.). ГБЛ, Муз. 1666 (Св. кат. XI-XIII вв., № 6). См. изд.: Архангельское евангелие 1092 г. М., 1912.
- Архангельский, 1888 - А. С. Архангельский. Очерки из истории западно-русской литературы XVI-XVII вв. - ЧОИДР, 1888, кн. 1.
- Архив Куракина, I-X - Архив князя Ф. А. Куракина, I-X. СПб.-Саратов-М.-Астрахань, 1890-1902.
- Архив Ю.-З. России, I-XII - Архив Юго-Западной России., ч. I, тт. I-XII. Киев, 1859-1904.
- Арциховский, 1954 - А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). М., 1954.
- Арциховский, 1963 - А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958-1961 гг.). М., 1963.
- Арциховский и Борковский, 1958 - А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953-1954 гг.). М., 1958.
- Арциховский и Борковский, 1958а - А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). М., 1958.

- Арциховский и Борковский, 1963 - А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956-1957 гг.). М., 1963.
- Арциховский и Тихомиров, 1953 - А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М., 1953.
- Арциховский и Янин, 1978 - А. В. Арциховский, В. Л. Янин. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962-1976 гг.) М., 1978.
- Ассем. ев. - Ассеманиево ев. (XI в., ст.-сл.). См. изд.: J. Vajs, J. Kurz. *Evangeliarium Assemani*, I-II. Praga, 1929-1955.
- Афанасий Холмогорский, 1682 - [Афанасий, архиепископ Холмогорский]. Увет духовный. М., 1682.
- Афанасьев, I-III - А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу, I-III. М., 1865-1869.
- Афанасьев, 1957 - А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки в 3-х томах. М., 1957.
- Баар, 1968 - А. Н. van den Baar. *A Russian Church Slavonic Kanonnik (1331-1332)*. The Hague-Paris, 1968.
- Бандуров, 1905 - Б. А. Бандуров. Евангелие-апракос XIV в. имп. Публичной библиотеки (F.п.I.9) как памятник древнерусского языка. - РФВ, LIII, 1905, 1.
- Барсов, 1882 - Е. Барсов. Письмо проф. Е. Е. Голубинскому... - ЧОИДР, 1882, кн. 3.
- Барсов, 1883 - Е. В. Барсов. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство. М., 1883.
- Барсов, 1981 - А. А. Барсов. Российская грамматика [1783-1788 гг.]. М., 1981.
- Белодед, 1958 - Курс історії української літературної мови, т. I. За ред. І. К. Білодіда. Київ, 1958.
- Белокуров, I-II - С. Белокуров. Арсений Суханов, I-II. М., 1891-1893.
- Белокуров, 1886 - Сильвестра Медведева "Известие истинное православным и показание светлое о новоисправлении книжном и прочем". С предисловием и примечаниями С. Белокурова. М., 1886.
- Белокуров, 1888 - С. Белокуров. Адам Олеарий о греко-латинской школе Арсения Грека в Москве в XVII в. М., 1888.
- Беляев, 1911 - И. С. Беляев. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV-XVIII ст. М., 1911.
- Березина, 1980 - О. Е. Березина. Два тематических лексикона начала XVIII в. - "Словари и словарное дело в России XVIII в.". Л., 1980.
- Берестяные грамоты, № 1-614 - см. изд.: Арциховский и Тихомиров, 1953 (№ 1-10); Арциховский, 1954 (№ 11-83); Арциховский и Борковский, 1958 (№ 84-136); Арциховский и Борковский, 1958a (№ 137-194); Арциховский и Борковский, 1963 (№ 195-318); Арциховский, 1963 (№ 319-405); Арциховский и Янин, 1978 (№ 406-539); Янин и Зализняк, 1986 (№ 540-614).
- Берков, 1936 - П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. Л., 1936.
- Берков, 1951 - П. Н. Берков. Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.-Л., 1951.
- Бернштейн, 1941 - С. И. Бернштейн. А. А. Шахматов как исследователь русского литературного языка. - В изд.: Шахматов, 1941.
- Берында, 1627 - Памва Берында. Лексіконъ славеноросскій и именъ тлъкованіе. Киев, 1627. Переиздано: Нимчук, 1961.
- Берында, 1653 - Памва Берында. Лексіконъ славеноросскій, именъ толькованіе. Кутейн, 1653.
- Биргегорд, 1985 - U. Birgegård. Johan Gabriel Sparwenfeld and the *Lexicon Slavonicum*. Uppsala, 1985.
- Благ. кондакаръ - Благовещенский кондакаръ (XII-XIII в.). ГПБ. Q.п.I.32; отрывок в Одесской гос. науч. б-ке, 1/93 (Св. кат. XI-XIII вв., № 153-154). См.: А. Dostál, H. Rothe. *Der altrussische Kondakar'*, VIII, 2. Gießen, 1976.
- Богданович, 1978 - Д. Богдановић. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Београд, 1978.
- Богосл. Дамаскина - Богословие Иоанна Дамаскина (XII-XIII в.). ГИМ, Син. 108 (Св. кат. XI-XIII вв., № 141). См. изд.: Богословие Святаго Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Ексарха Болгарскаго. М., 1878.
- Бодянский, 1848 - О. Бодянский. Славянорусские сочинения в пергаменном сборнике И. Н. Царского. - ЧОИДР, 1848, № 7.
- Борковский и Кузнецов, 1963 - В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.

- Бороздин, 1898 - А. К. Бороздин. Протопоп Аввакум, СПб., 1898.
- Бочаров и Выголов, 1979 - Г. Н. Бочаров, В. П. Выголов. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. М., 1979.
- Бражников, 1974 - Федор Крестьянин. Стихиры. Публикация, расшифровка и исследование М. В. Бражникова. М., 1974.
- Браиловский, 1890 - С. Браиловский. Очерки из истории просвещения в Московской Руси в XVII в., I-II. - "Чтения в Об-ве любителей духовного просвещения", 1890, март (с. 425-450), сентябрь (с. 361-405).
- Браиловский, 1894 - С. Н. Браиловский. Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии. - ЖМНП, 1894, № 9 (с. 1-37), 10 (с. 242-286), 11 (с. 50-91).
- Браиловский, 1902 - С. Н. Браиловский. Один из пестрых XVII-го столетия. СПб., 1902.
- Бройер, 1957 - Н. Bräuer. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und Altrussischen. Wiesbaden, 1957.
- Бубнов и Демкова, 1981 - Н. Ю. Бубнов, Н. С. Демкова. Вновь найденное послание из Москвы в Пустозерск "Возвешение от сына духовного ко отцу духовному" и ответ протопопа Аввакума (1676 г.). - ТОДРЛ, XXXVI, 1981.
- Будзишевская, 1969 - W. Budziszewska. Zapożyczenia greckie w historii języka bułgarskiego. Warszawa, 1969.
- Букварь Ивана Федорова 1574 г. - [Букварь]. Львов, 1574. См. изд.: Граматика Івана Федорова. Київ, 1964.
- Букварь Ивана Федорова 1578 г. - [Букварь]. Острог, 1578. См. изд.: Острожская азбука Івана Федорова. [Под ред. Е. Л. Немировского]. М., 1983.
- Букварь Кариона Истомина 1694 г. - Букварь. М., 1694. См. издания: Тарабрин, 1916; Букварь, составлен Карионом Истоминным... Л., 1981.
- Букварь, 1790 - Букварь. Львов, 1790.
- Булич, 1893 - С. Булич. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. СПб., 1893.
- Булич, 1904 - С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904.
- Булыко, 1970 - А. М. Булыка. Развіццё арфаграфічнай сістэмы старабеларускай мовы. Мінск, 1970.
- Буслаев, 1859 - Ф. И. Буслаев. Рец. на кн.: Православный собеседник... - "Летописи русской литературы и древности", изд. Н. Тихонравовым, т. I, кн. 1. М., 1859.
- Буслаев, 1861 - Ф. Буслаев. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861.
- Буслаев, 1959 - Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
- Быкова, 1955 - Т. А. Быкова. Место "Букваря" Ивана Федорова среди других начальных учебников. - "Изв. АН СССР", ОЛЯ, XIV, 1955, 5.
- Бычк. пс. - Бычковская пс. (XI в.). Собр. монастыря св. Екатерины на Синае, Slav. 6; отрывок в ГПБ, Q.п.I.73 (Св. кат. XI-XIII вв.; № 28). См. изд.: M. Altbauer. An Early Slavonic Psalter from Rus'. Cambridge, 1978.
- Бьюри, 1906 - J. B. Bury. The Treatise *De administrando imperio*. - "Byzantinische Zeitschrift", XV, 1906.
- Бэкклунд, 1959 - A. Baecklund. Personal Names in Medieval Velikij Novgorod. Stockholm, 1959.
- Вайан, 1935 - A. Vaillant. Les "lettres russes" de la Vie de Constantin. - RĖS, XV, 1935, 1-2.
- Вайан, 1952 - А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
- Васильев, 1929 - Л. Л. Васильев. О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI-XVII вв. К вопросу о произношении звука о в великорусском наречии. Л., 1929 (Сб. РЯС, I, 2).
- Вертоградский, 1914 - М. Вертоградский. Исправление служебника в Москве во второй половине XVII в. - "Журналы Совета С-Петербургской Духовной академии 1913-1914 г.". СПб., 1914 (с. 426-427).
- Верховский, I-II - П. В. Верховский. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент, I-II. Ростов-на-Дону, 1916.
- Вздорнов, 1968 - Г. И. Вздорнов. Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV-XV вв. - ТОДРЛ, XXIII, 1968.

- Виднэс, 1958 - М. Виднэс. О выражении принадлежности притяжательным прилагательным и родительным падежом принадлежности в русском языке XVIII-XIX вв. - Sc.-Sl., IV, 1958.
- Вилинский, I-II - С. Г. Вилинский. Житие святого Василия Нового в русской литературе, I-II. Одесса, 1911-1913.
- Виноградов, I-III - Н. Виноградов. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч., I-III. СПб., 1907-1910.
- Виноградов, 1923 - В. В. Виноградов. Исследования в области фонетики северно-русского наречия. Пг., 1923. Оттиск из ИОРЯС, XXIV, 1-2.
- Виноградов, 1938 - В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. М., 1938.
- Виноградов, 1958 - В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958.
- Винокур, 1959 - Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Витковский, 1969 - W. Witkowski. Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku. Kraków, 1969.
- Вишенский, 1955 - Иван Вишенский. Соч., М.-Л., 1955.
- Владимиров, 1889 - П. Владимиров. Предисловие Василия Тяпинского к печатному евангелию, изданному в Западной России, около 1570 г. - "Киевская старина", XXIV, 1889, январь (приложения).
- Владимиров, 1899 - П. Владимиров. Пятидесятилетие "Мыслей об истории русского языка". - "Университетские Известия", Киев, 1899, № 2.
- Владимирский-Буданов, I-III - М. Владимирский-Буданов. Хрестоматия по истории русского права. I-III. Изд. 3-е. Киев-СПб., 1885-1887.
- Власто, 1970 - A. P. Vlasto. The Entry of the Slavs into Christendom. Cambridge, 1970.
- ВМЧ, октябрь - Великие Минеи Четьи, собранные митр. Макарием. Октябрь. СПб., 1870-1880.
- Водов, 1978 - W. Vodoff. Remarques sur la valeur du terme "tsar" appliqué aux princes russes avant le milieu du XVe siècle. - "Oxford Slavonic Papers", n.s., XI, 1978.
- Возняк, I-III - М. Возняк. Історія української літератури, I-III. Львів, 1920-1924.
- Ворт, 1984 - D. S. Worth. Incipits in the Novgorod Birchbark Letters. - "Semiosis. Semiotics and the History of Culture. In honorem Georgii Lotman". [Ann Arbor], 1984.
- Востоков, 1842 - А. Востоков. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музея. СПб., 1842.
- Выголекс. сб. - Выголексинский сб. (кон. XII в.). ГБЛ, Муз. 1832 (Св. кат. XI-XIII вв., № 119). См. изд.: В. Ф. Дубровина и др. Выголексинский сборник. М., 1977.
- Гард, 1974 - П. Гард. К истории восточнославянских гласных среднего подъема. - ВЯ, 1974, № 3.
- Гезен, 1884 - А. Гезен. История славянского перевода символов веры. СПб., 1884.
- Геннад. библия - Геннадиевская библия (1499 г.). ГИМ, Син. 915.
- Геров, 1938 - B. Gerov. Die Wiedergabe des griechischen φ und des griechischen f-Lautes im Altbulgarischen. - "Studia historico-philologica Serdicensia", I. Sofia, 1938.
- Геров, 1942 - B. Gerov. Die Wiedergabe des griechischen υ (ot) im Altbulgarischen. - "Glotta", XXIX. Göttingen, 1942.
- Геров, 1943 - B. Gerov. Die griechischen, semitischen und lateinischen Nomina im Altbulgarischen. - "Годишник на Университета св. Климент Охридски. Ист.-филол. ф-т", XXXIX. София, 1942/43.
- Гиббенет, I-II - Н. Гиббенет. Историческое исследование дела патриарха Никона, I-II. СПб., 1882-1884.
- Голубев, I-II - С. Т. Голубев. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, I-II. Киев, 1883-1898.
- Голубев, 1886 - С. Т. Голубев. История Киевской духовной академии. Киев, 1886.
- Голубев, 1971 - И. Ф. Голубев. Встреча Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого и Паисия Лигарида с Николаем Спафарием и их беседа. - ТОДРЛ, XXVI, 1971.
- Голубинский, I-II - Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1-2 (изд. 2-е. - М., 1901-1904), т. II, ч. 1-2 (М., 1900-1917).

- Голубцов, 1890 - А. Г-в [=А. Голубцов]. Судьба Евангелия учительного Кирилла Транквилиона-Ставровецкого. - "Чтения в Об-ве любителей духовного просвещения", 1890, апрель.
- Голышенко, 1977 - [В. С. Голышенко]. Введение. - В изд.: В. Ф. Дубровина и др. Выголексинский сборник. М., 1977.
- Горбач, 1964 - О. Horbatsch. Die vier Ausgaben der kirchenslavischen Grammatik von M. Smotřickýj. Wiesbaden, 1964.
- Горский и Невоструев, I-III - А. В. Горский, К. И. Невоструев. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, I-III. М., 1855-1917.
- Горшкова и Хабургаев, 1981 - К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка. М., 1981.
- Грамматика 1638 г. - Грамматика или писменница языка Словен'скаго тщателемъ въкратце издана. Кременец, 1638. См. изд.: Hrammatiki ili pismennica jazyka sloven'skaĥo ... Herausgegeben und eingeleitet von O. Horbatsch. Frankfurt am Main, 1977.
- Грамоты Новгорода и Пскова - Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949.
- Гранстрем, 1954 - Е. Э. Гранстрем. Сокращения древнейших славяно-русских рукописей. - ТОДРЛ, X, 1954.
- Гранстрем, 1974 - Е. Э. Гранстрем. Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменности (XI-XIV вв.) - ТОДРЛ, XXIX, 1974.
- Гребенюк, 1979 - В. П. Гребенюк. Панегирическая литература петровского времени. М., 1979.
- Григорьев, 1913 - А. Д. Григорьев. Повесть об Акире Премудром. М., 1913.
- Гринкова, 1948 - Н. П. Гринкова. Некоторые случаи повторения предлогов в кировских диалектах. - "Язык и мышление", XI. М.-Л., 1948.
- Грот, 1911 - К. Грот. Из бумаг А. В. Храповицкого. - "Старина и новизна", XV. СПб., 1911.
- Гунгер, 1953 - Н. Hunger. Zum Epilog der Theogonie des Johannes Tzetzes. - "Byzantinische Zeitschrift", XLVI, 1953, 2.
- Давид, 1690 - [Georgius David, S.J.]. Exemplar Characteris Moscovitico-Ruthenici Duplicis Biblici et Usualis. Nissa, 1690.
- Даркевич, 1962 - В. П. Даркевич. Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире. - "Советская археология", 1962, № 4.
- Даркевич, 1968 - В. П. Даркевич. О некоторых византийских мотивах в древнерусской скульптуре. - "Славяне и Русь". М., 1968.
- Дворник, 1954 - F. Dvornik. Les bénédictins et la christianisation de la Russie. - "L'Eglise et les églises. Études et travaux offerts à Dom Lambert Beauduin", I. Chevetogne, 1954.
- Дворник, 1970 - F. Dvorník. Byzantské misie u slovanů. Praha, 1970.
- Дель-Агата, 1983 - Г. Дел Агата. Бележки върху историята на езиковия въпрос в България. - "Първи международен конгрес по българистика. Доклади. Исторически развой на българския език". София, 1983.
- Дель-Агата, 1983a - G. Dell'Agata. Paralleli greco-bulgari nella Questione della lingua nell'epoca del Vázrazdane. - "Mondo slavo e cultura italiana. Contributi italiani al IX Congresso Internazionale degli Slavisti. Kiev 1983". Roma, 1983.
- Дель-Агата, 1984 - G. Dell'Agata. The Bulgarian Language Question from the Sixteenth to the Nineteenth Century. - "Aspects of the Slavic Language Question", I. New Haven, 1984.
- Демин, 1965 - А. С. Демин. Демократическая поэзия XVII в. в письмовниках и сборниках виршевых посланий. - ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Демкова, 1965 - Н. С. Демкова. Неизданное сатирическое произведение о духовенстве. - ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Демкова, 1965a - Н. С. Демкова. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. - ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Демкова, 1974 - Н. С. Демкова. Из истории ранней старообрядческой литературы. - ТОДРЛ, XXVIII, 1974.
- Демкова и Малышев, 1971 - Н. С. Демкова, В. И. Малышев. Неизвестные письма протопопа Аввакума. - "Зап. Отдела рукописей ГБЛ", XXXII, 1971.
- Державин, I-VII - [Г. Р.] Державин. Соч. (2-е акад. изд.), I-VII. СПб., 1868-1878.
- Державина, 1962 - С. А. Державина. Фацеции. М., 1962.

- Деяния первого собора... - Деяния первого Всероссийского собора христиан-поморцев, приемлющих брак... М., 1909.
- Дмитриев, 1958 - Л. А. Дмитриев. Повести о житии Михаила Клопского. М.-Л., 1958.
- Дмитриевский. О исправлении книг... - А. А. Дмитриевский. О исправлении книг при патриархе Никоне и последующих патриархах. Рукопись ГПБ, ф. 253, № 129.
- Дмитриевский, 1895 - А. А. Дмитриевский. Новые данные по исправлению богослужебных книг в Москве в XVII и XVIII вв. - "Чтения в историческом об-ве Нестора летописца", IX. Киев, 1895.
- Дмитриевский, 1909 - [Сообщение о докладе А. А. Дмитриевского в ОЛДП]. - "Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства", № 40 от 21.II.1909.
- Дмитриевский, 1912 - А. А. Дмитриевский. Отзыв о соч. М. И. Орлова "Литургия св. Василия Великого". - "Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых имп. Академией наук", т. IV за 1909 год. СПб., 1912.
- Добрил. ев. - Добролюбо ев. (1164 г.). ГБЛ, Рум. 103 (Св. кат. XI-XIII вв., № 55).
- Добромирово ев. - Добромирово ев. (XII в., болгарское). См. изд.: Б. Велчева. Добромирово евангелие. София, 1975.
- Доп. к АИ, I-XII - Дополнения к Актам историческим., I-XII. СПб., 1846-1875.
- Достоевский, I-XXX - Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., I-XXX. Л., 1972-1988.
- Дружинин, 1909 - В. Г. Дружинин. Несколько неизвестных литературных памятников из сборника XVI-го века. СПб., 1909. Оттиск из "Летописи занятий Археографической комиссии" за 1908 г., вып. 21.
- Дуйчев, 1963 - И. Дуйчев. Центры византийско-славянского сотрудничества. - ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Дурново, IV-VI - Н. Дурново. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка. - "Южнославянский филолог", IV, 1924 (с. 72-94), V, 1925-26 (с. 93-117), VI, 1926-27 (с. 11-64).
- Дурново, 1924 - Н. Дурново. Очерк истории русского языка. М.-Л., 1924.
- Дурново, 1924а - Н. Н. Дурново. Спорные вопросы о-сл. фонетики, I. - "Slavia", III, 1924, 2-3.
- Дурново, 1926 - N. Durnovo. Zur Entstehung der Vokalbezeichnungen in den slav. Alphabeten. - ZslPh, III, 1926, 3/4.
- Дурново, 1933 - Н. Дурново. Славянское правописание XI-XII вв. - "Slavia", XII, 1933, 1-2.
- Дурново, 1969 - Н. Н. Дурново. Введение в историю русского языка. М., 1969.
- Дьяконов, 1889 - М. Дьяконов. Власть московских государей. СПб., 1889.
- Евсеев, 1915 - И. Евсеев. Черты бытовой истории славянской Библии в XVI-XVII вв. - "Христианское чтение", 1915, март.
- Евфимий, 1865 - [Евфимий, инок Чудова монастыря]. Остен. Казань, 1865.
- Егунов, 1964 - А. Н. Егунов. Гомер в русских переводах XVIII-XIX вв. М.-Л., 1964.
- Еленски, 1960 - Й. Еленски. Редуцированные гласные в Святославовом изборнике 1073 г. - "Годишник на Софийския университет. Филол. ф-т", LIV, 1. София, 1960.
- Енсен, 1912 - A. Jensen. Die Anfänge der schwedischen Slavistik. - "Archiv für slavische Philologie", XXXIII, 1912, 1-2.
- Еремин, 1947 - И. П. Еремин. Литературное наследие Феодосия Печерского. - ТОДРЛ, V, 1947.
- Еремин, 1966 - И. П. Еремин. Литература древней Руси. М.-Л., 1966.
- Ефр. кормчая - Ефремовская кормчая (XII в.). ГИМ, Син. 227 (Св. кат. XI-XIII вв., № 75). См. изд.: В. Н. Бенешевич. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906-1907.
- Живкович, 1958 - С. Живкович. Русский лексикон 1704 г. - "Славянская филология", III. М., 1958.
- Живов, 1984 - В. М. Живов. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI-XIII вв. - RL, VIII, 1984, 3.
- Живов, 1985 - В. М. Живов. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков. - Сов. сл., 1985, № 3.
- Живов, 1986 - В. М. Живов. Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование. - "Труды по знаковым системам", XIX. Тарту, 1986.
- Живов, 1986а - В. М. Живов. Новые материалы для истории перевода "Географии генеральной" Бернарда Варения. - Изв. АН СССР, сер. литературы и языка, 1986, т. 45, № 3.

- Живов, 1987 - В. М. Живов. История русского права как лингвосемиотическая проблема (в печати).
- Живов и Успенский, 1973 - В. М. Живов, Б. А. Успенский. Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий. - ВЯ, 1973, № 5.
- Живов и Успенский, 1983 - В. Живов, Б. Успенский. Выдающийся вклад в изучение русского языка XVII века. - IJSLP, XXVIII, 1983.
- Живов и Успенский, 1983a - В. А. Uspenskij, V. M. Živov. Zur Spezifik des Barock in Rußland. - "Slavische Barockliteratur", II. München, 1983.
- Житецкий, 1878 - П. И. Житецкий. О Пересопницкой рукописи. - "Труды III Археологического съезда в России...", II, Киев, 1878.
- Житецкий, 1889 - П. Житецкий. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII вв. Киев, 1889.
- Житецкий, 1905 - П. И. Житецкий. О переводах евангелия на малорусский язык. - ИОРЯС, X, 1905, кн. 4.
- Жовтобрюх, 1978 - М. А. Жовтобрюх. Украинский разговорник XVI в. - "Восточнославянское и общее языкознание". М., 1978.
- Зализняк, 1978 - А. А. Зализняк. Новые данные о русских памятниках XIV-XVII вв. с различием двух фонем "типа о". - Сов. сл., 1978, № 3.
- Зализняк, 1978a - А. А. Зализняк. Противопоставление букв о и ѡ в древнерусской рукописи XIV в. "Мерило праведное". - Сов. сл., 1978, № 5.
- Зализняк, 1982 - А. А. Зализняк. К исторической фонетике древненовгородского диалекта. "Балто-славянские исследования. 1981". М., 1982.
- Зализняк, 1984 - А. А. Зализняк. Наблюдения над берестяными грамотами. - "История русского языка в древнейший период". М., 1984.
- Зализняк, 1985 - А. А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк, 1986 - А. А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения. - В изд.: Янин и Зализняк, 1986.
- Зарубин, 1932 - Н. Н. Зарубин. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932.
- Засадкевич, 1883 - Н. Засадкевич. Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883.
- Заседание в Книжной палате... - Заседание в книжной палате 18-го февраля 1627 г. по поводу исправления Катехизиса Лаврентия Зизания. СПб., 1878.
- Зеeman, 1983 - K.-D. Seemann. Die "Diglossie" und die Systeme der sprachlichen Kommunikation im alten Rußland. - "Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongreß in Kiev 1983". Köln-Wien, 1983.
- Зеeman, 1984 - K.-D. Seemann. "Loquendum est Russice & scribendum est Slavonice". - "Russia Mediaevalis", V, 1 (1984).
- Зенбицкий, 1907 - П. Н. Зенбицкий. Сумасшедший самозванец. - "Живая старина", 1907, вып. 3.
- Зизаний, 1596 - Л[аврентий] З[изаний]. Грамматика словенска съвершенна[о] искусства осми частей слова и иных нужных. Вильна, 1596. Переиздано: Нимчук, 1980a.
- Зизаний, 1596a - Л[аврентий] З[изаний]. Лексис сирѣчь реченія, въкратцѣ събранны и из словенскаго языка на простой Рускій діалектъ истолкованы. - В кн.: Л[аврентий] З[изаний]. Наука ку читаню и розумѣню писма словенского. Вильна, 1596. Переиздано: Нимчук, 1964.
- Зиновий Отенский, 1863 - Зиновий [Отенский]. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863.
- Златостр. XII в. - Златоструй (XII в.). ГПБ, Ф.п.I.46 (Св. кат. XI-XIII вв., № 74).
- Зогр. ев. - Зографское ев. (XI в.) (ст-сл.). См. изд.: В. Ягич. Зографское евангелие. Berlin, 1879.
- Золтан, 1984 - А. Золтан. Западнорусско-великорусские языковые контакты в области лексики в XV в. АКД. М., 1984.
- Иван Грозный, 1951 - Послания Ивана Грозного. М.-Л., 1951.
- Иванов, 1969 - А. И. Иванов. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969..
- Иванов и Топоров, 1981 - В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Древнее славянское право: архаичные мифопоэтические основы и источники в свете языка. - "Формирование раннефеодальных славянских народностей". М., 1981.
- Иванова, 1969 - Т. А. Иванова. Еще раз о "русских письменех". - Сов. сл., 1969, № 4.
- Ивич, 1970 - П. Ивић. Рец. на кн.: Успенский, 1968. - "Зборник за филологију и лингвистику". Нови Сад, 1970, № 1.

- Изб. 1073 - Изборник 1073 г. ГИМ, Син. 1043 (Св. кат. XI-XIII вв., № 4). См. изд.: Изборник Святослава 1073 г. Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.
- Изб. 1076 - Изборник 1076 г. ГПБ, Эрм. 20 (Св. кат. XI-XIII вв., № 5). См. изд.: В. С. Голышенко и др. Изборник 1076 г. М., 1965.
- Извеков, 1872 - Д. Извеков. Букварная система обучения в исходе XVII и начале XVIII ст. - "Семья и школа", 1872, № 4, 5.
- Иларий и Арсений, I-III - Иеромонахи Иларий и Арсений. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ч. I-III. М., 1878-1879.
- Ильминский, 1886 - Н. Ильминский. Размышление о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия. СПб., 1886.
- Ильминский, 1888 - Н. Ильминский. Материалы для сравнительного изучения церковнославянских форм и оборотов, извлеченные из Евангелия и Псалтири. Казань, 1888.
- Иосиф Волоцкий, 1855 - Иосиф Волоцкий. Просветитель. Казань, 1855.
- Иосиф Волоцкий, 1959 - Послания Иосифа Волоцкого. М.-Л., 1959.
- Исаченко, I-II - А. Issatschenko. Geschichte der russischen Sprache, I-II. Heidelberg, 1980-1983.
- Исаченко, 1957 - А. V. Issatschenko. Herbersteiniana. - ZfS, II (с. 321-346, 493-512).
- Исаченко, 1958 - А. В. Исаченко. Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов? - ВЯ, 1958, № 3.
- Исаченко, 1963 - А. В. Исаченко. К вопросу о периодизации истории русского языка. - "Вопросы теории и истории языка". Л., 1963.
- Исаченко, 1970 - А. V. Isačenko. Die Gräzismen des Großfürsten. - ZslPh, XXXV, 1970, 1.
- Исаченко, 1974 - А. Issatschenko. Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache. - ZslPh, XXXVII, 1974, 2.
- Исаченко, 1975 - А. В. Исаченко. Рец. на кн.: Котков, 1974. - RL, II, 1975, 1-2.
- Исаченко, 1979 - А. V. Issatschenko. Secondary "Vocalisation of the Jers". - RL, IV, 1979.
- Истрин, I-III - В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе, I-III. Пг./Л., 1920-1930.
- Истрин, 1922 - В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы. Пг., 1922.
- Йордаль, 1973 - К. Йордаль. Греко-русские синтаксические связи. - Sc.-Sl., XIX, 1973.
- Казакова, 1960 - Н. А. Казакова. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.-Л., 1960.
- Кайперт, 1970 - Н. Keipert. Zur Geschichte des kirchenslavischen Wortguts im Russischen. - ZslPh, XXXV, 1970, 1.
- Кайперт, 1977 - Н. Keipert. Die Adjektive auf -tělъnъ. Studien zu einem kirchenslavischen Wortbildungstyp. Wiesbaden, 1977.
- Кандаурова, 1968 - Т. Н. Кандаурова. Случаи орфографической обусловленности слов с полногласием в памятниках XI-XIV вв. - "Памятники древней письменности. Язык и текстология". М., 1968.
- Кантемир, I-II - А. Д. Кантемир. Соч., письма и избранные переводы., I-II. СПб., 1867-1868.
- Каптерев, I-II - Н. Ф. Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, I-II. Сергиев Посад, 1909-1912.
- Каптерев, 1885 - Н. Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. М., 1885.
- Каптерев, 1889 - Н. Каптерев. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия славяно-греко-латинской Академии. - "Годичный акт в Московской Духовной Академии 1-го октября 1889 г." М., 1889.
- Каптерев, 1891 - Н. Каптерев. Сношения патриарха Досифея с русским правительством. М., 1891.
- Каптерев, 1913 - Н. Ф. Каптерев. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Сергиев Посад, 1913.
- Карась и Карасева, 1969 - М. Karaś, A. Karasiowa. Mariana z Jaślisk dykcjonarz słowiańsko-polski z roku 1641 (Dictionarium sclauo-polonicum...). Wrocław et al., 1969.
- Каратаев, 1883 - И. Каратаев. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. СПб., 1883.

- Каржавин, 1791 - Ph. Karjavin. Remarques sur la langue russe et sur son alphabet. СПб., 1791.
- Каринский, 1909 - Н. Каринский. Язык Пскова и его области в XV в. СПб., 1909.
- Каринский, 1911 - Н. Каринский. Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам. СПб., 1911.
- Каринский, 1928 - Н. Каринский. Паремейник 1271 г. как источник для истории псковского письма и языка. - Сб. ОРЯС, т. CI, № 3. Л., 1928.
- Карпов, 1878 - А. Карпов. Азбуковники или алфавиты иностранных речей... Казань, 1878.
- Карский, 1896 - Е. Ф. Карский. Западнорусские переводы Псалтири в XV-XVII веках. Варшава, 1896.
- Карский, 1921 - Е. Ф. Карский. Белорусы, т. III, ч. 2. Старая западнорусская письменность. Пг., 1921.
- Карский, 1928 - Е. Ф. Карский. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. Фототипическое воспроизведение. М., 1979.
- Карский, 1930 - Е. Ф. Карский. "Русская Правда" по древнейшему списку. Л., 1930.
- Касаткин, 1984 - Л. Л. Касаткин. Русский диалектный консонантизм как источник истории русского языка. М., 1984.
- Каченовский, 1812 - М. Каченовский. Взгляд на успехи Российского витийства в первой половине истекшего столетия. - "Труды Об-ва российской словесности", I, 1812.
- Кедайтене, 1968 - Е. И. Кедайтене. Дателный самостоятельный. - "Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения". М., 1968.
- Керженские ответы, 1906 - Ответы Александра Диякона (на Керженце), поданные Нижегородскому епископу Питириму... [Нижний Новгород, 1906].
- Керсновский, 1958 - R. Kiersnowski. O tzw. "ruskich" monetach Bolesława Chrobrego. - "Studia historica. W 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego". Warszawa, 1958.
- Киев. листки - Киевские листки (X-XI вв., ст-сл.). См. изд.: В. В. Німчук. Київські глаголичні листки. Найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. Київ, 1983.
- Кипарский, 1959 - V. Kiparsky. Foreign *h* in Russian. - "The Slavonic and East European Review", XXXVIII, № 90 (1959).
- Кирилл Транквиллион, 1618 - Кирил Транквѣліон [Ставровецкий]. Зерцало богословіи... Пochaев, 1618.
- Кирилл Транквиллион, 1619 - Кирилл Транквѣліон [Ставровецкий]. Евангеліе учительное... Рохманов, 1619.
- Клеменсевич, I-III - Z. Klemensiewicz. Historia języka polskiego, I-III. Warszawa, 1961-1972.
- Книжа, 1942 - S. Knieszsa. Die Slawenapostel und die Slowaken. Budapest, 1942.
- Князевская, 1973 - О. А. Князевская. Рукопись евангелия XIII в. из собрания Московского университета. - "Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки Московского университета", I. М., 1973.
- Князевская и Чешко, 1980 - О. А. Князевская, Е. В. Чешко. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского. - "Търновска книжовна школа", II. София, 1980.
- Ковтун, 1963 - Л. С. Ковтун. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.-Л., 1963.
- Ковтун, 1975 - Л. С. Ковтун. Лексикография в Московской Руси XVI - начала XVII вв. Л., 1975.
- Ковтун, 1977 - Л. С. Ковтун. Древние словари как источник русской исторической лексикологии. Л., 1977.
- Ковтун и др., 1973 - Л. С. Ковтун, Н. В. Сеницына, Б. Л. Фонкич. Максим Грек и славянская Псалтирь (сложение норм литературного языка в переводческой практике XVI в.). - "Восточнославянские языки. Источники для их изучения". М., 1973.
- Козловский, 1885-1895 - М. Козловский. Исследование о языке Остромирова евангелия. - "Исследования по русскому языку", I. СПб., 1885-1895.
- Кондакаръ ОИДР - Кондакаръ (кон. XII в.). ГБЛ, ОИДР 107; отрывок в ГПБ, Погод. 43 (Св. кат. XI-XIII вв., № 124, 125).
- Константин, I-III - Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Constantinus Porphyrogenitus, I-III. Bonn, 1829-1840.
- Копержинский, 1928 - К. Копержинский. "Лекції словенскіе Златоустого отъ бесѣдъ евангельскихъ отъ иерея Наливайка выбраніе". - Сб. ОРЯС, т. CI, № 3. Л., 1928.

- Копыленко, 1973 - М. М. Копыленко. Кальки греческого происхождения в языке древнерусской письменности. - ВВ, XXXIV, 1973.
- Корецкий, 1965 - В. И. Корецкий. Вновь найденное противоеретическое произведение Зиновия Отенского. - ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Корнеева-Петрулан, 1917 - М. Корнеева-Петрулан. Язык Служебной Минеи 1095 г. Редакция Н. Н. Дурново [1917 г. - отд. оттиск из РФВ, LXXV, 1-2, LXXVI, 1, LXXVIII, 3-4].
- Костюхина, 1974 - Л. М. Костюхина. Книжное письмо в России XVII в. [М., 1974].
- Котков, 1974 - С. И. Котков. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1974.
- Котошихин - Grigorij Kotošixin. O Rossii v carstvom Alekseja Mixajloviča. Ed. by A. E. Pennington. Oxford, 1980.
- Кошутич, 1919 - Рад. Кошутич. Граматика руског језика, I. Пг., 1919.
- Кралик, 1963 - О. Кралик. Повесть временных лет и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле. - ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Крижанич, 1859 - Граматично изказанје об руском језику попа Јурка Крижанища... [1666 г.]. М., 1859. То же: ЧОИДР, 1848, кн. 1; 1859, кн. 4.
- Крижанич, 1891 - Ю. Крижанич. Објасњење виводно о писмѣ словѣнском [1661 г.] - "Собрание сочинений Юрия Крижанича", I. М., 1891. См. также: J. Križanić. Sabrana djela, I. Zagreb, 1983.
- Кудрицкий, 1970 - Е. М. Кудрицкий. Иван Ужевич - український граматист XVII ст. і його праця. - "Мовознавство", 1970, № 1.
- Кудрявцев, 1972 - И. М. Кудрявцев. Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских узников. - "Зап. Отдела рукописей ГБЛ", XXXIII, 1972.
- Куев, 1967 - К. М. Куев. Черноризец Храбр. София, 1967.
- Кузнецов, 1953 - П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953.
- Кузнецов, 1960 - П. С. Кузнецов. О форме слова библиотека. - "Этимологические исследования по русскому языку", I. М., 1960.
- Куник, I-II - А. Куник. Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII в., I-II. СПб., 1865.
- Курганов, 1769 - [Н. Курганов]. Российская универсальная грамматика или всеобщее писмословие... СПб., 1769.
- Курдиновский, 1907 - В. Курдиновский. Рукописная церковнославянская грамматика Гербовецкого монастыря Бессарабской губ. - РФВ, LVII, 1907, № 2 (с. 389-397), 4 (с. 307-330).
- Кутина, 1978 - Л. Л. Кутина. Последний период славяно-русского двуязычия в России. - "Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов... Доклады советской делегации". М., 1978.
- Кушелев-Безбородко, I-IV - Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко, I-IV. СПб., 1860-1862.
- Лавр. кондакаръ - Лаврский кондакаръ, кон. XII (?) - нач. XIII в. ГБЛ, Троицк. 23 (Св. кат. XI-XIII вв., № 204).
- Лавров, 1899 - П. А. Лавров. Дамаскин Студит и сборники его имени "дамаскины" в юго-славянской письменности. - "Летопись Историко-филологического об-ва при Новороссийском Университете", VII. Одесса, 1899.
- Лавров, 1928 - П. Лавров. Евангелие и псалтирь, "роусьскими" (роушками) писмены писанные, в Житии Константина Философа. - Изв. РЯС, I, 1928, кн. 1.
- Лавров, 1930 - П. А. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930.
- Лавровский, 1853 - Н. Лавровский. О византийском элементе в языке договоров русских с греками. СПб., 1853.
- Лант, 1949 - H. G. Lunt. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. Doctoral diss. Columbia University, 1949.
- Лант, 1968 - H. G. Lunt. On the Izbornik of 1076. - "Studies in Slavic Linguistics and Poetics in Honor of Boris O. Unbegaun". New York-London, 1968.
- Лант, 1974 - H. G. Lunt. Old Church Slavonic Grammar. The Hague-Paris, 1974.
- Лант, 1975 - H. G. Lunt. On the Language of Old Rus: Some Questions and Suggestions. - RL, III, 1975, 3/4.

- Ларин, 1937 - Генрих Вильгельм Лудольф. Русская грамматика. Оксфорд, 1696. Переиздание ... Б. А. Ларина. Л., 1937.
- Лакман, 1980 - R. Lachmann. Die Makarij-Rhetorik. Köln-Wien, 1980.
- Левин, 1964 - В. Д. Левин. Краткий очерк истории русского литературного языка. М., 1964.
- Левин, 1984 - В. Д. Левин. К характеристике русского извода старославянского языка. - "Wiener slawistischer Almanach", XIII, 1984.
- Лекомцева, 1978 - М. И. Лекомцева. Zum Problem des baltischen Substrats des Akanje. - ZfS, XXIII, 1978, 5.
- Лекомцева, 1980 - М. И. Лекомцева. Проблема балтийского субстрата аканья. - "Балто-славянские этноязыковые контакты". М., 1980.
- Лексикон 1722 г. - Лексиконъ Сирѣчь словесникъ Славенскій Имѣющъ в' себѣ Слова пер- вѣе Славенскія, Азбучныя, Посем же Полскія. Супрасль, 1722.
- Леман, 1963 - P. Lehmann. Die Parodie im Mittelalter. Stuttgart, 1963.
- Лемерль, 1971 - P. Lemerle. Le premier humanisme byzantin. Paris, 1971.
- Леонид, I-IV - Леонид [Кавелин]. Систематическое описание славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова, I-IV. М., 1893-1894.
- Лесков, I-XI - Н. С. Лесков. Собр. соч., I-XI. М., 1956-1958.
- Леств. XII в. - Лествица Иоанна Лествичника. ГБЛ, Рум. 198 (Св. кат. XI-XIII вв., № 62).
- Литовский статут 1588 г. - Статут Великого княжества Литовского. Вильна, 1588.
- Лихачев, 1958 - Д. С. Лихачев. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. М., 1958.
- Лобк. прол. - Лобковский пролог 1262 г. ГИМ, Хлуд. 187 (Св. кат. XI-XIII вв., № 177).
- Ломоносов, I-XI - М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., I-XI. М.-Л., 1950-1983.
- Лопарев, 1892 - X. Лопарев. Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме. [СПб.], 1892.
- Лопушанская, 1975 - С. П. Лопушанская. Основные тенденции эволюции простых претеритов в древнерусском книжном языке. Казань, 1975.
- Лудольф, 1696 - H.-W. Ludolf. Grammatica Russica... Oxford, 1696. Переиздано: Ларин, 1937; Унбегаун, 1959.
- Лукьяненко, 1960 - В. И. Лукьяненко. Азбука Ивана Федорова, ее источники и видовые особенности. - ТОДРЛ, XVI, 1960.
- Львов, 1971 - А. С. Львов. Еще раз о древнейшей русской надписи из Гнездова. - Изв. АН СССР, сер. литературы и языка, 1971, т. 30, № 1.
- Майенова, 1955 - M. R. Mayenowa. Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej. Warszawa, 1955.
- Макарова, 1954 - С. Я. Макарова. Родительный падеж принадлежности в русском языке XI-XVII вв. - "Труды Института языкознания АН СССР", III. М., 1954.
- Максим Грек, I-III - Максим Грек. Соч., I-III. Казань, 1859-1862.
- Максимов, 1723 - [Федор Максимов]. Грамматика славенская... СПб., 1723.
- Малаховский, 1937 - В. А. Малаховский. Произношение и орфография А. С. Пушкина. - "Русский язык в школе", 1937, № 2.
- Малинин, 1878 - В. Малинин. Исследование Златоструя по рукописи XII в. Публичной библиотеки. Киев, 1878.
- Малинин, 1901 - В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901.
- Мансветов, 1883 - И. Мансветов. Как у нас правилась церковные книги. М., 1883.
- Мар. ев. - Мариинское ев. (XI в., ст.-сл.). См. изд.: И. В. Ягич. Мариинское евангелие с примечаниями и приложениями. Берлин - СПб., 1883.
- Мареш, 1963 - В. Ф. Мареш. Сказание о славянской письменности. - ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Марков, 1958 - В. М. Марков. Замечания о втором полногласии в русском языке. - "Уч. зап. Казанского Гос. пед. ин-та", XV. Казань, 1958.
- Марков, 1964 - В. М. Марков. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.
- Мароевич, 1983 - P. Marojević. Посесивне категорије у руском језику. Београд, 1983.
- Мартель, 1938 - A. Martel. La langue polonaise dans les pays ruthènes (Ukraine et Russie Blanche). 1596-1667. Lille, 1938.
- Маслов, 1984 - С. И. Маслов. Кирилл Транквиллион Ставровецкий и его литературная деятельность. Киев, 1984.
- Матвей Меховский, 1936 - Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. М.-Л., 1936.

- Матьесен, 1972 - R. C. Mathiesen. The Inflectional Morphology of the Synodal Church Slavonic Verb. Doctoral Diss. Columbia University, 1972.
- Мейендорф, 1974 - J. Meyendorff. Byzantine Hesychasm. London, 1974.
- Мейендорф, 1974а - И. Ф. Мейендорф. О византийском исихазме и его роли в культурном и политическом развитии Восточной Европы в XIV в. - ТОДРЛ, XXIV, 1974.
- Мельников, 1967 - Е. И. Мельников. О древнерусских названиях славянского письма (куриловица, словенская грамота, литица). - Вуз-sl., XXVIII, 1967.
- Мер. Праведное - Мерило праведное (сер. XIV в.). ГБЛ, ф. 304, № 15. См. изд.: Мерило праведное по рукописи XIV века. Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1961.
- Металлов, 1912 - В. М. Металлов. Богослужбное пение русской церкви в период домонгольский, по историческим, археологическим и палеографическим данным. М., 1912.
- Металлов, 1914 - В. М. Металлов. Очерк истории православного церковного пения в России. - "Зап. Московского Археологического ин-та", XXXVI. М., 1914.
- Мещерский, 1955 - Н. А. Мещерский. К вопросу об изучении переводной письменности киевского периода. - "Уч. зап. Карело-Финского пед. ин-та", II, 1. Петрозаводск, 1955.
- Мещерский, 1956 - Н. А. Мещерский. Отрывок из книги "Иосиппон" в "Повести временных лет". - Пал. сб., II. М.-Л., 1956.
- Мещерский, 1958 - Н. А. Мещерский. Новгородские грамоты на бересте как памятники древнерусского литературного языка. - "Вестник ЛГУ", 1958, № 2. Сер. истории, языка и литературы, вып. 1.
- Мещерский, 1958а - Н. А. Мещерский. К вопросу о заимствованиях из греческого в словарном составе древнерусского литературного языка. - ВВ, XIII, 1958.
- Мещерский, 1962 - Н. А. Мещерский. О синтаксисе древних славяно-русских переводных произведений. - "Теория и критика перевода". Л., 1962.
- Мещерский, 1963 - Н. А. Мещерский. Существовал ли "эпистолярный стиль" в древней Руси? - "Вопросы теории и истории языка". Л., 1963.
- Мещерский, 1963а - Н. А. Мещерский. Следы памятников Кумрана в старославянской и древнерусской литературе. - ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Мещерский, 1964 - Н. А. Мещерский. Проблемы изучения славяно-русской переводной литературы XI-XV вв. - ТОДРЛ, XX, 1964.
- Мещерский, 1964а - Н. А. Мещерский. К истории текста славянской книги Еноха. - ВВ, XXIV, 1964.
- Мещерский, 1978 - Н. А. Мещерский. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX-XV вв. Л., 1978.
- Миллер, I-II - Г. Ф. Миллер. История Сибири, I-II. М.-Л., 1937-1941.
- Мин. 1095-1097 - Минеи 1095-1097 гг. ЦГАДА, ф. 381, № 84, 89, 91 (Св. кат. XI-XIII вв., № 7-9). См. изд.: И. В. Ягич. Службные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям 1095-1097 гг. СПб, 1886.
- Минь, I-CLXI - Patrologiae cursus completus, series graeca. Accurante J. P. Migne, I-CLXI. Paris, 1857-1866.
- Михальчи, 1969 - Д. Е. Михальчи. Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Докт. диссертация. Л., 1969 (машинопись).
- Младенович, 1982 - А. Младеновић. О неким питањима примања и измене рускословенског језика код Срба. - "Зборник за филологију и лингвистику", XXV/2 (1982).
- Молдован, 1984 - А. М. Молдован. "Слово о законе и благодати" Илариона. Киев, 1984.
- Моравчик, 1930 - J. Moravcsik. Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes. - "Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher", VII, 1930, 3-4.
- Мошин, 1938 - В. А. Мошин. Христианство в России до св. Владимира. - "Владимирский сборник". Белград, [1938].
- Мошин, 1940 - В. Мошин. Житие старца Исаии, игумена Русского монастыря на Афоне. - "Сборник русского археологического об-ва в Королевстве Югославии", III. Белград, 1940.
- Мошин, 1963 - В. Мошин. О периодизации русско-южнославянских литературных связей X-XIV вв. - ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Мошин, 1973 - В. А. Мошин. Палеографическо-орфографические нормы южнославянских рукописей. - "Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР", I. М., 1973.
- Мстисл. грамота - Мстиславова грамота около 1130 г. См. изд.: Обнорский и Бархударов, I, с. 33-34.

- Мстисл. ев. - Мстиславово ев. (между 1103 и 1117 г.). ГИМ, Син. 1203 (Св. кат. XI-XIII вв., № 51). См. изд.: Апракос Мстислава Великого. Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.
- Мурьянов, 1973 - М. Ф. Мурьянов. Звонят колокола вечные в великом Новгороде. - "Славянские страны и русская литература". М., 1973.
- Назаревский, 1911 - А. А. Назаревский. Язык Евангелия 1581 года в переводе В. Негалевского. - "Университетские известия". Киев, 1911, кн. 8, 11, 12.
- Неделькович, 1967 - O. Nedeljković. Poluglasovi u staroslovenskim epigrafskim spomenicima. - "Slovo", XVII, 1967.
- Никольский, I-II - [А. И. Никольский]. Описание рукописей, хранящихся в архиве Св. Синода, I-II. СПб., 1904-1910.
- Никольский, 1892 - Н. Никольский. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII в. СПб., 1892.
- Никольский, 1896 - К. Никольский. Материалы для истории исправления богослужебных книг. СПб., 1896.
- Никольский, 1917 - Н. К. Никольский. К вопросу о западном влиянии на древнерусское церковное право. - "ОЛДП. Библиографическая летопись", III. Пг., 1917.
- Никольский, 1924 - Н. К. Никольский. Послание Агафоника к кир Иакову по грамматическим вопросам (половины XVII в.). - "Историко-литературный сборник", посв. В. И. Срезневскому. Л., 1924.
- Никольский, 1978 - А. И. Никольский. История печатного Служебника русской православной церкви. - "Журнал Московской патриархии", 1978, № 7 (с. 70-77), 9 (с. 70-79), 11 (с. 68-75).
- Нимчук, 1961 - Лексикон словенороський Памви Беринди. Підг. тексту і вступна стаття В. В. Німчука. Київ, 1961.
- Нимчук, 1964 - Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская. Підг. текстів пам'яток і вступні статті В. В. Німчука. Київ, 1964.
- Нимчук, 1979 - Мелетій Смотрицький. Граматика. Підг. факсимільного видання та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. Київ, 1979.
- Нимчук, 1980 - В. В. Німчук. Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Київ, 1980.
- Нимчук, 1980a - Лаврентій Зизаній. Граматика словенська. Підг. факсимільного видання та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. Київ, 1980.
- Новг. летописи - Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 1950.
- Обнорский, 1912 - С. П. Обнорский. О языке Ефремовской кормчей XII века. СПб., 1912.
- Обнорский, 1924 - С. П. Обнорский. Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 г. - ИОРЯС, XXIV, 1924.
- Обнорский, 1946 - С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.-Л., 1946.
- Обнорский, 1953 - С. П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.
- Обнорский, 1960 - С. П. Обнорский. Избр. работы по русскому языку. М., 1960.
- Обнорский и Бархударов, I-II - С. П. Обнорский, С. Г. Бархударов. Хрестоматия по истории русского языка, ч. I (изд. 2-е). М., 1952; ч. II, вып. 1-2. М., 1948-1949.
- Оболенский, 1858 - М. А. Оболенский. Предисловие Андрея грехми исполненаго. - "Библиографические записки", 1858, № 12.
- Оболенский, 1970 - D. Obolensky. The Relations between Byzantium and Russia. М., 1970.
- Огиенко, 1923 - І. Огієнко. Українська культура. Катеринослав-Ляйпциг, 1923.
- Огиенко, 1927 - І. Огієнко. Історія церковнослов'янської мови, III. Фонетика церковнослов'янської мови. Варшава, 1927.
- Огиенко, 1930 - І. Огієнко. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апостол, I-II. Варшава, 1930.
- Огиенко, 1931 - І. Огієнко. Історія церковнослов'янської мови. Варшава, 1931.
- Огиенко, 1931a - І. Огієнко. Богослужбова мова в слов'янських Церквах. - "'Ελπίς", V. Варшава, 1931.
- Огиенко, 1942 - Іларіон [Огієнко]. Українська церковна вимова. Холм, 1942.
- Огилевич, 1671 - Rachomius Ohilewicz. Esphonemata Liturgiey Greckiey... Wilna, 1671.
- Оглоблин, 1892 - Н. Н. Оглоблин. Бытовые черты XVII века. - "Русская старина", год 23-й, 1892, март.
- Огнев, 1880 - В. Огнев. Страницы из истории книги на Руси. Вятка, 1880.

- ОДДС, I-L - Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего Синода, I-L. СПб., 1868-1916.
- Ожегов, 1955 - С. И. Ожегов. Очередные вопросы культуры речи. - "Вопросы культуры речи", I. М., 1955.
- Орлов, I-II - А. Орлов. Домострой по коншинскому списку и подобным, I-II, М., 1908-1910.
- Остр. ев. - Остромирово ев. 1056-1057 гг. ГПБ, Ф.п.I.5 (Св. кат. XI-XIII вв., № 3). См. изд.: А. Востоков. Остромирово евангелие 1056-57 года. СПб., 1843.
- Острогорский, 1967 - Г. Острогорский. Византия и киевская княгиня Ольга. - "To Honor Roman Jakobson", II. The Hague-Paris, 1967.
- Отроковский, 1921 - В. М. Отроковский. Тарасий Земка, южнорусский литературный деятель XVII в. Пг., 1921 (Сб. ОРЯС, XCVI, 2).
- Паап, 1959 - А. Н. R. E. Paap. *Nomina Sacra in the Greek Papyri of the First Five Centuries*, A.D. Leiden, 1959.
- Павлов, 1887 - А. Павлов. 50-я глава Кормчей книги как исторический и практический источник русского брачного права. М., 1887.
- Панд. Антиоха - Пандекты Антиоха Черноризца (XI в.). ГИМ, Воскр. 30 перг. (Св. кат. XI-XIII вв., № 24).
- Панченко, 1973 - А. М. Панченко. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973.
- ПВЛ, I-II - Повесть временных лет, I-II. М.-Л. 1950.
- Пекарский, I-II - П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом, I-II. СПб., 1862.
- Переписка Грозного с Курбским - Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981.
- Перетц, 1926 - В. Н. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII вв., I. Л., 1926 (Сб. ОРЯС, CI, 2).
- Перетц, 1929 - В. Н. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII вв., III. Л., 1929 (Сб. РЯС, I, 3).
- Перетц, 1958 - В. Н. Перетц. Киево-Печерский Патерик в польском и украинском переводе. - "Славянская филология", III. М., 1958.
- Петров, 1866-1868 - Н. И. Петров. О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии... - "Труды Киевской духовной академии", 1866, № 7 (с. 305-330), 11 (с. 343-388), 12 (с. 552-569); 1867, № 1 (с. 82-118); 1868, № 3 (с. 465-525).
- Петровский, 1888 - М. Петровский. Старинное рассуждение "О буквахъ сирѣчь ш словехъ" по рукописи библиотеки Казанского университета. СПб., [1888].
- Петрушевский, I-III - А. Петрушевский. Генералиссимус князь Суворов, I-III. СПб., 1884.
- Петухов, 1888 - Е. Петухов. Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. СПб., 1888.
- Пиккио, 1973 - R. Picchio. *Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom*. - "American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists", II. The Hague, 1973.
- Пиккио, 1975 - R. Picchio. *On Russian Humanism: The Philological Revival*. - "Slavia", XLIV, 1975, 2.
- Письма и бумаги Петра, I-XII - Письма и бумаги императора Петра Великого, I-XII. СПб.-М., 1887-1977.
- Письма рус. государей, I-V - Письма русских государей и других особ царского семейства, I-V. М., 1861-1896.
- Погодин, 1938 - А. Л. Погодин. Варяжский период жизни князя Владимира. - "Владимирский сборник". Белград, [1938].
- Подшивалов, 1796 - [В. С. Подшивалов]. Сокращенный курс российского слога. М., 1796.
- Позднеев, 1971 - А. В. Позднеев. Незвестная поэма петровского времени. - "Русская литература на рубеже двух эпох". М., 1971.
- Покровский, 1911 - А. Покровский. Календари и святцы [Библиотеки Московской Синодальной типографии]. М., 1911 ("Библиотека Московской Синодальной типографии", I, 5).
- Покровский, 1971 - Н. Н. Покровский. Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. М., 1971.
- Поликарпов, 1701 - [Ф. Поликарпов]. Алфавитарь, рекше букварь славенскими, греческими, римскими писмены... М., 1701.
- Поликарпов, 1704 - [Ф. Поликарпов]. Лексіконъ треязычный... М., 1704.
- Попов, 1872 - А. Попов. Описание рукописей... библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872.
- Попов, 1875 - А. Попов. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян. М., 1875.

- Порохова, 1971 - О. Г. Порохова. О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах. I. Варьирование. - "Диалектная лексика. 1969". Л., 1971.
- Порохова, 1972 - О. Г. Порохова. О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах. II. Слова с корнями *град-* и *город-*. - "Диалектная лексика. 1971". Л., 1972.
- Порохова, 1976 - О. Г. Порохова. О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах. III. Лексико-семантические и морфонологические особенности слов с корнями *брем-/берем-*, *бреж-/береж-*, *празд-/порож-*, *прах-/порох-*, *слад-/солод-*, *смад-/смород-*. - "Диалектная лексика. 1974". Л., 1976.
- Порохова, 1978 - О. Г. Порохова. О лексике с неполногласием и с полногласием в русских народных говорах. IV. К вопросу о генезисе лексики с неполногласием, известной в народных говорах. - "Диалектная лексика. 1975". Л., 1978.
- Порфирьев и др., I-III - [И. Я. Порфирьев, А. В. Вадковский, Н. Ф. Красносельцев]. Описание рукописей Соловецкого монастыря..., I-III. Казань, 1881-1896.
- Посошков, 1895-1905 - И. Т. Посошков. Зерцало очевидное, I-II. Казань, 1895-1905.
- Посошков, 1951 - И. Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве и другие соч. М., 1951.
- Поуп, 1975 - R. W. F. Pope. A Possible South Slavic Source for the Doctrine: Moscow the Third Rome. - "Slavia", XLIV, 1975, 3.
- Праж. листки - Пражские листки (XI в., зап.-сл.). См. изд.: Н. К. Грунский. Пражские глаголические отрывки. СПб., 1905.
- Прения Лаврентия Зизания... - Прения литовского протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Ильею и справщиком Григорием по вопросу исправления составленного Лаврентием катехизиса. - "Летописи русской литературы и древности", изд. Н. Тихонравовым, II. М., 1859.
- Пресняков, 1938 - А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, I. Киевская Русь. М., 1938.
- Приселков, 1913 - М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб., 1913.
- Прозоровский, 1896 - А. Прозоровский. Сильвестр Медведев, его жизнь и деятельность. М., 1896. То же: ЧОИДР, 1896, кн. 2-4.
- Прохоров, 1978 - Г. М. Прохоров. Повесть о Митяе. Л., 1978.
- Пруссак, 1915 - А. В. Пруссак. Описание азбуковников, хранящихся в рукописном отделении Императорской публичной библиотеки. Пг., 1915.
- ПСЗ, I-XLV - Полное собрание законов Российской империи [Собрание 1-е], I-XLV. СПб., 1830.
- Пск. летописи, I-II - Псковские летописи, I-II. М.-Л., 1941-1955.
- ПСРЛ, I-XXXVII - Полное собрание русских летописей, т. I-XXXVII. СПб. (Пг., Л.) - М., 1841-1982.
- Пустозерский сб. - Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975.
- Пуцко, 1979 - В. Пуцко. Художественный декор Юрьевского евангелия. - "Ars Hungarica", 1979, № 1.
- Пуцко, 1982 - В. Г. Пуцко. Киевская скульптура XI века. - Вуз-сл., XLIII, 1982, 1.
- Радойичич, 1966 - Г. С. Радойичич. Отражение реформ Петра I в сербской письменности XVIII в. - "XVIII век", сб. 7. М.-Л., 1966.
- Раппопорт, 1974 - П. А. Раппопорт. Ориентация древнерусских церквей. - "Краткие сообщения Ин-та археологии" [АН СССР], 1974, № 139.
- Раппопорт, 1982 - П. А. Раппопорт. Русская архитектура X-XIII вв. Л., 1982.
- Реймс. ев. - Реймское евангелие (XI-XII вв.). См. изд.: L. Léger. L'Évangélaire du Reims... Paris-Prague, 1899.
- Реформатский, 1967 - А. А. Реформатский. <Ж>. - "To Honor Roman Jakobson", II. The Hague-Paris, 1967.
- РИБ, I-XXXIX - Русская историческая библиотека, изд. Археографическою комиссиею, I-XXXIX. СПб. (Пг., Л.), 1872-1927.
- Римские деяния, вып. I-II. СПб., 1877-1878.
- Рогов, 1978 - А. И. Рогов. Супрасль как один из центров культурных связей Белоруссии с другими славянскими странами. - "Славяне в эпоху феодализма". М., 1978.
- Розов, 1968 - Н. Н. Розов. Из истории русско-чешских литературных связей древнейшего периода. - ТОДРЛ, XXIII, 1968.
- Розов, 1971 - Н. Н. Розов. Об общности орнаментальных деталей чешских и русских кодексов. - "Studia paleoslovenica". Praha, 1971.

- Романев, 1965 - Ю. А. Романев. Структура слов греческого происхождения в русском языке. АКД. М., 1965.
- Роте, 1983 - Н. Rothe. Zur Kiever Literatur in Moskau, II. - "Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongreß in Kiev 1983". Köln-Wien, 1983.
- Рус. Правда, I-III - Правда Русская, I-III. М.-Л., 1940-1963.
- Румянцев, 1916 - И. Румянцев. Никита Константинов Добрынин ("Пустосвят"). Сергиев Посад, 1916.
- Сав. книга - Саввина книга (XI в., ст-сл.). См. изд.: В. Н. Шепкин. Саввина книга. СПб., 1903.
- Савва, 1901 - В. Савва. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901.
- Св. кат. XI-XIII вв. - Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI-XIII вв. М., 1984.
- Св. кат. XVIII в. - Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, I-V. М., 1962-1967.
- Седельников, 1927 - А. Седельников. Литературно-фольклорные этюды. - "Slavia", VI, 1927, 1.
- Селищев, I-II - А. М. Селищев. Старославянский язык, I-II. М., 1951-1952.
- Селищев, 1968 - А. М. Селищев. Избр. труды. М., 1968.
- Серебрянский, 1915 - Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития. М., 1915. То же: ЧОИДР, 1915, кн. 3.
- Сидоров, 1966 - В. Н. Сидоров. Из истории звуков русского языка. М., 1966.
- Симеон Полоцкий, 1667 - Симеон Полоцкий. Жезл правления... М., 1667.
- Симеон Полоцкий, 1680 - Симеон Полоцкий. Псалтирь рифмованная. М., 1680.
- Симеон Полоцкий, 1953 - Симеон Полоцкий. Избр. соч. М.-Л., 1953.
- Симони, 1899 - П. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий. СПб., 1899. (Сб. ОРЯС, LXVI).
- Симони, 1899а - П. К. Симони. Русский язык в его наречиях и говорах. СПб., 1899.
- Симони, 1908 - П. Симони. Памятники старинной русской лексикографии по русским рукописям XIII-XVIII стол., III. Половецкий и татарский словарики. Речь тонкословия греческого. СПб., 1908. Оттиск из ИОРЯС, XIII, 1908, кн. 1.
- Симон. пс. - Симоновская псалтырь (между 1270 и 1296 г.) - ГИМ, Хлуд. 3 (Св. кат. XI-XIII вв., № 384). См. изд.: Амфилохий. Древнеславянская Псалтырь Симоновская до 1280 г., сличенная по церковнославянским и русским переводам, I-II. М., 1880-1881.
- Син. кондакарь - Синодальный кондакарь, нач. XIII в. ГИМ, Син. 777 (Св. кат. XI-XIII вв., № 205).
- Синай. требник - Синайский требник (XI в., ст-сл.). См. изд.: R. Nahtigal. Euchologium Sinaiticum, I-II. Ljubljana, 1941-1942.
- Синай. патерик - Синайский патерик (кон. XI в.). ГИМ, Син. 551 (Св. кат. XI-XIII вв., № 26). См. изд.: В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. Синайский патерик. М., 1967.
- Синай. пс. - Синайская пс. (XI в., ст-сл.). См. изд.: С. Северьянов. Синайская псалтырь. Пг., 1922.
- Синицына, 1965 - Н. В. Синицына. Послание константинопольского патриарха Фотия князю Михаилу Болгарскому в списках XVI в. - ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Синицына, 1977 - Н. В. Синицына. Максим Грек в России. М., 1977.
- Сиромаха, 1979 - В. Г. Сиромаха. Языковые представления книжников Московской Руси второй половины XVII в. и "Грамматика" М. Смотрицкого. - "Вестник МГУ", серия 9. Филология, 1979, № 1.
- Сиромаха, 1980 - В. Г. Сиромаха. "Книжная справа" и вопросы нормализации книжно-литературного языка Московской Руси во 2-й половине XVII в. АКД. М., 1980.
- Скворцов, 1890 - Д. Скворцов. Дионисий Зобниновский, архимандрит Троицкого-Сергиева монастыря (ныне Лавры). Тверь, 1890.
- Сковорода, I-II - Григорій Сковорода. Повне зібрання творів, I-II. [Киев, 1972-1973].
- Скорина, 1969 - Францыск Скарына. Прадмовы і пасляслоўі. Мінск, 1969.
- Сл. Гр. Бог. - Слова Григория Богослова (XI в.). ГПБ, Q.п.I.16 (Св. кат. XI-XIII вв., № 33). См. изд.: А. С. Будилович. XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рукописи Имп. публичной библиотеки, XI в. СПб., 1875.
- Сл. Ипполита - Слова Ипполита Римского (XII в.). ГИМ, Чуд. 12 (Св. кат. XI-XIII вв., № 129).
- Сл. Кир. Иерус. - Поучения огласительные Кирилла Иерусалимского (XI-XII в.). ГИМ, Син. 478 (Св. кат. XI-XIII вв., № 45).

- Сл. ст-сл. яз., I-III - *Slovník jazyka staroslověnského*, t. I-III. Praha, 1958-1981.
- Славский, 1966 - F. Sławski. Ślady prasłowiańskiego prefiksu *vy-* w języku bułgarskim. - "Studia linguistica slavica baltica". Lund, 1966.
- Сменцовский, 1899 - М. Сменцовский. Братья Лихуды. СПб., 1899.
- Смирнов, 1855 - С. Смирнов. История Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855.
- Смирнов, 1895 - П. С. Смирнов. История русского раскола старообрядства. СПб., 1895.
- Смирнов, 1909 - П. С. Смирнов. Переписка раскольнических деятелей начала XVIII века. - "Христианское чтение", 1909, № 1, 2, 3.
- Смирнов, 1913 - С. [И.] Смирнов. Древнерусский духовник. М., [1913]. То же: ЧОИДР, 1912, кн. 3; 1914, кн. 2.
- Смирнов, 1917 - И. М. Смирнов. Синайский патерик в древнеславянском переводе. Сергиев Посад, 1917.
- Смирнов, 1929 - Д. Смирнов. Рассказы о Грибоедове. - "А. С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников". Л., 1929.
- Смоленские грамоты - Смоленские грамоты XIII-XIV вв. Подг. к печати Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин. М., 1963.
- Смоленский, 1910 - С. В. Смоленский. Мусикийская грамматика Николая Дилецкого. СПб., 1910.
- Смотрицкий, 1619 - Мелетій Смотрискій. Грамматіки Славенския правильное Сунтагма. Евье, 1619. Переиздано: Нимчук, 1979.
- Смотрицкий, 1648 - [Мелетий Смотрицкий]. Грамматика. М., 1648.
- Смотрицкий, 1721 - [Мелетий Смотрицкий]. Грамматика. М., 1721. Изд. Федора Поликарпова.
- Снегирев, I-II - И. М. Снегирев. Дневник, I-II. М., 1904-1905.
- Собинникова, 1954 - В. И. Собинникова. Повторение предлога в говорах Гремяченского р-на Воронежской обл. - "Труды Воронежского ун-та", XXIX, 1954.
- Соболевский, 1884 - А. Соболевский. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
- Соболевский, 1894 - А. И. Соболевский. Рец. на кн.: Булич, 1893. - ЖМНП, 1894.
- Соболевский, 1900 - А. И. Соболевский. Церковнославянские тексты моравского происхождения. Варшава, 1900. Оттиск из РФВ.
- Соболевский, 1903 - А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII вв. СПб., 1903. (Сб. ОРЯС, LXXIV, 1).
- Соболевский, 1904 - А. И. Соболевский. Жития святых в древнем переводе на церковнославянский с латинского языка. СПб., 1904. Оттиск из ИОРЯС, 1903, кн. 1, 2, 4.
- Соболевский, 1905 - А. И. Соболевский. Несколько редких молитв из русского сборника XIII в. - ИОРЯС, X, 1905, кн. 4.
- Соболевский, 1907 - А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. М., 1907.
- Соболевский, 1908 - А. И. Соболевский. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.
- Соболевский, 1908а - А. И. Соболевский. Из переводной литературы Петровской эпохи. СПб., 1908 (Сб. ОРЯС, LXXXIV, 3).
- Соболевский, 1910 - А. И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910 (Сб. ОРЯС, LXXXVIII).
- Соболевский, 1912 - А. И. Соболевский. Глаголическое житие папы Климента. - ИОРЯС, XVII, 1912, кн. 3.
- Соболевский, 1980 - А. И. Соболевский. История русского литературного языка. Л., 1980.
- Соколов, 1907 - Д. Д. Соколов. Справочная книжка по церковнославянскому правописанию. СПб., 1907.
- Соколова, 1930 - М. А. Соколова. К истории русского языка в XI в. - Изв. РЯС, III, 1930, кн. 1.
- Соловьев, I-XV - С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. I-XV. М., 1960-1966.
- Соловьев, 1961 - A. V. Soloviev. APXΩN PΩΣIAΣ. - "Byzantion", XXXI, 1961, 1.
- Соловьев, 1968 - A. V. Soloviev. L'organisation de l'état russe au X siècle. - "L'Europe au XI-XII siècles". Warszawa, 1968.
- Спафарий, 1978 - Николай Спафарий. Эстетические трактаты. Л., 1978.
- Сперанский, 1929 - М. Н. Сперанский. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма. Л., 1929.
- Сперанский, 1932 - М. Н. Сперанский. "Греческое" и лигатурное письмо в русских рукописях XV-XVI вв. - *Byz-sl.*, IV, 1932, 1.

- Сперанский, 1960 - М. Н. Сперанский. Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960.
- Сперанский, 1981 - М. Н. Сперанский. Описание рукописей Московского Архангельского собора. - "Археографический ежегодник за 1979 год". М., 1981.
- Срезневский, I-III - И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка..., I-III. СПб., 1893-1903. Переиздание: М., 1958.
- Срезневский, 1882 - И. И. Срезневский. Древние памятники русского письма и языка. СПб., 1882.
- Срезневский, 1900 - В. Срезневский. Сборники писем И. Т. Посошкова к митрополиту Стефану Яворскому. СПб., 1900. Оттиск из ИОРЯС, IV, 1899, кн. 4.
- Стипчевич, 1964 - В. Stipčević. Marčanska varijanta "Skazanja o sloveseh" Črnoriska Hrabra. - "Slovo", XIV, 1964.
- Стоянович, I-VI - Љуб. Стојановић. Стари српски записи и натписи, I-VI. Београд-Ср. Карловци, 1902-1926.
- Стрыйковский, 1582 - М. Striykowski. Kronika polska, litewska, zmożdka, y wszystkich Rusi... Krolewec, 1582.
- Студ. устав - Студийский устав (XII в.). ГИМ, Син. 330 (Св. кат. XI-XIII вв., № 138).
- Субботин, I-IX - Материалы для истории раскола за первое время его существования (под ред. Н. И. Субботина), I-IX. М., 1875-1890.
- Судник, 1963 - Т. М. Судник. Палеографический и фонетический анализ Выголексинского сборника XII-XIII вв. - "Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР", XXVII. М., 1963.
- Сумароков, I-X - А. П. Сумароков. Полн. собр. всех соч..., I-X. М., 1787.
- Супр. рукопись - Супрасльская рукопись (XI в., ст-сл.). См. изд.: С. Северьянов. Супрасльская рукопись. СПб., 1904.
- Сухомлинов, 1908 - М. И. Сухомлинов. Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908 (Сб. ОРЯС, LXXXV, 1).
- Талев, 1973 - I. Talev. Some Problems of the Second South Slavic Influence in Russia. München, 1973.
- Тарабрин, 1916 - И. М. Тарабрин. Лицевой букварь Кариона Истомина. - "Древности. Труды Московского археологического об-ва", т. XXV. М., 1916.
- Тарковский, 1975 - Р. Б. Тарковский. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л., 1975.
- Татарский, 1886 - И. Татарский. Симеон Полоцкий (его жизнь и деятельность). М., 1886.
- Терновский, I-II - Ф. Терновский. Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение в Древней Руси, I-II. Киев, 1875-1876.
- Тимковский, 1852 - И. М. Тимковский. Мое определение в службу. - "Москвитянин", 1852, № 17-18, кн. 1-2; № 20, кн. 2.
- Тимошенко, 1954 - П. Д. Тимошенко. Про звук *g* в українській мові і його передачу на письмі. - "Українська мова в школі", 1954, № 2.
- Тип. ев. XII-XIII вв. - Типографское ев. (XII-XIII вв.). ГТГ, К-5348 (Св. кат. XI-XIII вв., № 147).
- Тип. устав - Типографский устав (устав с кондакарем, XI-XII вв.) ГТГ, К-5349 (Св. кат. XI-XIII вв., № 50).
- Титов, 1918 - Ф. Титов. Типография Киево-Печерской лавры, т. I. Киев, 1918 (так на обложке; на титульном листе - 1916 г.); Приложения к первому тому. Киев, 1918. "Приложения" переизданы: Хв. Тітов. Матеріяли для історії книжної справи на Україні в XVI-XVIII вв. Київ, 1924.
- Тихомиров, I-III - Н. Б. Тихомиров. Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI-XIII вв..., I-III. - "Зап. отдела рукописей ГБЛ", XXV (1962), XXVII (1965), XXX (1968).
- Тихомиров, 1947 - М. Н. Тихомиров. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в. - "Славянский сборник". М., 1947.
- Тихонравов, I-II - Н. Тихонравов. Памятники отреченной русской литературы, I-II. СПб., 1863.
- Толстая, 1984-1985 - С. М. Толстая. Союз (частица) *да* в полесских говорах. - "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику", XXVII-XXVIII. Нови Сад, 1984-1985.
- Толстой, 1882 - И. И. Толстой. Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского. СПб., 1882.
- Толстой, 1963 - Н. И. Толстой. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI-XVII в.) - "Славянское

- языкознание. V Международный съезд славистов... Доклады советской делегации". М., 1963.
- Толстой, 1976 - Н. И. Толстой. Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка. - "Вопросы русского языкознания", I. М., 1976.
- Толстой и Кондаков, I-VI - И. Толстой, Н. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, I-VI. СПб., 1889-1899.
- Томашевский, 1959 - Б. В. Томашевский. Стих и язык. М.-Л., 1959.
- Томсен, 1891 - В. Томсен. Начало русского государства. М., 1891.
- Траубе, 1907 - L. Traube. *Nomina sacra. Versuch einer Geschichte der christlichen Kürzung*. München, 1907.
- Тредиаковский, I-III - [В. К.] Тредьяковский. Соч., I-III, СПб., 1849.
- Тредиаковский, 1735 - В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов... СПб., 1735. Переиздано в кн.: Куник, 1865.
- Три челобитные, 1862 - Три челобитные: справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря. СПб., 1862.
- Троицкий, 1982 - А. Н. Троицкий. Контаминация перфектной и аористой парадигмы в памятниках древнеславянской письменности. Дипломная работа (МГУ, филол. ф-т), 1982 (машинопись).
- Трубецкой, 1927 - Н. С. Трубецкой. К проблеме русского самопознания. Б. м., 1927.
- Трубецкой, 1954 - N. S. Trubetzkoy. *Altkirchenslavische Grammatik*. Wien, 1954.
- Трубецкой, 1960 - Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., 1960.
- Трубецкой, 1975 - N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. The Hague-Paris, 1975.
- Тур. ев. - Туровское ев. (XI в.). Центр. б-ка АН Лит. ССР. F 19-1 (Св. кат. XI-XIII вв., № 10). См. изд.: Туровское евангелие одиннадцатого века. СПб., 1868.
- Ужевич, 1970 - І. Ужевич. Граматика слов'янська. Київ, 1970.
- Улуханов, 1972 - И. С. Улуханов. О языке древней Руси. М., 1972.
- Унбегаун, 1942 - В. О. Unbegaun. *Les noms de famille du clergé russe*. - *REs*, XX, 1942.
- Унбегаун, 1958 - В. О. Unbegaun. *Russian Grammars before Lomonosov*. - "Oxford Slavonic Papers", VIII, 1958.
- Унбегаун, 1959 - Henrichi Wilhelmi Ludolfi *Grammatica Russica*. Ed. by V. O. Unbegaun. Oxford, 1959.
- Унбегаун, 1969 - В. О. Unbegaun. *Selected Papers on Russian and Slavonic Philology*. Oxford, 1969.
- Унбегаун, 1973 - В. О. Unbegaun. *The Russian Literary Language: A Comparative View*. - "The Modern Language Review", LXVIII, 1973, 4.
- Усп. кондакарь - Успенский кондакарь 1207 г. - ГИМ, Усп. 9 (Св. кат. XI-XIII вв., № 173). См. изд.: *Contacarium palaeoslavicum Mosquense*. Edendum curavit A. Bugge. Copenhagen, 1960 ("Monumenta musicae byzantinae", VI).
- Усп. сб. - Успенский сборник (кон. XII-нач. XIII в.). ГИМ, Усп. 4 перг. (Св. кат. XI-XIII вв., № 165). См. изд.: О. А. Князевская и др. Успенский сборник XII-XIII вв. М., 1971.
- Успенский, 1967 - Б. А. Успенский. Проблемы лингвистической типологии в свете различия "говорящего" (адресанта) и "слушающего" (адресата). - "To Honor Roman Jakobson", III. The Hague-Paris, 1967.
- Успенский, 1968 - Б. А. Успенский. Архаическая система церковнославянского произношения. М., 1968.
- Успенский, 1969 - Б. А. Успенский. Из истории русских канонических имен. М., 1969.
- Успенский, 1969а - Б. А. Успенский. Никоновская справа и русский литературный язык. - ВЯ, 1969, № 5.
- Успенский, 1970 - Б. А. Успенский. Старинная система чтения по складам. - ВЯ, 1970, № 5.
- Успенский, 1971 - Б. А. Успенский. Книжное произношение в России. АДД. М., 1971.
- Успенский, 1973 - Б. А. Успенский. Древнерусские кондакари как фонетический источник. - "Славянское языкознание. VII международный съезд славистов... Доклады советской делегации". М., 1973.
- Успенский, 1973а - Б. А. Успенский. Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова. - "Semiotyka i struktura tekstu". Wrocław et. al., 1973.
- Успенский, 1975 - Б. А. Успенский. Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975.
- Успенский, 1976 - В. Uspensky. *The Semiotics of the Russian Icon*. Lisse, 1976.

- Успенский, 1982 - Б. А. Успенский. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
- Успенский, 1983 - Б. А. Успенский. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
- Успенский, 1984 - В. А. Uspensky. The Language Situation and Linguistic Consciousness in Muscovite Rus': the Perception of Church Slavic and Russian. - "Medieval Russian Culture", ed. H. Birnbaum and M. S. Flier. Berkeley-Los Angeles-London, [1984].
- Успенский, 1985 - Б. А. Успенский. Из истории русского литературного языка XVIII - начала XIX века. М., 1985.
- Устрялов, I-VI - Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, I-IV, VI. СПб., 1858-1863.
- Ушаков, 1971 - В. Е. Ушаков. Древнерусские акцентуированные памятники середины XIV в. - ВЯ, 1971, № 5.
- Ушаков, 1975 - В. Е. Ушаков. Акцентологический словарь древнерусского языка середины XIV века. - "Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов". М., 1975.
- Фасмер, I-IV - М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, I-IV. М., 1964-1973.
- Фасмер, 1909 - М. Р. Фасмер. Греко-славянские этюды, III: Греческие заимствования в русском языке. СПб., 1909. (Сб. ОРЯС, LXXXVI).
- Фасмер, 1944 - М. Vasmer. Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen. Berlin, 1944 [Einzelausgabe aus den Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1944, Phil.-hist. Klasse, Nr. 3].
- Федотов, 1938 - Г. П. Федотов. Канонизация св. Владимира. - "Владимирский сборник". Белград, [1938].
- Фенне, I-II - Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian (Pskov, 1607), ed. L. L. Hammerich and R. Jakobson et al., I-II. Copenhagen, 1961-1970.
- Феофан Прокопович, 1721 - [Феофан Прокопович]. Первое учение отроком, в немже буквы и слоги... СПб., 1721.
- Фerguson, 1964 - Ch. A. Ferguson. Diglossia. - "Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology", ed. D. Hymes. New York-Evanston-London, 1964.
- Филарет Гумилевский, 1859 - Филарет [Гумилевский]. Обзор русской духовной литературы. Харьков, 1859.
- Флоровский, 1958 - А. В. Флоровский. Чешские струи в истории русского литературного развития. - "Славянская филология", III. М., 1958.
- Франчук, 1965 - В. Ю. Франчук. До історії імені Володимир. - "Територіальні діалекти і власні назви". Київ, 1965.
- Фридрих, I-II - Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, I-II. Praha, 1904-1912.
- Хабургаев, 1980 - Г. А. Хабургаев. Становление русского языка. М., 1980.
- Харлампович, 1898 - К. Харлампович. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII в... Казань, 1898.
- Харлампович, 1902 - К. Харлампович. Борьба школьных влияний в допетровской Руси. - "Киевская старина", LXXVIII, 1902, № 7, 8 (с. 1-76), 9 (с. 358-394), 10 (с. 34-61).
- Харлампович, 1914 - К. В. Харлампович. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914.
- Хиланд. листки - Хиландарские листки (XI в., ст.-сл.). См. изд.: С. М. Кульбакин. Хиландарские листки ... СПб., 1900.
- Христиноп. ап. - Христинопольский апостол (сер. XII в.). Львов. ист. муз. Рук. 39; отрывок в Центр. науч. б-ке АН УССР, VIII.3 (Св. кат. XI-XIII вв., № 59, 60). См. изд.: Аем. Kaľuzniacki. Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice. Vindobona, 1896; С. И. Маслов. Отрывок Христинопольского апостола, принадлежащий библиотеке университета св. Владимира. - ИОРЯС, XV, 1910, кн. 4.
- Хюбнер, 1966 - P. Hübner. Zur Lautgestalt griechischer Heiligennamen im Russischen seit dem 11. Jahrhundert. Bonn, 1966.
- Хютль-Ворт, 1978 - G. Hüttel-Worth. Zum Primat der Syntax bei historischen Untersuchungen des Russischen. - "Studia linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata". Lisse, 1978.

- Цакалиди, 1982 - Т. Г. Цакалиди. Из наблюдений над негативными конструкциями в древнейшем славянском памятнике традиционного содержания. - ВЯ, 1982, № 1.
- Цейтлин, 1974 - Р. М. Цейтлин. К истории слова *драгоценный* в русском литературном языке. - "Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков". М., 1974.
- Цейтлин, 1977 - Р. М. Цейтлин. Лексика старославянского языка. М., 1977.
- Целунова, 1985 - Е. А. Целунова. Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова (филологическое исследование памятника). АКД. М., 1985.
- Чекман, 1975 - W. Czekman. Akanie. Istota zjawiska i jego pochodzenie. - "Slavia orientalis", XXIV, 1975, 3.
- Чельберг, 1959 - L. Kjellberg. L'interjection o + génitif, un calque du grec dans la langue russe. - Sc.-Sl., V, 1959.
- Червяков, 1971 - А. Ф. Червяков. Ставротика XII века из Архангельского краеведческого музея. - ВВ, XXXI, 1971.
- Черных, 1953 - П. Я. Черных. Язык Уложения 1649 года. М., 1953.
- Чернышев, I-II - В. Н. Чернышев. Избр. труды, I-II. М., 1970.
- Чернышев, 1898 - В. Н. Чернышев. Сведения о Мещовском говоре. - "Материалы для изучения великорусских говоров", V. СПб., 1898. Оттиск из ИОРЯС, III, 1898, кн. 1 (прилож.).
- Черты книжного просвещения... - Черты из истории книжного просвещения при Петре Великом. Переписка директора Московской Синодальной типографии Федора Поликарпова с графом Мусиным-Пушкиным, начальником монастырского приказа. - "Русский архив", 1868, № 7-9.
- Чижевский, 1970 - D. Tschizewski. Акrostихи Германа и старорусские акrostихи. - "Československá rusistika", XV, 1970, n. 3.
- Чин униатской литургии, 1932 - Msza święta czyli liturgia według obrządku grecko-katolickiego z tekstem starosławiańskim i polskim. Żółkiew, 1932.
- Чин униатской литургии, 1954 - Христос між нами. Божественна літургія св. Івана Золотоустого. Зладив Амврозій Сенишин. S.I, 1954.
- Чистович, 1868 - И. Чистович. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. (Сб. ОРЯС, XIV).
- Чремошник, 1925 - G. Čremošnik. Kratice "Nomina sacra" u cksl. spomenicima. - "Slavia", IV, 1925-1926, 2, 3.
- Чуд. Нов. Завет - Чудовский Новый Завет (1355 г.). См. изд.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия митрополита Московского и всея Руси (фототипическое издание Леонтия митрополита Московского). М., 1892.
- Чуд. пс. - Чудовская пс. (XI в.). ГИМ, Чуд. 7 (Св. кат. XI-XIII вв., № 31). См. изд.: В. Погорелов. Чудовская псалтырь XI в. СПб., 1910.
- Шахматов, I-III - А. А. Шахматов. Курс истории русского языка, I-III. СПб., 1910-1912.
- Шахматов, 1885-1895 - А. Шахматов. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV в. - "Исследования по русскому языку", I. СПб., 1885-1895.
- Шахматов, 1903 - А. А. Шахматов. Исследования о двинских грамотах XV в., I-II. СПб., 1903.
- Шахматов, 1908 - А. А. Шахматов. Корсунская легенда о крещении Владимира. - "Сборник статей, посвященных ... В. И. Ламанскому", II, СПб., 1908.
- Шахматов, 1915 - А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг. 1915.
- Шахматов, 1916 - А. А. Шахматов. Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916.
- Шахматов, 1916а - А. А. Шахматов. Повесть временных лет, т. I. Вводная часть. Текст. Примечания. Пг., 1916.
- Шахматов, 1941 - А. А. Шахматов. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.
- Шахматов, 1941а - А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Л., 1941.
- Шахматов, 1957 - А. А. Шахматов. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
- Шахматов и Крымский, 1922 - Ол. Шахматов, Аг. Кримський. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'яток письменської староукраїнщини XI-XVIII вв. Київ, 1922.
- Шевелев, 1956 - G. Y. Shevelov. Konsonanten vor e, i in den protoukrainischen Dialekten. - "Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag". Berlin, 1956.
- Шевелев, 1960 - G. Y. Shevelov. Die kirchenslavischen Elemente in der russischen Literatursprache und die Rolle A. Schachmatovs bei ihrer Erforschung. - In:

- A. Šachmatov, G. Y. Shevelov. Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache. Wiesbaden, 1960.
- Шевелев, 1974 - G. Y. Shevelov. The Reflexes of *dj in Ukrainian. - "Topics in Slavic Phonology", ed. D. Koubourlis. Cambridge Mass., 1974.
- Шевелев, 1978 - G. Y. Shevelov. Omega in the Codex Hankenstein. - "Studia linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata". Lisse, 1978.
- Шевелев, 1979 - G. Y. Shevelov. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.
- Шепард, 1974 - J. Shepard. Some Problems of Russo-Byzantine Relations c. 860 - c. 1050. - "The Slavonic and East European Review", LII, 1974, n. 126.
- Шереметьевский, 1908 - В. В. Шереметьевский. Фамильные прозвища великорусского духовенства в XVIII и XIX ст. - "Русский архив", 1908, I (с. 75-97, 251-273), II (с. 195-218), III (с. 44-66, 269-290).
- Шишков, I-XVII - А. С. Шишков. Собр. соч. и переводов, I-XVII. СПб., 1818-1839.
- Шляпкин, 1891 - И. А. Шляпкин. Св. Дмитрий Ростовский и его время. СПб., 1891.
- Шляпкин, 1898 - И. А. Шляпкин. Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени. СПб., 1898.
- Шмелев, 1960 - Д. Н. Шмелев. Архаические формы в современном русском языке. М., 1960.
- Шоберг, 1975 - A. Sjöberg. Первые печатные издания на русском языке в Швеции (Катехизис Лютера и "Alfabetum Rutenorum"). - "Slavica Lundensia", 3. Lund, 1975.
- Шоберг, 1979 - A. Шёберг. Двухязычие и диглоссия на Руси в начале XVII в. - "Papers on Slavonic Linguistics (3) Presented at the First Polish-Swedish Slavists' Conference..." Stockholm, 1979.
- Шапов, 1976 - Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. Изд. подготовил Я. Н. Шапов. М., 1976.
- Щепкин, 1901 - В. Н. Щепкин. Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1901. (Сб. ОРЯС, LXVII, 9).
- Щепкин, 1906 - В. Н. Щепкин. Болонская псалтырь. СПб., 1906.
- Щепкин, 1967 - В. Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967.
- Щепкина, 1959 - М. В. Щепкина. Переводы предисловий и послесловий старопечатных книг с приложением их фототипических воспроизведений. - "У истоков русского книгопечатания". М., 1959.
- Юрьев. ев. - Юрьевское ев. (между 1119 и 1128 г.). ГИМ, Син. 1003 (Св. кат. XI-XIII вв., № 52).
- Ягич, 1886 - И. В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб., 1886.
- Ягич, 1896 - И. В. Ягич. (V. Jagić). Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896. Оттиск из "Исследований по русскому языку", I. СПб., 1885-1895.
- Якобсон, 1953 - R. Jakobson. The Kernel of Comparative Slavic Literature. - "Harvard Slavic Studies", I. 1953.
- Якубинский, 1953 - Л. П. Якубинский. История древнерусского языка. М., 1953.
- Янакиева, 1977 - Ц. В. Янакиева. Система спрягаемых глагольных форм в языке деловой и бытовой письменности древнерусского Северо-Запада XI-XIII вв. АКД. М., 1977.
- Янин, I-II - В. Л. Янин. Актовые печати Древней Руси X-XV вв., I-II. М., 1970.
- Янин и Зализняк, 1986 - В. Л. Янин и А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). М., 1986.
- Янин и Литаврин, 1962 - В. Л. Янин, Г. Г. Литаврин. Новые материалы о происхождении Владимира Мономаха. - "Историко-археологический сборник". М., 1962.
- Яцимирский, 1916 - А. И. Яцимирский. Мелкие тексты и заметки по старинной южнославянской и русской литературам, LXXI-LXXVII. - ИОРЯС, XXI, 1916, кн. 1.

Bayerische
Staatsbibliothek
München



S L A V I S T I S C H E B E I T R Ä G E (1986-1987)

BEGRÜNDET VON ALOIS SCHMAUS, HERAUSGEGEBEN VON HEINRICH KUNSTMANN,
PETER REHDER, JOSEF SCHRENK, REDAKTION PETER REHDER

190. Kaltwasser, Jörg: Die deadjektivische Wortbildung des Russischen. Versuch einer 'analytisch-synthetisch-funktionellen' Beschreibung. 1986. VIII, 235 S.
191. Grbavac, Josip: Ethische und didaktisch-aufklärerische Tendenzen bei Filip Grabovac. „Cvit razgovora“. 1986. 196 S.
192. Janda, Laura A.: A Semantic Analysis of the Russian Verbal Prefixes za-, pere-, do-, and ot-. 1986. VIII, 261 S.
193. Bojić, Vera, Wolf Oschlies: Lehrbuch der makedonischen Sprache. Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage. 1986. 252 S.
194. Wett, Barbara: 'Neuer Mensch' und 'Goldene Mittelmäßigkeit'. F.M. Dostoevskijs Kritik am rationalistisch-utopischen Menschenbild. 1986. VIII, 238 S.
195. Schmidt, Evelies: Ägypten und ägyptische Mythologie - Bilder der Transition im Werk Andrej Belyjs. 1986. IX, 439 S., 1 Faltblatt.
196. Ketchian, Sonia: The Poetry of Anna Akhmatova: A Conquest of Time and Space. 1986. VIII, 225 S.
197. Zeichen und Funktion. Beiträge zur ästhetischen Konzeption Jan Mukařovskýs. Herausgegeben von Hans Günther. 1986. X, 207 S.
198. Kramer, Christina Elizabeth: Analytic Modality in Macedonian. 1986. X, 177 S.
199. Eggeling, Wolfram: Die Prosa sowjetischer Kinderzeitschriften (1919-1925). Eine Themen- und Motivanalyse in Bezug auf das Bild des Jungen Protagonisten. 1986. X, 506 S.
200. Slavistische Linguistik 1985. Referate des XI. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Innsbruck 10. mit 12.9. 1985. Herausgegeben von Renate Rathmayr. 1986. 326 S.
201. Berger, Tilman: Wortbildung und Akzent im Russischen. 1986. VIII, 373 S.

202. Hock, Wolfgang: Das Nominalsystem im Uspenskij Sbornik. 1986. VI, 179 S.
203. Weidner, Anneliese: Die russischen Übersetzungsäquivalente der deutschen Modalverben. Versuch einer logisch-semantischen Charakterisierung. 1986. 340 S.
204. Lempp, Albrecht: Mieć. 'To Have' in Modern Polish. 1986. XIV, 148 S.
205. Timroth, Wilhelm von: Russian and Soviet Sociolinguistics and Taboo Varieties of the Russian Language. (Argot, Jargon, Slang, and "Mat".) Revised and Enlarged Edition. 1986. X, 164 S.

*

206. Deschler, Jean-Paul: Kleines Wörterbuch der kirchenslavischen Sprache. (Wortschatz der gebräuchlichsten liturgischen Texte mit deutscher Übersetzung, Tabelle des kyrillischen Alphabets mit Angabe der Aussprache, Verzeichnis der Abkürzungen in Handschriften und auf Ikonen.) 1987. IV, 260 S.
207. Meyer, Angelika: „Sestra moja - žizn'“ von Boris Pasternak. Analyse und Interpretation. 1987. 253 S.
208. Miemietz, Bärbel: Nominalgruppen als Textverweismittel. Eine Untersuchung zum Polnischen unter Berücksichtigung des polnisch-deutschen Sprachvergleichs. 1987. 288 S.
209. Störmer, Olaf: Die altrussischen Handschriften liturgischer Gesänge in sematischer Notation als Hilfsmittel der slavischen Akzentologie. 1987. VIII, 116 S.
210. Winter, Una: Zum Problem der Kategorie der Person im Russischen. 1987. VIII, 354 S.
211. Fuchs, Ina: Die Herausforderung des Nihilismus. Philosophische Analysen zu F.M.Dostojewskijs Werk „Die Dämonen“ 1987. 314 S.
212. Slavistische Linguistik 1986. Referate des XII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Frankfurt am Main/Riezern 16.-19.9.1986. Herausgegeben von Gerd Freidhof und Peter Kosta. 1987. 398 S.
213. Antalovsky, Tatjana: Der russische Frauenroman 1890-1917. Exemplarische Untersuchungen. 1987. XII, 202 S.
214. Jovanović Gorup, Radmila: The Semantic Organization of the Serbo-Croatian Verb. 1987. X, 448 S.

Verlag Otto Sagner, Postfach 34 01 08, D-8000 München 34.

SAGNERS SLAVISTISCHE SAMMLUNG

HERAUSGEGEBEN VON PETER REHDER · VERLAG OTTO SAGNER, MÜNCHEN

Band 1: Vuk Stefanović Karadžić

Kleine serbische Grammatik.

Übersetzt und mit einer Vorrede von Jacob Grimm. — Neu herausgegeben und eingeleitet von Miljan Mojašević und Peter Rehder.

1974. Hln. 344 S. Faksimile-Edition. 52.— DM (ISBN 3-87690-086-7)

Band 2: Alberto Fortis

Viaggio in Dalmazia. Bd. I-II.

Mit einer Einführung und Bibliographie herausgegeben von Jovan Vuković und Peter Rehder.

1974. Hln. 486 S. Faksimile-Edition. 72.— DM (ISBN 3-87690-088-3)

Band 3: **The New York Missal.**

An Early 15th-Century Croato-Glagolitic Manuscript. Edited by Henrik Birnbaum and Peter Rehder. Part One: Facsimile Text with an Introduction by Henrik Birnbaum.

1977. Ln. 608 S. Faksimile-Edition. 65.— DM (ISBN 3-87690-119-7)

Band 4: **Die alttschechische Reimchronik des sogenannten Dalimil.**

Herausgegeben im Jahre 1620 von Pavel Ješín von Bezdězí. Nachdruck mit einer Einleitung von Jiří Daňhelka.

1981. Ln. 293 S. Faksimile-Edition. 68.— DM (ISBN 3-87690-213-4)

Band 5: Joachim Dietze

Frequenzwörterbuch zur jüngeren Redaktion der Ersten Novgoroder Chronik.

1984. Ln. VI, 677 S. 120.— DM (ISBN 3-87690-282-7)

Band 6: **Text · Symbol · Weltmodell.**

Johannes Holthusen zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Johanna Renate Döring-Smirnov, Peter Rehder, Wolf Schmid.

1984. Ln. 631 S. 160.— DM (ISBN 3-87690-289-4)

Band 7: Erzpriester V. M. Metallov

Russische Semeiographie.

Zur Archäologie und Paläographie des Kirchengesangs. Paläographischer Atlas der altrussischen linienlosen Gesangsnotationen. — Kommentiert und herausgegeben von Johann von Gardner. Nach der Ausgabe des Kais. Archäolog. Instituts „Kaiser Nikolaus II.“, Moskau 1912.

1984. Ln. 260 S. Faksimile-Edition. 98.— DM (ISBN 3-87690-290-8)

Band 8: Litterae Slavicae Medii Aevi.

Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae. Herausgegeben von Johannes Reinhart.

1985. Ln. 427 S. 120.— DM (ISBN 3-87690-308-4)

Band 9: Mauro Orbini

Il Regno degli Slavi.

Nachdruck besorgt von Sima Ćirković und Peter Rehder. Mit einem Vorwort von Sima Ćirković.

1985. Ln. 544 S. Faksimile-Edition. 160.— DM (ISBN 3-87690-302-2)

Band 10, I+II: U. Engel, P. Mrazović (Hgb.)

Kontrastive Grammatik Deutsch-Serbokroatisch.

Autoren: Jovan Dukanović, Ulrich Engel, Pavica Mrazović, Hanna Popadić, Zoran Žiletić. Mit einem Vorwort von Rudolf Filipović.

1986. Ln. 1510 S. 196.— DM (ISBN 3-87690-326-2)

Band 11: Velimir Chlebnikov 1885–1985.

Herausgegeben von J. Holthusen †, J. R. Döring-Smirnov, W. Koschmal, P. Stobbe.

1986. Ln. 278 S. 48.— DM (ISBN 3-87690-330-0)

Band 12: Boris Andreevič Uspenskij

Istorija russkogo literaturnogo jazyka (11.–17. vv.).

1987. Ln. XII, 367 S. 86.— DM (ISBN 3-87690-380-7)

Band 13: Vera Bojić

Vuks musikalische Erben.

Neue Materialien zur Rezeption serbischer Volkslieder in der europäischen Musik. Texte und Noten. – Vukovo nasleđe u evropskoj musici.

1987. Ln. 476 S. 120.— DM (ISBN 3-87690-360-2)

In Vorbereitung:

Spravočnyj i ob-jasnitel'nyj slovar' k Novomu Zavětu, sostavlennyj Petrom Gil'tebrandtom. SPb. Bd. 1, 1882 (XX, S. 1–400), – Bd. 2, 1882 (S. 401–768), – Bd. 3–4, 1883 (S. 769–1424), – Bd. 5, 1884, (S. 1425–2000), – Bd. 6, 1885 (S. 2001–2448).

Spravočnyj i ob-jasnitel'nyj slovar' k Psaltyri, sostavlennyj Petrom Gil'tebrandtom. SPb. 1898, VI, 551 S.

Verlag Otto Sagner, Postfach 340108, D-8000 München 34.